ВСЕВОЛОД

ИВАНОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

ВСЕВОЛОД

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ

●

Издание осуществляется под редакцией Т. В. Ивановой, А. И. Пузикова, С. В. Сартакова

●

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

ИВАНОВ

ТОМ ВТОРОЙ

●

РАССКАЗЫ 1917—1928

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

Р 2
И 20

Подготовка текста и комментарии
Е. КРАСНОЩЕКОВОЙ

Оформление художника
Л. ЧЕРНЫШЕВА

И $\frac{70302-343}{028(01)-74}$ подписное

РАССКАЗЫ

ПО ИРТЫШУ

За рекой далеко — сонно кудрявится ленточка дыма. От берега с блестящей гальки сорвалась чайка и исчезла в алмазных омутах воздуха. Тянет смородиной и черемухой.

Буран гребет лениво. Жарко! Бордовая сатинетовая рубаха присосалась к плечам — блестит от пота и грязи... Курчавые волосы на висках мокры.

Не знаю, кто этот Буран. Пришел к нам в Лебяжье месяца два тому назад, отрекомендовался мне каким-то техником и живет. Роет на Вострой горе алебастр, продает и пропивает. Вот и все, что я про него знаю. И имени как будто нет. Говорил мне раз пять свое имя, но каждый раз новое. Прозвали Бураном казаки его — врет здорово.

Теперь мы переправляем учительницу из Ямышева, нашу хорошую знакомую, домой. До Ямышева сушей верст двадцать, а водой и все полсотни: вертит хвостом тут Иртыш. Но это пустяки — нам давно хотелось подальше прокатиться.

Мне давно нравится учительница; Буран на нее поэтому, как и на меня, смотрит с полупрезрением. Хотя, кажется... ничего у него не разберешь!

— Пристал, холера тебя возьми! — Буран опустил весла. — Надо пораньше было — поперли в жару-то!

— Сейчас хорошо...— Учительница полуобернулась к Бурану. Видно, как около глаз побежали лукавые морщинки.— Почему вам не нравится?

— Погреби-ка ты, матушка, другое зачирикаешь! Вся природа-то в пятки влезет, — отрезывает Буран.

Учительница отворачивается. По-видимому, ей хочется сказать: «Зачем взяли?» Ведь мы сами предложили ей ехать.

От берега заковылял киргиз. Поил коня. Треплется меж камышей лисий малахай. Серого иноходца бьют по бокам серые метелки камыша.

— Дело — ерш, — ворчит Буран. — Еще, поди, верст тридцать осталось, да где у черта,— больше! Эту язву Черную косу еще не проехали.

— Что ты ворчишь? — возражаю я.— Не ехал бы.

— Не еха-ал!! А что я буду в Лебяжьем делать? Твои братцы «кошмоеды» мне надоели, поглядел я на них — будет!

— Разве вы не казак? — спрашивает учительница.

— Я?! Да я ошалел, что ли, язви их в нос!.. Буду я из дворян города Семипалатинска. Учили сначала в гимназии, но из третьего класса вышибли меня... Посему поступил я в сельскохозяйственную школу в Павлодаре.

Буран врет. Говорил мне прежде, что ездил с какой-то экспедицией в Тибет и начал это путешествие с восьми лет. Ездил по Тибету пятнадцать лет, знает тибетский язык и даже посвящен в чин ламы.

Учительница внимательно смотрит на Бурана. Кажется, в ее уме не вяжутся вместе гимназия и его внешность, — и эти плисовые приискательские шаровары, и яркая сатинетовая рубаха.

— Кончил. И сделался техником сельского хозяйства. Отправили нас кобылку в степи изводить. Дали какой-то дряни — прыскай знай. Ладно. Прыскаем. И надоела, я вам скажу, мне эта волынка... Остановились мы раз в ауле у бая, волостного старшины, — а дочка у него — краса-авица!! Ну-с... — Буран выдержал паузу. — Полюбила она меня — и раз к чертям, я с дрожек свои аппараты. Запрягаю свою троечку — да эдак в ноченьку темную и подъезжаю к аулу... Выходит она, садимся — и понеслись!.. Обнял за талию, речи любовные, а тут слышу: «Ста, ста! Держи!..» Киргизы за мной с три черта! Я по лошадям. Ну, а те измучены... Вижу — дело плохо, соскакиваем с лошадей... пустили их — полетели! А мы — в камыши... А у тех, бритоголовых, собаки, оказывается... Слышу — крадутся... Раз!.. Я тут одного, другого ножом — и айда! Понес рвать! В камыши зачесался — не нашли немаканые!..

— А девушка? — взволнованно спрашивает учительница.

— Поймали ее, да потом — через неделю — сулемой отравилась. Померла...

Буран молчит. Учительница вся повернулась к нему,— я наклоняюсь от руля к реке, будто хочу пить, гляжу на нее. Удивительно хороша она теперь.

— Как красиво...— шепчет она.

Я не знаю, что красиво, но мысли она не доканчивает...

Буран начинает рассказывать про тибетское путешествие. Говорит он веско и отрывисто, словно колет лучину: раз, два!

Лодка тихо плывет.

Сумерки замыкают небо в ночную горенку. За Черной косой мигают белые и красные бакены, шныряют по волнам одноглазые водяные.

Из-за плеча курчавого бора выглядывает налившееся кровью око луны. Кажется, кто-то громадный встал одной ногой на правый берег, другой — на левый и чертит по воде серебряные каракули.

Мимо нас пыхтит и трепещется пароход, сплошь обрызганный молочными и электрическими искорками.

— Ба-ат, на-бат!.. Восемь... Се-емь с по-ло-виной...— тонет по черным логовищам ночи.

Иртыш морщинится.

— Че-ерти!.. Тише!..— орет Буран.

Нас вздыбивает, как на качелях. Кусают лицо и шею водяные пульки...

«Туу-ту-туту!.. Туу-ту-туту!..» — покрикивает пароход.

Нырнул в мрак.

И еще острее колет тишина. Вьются за лодкой бархатные тени, — и лапы хищные кустов осторожно щупают нас, когда лодка скользит у берега...

Мне не хочется молчать... Мне кажется, что молчанием мы как будто соглашаемся на что-то необычное и страшное. Я начинаю говорить бессвязно и долго.

Вижу, как Буран придвинулся к учительнице, и ее рука — в его лапе. Тревожно колышется белая кофточка... Он басит тихо-тихо. Я не могу разобрать, но мне почему-то неинтересно. Я доволен даже, как будто то, что смущало меня, теперь открылось внезапно.

Буран посверкивает на меня. Смотрит долго и задумчиво. Что ему? И не походит он на себя — такой важный стал и тихий, как ночь...

...Мне опять чего-то жаль, как будто сон вижу страшный...

— У меня дома отец остался и мать,— говорю я и сам не знаю зачем.— На пригорке у самого Иртыша стоит у батьки дом... Да... Старик уже стал отец; домой бы пора ехать!..

— Ну, и ехал бы!— внезапно прерывает меня Буран. Он встает на ноги, лодка тревожно качается. Голос у него дрожит, как будто кто настраивает скрипку.— Ну вас к черту! Тоску наводите только! Где она, боязнь-то, где? Ну? И ничего тут нету, езжай один, а я не хочу... Чо мне тут с вами. Ночь да ночь, тоска меня берет — уйду я!.. Наврал я вам, что дворянин, — сапожник я, а не дворянин! И на Тибете не был — кули в Омске таскал на баржи,— вот мой Тибет! И в гимназии не учился, — шпана я, а не техник! Сидите тут, любуетесь, — а мне чо! Ишь, наводишь буркалы-то, думаешь — отобью... Не лезь! Пошли вы к черту!

Буран вдруг прыгает в воду, судорожно зыбнулась лодка... Буран уже далеко, фыркает...

— К черту! Ухожу...

Не зная зачем, я бросаюсь вслед за ним. Слышу, как вскрикивает учительница,— и то, что она вскрикивает, когда бросился я, а не Буран, утешает меня.

Я выныриваю и плыву за Бураном; брезентовые туфли намокли и пудовыми гирями прилипли к ногам. Нахлестывает вода. Силюсь не пить, но она наливается, ползет — безвкусно-тяжелая...

— Бу-у-ура!..— захлебываясь, кричу я. В уши бьет колоссальным молотом... И почему-то пахнет земляникой. И как будто в синее прозрачное одеяло укутывают меня.

Больно рвануло волосы... И за пояс уцепился железный крюк...

Как спокойно!..

...Кажется, Буран говорит. Но так не похоже на него! Так ласково.

— Тоже благородство, подумаешь... А потом — я виноват был бы... Папиросы вымочил — чо курить-то будем! Балда великодушная!..

Лодка у берега коряжится.

Белая кофточка дрожит и плачет: «Поедемте, страшно...»

— Ладно.— Буран отряхивается.— Еще уговаривайте — я и сам поеду. Толкни лодку-то, слышь! И как она умудрилась всадить ее в песок-от. Ишь — да ну-у!!.

Лодка скачет.

Буран замерз и гребет вовсю. От его спины ползет пар. Холодно.

Я сижу, укутанный в шаль учительницы, и начинаю понемногу согреваться. Скоро сменю Бурана грести.

Как скоро отколдовалась ночь!

Секут небо кровавые мечи; клочья облаков, как пурпурные одежды, мечутся от утреннего ветра. Крякают утки далеко... Поползло чуть заметное кружево тумана. Дохнуло от какого-то аула дымом.

Щелкают огненные бичи по кустам — это красавец день гонит горбатую ведьму ночь...

В Ямышевом спят... Спускаем учительницу и не идем за ней. Она не смотрит на нас и говорит, опустив глаза...

Пошла... Обернулась, благословила меня туманным взглядом и скрылась...

— Куда? — спрашиваю я.

— Теперь? — Буран одел фуражку. — Теперь? Давайте спустимся вниз немножко, я знаю местечко одно там. Лодку оставим — ребята завтра ее с пароходом пригонют. А сами мы пехтурой домой... На, греби!..

Буран загнул руль и заорал:

Мой отец — Иртыш седой,
Моя мать — нужда слепая...

Ползло над рекой эхо...

1917

В СНЕГУ

С Парамонова дня, на Андреев заря была багряна, аж резала глаза. Старик Панкрат, отец Корнила, вошел в избу и у порога, обдирая с усов сосульки, сказал:

— И солнышко, ребята, с ушами — к морозу. И заря, быдто руда — к ветрам...

Ему никто не ответил.

Панкрат, снимая пимы, спросил у Корнила:

— Ты чего не баской так?

Корнил из переднего угла прошел к печке и взял там узду. И по тому, как он шел — слегка сутулясь и делая серьезный, мерный шаг, и как у этого — середовиной годами еще, мужика была в проседь борода, и как он при ходьбе казался почти высоким, — видно было уверенного и знающего себе цену человека.

Панкрат оглядел грязный пол и, не зная к чему, сказал:

— Вымыть бы хоромину-то.

Старуха с печки резким голосом отвечала:

— Сам мой, надо — так... То и дело солдаты лезут, а тут мой бесперемене. Не намоешься. Ты только указывать умешь, а сам-то что сдеял. Я вот мочиться ходила, мотрю, на тебе, баурник с пригона увезли... Камыш так и треплет ветрище-то.

Панкрат вспомнил, что действительно жердь для пригнета увезли, должно быть, а подыскать другую старик не догадался. Он строго сказал:

— Начнет брезгать, а не мутит. Бытто овца поротая...

Корнилу надоело слушать стариковскую брань, да эту ночь почти всю не спал — постель заняли офицеры, и Корнил с женой спали на полу.

Корнил надернул тулуп и вышел за ворота. Окаемок неба прятался в лесу. Направо в лес уходила линия, а налево — станция. Там кричали попеременно паровозы, из оснеженных вагонов шел дым, и по платформе бегали с винтовками солдаты, офицеры, женщины.

Две недели отступала колчаковская армия. Омск был давно сдан, и красных ждали с минуты на минуту.

Две недели — и утром, и днем, и ночью — шли по двум линиям поезда. Промежутки между ними были не больше пятидесяти саженей, и казалось, что тянут две длинные ленты красных и желтых коробочек. В этих коробочках сидели люди — солдаты, офицеры, беженцы. На станциях искали кипятка, воровали на дрова шпалы, ломали сараи, а злобные на колчаковскую власть железнодорожники замораживали паровозы. Лента эшелонов укорачивалась.

А по правую и по левую сторону линии, по дороге, в три-четыре ряда, обгоняя друг друга, в кошевках, розвальнях, верхами ехали солдаты, офицеры, казаки. Часто ломалась кошева или издыхала лошадь, тогда багаж перебрасывали на другие подводы или оставляли на разграбление, и из снега торчали оглобли саней, рогожа кошевок, и рядом с валявшимися трупами людей лежали толстобрюхие, с тонкими ногами, издохшие лошади, и шерсть их на солнце казалась бронзовой.

Лошади загнанные часто издыхали — в обозах их не хватало, и тогда стали отнимать лошадей у крестьян, сначала неуверенно, затем смелее. Крестьяне угоняли лошадей в бор, и солдаты полезли к ним в сундуки.

— Все равно красные отымут,— говорили они.

И среди крестьян росла злоба. Часто за поселком находили скрючившиеся трупы солдат — большей частью из офицерских частей — со следами пальцев на шее.

— Большевики,— говорили между собой солдаты, и им становилось страшно.

У Корнила угнали четыре скотины и в овсе нашли спрятанную сбрую. Тоже взяли. Сбруя была новая, ирбитская.

Ночью он уходил потолковать с мужиками о том, что не пора ли вытащить из сугроба два спрятанных там пулемета.

— Успеем,— говорили мужики.

Из-за переулка показались две кошевы, запряженных парами. Офицер в желтом башлыке указывал рукой на дома, коротконогий солдат подскакивал перед ним.

Корнил вошел в ограду, чтобы не заметили и не повернули к нему. Прошел в пригон к старой загнанной кляче, оставленной взамен угнанных лошадей, бросил охапку сена. Ему тосковалось, и он вяло думал о том, когда кончится отход и можно будет спокойно спать.

На дворе послышались голоса.

«Увидели, стервы»,— подумал Корнил и лениво вышел из пригона.

Молодой, высокий, с усатым лицом офицер спросил ласково:

— Можно переночевать?

Корнил угрюмо ответил:

— Ночуй надо — так...

Офицер вспомнил совет своего приятеля — «здесь лаской не возьмешь, построжей надо». Он оттянул нижнюю губу и, против воли, закричал:

— Не разговаривать!.. Есть люди в избе или нету?

— Нету.

— Распрягай, Ерменев.

Ерменев, коротконогий солдат, быстро распустил супонь и выкинул дугу. Тут только Корнил заметил в другой кошеве двух женщин в тулупах, повязанных пуховыми платками. Одна из них, — должно быть, жена, — откинула закуржавевший воротник и весело глядела на офицера. Лицо у ней было круглое, чистое и румяное.

«Мороз-то лучше бодяги разрумянит»,— подумал Корнил и пошел в избу. Офицер наклонился в кошеву и тащил длинный, узкий мешок.

Но вот тут-то и началось — оно...

Сначала как будто тявкнул кто в медное горло:

— Ррык... рык...

Один раз, два.

Корнил по германской знал этот звук. Но он промолчал. Женщина тревожно спросила:

— Что это?

— Рры-ык... рры-ык,— опять протянулось нерешительно, и потом, немного спустя, уверенно заговорил: — Та-та-та... та-та... та...

— Пулемет,— сказал офицер и вдруг почему-то часто заморгал длинными и тоже закуржавелыми ресницами.

Он скинул тулуп, остался в желтом, некрашеном полушубке и побежал к воротам. За ним побежали две женщины, солдат с седелкой и позади Корнил.

Пулемет обстреливал станцию, это было видно потому, что у колес лежали скорчившись люди, а один солдат, с ведром воды, вдруг запнулся, упал, вода потекла под него, а он не подымался.

— Красные! — закричала женщина визгливо.

Офицер махнул на нее рукой, мускулы щек у него передернулись, и он, словно воруя, нетвердо побежал к выпряженным лошадям, виновато схватил одну из них под узду, вскочил на нее, и, как только вскочил, лицо у него загорелось, он закричал дико:

— Э-эй!

Лошадь забила копытами в плотный снег и понесла за ворота, а оттуда в переулок.

— Вася!..— взголосила женщина.

Солдат кинул прочь седелку и пошел в избу, снимая по дороге патронташ с патронами.

А у Корнила словно что развязали внутри. Сразу, как берестовая кора, сгорело томление, а взамен — всего от пят до головы, обдало жаром:

— Канец!..

На мгновенье в ногах почувствовал истому, а потом клубом пронеслось: «скатина... четыр... баурник... вот... ага... да... четыре-е».

— Канец!..

И эту пену, бьющуюся через край, нужно было схлынуть.

Корнил невзначай взглянул на женщину и вспомнил:

— А, б..., бежать!..

Он подскочил к лошади, покорно подставившей спину, схватил с облучка черемуховый кнут. Сорвал хомут со шлеей и сел охлябь.

Женщина подбежала к нему:

— Вы куда?..

— Брысь...— хрипло заорал Корнил и ткнул изо всей силы лошадь черенком кнута в ребра.

В переулке увидал Корнил офицера — он был уже на конце деревни. И то, что он бил свою лошадь ногами, особенно врезалось в мозг Корнила.

— Бе-жа-ты!..— заорал он, хлеща изо всей силы лошадь и по бокам и по голове.

Скользнула церковь с двумя колокольнями, школа, поповский дом.

Начинался лес. Поля. Волнистые, скамейками, снега.

«Волна... к урожаю»,— промелькнула где-то там, на задворках, мысль.

Лошади под собой не чувствовал. Так бил по пустому месту — не то по мешку, не то по бревну. А бежал сам. Но тихо.

— А-а...

Откуда-то ветер в лицо — дышать тяжело, а отвернуться нельзя, тот, в серой ловкой шинели, с черным кусочком железа в руке, ускользает.

— А-а...

«Не догнать ведь... запыхается».

Пулемет замолчал. И немного спустя спокойнее почувствовал себя Корнил.

— Взяли.

Офицер, не оглядываясь, гнал лошадь. Лошадь — коренник из кошевой — видно, была крепка, но устала.

«Догоню»,— подумал Корнил и, подумав так, крикнул:

— Сто-ой!

Офицер взглянул, увидел в трех десятках саженей скачущего с палкой в руке мужика, хрипло и зло оравшего:

— Сто-ой!..

И все это — желтостволые березы, жесткая, утоптанная дорога, лопнувший под мышкой полушубок и вдруг потяжелевший наган — как-то зарезало в глазах, отдало в мозг, и сердце заныло.

«Смерть...»,— подумал человек с револьвером и тут только вспомнил брошенную жену. «Подлец!.. Смерть...»

Он оглянулся назад и, не зная для чего, выстрелил. Лошадь подпрыгнула, и человек почувствовал под собой ее кости.

Мужик же Корнил, увидев огонек и услышав гул выстрела, тоже подумал о смерти. «Кабала тебе».

И словно ему выстрелом разрешили убийство, сказал вслух:

— Каюк... понял?

Отбежали от станции версты три. Лошади бежали все медленнее и медленнее, как их ни били эти два человека. Среди сосен резко раздавался лошадиный храп.

«Возьму»,— думал Корнил, и мысль, что офицер может убить его, Корнила, из револьвера, никак не приходила в голову.

Еще пробежали версты полторы-две. Передняя лошадь запнулась, и человек с револьвером упал. При падении он ушиб колено и, когда вскочил, то сильная боль в чашечке заставила его вскрикнуть.

— Давай револьверт-то! — крикнул Корнил.

Человек вспомнил про револьвер и, с трудом подняв руки, выстрелил в Корнила.

Корнил подумал: «В лошадь не попал бы». Он соскочил в снег и, ударив кнутом лошадь, крикнул опять:

— Давай, говорю.

И, крикнув, упал на землю, так как знал, что в лежачего пуля хуже идет. Офицер выстрелил еще раз и, решив — «убил» — торопливо пошел по дороге, вслед за убежавшей лошадью. Корнил вскочил и кинулся за ним. Офицер, услышав скрип снега за собой и вдруг свернув с дороги, в снег, побежал в лес.

Снег был глубокий, попадал за голенища и холодными струйками скатывался к пяткам.

Корнил был недалеко.

Офицер, не целясь, выстрелил. Мимо. Еще. Мимо. И вдруг он не поверил, что из этого оружия можно убивать. Он тонко закричал и, поднимая револьвер над головой, полез через мягкие сугробы глубже в лес.

Корнил, молча и глубоко дыша, шагал за ним, вытянув вперед руки и сделав два шага, хрипло с досадой выговаривал:

— Давай!.. Давай!..

— О-о-а! — только кричал человек с оружием. В висках буйно билась кровь, губы ссыхались, хотелось пить, из глаз текли слезы. Из горла же — самому себе страшный крик: о-о-а!

Снегу не видно края. От сосны до сосны — сугробы, глубокие — по пояс — мягкие. Ноги уже не могут... И тот сзади отстает.

Болели плечи, тонкие ребра дрожали испуганно под ударами сердца. А внутри — туман, снег, сугробы.

— О-о-о!

Корнил тоже устал, да и мешал тулуп. Никак нельзя прибавить шагу — догнать бы. Вот он — на расстоянии одних саней. Тот оглядывается. На желтом лице мутные слезящиеся глаза, заиндевевшие усы, и на шапке рука

с револьвером. Вынимает ногу, шаг сделает, утонет в снегу и кричит:

— О-о-а!

А за ним идет Корнил, и тоже тонет, молчит и тянется руками.

Упал.

Два шага сделал Корнил. Навалился коленами на грудь, захрипел тот, а с груди колено на горло. И пальцами еще. У того рука с револьвером Корнила по лицу — раз. Тихо, словно шутя, и опустилась.

— Царство небесное! — сказал, вставая, Корнил. Снял шапку, два раза перекрестился и потом сплюнул.

1921

КРАСНЫЙ ДЕНЬ

Капитан Шипов, жирный, похожий на тыкву, с крошечной головой, сидел на пне и собственноручно чистил револьвер. Глаза у капитана были большие, черные на желтом маленьком личике, и потому, должно быть, редкие выдерживали его взгляд. Рядом стоял в длиннополой солдатской шинели его помощник прапорщик Раденко — розовый, с длинной талией человек.

Вокруг офицеров и дальше, между редких сосен и пихт, лежали солдаты, стояли в козлах ружья, ржали низкорослые сибирские лошадки, и в огромном казане кашевар варил ужин. Выше сосен, в облаках, видны были снеговые вершины — белки, серый камень, поросший лишаями, и среди камней — зелень горных лугов. Солнце заходило, пахло горячей землей и распускающимися весенними травами.

— Всегда в такие минуты я приготовляю револьвер,— говорил Шипов, и голос у него был густой, подходящий к огромной фигуре и жутким черным глазам.— Револьвер ближе всякой родни... Я и японской войны хватил, и германскую всю вынес, а никак не могу привыкнуть убивать на своей земле.

Прапорщик Раденко думал о доме, где завтра, наверное, будут варить пельмени и пить привезенный из Харбина коньяк. Полный этими думами, он вскользь сказал Шипову:

— Убивать и умирать везде одинаково.

— Это потому, что мы на убийствах воспитались и выросли. Такая война, как германская, большой грех, и за нее долго будем расплачиваться.

— А не расплата ли то, что мы здесь?

— Вы хотите сказать: бьем мужиков, своих, русских. Не знаю, возможно. Однако же не чувствуем мы

особенного беспокойства. Солдаты бодры, мы не жалуемся...

— Солдатская душа — омут. А про себя... Да вы вот сейчас же о возмездии говорили.

Шипов быстро повернул голову, и ему самому казалось странным, что он так быстро, как ветер, играет своими мыслями и что они рождаются в его неповоротливом мозгу.

— Здесь — либо они, которые там, в горах, либо мы. Если мы победим — их всех перевешаем, если они,— перебьют нас нашим же оружием.

— Вы очень беспокоитесь.

— Хотите сказать — трушу? Нет, как будто не трушу... Все же я человек здоровый, и умирать мне не хочется. Но я не трушу.

Шипов взглянул на розоватое лицо прапорщика, на его лихо заломленную фуражку, и капитану стало весело.

— Вам домой хочется, следовательно, вы не думаете о смерти.

Что-то холодное, как снег, упало на душу прапорщика.

— Неужели меня убьют?

— Кто знает... Но раз вы или я заговорили о возмездии, то ведь за войну кто отвечает: мужики ли, которые сидят сейчас в камнях, или же мы... остатки тех, которые сказали им: иди и убивай...

— Вам с такими речами только бы к красным, капитан.

— Или они, или мы... А впрочем, мы, черт возьми, прапорщик... Нас — две тысячи, а их три; на тысячу больше; но у нас — восемь пулеметов, а у них — ни одного, у нас две тысячи винтовок, а у них — пятьсот, да и то половина из них — берданки или охотничьи двустволки. Кроме того, за нами вся колчаковская Сибирь — от Владивостока до Челябинска,— а у них далекие, призрачные советские войска, бегущие во все лопатки к Москве. Стало быть — мы. И никаких возмездий.

— Или возмездие всем и каждому!

Прапорщик сорвал фуражку и восторженно закричал:

— Всем и каждому! Ура!

Из лесу вышло еще пять офицеров: главные резервы

атамановских сил находились внизу. Эти пять офицеров были одеты в черные френчи и галифе с серебряными лампасами, и на погонах у них был череп и две перекрещивающиеся кости.

— Вы что кричите, Раденко? — спросил один из них.

Капитан Шипов не особенно любил этих вылощенных офицеров, от которых несло породистым аристократизмом.

— Завтра, господа офицеры, мы начнем решительное наступление и должны — я подчеркиваю это — должны уничтожить этих, на горах... совдепчиков. Нас ждут в других местах. Говорят, в Тверском уезде восстание.

— Слушайте, капитан,— прервал высокий офицер,— давайте проситься к Семенову, в Читу. Он платит хорошо, и производство моментально. Вы там без всяких штук в неделю генералом будете. Ей-богу!

— Не мешайте... После...— зашикали на него.

— Завтра в двенадцать вы, прапорщик Раденко, открываете наступление с левого фланга, тогда как поручик Васильев и пятьсот ребят...

Высокий офицер прервал опять:

— Послушайте, капитан... Нет, ей-богу, я — последний раз. Ведь завтра первое мая.

— Ну так что же?

— А это большевистская пасха, так сказать. Праздник. И на сей предмет и гимн соответствующий сочинен... Длинно, торжественно и скучно, как у настоящих монахов.

— Вы к делу.

— А я к тому, что в день пасхи-то мы им по пути и отходную споем и «вечную память» бесплатно. А потом — к Семенову.

Офицеры рассмеялись, и Шипов приказал денщику раскупорить водку.

— Несомненное преимущество,— сказал он, и его тучное тело затряслось от внутреннего смеха,— колчаковского правительства перед советским — это возможность выпить и повеселиться каждому деловому человеку. Я говорю про водку.

Мохноногие лошади жевали траву, и изо рта у них текла зеленая, пахучая слюна. От сосен через елань, как длинные струны, протягивались тени.

Офицеры размякли и запели студенческую песню. Они вспомнили город, семьи. Им стало грустно и захотелось домой в спокойствие и уют. И с горя раскупорили еще бутылку водки.

А наверху, у белков, где с ледников несло холодом, а с зеленовато-голубого неба жадно опаляло камни солнце, среди россыпей, партизанский лагерь приготовлялся к празднеству Первого мая.

За камнями невидимые врагу, лежали часовые, ходили по кедрачу дозоры, и в медвежьих берлогах лежали секреты.

На поляне в ряд стояли телеги с вывезенным скарбом из разграбленных и сожженных атамановцами деревень. Мычали влажноглазые телята, крякали утки; где-то в кустах снеслась курица и торопливо докладывала об этом.

От телег пахло дегтем, от мужиков — камнями, мхом и лишайником.

Недалеко журчал ручей, и было неприятно видеть высокую траву — выше плеча, а недалеко — лед и снег.

У телег — митинг. Огромная толпа крестьян с винтовками, топорами, пиками из березы сгрудилась и в наиболее сильных местах речи колышется, словно дышит одним вздохом.

На телеге, в солдатской одежде, с красной ленточкой на фуражке, рыжеусый, загорелый человек. Один глаз у него косит, и он левой рукой часто прикрывает его, и от этого кажется, что он не может подыскать нужных слов. Возможно, что так оно и есть.

— Товарищи,— кричит человек в солдатской одежде,— самое позднее послезавтра атамановцы поведут наступление. Им опять привели подкрепление и три пулемета.

В толпе глухой ропот.

— Но, товарищи, у нас всего только четыреста винтовок.

— Пятьсот! — кричат из толпы.

— Сто охотничьих, их в счет брать нельзя...

— Дай на тебе попробуем, может, и можно! — кричит тот же голос.

— Ну хорошо, товарищи, пятьсот. А людей больше трех тысяч. Что должны делать остальные две с поло-

виной тысячи? Если мы победим... Ну, а если нас побьют, тогда что же: перебьют их ни за что ни про что...

Толпа колышется и, словно пораженная неожиданной мыслью, слегка раздвигается. Человек улавливает это и кричит громче.

— Товарищи, не смущайтесь. Главное, не сдрейфить. Как опустимся, ну и конец. Тогда и пятистам не уцелеть.

— Не учи... сами знаем.

— Мое предложение, товарищи!..— кричит человек, и толпа стихает.— Мое предложение: отправить всех, две тысячи пятьсот человек, в горы, к белкам. Там белые их не найдут. Али по деревням разойтись. А там к тому времени помощь подоспеет. Около Семипалатинска тоже крестьяне бунтуются, и Усть-Каменогорск партизаны заняли, — в штабе такие сведения имеются.

Никто не смеет спросить, когда получены эти сведения,— боятся ошибиться. Так тяжело и больно нести одним бремя восстания. Один за другим выходят на телегу мужики. С непривычки говорить у них большие паузы между словами и слова часто повторяются. Они оправляют армяки, зипуны, приглаживают волосы, и каждый, у которого нет винтовки, говорит, что в белки он уходить не желает, будет биться, а если придется, и умрет так же, как и другие,— с миром. А пахнущий потом и крепко промешанным хлебом, темный, как старая икона (блестят только одни глаза), крестьянский мир в один голос хрипло орет:

— Не же-ла-ам в бе-елки-и!..

— Не же-ла-ам!..

— А-а-а!..

Человек в солдатской шинели полез опять на телегу и выкрикивает:

— Товарищи, никто вас в белки не гонит! Было только такое мое предложение, кабы пожелали... Ваше дело... А раз нет охоты... Революционный штаб людей бережет и велел мне сказать.

Видя, что мужики исполнены решимостью и гневом и тысячи глаз сурово прячутся в переломанные сучья бровей, человек в солдатской одежде торопливо произносит:

— Завтра, товарищи, Первое мая будем праздновать!

Вечером у белков партизаны готовились к празднику: добыли откуда-то лоскут кумача на флаги и прибили к древкам, и ночью, при свете сосновых поленьев, лежа за камнями, партизаны повторяли все выскакивающие из головы слова «Интернационала» и «Марсельезы».

Внизу, в тайге, изредка стреляли, в скалах свистел ветер, небо заволокло тучами, и было темно, как осенью, и тоскливо, как в неурожай.

Около одиннадцати часов утра из тайги в камни ударили выстрелы и между соснами замелькали черные рубашки атамановцев. Затем они показались на опушке и, припав в траву, стреляли. Скоро они притащили пулеметы, и маленькие машинки однообразно и строго застрочили, как швеи. Сбоку отряда рисовался на лошади высокий офицер — тот, который вчера перебивал капитана Шипова. Лошадь у него скоро подстрелили, и он слегка ушиб себе ногу.

Партизаны, как всегда, стреляли в одиночку. День был ветреный, над камнями трепались красные лоскутья ткани. По небу узкими грядами ветер вспахивал тучи. На траве, деревьях и людях лежал тот же серый отблеск, что и на небе.

Ровно в двенадцать часов прапорщик Раденко посмотрел на прикрепленные к кисти руки часы; при этом подумал с удовольствием, что у него мягкая и свежая кожа. Он бойко, по-мальчишески закричал:

— Вперед!

Атамановцы посмотрели на своего командира и тоже почувствовали бойкость в сердце. Все они, как вагоны поезда, дрогнули и побежали ровной черной линией вперед. Прапорщик Раденко выхватил револьвер и, ощутив в своей руке его тяжесть, почувствовал себя еще лучше.

— Ура-а!..— закричал он вслед за солдатами, но, пробежав три шага, запнулся и упал. Бежавший рядом с ним солдат наклонился и хотел заглянуть прапорщику в лицо. Но лица у прапорщика не было. На воротничке френча и на погонах торчали куски мяса и волос.

У солдата сразу точно вынули внутренности: он почувствовал вдруг боль в груди и животе и, хотя не был ранен, выпустил из рук винтовку и упал на траву, рядом с телом прапорщика.

Атамановцы же бежали вперед, припадая за камнями и стреляя и чувствуя все большую уверенность в своей победе. Им казалось, что мужики уже отступают и что они их сильно оттеснили, хотя атамановцы и пробежали всего несколько саженей.

Партизанам думалось, что у атамановцев где-то есть другие силы, идущие в обход, и потому эти так легкомысленно и ненужно умирают. Мужики зорко оглядывались, ожидая удара в спину, а пока не спеша, как будто бы жали хлеб, убивали атамановцев в черных рубахах.

На елани же за валом из камней и за соснами было тихо. На телегах лежал скарб, а среди телег и вокруг них с камнями и самодельными пиками стояли мужики; бабы, уткнув головы в подолы, неслышно плакали вместе с ребятишками. А на валу за камнями лежали партизаны и стреляли.

И вот тогда, когда атамановцы подошли совсем близко и готовились броситься в атаку, чей-то тонкий голос запел:

Вставай, подымайся, рабочий народ!
Иди на врага, люд голодный!..

Звук был неуверенный и словно стыдливый. Но вот в него врезался, на одно мгновение смял его, а потом подхватил, поплыл вместе другой, более крепкий:

Раздайся, клич мести народной!
Вперед, вперед, вперед...

И за ними сначала десяток голосов присоединился беспокойно и как будто с тоской, затем твердо и резко сотня, а затем из-за телег, из-за камней, из-за тайги медным гулом, тяжелым грохотом поползло:

Вперед, вперед, вперед...

Сотни простуженных и хриплых мужицких голосов ровно и торжественно выкинули в небо вместе с красными кусками материи величественную и сильную песню. Уже не было слышно отдельных слов, а наподобие разорвавшей плотину реки, с блеском огня, треском пулеметов и свистом ветра, падала, ошеломляла и туманила сознание атамановцев неожиданно выброшенная из-за камней песня.

Атамановцы остановились, опустились в траву и, боязливо сжимая затворы винтовок, слушали.

А партизаны пели. И серые, привыкшие к далеким туманам и снежным далям глаза видели через эти камни, через тайгу, через степи, через белую армию, через Урал, — своих, ровный и торжественный шаг миллионов и миллионов людей, уверенных в себе и ничего не забывающих. И видели — хотя и не знали, быть может, и не чувствовали этого — и Персию, Индию, Китай, Англию и далекую Америку... Им всем туда — эта с кровью сердца и с торжеством победы песня:

Вперед, вперед, вперед...

За сосной, огромный, неподвижный и желтый, как медный идол, сидел неподвижно капитан Шипов и с отчаяньем повторял:

— Конец. Ничего не поделаешь... Конец...

Действительно, когда через несколько минут партизаны выбежали на вал и закричали:

— Товарищи, бросай винтовки! — атамановцы вскочили и, словно проснувшись, вдруг почувствовали, что наступление кончилось и нужно делать что-то другое. Они опустили винтовки и, срывая погоны с плеч, привстали и подняли руки.

Тогда-то капитан Шипов достал из кобуры свой новый, с перламутровыми украшениями на ручке револьвер и выстрелил себе в рот.

1921

АЛТАЙСКИЕ СКАЗКИ

I. КУРГАМЫШ — ЗЕЛЕНЫЙ БОГ

Туянчи-Осень траву поела, листья дерев жует. Старая, злая; нос — чисто гнилой сучок, лицо — прошлогодняя саранка. Клыки скалит.

— Все пожру!

Дрожат листья, жмутся — умирать никому не хочется.

Ладно.

По Желтому озеру на бревне плывет Кургамыш — зеленый бог. Лицо широкое, ласковое лицо, а глаза, как у лошади — большие. Хохочет:

— Гу-у... Я плыву... Гу-у...

Эхо кувыркается со скалы на скалу, с горы на гору. Ручьи бьют каплями серебряными о камни:

— Ти... ти... ти...

Здравствуются с зеленым богом.

Туянчи увидала его. Озлилась еще сильнее. На кедр вскочила. Шипит:

— И тебя слопаю!

И Кургамыш ее увидал. Как вскрикнет:

— Зачем лес портишь, кикимора?

А та как плюнет. Слюна в озеро пала, льдинками поплыла. Холодом пахнуло.

Кургамыш тоже рассердился.

— Я тебя! — кричит.

Выскочил на берег, к Туянчи бросился. Схватились они биться. Черным клубом пыль идет, вода кипит; горы стонут. Тайга колеблется, как бешмет от ветра.

— Убью! — рычит Кургамыш.

— Съем! — шипит Туянчи.

Ладно.

И день. И два. И три. Конца битвы не видать...

Только листья качаются, жмутся, молятся:

— Хорошо бы Кургамыш победил! Ах, хорошо!

Узнал старый бог Кутай, всем богам бог, у которого трон из чистого золота в тени березы с алмазными листьями, а подножье — облака, а конь — синегривый, а чамбырь из красного гаруса. Сказал:

— Нельзя богам сердиться, накажу. Бросьте.

А те не бросают. Кургамыш отвернул лицо от драки, крикнул:

— Вот убью и брошу.

И опять за лицо Туянчи схватил.

И махнул рукой старый бог Кутай. Рассердился.

В невидимом вихре понеслись Туянчи и Кургамыш. Крутятся, вертятся.

Ветер. Стужа.

Зима, по-вашему, приходит.

Когда повернется к земле Туянчи — космы упадут на бор, вздохнет — снег идет, холодно.

Кургамыш повернется — оттепель, солнце выглянет.

И так долго носятся.

А потом Вунт едет — конь у него белый, седло из старой меди, а подковы из китайского золота.

Улыбается.

— Будет,— говорит,— тепло надо. Уходи, Туянчи.

Туянчи прячется в логовище. Злится, когти точит.

— Подожди...— шипит.

Опять плывет по Желтому озеру Кургамыш — зеленый бог. Хохочет:

— Гу-у... Я плыву... Гу-у...

Травы ему кланяются, ароматы курят. Листья навевают прохладу. Радуются:

— Наш бог плывет...

А он лицо широкое, лохматое, как кедр, во все стороны поворачивает. Хохочет от радости:

— Гу-у... Гу-у...

II. БАРАН

Ходит баран по горам. Жирный.

Ладно.

Кучича — злая ведьма — в болоте лежит. На солнце брюхо греет. Думает:

«Если год брюхо на солнце держать — сильно оно блестеть будет?»

И видит — вверху, по горам, баран ходит. Курдюком трясет.

Говорит Кучича:

— Баран! Дети есть у тебя?

— Есть,— ласково отвечает баран.

— Хочешь,— говорит Кучича,— научу их брюхо на солнце греть?

Думает баран:

«Если я по горам лазить умею да еще мои баранята брюхо греть научатся (а это что-то, должно быть, умное), и совсем хорошо барану на свете жить будет».

Говорит баран:

— Учи.

Ладно.

Одно лето — зима выпила, другое выпила, только за третье принялась — пожелтело оно с перепуга...

Говорит Кучича:

— Бери своих баранят. Научились.

Обрадовался баран, с радости из курдюка сало даже закапало. Говорит:

— Спасибо.

Видит: тащатся в гору баранята. Втрое жирнее отца. Втащились — и хлоп!

Лежат кверху брюхом. Шерсть только шелковистую ветер на брюхе в колечки завивает.

Ладно.

Лежат. Солнце брюхо им греет.

Думает баран:

«Вот сейчас, должно быть, оно и придет».

Ждал, ждал. Ничего не дождался.

Говорит:

— Айда, баранята, по горам лазить.

— Нет,— отвечают баранята,— брюхо тогда солнце греть не будет. Не пойдем.

Лежат да еще кричат на отца:

— Тащи травы! Жрать хочу, видишь, брюхо морщится с голоду.

А Кучича в болоте от радостной злости лапами в кочки бьет, прыгает: вот, мол, наделала.

А баран — все тоньше и тоньше — и курдюк пропал. Плохой стал баран.

А баранята по-прежнему брюхо греют.

Ладно.

Узнал дух Ори про Кучичу, плюнул и сказал:

— Вот дура, как теперь баран без курдюка будет.

Рассердился. Взял Кучичу в сало превратил и барану в курдюк всунул.

— Болтайся,— говорит.

А баранят съел.

— Все равно,— говорит,— не заблестите.

Я говорю: вот почему, когда барана на спину положишь,— орет, а курдюк редко хорошему человеку достается — Кучича там торчит. Злая.

Ладно.

III. КУЯН

Койонок-бог (борода — пихта верхушкой вниз) сидел в тени березы с золотыми листьями. Иримчик жует и губами толстыми (доволен!) шлепает:

— Н-на!.. Н-на!..

А там, подле подошвы горы, далеко, заяц Куян, обжора, траву щиплет.

Смотрит на Койонока, пыхтит:

— Хорошо богу живется. Волков на него нет, коршуны трусят. Благодать!

Пощиплет траву, ноздрей поведет, недоволен. Говорит:

— Хоть бы мне листьев золотых с березы поесть.

Ладно.

Куян долго думал (от думы даже шерсть полезла), решил:

— К богу Койоноку пойду.

Пришел.

— Здравствуй, бог,— говорит,— как живешь?

Койонок отвечает:

— А ничего живу. Хорошо. Даже иногда надоедает так жить.

— Как не надоест,— говорит Куян,— ишь борода-то какая большая. Как следует чесать — год чесать надо.

— Верно,— отвечает Койонок,— долго надо чесать.

Молчат и друг на друга смотрят.

Ладно.

Куян говорит:

— Хочешь, сказку расскажу?

Бог Койонок думает: «Какие у зайца сказки!»

Но (добрый был) отвечает:

— Рассказывай.

Куян сел около кошмы, расшитой шелком, у ног бога. Сам на листья смотрит, облизывается, а сам говорит...

А так как все время облизывался — хорошо у Куяна выходило. И степь будто не степь, а кумыс столетний. Колки — не колки, будто аракчины, каменьями разукрашенные, по степи разложены.

Ладно.

Койонок крякнул одобрительно:

— Эк!.. вот заяц!

Спокойно ему стало. Уснул. С кошмы свалился.

Заяц сейчас к березе, давай листья жрать. До того нажрался, брюхо, как шишка кедровая, крепкое стало.

Нажрался, уснул.

Ладно.

Богу Койоноку снятся сны дурные. Неприятные для бога сны,— то лошадь разнесет, то вместо айрана грязь пьет.

Еле проснулся.

Чует — затылок ему солнце печет.

«С чего бы это,— думает,— тень всегда хорошая была».

Смотрит — на березе половины листьев нет.

А Куян рядом спит.

Одна лапа на брюхе, во рту торчит половина листочка.

Койонок озлился, фыркнул:

— Что ты наделал? А?

Заяц вскочил и от сытости говорить не может.

— Тьфу! — сказал Койонок. — Какая рожа паршивая. Ступай. — И в наказанье сказал: — Будет тебе, обжора, лучшей пищей кора — осиновая, горькая.

Поднялся, начал листья новые делать.

Ладно.

Вот когда осенью лист на березе зажелтеет, заяц боится подойти к коре. Трясется, душа у него прыгает. А идет. Трясется, а идет. Жрать надо.

IV. АЮ

Говорит Уртымбай:

— Хочу медведя Аю убить. Белолобые много жгучей воды за шкуру дадут.

Хороший охотник был — любил хвастать.

Пошел.

Ладно.

Аю вылез из берлоги, на Уртымбая идет.

Пустил стрелу Уртымбай.

Мимо.

Пустил другую — в плечо угодила.

Не успел ножа выхватить, медведь навалился. Обнял. Давит.

Думает Уртымбай:

«Пропал. Не попью кумыса больше».

А медведь Аю — клыки в пене, трясется весь, кровь из раны по шерсти брусникой катится.

Озлобился.

Только хотел давнуть Уртымбая, да невзначай в глаза ему взглянул.

Увидал Аю-медведь в глазах Уртымбая — маленькая морда, желтые клыки и пена на них.

И Уртымбай увидал свое лицо — серое, как солончак, и бороденка — как горсточка сухой травы.

Как заноза в глаза Аю вошла.

Заревел!

Отпустил Уртымбая.

И ушел Аю в тайгу.

Уртымбай, чимбары поддерживая, в аул прибежал. Хвастается:

— Вот я какой, чуть медведя своими руками не задавил...

V. КАК ЛЮБИЛ КАРА-СУ

Поток горный Кара-Су любил кувшинку Йгу, что в заводях росла. Большая, желтая, как глаза зеленого бога Кургамыша.

Ладно.

Целует, ласково подергивает плечами мягкими Кара-Су. Йгу, как амулет, подпрыгивает, смеется.

— Тль... тль...

Кара-Су говорит:

— Почему ты меня одного не любишь? Всем смеешься. Небу, берегу. Всем. Я так не хочу.

Смеется Йгу, говорит:

— Не могу... тль... тль...

А ветер Чойном завидовал Кара-Су. Все впитывает в себя — небо, берег, тополя. А он, ветер — запахи одни от трав.

Говорит он Кара-Су:

— Бери себе кувшинку на дно, я помогу.

Стал ветер Чойном расшатывать Кара-Су.

Волны сначала улыбались. А потом сжались и схватили кувшинку за горло.

Не поддается Йгу.

— Тль... тль...— Бежит она по волнам, смеется.

Волны — черные.

А та желтые перышки отряхивает, смеется:

— Тль... тль...

Ветер призвал Осеннего Брата.

Осенний Брат пришел — прелью запахло. Понюхал носом (как гриб нос — широкий). Сказал:

— Могу.

Наскочил на тополь.

Хрук!.. Сучок сломался, в поток упал.

Сел на сучок Осенний Брат, наплыл на кувшинку и перерезал ей горло.

Улетели братья.

Закрутился Кара-Су от радости. На дно поволок Йгу.

— Ага! — говорит.

Ладно.

Только завяла кувшинка Йгу. Без солнца. Без ласкового бога Кургамыша.

Заболел с тоски Кара-Су. Бросаться на берег стал, а потом со стыда закрылся белым чувлуком, как киргизка, и бредит — летом, тайгой, Йгу.

Пришел Зимний Брат и со свистом (двух зубов не хватает во рту) завыл:

— Сщшуии... щшуии...

VI. КЫЗЫМИЛЬ — ЗОЛОТАЯ РЕКА

Было, видишь, так.

Полюбила девушка Кызымиль, красивая девушка (как черемуха весной), доброго бога Вуиса. Розового, сочного, крепкого — как шишка кедровая.

Ладно.

Вышла на елань, к солнцу лицо повернула, волосы распустила. Говорит:

— Вуис! Вуис! Я тебя люблю.

Прилетел Вуис — радостный бог.

Улыбнулся, сказал:

— Ты — хорошая. Я тебя тоже полюбил. Только бог Кутай — старый, сердитый бог... Нельзя мне тебя любить, рассердится Кутай.

— Люблю Вуиса,— говорит Кызымиль, а у самой глаза, как у марала, блестят — красивые глаза.

Поглядел Вуис, поглядел. Вздохнул:

— Не знаю, что и делать.

Думал много. Говорит:

— Лучше я в человека обернусь.

Отпустил коня на волю. Лук взял, сапоги надел. Человеком сделался.

Ладно.

Узнал старый бог Кутай. Говорит:

— Как быть тут?.. Нельзя же богу человеком жить. Так, пожалуй, все боги с неба сбегут.

А Вуис в это время в лесу охотился.

Вот и вошел Кутай в Аю-медведя.

В лес спустился. На Вуиса кинулся.

— А! — сказал Вуис.— Хорошая шкура — сошью Кызымиль шубу. Убью медведя.

Да не мог убить.

Медведь Аю человека Вуиса убил.

Опять стал духом Вуис.

Говорит Кутай:

— Ступай на небо, Вуис. Нечего тебе делать на земле. Ступай. А Кызымиль заточу в воду — не смущай бога.

Ушел Вуис на небо.

Как узнала Кызымиль о смерти Вуиса, затосковала.

Горевала, горевала. В реку бросилась. Умерла.

Увидел смерть Кызымиль бог Вуис.

— И-шь...— сказал и слезу уронил.

Пала та слеза — белая слеза радостного бога Вуиса — в реку, смешалась со слезами Кызымиль — золотая стала река.

Вот катится в Черных горах Кызымиль-река, желтая, золотая река.

— Ох... ох...— к скалам жмется, жалуется.

— Ах! — вздыхают скалы (чем поможешь!).

— Ох... ох...

VII. КАК СОГРЕШИЛ АЯНГУЛ

Много лет спасался на горе Тау старец Аянгул.

До того молился, что борода в землю вошла, а ноги мхом покрылись.

Шепчет чуть слышно:

— Кутай, смилуйся, спаси.

Ладно.

Ехал мимо бог Вуис, старца увидал.

— Что делаешь здесь? — спрашивает.

Головы не повернул старец. Отвечает сердито:

— Или не видишь? Молюсь.

Поехал бог Вуис к старому богу Кутаю, сказал:

— На горе Тау старец Аянгул молится, борода в землю вросла, ноги мхом покрылись.

Удивился старый бог Кутай:

— Так долго молится, а я и не знаю.

Прилетел на гору Тау, говорит Аянгулу:

— Я — Кутай. О чем ты меня молишь?

Пал лицом ниц Аянгул.

— Прости меня, многогрешного, помилуй.

И сказал Кутай:

— Говори твои грехи. Может, и помилую.

Рассказал свои грехи Аянгул.

Качает головой Кутай:

— Грехи твои, как и грехи прочих людей. Может, еще что другое есть? Говори все.

— Нет у меня больше грехов,— отвечает Аянгул.

Удивился Кутай:

— Зачем же молился так долго?

Опять упал ниц Аянгул.

— Еще слово хочу сказать тебе, могучий Кутай.

— Говори.

— Молился я еще, Кутай, за людей, за их грехи, за их беззакония тяжкие.

Покачал головой Кутай.

— Напрасно молился, Аянгул. Мало у людей грехов, да если и делают какие — по незнанию, по неразумию своему. Поживи ты с ними, тяжело им жить. И ты согрешишь. А грехи их я все давно простил. Ступай к людям, Аянгул, холодно на горе Тау.

Рассердился Аянгул. Плюнул.

— Сколько лет молился, борода в землю вросла,

ноги мхом покрылись, — и все напрасно. Не Кутай ты, а злой дух Ону! Уходи!..

Тогда поднял Кутай Аянгула над землей. Сказал:

— Смотри!

И увидал Аянгул то, что говорил ему Кутай. Заплакал. Сказал:

— Велик грех мой — не поверил Кутаю. Прости.

Сказал старый и хитрый бог Кутай:

— Прощаю. Иди к людям и скажи: Кутай верит вам. Когда-нибудь упадет скорлупа — и можно будет увидеть чистый и вкусный плод.

VIII. КОГДА РАСЦВЕТАЕТ СОСНА

Летел над Черными горами дух Ону — злой дух. Конь у него сизый, седло из серого камня, а подпруга из желтой кожи.

Ладно.

Видит, дым густой над тайгой стоит. Гарью пахнет.

Старая ведьма Кучича обед себе варит.

Ону говорит:

— Жарко, поди, Кучича? Почто небо коптишь, нет разве тебе зеленой пищи?

Кучича длинным языком нос облизывает. Отвечает:

— Говорят люди про добро. Не знаю я — что за добро такое. Вот поймала праведного человека, изжарю, съем. Может, тогда пойму.

Любопытно Ону — как человека есть будут.

— Может, мне поесть дашь? — спрашивает.

Ладно.

В ту пору расцветала сосна. Пахучая, добрая, смолой обливаясь, шепчет:

— Ишь что боги делают. Разве можно людей есть? Не надо.

— Молчи! — затопал ногами Ону, закричал, бородой затряс. — Богам будешь указывать?

Сосна ветками зашелестела:

— Я разве указываю? Боги — они умные, их учить нельзя.

И пахнула цветистым духом.

Вот и варят человека, дров не жалеют.

— Скоро готов будет!

Подскочил от нетерпения на коне Ону.

— Поедим! Люблю я мясо.

— Мясо — хорошая пища,— согласилась Кучича и брюхо погладила.

Зашумела сосна:

— И-ишь... и-ишь...

Дальше шум ее пошел. По вершинам, дальше. По горам, по горам, к самому старому богу Кутаю.

— И-ишь... и-ишь... боги человека варят... и-ишь...

Услышал старый бог Кутай, спрашивает:

— Что там делается?

Говорит сосна:

— Праздник у меня, а бог Ону да Кучича на моих ветках человека варят.

— Тоже придумают,— сказал Кутай, бешмет на плечи надернул, полетел к Черным горам.

Говорит Кутай:

— Чего вы?

Бог Ону ногу в стремя вставил (напугался!). Говорит:

— Это Кучича. Я тут за порядком смотрю. Она это.

Осердился старый бог Кутай, плеткой на Ону замахнулся:

— Я тебя!

Бог Ону зубы оскалил, отпрыгнул:

— Ты не больно-то!..

— Убирайся! — сказал Кутай и плетью Ону ударил.

В смрадном дыме скрылся Ону.

Схватил Кутай Кучичу за шею, в болото швырнул. Круги пошли. Утонула.

— На! Злая!

Говорит Кутай:

— Надумают ведь. Добро захотели узнать? Я человека-то сам сотворил и то не могу понять, откуда у него добро-то появилось. Да-а...

Пошел отдыхать Кутай — всем богам бог — на свой трон, на облаке в тени березы с золотыми листьями.

Вот поэтому-то, когда расцветает сосна, из болот зловонные пузыри выходят: Кучича сердится.

Да вихри над тайгой проносятся — черные, злые вихри,— дух Ону сердится.

Это когда расцветает сосна, пахучая, добрая, смолой обливаясь.

IX. ТЕКЕ-ТАУ, ГОРНЫЙ КОЗЕЛ

Камень под копытом — пух. Пади под камнями — паутина.

Во-о, как скачет Теке-Тау!

Заскочил на самую большую гору — Белуху. Смотрит вниз, говорит:

— Как прыгну на землю с Белухи, пробью землю насквозь. Пробью землю и в гости к самому Кутаю попаду.

А Кутай-бог, всем богам бог, стоит подле, табак за щеку сует. Говорит:

— Зачем землю портить. Я столько трудился, землю делал. Это тебе не лодка.

Ладно.

Точит Теке-Тау рога о камень. Блеет так — реки мерзнут.

Говорит Кутай:

— Не сердись. Чего надо?

Отвечает Теке-Тау:

— Хочу с тобой бороться; видишь, рога как кедры. Зачем мне такие рога, хочу богу брюхо распороть.

Вздохнул Кутай. Подтянул пояс, бороду за ворот бешмета всунул, поплевал в ладони.

— Давай,— говорит.

Разбежался Теке-Тау, в подбородок Кутая — хло-оп! А Кутай его за рога и давай по горам!

Заревели горы. Заревела земля. С неба сало посыпалось.

Шайтаны и духи со всех гор летят.

Спрашивают (беспокойство!):

— Почему земля орет?

— Почему горы, как балалайки, гудят?

Говорит Вуис на белом коне:

— Кутай с Теке-Тау борются.

Ладно.

Народ на земле, известно, работал. Смотрит на небо (на небе!), небо как котел перевернутый,— черно, и будто лупят по нему кулаком.

Закричал народ (и темно и страшно):

— Ой-бой!.. ой-бой!..

А скотина посмотрела — ревет человек,— они землю грызть!

Совсем плохо.

Говорит Вуис:

— Бей козла, Кутай!

А козел Кутая и в бок и в спину. Сам зубами ляскает, кричит:

— Я тебе покажу, как по земле ходить!..

И еще свое козлиное, непонятное.

Запыхался Кутай, говорит:

— Так не годится.

Схватил Теке-Тау за ноги и — рогами об землю! Воткнулись рога в землю. Висит на них Теке-Тау, как орех на кедре.

Борода оттянулась, рот закрыла — кричать нельзя.

Ладно.

А Кутай ушел на свои места, сел под березу с серебряными листьями. Кумыс пьет, на небо смотрит: а небо мутное, как вода весной.

Говорит Кутай:

— Ишь нагадили! Надо опять небо чистить.

А Теке-Тау на рогах стоит, волосом оброс — совсем кожи не видно, один волос.

Говорит Вуис самому старому богу Кутаю:

— Надо Теке-Тау простить, время прошло много. У тебя, поди, спина не болит?

— Прошло,— отвечает Кутай.— Вот ведь какие ему рога сделал, самому больно. — Кнутом махнул. — Прощаю.

Вскочил Теке-Тау, рога отряс.

Говорит:

— Ты зачем меня обижаешь? Зачем копытами за рога взял? Раз у тебя рогов нету — не дерись, кабы не копыта твои, я бы брюхо твое, как ягоду, проткнул. Не хочу!

Фыркнул, разбежался и со скалы рогами в землю — а-аш!..

Взрылся и повис. Только копытом воздух лягнул.

Так и посейчас висит.

X. УЁНЧИ ДОКАЙ

Жил уёнчи-певец Докай. Веселый, толстый — борода, как травы.

На домбре играет, — не струны — кобылы ржут. А голос у него, как половодье, широкий.

Ладно.

Полюбила его ханская дочь. Тоже толстая, тяжелая — жир в два пальца, спать может подряд месяц.

Вышел Докай к озеру Нор-Зайсан, в камыши, кричит:

— Э-эй!.. Кто веселей Докая, ну!

Молчит озеро. Камыши шипят. Утки по своим делам кричат.

Кричит Докай:

— Нет веселей ни человека, ни зверя!.. Или есть, ну?..

Не откликается. Вся степь молчит.

Сломал домбру Докай, струнами штаны подтянул. Сказал:

— Хочу быть богом.

Кучича, старая ведьма с прорехой в голове, прилетела к Кутаю, говорит:

— Уёнчи Докай богом хочет быть.

Кутай был сытый — брюхо гулом гудело. Сказал:

— Пущай будет. Ишь...

И уснул.

Сделался Докай-уёнчи богом.

Юрту в полнеба выстроил. Баб у него, как комара летом. Умывается маслом коровьим.

Говорит:

— Почто брюхо у меня маленькое? Хочу, чтоб брюхо с Нор-Зайсан было.

Стало у него брюхо — табун лошадей загнать можно. А рот такой же маленький, чтобы дольше мясо жевать.

Лежит и жует. Спит и жует: духи ему во время сна мясо в рот подкладывают.

Ладно.

Жевал, жевал Докай — надоело. И бабы видеть не может.

Лежит Докай, пальцем в небо тычет. Проткнет дыру и дует в нее. Дует, пока дыру как пропасть не раздует.

А потом глиной замажет.

И стало небо все в заплатах.

Сказал Докай:

— Почто у вас тут плохо? Песни петь некому, сами если захочете, так же пропоете. Хорошего барана скормить некому, вам и самим надоело.

Снял бешмет московской парчи; сапоги из тигровой шкуры, кнут золотой. Голый пошел облаками.

— Хочу,— говорит,— на землю.

Проснулся Кутай, всем богам бог. Брови от глаз отвел, зрачок ногтем прочистил, кисет достал.

— Кто там,— спрашивает,— по облакам пищит?

А Кучича тут же подбородком вертит:

— Всё, — говорит, — Докай-уёнчи... На землю хочет.

Сказал Кутай:

— Пущай идет.

Ладно.

Как береза зимой — голый шел Докай.

Смотрит — на дороге старуха. От зубов щелки; от голосу — пепел. Совсем гнилая баба.

Обрадовался ей Докай.

— Давно,— говорит бабе Докай,— земных людей не видал.

Пощупать брюхо хотел, — а брюхо по ногам ползет, трясется. Забыл брюхо-то переменить.

Пришел Докай с небесным брюхом на землю.

А баба, старуха веселая, трясет его за брюхо, прыгает. Говорит ему:

— Женись на мне. У меня скота много, кумыса — реки, а баурсуков в меду, как грязи.

Стыдно Докаю, струсил — неловко с таким брюхом по земле ходить.

— Женюсь,— говорит.

Посадила баба Докая в юрту, брюхо по юрте на веревочках развесила. Баранов колет, кормит Докая.

Ходит народ, брюхо щупает, хохочет.

А баба пыль с брюха сметает. Мышей опять отгоняет,— сгрызут.

Ладно.

Услыхала ханская дочь, что Докай на землю вернулся. Пришла, села перед Докаем, плачет:

— Зачем на небо ходил? Все песни, поди, забыл...

Подумал Докай, горло попробовал.

— Нет,— говорит,— не забыл.

Обрадовалась ханская дочь.

Сказал Докай:

— Пропою.

— Пропой.

Распахнула уши ханская дочь.

Запел Докай, а песня-то у него в брюхе ходит, тыкается. Пот по брюху пополз, как снег затаял.

Не идет наружу песня.

Головой вертит Докай, горлом вертит, губы — как собаки на медведе.

Нету песни.

Сказала ханская дочь:

— Потерял песню... Тело потерял... Зачем на землю пришел? Куда тебя?

Молчит Докай. Ушла ханская дочь.

Тоскует Докай. На небо глядит через дымовую дыру в юрте.

Говорит:

— Хочу на небо... Хочу с Кутаем жить!..

Старуха ему брюхо чистит. Баранов колет. Баурсуки в меду, белые.

Тоскует Докай.

Ладно.

Сказал Вуис — весенний бог:

— Кутай! Уёнчи Докай на небо просится.

Расправил Кутай бороду. Ичиги на ноги крепче натянул, бараний жир с блюда слизывая, ответил:

— Куда мне его... Пущай на земле растет.

Расправил по кошме чимбары — штаны. Малахай лисий снял, пыль сдунул.

Вздохнул.

1921

КИРГИЗ ТЕМЕРБЕЙ

Темербей спал на кошме, когда прибежал сынишка и, дергая отца за рукав кафтана, прокричал плаксиво:

— Эый, апа! Лошади нету.

Темербею спать не хотелось, но все-таки он (дабы сын не подумал: сильно, мол, отец беспокоится) повернулся на другой бок и вяло проговорил:

— Уйди! Спать хочу.

Сынишка же плаксиво продолжал рассказывать, что спутал лошадь, пустил в степь, а она порвала путы и убежала. И он тряс плетенными из конского волоса путами.

— Нету лошади, апа.

Темербей полежал, сколько ему понадобилось, затем встал, пощупал жесткие путы и, повесив их на перегородку, сказал:

— Долго воевать русские будут? Штанов нету, брюхо, как арбуз, голое, — тьфу!..

Лошадь, знал Темербей, бродила недалеко, и он решил отправиться пешком, лошадь смирная, и ее можно изловить без аркана. Он подтянул пояс, хозяйственно оглянулся, взял недоуздок и пошел в степь.

Аул Темербея маленький: семь темно-серых, похожих на грибы юрт. У прикольев, полузакрыв розовыми веками влажные глаза, дремали тонконогие жеребята. Пахло кизяком и овцами.

За прикольями — степь; жгущий ноги песок и беловатое, безоблачное и жуткое поэтому небо. День только что начинался, а жара такая же, как и вчера к вечеру, — и словно не было короткой ночи.

Темербей ходил долго, думал, откуда бы достать чаю, выбирал в уме, какого барана отвезти к казакам для мены — может, у них найдется чай. А черные зрачки в узких разрезах глаз шарили по степи — нет ли

лошади. Одно время он почувствовал под пяткою в сапоге песок, он отставил кривую ногу, наклонил голову, взглянул. Как раз над пяткой у сухожилия ичиг лопнул.

— Тыу!..— недовольно шлепнул губами Темербей.

Он сорвал пучок высохшей травы и заткнул прореху. Срывая траву, он вспомнил, что в степи засуха и что с самой весны (а вот скоро и конец лета) не было дождя. Ему стало тоскливо, и, чтобы скорее вернуться домой, он пошел быстрее.

Он исходил верст восемь, когда встреченный киргиз сказал:

— Темербей! Лошадь твою Кизмет поймал и к тебе отогнал домой.

С Кизметом Темербей давно был в ссоре, и известие такое ему не понравилось.

— Что он обо мне заботится? Сам бы нашел,— сказал Темербей, отходя от киргиза.

Знакомец хотел предложить довезти Темербея до аула, но, видя его недовольное лицо и вздернутые кверху два клочка волос на подбородке, попрощался.

— Кошь!

И слегка тронул лошадь толстой нагайкой. Лошадь весело махнула хвостом и бойко пошла иноходью.

Темербей же досадовал и на Кизмета и на знакомца, не предложившего довезти. Он, не зная зачем, пошел дальше в степь. Так он прошел с полверсты и успокоился, а как только успокоился, то почувствовал усталость.

Он поднялся на холм и лег в густые кусты карагача. От них ложилась, правда, жидкая тень и пахло смолистостью. Темербею захотелось спать. Он заложил за щеку носового табаку, попередвигал по деснам мягкий ком и скоро почувствовал приятный туман в голове.

— Что мне! — довольным голосом сказал он, сплевывая.

Потом он снял бешмет, свернул его клубочком и остался в грязной ситцевой рубахе и в штанах из овчины шерстью наружу. Он рукой выровнял песок, положил голову на бешмет и, проговорив: «Хорошо!» — уснул.

Проснулся он от конского топота и еще какого-то странного, незнакомого ему звука, словно били чайником о чайник. Темербей взглянул вниз, в лощинку.

К холму, на вершине которого в кустах карагача лежал Темербей, подъезжали одиннадцать человек. Пра-

вда, это спросонья показалось Темербею, что они подъезжали, — двое из одиннадцати шли пешком, а один был даже без шапки. В сопровождавших этих двух пеших людей Темербей узнал нескольких знакомых из поселков казаков. Он хотел выйти из кустов и поздороваться, но странный звук повторился.

— Дьрынн!.. Дьрынн!..

Качавшийся в седле казак бил шашкой по стволу ружья и подпевал:

Волга-матушка широка,
Широка и глубока...

Лицо казака — круглое, с маленькими, цвета сыромятной кожи, усиками, весело улыбалось. Ему, должно быть, доставляло удовольствие и собственное пение, и звук, производимый им ударом шашки о ружье.

Разглядывая его, Темербей заметил, что все казаки с ружьями, а двое пеших без ружей, и Темербей подумал, что лучше ему не вылезать.

Люди и лошади спустились в лощинку, и казак с бородой, блестящей и чистой, как хвост у двухлетка-жеребенка, с нашитыми на плече белыми ленточками, сказал что-то по-русски, после чего все казаки спешились. Лошадей увели в степь и спутали там.

Темербей подумал, что, вероятно, хотят варить чай, и ему опять захотелось выйти из кустов, но он подумал: «Почему сразу не вылез? Трусом назовут и будут смеяться».

Он очень уважал себя — ему стало стыдно, и он остался.

Казак помоложе принес две лопаты с короткими, плосковатыми рукоятками, он стукнул их одна о другую, сбивая присохшую на концы лопат глину, после чего передал их пешим людям.

Один из пеших — высокого роста человек, без шапки, в черных штанах, спущенных на сапоги, стоял, широко расставив ноги и насупив бритое с острым носом лицо. Концы штанов были очень широки, и сапоги почти тонули в этих больших кусках сукна. На нем была коротенькая тужурка с блестящими пуговицами, как у чиновника, и на тужурке лежал выпущенный ворот рубахи. Рубаха была из белого холста, а длинный ворот падал на спину, закрывая лопатки, и ворот этот был синий с белыми каемками. Лицо у этого человека загорело тем

особенным коричневым загаром, который приобретают люди, впервые приехавшие в Туркестан. Солнце, должно быть, сильно палило ему голову, и оттого он часто поводил выгоревшими, почти белыми бровями и с силой сжимал веки.

Второй был ниже своего товарища, с рыхлым сероватым лицом. Он был курнос, и его толстые губы постоянно, словно нехотя, улыбались. Одет он был так же, как и казаки: в штаны и рубаху цвета осенней травы, на макушке головы торчала тесная фуражка с полинялой красной ленточкой у козырька.

Казак с белыми тряпочками на плечах отмерил три шага и, топнув ногой, сказал что-то по-русски. Маленький пеший человек подошел и ковырнул лопатой землю там, где топнул казак. Казак отодвинулся и еще топнул, пеший человек опять ковырнул лопатой. Второй пеший, отвернувшись от товарища, держал лопату под мышкой и, почти не моргая, глядел в степь, и непонятно было Темербею, скука или что иное было на его лице.

Остальные казаки лежали и курили, горячо о чем-то рассуждая. По обрывкам киргизской речи, вставляемой время от времени в разговор, Темербей понял, что они говорят о покосе и о том, что старики неправильно роздали делянки покосов. Один казак, заметив пристальный взгляд в степь человека без шапки, поднял кулак и погрозил ему.

Человек без шапки отвернулся и стал глядеть на своего товарища. Маленький человек уже отмерил четырехугольник, и всковыренная черная земля походила на крышку широкого и длинного ящика, брошенного среди зеленой кошмы трав лощинки.

Потом двое пеших взяли лопаты и стали рыть землю. Казаки лежали там же и спорили о покосах.

Казак с белыми тряпочками на плечах сидел в трех шагах от работавших; в руках у него была винтовка, а шапку он положил на колени. Его кирпичное, с редкими усами лицо выражало скрытое удовольствие, словно он в первый раз присутствовал в гостях у какого-то большого чиновника, а с другой стороны — ему, должно быть, очень хотелось домой; надоела эта степь, горячее солнце, и хотелось тени. Он несколько раз взглядывал на кусты карагача, где лежал Темербей, но они были далеко, — шагов двадцать — двадцать пять, и ему не хотелось или нельзя было идти. И он сидел по-киргизски,

поджав ноги и положив грубые и грязные пальцы рук на ложе ружья.

Двое же продолжали, низко пригибаясь к земле, рыть. Влажная черная земля с блестящими нитями корней травы отлетала и жирно шлепалась. Уже появился бугорок, а Темербей все никак не мог понять, для чего роется эта яма.

Низенький человек уронил лопату, и высокий, быстро наклонившись, подал ее ему. На курносом лице низенького промелькнуло неудовольствие, что уронил лопату, и радость от услуги.

Высокий далеко отбрасывал землю и, видимо, работал неохотно, так что казак указал ему лениво рукой,— поближе, мол, клади! И Темербей сразу узнал хорошего хозяина — действительно, зачем отбрасывать далеко, если землю понадобится засыпать, только лишняя работа. Высокий же не послушался и продолжал, словно со злостью, далеко откидывать землю. Темербею такое непослушание не понравилось. Казак ничего больше не сказал, и Темербей подумал: «Наверно, работа казенная, раз так к ней относятся».

Низенький же работал лучше. Он не спеша брал полные лопаты земли и складывал их аккуратно, иногда сверху пришлепывая, и, когда стукала лопата о землю, он улыбался толстыми губами. Скоро он вспотел и, расстегнув ворот рубахи, закатал рукава. Высокий человек скинул короткую тужурку и отбросил ее в сторону. Молодой круглолицый казак, разбудивший Темербея пением, вскочил и быстро схватил тужурку. Торопливость эта показалась непонятной и жуткой Темербею, а казак понес и показывал тужурку с таким видом, словно она стала его собственностью.

У Темербея начинала болеть голова — и от неудобного положения тела в кустарниках, и от солнца, и от непривычки думать так долго. Хотелось к тому же пить, а вылезти — страшно.

Он закрыл глаза, но с закрытыми глазами было еще хуже. Казалось, войдет сейчас в кусты казак и спросит громко:

— Ты что подсматриваешь здесь, Темербей?

Он опять стал глядеть на работу двух людей.

Низенький, должно быть, устал и, вытащив из кармана грязную тряпку, отер ею пот и, как всегда при тяжелой земляной работе, глубоко и часто дыша,

поднял голову и оглянулся. Лицо его искривилось болью, глаза покраснели; высокий заметил это и сурово указал на землю: дескать, работай! Низенький перервал вздох и продолжал копать.

Казакам надоело спорить о покосах; они по одному, по двое подходили к яме и, взглянув туда, громко ругались. Темербей понимал русскую брань, и, когда казаки ругались, он думал, что они, значит, недовольны медленно двигавшейся работой. Темербею тоже стало все надоедать, и он хотел, чтобы яму скорее выкопали и ушли, чтобы он мог тоже уйти домой и в прохладной юрте, на белой мягкой кошме, прислонившись спиной к ящикам, выпить чашку или две кумыса, а потом пойти к соседям и рассказать им о виденном. Или нет, соседей лучше пригласить к себе.

Но уж давно там, внутри, плескалась мысль: «А зачем они роют? Для чего? Кому?» А сейчас она поднялась, как река во время разлива, и затопила все. И только, как сучья верхушек из-под воды, одиноко прыгали и дрожали мысли об ауле, скоте, сынишке.

И ружья в руках казаков, и лопаты, царапающие землю, и человек с белыми тряпочками — все как-то сразу соединилось и крикнуло словно в лицо Темербею гнилым словом:

«Убить!..»

Сразу как-то понял это Темербей, а когда понял, стало ему страшно. Он почувствовал себя одиноким и в то же время связанным с людьми, совершающими убийство, а сказать «не хочу» — не было силы. И показалось Темербею, что он словно ест дохлятину, и даже начинала щекотать горло тошнина.

А двое «кызыл-урус», красные русские, продолжали работать.

Уже низенький ушел по пояс в землю, а так как двоим в яме работать было тесно, то человек без шапки встал на краю ямы и глядел в степь поверх холмов и кустарников. Темербею было виднее с холма, он подумал, что высокий, наверное, ждет кого-то из степи: Темербею стало жалко их, и он, в тайной надежде увидеть кого-то там, взглянул.

Никого.

Серела редкая полынь кустарника на розовом песке. Глубоко и жарко дышало цвета жидкого молока небо, и горячий воздух был почти уловим глазом.

А высокий человек все смотрел и смотрел, словно хотел улететь глазами в степь. И Темербею было боязно глядеть на его крепкое тело, на загорелое, похожее на заношенное голенище, лицо.

Казак выругался, и высокий человек прыгнул в яму сменить уставшего. Рыхлый пеший, тоже взглянув в степь, отвернулся. Он присел на выброшенную землю, и лицо его, словно по принуждению, жалобно улыбнулось.

Казак с белыми тесемками на плечах крикнул по-русски. Остальные казаки, вдруг став сразу серьезными, вскочили, схватили ружья и выстроились в ряд, как жеребята у аркана приколья. И видно было, что стоять так и слушаться тусклого здесь крика старшего казака было им приятно. Они понимали, что скоро уедут, и лежать здесь на жаре им надоело.

Услышав крик и движение, работавшие выскочили из ямы, и высокий с силой отшвырнул лопату в сторону, так что она врезалась ребром в землю. Они почти одновременно взглянули друг на друга и стали на краю ямы.

«Убьют»,— подумал Темербей, и ему стало стыдно знать по именам и лицам этих казаков и думать, что придется еще где-нибудь встретиться. Он, сгибая хрупкий кустарник, старался плотнее прижаться к земле. Сердце у него билось так, что казалось, стук его отдастся в земле, а телу стало холодно, и голова болела, словно был самый лютый мороз.

Под руками Темербея хрустнул сучок, он весь расслаб и с открытым мокрым ртом глядел, как против двоих встали с ружьями восемь и как один самый старый встал в стороне и приготовился кричать, одергивая рубаху.

Высокий протянул руку низенькому, и тот, подержав ее, как-то нехотя опустил и отвернулся. Высокий дернул подбородком, как дергает лошадь, оправляя узду, и сделал шаг вперед. В это время старший казак закричал, а как только он закричал, восемь казаков выстрелили разом, и Темербей зажмурил глаза. Ему показалось, что выстрелили в него, и он даже ощутил большую боль в плече.

Когда он решился взглянуть, пеших уже не было, а двое казаков засыпали лопатами яму, но им надоела скоро эта работа. Они взяли лопаты и, очищая землю

о подошвы сапог, подошли к лошадям и поскакали догонять уехавших в степь казаков.

Темербей долго не выходил из кустов, но вот поднялся, спустился с холма и подошел к могиле, оставляя на влажной земле следы шагов.

Убитые были почти засыпаны землей, только торчала из земли кисть руки, должно быть, человек упал на спину и вытянул кверху руку. Рука эта была белая, с желтоватым отливом, и у большого пальца на ссадине темнело пятно крови.

Темербей наклонился, чтобы хотя как-нибудь засыпать могилу, но, едва он дотронулся до земли, как вспомнил эту белую руку с длинными пальцами, отскочил от могилы и почувствовал, как непослушные, вдруг вспотевшие ноги, быстро подгибаясь, понесли его в степь. Он бежал, и в то же время его всего охватывало ощущение чего-то большого, неясного,— сознание, что самое страшное начнется сейчас, что у этой могилы он похоронил прежнего, давешнего, тихого, спокойного киргиза Темербея...

1921

ГЛИНЯНАЯ ШУБА

I

Пальма в Сибири не водится,— есть тополь, кедр, лиственница и, конечно, человек при них. Без человека и дереву скучно.

В палисаднике тополь, шипишник между трав. На траве стол, окрашенный в синюю краску, самовар красной меди, чайник, три чашки и люди, чай пьющие.

Подбородки — пот, носы — пот, лбы — пот. Сплошь пот и, капли подмерзающие, глаза.

Чай пили — учитель второй ступени Потапий Отчерчи, тот учитель, до германской войны еще за раз ведерный турсук кумыса выпивший, соборной церкви дьякон Наум Полугодье и упродкомиссар Савелий Скученый.

Все сидели спокойно, как и полагается при чае, только дьякон тонким, как острие бритвы, голоском выговаривал:

— Нет, ты мне объясни подробно все, что и как сейчас по миру творится, тогда, быть может, отляжет мое сердце.

Дьякон вскинул ногу на ногу — коленные чашечки выдаются, как нос на лице, да и ноги худые, словно щепы, а волос на голове черен, волнист, мокр от пота, и на спине подрясник тоже мокр. «Может, поэтому,— подумал учитель,— вместе с потом и душа у него наружу вылазит».

Упродкомиссар Скученый ответил:

— Учитесь все объяснять сами!

Учитель подул на чай и объемным лохматым голосом успокоил:

— А ты, отец, не волнуйся! — и добавил мечтательно: — Нарком-то, говорят, роста колоссальнейшего и завсегда на белом коне появляется.

Дьякону хотелось высказаться, и он торопливо прервал:

— Все врут люди, и ты рассказы пониже пускай, Потапий!

— Мне плевать — что врут, сомневаться лень...

Дьякон неистово крикнул:

— О покое-то и я говорю. Мне объяснение нужно; не имеет права человек свет перестраивать без объяснения своей жизни. А как вы думаете?

Скученый молчал.

Учитель ухмылялся самому себе, и при ухмылке лицо у него свежело и брови и лоб делались ребячьими.

— Неизбежно туда идти надо, по какому праву, а? Силою я от роду одарен неисчислимою, а счастьем обвесили меня при рождении, хоть родители и замечательнейшие люди были. А теперь, на-а!.. чувствую, душа моя мелеть начинает, сердце мое обуглилось, и управлять самим собой не могу... Огнедышащий я!..

— Тротуар,— вставил учитель.

Падают с тополей листья. Один попал в чашку дьякона. Полугодье долго старался поймать его ложкой, лист скользил,— чашка киргизская широка, как озеро.

Дьякон торопливо допил чай и, вытащив пальцем набухший лист, с наслаждением разорвал его, укоризненно взглянув на упродкомиссара.

— Чего молчите? Для чего вас Бог создал — чай пить?

Упродкомиссар устало ответил:

— Я, дьякон, каждый день говорю, говорю. Надоело. Будто кишки у меня в голове-то, а не мозги,— и в кишках тех понос.

— Устал! — жадно крикнул дьякон,— а только три годика прошло, только! А коли лет десяток потрешься так?

— Бросил бы все, когда думаю. Нельзя. Убьют. Как бросишь, так и убьют.

— Кто?

— Там разбирайся! Казаки убьют, киргизы убьют,— может, вы, дьякон, убьете. Жизнь-то дешевле пороху стала. Приходится лучше от своего сердца помирать. Раньше я по гончарному и печному делу робил. Глина эта что твое сукно; что хочешь, то и выкроишь. А теперь людей приходится кроить.

— Хуже работа-то?

— На чей вкус. Шубу больше, все же ничего, тяжело, будто кирпичи-то по десяти пудов... вот тебе и печка.

С одной разверстки ноги протянуть можно. Я так когда думаю: вот тут один уезд только, а какая пахота... ну-ка! коли не губерния, а вся Россия.

— Не берись! Бога не опровергай, не умеешь, не знаешь, ну, не рушь!

— Приходится,— сказал упродкомиссар и даже с какой-то жалостью повторил: — Приходится.

Дьякон вскочил с табурета и, высоко подымая ноги, пробежался по траве. За ним, жужжа, летела пчела. Полугодье остановился, махнул рукой и, поймав пчелу, сжал ее в кулаке.

— Во-от!.. он, бо-о-ог-то!.. Как пчелу, тебя в кулак, д-а-ть!

Дьякон с размаху бросил пчелу на столешник. Пчела дрогнула животиком и обмерла.

— Не лезь, куда не надо! Сан уважай, а раз легковесен ты, туда тебе и дорога.

— Люди неудобные все. Давеча приходит баба из Трифоновского поселка. Жалуется: муж бьет, разведи, грит, меня с ним! Я ее в закс посылаю, там, мол, узнай — никогда я разводным делом не занимался. Ревмя ревет: никого не знаю, окромя тебя. Я, говорит, тебе разверстку впятеро больше доставлю: разведи только! Уверовала, ничего не попишешь.

Учитель взял чашку обеими руками и поднес ее к глазам. В жиру рук незаметно копылков, и вся рука мягкая и нежная, как мокрая губка. В чаю отразились тоненькие, как стружка, облака, верхушки тополей и еще что-то сходное с голосом дьякона — острое, торопливое и презрительное.

— И веровать в вас нечего, веровать в бога надо... а у вас и душа-то разграфленная. Никакой цены такой душе нету! У нас в Расее таких правителей не было.

— Я ведь правитель самодельный и человек жестокий.

— То-то и звонишь, как пустая склянка. Сырье!

— Должно быть, дьякон, созрел я, верют.

— Ты вот меня уверовать заставь! Баба что? Коли ее муж бьет, так она от побоев-то и в метлу уверует.

— А ты трусишь, дьякон,— вставил учитель и подул в блюдечко — облака, тополя, небеса перегнулись и запрыгали, как меха гармошки.

— Отойди, Потапий, дай в человека взглянуть. Я к нему не зря. По делу. Может, больше не придется видеться.

Упродкомиссар провел ладонью по лицу гладкому, обритому на заграничный запах. Увел всякую ласковость с лица, и стало оно спокойное и дельное, как протокол.

— Хоронить меня без попов будут,— сказал он.

Полугодье, кирпичом в воду, упал на деловой разговор:

— Теперь вы мне скажите: подпечек у меня проваливается, что мне предпринимать необходимо?

— А у вас печь-то из сырца или из каленого сложена?

— Я раньше человек обстоятельный был. Из каленого.

Скученый подумал, помолчал:

— Вы ко мне насчет печи?

— Только.

— Давно я этим делом не занимался. Лет пять или шесть. До германской войны еще. У меня инструменту нет. Память одна от работы — шуба глиняная.

Учитель взглянул недоуменно, а упродкомиссар повторил:

— Шуба... глиняная. В глине от работы, старая шуба. У меня всей одежи-то зимней и летней — шуба, тулуп ране барнаульский чудесный был...

Упродкомиссар вынул кисет, закурил трубку.

Дьякон вздохнул.

— Вы советскую власть-то признаете, дьякон? — спросил Скученый.

— Известно, живу.

— А с амвона не агитируете?

— За советскую власть?

— Да.

— Не приходилось. А разве декрет такой был?

— Нет, а так, без декрета.

— Без декрета неудобно, насмешки, подумают. А потом я дьякон, на проповедь не всхожу. Разве когда священником буду — там увидим. Вам на какой предмет?

— Так. Для любопытства.

Помолчали. Упродкомиссар зевнул.

Ясно, отвиливает Скученый.

Полугодье обиделся и решил больше не спрашивать. Поднялся.

Скученый сказал не так чтоб приветливо:

— Сидите!

Руку же пожал им крепко — не то за встречу, не то за уход.

За воротами уже дьякон сказал с ожесточением:

— Возгордившийся властью человек!

— Балда,— отрывисто сказал учитель.

— В Ленины метит, прими во внимание, Прокопий! Насчет глиняной шубы-то ловко, а?

— Чего?

— Дескать, ничем не пользуясь, — в глиняной шубе хожу, а по сану-то ему енотку надо.

— Об енотке-то он, может, и не думал.

Посмотрел учитель сонными глазами в лицо дьякона, темное и длинное, похожее на редьку, и сказал:

— Контры в вас много, отец Наум.

Дьякон необъятно развел руками.

— Говорю — мятежный и огнедышащий я человек!

Учитель повернул в проулок.

— Отдохнуть? — крикнул дьякон.

— Надо. На неделе занятия начнутся.

— Валяйте! А я и сон потерял. Душа болит, Потапыч.

— А ты, отец Наум, квасу выпей — пройдет.

Дьякон поглядел ему вслед и почувствовал вдруг отвращение к жирному заду учителя, к его широким плечам и коротким, упрятанным в чесучовые рукава пальцам.

— Во-от!.. опара-а!..

Улицы. Конечно, песок и бревна, за бревнами трава, степь. Быть может, не город, а так, помышленье одно. На пароходах кто проплывал по Иртышу, пожалуй, так и думал. Но по преданию, выходило — город, следовательно, должен иметь наименование, и было ему, верно, наименование — Павлодар, а киргизы не верили и называли Киреков, потому что существовал здесь умный человек Кирек.

Дьякон шел и горел нутром. Под ногами пыль. Жара. И на душе тоже — плохо.

II

Тоска, как искра в бересте — попадает и пышет. Тушить трудно.

Шел когда к упродкомиссару, отец Наум Полугодье думал о подпечье, дровах и продуктах из деревни, и мысли были такие сытые и приятные, будто бараны осенью, а увидал упродкомиссара — словно разорвался пополам, и пришел домой: ноет в суставах, под глазницами противная тоненькая жилка в коже бьется.

Бегал по двору, задрав хвост и с головою, склоненной на бок, рыжий телок, и хотя телок был, как все телки, радостный и с мокрым хвостом, однако показался он отцу Науму чрезвычайно легковесным, и дьякон крикнул жене:

— Мать! У тебя телята-то, как пух, по двору носятся. Убежит еще.

Жена у отца Наума круглая, книзу как веретено, и голос у нее был тоже круглый и ласковый.

— Ты не ругайся, отец,— отвечала она.

Дьякону хотелось отвести душу, но у жены был сонливый и вялый взгляд, одинаковый с учителем, и дьякону почему-то представилось, что его желают обидеть. Скинул он под навесом подрясник и одернул длинную ситцевую рубаху на синие диагоналевые штаны.

— Куда ты? — спросила жена.

— Отстань,— с неудовольствием отозвался дьякон и пошел в огород.

Обобран был уже огород, только на нескольких грядках торчала полузасохшая ботва картофеля, желтые листья редьки. Садясь на гряду, дьякон выдернул редьку и, помахивая ею в воздухе, задумался.

— Вот,— сказал вслух дьякон,— дождался деньков. Народ пошел — ни бога, ни царя, ни самого себя — ничего ему не надо.

Дьякон с силой ударил редькой о колено и потом откусил немного сочной и белой мякоти.

И то, что редька на вкус сластила, еще больше обидело его.

— Обманываешь, падаль! Никуда от себя не уйдешь, себя наружу не выворотишь!.. возвратишься, возвратишься!..

Дьякон выплюнул далеко редьку и пихнул сапогом грядку. Ударила ему в ноздри сухая вяжущая пыль.

чихнув, почувствовал непонятное удовольствие и, глядя на лежавшую у ног редьку, проговорил задумчиво и немного с сожалением:

— Переломили тебя и — лежишь, молчишь! А для чего переломили — неизвестно. Из озорства!.. Так и людей нонче ломают. Ну, ты, редька, — понимаю, молчишь, а они-то ведь чего, а!.. А я вот не желаю! Сам других сломать имею удовольствие, чувствуешь. Желаю, чтобы меня боялись или, по крайней мере, чаяли от меня чего-нибудь... А?..

Дьякон отбросил ногой редьку и, сердито сопя носом, замолчал.

Сидел он так долго.

— Житьишко,— сказал дьякон, вспоминая, что скоро рыбалка прекратится, подует северный ветер и Иртыш встанет.

Дьякон с блестящим, как стакан от воды, лицом, лениво гребя ногами землю, чистый и тонкий, шагал между грядами.

— Житьишко...

Вечерами все, считавшие себя достойными внимания себе подобных, выходили гулять на яр.

Яр — высокий, трехсаженный, песчаный, а внизу — у стенок — Иртыш, а за Иртышом луга, степи, пески опять. Внизу на Иртыше сутунки плотов, и с них ныряли в воду ребятишки, и в воде тела их походили на маленькие вертящиеся бревешки.

И гуляли здесь. Дойдут до каланчи, посмотрят — все в порядке: ходит пожарный наверху, шапка медная, как купол, блестит,— поворачивают обратно.

Здесь-то и встретил Отчерчи дьякона Полугодье.

Плавала на лице отца Наума значительность.

— Тебя надо, Потапий! — сказал дьякон.

— Рассказывайте!

Дьякон повел учителя к яру.

Карманы штанов учителя, набитые чем-то тяжелым, трясутся. Посмотрел на его карманы дьякон и, перстом сухим и длинным указывая на воду, сказал:

— Ты меня слушай добром.

Учитель посмотрел, куда перст указывает.

— Ты туда не смотри, это для отвода глаз, дескать, о рыбной ловле и о разведении раков беседуем.

— Каких раков?

— Не перебивай! Слушай меня, а потом хошь о китах спрашивай. Ну вот, мучился я, Потапий, эти дни прямо будто кто душу в кулак забирает. Я ведь Авессалом, бунтующий, и Аввакум. Не имею силы ждать и терпеть, как иные хоть бы из нашего сана. Да што, Потапий, и пришла мне сегодня ночью, лежал я это в кровати, и вдруг, чик,— готово, осенило!.. мысль пришла. Ну, как бы это...

Дьякон быстро махнул рукой и, с затруднением прищелкивая пальцами, произнес:

— Ну, как бы это сказать-то... поборение, што ли... вот ведь, прости господи, не могу...

Взглянув в глаза учителя и почувствовав, что его понимают, дьякон радостно улыбнулся.

— Вот это самое, Потапий. Жить мне иначе нельзя, как бунтуя, иначе все мое существо развалится. А противу кого, а? И подумал я, Савелий! вот он гвоздь в сердце моем,— потому что в камень оно превращается, и камень тот в праще противу меня некий Давид кинет. И камень завсегда во многом убедить человека может. Когда человек себе подобный — ничего, а на камень будет схож — сейчас почтение, уважение. А где уважение, Потапий, там и сила придет. Ладно. Значит, должон я этот камень разрушить.

Учитель опасливо отодвинулся и опасливо же, потихоньку, спросил:

— А я-то при чем тут?

— Один я воевать не могу, мне друга надо, с которым бы я себя разговором подкрепить мог, вот я надумал, кроме Потапия, каланчу мне в друзья брать, что ли?

Полугодье коснулся слегка мускулов на руке учителя и твердо сказал:

— Мы эту ехидину раздавим!

— Нет, я тебе того... помощником не буду, отец Наум, ты избавь!.. У меня занятия в школе начались... дров нету, а тут в Чека засадят, а то еще дальше куда.

— Ты делай так, чтоб не сидеть.

— Нет, уж избавь, один действуй, коли такая охота есть.

Учитель обомлел; ему захотелось покинуть дьякона, но не было желанья обидеть.

Уши учителя, толстые и мясистые, в коротеньких белобрысых волосах, стыдливо покраснели.

— Я и то послух двинул, упродкомиссар-то, мол, глиняную шубу отдает тому, кто теперь глиняную работу делает, а себе с бобровым воротником требует.

— Не понимаю! — сказал учитель.

Дьякон поднялся на цыпочки и скороговоркой всунул учителю в ухо:

— Шубу-то глиняную мы у него утащим, а он на смущение человеков, ей-богу, себе бобровую возьмет, посмотришь...

Дьякон отступил и, потрясая рукой, сказал:

— Надо же что-нибудь делать, коли мы убивать не можем! — И, отходя прочь, тоненьким голосом сообщил: — Я к тебе еще зайду.

У дьякона сухие, длинные ноги, и, взглянув на них, вспомнил учитель какую-то птицу, у которой всю жизнь таскают яйца, она все несется, и никак не приходило на язык, какая это птица.

На Троицкой улице, против лавки упродкома, учитель встретил Скученого.

— Здравствуйте, товарищ Отчерчи,— сказал упродкомиссар.

— Здравствуйте, товарищ Скученый,— ответил учитель.

Они весьма дружелюбно пожали друг другу руки.

Скученый посмотрел учителю в грудь и вдруг звенящим своим голосом спросил:

— Слушайте, почему меня про глиняную шубу стали спрашивать, какого черта она им далась, менять, говорят, хочу, а зачем мне ее менять,— шуба хорошая. Зачем мне ее менять?

— Не знаю,— ответил учитель, и в груди его в том месте, куда смотрел Скученый, что-то с болью задергалось.— Не знаю... болтает народ...

Упродкомиссар сунул ему руку.

— До свиданья, товарищ.

— Счастливо.

Учитель вытащил платок, отер лоб и шею, высморкался и, глядя на платок, подумал:

«Как можно было бы употребить эту тряпицу»,— и, не придумав ничего, сунул платок в карман, сказав укоризненно:

— Люди-и!..

III

Дул в открытые створки окон холодный ветер и поднимал листья тетрадок.

«Это тебе не на поляне», — подумал учитель, захлопывая окно.

Напомнил холодный ветер зиму, нехватку дров и что всю зиму придется сидеть в шубе дома и в классе; вспомнил черноволосого дьякона с его мечтаниями. Учитель Отчерчи улыбнулся.

— Мечтатель!

Знал, будет холодно зимой и скучно, но чувствовать у себя покорное и сильное тело, приятно будет учителю, и слегка жалко было больного дьякона.

Учитель постоял у окна, посмотрел на возвращающихся в зимовки арбы киргиз.

Вошла жена и сказала:

— Тебе, Потап, письмо.

У жены учителя был очень красивый нос, и она поэтому часто раздувала ноздри и говорила немножко гнусавя:

— Кто принес, Женя?

— По почте.

Письма получались редко, и жена подошла к плечу мужа, чтобы вместе прочесть.

Учитель посмотрел на адрес:

— Да ведь это дьякон!

— Что, дьякон? — спросила жена.

— Пишет-то.

Жена, гнусавя, сказала:

— Не понимаю: какие у вас дела с дьяконом, что по почте переписываться нужно. Любовниц завели, что ли?

Жена была ревнива. Успокаивая ее, учитель солгал:

— Думаем вместе в деревню за продуктами съездить. Это он, должно быть, торопится... и потому...

Ответ нелепый был, но жена успокоилась почему-то и, даже не взглянув на письмо, ушла в кухню.

Дьякон писал вытянутыми, почти горизонтальными с перечеркнутыми согласными буквами почерком:

«Друг Потапий! Ко мне пока не заходи. Думаю — через три дня будем сбирать ягоды, о которых мы с тобой условились. Значит, приходи в два часа 20 минут ровно днем. Жду. Твой друг и доброжелатель Наум Полугодье».

Учитель, изорвав письмо и кинув его, плюнул:

— Тьфу. Спятил мужик! — и сказал, садясь на стул: — Не пойду! Буду я с тобой связываться. Не хочу!

Эти три дня он чувствовал себя плохо. Все время кололо под ложечкой, болела голова, исчезал аппетит, и даже, как заметила жена, Отчерчи слегка похудел.

В назначенный дьяконом день он не завел часы и после чаю, не сказавши жене, взял одеяло и залез на сеновал.

Было холодно на сеновале, и плохо держало тепло одеяло. Пахло трухой, сырыми гниющими досками, на стропилах лежала пыль, похожая на бархат.

Он лежал долго, пока на каланче не пробило три часа, и тут ему пришло: лучше, пожалуй, поехать на лодке и вообще эти дни, пока дьякон не успокоится, уплывать за Иртыш. Решив так, скинул одеяло и полез на землю.

Жена, увидев его, сказала:

— Тебе дьякон записку прислал! — и, скосив губы, добавила: — Страшная манера...

Отчерчи привык делиться мыслями со своей женой, и поэтому, должно быть, она ему не верила. Но тут говорить было нельзя, и от этого еще более страшно было предприятие дьякона.

Значилось в записке:

«Потапий, дело откладываю на неопределенные и непредвиденные времена. О всем сообщу. Наум Полугодье».

— Дудки! — сказал учитель, остервенясь. — Долго ты меня мучить будешь. Я, брат, дошлый!

Вкусно улыбающееся было лицо у дьякона. Сидел он в погребе, прямо на земле, и ножом очищал масло из турсука в бочку. Руки у него были желтые от масла, он ловил на язык падающие с пальцев капли, и борода и усы у него блестели, как лаковые сапоги.

— Пришел? — спросил он. — Я ведь знал, что ты придешь. Думаю — врешь, явится. Отменять-то я ведь не думал. Сегодня совершим мы с тобой деяньице, Потапий.

Учитель положил для чего-то руку на живот и, глядя на изъем своих сапог, сипло сказал:

— Я, отец Наум, отказываюсь.

— Чего?
— От воровства отказываюсь.
— Совсем?
— Решительным образом, Наум.

Дьякон поймал языком падающую с ладони желтую каплю, язык мелькнул, и услышал учитель:

— Напрасно! Тебе же добра желаю.
— На таком добре спасибо.
— Ну, не хочешь — не надо. Я диктатурой, Потапий, не промышляю. Иди! Один сделаю.

Учитель почувствовал радость, и, прежде чем уходить, захотелось обласкать ему дьякона:

— Хорошее масло у вас, отец Наум,— сказал Отчерчи.

— Плохое масло, киргизское, а у них всегда оно дымом пахнет. Турсук вот хороший, я в него шубу спрячу.

— Ка-ак?

Дьякон уронил кусок масла на землю, поднял его, обдул и положил в кадку.

— Заверну в турсук. А там, в степи, в песок закопаю. Мне шубу не надо. И вывезти удобно: скажут, дьякон за кумысом к киргизам поехал.— И, вспомнив учителя, пронзительно закричал: — А ты иди, иди! Я один! Все равно поймают, донесу. Скажу, учитель Отчерчи — эсэр и предводитель шайки белогвардейцев, по его научению, мол, действовал. А там пусть тебя хоть изнасилуют, мне дезертиров не жалко.

Учитель почувствовал — уплыла его радость и опять зазнобило от беспокойства.

— Вы, отец Наум, такими вещами не шутите,— сказал он обидчивым голосом.

— Я, Потапий, при рождении своем пошутил, так бабка меня столь пришлепнула, что у меня на всю жизнь пропала охота шутить. Я тебе всурьез выкладываю: со мной пойдешь — тюрьма, не пойдешь — расстреляют! Говорю тебе — огнедышащий я человек.

Дьякон отчеканил и для крепости слов ударил ножом по маслу.

— Решай!

Учитель сел рядом с дьяконом и спросил:

— Может быть, еще ножик найдется. Двое-то скорее опростаем.

Дьякон пошаркал большим пальцем об указательный и, щуря глаза, ехидно сказал:

— А мы их Тихоном, по носу Тихоном щелкнем. Святейшим и всея Руси!.. Жри!..

Учитель, перекладывая масло, спросил:

— А коли не выйдет?

— Выйдет! — крикнул с азартом дьякон.— Я тебе говорю — выйдет! У меня вера очарованная, я до предела дошел, а дальше мне отрекаться надо! И отрекусь. Прокощунствую, Потапий!

— Смотри, отец Наум, не прометь!

— Ну-у. А только выйдет. Меня бог уполномочил, потому-то на меня всякое усовещевание не действует. Юфть фимиамного запаху никогда не перебьет.

Упродкомиссар Савелий Скученый жил через дверь от дьякона. Но по крышам пригонов можно перейти через весь город, не только что к Скученому во двор.

Так дьякон и решил.

Проползти по крышам, спустить лестницу во двор и, сломав замок на амбаре, похитить шубу.

Дьякон оставил учителя до вечера в погребе.

— Дабы наши не заподозрили,— сказал он,— а то дьяконша узнает — все глаза выцарапает. Ты уж посиди, Потапий! Я трашпанку подмажу, лошади овса дам, а завтра поутру отвезем, и пусть себе лежит. А там у киргизского аула место хорошее в ложбине нашел, подъедем будто по философскому делу — и готово.

Отчерчи, оставшись в погребе, неподвижно сидел на обрубке дерева, пока у него не свело судорогой ноги.

Дьякон пришел поздно. Долго шарил, зажигая спички. Запахло серой, и запылала тоненькая церковная свечка.

— Еле от дьяконицы отвязался,— запыхаясь, сказал дьякон,— привязалась: «куда тебе на зиму глядя во дворе спать?» Помогай, грит, горчишники ставить мне. Ладно, что горчицу крысы съели, да еще соврал, доктор, мол, прописал мне во дворе спать. Пустила. Баба черта да доктора только и уважает.

Дьякон достал из кармана маленький бумажный фонарик, вставил свечу и сказал:

— Пошли.

Учитель нерешительно спросил:

— Может, отменишь?

— Будет тебе, Потапий.

Был дьякон строг лицом, в валенках, черной сатинетовой рубахе и очень узеньких, с латками на коленях, штанах. И походил он не то на писателя, не то на художника, как их рисуют на картинках. Он перебросил фонарик в левую руку, перекрестился и задул свечу.

На дворе темно. Они заговорили шепотом:

— Собаки-то у него нет? — спросил учитель.

— Большевику да собаку, — ответил дьякон, подставляя к стене пригона лестницу, — добро бы самому-то пропитаться. Лезь!..

Они залезли на крышу.

Полугодье втянул лестницу. Они поползли.

Под коленями и под ладонями хрустела солома и хворост. Солома попадала под ногти и больно колола кожу. Подтяжки лопнули, и ползти приходилось, придерживая штаны одной рукой, и учитель все время думал о какой-то пуговице металлической с сизым немецким клеймом. Шевелил волосы ветер, и казалось, что кто-то ощупывает голову. Изредка колени проваливались в неплотный настил, и в лицо кидался прелый запах навоза и соломы.

— Тише... ты... носорог...— шипел дьякон,— в Чеку хочешь?

Казалось, билось сердце наружу, вне себя.

Крыши ли тянулись бесконечно, будто прошли весь город, а кругом словно черным сукном обтянуло, и лают за ним, далеко, собаки; сонно ржут лошади, и с Иртыша тянет по лицу, по вискам холодом.

— Помоги... лестницу-то спускай...— сипел торопливо дьякон.

Дальше, как в утреннем сне, смутно помнили Отчерчи и Полугодье тоненькую из теса дверцу амбара, круглый замочек, отворочениый дьяконом, и в амбаре на деревянном крючке овчинный тулуп, выпачканный в глине, и на воротнике тулупа вязаный зеленый шарф.

Дьякон сорвал тулуп с гвоздя. Учитель ухватился за шарф и стал наматывать его на шею.

Дьякон хотел было тушить свечку, но, увидев шарф, даже слегка подпрыгнув, взвизгнул:

— Шарф-то... шарф... На кой тебе черт шарф? Брось! Лестницу-то не забудь...

Дьякон, шлепая полами тулупа о голенища сапог, полез на поветь.

IV

Утром в девять часов они запрягли лошадь. Турсук положили на передок.

Служащие шли в учреждения, раскланивались с Полугодье и Отчерчи.

Жидко благовестили в церкви.

Болела у Отчерчи голова и, оттого, что не спал, должно быть, мучила жажда. Дьякон глядел на турсук и тоненьким своим голоском говорил:

— Жалко турсука... видишь, желтый аж, такого турсука по всей степи не найдешь. Прекрасный турсук, два пуда масла входило...

На обратном пути учитель нарвал большой букет бледно-желтых пахучих цветов и часто нюхал их, и лицо старался сделать в тон цветам — невинное и благоухающее.

Дьякон глядел на него и рассуждал:

— Почему человек цветы любит нюхать? По-моему, много у него от пчелы и трудолюбства, и всего прочего... Даже, скажем, кумына эта самая... хоть, конечно, кумына к цветам как перец к шоколаду... а стерляжья уха с перцем стручком не уха, а прямо двенадцать Евангелий, Потапий, а?

Учитель думал о своем.

V

Банан — фрукт вкусный. Впрочем, я банана не ел, и учитель Отчерчи тоже не ел, но по утрам любил мечтать — провести бы по карте полушарий земных одну параллельную черту, а одну перпендикулярную, и в точку скрещивания поехать. Интересные события бы могли быть.

В городе поверили мало краже глиняной шубы.

Улыбались, перемигивались:

— Знаем, мол.

С дерева снялся лист. Пароходы ушли в зимовку. Совсем город — песок и серое дерево. Мало людей.

Возвращались только киргизы с кочевья в джатаки. Торчали на двуколках разобранные юрты, как ребра скелетов, кошма, как кожа. Цокают овцы копытами,

и далеко от двуколок пахнет кизяком и кислым молоком — айраном.

На воскресенье в сентябре уже прошел первый тягучий, как панихида, осенний дождь. Днем прояснило, тепло.

Вышел учитель второй ступени Потапий Отчерчи в суконной накидке на плечах, и у накидки той капюшон вроде подчасника, которые любят вышивать поповны. Ноги учителя толстые, а ступает, как верблюд, легко и приятно, лицо широкое, но тоже легкое лицо.

Дьякон же, отец Наум Полугодье — тонкий, волосы строгие, причесаны волной, сам черный, как обгорелый пень, в шубе меховой, синим сукном крытой, и — воротник поднят.

— Жарко, поди? — спросил учитель.

— Неизъясненнейшая жарынь, — отвечал дьякон, — однако бог терпел и нам велел. Иду на митинг.

Учитель удивился.

— На митинг, отец Наум?

— Якшаться, конечно, с ними не годится, но для дела своего сердца — ничего не поделаешь. Насчет шубы не слыхали?

— Не приходилось,— отвечал учитель.

— Говорят, намечает тут конфисковать кой у кого, из богатых. Точно не знаю — правда ли. Сам я много наговорил, и сам не пойму — где правда-то. Будет у них, Потапий, митинг сегодня насчет разверстки. Так нужные люди там будут — надо меры принимать, не понапрасну же мы с тобой.

У дьякона походка стала как будто напряженнее.

На дворе кооператива, где ссыпка хлеба, крестьяне, красноармейцы, бабы.

На ларе сидел секретарь исполкома, на коленях у него портфель с блестящим замком. Губы секретарь сжал, нос вытянул, пишет человек.

Упродкомиссар Скученый говорил плохо, бегал, топтался, махал руками, а лицо застывшее и как будто слегка напуганное: заметно, что-то внутри есть, а наружу не выходит. Скажет мысль, потом повторит ее и, немного погодя, еще расскажет. Кто не привык слушать — нравится, крестьянам тоже ничего — принимают, только когда комиссар говорит, что то-то надо сделать и это должно дать, речи крестьянам не ладны, можно было бы и без этого обойтись.

Лица у мужиков были обветренные, неподвижные и суровые, губы жадно стиснуты, а в глазах у них плавала тупая ненависть, и пахли они давно немытым людским телом.

— Пойдем сюда,— сказал дьякон.

Отчерчи и дьякон остановились рядом с заведующим отделом социального обеспечения, широкоскулым человеком в светло-зеленой колчаковской шинели.

— Любопытствуете? — спросил заведующий.

— Все надо знать,— ответил учтиво дьякон и взгляд вонзил в упродкомиссара.

Кончил говорить упродкомиссар, и вышел какой-то лысый в очках, кривоногий.

— Из губернии агитатор,— подсказал заведующий.

Дьякон слегка ударился плечом об учителя.

— Смотрит.

— Кто?

— Скученый. На меня смотрит.

И действительно, как-то неладно глядел упродкомиссар на дьякона, поглядит и на заведующего взглянет.

Гмыхнул дьякон носом:

— Ага! Ты подумай, Потапий, почему он, а? — Зашептал, срывая слова: — Я человечью душу сквозь — вдоль и поперек знаю. Вот он на меня смотрит, думает, дескать, шуба на дьяконе, а у меня нет. Потом видит — рядом заведующий социальным обеспечением. Понял ты? А через заведующего завсегда шубу можно достать. И поверь ты моему слову, завтра бумагу напишет:«Товарищ Протасов, мол, выдайте мне шубенцию, так как моя пропала неизвестно в какие дебри».

И чтоб отхлынула наполнявшая его радость, сочувственно спросил дьякон заведующего социальным обеспечением:

— Тяжело работать, а?

Заведующий был словоохотлив. Начал о красноармейских семьях, инвалидах, но в самом начале речи его раздался дикий лай, такой лай, которым собаки встречают только киргиз.

Гулко застучали копыта в деревянный мостик, завизжала, надсаживаясь, собака, и в распахнутые ворота ворвался киргиз. Желтовато-оливковое лицо его было потно, радостно, узенькие глаза вытаращены радостно. Киргиз махал укрючиной и возбужденно перекрикивал собачий лай:

— Мурза, эй, мурза... Савка-а...

Учитель взглянул на посеревшее, испуганное лицо дьякона, на его вдруг как-то сжавшуюся черненькую бороденку и сам чувствует — приливает кровь к шее, холодеют уши и дергает, дергает сухожилья ног.

— Турсук-то...— придавленным разопрелым голосом зашептал дьякон.

Учитель видит: отвязывает киргиз большой турсук от седла, разорван турсук, и торчит из него рукав глиняной шубы.

Киргиз забормотал, вытряхивая шубу,— доволен вниманием и своей ловкостью вдвое больше:

— Кара. Матрю — епинды — сечейн — собак турсук жрет. Песок тащил — жрет. Пошто казенной вещь грызет. Мышь сагай... Матрю — Савканой шуба, на Чатбиче... Ал. Маган на кирек. Нашто мне надо. Бери.

Киргиз вытряхнул из турсука шубу, развернул, и на спине у ней огромнейшая с чайный поднос дыра.

Киргиз сконфуженно улыбнулся, передвинул аракчин на лоб.

— Попортился азрак-азрак...

Когда они очутились на улице, запнулся учитель о доску тротуара и почувствовал себя так приятно, словно женщина после родов.

Обрадовался своему телу большому, неожиданно появившейся глиняной шубе и, озорно ткнув пальцем в бок дьякона, задорно спросил Отчерчи:

— А как дыра-то... Поклоняться богу будешь или прокощунствуешь?

Дул с Иртыша, как и всегда здесь, ветер, нес песок, и голоса в песке и пыли свистящие получались. Хлесталась полуотворенная доска о забор, песок у забора ссыпался в мягкие сугробы. Блестели на выдутых ветром местах гальки, как новые монеты.

Вздохнул несколько раз широким вздохом дьякон Наум Полугодье и учителю второй ступени Потапию Отчерчи ответил протяжно:

— Об этом пока еще ничего не известно...

1921

ОТЕЦ И МАТЬ

I

Нет горя большего, как говорить о себе.

Нет радости большей, как любить.

Над Каракорумскими камнями (была некогда там ставка Батыя и Чингисхана) ныне песок да ветер. Шел туда с ветром и я. Прошел мимо.

Все пройдет мимо, но цветом неохватным расцветает за горем радость. Каждую весну трава! Каждую осень летят журавли в Египет!

II

Семь лет не видал я отца и летом 1918 года увидал. Вышел он за школьную ограду встречать меня, загорелые губы улыбнулись над худым, костлявистым телом. Жалобно потрогал на мне штаны из мешка и заплакал. Было у него такое лицо, словно сотни лет плакал.

А у меня в мозгу не он, и нет радости. Помню последний день перед бегством из Омска: шли подводы с телами убитых по пыльным, душным улицам; я насчитал их семьдесят и ушел. Приятель, тоскливый фантаст и обличитель Сорокин, говорил:

— Расстреляли белочехи...

Может быть, расстреляли, не то убиты в боях под Куломзином.

Везли рано утром, торопливо, и на трупах оседала розоватая заиртышская пыль, и такая же пыль была на мне. Я тоже труп, но бежавший.

У матери туго перетянутый, выпирающий кверху живот, и лицо у ней выцветшее, как осенняя трава. Она тихо глядит на меня и спрашивает:

— Тебя как зовут-то теперь?

— Василий,— отвечаю я.

Она напуганно молчит: у меня чужое имя и чужая фамилия. А позади нее смеется невзрачным идиотским смешком брат мой, Палладий: тонкорукий и тонконогий, с огромным вздувшимся животом (у него расширение селезенки, малярия, голод), глазное яблоко синевато-серое, а зеница желтая.

— Хэ-и-хээ...— смеется он в нос, взвизгивая.

Мать прячет привезенную мною зашитую в перину винтовку.

Отец, Вячеслав Алексеевич его зовут, суетясь, показывает запасенную на зиму провизию и, снизу вверх (я выше его на голову) заглядывая мне под брови, говорит:

— Проживем, Василий Семеныч, а?.. Сколь у тебя имен-то, богатый человек ты, а?..

III

Три дня цвели запахами казачьих поселков прииртышских: назьмы, курдючные овцы, солонцы у сухих камышей...

Пошел на охоту. Было десять патронов, набил мешок уток, а один патрон забыл вынуть. Вечером, когда я сидел под навесом и писал рассказ, удумал Палладий пошалить, нацелился в отца и щелкнул курком.

Лежал отец подле стола, на холщовой рубахе кровь: весь заряд в шею... Через окно на кровь летели сизые мухи. Падали на лицо, еще подергивающееся.

Позже брат сидел на корточках в кухне и чистил для поминок изюм. Когда я заходил в кухню, он предлагал:

— Всеволод, надо изюму, вот крупнеющий, а?..

Утки, застреленные мной, тоже пошли на помин. Ели их чубастые казаки, грозили самосудом и, крестясь с матерками, отворачивались от прелого смешка Палладия.

А матери говорили:

— Кабы вам, паре, уехать... може, сын-то твой... бог его знат... отец-то, Вячеслав Алексеевич, царя чтил... Бог его знат, что Сиволот об отце думал.

И опять я бежал.

IV

Степь. Голубые запахи песков. Кизяки. На барханах саксаул гобийский, на саксауле-дереве коршун. Перо у коршуна на груди смятое, свалявшееся — линяет.

Сидят в повозке мать и брат Палладий. Мать мою зовут Ирина. По бокам дороги подпиленные телеграфные столбы, куски проволоки — большой Семиреченский тракт.

А на кустах карагача — человечьи кишки. Они высохли, ветер да коршун шебуршат ими. Тонкие сухие струны из человечьих кишок... Кто сыграет на этих струнах?

— Воюют казаки с новоселами за землю. Поймают казаки новосела-то, брюхо подрежут да на палочку кишки-то и выматывают. Хохочет тот неудержно, а те — над ним... Так со смеху и помрет.

— А новоселы?

— Ну, те тоже казака поймают и тоже кишки на палочку. Так оно с одной стороны дороги новоселы вешают кишки, а с другой — казаки. Ишь сколько...

От монголов Чингиса, от туркменов Тамерлана перенял крещеный обычай — сушить на солнце потешные человечьи кишочки.

Впереди длинный-длинный караван киргизов. Скрипят неподмазанные арбы, медленно шагают верблюды, и киргизы не глядят на нас, а упрямо — на запад. Когда мы обгоняем их, похоже, нет у них глаз: некая серая пелена.

Мать говорит мне:

— От мору киргизы бегут.

— Куда?

— Кто их знат. Може, в Китай, може, в Индию. Они, поди, и сами не знают. Жрать нечего, вот и бегут.

Пески, и сверху почему-то небо. Желтовато-синее, как пески. На карагачах, словно поспевшие стручья, ленточки кишок. Мы обгоняем караван, опять отстаем. Все то же небо, пески, холмы...

И позади нас медленно, почти не подымая пыли, бредут киргизы, верблюды, арбы. Молчат и ничего не видят. Идут.

Мы тоже идем. И хочется тоже молчать, но нельзя: я знаю, куда иду, а мать боится: и того места, куда я иду, и тех людей, к которым я иду. Тогда мы торопливо

говорим, сначала она, потом я, а за ее спиной, прикрыв плечи узорным цветным половиком, тихо с привизгами смеется Палладий. Чем мы дальше идем, тем подбористее, визгливее он смеется:

— Хэ-и-ээ!..

V

Через день и еще через два дня и утром и вечером все одно и то же: пески, карагачи, киргизы... Пал у киргизов верблюд, и они покинули его, точно не заметили. На арбе трое ребят, их тоже бросили: перекладывать некуда и нет сил. А потом с одной арбы сползла женщина и отстала от каравана.

— Кто это? Отставшая?

— Мать, должно.

Я остановил подводу. Подошел к арбе. Киргизята, широко раскрыв засохшие губы, дышали в степь. Киргизка, поджав ноги, сидела рядом, грязный чувлук сполз с головы, и волосы у ней пахли конским потом.

— Умирать собрались... Ишь, ни воды, ни хлеба.

Я сказал:

— Надо их взять к себе, мама.

— Лошадь-то и так еле нас везет. Выдумал!

— Сундук сбросим.

Я наклонился к киргизятам и хотел подхватить их на руки. Киргизка подползла и, вцепившись в ребят, шипела:

— Китеер... Уходи... Уходи...

Я уговаривал ее, объяснял. Она, скривив рот, царапала песок и ненавистно глядела мне в ноги. Вдруг подпрыгнула и царапнула меня по лицу длинными сизыми ногтями.

И тогда мать, схватив ее за волосы, ударила о песок. Вцепившись, царапаясь, они били друг друга, и я не мог их разнять. А брат, сидя на телеге, махая тоненькими желтыми ручонками, крысино смеялся:

— Хэ-и-хээ!..

Киргизка с ребятами осталась. Мать опять села на воз рядом с братом и, боязливо глядя на запад, молчала.

От песков несло сухими и синими запахами. Над телеграфными столбами кружил лохмогрудый беркут. Карагачи. Верблюды. Вечера.

Нет горя большего, как говорить о себе... И нет большей радости...

1921

БЫК ВРЕМЁН

I

Ночью, когда юрты спали, туркмены пригнали табун пленных.

А Трифон не спал, Трифон искал бабу.

Синий песок щекотал потный волос ног, щекотал, жалобно струясь меж пальцев. Сухой ломотой покалывало колени.

Юрты истошно пахли молоком и айраном. Бесшумно пробегали худоребрые псы, словно составленные из прутьев. Месяц мелькал у них на клыках.

Не шла баба. Забыл Трифон, в какой юрте она, и, разгоняя собак, бродил позади юрт. Он свистел русскую песню и бил нагайкой по песку. Шел босиком, чтоб не шуметь, сапоги оставил в палатке.

— Эй, кым! — звал он тихо.

Звонким желанием натягивались жилы. Десны облепляла клейкая слюна. Засвистал громче, выругался:

— Омманула, стерва!

Здесь-то отошел от юрт, в пески, и увидал пленных.

Стукая палками-укрючинами с длинными из шерсти петлями, показались туркмены. Остро несло конским потом и размякшей кожей от седел.

Шарахнулась лошадь от Трифона: в прорыве он увидал темное кисловатое стадо человеческих голов.

Дальше кто-то в глубине тихонько бормотал русские буквы, а слова подавал туркмен, спросивший по-киргизски:

— Что тебе?

— Ничо, — грубо сказал Трифон, отходя.

«Раз отряд к аулу, можо, на шум выйдет». Возвратился Трифон. Опять лихорадил у юрт.

Синеватая, прозрачная, как листья джидде, марь не давала узнать приколья с тремя телятами и заплатанный медью котел-казан Кызымки.

Кровь завинчивала до боли жилы. Шипя, позвянкивало-потенькивало в ушах. Чубастый волос мокр и липнет на пальцы.

Продвинулся Трифон к костру.

Старая туркменка, с острыми, как нос, шафрановыми скулами, оправила на голове грязный чувлук, спросила:

— Что надо?

Зажала в клыках ворчание лохматая собака.

Плеснул плетью, собака прыгнула за костер.

И только хотел спросить, где юрта Кызымки, как белая грива коня повисла в дыме костра.

Склонившись, поправляя аракчин, мясистобородый туркмен спрашивал:

— Зачем ходишь? Чужой лагерь зачем ходишь? Надо свой лагерь сидеть, вот!

Клубилась у Ибрагима красная, по-персидски, борода; летел над седлом полосатый лампасами бешмет; седло сжимало коня афганским серебром чеканок.

Обмерклым голосом сказал Трифон:

— Лошадь потерял.

И словно не принял ответа Ибрагим. На карем иноходце к костру подошел густоусый бледный офицер.

От офицера Трифон в тьму. С полковником Степановым, ну его к черту!

Двинулись они рядом. Один тонкий, перетянутый ремнями, другой широкий, как кустарник зерик, и цветные волосы на спине, словно ягоды...

— Хорошо, сапоги не надел. Может, про мир?

Рысью за ними, рысью. Углядывай, парень.

Задержались у пленных. Устало, неслышно, как овцы, спали пленные. Как пастухи туркмены с длинными укрючинами.

Указывал толстой и круглой рукой Ибрагим на Ийктау, скалу Быка времён. Одна она выбегает из песков, выше всех мечетей Туркестана и темна, как плита из черного нефрита на могиле Тимура.

Одна она. А за нею барханы в семь саженей — пески нетленные. А на барханах саксаулы с чешуйчистой, как сыпь, листвой.

Ветви мертвые скрипят, песок шелестит у стволов.

А на барханах волк и шакал.

— ... Не поймешь, говорят тихо.

Это люди неслышно, а пески, а пески как стада, и как зверь песков — молчаливый и жаркий — скала Ийк-тау, камень Быка времён...

Как их услышишь, человек?

Я их слышал, я! Ухом птичьим, чутким прошел по пескам. Волосы мои, как лоснящаяся шерсть коней. Как ящерица варан проскользнул я через саксаул, руки мои в песках, грудь моя пахнет молоком кобылиц.

Эх, ветры мои степные, серебряные! Корни трав твоих, пески кызыл-кумские, обнажили мое сердце, и как верблюд на пятидесятиверстном пробеге — в пене оно, в крови оно!

Эх, ветры мои, степные-серебряные, помните!

II

Поднялся Трифон утром злой.

Вышел из палатки и сразу узнал юрту Кызымки.

— Ишь, гадина!

Мылись коротконогие с пухлыми животами казаки. Отъехал от палатки полковника Ибрагим.

Спросил Трифон:

— Куды он таку рань?

Крепкощекий молодой Васька Талых сказал:

— Ноне байгу туркменье назначило. Праздновать победу хочут. Забрали вчерась пленных, бить их будут.

— Русских?

Талых захохотал:

— Там всех мастей. Австрияки есть, новоселы, хохлы, киргизье и опять-таки русски. Одно слово — красногвардей!

— Вешать, что ль?

Талых хлестнул себя по холкам и, весело махая кулаками, сказал:

— Ибрагим этот — башковитый! Не даром из ханов ихних. Я, грит, туды вашу, джигитов распотешу. С камня, грит, усех пленных пошвырям.

Талых свистнул:

— Лети на девяти, прямо в Москву. Это я понимаю!..

— Совсем сдурел народ,— сказал Трифон и, шарясь в карманах, добавил: — У те на завертку не найдешь?.. Надула меня баба-то.

— Но-о!.. Ее, парень, сразу надо за юбку. Востры. Табак-то есть, да гумага вся.

— Гумагу найдем.

Ветер от солнца жаркий, даже верблюд потеет. Крыльцы у казаков мокры, брови в поту, как сучки в воде.

Починяя потник, Талых рассказывал:

— Полковник приказал, чтоб наши не мешались, потому зверства. А сам, грит, я ничо не вижу — в палатке буду сидеть. Ибрагим ему туды турсук кумыса привез. Сиди. А ты, Трифон Якимыч, на камень пойдешь?

Слова у Трифона острые и твердые, как куян-суек — дерево зверя.

— Надо бы бабу заметить. Ни .... тянуть-то баушку за хвост. Не то и по хребту можно.

— Куды хошь. Я коли тоже, с тобой. А как их там, эти немаканы? Вон ведь куды, камень-то высок, парень.

— Одно слово — скеля.

Узловат мясом Трифон. Хозяйство вел дома широкое, шаг у него низкий и вязный. А Васька Талых шагает, словно коза листья щиплет.

Камни Ийк-тау под ногой будто стремя, пять дней не сползавшее. Саксаул в колючках прячет жару. Пески, задыхаясь, бегут от камня.

Собрались джигиты в праздничных халатах — жарких цветов. Малахаи из красного бархата опушены лисицами. Кони играют жилами, ржут.

У джигитов стальные пики. Джигиты внизу, у отвеса скалы Быка времён.

А на скале в бухарском фаевом бешмете с золотыми медалями, в бархатном желтом аракчине сам Ибрагим-бей из рода Дженгеня, потомка Тимура. На большом копье подле него конский хвост.

Слово старейшин — как растенье ранчи для красных полей — Кызыл-кумов. Не будет ранчи, не будут обитать люди. Не будет крепких слов, все уйдут туркмены к бунтующим русским.

Сказал Ибрагим:

— Сбросить на камни со скалы пленных кызыл-

урус[1]. Чтоб кровь их, как вода, чтоб жилы их, как корни, обтянули камни. И родится для вас спокой и радость.

И запел уянчи-певец. Домхра-балалайка в две струны звенит, танцует, голос у него лучше волка, губы у него — дыни.

Пост:

— Ты, Ибрагим-бей, как гора, тучен ты, как жеребая кобылица, сопишь ты, как самовар, бегаешь ты, как летящий иноходец, твои руки протягиваются на пять верст, глаза твои видят через степь. Сладок ты, как арак...

Сказал Ибрагим:

— Веди!

Повели джигиты пленных.

Взглянул Трифон вниз под откос и ухнул.

Гикнули, откликаясь, джигиты, кони переменились местами, солнце переблеснулось на пиках.

Попарно шли пленные в гору. Утром их забыли попоить, и рты их были как серые, потрескавшиеся солонцы. Засыпанные пылью песков, волосы липли к вискам и тощим каменистым шеям. Было их больше сотни — впереди киргизы, в рваных бешметах и солдатских гимнастерках. За киргизами русские, а позади австрийцы в голубоватых куртках.

Длинная пыльная лента, с запахами страха и смерти, волочилась по дороге. Колыхая белыми чувлуками, прорывались туркменки через охрану, плевали пленным в глаза и выдергивали бороды. Жидкая беловатая слюна висела на бровях, а подбородки алели мутно.

Визжали ребятишки, под горой лаяли собаки, и, как желтый ящер, грелось на камнях солнце.

Увидал среди туркменок Трифон Кызымку. Расталкивая плечами баб, дернул ее за чувлук:

— Ты что не пришла?..

Улыбнулась Кызымка румяными щеками, а губы мокрые от плевков — до середины подбородка. Выплевывая пыль в лицо пленного, крикнула:

— Приду. Вчера мясо-махан варил, бий Ибрагим звал. Много бий Ибрагим гость был, помогать звал. Приду седни!

---

[1] Красные русские. *(Здесь и далее прим. автора.)*

Одернул Трифон новую сатинетовую рубаху и перевалкой, не спеша, отошел.

Перекрикая шум и визг туркменок, Васька Талых спросил:

— Ну, чо?

— Придет.

— Недаром ты нову рубаху оболок!

Скинул Ибрагим фаевый бешмет на руки подскочившего джигита. Подозвал первую пару пленных, повел крашеным ногтем по рубахам,— джигиты, теребя, перекидывая пленных, сдернули с них платье.

Сбросил вниз с обрыва рубаху и бешмет пленного Ибрагим. Джигиты бросились ловить. Сталкиваясь, звенели стремена и пики. Туркменки оставили пленных, и одна из них крикнула вниз:

— Эый, Докой!

Махнул в ответ джигит пойманным бешметом.

Опять повел пальцем Ибрагим. Двое джигитов, подталкивая пленных в лопатки, концами пик подвели к обрыву и вдруг, как сено с вил, скинули их. Джигиты гикали. Подвели вторую пару, сдернули одежду, пленные упали на живот, джигиты пиками за шею подцепили их с камня.

А на пятой паре Ибрагим оттолкнул джигитов, сам сорвал пуговицы и, приподняв пленного на руках, кинул. Повисая на камнях клочьями мяса и жижей мозга, брызгая багрово-бронзовой кровью на золотисто-серый камень, тела кувыркались... Отлетел почему-то один далеко и вдруг упал на круп лошади джигита. Лошадь вздыбилась, понесла, прикрывая гривой седока.

Потом они стали падать в одно место, и от красной кучи густо пошел пар. Один повис в камнях, из затылка жирно прыгнула кровь. Руки все прижимали к голове, а ноги били камни, как крылья.

Сказал Трифон:

— Тошнит.

Тряс Васька челюстью, скаля желтые зубы. Проговорил в нос:

— Ничо, пройдет.

Расправлял Ибрагим уставшие руки. Тер джигит ему плечо. Потели скулы темной яшмы, голубой и синей лазури камни Ийк-тау. Млест камень, пески, как индийские шелка, солнце, как желтый ящер.

Кисловатым потом пахли пленные, много лежало на животе, стонало и материлось. Джигиты подтаскивали их к обрыву за мокрые руки и, словно мешок за другой конец,— за ноги переворачивали под откос.

Утомились и не стали снимать одежды. Надуваясь, скидывая пыль, тела грузно падали на камни, лопаясь, как большие пузыри.

Подходил в последних парах маленький, узкоглазый и смуглый. Шедший с ним покорно упал, а маленький визгливо ругался:

— Сволочи... Собаки...

Залезая па седло, Ибрагим сказал про него:

— Этот как гадат-ранг, роза семицветная. Глаза у него как песком засыпало, скулы как лошадиные ляшки. Чаксы [1] русский!..

Натягивая поводья, сказал:

— Оставить его.

— Па-але,— подтвердили джигиты,— оставить!

Бежали вверх на скалу джигиты, чтобы посмотреть па русского, оставленного за красоту.

Подтягивая ремень со штанами, Васька сказал:

— Пойдем, Якимыч, жарко. Немоканы-то ишь сколь на себя наздевали, им что, а тут скрозь рубаху пропекат. Один, баской ишь по-ихнему.

— Ишшо женят!

— Очень выдет просто. А по-моему — спустили бы и его. К одному перед богом отвечать.

III

Вот на песках, на барханах пена. Не пена, не ветер — люди. Кони из песков, винтовки из песков.

Камень Ийк-тау. Бык времён молчит.

А люди кричат. Криком ли прогонишь страх, он овладел, искромсал лицо, брызнула кровь из жил на кожу.

Кричат костры. Котлы звенят.

В обед к лагерю на иноходце примахал киргиз. Месил седло дряблым напуганным телом, обмерклым голосом кричал:

---

[1] Хороший.

— Беги... беги... зый!.. Уый-бой, уый-бой, кызыл-урус кольды. Уый-бой, кызыл-урус![1]

Наклубило пыль. По кострам всадники, по кострам — пыль. По пескам — искры, горят пески. По шерсти — искры, горит шерсть.

— Ой, русские подвигаются, русские. Серпом смертоносным, железным.

Жаром обдуло уши. Отвалил голову, а тут полковник Степанов за плечо. Обобранное лицо, голое, голос обобранный — нутро бороздит:

— Давай, стерва, лошадь!

А где возьмет Трифон лошадь? Самому бы только.

Лови лошадь! Лошади, которые успели,— под человека.

Коням умирать не хочется, бегут кони, рвут приколья.

Нет у полковника Степанова лошади, нет и не будет до смерти. Из нагана — в казаков, пули не угодят казакам. Казаки бегут — никто не ждал, никто не думал.

— Эй, кызыл-урус!..

IV

Вот огни над песками, вот огни в песках. Лошадь врывается потной грудью в пески, рвет...

Полоснули кровями, полоснули.

Мокрые гривы до земли. Мокрые от крови руки над седлами.

Где собирать юрты? Беги.

Поймал-таки двух иноходцев Ибрагим. На одного — сумы с серебром, на другого — красавца русского. Русского надо с собой. Обменять ли, продать.

Сам Ибрагим на верблюде. Бел верблюд, бел и легок, по горлу до земли шерсть. Иноходцев по бокам привязал,— ну, лови...

— Да, да, лови, русские, лови...

Ну и поймаем!

Бежит барханами Ибрагим. Гривы иноходцев — на верблюде. Верблюд над песками, как облако. Пески под мягкой подошвой, как тень.

[1] Беги! Беги! Красный русский идет! Красный русский!

А за Ибрагимом, позади — Трифон. Изловил себе лошадь, нашел. За Ибрагимом, он все знает.

А за ними в погоне — киргизы и русские. У кызылурус на шапках красные летвы, а на шашках — кровь. Гони!

Убежит, не убежит?

Не знаю.

Саксаул, бал-курай прыгают, вцепились в барханы. Потные лежат пески. Ремнями приторочен русский. Голова у него как пустая тыква, а глаза — высохшие ягоды.

Убежим!

Пала у Трифона лошадь, занозилась пулей. Ногой еще скребет, торопится бежать.

А Трифон руки поднял. Не поднимай. Зря.

Вместе с кистями рук отрубил догнавший русский голову. Рубаха у Трифона синяя блестит, может — офицер. Трясет отрубленной головой — пусть кровь стечет, а другой русский — за Ибрагимом.

И видела мертвая голова Трифона:

Рубанул шашкой Ибрагим по поводьям, остался иноходец с сумой,— перебросил к себе русского, в седло — один, подминая под себя пески, понесся бел-верблюд. Убежал Ибрагим.

И еще не видала мертвая голова Трифона:

Вечером, как всегда, поднялся волк на скалу Ийктау, камень Быка времён. Зажал хвост меж ног и лег у откоса, нюхая жаркий, пахнущий кровью воздух.

И, как всегда, выбегал из песков синий Бык времён и каменным рыком мычал в небо слова непонятные и вечные.

1922

ШО-ГУАНГ-ГО, АМУЛЕТ ВЕЛИКОГО ГОРОДА[1]

I. СТАРИК ХЕ-МИ ЗНАЕТ

И пока ловцы спускали вилы в воду,— четырем духам — севера, востока, юга и запада,— возносил Хе-Ми заклинания. Седые, древние молитвы, верные.

Ту-Юн-Шан вспотел, язык во рту чужой, словно рыба. И море вокруг лодок желтое, клейкое, потное. Вилы в воде, как корни. Руки над водой, как цветы. Желтое море, золотые руки, и над хребтом Сихотэ-Алинь великой бронзы небо...

— Не бормочи,— сказал отцу Ту-Юн-Шан,— я устал, и капуста в море не ловится, когда ты бормочешь. Скажи лучше, еще раз скажи — сколько нужно работать, чтоб уйти домой? Чтобы дома был рис, черная похлебка из бобов и не ходили с палками круглоголовые солдаты...

Хе-Ми отвечал:

— Ты как трава — только радуешься. Вот я нюхаю воду и говорю: идет беда. Или ветер под морем несет на берега тайфун. Прибежит, вырвет капусту со дна бухты, унесет в море.

— Откуда тебе знать?

— Тогда умрем.

— Почему ты не скажешь, болит у меня спина или перестала? У круглоголового палка толстая. Он меня сегодня палкой по костям...

Отрубал Хе-Ми корни капусты. С заклинаньями опускал в воду. На следующий год от корня опять отрастет капуста. Сказал:

---

[1] Уссурийский край. Японские промыслы морской капусты, добываемой корейцами, привезенными японскими властями. «Шо-Гуанг-Го, амулет Великого Города» называют корейцы — каули (кули) — красную пятиконечную звезду, которую носят уссурийские партизаны, борющиеся с белыми и японцами.

— Сердце привыкло к морю. Сердце — чайка или рыба, одно.

— Круглоголовые ждут прихода шхуны. Они сидят в палатке и боятся. Я не хочу, чтобы они боялись, тогда они будут меньше драться. Я не хочу, чтобы у меня визжало на сердце, когда они идут мимо... Ты скажи, Хе-Ми, ты знаешь.

— Я знаю. Я говорю — будет беда. Может быть, тучи огненными палками будут колотить горы, а по пути разобьют наши фанзы... А может, придет наводнение с гор. Я знаю — будет беда.

— Ты говоришь много. Я хочу уйти домой. Там много народу — больше, чем у этих гор. Я хочу петь, Хе-Ми.

Потом, когда ушло солнце, варили на берегу рис.

Мимо фанз и костров прошли японские солдаты. Махая палочкой, считали рабочих. Уйдя к себе, круглоголовые пили в синей палатке рисовую водку и забавлялись, хлопая хлопушкой.

Ночью в разопрелую фиолетовую темь фанзы Хе-Ми прибежал одноглазый босоногий каули и протянул испуганно:

— Святой Хе-Ми, ты всезнающий. Созывай стариков, говори им, чтоб передали радость всем ловцам капусты: идет сюда русский. От залива Кой-Лиу послали меня! Было там два русских, один увел с собой каули, убил круглоголовых,— другой идет сюда.

Надел Хе-Ми белый халат, закрывающий ноги до ногтей на пальцах. Сказал строго:

— Зажгу огонь, чтобы видно было горы. Говори правду перед огнем.

Сел на корточки посланный.

— Жду. Жги.

Собрались старейшие каули в фанзе Хе-Ми. Закрывая рот ладонью, глядели на могучее пламя, освещающее горы. Слушали посланного.

— Слушай! — кричал пронзительно одноглазый.— Идет русский на лошади с тонким брюхом. Говорит всем: «Уходи к нам. Убивай круглоголовых». На груди, у сердца, у него амулет с пятью хвостами, медный.

— Слушай!

— Амулет у него из Великого Города... дал ему самый большой русский — Ле-и-но... Ты, Хе-Ми, все знаешь: скажи. Он говорит много — не поймешь. Почему?

Сказал Хе-Ми:

— У большого амулета говорить много надо. Я таких длинных молитв не знаю, оттого у меня нет амулета. Чтоб убить круглоголовых... Говорит много — хорошо.

— Это хорошо,— подтвердили каули хором.

— Людей,— говорит,— круглоголовых людей с островов — в Корее не будет. Будут люди с широких земель, с широкими, как у медведя, сердцами. Всех круглоголовых с островов можно убить.

— Очень хорошо всех убить,— сказали каули хором.

Как старый китайский лан, лицо у посланного. Как древняя монета, кругло и желто.

Спросил Хе-Ми:

— Придет ли сюда русский, говорящий много? Будет ли говорить много и непонятно? О людях с островов, и о белых людях с широких земель, и об амулете Великого Города? Будет ли?

Отвечал посланный:

— Бегу берегом моря, как изюбрь со стрелой в боку. Далеко бежать, больно и опасно. Вижу, костер горит у фанзы Хе-Ми, вижу хребет Сихотэ-Алинь, — говорю правду: идет сюда русский седьмой день... идет берегом.

— Но-о!..— сказали каули.— Совсем хорошо.

Поспешил дальше посланный. Точно белый цветок, повисла на кустах его кофта. Исчезла.

Еще выше разжег Хе-Ми костер. Сидели вокруг костра каули, дальше — жены, и еще дальше — дети.

Встал лицом на запад Хе-Ми. Разровнял по телу белый балахон, разгладил на груди белую бороду. Глядел на молодые теплые горы — Сихотэ-Алинь, спрашивал Ту-Юн-Шана:

— Сколько, Ту-Юн-Шан, сожгли круглоголовые люди с островов фанз каули?

— Много... Как пены, много,— отвечал Ту-Юн-Шан.

Посмотрел строго Хе-Ми на каули. Ответили они хором торопливо:

— Много... как морской капусты — много.

Спросил Хе-Ми сына Ту-Юн-Шана:

— Сколько народу убили?

— Много... Будто камбалу, били народ. Много.

Подтвердили каули:

— Совсем много. Язык надо, как у обезьяны, чтобы сказать сколько...

Спросил Хе-Ми:

— Бьют ли круглоголовые нас палками?

— Бьют, много бьют...

— Заставляют ли доставать много капусты, а спать мало?

— Спать... мало спать...

— Рука у круглоголовых, как топор, пуля у него со смертью... Палки у него, как деревья...

Прошел по тропе, ощупал твердые осенние травы. Понюхал рыжую, пахнущую солью землю. Погрузил Хе-Ми тощие и сухие пальцы в землю, прислонил лоб — слушал.

Уши у каули, как сердце. Глаза, как радость.

Поднялся и сказал:

— Будет человек с амулетом через четыре дня. Через четыре дня будем убивать круглоголовых.

Отвечали каули:

— Мо!..

Ушли спать.

II. КРУГЛОГОЛОВЫЕ

Каждые двенадцать дней в бухту приплывала шхуна. В первый приход она привезла каули, а потом отвозила добываемую капусту.

Работает на японских промыслах по южному берегу корейцев много. Здесь в бухте караулить каули оставляли двух солдат. Каули хотя и покорны, но плети у солдат были из морского вереска.

Когда прибежал одноглазый, со времени ухода шхуны шел второй день.

Виднелись на берегу двое круглоголовых с синими плетьми. Хлестали плетьми по козлам, по длинным сушившимся стеблям морской капусты.

А уаханга, как волна, сама сегодня шла на вилы. Легко и весело развешивалась по козлам сушиться. Как тонкая белая тростинка среди козел — Ту-Юн-Шан. Говорил:

— Зачем ловить и развешивать, если идет русский? Ты, Хе-Ми, сильно слышал его шаги?

— Тебе, Ту-Юн-Шан, не надо русского?

— Я хочу домой. Я не люблю убивать, и у меня здоровая жена, здесь, в фанзе. Ты, Хе-Ми,—один, тебе бормотать можно... У меня здесь сын. Мне надо до-

мой — это я знаю. А русский, может, русский уведет нас на другие промысла?..

— Круглоголовые будут здесь держать нас, пока мы не умрем. Я сказал: если надо умирать, так в других местах, не здесь...

Увидав у воды круглоголовых, Ту-Юн-Шан сказал громко:

— Я построю дома фанзу из камня, на крышу под окном прибью кедровую ветвь... Сколько надо сбросить таких, чтоб море стало красное и я ушел домой?

— Много,— ответил Хе-Ми.

Не молчали так, как всегда,— больше обычного говорили между собой каули.

Подошел японец и опрокинул козлы с развешенной капустой. Рот у него сжат злобно и крепко. У него — крутой подбородок. Узки тяжелые глаза.

Ту-Юн-Шан поднял покорно козлы, развесил капусту снова.

Подошел второй японец. Опрокинул.

— Мо-о,— сказал нетерпеливо Ту-Юн-Шан, поднимая козлы.

Махнул плетью круглоголовый. Сапогом опрокинул опять.

С хрипотой, взвизгнув, выругался Ту-Юн-Шан.

Японцы поспешно ушли к палатке.

Потом в проходившего мимо каули из палатки разрядили ружье. У корейца разорвало плечо.

Каули отшатнулись от капусты. С бухты к берегу подходили лодки. Люди в белых одеждах, с широкими, подвязанными под бородами шляпами собирались к фанзе Хе-Ми.

Круглоголовый, выглядывая из палатки, сказал тревожно:

— Приготовь патроны. Они ходят быстро и машут руками. Так раньше не было... До шхуны девять дней.

— Девять.

— Я говорил — не нужно их бить, а ты любишь стрелять...

— Нас поставили и дали плети и ружья... Я солдат, а не каули.

Вечером они не пили рисовой водки. Огонь в палатке горел тихий, маленький.

После третьего дня с прибега одноглазого сказал Хе-Ми:

— Слышу — идет русский. Копыта его коня по листьям — шпы... шпы...

Понюхал ветер, выставив вперед твердую шуршащую бороду. Сказал Ту-Юн-Шану:

— Позови всех каули. Надо так сказать, чтобы проняло их до сердца...

Опять зажгли костры до гор. Голосом длинным и тощим, как сухие водоросли, сказал:

— Надо мыть добела рубахи и шаровары, чтоб, как молоко, были белы и мягки. Надо всем богам молиться, чтобы русский не проехал мимо...

Хором отозвались каули:

— Мо-о... Вымоем. Еще что?

Белый к синим горам шел Хе-Ми. Оранжевое пламя за ним, на его спине. Кустам сказал он разве?

— Пойдут каули домой... Я поведу или русский... Будем бить круглоголовых, потом много дома будет рисовых лепешек, и гаолян будет густой, как море...

Так повторили кусты.

Так в синей палатке тихо, что шелест складок в этой тишине подобен ржанию лошади. В плетеной сумке плескались нераскупоренные бутылки рисовой водки.

Круглоголовый солдат Во-Ди пощупал бутылку горячей рукой.

— Мне нужно пить, провалиться бы этому берегу вместе с промыслами. Если не пить, я приеду домой в лихорадке и злости.

— Сейчас пить нельзя.

— Ломит мозг целый день следить за собакой, которая хочет сбежать. От фанзы к фанзе хвостами метут! Буду стрелять по ним, пока есть патроны. Почему мне не дают отдыхать, разве я выдумал эти паршивые промыслы? Мне нужна эта капуста? Тьфу!

— Нельзя все время воевать. Надо солдату отдохнуть.

— То же говорю и я. Я-яй! Дьяволы!

Такая тишина была в палатке и за палаткой, что когда второй солдат пошевелил губами, казалось, словно кинул кто сапоги.

Подполз Во-Ди на животе к входу, посмотрел зорко в тишину.

— Скоро приплывет двухмачтовая шхуна. Что мы доносить будем, если каули убегут? Не следили, скажем. Празднуют, скажем, каули. Я-яй.

Натянул ремни гетр, щелкнул ногтем по стволу. Встал.

— Я пойду. Я буду позади каули... Я не знаю разве?

И второй круглоголовый послушно пошел за Во-Ди в оранжевую тишину.

Оранжевую, потому — было утро.

III. КОГДА РОЖДАЕТСЯ СОЛНЦЕ

Вымыли каули белые одежды.

В длинном балахоне, широкополой шляпе, стянутой лентами к подбородку, повел их Хе-Ми на скалу встречать русского.

Рождающееся солнце тлело на сквозных вершинах сосен. Розовое и желтое.

Расставил на скале каули длинным рядом. Сказал весело и внушительно:

— Надо быть радостными. Вот так, надо смеяться!

И растянул по лицу беззубый коричневый рот.

Попробовали и каули растянуть рты, — а кожа, как береста,— не слушается.

— Плохо. Гостей встречать не умеете. Русский любит смеяться, я русского знаю — как рис.

Отодвинулся, оглядел каули.

Сказал Ту-Юн-Шан, ощупывая лицо:

— Теперь хорошо?

— Много улыбок требуется. Кабы у меня столько пальцев на руках было... я бы один целую шхуну в день капустой нагрузил.

— Много!

Переглянулись весело каули, повторили:

— Много...

От скалы, замирая сердцем,— тонкая и изворотливая, как змея, спотыкаясь через камни, лежит тропа. В долине, дальше,— оранжевый туман. Деревья из тумана, как перья.

На краю скалы срывал Ту-Юн-Шан кедровые ветви и кидал их в туман. Подвинулся к нему Хе-Ми.

— Встань с другими. Жди.

Оправляя волосяной колпачок на голове, спросил тот:

— У тебя, отец, сердце веселое,— верит?

Строго спросил Хе-Ми:

— Жди. Кому я буду не верить?

— Который идет берегом. Если это не русский?

Махнул кедровой лапой Хе-Ми,— разогнал нехорошие слова. Закрываясь ветвью от каули, сказал:

— Так не думай. Ты не собака.

Опустился Ту-Юн-Шан на землю. Сказал, что на земле встретит русского, потому что земля-то ведь им, каули, принадлежит.

Забормотал Хе-Ми через ветку ругательства на сына.

Пристально глядя в туман просоленными морскими глазами, неподвижно ждали каули.

Сказал Ту-Юн-Шан:

— Если русский украл амулет Шо-Гуанг-Го?.. Возьмет и поведет нас на новые промысла. А ну еще тяжелее будет?..

Двумя ветвями закрылся Хе-Ми от нечестивых речей— священная хвоя кедра задерживает хулу.

Трепал Ту-Юн-Шан свои лохмотья.

— Не даст даром никто холста на шаровары и куртку. Зачем русскому давать мне шаровары и землю для риса? Разве у него мало братьев — русских без шаровар и риса? Это хитрый купец идет, больше никто!..

Махая веткой, отошел Хе-Ми. Лежала ветвь на балахоне, как на снегу.

— Разве я рыба, чтобы меня гнало волной? Пускай не умирает от круглоголовых жена...

Посмотрел на каули — стоят в ряд, как в строю. Лица кривят — смеяться учатся. Повел Ту-Юн-Шан рукой по тощему животу.

— Вот рыба, даже шкуру начистила — помыла. Ждет. А русский, как медведь жадный,— всех слопает. Я — Ту-Юн-Шан! Буря будь, деревья ломай, огонь пылай. Правду знать хочу. Я, Ту-Юн-Шан, отца отговаривать не буду, сам себя отговаривать хочу!

Разорвало здесь туман, со свистом закрутило его кольцом и понесло в горы. А в открывшейся долине по тропе подвигаются к скале четверо.

Увидали их каули, запричитали:

— Русский с амулетом. Во-он!

Лошади у путников корейские, низенькие, ростом с тигра. Уши и хвост как порванный парус под вихрем.

Впереди идет кореец, а за ним второй, весь, как осенняя трава, рыжий. Русский. Лицо под комариной сеткой, а легкие ноги, как лодки, плывут по травам.

На край скалы подвинулся Ту-Юн-Шан. Смотрит в долину.

К скале идут четверо, не торопятся,— утром кто лошадь гонит?

И только сравнялись с тремя соснами, совсем недалеко, у скалы, вдруг снизу из-под сосен чакнул выстрел. Чакнул, прыгнул в сопки и осел.

Дрыгнула ногой лошадь русского, мордой ткнулась в землю, пала.

Спрыгнул тот. Ружье с плеча...

Опять — выстрел. И еще раз за разом — два. Скользнули трое корейцев с лошадей на землю, повалились в травы, прячутся.

Русский плечо рукой жмет, через сетку кричит непонятное.

Разорвали здесь каули ряды и со скалы в долину. Камни в руках, жерди. Впереди Хе-Мн.

— Яй-я-й!.. О-о-я-ояй!..

Вытащил русский револьвер и обернулся к соснам. А из-под сосен, из-под травы, двое круглоголовых с винтовками.

Крикнули:

— Стой!

Трясется револьвер. Трясущимся, чакающим звуком выстрелил.

Приняли травы одного круглоголового.

Повернулся русский, побежал. Револьвер в ладонях перекидывает, как горячий уголь. Цепляясь винтовкой за кустарники, догонял его круглоголовый, а позади их с жердями, с камнями, бежали каули.

— Я-о-яй!..

Вся рука русского в крови. Хотел за сосну спрятаться, должно быть, только не успел — ударил тут круглоголовый его прикладом в шею. Соскочил приклад, размозжил темя.

Повернулся круглоголовый к корейцам, спиной уперся в дерево, винтовку к плечу, слова, как пули:

— Пошел. Убью. Пошел на работу, ну!

И подбородком дернул, словно торопя ружье, и выстрелил. Упал один каули, забороздил пальцами травы, а другой — руками за штык. Оттолкнул штык руку и, раздирая белую кофту, всунулся в грудь. Бросились тогда на японца.

— Надо его целым. Свяжи! — крикнул Хе-Ми.

Перевернул Хе-Ми русского — нет у того лба. Нос и рот. И рот яркий, большой, словно морская рыба. Опустил Хе-Ми седую бороду, откинул ветку.

— Ничего не скажет... Зачем пришел?

Дотронулся до груди русского, а поверх суконной одежды прицеплен медный пятихвостый амулет. Отогнул тугие, спрятавшиеся в сукне застежки, приложил амулет к своему сердцу, спросил:

— Зачем приехал — говори. Устал? Спишь?

И понесли русского к морю, к фанзам. Впереди вели связанного ремнями круглоголового.

Шел Ту-Юн-Шан позади Хе-Ми и говорил:

— Не надо было на скалу идти. Придут через пять или восемь дней круглоголовые... убьют. И жену, и тебя, и меня...

— Убьют. Живой русский увел бы, мертвый куда поведет? Мертвый поведет к мертвым.

— А куда повел другой русский каули с берега, от залива Кой-Лиу?

— Не знаю...

Подозвали корейцев, провожавших русского.

Отвечали те:

— Давал русский бумажки, уходили с бумажками.

— Мертвый ничего не даст,— сказал Хе-Ми.

И ныли сердца, как расщепленные бурею кедры. Тяжело было идти.

У фанз подле воды кинули связанного японца. Наклонился Хе-Ми, двумя пальцами упираясь в глаза, царапнул по векам. Обрызгивая слюной руку Хе-Ми, вскрикнул японец.

— Молчи, — сказал Хе-Ми, — молчи. Что тебе сделать, собаке, пожравшей человека?

Отвечали каули:

— Убить. Так говори.

Подняли японца. На веках от тонких бровей засыхали две петельки крови — след ногтей Хе-Ми.

Японец Во-Ди должен молчать. Японец-солдат кричит только:

— На работу пошел... к лодкам!..

Но нет у Во-Ди плети.

Отнял и машет кореец, машет перед лицом и бьет по тонкому носу. Какая крепкая плеть — как лепесток, разорвала нос, а боль по всей голове багровым колесом.

Веревками синей палатки привязали японца к дереву, у ног его положили русского.

Гвозди вбили в плечи круглоголового.

Чтобы кровь его — кровь мести — облила русского от плеча до пят. Тогда будет радостен русский.

— О-й-о-яй!..

Каули вокруг дерева — круг. Небо — голубой круг. Розовое кружится солнце.

Не увидит круглоголовый родины. Истечет кровью за убитого им русского.

Так сказал Хе-Ми.

IV. ПУТЬ ТУ-ЮН-ШАНА

Ту-Юн-Шан не мог спать. Душен и тепел кан — словно каленые камни его доски. Жена плачет.

— Зачем пришел белый? Я бы работал в лодке, таскал капусту,— круглоголовые за это давали бы рис...

Скрипя досками, подполз Хе-Ми. Пощупал ноги сына, протянул рисовую лепешку.

— Ешь.

— Сам ешь... Зачем звал на скалу?

— Русские!.. Ты, Ту-Юн-Шан, не знаешь русских. А Великий Город, пославший человека с амулетом... Счастливый город. Целые горы люди перенесли и живут в горах. Большой человек Шо-Гуанг-Го сказал: «Иди к Сихотэ-Алинь. Там есть Ту-Юн-Шан, его жена, ребенок и еще старый дурак Хе-Ми. Приведи их сюда и возьми этот амулет». И послал...

— Мне не надо амулета.

— Ты слушай, о чем он дальше сказал. Ешь лепешку... и слушай. «Ты, говорит, Хе-Ми, стар и еще успеешь умереть на родине,— но круглоголовые уже не будут хватать корейцев и везти их на промыслы...» Разве мне нужна капуста?.. Я ему сказал: «Шо-Гуанг-Го...»

— Ты не лги... Где ты говорил с ним?

— Разве можно спорить с отцом? Ты отцу верь... Вот видишь, я уже забыл, что сказал ему. Я русских хвалю,

я тебя, Ту-Юн-Шан, хвалю,— ноги у тебя, как у медведя... Ты далеко можешь уйти... Может быть, дальше Великого Города уйдешь...

Старик долго бормотал и во сне звал и уговаривал кого-то... Ту-Юн-Шан тихонько сполз с кана и вышел из фанзы.

Метался, путаясь в соснах, сырой ветер с моря. Ревели в соснах слепые духи.

Русский лежал на козлах, где сушили капусту. Пахло дерево морем, ветер шевелил скинувшиеся с козел руки русского.

На цыпочках подошел Ту-Юн-Шан к русскому. Нащупал холодный живот, маленькую дырку над сердцем, где лежал амулет. Прислонился ухом к сердцу русского и тихонько сказал:

— Ты не торопись!..— Чмокнул и вздохнул:—Я знаю — тебе некогда было живому рассказать, куда нам идти... Ничего, я на тебя не сержусь. Ты не торопись и рассказывай. Слышишь — я у самого сердца, амулет не загораживает. Амулет теперь у Хе-Ми; я не знаю, что он про меня думает, а я не хочу умирать. Круглоголовые несут нам смерть... Я слушаю твое сердце. Ты думаешь — я тебе не верю и считаю тебя купцом? Ты ведь из Великого Города, ты знаешь все,— как тебя может обмануть каули Ту-Юн-Шан!

Русский молчал.

Ту-Юн-Шан потрогал его разбитую голову, шевельнул плечо.

— Ты мне скажи хоть половину. У тебя сердце, как у медведя,— ты шел и никого не боялся. А почему у меня на сердце тайфун, сердце у меня как будто кто-то режет, оно болит, болит, русский?.. Ты мне скажи немного, от сердца к сердцу... Хочешь, лягу — из груди в грудь...

Русский молчал.

Ту-Юн-Шан помедлил и пошел на берег к лодкам. Здесь на одной из лодок он просидел до утра.

Сырой ветер плясал между лодок, хлопая мокрыми полами халата в борт. Вис в снастях свист. Как бы в неистовом страхе ревели в желтых и фиолетовых рифах волны.

Рано утром в фанзу Хе-Ми собрались старики. Сблизив бороды, шептались долго и расстроенно.

Прибежала к фанзе женщина и, сминая белую кофту, гнулась к реке:

— Шхуна! Шхуна идет!

Двухмачтовая шхуна виднелась в мареве высоко над бухтой, она плыла в сердоликовом небе. Корейцы махали руками и брызгали водой. Солнце брызгалось в искрах...

Хе-Ми сказал:

— Она далеко, мы видим не ее, а марево, но она будет в бухте. Придут круглоголовые — палатки нет. Нужно будет умирать Хе-Ми и другим.

— Нужно,— отвечали каули.

Перебирали руками каули тоскливо. Тоска, как ветер по листьям, металась по щекам, бородам.

Подвинулся по кану Хе-Ми. Уверенным голосом сказал:

— Амулет у меня. Русские свой амулет знают. Нужно идти одному из нас и одному из приведших русского. Догнать первого русского и сказать: «Вот амулет. Тот, другой,— умер. Круглоголовый, убивший его, залил его своею кровью от груди до пят...»

— Тогда русские будут довольны.

— Я, Хе-Ми, знаю. Говорю: «Бери амулет ты, другой русский, иди». Так ему скажет Ту-Юн-Шан.

— Я не хочу умирать,— сказал Ту-Юн-Шан,— у меня в фанзе жена. Ребенка моего зовут Ки-Ма. Я хочу домой. Я уйду с ребенком в тайгу и буду убивать медведей и изюбров. Буду искать женьшень.

Хе-Ми сказал:

— Нехорошо.

— Плохо!

Ту-Юн-Шан отошел в угол и визгливо крикнул:

— Я тоже говорю — плохо... Я не хочу умирать. Мне надо домой. Русский мне ничего не сказал, и сердце у меня в груди гниет. Я не пойду на ту сторону гор. Разве я вас посылал на скалы?

Долго глядел в окно фанзы Хе-Ми на море. Терпеливое лежало море, перекатывались волны. Желтые, голубые, фиолетовые.

— Ты, Ту-Юн-Шан, пойдешь. Ноги у тебя как у медведя, ты можешь дойти до самого Великого Города. Иди.

— Я не хочу умирать.

— Жена твоя здесь, рядом — за перегородкой из циновок. Не пойдешь, придут круглоголовые, возьмут ее и сожгут на том костре, где сгорел тот круглоголовый...

Хором сказали каули:

— Сожгут... Иди...

Сказал Хе-Ми:

— И ребенок твой рядом... И другие дети...

— А в тайгу не уйти — все равно там с ребенком пропадешь....

Подвязал шляпу Ту-Юн-Шан, подвязал туфли.

— Давай амулет!

Падями узкими, как дверь фанзы, шли Ту-Юн-Шан и Пинь-Янь, кореец, приведший русского. Камень сырой и темный теснил плечи. Днем из падей видно звезды.

Пинь-Янь сказал:

— Через горы к русскому ближе. Русский идет по берегу.

— Ближе! — кричал визгливо Ту-Юн-Шан. — Пойдем ближе.

Осклизлыми, зеленовато-черными лишайниками порос камень. Ноги как оглохли от ходьбы,— камень, всюду камень, до самого неба.

Палкой бил по камню Ту-Юн-Шан.

— Скоро!..

— Войдем в снега, фанза зверолова-охотника в снегах. Отдохнем — и льдами ближе, к берегу.

Тропа под пятой — как уголь раскаленный. Пропасть под тропой — киснет и глохнет крик. Солнце блестит на камне.

Машет палкой Ту-Юн-Шан, торопит:

— Скорее. Мне ждать некогда, скорее!

Развязал воротник кофты. Шляпа обвисла от пота, как собачьи уши. Дышать сыро, тесно. Говорить надо много, иначе камень-тоска навалится на труса.

— Я самого Шо-Гуанг-Го могу увидеть! — кричит Ту-Юн-Шан.— Здесь у меня на груди амулет Города... Может, для меня одного везли амулет, а я сказал: «Мне одному не надо... я хочу, чтобы все каули шли, чтобы не было круглоголовых...» Кто будет самый большой человек в Корее? Кто будет, когда прогонят японцев? Разве старый Хе-Ми, который умеет пугать только женщин...

Камень расступается, разбегается. Камень прячется в снега. Тропа холодеет, и с тропы ветер, как зимой.

Кричит Пинь-Янь:

— Скорее!..

— Бегу, как козел,— слышишь, рога звенят? Это я, Ту-Юн-Шан! Амулет я прицепил на сердце, я ничего не боюсь. Мне умирающий русский так сказал: «Ты, Ту-Юн-Шан, лучший среди каули. Лучше тебя нет». Это правда. У меня в день три лодки с капустой. Капуста у меня длиной с сосну и толстая, как плаха!..

Скорее!..

Пади раздавлены скалами. Крутизны по скалам — зверь человеку завидует. Сердце у зверя робкое.

Карабкается по траве Ту-Юн-Шан. Кустарники в крови от его рук. Гудит, падает камень в пропасть... у пропасти вырвали сердце.

— Скорее!..

— Ползу, ползу, Пинь-Янь, видишь! Не торопи, может соскочить с моей груди амулет, зачем мне тогда русский? Кто мне поверит? Слова мои, как молоко,— их все пьют с радостью. Я над тобой смеюсь, Пинь-Янь!..

Опять пади. На тропах орлиные пометы. Орел летит над падью, закрывает небо. Теплое перо у орла. Сильные когти.

— Скорее!..

— Иду, Пинь-Янь, иду!

Лес напугался, не идет к снегам. Сосна, как медведь, ничего не боится. Одна подступает...

Медведь ничего не боится. Лежит на тропе, пыхтит. Ту-Юн-Шан молод. Язык у него легкий. Вышел на тропу, сказал:

— Отец. Стрелять мы тебя не будем, нет у нас ни пороха, ни ружей. Ты всех сильнее, ты всех ласковее, отец,— пропусти. Я сын Хе-Ми, старика святого,— его ты пугай, а меня зачем?..

До заката лежал на тропе медведь, а потом вернулся в скалы. От медведя на тропе кусочек шерсти. Всунул шерсть в ухо Ту-Юн-Шан.

— Скорее!..

Камень уткнулся в снега. Снега поборoли камень. Небо, как снеговая глыба.

— Оттуда по льдам к берегу... Держись, Хе-Ми!..

Снегами идут двое. До фанзы звероловa четыре часа.

Пургу выпустили камни. Закрутили ее в свистящих лапах. Белыми кофтами завертела пурга. Вгрызлась

в ноги, слопала-сожрала тропу. Гоготом-хохотом прыгнула под небо.

— Скорее!..

Ту-Юн-Шану говорить нельзя — весь рот забило снегом. Захолодел рот, захолодело сердце.

Протянул Пинь-Янь пояс,— черная коротенькая ленточка перед глазом. Снег липнет на ленточку. Ноги липнут к снегу. Ноги, как душа,— холодные.

Сказал Ту-Юн-Шан:

— Я не умею так ходить...

— Иди... иди... Скорее!..

Кофта укрыта овчиной, а не снегом. Кожа на теле, как сосновая кора,— за это разве любит жена? Устал Ту-Юн-Шан.

На третьем часу, у фанзы зверолова, поскользнулся Пинь-Янь и с глыбой снега скатился в пропасть.

Пурга спадала.

Взглянул в пропасть Ту-Юн-Шан: снег. Маленькое пятно мелькнуло, а может, не мелькнуло... Нет Пинь-Яня, вместе с ремнем упал.

Снег продавил синее небо. Медведь снеговой гложет тучи. За снегами — льды. Иди, Ту-Юн-Шан, иди.

От фанзы зверолова — льды. От неба до неба — льды. Звенят льды, поют.

Пуста фанза, даже дымом не пахнет.

Огня у Ту-Юн-Шана нет. Съел рисовую лепешку, пошел.

Льды все идут вниз. Он путь знает. Ту-Юн-Шан не заблудится — для него дорога, как свой рот.

Твердое, гладкое под туфлей. Солнце другое, чем на море. Вода твердая — льды. Рыбы по льдам — камни. Тяжело.

Потрогал Ту-Юн-Шан концами пальцев амулет.

— Ты видал много, для тебя все дороги знакомы — укажи путь. Ты охраняешь мой язык — разве я тебе буду лгать?.. укажи! Душа моя, как сломанные руки,— куда она...

Молчит амулет. Пять хвостов у него, как пять рыб,— плывут они в разные стороны. Что еще скажет Ту-Юн-Шан?

— Русский от широких земель, ты, оставивший амулет и ушедший под травы... Видишь, я несу его туда, где

ты взял свои сапоги и лошадь. Укажи дорогу! Для смерти ты прибежал разве? Амулет согрелся под рукой, — он бьется, как сердце. А может, сердце молчит, слушает, как он стучит. Что я знаю?

Льды выходят с гор, как тучные синие коровы. Прут широкими животами в скалы — поет-жалуется камень. А Ту-Юн-Шан на льдах как пыль. Низко кланяется, скользит Ту-Юн-Шан.

— Я молчу, великие льды... губы у меня, как лоскутья. Здесь у меня амулет Великого Города, он просит — пропустите меня... Утонул в снегах Пинь-Янь... как корень капусты в бухте, нету!..

Подвигается по льду Ту-Юн-Шан. Со скал он, словно маленькая, черная галка. Щупает палкой трещины. Поют гулами густые льды. Трещины звенят, как птицы.

— О-о-ох!..

Забренчали бубнами, бубенцами скалы. На синие льды выпустили пургу. Оставляя позади себя белую пену, клубом прыгнула она на льды и покатилась.

А за пургой — лохматый и вечный тайфун. С моря перепрыгнул через горы, подогнул под себя скалы и на льды — желтый тигр.

Вонзился зубом седым в тощую шею пурги и поволок ее с гоготом по льдам.

Льды ему, как море. Скалы ему, как волны,— треплет, гнет и бросает. В пропасти, в трещины загибает пургу,— с визгом ползет она. Так ей и надо, так ей и надо...

И человек попал тут как-то на льды. Человек без лодки, с палкой. Руку жмет к боку...

Загнуть этого человека в кольцо, подхватить под полы и по льдам. Звенят льды, поют. Звенят скалы, поют.

V. ПОТОМУ, ЧТО ХЕ-МИ ЗНАЕТ

А за бухтой цвело неохватным цветом море. С берега, ломая горбы, бежали скалы в тайгу. Облака над скалами плескались узкие, длинные и зеленые, как уаханга — морская капуста.

У лодок стоял Хе-Ми и говорил:

— Слышу — по берегу идет Ту-Юн-Шан. Теперь он за болотами, а там долина, и за долиной голый и желтый берег. Там русский. Он идет сюда. Слышу!

Сказали каули:

— Сердце твое, как дождевая туча, страшно и радостно. Когда уведет нас русский?

— Будем сегодня ночью гадать, когда придет второй человек с амулетом.

— Будем!..

Опять надел Хе-Ми белый балахон, закрывающий ноги. Опять из священного кедрового дерева зажгли костер.

Протянул над дымом Хе-Ми руки, сказал громко:

— Ты, пылающий выше гор и ниже моря, слушай. На рыбе, на земле и на человеке будем задавать вопросы. Ты будешь отвечать. Души наши сгорели, и пепел нашего горя задымил — съел голову...

— Души наши сгорели...— сказали каули.

Чужой, еле различимый, как прошедшие годы, старик Хе-Ми. Голос длинный и тонкий, руки над костром, как бабочки.

— Смотри: рыбу беру за хвост. Рыба с голубым плавником и с языком, как у человека. Видишь — живая, бьется. Слышишь — кричит. Ты слышишь, я нет. Смотри!..

Пальцами разорвал у рыбы живот, обливая кровью пальцы, выхватил зубами хребет. Мясо кинул в огонь. Хребет протянул над огнем.

— Смотри. Он гнется, как живой, он вьется под пальцами... Он поет... Ты отвечаешь, пылающий. Знаю. Говорю: Ту-Юн-Шан жив, он дошел.

Отозвались каули:

— Хорошо. Говори дальше!

Опять в дыму держит Хе-Ми руки. Вокруг костра — каули, жены их, дети.

— Ты, пожирающий и покоряющий! Смотри. Земля с берега моря — глина. Здесь сейчас на руках засохнет она, и прямые трещины скажут Ту-Юн-Шану счастье.

Щепы кедровые, священные. Дым над костром, как кедр, искры, как шишки из золота.

— Смотри. Сохнет моя кожа, как уголь. Ноготь трещит, больше не могу!..

Опустил Хе-Ми руки. Наклонился один из каули, взглянул на глину, сказал:

— Мо-о!.. Трещины, как сосны. Прямо. Дошел.

Подтвердили каули:

— Дошел!

Опять в дыму руки. Седая борода в копоти, в искрах.

— Последний раз отвечаешь, пылающий. Иди к морю.

Щелкнул пальцами, и каули щепами от костра зажгли по берегу смолистые бревна.

Лениво брело по берегу море. На камень со щепой в руке взошел Хе-Ми.

— Тебе, воды... Бросаем на испытание в море сына Ту-Юн-Шана Ки-Ма... Принимай, бери. Если цел будет не умеющий плавать ребенок — идет Ту-Юн-Шан обратно с русскими.

Упала перед огнями женщина, кричала. Сказал Хе-Ми:

— Ты, не имеющая имени, не мешай гореть огням... Если утонет твой сын — все гибнет, о чем жалеть? А выплывет — у тебя будет счастье, какого мало было у корейской женщины. Я скажу...

Распутал ребенка от тряпок. Схватил Ки-Ма бороду деда. Руки Ки-Ма золотые, глаза под огнями — крабы. Выше головы поднял Хе-Ми, качнул три раза и кинул в море.

Плеснулись, вильнули волны. Под оранжевым цветом — красный. Под красным — желтый и голубой. Задвигались отсветы костров по морю, по рифам. Синее, фиолетовое и желтое море. Волна подгибается под волну. Лепетуньи переплеснулись, плавно упали под огни...

И выплеснули на берег Ки-Ма.

Лежал на берегу ребенок...

Поднялись, затушили огни каули.

— Он идет!

Перед большим костром, освещающим горы, сказал Хе-Ми громко:

— Тебе, жена Ту-Юн-Шана,— женщина, не имеющая имени. Тебе говорю. Три раза сказал огонь — идет Ту-Юн-Шан с русскими. Сердца наши, как молодые травы. Круглоголовые придут на пустое поле. Мы уйдем. Я, Хе-Ми, знающий, говорю: первой из женщин каули даем тебе имя не мужа, а *свое*.

— Да-а!..— подтвердили каули.— Хорошо иметь свое имя.

— Над прудами цветет черемуха. Цапля стоит у фанзы. Так будет у тебя дома... А здесь назовешься ты Кваму-Митсу, Цветущая осенью...

Утром, как всегда, раздвигались, прыгали в желтых волнах опаловые рифы. Желтая пахнущая пена, как цветочная пыль.

У фанз на циновках сидели каули, глядели узкими спокойными глазами на Теплые горы — Сихотэ-Алинь.

Рядом у своей фанзы ждали Хе-Ми и Ки-Ма, а Кваму-Митсу варила в очаге черную клейкую похлебку из бобов...

1922

СИНИЙ ЗВЕРЮШКА

I

В селе Нелашевом у Ерьмы дом — пятистенный. Хозяйство в нем вела сестра Ерьмы, Степанида, сам Ерьма в нем не жил, все бродил по волости, и каждое село для него свою работу имело: в одном сапожную, в другом кузнечную, а в третьем самогонку гнал. А то в лесах зверя бил. В Нелашево же Ерьма приходил с послухами.

Глаз у Ерьмы зеленый, плесенью подернулся, грудь косая, точно погнули ее, а живот, как у бабы, большой и пухлый.

В германскую войну идет Ерьма селом, пахнет от него болотом, ногу за ногу зацепляет, а сам говорит:

— Немец нашу волость под себя брать отказался, потому в ней охотников много, а охотники по его мастеровому делу не требуются, под турку отойдем...

А в революцию свое заговорил:

— Мысль имею тяжелую и выбросить ее из себя не знаю где!..

Встретил Кондратий Никифорович однажды Ерьму у поскотины и спросил:

— Как живешь, Ерьма?

Идет человечек и глазами поет:

— Я-то,— говорит,— я, Кондратий Никифорович, живу плоха!

Сказал и на толстое тело Кондратия Никифоровича, как на лесину, облокотился. Кондратий Никифорович уважал себя и потому отодвинулся.

— К себе идешь?

— Домашность проведать надо, Кондратий Никифорович.

Кондратий Никифорович идет и щупает: камень под ногой, лесины и землю. Говорит хозяйственно:

— Хорошая лесина, пароду избы рубить крепкие можна.

А про камень:

— Хороший камень, душевный. И он понадобится, скажем, литовки точить...

Все хвалит и на себя глядит с удовольствием. Толстый и низкий он, как стог сена, рук от тела не видно, а нога где-то в брюхе спрятана.

Ерьма от него поодаль и промеж листьев на небо смотрит: не то на птицу, не то на вычеканенный березой по небу узорный лист.

— Живу плохо,— говорит Ерьма,— жалаю мучинечиства.

— Ты-то?

— Я, Кондратий Никифорович, ниприменна я, потому, окромя меня, кому охота?

— Эта верна, окроме тебя, на мучинство кто пойдет.

— Ниприменна!

Подумал Ерьма об Кондратии Никифоровиче и сказал:

— Ладное у те имя-то, длинное, а я, брат, длинные имена люблю: здорового мужика сразу видна... А от вас я се-таки убреду!

— Ступай в Расею, там тебе мучинства сколь хошь припасено.

— Оно и Сибирь-земля не оскудела.

— Бают, в Расеи-то савсем плоха живут, и едва неприметна, и люди савсем по особому растут, косят, как дерево гнилое...

— Брешут!

Кондратий Никифорович пощупал березу, понюхал лист и сказал:

— Ядреная ось получится, надоть мужикам сказать. А может, и брешут, Ерьма, про Расею-то?

— Обязательно.

— Мне все одно, брешут ли, правду ли бают...

— Вот приет она сюды, почуешь.

— Кто?

— Кумыния, скажем, и другие полки.

— К нам она прийти не может, потому, окромя тебя, нет по нашей волости страдателя. А мы робить хочим и насчет того, чтоб восемь часов в сутки жить, другим рассказывай, чемерь тебя притисни!..

Кондратий Никифорович, с непривычки говорить долго, вздохнул:

— А может, и брешут на него, никаких Кумыний нету, жрать хочет, ну и выдумал. Оно для еды-то не токмо Кумынию придумашь, тут тебе все на голову полезет...

Ерьма же запустил в пыль проворные ноги, торопится, а глаз у него, как только что распустившийся листочек зеленый, липкий и блестящий:

— Жалаю я об других заботиться, и никаких!

Хвоя летит с сосны за ворота расстегнутых рубах. Горы гудят за соснами, и песок пахнет смолой и солнцем.

Кондратий Никифорович оглянулся округ медленно и степенно, похвалил все:

— В самую пору жарит, так и надо. Одобряю.

Жалко ему стало Ерьму, далеким родственником тот приходился, сказал:

— Пойдем, самогонкой угощу.

II

— Домой я идти не желаю,— говорит Ерьма,— есть у меня такой манер, что, кроме человечьего горя, никаких мыслей...

Дом у Кондратия Никифоровича тоже толстый и низкий, как хозяин.

Кондратий Никифорович сидит на скамье у стены, голова у него от волосу синяя и словно пук шерсти на плечах, голос тоже лохмат и сиповатостью отдает.

Баба у него толстая, жирная, и тело ее в ткани яркие обернуто: желтые, синие, красные.

Ерьме на них глядеть хмельно и мутно, пьет он стаканами самогонку и хмелеет с ног, вверх за каждым стаканом вершками тело пьянеет. Что ни стакан, то и три вершка.

А Кондратий Никифорович говорит неторопливо, и мысль у него внутри, как мышь в полном закроме, лениво шмыгает.

— Живи, Ерьма, хватит. В город поедем, чего хошь менять будем. Ноне город наш — взяли...

И ноги у него от смеха танцуют, а на туловище и лице тьма.

Тошно Ерьме, а уйти сил нет.

— В город я сам явлюсь, к народу, там таких много, что жалают о других заботиться, а не только о себе.

— Ступай, человек ты сдришной. Нам ничего не надо.

И вдруг по столу ударила его рука — толстая, и жилы на ней, как змеи.

— А только придешь, стерва! Назад придешь!

— Не приду.

Ерьме муторно, а тут еще из-под голбца дух кислый идет, не то псина, не то квас пригнивший.

— Чего там? — спросил Ерьма.

— А это, парень.— И цвякнул губами Кондратий Никифорович.— А эта будет зверюшка... синяя...

Точно: ползет из-под голбца по крашеному желтому полу, по лоскутному цветному половику зверюшка. Кошка не кошка, но породы кошачьей, ростом с собачонку, ус у ней кошачий, мурлычет по-кошачьему, а глаз не поймешь какого цвету, только совсем человечий.

— Из Зайсану привезли, киргизы пымали, они их китайцам продают, счастье в дом приносит, домашнивый зверь...

— Вонь от него, рукавицы из него сделать могу,— говорит Ерьма.

Кондратий Никифорович сказал:

— Потерял корову, две недели отыскать не могли, а тут как появилась, нашлась. Для счастья обязательно в избе каку-нибудь.

И губами повел лениво:

— Цвы... цвы...

Кинул ей кусок мяса, и зверюшка, изгибая спину и комкая над половиком лапу, впилась зубом в мясо.

Муторно Ерьме, непонятно тоскливо: и от кошки огромной, и от запаха псины.

На другой лавке жена Кондратия Никифоровича сидит и тоже соловым глазом за зверюшкой следит, и губы у нее красные и потные.

Грузен земляной хозяин, Кондратий Никифорович, и голос у него тоже грузный.

— Прыткий зверь... зверя я люблю, Ерьма, душа у меня ленивая... а он-то прыток...

Дышит изба на Ерьму хлебом и псиной, хозяин самогонкой, а за окнами такая же изба и небо, как старый рваный половик, и гор в окно не видно.

Ерьма встал, душа у него точно ослепла и губы, как каменные, не гнутся:

— Пойду!.. уйду я от вас!

Молчит хозяин, зверюшка у его ног бьется с мясом. Закрыл глаза Кондратий Никифорович, а у зверюшки цветное око — непонятное и человеческое.

Со злостью сказал Ерьма:

— Ишь, жрет!..

Пошел через сени, а в сенях баба Кондратия Никифоровича уже на кровати лежит, и от тела ее тоже дух идет — виски от него потеют и между пальцев слизь.

— Женись, — говорит она Ерьме, — невесту найдем...

Вышел за ворота Ерьма, высморкался.

За избами на небе лежат, отдыхая, горы, за горами пойдут топи, за топями луга, а там, Иртыш, а дальше города...

Избы пахнут травами, заборы пахнут лесами, а земля мясным скотским духом и хлебом.

Ерьма вздохнул, изогнув свою косую грудь:

— А уйду, ей-богу, уйду!

III

И Ерьма ушел.

До этого долго ходил поселком, жалобился:

— Тяжело мне, братцы, ухожу я... Жалко мне вас, а ничо не поделаю с собой...

Мужики смотрели хмуро, молчали, только шаг у них делался тверже и тяжелей.

Пошел Ерьма горами на Селяжные топи.

Гора здесь растет выше неба, а мужики словно не видят ее, «камень», говорят. А на камне том — лес, а промеж лесу зверь: от птахи до мамонта, хотя мамонт — зверь теперь, говорят невидим, и из него, когда он заболеет, один клык валится.

Идет Ерьма, сапогом меж скал шебуршит, сухой сам, только брюхо у него бабье, и при народе постоянно урчит.

Котелок сбоку медный — солдат умерший подарил, берданка пулей заряжена и сам Ерьма, как ружье, радостно заряжен:

— Пошел!.. пошел!..

Посвистывает и оглядывается: камень пророс в небо голый, без трав.

И вспомнил Ерьма синюю зверюшку, здесь в камнях ее поймали.

И кажется, пахнут камни псиной, одна лишь сосна, радостно и широко в воздух опираясь, дышит смолой.

Ласково греет земля, влажными парами пахнущими земляникой.

Так же ласково течет по телу из-под мышек теплыми веревочками пот.

Ветер посвистывает в дуло ружья, трясет котелок. Чудашливый ветер, тоже теплый и по-своему ласковый.

Ерьма ухмыляется, доволен:

— Пошел, парень, пошел!

Жалко было сестру, все углы в доме оплакала Степанида, пошел Ерьма на сход и завещание на ее имя составил:

— Хоть и общее теперь все, а володей на мою голову.

Еще сильнее залилась сестра, воем воет, и на день раньше срока ушел от плачу ее Ерьма:

— Не могу слезы терпеть.

Камень лежит сплошь гладкий, посидеть на нем тепло и ласково.

Закурит, отдыхая, и думает:

— Через неделю в городе буду. Значит, топи пройду, луга там, а потом Иртышом до городу.

И мысли, как цыплята под наседку, густо набиваются в голову — хорошие и нужные!

Ерьма доволен.

— Благодать!

Небо мягкое и не жаркое, прохладное; лес с тягучим медвяным шумом, и камни теплые и удобные для человека, и тропа, как старый половик, — знакома. Все благодатно.

Сплюнет Ерьма на сапог — востроносый потрескавшийся сапог, и плевок на нем, как пятиалтынный лежит.

Весело Ерьме:

— Ушел, Кондратий Никифорович, ушел.

В падях, там позади — темные и душные избы, и люди в них, как мухи, запеченные в хлеб.

И широко и крепко оседает лавка под грузным телом Кондратия Никифировича, и подле ползет и шипит шерстью синяя зверюшка с хитрой человеческой зеницей.

Любит их Ерьма и немного жалко — остались там, и к чему — неизвестно.

Вскакивает Ерьма, идет дальше.

Так шел меж камней полтора дня.

На второй день, утром, встал раным-рано, каждый день вставал все раньше и раньше, — далеко до восхода.

Идет — тропа синяя, но теплая, еще за ночь не ушло тепло из нее.

Истомленно ложится трава и шипичник, пьяные от сна. Камни тоже полупроснулись, хлюпают. И медленно и шумно потягиваются дальше горы.

Затрещал вдруг кустарник вверху тропы — словно кто воз хворосту уронил, и глядит Ерьма — на тропе медведь. Темный весь, заспанный и головой трясет, словно недоволен тем, что разбудили.

Стоит и не шевелится, и зачем выволокся на тропу — сам не знает, а уйти, должно быть, лень.

— Ну, ты, — крикнул Ерьма и не понимает, как ему надо на зверя кричать, чтобы ушел тот.

Никогда на медведя не кричал.

— Уходи, что ли, ты...

Стрелять приходилось, а прогонять — как его прогонишь? И неожиданно крикнул Ерьма:

— Цыля!

Словно засмеялся так про себя зверь нутром и провел лапой по тропе.

А солнце уже встает, и видно у медведя ленивый взгляд.

Сдернул Ерьма ружье и для страху больше выстрелил.

По-смешному перекувыркнулся медведь на тропе и растянулся, как сытая собака на солнце.

Ерьма подошел, смотрит — убит.

И стало ему страшно.

А вокруг такие же теплые горы, и ветер с деревьев на тропу кидается, волосы у Ерьмы к земле пригибает, и страшно ему — почему так сразу и без причины умер зверь?

Только из глаза у него кровь идет, будто кровью плачет. Оно так и есть, только кровью умеет плакать зверь.

Сунул Ерьма руку в карман, там нож лежит для обдирания и косточка мамонтовая, чтобы шкуру легче с мяса подымать.

Присел подле медведя и начал свежевать.

А потом поднял шкуру на плечи и повернулся в поселок. Где, кроме поселка, продашь шкуру и где случаем похвастаешься?

— Ушел? — спросил медленным, тягучим голосом Кондратий Никифорович у Ерьмы и на шкуру медвежью не смотрит, словно сам послал ему медведя. — Ушел?

На голбце синий зверюшка спину гнет и водит за Ерьмой хитрым звериным глазом. Прыгнул он с голбца и с полпрыжка о сапог Ерьмы ударился, мурлычет, усом по колену щекочет — мясом медвежьим пахнет от Ерьмы.

Под образами Кондратий Никифорович сидит, и губы у него, как пласты подымаемой плугом новины, медленно шевелятся:

— Медведь ноне добрый, крепкий медведь растет!

И боязно до истомы и слабости стало здесь Ерьме, и думается ему, что точно он, Кондратий Никифорович, земляной хозяин, выпустил на Ерьму медведя.

Но, осиливая себя, — крепко сказал Ерьма:

— А уйду я, Кондратий Никифорович, все равно уйду.

Посмотрел на его ноги и похвалил:

— Мужик ты, Ерьма, хороший, и куда надо уйдешь.

Подала на стол баба жирные, точно из одного сала, желтые щи и на тарелке цветной — красное мясо. А лицо и платье у бабы тоже цветные. Губы неподвижные и мокрые, и смеется она, не трогая их:

— Хе, хе, хе...

IV

И опять ушел Ерьма.

Думал сначала он — не буду брать ружья с собою — не надо. Но одна вещь на свете у него оставалась: ружье, а без вещей человеку жить стыдно. Пришлось взять. Думал не заряжать, а зарядил.

Идет — зеленый зрачок его на земле и уже ничто не радует. Приходят в голову длинные и скучные дедовы молитвы, и начинает Ерьма богохульствовать, но от этого еще острее ноет сердце, а то и как птица под ножом затрепещется, и скажет Ерьма:

— Уйду, уйду...

На горы, на кустарники и сосны не смотрит.

Земля под ногой печалится, сохнет, из-за каждого камня ждет он: вот выйдет «оно» — зверем ли, человеком ли, но не пустит от своих земель.

Но никого нету.

Так он горы прошел, снизился, вышел на Селяжные топи, и схлынула здесь печаль с сердца, опять в себя поверил, зашагал быстрее.

А кругом кочка, согра с березняком. Смородиной да осокой пахнет, и смородина огромная, с воробьиные яйца и ряснаая, как во сне.

Кочка же в человеческий рост, в осоке, как мужик в волосах. Вода промеж кочек зеленая, от травы не отличишь, просто текучая вода и сытная вода, никак нельзя больше глотка выпить.

Дорога — гать, уложена валежником, лесиной старой, под ногой пляшет, хлюпает, плачет, вся-то она запуталась в нездоровых и острых болотных травах.

Идти Ерьме трудно, но весело и нужно под ногу смотреть.

Так шел он и под ногами лесины прыгающие смотрел.

Как вдруг чует он на бороде теплое и влажное дыхание.

Отскочил он назад и смотрит — лошаденка стоит, брюхастая и лохматая, крестьянская лошаденка. Узда на ней веревочная, хомут тряпичный. Одно ухо драное, а на носу сидит такой зеленый ядреный овод, будто сто лет тут сидел.

Хохочут за лошаденкой в телеге.

Отвел он потную лошадиную морду в сторону, видит, в телеге — девка, молодая, на лицо не знакомая. От комаров, должно быть, мешком закрывается и хохочет.

— Тебя откуда выперло-то! — кричит. — Болотный ты, что леший! Чуть Игреньку-то в болото не упер!..

Молчит Ерьма, боком прошел мимо оглобли, хотел было мимо обойти телегу — никак нельзя, нет кочек, вода зеленая, табаком пахнет, а телега весь проход занимает.

— Через телегу перелезай, — кричит девка, — да мотри, меня не пачкай, ишь из болота вылез!

Протягивает Ерьме руку, — помощь.

Молчит Ерьма, руку не берет и мимо девки по облучку.

Сбросила девка мешок, хохочет. Лицо свежее, комарами слегка покусанное, а на груди кофточка лопнула, и тело ситец рвет.

Жар затопился в груди у Ерьмы, как в теплую воду окунулся весь, и с телеги спрыгнуть нет сил.

— Подвезу, — кричит девка, — я к дяде еду. В Нелашево; Кондратия Никифоровича знаешь?.. Лешай!..

И лошадь хворостиной бьет.

Спрыгнул Ерьма и пошел от телеги дальше в топь.

— Лешай, ты, лешай, — чего молчишь? — крикнула девка и хохочет.

Думает Ерьма:

«Может и впрямь поехать?.. Какова праха в городах-то, не зрил, а? Девка, что ж, как и все, может, покрепче других, — она-то при чем?»

Остановился, подумал, но, искурив трубку, пошел.

Опять глядит под ноги, на бревна гнилые, хворостины, на березняк, известкой вымазанный.

А кочки выше, теснее, березняк ближе подходит, и запахло уже грибом — скоро топям конец. Прогалинки пошли, песок на них заблестел, и ветер дует не гнилой, болотный, а теплый от гладкой воды.

Обрадовался Ерьма:

— Уйду!..

И вторую трубку только закурил, как опять в березняке хруст такой же, как там, в горах.

Сорвалось сердце, куда-то в пади упало, а в глазах тьма. Руки — и табак и трубку выпустили.

На колеях дороги — кабан. Морда в пене, правая сторона ее лысая, старый кабан, и клык — аж сера. Хрюкает и мелким шажком на Ерьму.

— Задерет!.. — сказал, изомлевая, опять Ерьма.

Со злобой сдернул ружьишко, зажмурился, со слезами на веках выстрелил — стряхнулись от выстрела слезы.

И, конечно, мертв лежит зверь — будто давно кто его положил. Даже песок бугорочком у бурой щетины, и на клыке трава выкорчевана, должно быть, когда падал, выкорчевнул.

Вернулся Ерьма в Нелашево.

Где мужики подвезли, где сам волок, но притащил Ерьма кабана к Кондратию Никифоровичу и сказал:

— Отдай зверюшку... вот кабана возьми... берданку отдам еще.

Толст и крепок Кондратий Никифорович, слова подымаются у него медленно, от носа к губам — и слова все грубые, как ирбитские телеги, и такие же крепкие.

— Ядрена мать! Куда тебе ее?

— Кончу!.. сердце не терпит!..

Помолчал Кондратий Никифорович. Голова у него маленькая, от волосу синяя, а зверюшка тоже вся синей мягкой шерсти, гнется на голбце.

— Не могу, парень, потому душа у меня проворная, а зверь ен хитрой.

— Ладно, — сказал туго Ерьма, — а я все-таки уйду!

Промолчал Кондратий Никифорович.

V

На третий поход горы Черноиртышские и топи Селяжные прошел Ерьма безостановочно и на луга к Иртышу вышел.

Шел по горам и топям с тоской и опаской. Млела душа и вера уходила, а все же задорно говорил:

— Уйду, Кондратий Никофорович, уйду.

Песками вышел Ерьма к Иртышу, а у берега топкая и вязкая глина — вся нога уходит. Захотел Ерьма напиться. Спустился по талине к воде, — затон тут, камыш с коричневыми балаболками рос. Ухватился Ерьма за талину, наклонился — балаболка ему в лицо лезет. Отломил ее, но не совсем, а так надломил и откинул.

Иртыш широкий лежит, а мимо его пески, тополя, поселки плывут. Песок желтый, а поселки темные, и точно пальки накиданы по песку, тополь же — сирота — неприметен и дрожит всегда.

Напился Ерьма, встряхнулся и пошел быстро средь тальников.

Больно задела ветвь по глазам.

Отвел зеленый глаз от реки, на себя заглянул — тонкое, жилистое тело, а живот хлипкий, бабий и ноги переплетаются, месят глину. Котелок поет у пояса, ружье тяжелое. И больно в голове отдалось:

— Куда, Ерьма?

Вспотели плечи и внутри точно вспотело все, заглянул Ерьма себе под ноги, а под ногами, впереди — звериный, круглый полузатянутый глиной след, но свежий еще.

Понял здесь Ерьма: последнего зверя надо убить, а потом дойдет — потом город, и мученичество там, и счастье.

Скинул Ерьма ружье, патрон попробовал и, пригнувшись, легкой, охотничьей походкой пошел по следу.

Несет от Иртыша влагой, тальник илом и прошлогодними травами от наводнения облепляет. На сапогах вязкая, тяжелая, как железо, глина. И тело оттого тоже точно глиной набитое — тяжелое, и только рука легкая и ружье не чует.

Идет Ерьма, торопится — последний зверь, конец всему за этим зверем.

А след все шире, свежее, пятно от пятна дальше и все к Иртышу ближе.

— Сейчас!.. — бормочет Ерьма. — Сейчас!..

И берданку к плечу вскидывает — пуля крепкая, порох английский — хоть какого зверя возьмет.

Идет след к воде, к затону, к камышам.

Торопится Ерьма по нему. Вот камыш, тальник над водой, ветка в грязи лежит втоптанная — чтобы лучше к воде было наклоняться, и над водой надломленная коричневая камышиная балаболка.

И след тут один, его, Ерьмы, след, и никаких зверей больше нету. Длинный след человеческий.

...Посмотрел Ерьма на след, бросил берданку в грязь и повернул от Иртыша к топям Селяжным, на старую дорогу...

Все таков же Кондратий Никифорович, — толст, широк, как стог сена, и голос у него сухими травами и черноземами пахнет.

— Пришел, гришь?

У ног его об колено зверюшка трется, с хитрым человечьим взглядом, смотрит на Ерьму.

Кондратий Никифорович говорит:

— Иди ко мне в работники. Харч у меня и обува добрая, а ты мужик хороший.

В тоске потухает и тлеет сердце у Ерьмы, и глаза у него зеленые, влажные, как листья распускаются весной.

Молчит Ерьма...

1922

ЖАРОВНЯ АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА

I

От Урала до Туркестана тысяча тысяч верст, и все песками сыпучими ростом в человека. Глуби.

Однако косой и рябой Кузьма рассказывал:

— Иду в город Верный, он, бают, сквозь землю провалился, выпучилось там озеро, и уток в том озере — тьма... А камыш вокруг агромаднейший, и балаболке каждой вес пять фунтов...

Был Кузьма портным волостным — на всю волость пиджаки со штанами австрийским манером шил: с карманами в телегу и пуговицами в колесо. А по волости говорили:

— Никудышный портной Кузьма, охотник же отменный, с глазом заговоренным: бьет верно и насмерть.

И пуле его верили больше, чем игле.

Во времена колчаковские призвали мужики Кузьму и пояснили:

— Бери бердань.

Спросил Кузьма:

— Куды?

— Белых бить, белые на нашу волость в походах военных. И, значит, до шестых коленьев на кедрах крестьян вешают. Идем сражаться.

Поднял бердань, пошел.

Говорят ему:

— Стреляй!

Указали в кого — одного, другого. Пятерых. Снял их с ног, как пуговицы на платье срезают, и ушел на охоту в тайгу.

Белые больше походами не шли. Перебили их большевистские полки в стороне от Урмана.

Ходил Кузьма, шил пиджаки и хвалился:

— Иду в город Верный, который под водой плывет. Чудес хочу.

А пребывают Семилужки в кедрах — хоромины пятистенные, бревна — в коровью тушу. А часовенка всех святых с кедровый орешек. У левого клироса образ архангела Гавриила со свечой и зеркалом. Знаменует это — душу твою видит бог, как в зеркале, а насчет свеч никто не интересовался, и горела в руце его свеча неизвестно для чего.

Не любил Кузьма Гавриила: вот, скажем, архистратиг Михаил-воитель, всякой сволочи уничтожитель, Миколай-угодник обходительный, бородатый святой; а этот... телом хлипок, безус и перед богоматерью, в благовещенье, нехорошую вещь проводил. Сомнительное чудо.

Обнесет свечой архангела, и лицо корявое в стороне плывет.

— Ненадобная икона... глаза трет, а тут — свечу ставить... Не хочу...

Однако о помышлениях своих молчал, копошились они внутри в теплоте и духоте. И потому, должно быть, казались ему эти помыслы огромными и непонятными, как зимняя тундровая ночь.

Одна только мысль о чудесном городе Верном билась, и верил он в нее злобно.

Так вот на Гавриила-летника, когда кора на кедре трескается, — потеет дерево. Кедр выгибает землю горбом. Смола течет в хвою и весело пахнет. Шел тогда Кузьма тропой таежной.

Думал о завтрашнем празднике, Гавриила-архангела ругательски ругал и злился еще, что не припасено самогонки.

— Хороших святых хоть отбавляй, а тут дерьму кланяйся. Не хочу.

Пахло густо и радостно корнем кедровым. Неудержно и космато полз он из земли, злобно рвал травы.

Наверху ветки захватили ветер. Со свистом трепали его с вершины на вершину.

Сказал Кузьма:

— Есть во мне как-никак непочтенье.

Сплюнул и глазом своим единственным по тропе повел.

А тут стоит на тропе мужичонко, неизвестно откуда появившийся. Лопотина-одежина на нем — лохмотья

над лохмотьем, на одной ноге лапоть, на другой — сено веревкой привязано. Глаз же... совсем непонятный глаз, один от другого на пол-аршина, в разных концах лица. Будто и два глаза, а будто и больше десятка; в волосе они там, в хитрости.

— До Семилужков эта будет, тропа то есть?

Отвечает Кузьма:

— Будет...

Завелеречил мужичонко:

— Иду я туды на Гавриила Премудрова, значит, и архангела. Слышал, в престолах он там празднуется.

Увел свой глаз за пазуху.

Кузьма сказал:

— Ну?

— Иду я от самых туркестанских земель, от самого города Вернова...

— А бают... Верной-то?

— Провалился, парень, сквозь пески провалился, одна мусульманская мечеть уцелела, потому мулла на ней, бают, провокатором был, и вообще... озеро там и все такое, что требуется...

— Неизвестно пошто? Как же так...

— Ушел-то?

— Ну?

— Надоело, грит, смотреть мне на вас — и никаких, парень, гвоздей. Ушел — свидетель я этому и пятьсот присяг брал в том...

— Этак-то уся Расея уйдет...

— Не наше дело, парень, не наше. Рукомеслом мы богомазы, и архангел Гавриил у меня в почете.

Повернул по тропе. За плечами мешок холщовый, и погромыхивает тот мешок железным грохотком.

На тропке туман, из тумана того выпрыгивает из глаз Кузьмы кусок рваной лопотины на жидкой спине мужичонки, тело в прорехе видно. Голосенко тонкий, как осенняя травка, и муторный такой.

Обомлел Кузьма.

— Господи, — говорит, — откуда его и пошто? Все чудеса знает — и причину их, главное.

Ночь и туман вошли в грудь и в череп. Вспотели скулы, повел пальцем по ним Кузьма, и вся рука мокрая, и волос на ней лоснится, липнет.

— Господи, — говорит, — зачем такая неизвестность?

Идет тропа ленивцем в тайгу меж кедра, не торопится, а по ней мужичонко никчемный и двадцатиглазый спешит, которому все известно.

II

В мешке холщовом папуша табаку. Кисти крохотные, бумага газетная на курево. А в полотенце железный грохоток.

— Здеся лежит, — говорит мужичонко, — жаровня архангелова.

— Откуда? — спросил смятенно Кузьма. — Такая чуда?

— Для растера красок, иконы врачевать, говорю тебе. Краски священнейшие, и жаровней архангела Гавриила прозвана. От родов иконописцев больших идет и святостью наполнена до неузнаваемости, парень.

Развернул полотенце. Жаровня как все жаровни: клеймо стертое и одна ручка отбита. Мужичонко подле окна сидит в тени, лицо у него темное, как жаровня, и безглазое, замолкло.

Ждет Кузьма — идет из нутра его трепет по избе, по лопотине его — не говоря об теле. А сейчас будет, явится Кузьме чудо.

Замолк мужичонко, портянки скинул, спать. На дворе ночь, ну, и в избе тоже.

Захрапел во сне жалобно, будто нарочно. Ногой по лавке дрогнул; с лавки на пол тараканы грузно упали.

Лежит Кузьма на полатях, дрожит и ждет.

Поднял голову, глянул с полатей: луна на дворе, в окно на столе тоже луна — крепкая, четырехугольная, а в луне той — жаровня, палочка тоненькая и хлеба кусок недоеденный.

Ничего нет. Туман. Тропа видится. Кедровый дух, смолистый. Жутко Кузьме от человека приблудного и слов его нездешних, от снов...

III

Встал утром мужичонко рано. Кузьма бердань начал чистить.

Явился мужичонко, говорит:

— Ухожу!

— Куды?

— Буду рукомесловать, парень, округ Гавриила-архангела. Опчество поручило, выходит. Народ у вас богатый и святых благолепных любит; у них, брат, святые должны быть толсты, жирны...

— Богохульник ты!

Посмотрел мужичонко в единый глаз Кузьмы, поддернул штаны и пискнул:

— А ты не сердись, за харчи тебе и за прочее будет заплочено, понял?.. Имя мое Силантий, а фамиль хорошая — Одойников; хорошая фамиль, а?

Пошел по селу мужичонко, у изб толкался, бороденка у него, как мох под солнцем, — то темнела, то светлела неуловимо. Говорил он много и за всех. Совсем чужой человек и чужостью своей непонятен.

Десять лет не поправлялась поветь, скосилась, и солома сгнившая землей проросла. Поправил ее Кузьма. Трубу кирпичом обложил, пообедал два раза — не проходит. Тоскует около сердца, жмет и жжет.

А народ Гавриила-архангела празднует. Хоть и неизвестно, чем отличился архангел в Семилужках, но попраздновать почему не попраздновать. От праздника только животу больно, но на то он и живот, чтоб болеть.

Самогонку пьют и песни, какие полагается, поют.

Пошел Кузьма по селу, и мысли у него были трезвые, но тревожные, как в восстание.

У часовни стоял мужичонко Силантий с жаровней за плечами, говорил мужикам тонесенько и рукой по воздуху тоже тонесенько проводил:

— Икону делать тоже надо с умом. На краску зола берется с лихвун-травы, окромя того, крушины на Ивана Купала человек безбабий в трех портках сдирает. Потом третье — это, паре, на жаровне моей архангеловой разводится на яичном желтке от таких особых куриц, про которых и мне знать невыгодно. Иду я, скажем, сейчас в тайгу, и буду искать всю вечерю лихвун-траву, и найду ее только под утро, и весь в поту непременно...

Поправил мешок за плечами и пошел тайгой.

Поглядели мужики на часовенку, на тайгу и похвалили Силантия: умный, мол, и все как следует.

А Кузьма осторожно в кедрах с боков тропки за мужичонкой шел. Идет Силантий, отмахивается от комаров черемуховой веткой, и с лица незнаемость спала, — мужичонко как мужичонко, нос щепой, борода клоками и над ртом редкий ус.

Ждет Кузьма, какую лихвун-траву искать будет Силантий, и хочет и еще что-нибудь на лице его наблюдать.

Глаз у Кузьмы единственный, крупный, будто два глаза у него, идет по-звериному, дерев не замечает.

Не спешит мужичонко и не ищет, смотрит больше в себя, трубку закурил. Шаг у него бабий, с вывертом, мелок, с припрыжкой, оттого-то, должно быть, и чугунок погрохатывает.

Боязно и печально Кузьме — обернется сейчас и спросит:

— Ты куда? Чудо познать захотел?

Нет, идет, покуривает.

Сорвал крушинную веточку, в мешок положил, мху с брусничником еще сунул.

Думает недоуменно Кузьма:

«Лихвун-трава и будет, видно».

Подошел мужичонка к кедру, кору поцарапал, со скуки, должно, потом опять крушинку сломал.

Думает злобно Кузьма:

«Это и будет иван-купальный кувшинчик».

Идет, ждет. Руки дрожат.

Тропа в речушку упала, в песок. Остановился тут Силантий, скинул мешок, лопотину и полез в реку купаться.

И как затрепыхался в воде — потянулся к плечу за ружьем Кузьма. Нет ружья, забыл дома.

Сорвал ветку с пихтача, переломил в пальцах так, что смола кожу слепила.

А тот в воде фыркает, будоражит воду, гогочет тоненько:

— О-хи-хи!..

Руками воду бьет — не любит человек спокойной воды.

Над речушкой шиповник запнулся, в воду ветки тянет, песок от воды бежит. Травами лесными пахнет. Глуби душистые. Тишина.

IV

Сказывали по деревне — долго молился мужичонко перед тем, как Гавриила править. За благочестие такое удумали семилужцы икону ему заказать самого страшного святого — архистратига Михаила.

Отказался Силантий:

— Боюсь таких святых рукомеслить, уважаю сердце мягкое, птичье, можно сказать.

И разговоры вел про туркестанские мудрые земли, про город Верный, от мук скрывшийся.

А Кузьма эти три дня в тайге ходил — искал зверя, чтоб на его крови тоску и злость свою снять. Не было зверя, не сжалился над человеком зверь.

Силантий же будто забыл про Кузьму и, сказать нужно, не выходил из часовенки. С лицом мудрым и глазами пьяными выбегал на паперть и многими своими глазами на солнце смотрел. И видел он точно одно ему известное, что нужно было перенести с солнца на лик архангела — дабы светел, солнечен лик был, и в зеркале чтоб тоже солнце отражалось.

Вечером Кузьма встретил Семеновну — старуху ветхую и до правды охочую.

— Странствователь-то, — сказала она, — пьяный напился, баст — есть этот Вернай город, на месте стоит, не шелохнулся, сердечный, стоит.

— Ушел он, Вернай-то, — ответил Кузьма.

— Не может, парень, уйти никуда. От мира куда уйдешь?

И была довольна старуха.

Сказал строго Кузьма живописцу Силантию:

— Брешешь зачем? Насчет Вернова-то города, а?

Вскрикнул Силантий:

— А ты отстань! Сам знаю, что говорю, и свою муку примаю. Уйди от меня дальше. Должон бы я на тебя разозлиться, а как исполняю работу священную, имею я полное право только кричать на тебя. Уходи!

Пьяное слово — крепкое слово, мужик ему верит нутром. Как сказал-промолвился Силантий об Верном, так сразу поверили мужики и о городе больше не говорили. Стоит — и бог с ним, мало ли городов стоит!

Над Кузьмой ухмылялись — верит, пущай верит, неизвестных вер человек.

Опять и Семеновна — охотница до правды — сказала Кузьме:

— Приходи ко мне чай пить, заварю чаю китайского, настоящего, за твою муку. Потому собирался в Верный ты долго, а теперь куда?

Напился пьяным Кузьма, орал, по столу кулаком бил, хотел выкричать свое слово, которому поверили бы все.

— Провалился. Я говорю, провалился. Есть чудеса на земле, кроме смерти...

Орал еще в пригоне отнятый от молока теленок, орал густым звериным ревом, и как теленка, так и Кузьму никто не слушал, не понимал.

На конце деревни в кедрах часовенка. Пахнет из тайги мокрой вечерней смолой. Улицы песчаные травой заросли, густо-зеленые и веселые.

Высунулся Кузьма из окна, заорал на всю улицу:

— Провалился!.. Провалился!..

Рыжехвостый петух слетел с забора, торопливо пробежал по траве и задорно тряхнул гребнем. Была у петуха пьяная походка и густой, как у теленка, голос.

Так и орали трое — двое с тоски, один и сам не зная к чему, пока не заснули.

V

Проснулся Кузьма поздно. Сон видал тяжелый, мокрый и нескончаемо долгий. Во сне том громыхал жаровней Силантий, горела зеленым огнем земля, и было тесно.

— Ага,— сказал Кузьма,—бродить тебе. Уся Расея обедню служит, а ты кто такой? Желаю я знать, ну? Вся Расея к чуду должна идти, а ты смущаешь...

Надернул заплатанные плисовые шаровары, мягкие, без каблуков, бродни на босу ногу, сорвал со стены берданку, зарядил ее пулей на медведя.

Лохмохвостая собачонка, увидав ружье, заскулила от радости. Кузьма ударил ее ногой в бок — не годится собаке идти по человечьему следу.

Пошел огородами, позади дворов, к часовенке, и шаги старался сделать иными, но получалось, словно бы шел на зверя: подымалась пятка над землей, и тело держалось на пальцах.

За желтоватыми подсолнечниками пригоны для скота, крытые темным тесом. За ними из толстых сутунков-кедрачей нарубил для себя человек пригоны. Были они выше, но темные тоже и пахли звериными острыми запахами избы.

Говорил со злостью Кузьма:

— Я тебе покажу!.. Узнаешь, для каких надобностев народ, значит, чуда ждет.

Нужно было сказать кому-то слова обидные и злые, а получалось пусто и ненужно. Замолчал Кузьма.

Часовенка Всех Спасов в кедрах и, может быть, старее кедров — вся она зелено-черная, как земля ранней весной, и дерево ее землей пахнет. Паперть мшистая, как предболотье. Дверь узкая. Кресты на куполах от ветхости ржа съела.

Поднялся тихо по ступенькам Кузьма, дернул легонько за ручку — заперто. Замка нет — значит, изнутри заперто. Спускаться стал — шаги свои услышал, мягкие, звериные, и только шов кожаный, должно быть, за дерево задевая, как коготки постукивает.

Повесив ружье на плечо, вскарабкался по кедру к окну. Окно распахнуто, должно, проветривают часовенку. На решетке синица сидит и хвостом трясет. Спустил ружье на руку, курок поднял и вниз глянул. Пахнет из часовенки ладаном, воском, сумрачно, в сумраке человек бегает и руками незнаемо для чего у лица машет.

На мешке жаровня, в жаровне лежат ризы с икон, подле кружка разбитая, а иконы поодаль, с иконостаса снятые, в кучке, как дрова. С молотком и со стамеской бегает мужичонко Силантий. Лицо у него желтое, руки желтые, и, словно бы пыль на глазах, не видно их. Ударило изнутри, во всем теле отдалось, как выстрел ночью, и тело на суке кедровом расслабленно повисло.

— Вор?! — сказал Кузьма и голосу своего не услышал. — Только и чуда что — вор...

Схватился за решетку, ударил стволом об железо и закричал:

— Эй!.. Холощеная душа! Чудо!..

Ударил разом коленями в пол мужичонко, вскочил опять и с визгом к стене кинулся, вверх на окно смотрит, гнется к полу, голову закрывает для чего-то ладонями, визжит:

— Парень... С голоду я, с голоду. Ребята, семья — восемь душ, жрать нечего, парень. Ребята голы, как арбуз брюхо-то, вше уцепиться негде. Семенской волости я, парень... Прослышал... прослышал... бают — золото тут... серебро на ризах-то, тьма! Позарился первой раз, ей-богу... Кузя. Брось ружье-то, Кузя... Ну? А?.. Кузя... Не бей.

— За что мне тебя бить, чудо. Живи, ребят питай.

Спустился Кузьма с кедра, опустил курок обратно. Вскинул ружье и пошел в тайгу...

Опять смола дышит, травы лесные, кедры из земли в небо рвутся, корни их земля сдержать не может — ослабла, не вздохнет.

Говорит Кузьма:

— Может, и вправду не провалился, да, может, и самого-то города Вернова нету... для утешения своего люди придумали...

Молчат кедры — не отвечают, своим делом заняты. Что ж, нет ведь чудес на свете, и самое страшное — жить тому, кто подумает, что нет их — чудес, и поверит.

1922

КАМЫШИ

I

Солнце в камышах жирное и пестрое, как праздничный халат ламы. А тина — зеленая водяная смола — пахнет карасями.

И рукам моим хочется плыть,—под камышами, по тине,— лениво разгребая густые и пахучие воды.

Но я не плыву. Этот единственный день я отдал своему телу, и руки пусть лежат на траве спокойно.

Вот комар опустился ко мне на бровь; я чувствую, он расставил тонкие, как паутинка, лапки и медленно погружает в меня свое жало. Я ему сегодня не мешаю, я закрываю накаленные солнцем веки и считаю, сколько раз шипящий у моего уха лист травы коснется моих волос.

— Четыре... семь... восемь...

Если чет— меня убьют, если нет— убегу. В поселке атамановский отряд, и станичному приказано меня выдать. Выдаст ли?

— Двенадцать... тринадцать... пятнадцать...

Ерунда! Трава отбежала от моих волос, но я не верю. Я говорю ей:

— Шестнадцать!

И пригибаю ее к своей голове. Она сердится. Сломана.

Зеленоватая гагара, раздавливая воды сапфирной грудью, выплывает из протока. Она медленно опускает в воду синий клюв, перья у нее на шее редеют, тело жадно вздрагивает,— она кого-то нашла.

Здесь я сгоняю комара с брови и лениво смотрю, как, колыхая алым брюшком, наполненным моей кровью, он летит.

И в жилы мои вползают такие ленивые и тягучие воды. Сердце плывет далеко — жирный и зеленый карась. Больше всего нагрелись колени и лоб — три моих паперти.

Мысли мои идут, как монахи со свечами, медленно. Вдруг один за другим падают на руки черные капюшоны, и усатые загорелые рожи громко хохочут. Это когда я подумал о папертях.

Я глажу колени и лоб. Смеюсь.

Лама в пестром халате, похожем на солнце в камышах, говорил мне у развалин Каракорума:

— Жизнь человеческая — как камни. Ветры проходят, и остаются пески. Здесь жил Батый и Тамерлан, тебе чего нужно?

Я рассмеялся почтенному ламе в его узкие губы.

— Я иду с одним ослом и Батыем и Тамерланом не буду, а любви у меня больше тебя и больше их...

Осел, широко расставив тонкие и пыльные ноги, отвесив губу, мычал через нос. А на губе у него сидела сизая муха. Такая же муха сидела на халате ламы и у меня на плече.

Мы, выпив молока, пошли дальше, а лама остался размышлять о Батые, Тамерлане и о камнях, превращающихся в пески.

Почему я вспомнил о ламе?

Не знаю, может быть, солнце, лежащее в камышах, похоже на его халат.

От плеча до локтя в тело вдавливается палка, но мне не хочется ложиться на спину. Палка эта гнилая, и к тому времени, когда мне крикнут, она будет раздавлена. У ней — я помню — бледно-сероватая с тоненькими узелками кора,— может быть, береза. Я вспоминаю холодный березовый сок — его весной хорошо тянуть через соломинку. Земля еще холодная, но ветер тугой, теплый, гнет шею; березовый ствол дрожит от верха до черной коры корней, дрожит, отдавая свои соки. Дальше я вспоминаю березовую луку своего седла и опять смеюсь:

— Нет, атамановцы меня не поймают!

Зеленая клейкая влага трав на моих ладонях, она заклеивает те дороги, по которым прошла моя жизнь, и рука моя похожа на лист, пальцы, как жилы, у их основания серые мозоли от вожжей. Кто много едет, тот знает куда!

Так идет время. Все неподвижнее и тяжелее вдавливаются в землю воды. Камыши прямеют, тянутся кверху, напряженно звеня листьями. Рыбы отрываются от дна, всплывают, их плавники в зеленоватой воде похожи на желтоватую пыль. Мне кажется, я вижу их мутноалые сонные зеницы, рыбы подплывают к солнцу, чтобы пробудиться. Я ложусь затылком на теплые ленты травы, и лицо мое обращается к небу. Оно все такое, как и тогда, когда меня не было,— и, может быть, поэтому я не люблю на него смотреть. Здесь у меня каждый год рождаются листья, и земля — тучная и широкая — любит меня по-своему.

Опять я гляжу, как воды поглощают время. Руки мои тянутся к ним ударить широко и звонко в сонную муть, чтоб эти широкие рыбы испуганно метнулись по озеру и вдавили б в свой мозг, какое оно, их царство, маленькое.

Нужно ли это?

Сегодня будем думать, что не нужно.

Я кладу руку на траву и стараюсь пальцами узнать ее цвет. Я закрываю глаза, у меня ясно мелькает: мягкая, длинная, пахучая полоса — зеленая, у́же, жестче — зеленовато-желтая, а вот эта, почти круглая — красная.

Я открываю глаза — круглая красная трава.

Нужно помнить — осень. В пальцах у меня круглая красная трава. Я ее ломаю и говорю:

— Осень.

Камыши темнеют. Они как нити, соединявшие облака и землю. Они как перегородка, закрывающая хозяина, перегородка в большой юрте.

Тело мое устает. Я подхожу к водам и умываюсь. Капли с моих рук тихо и тягуче, как мед, медленно всасываются озером.

В камышах свистят. Широкое копыто звучно чмокает у кочек. Я опускаю челюсть, рот у меня выпрямляется, и губы нарезают свист:

— Ссссс... сссс...

В камышах харкнули. Мягко шевеля крылом листья, взлетает над моей головой птица. Человек смеется.

— Чтобы те язвило!

Я вспоминаю палку, на которой лежал. Давлю ее каблуком.

— Лукьян, ты?

— Я, парень; птица, чтоб ее трафило, прямо в нос хвостом. Ну, ты как?

— Готов.

Он наклоняется и, откинув гриву, шлепает коня в потную шею; вытирает пот о голенищи и говорит:

— Садись рядом. Ищут вас здорово, найдут — кончут. Там, подале, я лошадь оставил, в аул Бикметжанки поедешь, знаешь?

— Нет. Где он, аул? Не знаю.

— Ну? Прямо валяй через степь, на солнце. Найдешь. Твои все тамотка, ждут.

II

Через степь — на солнце.

Через степь — на радость.

Через степь — вперед.

Пройдем и проедем степи. Пески превратим в камни. Камни — в хлеб.

Веселых дней моих звенящая пена, —

Будь!

1922

ЛОГА

I

Уйдет она на пригон, в предбанник, скинет рубаху, смотрит на себя: плотно прижалось мясо к кости — алое, как калина, и пахнет крупным осенним мхом.

Скажет она горестно:

— С чего оно в тоске? Зачем?

А небо белое-белое, белее молока. Земля снизу его поджигает, дышит на него прелым духом.

Люди вокруг огромные, широкие, как земля, из твердого мяса сбитые. Ходят по полям победителями, высовывая из бород насмешные улыбки. Они покойны!

Хотя б муж ее Петр — у него черная, точно унавоженная, борода, — земля, сто лет не паханная. И говорит, точно корни корчует:

— Нонче, паря, урожай. Бог послал!

Иль дед Емолыч — хан казанский. Лыс, как курган, хитер и слово бережет, словно клады земля. Молчит. Бешмет у него киргизский, пестрый, на ногах ичиги, и не ходит — летает человек. Лошадь у него иноходец; грашпанка — легка, будто из бумаги.

И все дань из города привозит.

Привезет, в сундук, жестью цветной обитый, складывая, улыбается лысиной. А лицо, как темя, неподвижно.

Петр говорит ему:

— Пушшай бунтуют. У нас земля удойная, а город, он все припрет сюды. Им бы бунтовать.

Идет Аксинья мимо мужа; в глаза ему посмотрит — как колодец степной, сух и темен глаз. А ночью, когда омет ее, давит и зыбко дышит на ее тело,— закрывает она глаза. Тогда ей совсем страшно.

Шла бабка Фекла по пригону: яйца курица несет несуразно в этом году — искала. Шарила прелую зем-

лю, навоз сухой и едкий, сено. Шебуршала, как сеном, губами:

— Ребятишки, баю, в Расее-то без ног родятся. Ксинь, а?

— Не знаю.

— Ничо народ поне не знает! Ране хоть старова слушались, теперь вот своим умом зажили. Слякотной народ.

— Тошно мне, баушка!

— А ты Миколе Мирликийскому да Пантилимону свечку вверх ногами поставь. Сглазили, усю Рассею антихрист сглазил!

И опять зашарила руками, зашебуршала сеном.

— Силы у меня нету, в бор бы не то пошла. Иди хоть ты, Ксинь.

— Видьмедя там я не видала, что ли?

— Гриб собирай! В городе-то заместо хлеба гриб жрут, провалиться им совсем! Собрала бы вот да на платье бархатно выменяла, а то на шелково, а?..

— Куды мне шелка? Скука.

И дом огромен, темен, как из камня рублен. Пахнет вечным сиплым хлебным духом. Все лето окна настежь — не выходит дух.

И все село такое огромное. На версты — в лесу, в хлебах.

Из города, как начался голод, приходили тощие, с широкими пустыми мешками, просили.

— Бог подаст! — отвечало село.

Не стали приходить. Собакам скучно, лаять не на кого. Да и приходившие завидовали им:

— Собаке на день скармливаете больше, чем нам на неделю дают.

— А ты не бунтуй!

И лохмоногие псы рвали сапожонки уходивших. Тоска и широта.

II

Желтым вечером — с юга дул песчаный ветер — из степи приехали киргизы.

Скрипели высококолесые тяжелые арбы. В них на тонкой протершейся кошме лежали тесно тонкие, как жерди, сухие люди.

Лупящаяся кожа пластами, как алебастр, прорывала острые кости. На рваных овчинах, закрывавших тела, густым слоем надуло песок.

— Нан хлепа, нету чок...— говорили они.

Голоса их были, как ветер в курганах,— свистящие и одинокие.

— Хлеба нету!..

Мужики широко, крепко втискивая в землю босые ноги, покрытые пыльным волосом, смотрели на лишаи и струпья. Отходя, говорили про киргизов:

— Не выживут...

Петр сказал киргизам:

— Проезжай!

— Нан нету!.. Хлепа нету...

Ветер вырывал из прорех халатов клочья шерсти. Из малахаев тоже ползла верблюжья шерсть. А верблюды, тощие, с вяло повисшими горбами, были голы, и кожа их морщилась, как солнце в засуху.

Петр встретил Аксинью в воротах и молча посторонился.

Дед Емолыч шел за ним и, улыбаясь лысиной, velеречил:

— Я им на хлеб, баю, меняй верблюда-то! Не хочут, халипы. Мало даешь, грит, а? Пуда пшеницы ему, немаканому, мало за верблюда.

— Гнать их — и больше никаких.

— И то гнать. Чуму припрут!..

— Ты в город-то когда торговать?

... Киргизы сидели на траве подле арб.

Курчавый казак Сенька Убычев резал сделанным из литовки ножом толстые ломти хлеба. Один за другим, не спеша кидал ломти на траву.

Киргизы жадно хватали с земли хлеб вместе с травой. Жевали всем телом — плечами, грудью, ногами.

Курчавый подбрасывал ломти, кричал:

— Лопай, ну!.. Ешь досыта, ешь...

Лежавшие же в арбах молчали, и остро выдавались под грязными овчинами их груди.

Киргизы, хватая ломти хлеба, благодарили:

— Щикур, Санка, щикур. Спасибо.

Скотина на Иртыше пила теплую воду, обмакивая в струю пыльные морды. С морды по шерсти текла вода, и глаза у скота были тоже, как огромные темные капли.

А курчавый Сенька Убычев все резал и резал хлеб.

— Лопай! Бог один, вера разна! Ешь.

— Берна, берна!..— бормотали киргизы.— Берна.

Заметил Аксинью.

Выцветший, как ковыль, волос подняло ветром с его широкоскулого лица. Открылись глаза — голубые, большие,— как мокрое блюдечко.

— Чего ты? — спросил он.— Зачем пришла?

А у ней зарумянилась улыбка, сошла с лица на высокую, как старинное крыльцо, грудь. Во всем теле отдалось радостным холодком.

— Ничего, парень!..

Ушла, приминая траву, и трава увядала под ее ногой. Думала: «Есть на земле еще жалость».

... А фиолетовой душной ночью, крадучись, нагребла из сусека мешок зерна. Пригибаясь к редкой травке, упираясь пальцами в теплый песок, еле-еле донесла мешок до каравана.

Здесь обнял голову запах кизяка и айрана. Залаяли шепотом голодные киргизские собаки. Не выдержала. Опустила мешок, убежала.

Киргизы подняли мешок, спрятали.

III

Лога заковали село кольцами темной жирной земли — не то свадебные кольца, не то острожные. Трава в логах — скот плутает, молоко приносит из них густое, как сметана, и сладкое, как мед.

Гриб — огромен и ядрен. (Атаман Черняев в былые годы, сказывали, царям в подарок посылал. Но у царя внутре для гриба кишка переварная не годилась, и поедали гриб митрополиты. Атаману Черняеву же лента брильянтовая подарена за грибы была.)

Через лога дорога извилистая по кустам и березняку на юг...

Дорогу трава заедает. И заела бы, кабы не киргизы и не дед Емолыч — они по ней в город ездят.

И жмут дорогу лога — колею украсили чертополохом. Синий колючий чертополох за колеса цепляется.

Стала уходить Аксинья в лога, будто скотину разыскивать.

Идет она березняком, боярышником — кажется, что запах его за платье цепляется, в волос лезет. А перед

глазами дорога — убогая, тонкая, как киргизы те на арбах, голодные.

Цепляются мысли за дорогу, как чертополох за колеса, сердце в горькой и едучей полыни сохнет:

— Господи... Где же люди-то? С жалостью...

Идет Аксинья, томится.

— Господи! Может, и твой глаз спален, как эта вот степь-то? А?.. В городах-то, бают, землю гложут, камень, сухой да твердый... А и то по правде жизнь переделывают... Пошто так-то, господи?.. Здесь-то эвон на полземли распахнуло хлебами-то... Через леса прут, пашня ен мала... А людям жадно, все жадно... Хамство ты наше окаянное!..

... Курчавый Сенька,— один только, красным лампасом штанину окрасив, изогнулся, стоит поодаль, киргизам ломти широкие бросает. А глаз у курчавого голубой жалобный...

Идет Аксинья, под кусты склоняется.

Пахнет боярышник ее сердцем, ее тоской, а лога жадные влажно дышат, прижимают к себе травы, колки березовые, чудесные подарочные грибы...

Пьет сердце и он, курчавый. И еще дорога, попираемая травами. И пески с голодными киргизами, а больше всего он — город... Посмотреть бы, какова там жизнь?

Идет Аксинья, плачет:

— Господи! Может, и твой глаз спален, не видишь!.. Где они, очи твои, господи!

Обнимает трава-лепетун ноги. Обнимает голову боярышник, ягоду тяжелую и мягкую на темя роняет. Утки крякают в травах.

— Спален, может, господи?..

Молчит господь, онемел. Непонятно глух. И только лога говорят слова жадные и немилые.

IV

Встретил курчавый Аксинью за селом, глаз его голубой плывет, тает в небе.

— Гуляете, Аксинья Семеновна?

— Скотину сбираю... Скот в логах.

Стоит он у боярышника, куст тоже курчавый — ягода мягкая... «А какие у курчавого губы?..»

Потупилась Аксинья, а потом подняла неспешно глаза,

темно на душе стало у курчавого, темно и жутко, как в самом темном логу.

И разошлись они. Она в лога. Он в село.

А на другой раз — сел напротив, в травы.

— Торгует муж-то? — спрашивает. На губах — хмель: не то смеется, не то завидует. — Торгуют ваши-то?

— Наши-то?

— Ну?

— В городе, меняют. Обида ведь это, Сеньша! Ведь на голоде наживаются!

— И Петр?

Вспомнила она Петра — его черной земли бороду. Ноги тяжелые, прямые, как деревья, шагают. И на груди как после надсады... и на память дед Емолыч, хан казанский... Жадность какая!..

Хохочет курчавый.

— Что ты, Александр Григорич?

— Чудной народ, прямо не поймешь!

Аксинья говорит:

— У меня душа гниет, Александр Григорич, и не пойму никак... Сомневаюсь...

— В хозяйстве непорядок?

— Да нет!..

— Бабушка, Фекла-то, должно, стерва?

— И она ничо. Другое.

— Пошто, а?

— Болит, места нету... Не найду...

Курчавый ухмыльнулся и ногой пошевелил.

— Это бывает... Тело...

Пошло у него лицо ходуном. Руки затряслись, помокровели губы.

Положил руку свою к ней на колени. Обратно взять сил нет...

...А потом так же, как и Петр, брызгая слюной, давил и мял ее тело. И так же, как Петр, откинулся прочь, потно задышал в небо.

...Сорвала Аксинья пучочек травки и легонько на глаза ему положила.

Горячий у ней голос — радость тушит его,—ничего не выскажешь.

— Трава-то, вишь... сохнет... милай!

Курчавый утомленно повернул лицо набок и сронил траву.

— Листопад, потому оно и... сохнет.

Вздохнула Аксинья, глянула из лога вверх, по скату. Травы вновь по-весеннему подымаются, хоть опять коси. За небо березка уцепилась, дрожит:

— Уйдем мы, Сенька, с тобой!..

— Куды?

— Жадный народ, боюсь я!.. Душа у меня гниет... Не могу, уйдем... а ты добрый...

Поднялся курчавый, расставил ноги так же, как расставляет их Петр. Медленно опуская голову, сказал спокойно:

— Ты коли с мужика своего тоскуешь — плюнь. А бить будет, уйти от него завсегда можно, ноне закон легок. Ехать-то, конешно, можно, а куды?.. Некуда ехать, да!.. Да и хозяйство у меня.

Погладил шею, сплюнул.

— Ты вот у мужика спроси: у него на пригоне бревна валяются, не продаст ли?.. Рубить народу не найдешь, да нонче какой работник пошел, знаешь сама...

— Не пойму тебя я, Сеньша, шутишь? Рубить?

— Дом рубить буду!

И тут от слов тех опять накатилось под душу, затомило тело. Забилась опять внутри горящая береста — сердце. Вскрикнула, полоснулась душой она:

— А киргизы-то?.. Сеньша!.. Киргизов-то кормил?

Захохотал курчавый.

— С киргизами-то, Аксинья, потеха-а!.. Дай, думаю, покормлю их всласть, наголодались. Взял у матери булки-то и давай их напихивать. Лопай! И верна, ведь трое подохли... Обожрались, немаканые, а?.. Ловко я сыграл, а? — Заглянул ей в темный — как глубокий лог — глаз и ничего, не дрогнул.— Завтра у меня гости будут, воскресенье... Ты в понедельник сюда приди. Ладно? А с немакаными ловко!

Ушел курчавый.

...Ударилась Аксинья в землю, заголосила.

Чертополох попал под грудь, переломился. Отдернулись под телом травы, и, хрустя, как травы, ломалось в груди...

А сумрак зеленый нашел лога. Убрал травы, тупо пахнувший боярышник и одинокую, хилую, заглоданную травами дорогу через лога, на юг...

АВДОКЕЯ

I

Трофим Михалыч отыскал Авдокею за огородами. Коренастое пробковое дерево обвил дикий виноград; ягода на этом винограде растет не гроздью, а отдельно — как слеза. Авдокея не то собирала ягоду, не то так шла у густых запахов зелени.

Потирая тощие свои ребра ладонями, Трофим Михалыч сказал:

— Тебя ичейка ищет. Сказывают, записалась ты, ишь ищут... выходит, людские грехи замаливать. Помню, помню...

Авдокея сдернула платок с головы. Нос у ней был крупный, немножко скривленный, и оттого глаза словно растекались в разные стороны. Платок осыпал на пальцы зеленоватую древесную пыль.

— Капитон сказывал: за морем люди для своего сердца на машинах летают. А тут, сказывают, прилетели японцы, с машин пять сел пожгли... Кому грехи-то замаливать, чьи? — Она снова туго завязала платок и, качнув круглым плечом, сказала: — Пошли, что ли. Раз зовут.

— О Мареи Египетцкой говорю. Большой стыд имела. Ноне-то... Ичейка эвон тебя ищет. Мне говорят: ступай, Трофим Михалыч, сходи, приведи Авдокею. Мне, однако, шестьдесят годов, а я должен девку вести?.. Мне надо телегу ладить...

— За всех идем.

— Пущай мужики. Святая большой стыд имела, молилась, помнишь?.. Молись! А то... а то...— Он поднял руки к груди и сказал в ладони: — Сказывали, как же, говорили: от бога-то и от родных надо в ичейке отрекаться. Правда, что ль, так?

— Не знаю.

— А, вот видишь, а?.. Скажут — отрекаешься,— отрекаюсь, мол. Так, что ль? Новое крещенье, а?.. Чем крестят, не слыхала?

— Спросить невдомек.

— Ты спроси. Обо всем надо спрашивать. Как же, какой такой человек есть, раз он не спрашивает, а?.. Ты как полагаешь?..

Трофим Михалыч вдруг остановился и, быстро дернув ногой, пнул подвернувшийся пень. Подхватил отлетевший кусок коры и, ломая его в руках, закричал в лицо Авдокее:

— Дядя я тебе али нет?.. Может, отреклась от меня давно! Занимайся своим делом, твое дело ребят рожать, не лезь, ну!.. А ты води черта-то, води. Отреклась, прокляла родню-то, поди. Какими словами-то проклинала, отрекаясь, ты мне скажи? Надо мне все слова знать, ну!..

И, схватив Авдокею за кофточку вспотевшими пальцами, быстро бормотал, и от быстроты шевелились клочковатые волосы бороденки. А слова как бы путались в этой пыльной и крепкой бороде.

— Пусти,— сказала смущенно Авдокея,— идти надо.

— Кабы к миляшу — пустил. Может, лучше бы мне убить тебя на этом самом месте — как ты полагаешь? Может — греху меньше? Я думаю, меньше... Ложись под мужика, хоть целый год лежи, мне что... у те пошто от Капитона детей нету?

— Нету— так нету.

Он больно толкнул ее кулаком в живот. Сплюнул.

— Пусти. Надо, так и отрекусь.

Захватывая с кофтой мясо, он тряс ее руку. Авдокея, мотнув локтем, с силой выдернула руку.

— Чего вцепился, старый? Сам о Мареи говоришь, а быдто под подол лезешь. Пойдем, что ли. Не то одна уйду.

— Не дури. Надо мне больно твое мясо! Видал я вас на своем веку, будет. Ты мне про слова-то Капитоновы скажи. Какие он слова привез с собой?

— Штоб всем хорошо было, совсем простые слова.

— Бреши собаке,— я и так много знаю... Не хошь говорить, не надо. Сам найду я эти слова. Заворожил он всех словами... а я-то... обожди. А ты не отрекайся, буду Христом-богом просить, от родни не отрекайся. Дер-

жись. Не бери греха, греха не бери. Как же... Ага?.. Ты немного подожди, я найду эти слова... Как же.

Авдокея обернулась и через плечо спросила:

— Так не пойдешь?

Трофим Михалыч затряс кулаками.

— Не пойду!.. Не признаю я вашей ичейки... Раз ты в такое дело ввязалась, снимай юбку, ну! Надевай штаны, ступай в мужики. И-и-их, воробьи!.. Голуби-и!..

Он опустился на траву и, приглаживая ладонью листья, сжав губы, долго глядел в пень. Села сорока и, колыхая длинным хвостом, зевнула. Винно-хмельно-кисловато пахли набухшие листья.

Авдокея была уже у села, когда Трофим Михалыч поднял от листьев склеившиеся пальцы, забормотал:

— Кулла, кулла!.. умори... ослепи... раздуй... скоро змеи медяницы, засуши тело тоньше луговой травы... А?.. Не эти слова, парень, не эти... Кумара, нах-нах, запалам, бада... эшохомо, лаваса, тиббода. Кумара... А?.. Выхада, ксара, гуятуи, гуятуи... лиффа, прадда, гуятуи, гуятуи...

Устало вздернул бороду, торопливо разыскивая где-то далеко в сознании плывшие слова, выкрикнул:

— Нуффаша, зинзама, охуто, ми!.. Капоцо, капоцам, капоцама!.. Ябудала, викгаза, мейда! Ио, на, о-ио, на, цок! Ио, на паццо!..

Кряхтя, опираясь на палочку, встал. Перекрестился, вздохнул.

— Не те, парень, слова, не те. Где бы мне те слова найти?.. Владычица! А?..

II

От вековых земель — вековые запахи.

От запахов — мысли, как столетние кедры.

Авдокея пришла к началу. Сидели мужики по лавкам, думали. Старые мысли одолеть труднее, чем корчевать кедры.

Авдокея села было к порогу, Васька Ветков, подталкивая ее за локти, провел к столу. Мужики молча потеснились. Кто-то быстро задышал.

— Пьяной, что ль? — спросил Ветков.

— Напоил!

Сутулый мужик из Никихинской волости тоненьким голоском заговорил о японцах. Жалоба у него была

длинная, и он все повторял, сколько скота пожгли японцы в загонах.

— И не жалко ведь им,— сказал он Капитону,— у них скота-то нет. Они на людях и ездют и пашут. Не понимают они скота. Нас-то тоже заберут за море на пахоту ихню.

Капитон поспешно застегнул ворот рубахи, потряс в пальцах листик бумаги, выдернутый из школьной тетради, спросил:

— Все расписались? Кто не грамотен — палку ставь. Ты, Авдокея, пиши.

Авдокея, покраснев, обмусолила карандаш и, наседая грудью на стол, вывела «Сичинова». Капитон, стуча пальцем по листку, крикнул:

— К порядку!.. Что нам требуется?.. ущемление наших требований — оно налицо. Бессильно хватаются за старое. Тоже мне, коалиционна политика! Японец по существу-то бессильная стерва... ясно! Нам, главное, не идти на ихнюю сторону и на ячейке обсудить кандидатуру. С точки зрения общих интересов, обыкновенно сход зря орет, а нам надо укрепляться. Предписание точных инструкций выполнять, они реально осуществимые — обыкновенно. Если кто желает по кандидатам высказывать слова, скорее надо — там на сходе старики ждут.

— Дай-ка мне,— попросил сутулый мужик.

И он, раскачиваясь, неожиданно ласковым голосом запел:

— Не мешкайте, лебедки, уничтожит до конца сёлаю япошка. Капитон верна говорит — не надо землю отдавать, без земель мы — куда? Навезет чужого народу, плуги, машины-сенокосилки в перву голову уничтожит. Как появится, так и жгет. Капитон-то городской, а понимает. Нам ли свое добро не отстаивать? Лебедки вы мои, господи!

Мужики, перебивая друг дружку, заговорили. Сплевывали и жаловались на старые, давно обсказанные обиды.

— Не все враз! — крикнул Капитон и, взглянув на Авдокею, лениво улыбнулся. Рябинки на его щеках попрятались, показались мелкие зубы.

— Ты чего молчишь?— спросил он.

Авдокея оправила юбку на коленях и мотнула головой.

— Не хочешь? Все должны говорить. Крой — и никаких.

По-видимому, очень довольный, Капитон весело постучал по столу и громко крикнул:

— Назначай кандидатов, раз возражений нету. В штабе должны наши из ячейки быть, обязательно. Точные инструкции по существу политики. Вытекающие из повседневной борьбы трудящихся... Товарищи!.. Постойте вы...

Вошел Трофим Михалыч, перекрестился в угол и сказал нараспев:

— Здорово живете. Можно тут послухать? Нуффаша, скажем, и ксара!.. Ишь ты.

А на сходе,—когда в пыли топтались в ограде мужичьи ноги, когда Капитон сидел за столом и, царапая длинными рукавами пиджака скатерть, говорил долго, туманно и ему, млея сердцем, внимали мужики,— запыло в голове у Авдокеи и по всем костям ломота пошла. Никого из ее родни в ограде не было, и, как всегда,— с начала наступления японцев,— торопливы и размашисты были мужики, а вот будто должно случиться что-то. Должно прийти.

Так оно и сталось.

Остроносый Капитон закричал:

— Называй фамильи!.. Кого в штаб?..

Поднялся на цыпочки Трофим Михалыч, вытянул руки по плечам соседей и тоненько сказал:

— Ровнять — так усех ровнять. Викгаза, маум!.. учили, поди, Авдокею три года в приходской, слава богу, я дядя родной — отрекайся не отрекайся, очень просто. Я знаю. Книжек, конечно, не читала, поди, не доводилось, а писать умеет. В штаны ее не посадишь, ишь... Нуффиша — и никаких: выбрать ее, по-моему, в секлетари. Пущай.

— Пущай,— сказали мужики.

И руки подняли.

Выбрали еще Капитона, Григория Туркина, Максима-фельдфебеля. Подали тележку: объезжать соседние села.

Трофим Михалыч сел на облучок, перенял вожжи и, поглядывая одним глазом на Капитона, протяжно сказал Авдокее:

— Мы с ним, поди, так завтряча приедем. Тут на столе-то гумага лежит — Капитон небось велит тебе протокол севодняшней сходки написать... Приедем, почитаем. Завтряча приедем, Авдокея. На столе гумага-то, так-то... И в самом деле...

Подергивались у него морщинистые щеки, словно из столетней коры. Пахло от него немного смолой, и голосок был прозрачный и тягучий. Авдокея тугим глазом повела по Капитону.

— И верно,— сказал тот,— напиши.

— Напишу,— покорно отозвалась Авдокея.

III

Костер в ограде мужики зажгли, словно все небо хотели нагреть. Горница огнем освещена, как лампой. Только свет костровый — запашистый и красный — недобрый.

Отца и брата дома не было,— мать только Авдокеина — Марья Фроловна. Хотела рассказать дочери рассказ, который сколько раз говорила,— как из-за любви к ней купец утопился. Любви его было три дня, а на четвертый — смерть.

Авдокея развязала узелок и выложила на стол: бумагу, из тетради вырванную, ручку с грязным перышком и чернилку с тряпичной пробкой. Марья Фроловна села напротив.

— Почта не ходит, кому писать-то? Али хахаля завела? Девке от нелюбви какое житье. Люби.

— Никово мне не надо. Что я в мыслях замыслила, то и найду.

— Ищи.

Авдокея попробовала перо — пишет хорошо. Написала «протокол», а пониже — число и месяц. Положила перо.

Марья Фроловна кашлянула.

— Сказывали, в ичейку ты пошла. Отец-то придет, бить, поди, тебя будет. Если на самом деле записалась, от родных отрекалась али нет?

— Нет.

— Ну и слава богу. Што же, народ, как война началась, так ни дров, ни травы — не жалеет. Ишь жгет как... полыхает. Ходил-ходил ноне отец-то по обозам, все, грит, тоскуют. Смертынька идет...

— Не мешай.

И вот — будто просто было: собрать их вместе, мысли и слова, что говорил сход, и буквами записать на бумаге. Что говорил Капитон, Трофим Михалыч и еще другие, а кроме слова «протокол» — ничего не падало на бумагу. Ощупала беспокойно перо, испуганным глазом оглядела красные от костра лавки, скатерти и горшки. Переложила бумагу — и почувствовала, как вспотела, как пот проступил на голове, под волосами.

Сказала тихонько:

— Не могу, ма-ам!..

Фроловна вздрогнула, тронула свои колени и боязливо взглянула на бумагу.

— О чем тут?..

— Протокол, ма-ам... Протокол надо написать. Велели написать.

— А ты и пиши, чему училась. Это что же, жалоба али письмо?

— Протокол, что говорили и как...

— Ну и пиши, раз им надо. Мало ли чего говорят. Мне вон сколько люди говорили, рази все...

— Не мо-огу!..— крикнула Авдокея.— Не знаю как!..

Фроловна пошла к печи.

— Помоги чугун выставить.

И у печного цела наклонилась к уху Авдокеи и спросила шепотом:

— Може, что не христианское, може, от веры отказываться али что... Вот у те рука-то и не поворачивается. Ты плюнь, ну их к лешему, пущай сами пишут. Твое дело бабье.

— Прогонят. Смеху на весь стан будет... А Капитон-то...

— Етот плюгавый-то... али из-за него?..

Старуха слабо хихикнула и, звякнув ухватом о чугун, сказала:

— Из-за него можно. Бойкый.

— Да нет...

— Так тебе писать то, о чем говорили?.. Баяли-то что?..

Она вытерла о фартук выпачканные в саже руки, высморкалась и опять села за стол.

— Баяли, что воевать с японцем до смерти, мобилизацию учинить и чтоб в долину чужих не пускать. А потом, значит, штаб выбрали... Вот и все...

Фроловна хлопнула ладонью об стол.

— Все?..

— Все. А как написать, не знаю.

Фроловна рассмеялась.

— Чтобы те трафило, девонька. Таки-то просты слова не написать, владычица!.. Да я-то не учена, и то напишу. Диви бы заговор какой. Бери перышко-то, пиши.— Она взяла Авдокею за плечо и, заглядывая ей под руку, заговорила: — Я сколь лет на свете прожила,—не помню. Горя-то, девонька, много-о видела... как травы. Лютое горе есть, лютее некуда. А понешно японское горе, должно, из-за моря пришедши... остращнел народишко-то, в крови хлебыщется...

Авдокея кинула перо и, хлюпая ртом, заплакала. Старуха подвинула ей перо. Шептала, трогая губами ее волосы над ухом:

— Ты пиши, пущай наша бабья слеза идет... пиши.

— Смеяться будут,— сказала Авдокея.

— Не будут. Пиши: собрались мужики наши со всех волостей, от Бусей-реки, от Хавкина-озера, от теплых гор Алиньских; говорили-рассуждали... из-за желтого поганого моря поднялся на мирный люд злоглазой да мерзкой человечишко... Владычица!.. Детишек-то наших порезали, дома-то наши попалили — на какие муки по тайге скитаться пустили?..

Авдокея брызнула пером и, глотая слезы, с рокотом и хлипом, сказала:

— Ты не спеши, мам...

— Ладно. Пиши: мужику дадена пашня — паши да корми, нам, бабам — скотину гонять. А над пашнями-то палы идут, скотину-то поедает красный волк да барс... Мужиков-то хоронить некому: над силушкой-то уходящей поплакать сил не найдешь... Никто-то о нас не подумает, не смилуется: никто-то никогда не погорюет, издевается — изголяется... Пиши еще: ночью-то у нас в ограде костры бездомные горят, мужовья-то без жен сидят, а я-то, сердечна, горюю над дочерью...

Старуха закрыла рот платком, вытерла. Гладила легонько плечо Авдокеи и тянула речь:

— Сказывают: счастье наше за девять морей, за десять земель, на девятом острову на Сарачинском. А как тебе пешком туда идти, в три года не дойти, орлом лететь тебе, в три года не долететь... Кто к счастью тому нас на путь наведет, Авдокеюшка...

Так и сидели, писали, пока костер не потух в ограде, пока Авдокея не сказала о тетради:

— Всю, мама, исписала...

...Раздувая к ужину самовар, старуха вздохнула:

— Вот ведь только часть горя-то записали, а на все-то сколь надо гумаги?..

IV

К заседанию ячейки Трофим Михалыч пришел первый. Сел на крылечко, широко расставил ноги и, меж ног сплевывая, покуривал.

— В ичейку записался? — спросил проходивший мужик.— Капитон парень дельный, он те отучит барахлом вонь нагонять.

— Иди, иди, брехун!..

Жара сходила к ногам, пыль над улицей тяжелей камня,— скинул сапоги Трофим Михалыч, только одну портянку переобул, на солнце поглядел, а по крылечку идет Авдокея.

Трофим Михалыч потянул за ушко сапожное, оборвал, разозлился, сильнее дернул — где-то в самом голенище затрещало.

— Штоб те разразило, лихоманка!.. Вот товар пошел. Написала?

Авдокея поднялась на крыльцо и сняла с дверей замок.

— Тебе-то какое дело?.. Знамо, написала.

— Протокол, весь?.. Ну?.. От начала до конца?.. Покажь.

Он еле слышно свистнул:

— Знай наших! Вот сичинска порода, отец-то у тебя, ба-ашка... Дядя я тебе или не дядя, — покажь, Авдокея!..

Он неумело ковырнул пальцем несколько листов, поцарапал ногтем буквы и, присев на крылечко, уныло сказал:

— Написала. Прочитал бы вот, да не умею... написала, как же, много, вижу. А они, может, и слухать не будут, положут куды-нибудь. Вот и знай наших! Куда ты, Авдокея, отправляешься, не знаю, а бумажки твои прочитай...

Прослушав Авдокею, Трофим Михалыч сдернул другой сапог, переобулся, набил трубку и закурил.

Авдокея сидела с бумажками напротив. Глаза у ней разбегались, таяли где-то в волосах: широкие, налившиеся жилами руки неумело шевелили бледно-коричневые бумажки, и тугой подбородок напирал на твердую, как январский сугроб, грудь.

Трофим Михалыч потер ноги и, выгибая длинную шею, поднялся. Погладил ладонями ребра.

— Не знаю, куда ты, Авдокея, отправляешься... Протокол ты составила верно, а мужикам не читай, не надо им теперь его. Отдай ты мне его лучше. Собираю я тут разные слова, а, однако, твое слово сгодится... куда-нибудь я его доспею...

К началу заседания прискакал верховой: по реке Бие уследили передовых из атаманского отряда. Загрохотали телеги. Ударил набат. С винтовками к школе сбегались мужики. Из ячейки на длинную фуру железного хода вкатили пулемет.

1922

ПОДКОВА

I

Перемеченные огнем снарядов — красные, кроваво-красные и тяжелые,— низко обламывались облака над городом. Невнятные гулы шли по деревянным тротуарам, между досок их — мокрая, седая осенняя трава, Люди в узких деревянных щелях домов; слышен шепот:

— Через Сусловицу перешли...

— Сначала коммуну бить... начнут...

— Говорят, всех прощают, только масштабы их признавай...

— Какие масштабы?

— Господи, а мы-то при чем?..

В этот вечер, когда калечили облака желтые — пахнущие углем и серой — снаряды, когда солнце в маслянистой крови — как незарубцованная рана, уездный кузнец Василий в горне варил картошку. Был он подслеповат — не от кузнечной, а от портняжной работы; от болезни глаз и в кузнецы пошел.

Кузница была под горой — «на подоле»; ниже — город; выше, на горе — кладбище. Почему кладбище на горе, а не город — неизвестно. Живым и так весело, а мертвецу с горы лучше видно: может быть, так думали?

Подручный Ерошка — кузнец всех подручных Ерошками звал — качал мехи. Голосенко у него какой-то подтянутый, словно пищали мехи или скрипела сухая кожа. Грызя полусырую картошку, махал он тонкой, как ремень, рукой и спрашивал:

— А обозы белу муку скоро повезут? Утикают...

— Муки белой не полагается, муку белую едят белые, а нам надо исть муку черную.

Кузнец погнул в пальцах изржавевший жестяной обручишко, изорвал его в куски и бросил в угол. Обошел вдоль стен, выглянул, вдохнул сладковатой сырости и захлопнул торопливо дверь.

— В городе-то — тьма, даже в тюрьме огня нету. Ты картошку не проследи, уплывет... Белые, поди, сегодня придут, надо б домой идти. Пущай здесь убивают, одна могила, да и та хоть своя, а?.. Всех трудящихся чересчур, говорят, убивают. Возьмут нас, Ерошка, да и повесят вот тут, в станке на перекладинах, где коней куем.

— А за ноги вешают? У которых шея, поди, тонкая, не выдержит, дяденька?

— Проси — повесят за ноги.

— А на том свете в рай попадем?

Василий оттянул котелок, щеточкой попробовал картошку. Седоватая бороденка отсырела и запахла табаком. Ему захотелось курить, он поскоблил в карманах.

— А на этом свете в рай хочешь?

— Хочу.

— Давай табаку, дорогу расскажу.

Ерошка выпустил ремень меха и сказал медленно:

— Я некурящий.

Подумал и, подхватывая ремень, кашлянул тихонько:

— У нас, дяденька, парнишки порешили в бога не верить.

— Ишь!

— Большевики в бога не верют... Кипит!..

— Кипит. Доставай.

В крестах, на горе, ухнуло и посыпало мелким треском.

— Бонба, — сказал боязливо Ерошка.

— Ешь, пока картофель горяча.

А сам кузнец не стал есть. Разломил, понюхал: пахнуло сыростью. Отложил. Поднялся и вдруг, ссутулясь, накрыл корчагой угли в горне. Ерошка зачавкал медленнее:

— Темно, дяденька.

Василий стоял у дверей. Ржала где-то далеко лошадь; по дороге неустанно шел ветер. У станка для ковки, подле кузницы, свистела, как бич, веревка... Кузнецу стало холодно, он вспомнил, что у воротника рубахи нет пуговиц. Тоненько пискнул в углу Ерошка:

— Дяденька, темно... Пойдем в город... тут крысы..

Обстрел, должно быть, кончился. Щели дверей расширились.

Запах угля отяжелел.

Здесь, от станка для ковки, глухо и медленно позвал голос:

— Хозяин!

II

Ерошка для чего-то задергал ремень мехов; метнулась зола в очаге. Василий хотел было промолчать, но туго потер загривок и хрипло крикнул:

— Чего ты-ы?..

— Хозя-яин...— протяжно и густо позвал голос.

В распахнутую дверь сразу, под бороду и на потную грудь, хлестнуло холодом.

У станка, фыркая и звеня уздой,— лошадь. Выше ее — темный, широкий голос:

— Подковы есть?

Звякнуло стремя, мягко осела земля под пятой.

— Кузнец?

Василий порылся в карманах, сплюнул и, ленью голоса стараясь преодолеть дрожь, сказал:

— Покурить нету?

— Огня давай. — Потом, расстегивая одежду, должно быть, медленнее добавил: — Коня куй.

— Откуда ты?

— Куй.

Человек стоял поодаль; дыханье у него было медленное. Тонко, прерывисто запахло кислым хлебом.

«Крестьянин»,— подумал радостно Василий и, стукнув кулаком по бревну станка, твердо выговорил:

— Ерошка, дуй уголь.

Василий подошел к станку.

— За ночную работу берем вчетверо. От ночной работы у меня глаз сочится, оттого ремесло переменил. Опять, кто ночью кует? Лошади спать надо. Каков размер копыта?

Так же, словно роняя грузный мешок, повторил тот:

— Куй.

Огонь в горне поднялся, и отблеск переломился в синей луже за дверью. Огромное и теплое, лежало копыто перед Василием, как темное блюдо. Волос от

копыта шел длинный, жесткий и седоватый, пахнущий прелой соломой. Ерошка, стукая пяткой по ящику, тащил подковы. И вот, перекидывая железо, набивая ладонь едкой ржавчиной, стал выбирать Василий подкову. Одна за другой, в связках, в одиночку, старые, стертые, блестящие, и совсем шершавые, и новые, еще пахнущие огнем, ложились подковы на кочковатую ладонь и звякали, падая обратно в ящик. Не то! От старых битюгов, давно, еще до войны, возивших барские клади, уцелело шесть пар, валялись они в углу. Ерошка вытащил их, свистнул и подкинул угля в горн — чтобы было светло. И эти — не то! Лежали они, словно кольца, на ладони.

Человек, сошедший с лошади, звякнул чем-то позади станка. Василий обернулся и поглядел на него.

Тоненькой ниточкой на огромном куске солдатского сукна блеснула винтовка. Ушастая островерхая шапка с пятиконечной звездой оседала на широкий лоб.

Василий поспешно спросил:

— Какой губернии?

— Я-то?.. Муромской.

Василий обежал кузницу; запнулся за подвернувшийся обруч, откинул его в угол. Подбросил для чего-то угля в горн, махая над углем куском железа, крикнул:

— Нету подходящих подков! Нету!

Звякнула тяжелыми кольцами узда.

— По коню куй.

Человек, сошедший с коня, огромным грузным шагом отошел куда-то в темень, и оттуда раздалось:

— Куй.

Раскаляя железо, Василий над искрами его хотел было охнуть, пожаловаться, а засвистел, заскрежетал молотом:

— И-их!.. И-их!.. Ирошка-а!..

И Ерошка вился худеньким телом: тоже под искрами, под молотом рвал мехи, в горн надавливал воздух, потел, попискивал:

— Их, дяденька-а! Их...

И только тогда, когда подкова лежала, как темновато-алая ржаная булка, крикнул Василий:

— Туда, что ль, на них?..

— Прямо! Куй.

— Кую! И-их!.. Пря-ямо?

— Прямо.

— И-их!..

Лошадь дышала тепло, прямо в затылок Василию. Человек в островерхой шапке так и не показывал лица.

Шлепая, разрезая грязь, прошел в гору обоз.

Хотел Василий пожаловаться, рассказывать долго и правильно, чего он, кузнец Василий, хочет. Конь, словно лопатами, откидывал подкованными копытами звонкую пахучую грязь. Седло под рукой Василия — теплое, ласковое.

Он сказал, указывая на гору:

— Город-то надо сюда перенести.

Из тьмы опять, как грузные пласты земли, последний раз упало:

— Перенесем. Обожди.

1922

ДОЛГ

I

Карта уезда в руке легка и мала, словно осенний лист. Когда отряд скакал рощами, — листья осыпались, липли на мокрые поводья. А разбухшие ремни поводьев похожи на клочья грязи, что отрывались от колес двуколки, груженной пулеметами.

Фадейцев, всовывая в портфель карту, голосом, выработанным войной и агитацией, высказал адъютанту Карнаухову несколько соображений: 1) позор перед революцией—накануне или даже в день столкновения разделить отряд; 2) нельзя свою растяпанность сваливать на дождь и мглу; 3) пора расставить секреты, выслать разведку...

— И вообще больше инициативы.

Но голос срывался. Усталость.

— Врач просит одиннадцать одеял, а то больные жалуются, товарищ комиссар... Здоровые, говорят, под одеялами, а нам — под шинелями,— осень...

— Да у меня на руках-то канцелярия да больные,— это объяснил им?.. Хм... Обоза нет.

— Совершенно подробно и насчет того, что отряд на две половинки. Тут темень и канцелярия. Да я им митинг, что ли, устрою из-за одиннадцати одеял?.. Я им говорю — вот Чугреев разобьет нас,— всем земляные одеяла закажет.

— Больным? Да вы, товарищ, неосторожны.

— Кабы они простые больные, — это революционеры.

Адъютант Карнаухов любил хорошую фразу. Был из пермских мужиков, коротконог, с обнаженной волосатой грудью. Выезжая из города, он надевал суконную матроску и папаху.

Красноармеец внес мешок Фадейцева. У порога, счищая щепочкой грязь с веревок, он с хохотом сказал адъютанту:

— Старуха к воротам пришла, просит церковь под нужник не занимать. Лучше, грит, мой амбар возьмите, он тоже чистый, и хоть, грит, немного пашеничкой отдает, а все же. Во — тьма египетскова царя! Наговорили ей про нас...

— Рабы,— басом сказал Карнаухов,— бандитов разобьем, возвратимся — собеседование о религии устрою. Так и передай.

— Это со старухами собеседовать? Ими болота мостить, — только и годны, старые.

Фадейцев смутно понимал разговоры.

— Самоварчик бы,— сказал он тихо.

Хозяин избы, Бакушев, темноротый тощий старик, махая непомерно длинными рукавами рубахи, потащил в решете угли. Адъютант и красноармеец яростно заспорили. Фадейцев сонно взглянул в окно, но мало что увидел. А в поле пустые стебли звенят, как стекло... Небо серно-желтое... Мокрые поводья пахнут осоками и хвощами. Голые нищие колосья сушат душу. Днем в облаках голодная звонкая жара, ночью рвутся в полях дикие ветры. И хотя из-за каждой кочки может разорвать сердце пуля,— все же легче ехать болотами, нежели пустыми межами; лучше под кустом мокрого смородинника разбить банку консервов. Возможно, поэтому хотелось комиссару Фадейцеву уснуть. Но обсахарившиеся веки нельзя («во имя революции»,— напыщенно говорит Карнаухов) смыкать. Неустанно, кажется, шестые сутки, мчался отряд полями, гатями, болотами, — чтобы взять в камышах гнездо бандита и висельника Чугреева.

— Интересы коммунизма неуклонно!..— вдруг во все горло закричал адъютант Карнаухов.

Тотчас же старик внес самовар.

Фадейцев медленно вытянулся на лавке.

— Я все-таки, ребята, сосну... пока самовар кипит... Тут ребята подоспеют, обоз...

Он потянул голенища. Старик поспешил помочь. Карнаухов выматерился.

— Царизму захотел, сапоги снимашь?

— Устал он, командер ведь.

— Если устал, можно и в сапогах превосходно. Ты как об этом предмете, товарищ?..

Я лучше усну...

Старик сунул ему под руку подушку. Адъютант «собеседовал»:

— Литературу получаете? Надо курс событий чтоб под ноготь, батя, понимать.

— Бандита пошла, голубь, и прямо как саранча бандита. В нашей волости народ все смирной рос, а теперь однажды скачут... один здоровенный такой — рожа будто у кучера, как ему стыда нет — печенки захотел. И что ты думаешь? У соседа корову застрелил, печенку вырезал, сжарил, остально кинул. А про люд, люду-то сколько перебито-о... э...

Карнаухов строго кашлянул:

— Очередная задача — поголовное уничтожение бандитизма и вслед за этим мирное строительство...

...Всегда, после переходов, сны Фадейцева начинались так, словно внутри все зарастало жарким волосом...

Но вдруг, ломаясь, затрещали половицы. Медные, звонкие копыта раскололи огромную белую печь.

Ничего не понимая, шальной и полусонный, Фадейцев вскочил. Зашиб лоб о край стола. Ночь. Керосиновая коптилка, казалось, потухла.

В раме окна со свистом прошипела пуля. Три раза, вслед за выстрелами маузера, кто-то громко позвал: «Товарищ Фадейцев!» Шип пули — будто перерезанный зев. Топот лошадей смягчался, словно скакали по назьмам. Фадейцев, прижимая к боку револьвер, прыгнул к дверям. Быстро и мелко старик крестился в окно. Лицо у него было белее бороды, а пальцы черные с киноварными ногтями, и ногти были крупнее глаз. Фадейцев выглянул в окно. При свете большого фонаря чубастый парень (грива его лошади была прикрыта зеленым полотнищем) устало махал саблей. Стоны после каждого его взмаха тоже усталые. Старик сказал: «Зарубил».

Фадейцев посмотрел на прильнувшего к печи старика и повторил:

— Зарубил?.. Ево?.. Бандиты?.. Кого зарубил?

— Оне. Бандиты.

И здесь Фадейцев вспомнил,— револьвер его опять не заряжен. Пять лет революции не мог он приучиться вовремя заряжать... Револьвер царапнулся по доскам пола. Котенок шарахнулся из-под скамейки. И внезапно

стало страшно выбежать в сени. На дверях же даже нет засова. Старик обернулся. Деловито, с матерком, сунул револьвер в загнету печи, в золу.

«Амба...— подумал быстро Фадейцев, и ему на мгновение стало жалко Карнаухова,— зарубили...»

— На двор ступай... урубят и так: меня перед смертью пожалеть надо. Скажи — я вас по доброй воле не пускал... так и скажи. Владычица ты, пресвятая богородица! Иди, что ль! Хамунисты-ы... протянул старик.— Иди, комиссар.

Засвистали пронзительно на перекрестке улиц. Икры ног Фадейцева стали словно деревянные. Фадейцев пал на колени. Так он прополз два-три шага и неизвестно для чего приоткрыл подпол. Щеки его обдал гнилой запах проросшей картошки.

— Найду-ут... Дам вот по башке пестом!.. Прятаться?..

От этого злого беззубого голоса Фадейцев вдруг окреп. Он сдернул свой мешок с вещами. За мешком — портфель, разрезал почему-то пополам фуражку. Трясущийся в пальцах нож напомнил ему об ножницах.

— Ножницы давай,— закричал он,— скорей!.. и рубаху... рубаху свою... Убью!..

Старик вытянул рот:

— Но-о...

Старик подал источенные ножницы и гладко выкатанную рубаху. Состригая бородку, ращенную клинушком, Фадейцев торопил:

— Старую... старую надо... живо!.. Скажешь... как фамилья...

— Моя-то?

— Ну?.. Твоя.

Старик словно забыл про страх. Он хозяйственно оглядел избу.

— Тебе на какую беду?

— Говори!

— Ну, Бакушев, Лексей Осипыч... ну?..

Он поднял кулаки (с ножницами и с остатком бородки в пальцах) и, глотая слюну, прошипел старику в волос. Ах, волосом этим, как войлоком, закатано все: глаза, сердце, губы, никогда не целовавшие детей. И речь нужно пронзительнее и тоньше волоска, чтобы...

— А я, скажешь, твой... сын!.. Семен... Семен Алексеич, из Красной Армии... дезертир! Документов нету...

да... Иначе — амба! Наши придут и, если меня найдут конченым, кишки твои засолят на полсотни лет... попалят, порежут... амба, туды вашу!.. Если выдашь...

Он махнул на старика ножницами. Старик противно, словно расчесывая грязные волосы, крестился.

— Мы што... мы хрестьяне... наше дело... ладно, я старухе скажу... поищу. Ладно уж.

Скамья под телом Фадейцева словно смазана маслом. Нет, этак жирно вспотели ладони. Карнаухов оставил на столе портсигар. Фадейцев сунул его в трубу самовара («кожаный, вонять будет», — подумал он), но обратно доставать не было силы. Он, тупо глядя на самовар, сбирал в гортани слюну сплюнуть,— и не мог.

А с оружием возможно было прорваться к какой-нибудь лошади. Ветер, вечер, холодная осенняя грязь.

Эх, научиться б вовремя заряжать револьвер!..

II

На минуту показалось — шел он сам, потом — шаги в стене, на потолке. Бред.

Вбежала старуха. Топот нескольких ног послышался в сенях. «К печке», — шепнул, задыхаясь, Фадейцев. Сразу не стало видно дверей,— печь же будто бесконечный кирпичный забор.

В остро распахнутую дверь озябший гортанный голос сказал быстро:

— Свету! Свету, и выходи сюда!

Казак с чубом телесного цвета поставил на пол крупный фонарь. Свеча там была желтая, восковая, церковная. Дергая тонким плечом, вперед выступил высокий человек.

— Красные есть, хозяева?

Он тяжело поднял руки: дула револьверов были похожи на забрызганные грязью пальцы.

— Где они?

— Убежали, родной, как поскакали до коней, так их будто смело... разве в других местах, моя изба —голубь... Сынка вот хотели увести, едва уговорил... мы, грит, так и так...

— Сын? Этот?

Из сеней нетерпеливо спросили:

— Увести, ваше... по такой роже, если судить...

— Я что говорил? Вмешиваться?

Хотя никто не шевельнулся, он отстранился локтем. Опять, чуть вздрогнув плечом, шагнул к Фадейцеву. Каждое его слово было ровное и белое, такое, как его зубы. От фонаря похожие на кровь, дрожали на жидких и длинных усах капли грязи. Он сунул револьвер назад в сени, холодная четырехугольная рука его нащупала пальцы Фадейцева. Спрашивая, он все время подымался вверх по кисти на грудь, на бока. Ногти его словно прокусывали платье. Он ощупал нижнее белье. Фадейцев любил махорку, сыпал ее не в кисет, а прямо в карман. Высокий достал щепоточку, понюхал и плюнул.

— Какого полка?

— Стального Путиловского третьего...

— Фамилия?

— Бакушев Семен.

— Доброволец?

— Никак нет, мобилизованный.

— В отпуску?

— Никак нет...

— Ранен? Дезертир? Документы? Нет документов? Значит, врешь. Расстрелять.

В сенях подняли щеколду. Кто-то, гремя прикладом, спрыгнул с крыльца в грязь. В курятнике сонно-испуганно металась птица — казак резал к ужину. Лениво оглядывая стены, высокий человек легонько направил Фадейцева к дверям. Выравнялось несколько пар грубых сапог: проход был похож на могилу. Прямее винтовки не будешь. Он тянулся. Высокий был с револьвером: он держал его за спиной. Усы его висли над плечом Фадейцева, как сухая хвоя. Попробуй вырви револьвер.

Чтобы продвинуться ближе к окну, Фадейцев спросил:

— Проститься с родителями можно?

Фадейцев упал старикам в ноги.

Старуха завыла. Старик наклонился было благословлять его, но внезапно, причитая, пополз за сапогами высокого.

— Князюшка, я ведь твоего батюшку и мамашу-то знал во-о... одноутробнова-то? Трое суток как прибежал... на скотину болесть, ну, думаем — пообходит сынок городской... а тут в могилушку сыночка...

— Золотце ты мое, Сенюшка, соколик мой ясноглазый!

Высокий человек посмотрел хмуро в пол. Атласистое сало свечи капнуло ему на полушубок. Старик поспешно слизнул. «Эх, зря»,— подумал Фадейцев, но высокому, по видимому, понравилось. Он нагнулся.

— Вставай! Черт с вами, прощаю — мало тут дезертиров! Только смотри, старик, набрешешь — покаешься. Я зло помню...

Он не спеша двинулся к дверям, но, мельком взглянув на профиль Фадейцева, неожиданно быстро устремился к нему. Судорожно дергаясь плечом, он заглянул в глаза: Фадейцеву почудилось — веки его коснулись щеки. Он прижал одну руку к груди и закричал пронзительно:

— Что? Что?.. Фамилия? Снимай шапку!..

Фадейцев вспомнил — когда сказали «расстрелять» — он надел шапку. Она мала, чужая, прокисшая какая-то...

— Семен Бакушев.

Высокий провел по его волосам, с удивлением поглядел на глубокий шрам подле виска.

— Бакушев? Врешь!

Он неловко, словно в воде, мотнул головой.

— Ясно... да... Не помню Бакушева. В Орле был?

— Никак нет.

— Князей Чугреевых знаешь?

«Ты...» — с какой-то тоскливой радостью подумал Фадейцев. Посылая его в уезд, председатель губисполкома дал ему для сличения фотографическую карточку руководителя зеленых, генерала Чугреева. Там он был моложе, полнее. Брови слегка углом. Фотография эта лежала в чемодане, в подполье. Фадейцев припомнил, как мужики делают размашистые жесты. Он выпятил грудь и поднял высоко локти.

— Чугреевых? Господи! Да у нас вся волость...

— Врешь... все врешь, сволочь.

Солдат в алых наплечниках лепил на стол свечу.

— Пошел к черту!

Генерал и князь Чугреев, ловить которого комиссар Фадейцев мчался в каличинские болота, сидел перед ним, быстро пощипывая грязную кожу на подбородке. Была какая-то смесь щегольства и убожества в нем самом и в его подчиненных. Полушубок он расстегнул:

зеленый мундир его был шит золотом (хотя оно и пообтерлось), а брюки были грубого солдатского хаки. Грязь стекала с его хромовых высоких сапог.

— В германскую войну в каком полку?

Фадейцев назвал полк.

— Не помню. В каком чине?

— Рядовой.

— Э...

Из сеней тоскливо, после продолжительного топтания:

— Прикажете вывести?

— Обожди. Хозяин, дай молока!

Обливая бороду молоком, он долго и торопливо пил. Щелкнули на улице выстрелы. Чугреев отставил кринку. Сизые мухи (такие липкие бывают весенними вечерами почки осин) уселись по краю.

Он грузно опустил руки на стол.

— Несомненно, где-то я видел тебя и в чем-то важном... этаком важном... для меня...

Он пощупал грудь.

— Видишь, даже сердце заныло. У меня всегда...

Старик опять грохнулся на колени. Он с умилением глядел на Фадейцева.

— Так сын, говоришь?..

— А как же, батюшка, да ей же боженьки...

— Колена тверже пяток — вставай! Допрошу в штабе и отпущу. Молись богу — пущай правду говорит... Идем!

III

Генерал Чугреев был слегка сед, размашист, немного судорожен в шаге. Комиссар Фадейцев — низенький, сутуловат. И так как всю жизнь приходилось ему подпольничать, то шаг у него был маленький, точно он боялся наступить кому-то на ноги. Ночь — сырая и ветреная, аспидно-синяя — рвала солому с крыши, хлипко гнула ее. У подбородка, у плеча нет силы снять соломинку, пахнущую грибами. Казаки отставали — шли только с ружьями наперевес двое. Штаб Чугреева в сельской школе. Подымаясь по ступенькам, спросил Чугреев:

— Трусишь?

— Одна смерть,— ответил звонко, по-митинговому, Фадейцев. Ходьба освежила, ободрила его, и перед расстрелом он решил крикнуть: «Да здравствует революция!»

— Мы сегодня семьдесят два человека кокнули. Если сосчитаешь, то который по счету, а? Трусишь?

Фадейцев смолчал.

Парты сдвинуты к стенам, на полу (в пурпурово-голубом пятне) керосиновый фонарь. Пахло же в комнате не керосином, а мелом. Под ногами, точно известь в воде, шипели куски мела. Выпачканный в белом, спал подле классной доски лысый с ушами, похожими на переспелые огурцы.

— Казначей. Спит. У большевиков спирт отбили, перепились. Зачем им возить с собой спирт, а?

«Мы спиртом? У нас спирт? Сволочь!» — так крикнул бы адъютант Карнаухов. Фадейцеву опять на мгновение стало жалко Карнаухова. Он промолчал.

Не давая заговорить, Чугреев сморщился и что-то показал пальцами над щекой.

— Надоело мне все, садись. Трусишь?

Стол шатался и скрипел.

Чугреев тоже шатался; плечи у него вздрагивали; он зябко поджимал колени. Он спрашивал о германской войне, об офицерах, служивших в полках.

Внезапно он вскочил:

— Гагарин? Это какой, пензенский?

— Не могу знать.

Чугреев приблизил к нему сонные, цвета мокрого песка, глаза.

— Я четыре ночи не спал... Меня надо титуловать. Забыл у большевиков? — Он быстро провел пальцем по подбородку Фадейцева.— Сегодня остригся,— сказал он медленно и попросил назвать города, где бывал Фадейцев.

— Тула... Воронеж...

Чугреев остановил:

— В каком году был в Воронеже?

— В семнадцатом.

— Месяц?

— Январь, генерал.

Чугреев, дергая руки по коленям, точно сметая пыль, хихикнул. Смешок у него неумелый, смешной, как будто разрывали бумагу.

— Вспомнил!.. Я...

Он, задевая рукой о парты, вытряс из какого-то мешка книгу, карандаши... Вырвал лист из входящего журнала. «Устав артиллерийской службы» запылен, засижен мухами. Сунул Фадейцеву устав.

— Переписывай! Быстро, ну.

Нарочито неумело, согнув палец и волоча за каждой буквой ладонь, Фадейцев начал писать. Буквы надобно выводить корявые, мужичьи, похожие на сучья. Буквы прыгали. Давило и прыгало сердце. Длинный человек через плечо заглядывал ему на бумагу. Сухо смеялся, словно вырывая лист. Стучал с силой рукояткой револьвера в стол, торопил. Карандаши крошились. Устав нескончаем. Фадейцев начал забывать, терять — какие нужно выводить буквы. Ему казалось, что та, которую он сейчас написал, прямее предыдущих, и он ломал их, нарочито округлял. Особенно плохо удавалось «о», то растянуто, как гримаса, то круглое, как кольцо, то согнуто — вытянуто, как стручок. Тоска!..

Неожиданно Чугреев откинул стул, топнул и закричал:

— Пиши фамилию! Свою!

И Фадейцев повел было «Фа...», но быстро перечеркнул и написал: «Алексей Бакушев».

Чугреев вырвал бумажку и разгладил.

— Превосходно. Фа... Фарисеев, например, или Фараончиков... Как?

— Напугался, ваше... с испугу... Не фартит мне...

— Знаем, голубчик, испуги ваши. Рассказывай о Воронеже. Гулял, пил в клубе...

Он беспокойно понесся по комнате.

— В клубе! В клубе!.. В январе в Воронеже, есть такое дело... вспомнил, черт подери. Как фамилия, Фа-а...

— Бакушев, ваше сиятельство.

— А? Подожди, не мешай... сейчас припомню. Ты меня узнаешь... В клубе, январь семнадцатого года и я — князь Чугреев, а?

Фадейцев размягчил щеки, выпрямил губы — улыбнулся.

— Шутить изволите...

Казначей принес самогон. Срывая ногу с ноги, разметывая пахнущие конями волосы, Чугреев говорил:

— Слушайте! Я знаю много хороших офицеров из прекраснейших семей, они служат у большевиков... Одни—мобилизованы, другие—по слабости воли... Наконец, чтобы достичь такой ненависти, какая у меня, надо четыре года травить, гонять, улюлюкать на перекрестках в глаза, в рот харкнуть! Во-о... я сейчас в окно смотрю, а думаю— возможно ведь: в город или в отряды, которые ловят сейчас меня, мужик или казак скачет... и предаст!.. За хорошее слово предаст! Вы ведь тоже по слабости характера — к ним, а? А?.. Я завтра утром всех крестьян перепорю, а об вас узнаю... впрочем, ерунда! Вы понимаете, конечно,— меньше всего я могу добиться у крестьян — они боятся меня, но верят в большевиков! Если б два года назад... Повторяю, вашей фамилии я не могу припомнить,— обстоятельства же нашей встречи мне ясны...

Он быстро порылся в карманах и растерянно скривил усы.

— У меня после одного случая в Чека подурнела память. Я полтора года ищу свою записную книжку... Итак! Десятого или девятого января семнадцатого года. Вы помните этот вечер?

— Ничего...

— Э, бросьте дурака ломать... в этот вечер я проиграл вам... я...

Он сжал пальцами веки и, склоняясь длинным костлявым лицом к щекам Фадейцева, придушенно спросил:

— Вы понимаете, понимаете... я... я... забыл, сколько вам проиграл. Сколько я проиграл?

Он свел руки.

— И ни одной собаки вокруг меня, которая бы вспомнила — или сказала о вас! Про вас... кто вы. Да. Девятого января в Воронежском офицерском собрании я на честное слово проиграл вам... на другой день я должен был достать деньги, их у меня не было. А на третий день вы исчезли... Так за всю мою жизнь я, князь Чугреев, однажды не заплатил карточного долга. Теперь счастливый случай свел нас.

Фадейцев посмотрел на его побледневший рот. В семнадцатом году в январе (он вспомнил с тоской— тогда он был влюблен) он рядовым действительно был на спектакле. Солдат пускали только на галерку— она же пошла с матерью в партер... Он со злобой глядел на разрисованные под малахит колонны; ему смутно

вспоминается длинная фигура в золоченом мундире... Злость еще хранилась с того времени! Но карты... он никогда не брал в руки карт.

Отодвинул стакан.

— Я не пью, ваше сиятельство, не пью и не курю.

Беспокойные искорки мелькнули в зрачках Чугреева. За стеной неустанно шипел ветер. Казначей, с необычайно черными, словно точеными из угля, усиками, заученным скучным движением раскрыл чемодан, доверху наполненный деньгами. Глядя на него, Фадейцев подумал: «Честность, едрена вошь. За должок сотни две людей отправил. Сволочи!» Он слегка успокоился и даже сделал вид, будто отпил из стакана.

Мотая усы над чашкой, Чугреев хрипло бунчал:

— Я же знаю, какого вы полка: шестого драгунского имени герцога... а теперь в путиловском! В нас много стыда... капитан... на столетия стыда хватит! Вы полагаете, я вас презираю,— бог дай совести — нет! Я однажды от большевиков скрывался, а помог мне скрыться знакомый мужик, славный будто мужик... Ко-онечно, он знал, что я князь, отец его крепостным в саду моего деда рассаду тыкал (дед, блаженной памяти, в куртинах салат любил выращивать)... и все-таки он... меня... из-под больной своей жены горшки заставил носить!.. Когда, позже, я приехал к нему с отрядом— посмотрел-посмотрел в его рожу и, не плюнув, простил... Надо понимать людей, капитан.

Чугреев откинулся на парту и полузакрыл глаза. Кожа под глазами дряблая, синевато-белая. Словно глаза сползают с лица...

Сырая знакомая муть из ног к сердцу Фадейцева. Такая, когда входили бандиты в сени.

— Пустите меня,— прошептал он.— Устал.

Чугреев сморщился.

— Вы нас порядком гнали, капитан, я три дня или больше не спал. Думал штаб ваш захватить, ударили. Они в другой половине села остановились. Какого-то комиссара нового за мной послали из губернии, мне не успели сообщить его фамилии... вы не слышали?..

— Красные сказывали — Щукин.

— Да, «товарищ» Щукин... но и он меня не поймает. Знаете, кто меня сграбастает?

Он мелко, как на сильный свет, подмигнул.

— Тот, у кого фамилия заключает четное число букв.

Фадейцев сосчитал у себя,— восемь.

— Бог даст, не изловят,— сказал он хрипло.

— Пошлют такого комиссара — четыре или восемь—амба!

— Амба? — переспросил, заглядывая ему в лицо Фадейцев. — Кого амба?..

Тот, широко открывая гнилой рот, захохотал.

— Без примет скучно верить, капитан! Примечайте, примечайте!.. Много замечательного стоит приметить на свете. Слушайте, дайте руку...

Чугреев встал и, со вздрагиваниями пожимая пальцы Фадейцева своей вязкой четырехугольной рукой, глухо заговорил:

— Капитан, честным словом князей Чугреевых клянусь вам — я выпущу невредимым за мои пикеты, отдам долг — вот сейчас, сейчас! Васька, открой чемоданы, вали деньги на стол... огурцы убери! И золото там, из мешка, золото принеси... Никому в жизни, никому, чтоб я — карточный долг!.. Капитан, ваша фамилия и сколько я должен?

Фадейцев посмотрел на толстые пачки кредиток, золотые монеты, кольца. Чугреев из замшевого мешочка высыпал в тарелку с огурцами блестящие камешки.

— Хватит? — спросил он хвастливо.

Фадейцев больно надавил локтем в стол.

«Сказать, наврать, все равно утром крестьяне узнают...» Вдруг он вспомнил об отряде: кабы узнать, куда скрылись, куда направляются. Что ему какой-то идиотский долг? И не один, наверное, так пойманный, погиб. «Во имя революционных мотивировок,— припомнил он адъютанта,— держись...»

Он намеренно глубоко вздохнул, отодвигаясь.

— Греха на душу... пусти, ваше благородье... ваше сиятельство... Бакушев я, хоть все село опроси.

— А, Бакушев? Сейчас узнаем. Направо кругом! Шагом-арш... Ась, два!.. Стой!..

Он взял его под руку и подвел к столу.

— Разве так солдаты ходят? Правую ногу этак только драгуны могли вскидывать. Садитесь. Курите? Пожалуйста... И руки не прячьте... Итак, Васька, самогону и огурец! Жаль — до встречи я всех коммунистов сгоряча

порубил, а то бы они про вас что-нибудь сообщили. Ну, скажите...

— Ваше сиятельство, ей-богу!..

Нога Чугреева тяжело упала на пол.

— Гадко, капитан. Я у виска с револьвером мог бы выпытать. Если вы забыли дворянскую честь, то имеете вы кусочек человеческой совести? Капитан!

В угнетении находишь какую-то радость повторять одни и те же слова. Тогда слово становится таким же мутным и стертым, как сердце.

Но Фадейцев молчал.

— Можете ли вы мне говорить прямо?

«Во имя революции — нет»,— так бы ответил Карнаухов, веселый и прямой адъютант.

Фадейцев же молчал.

Недоумевая, Чугреев отошел от стола.

— Напишите карандашом цифру и уйдите. Если вы — коммунист, так эти деньги народные, сударь, награбленные мной. Вы имеете право их взять, пожертвовать на детские дома или на дом отдыха для проституток, черт бы вас драл!

Лицо у него было жесткое и суровое.

«Что есть во мне драгоценного и что он хочет купить за эти деньги?» Тревога и гнев оседали в груди Фадейцева.

Из чашки пьет самогон князь Чугреев. Какое безумие! Князь говорит здраво и долго о восьми тысячах десятин имения в Симбирской губернии.

Петухи, хлопая крыльями и прочищая горло, роняют теплые перья. Опять одно радостное и горькое перо уронила земля— день... День прошел — полночь.

Князь опять упрекает:

— Вы не дадите уснуть пять ночей. Завидую вашему упорству. Дайте мне возможность уснуть.

Глаза у Фадейцева черные и пустые. Чугреев отворачивается.

А у князя, наверное, такое чувство, что ему никогда нельзя спать.

Усталый, но, на что-то надеясь, он говорит:

— Идите... Завтра я вспомню, сколько тысяч долгу...

Фадейцев поворачивается. Нет, в спину всегда стреляют. Так пусть лучше бьет в грудь. Он пятится к дверям.

На столе перед князем револьвер и деньги. Что он намеревается делать? Он лишь пьяно сплевывает.

Не пьяный ли плевок вся ночь? Уже полночь.

Широкие улицы вздыхают травой — она росиста и пахнет слегка спиртом. В село возвращается дозор. Радостно, тонко, с привизгами, по-бабьему мычит теленок.

Небо легкое и белое.

Земля легкая и розовая.

Старик Бакушев, придерживая тиковые штаны, отворяет ему ворота. Ласково треплет его по плечу (рука у него пахнет чистой пшеничной мукой).

— Молока не хошь? — спрашивает он тихо и ласково.— Я тут страдал...

Фадейцев, мутно ухмыляясь, лезет на полати, закрывает глаза. Он хочет понять, вспомнить. Подушка пахнет чьим-то крепким телом, губы медеют...

IV

Гики. Рассвет.

Пулемет. Солнце на пулемете.

Пустые улицы заполнились топотом.

Фадейцев спрыгнул с палатей.

— Наши!.. Ясно, что наши.

— Ну!..— протянул недоверчиво старик.— Чугрееву подмога.

А полчаса спустя красноармейцы качали на шинели Фадейцева, пели «Интернационал» и писали радостную резолюцию.

Адъютант Карнаухов стоял на крыльце, улыбаясь всем своим широким телом. Желтовато-оливковые галифе были в крови, а шея туго забинтована.

— Я думал, ты убит,— повторял ему Фадейцев.

— А я об тебе думаю: амба! Я, как выстрелили они, одурел — темень нашла, выскочил на двор, смотрю: твоей лошади нет,— ну, думаю, утек. С кем тут защищаться? Я и покатил на соединение... Там в обеих половинках говорят: не встречали, нету тебя... Ну, мы и поперли, думаем: хоть тело достать.

— А князь?

— Чухня-то эта? Удрал — деньги оставил, а казначея его Миронов прирубил. Они ведь всех наших раненых тово.

Он пошел в избу.

— Мы их, товарищ, достанем. Теперь достанем.

Фадейцев встретил старика в дверях с самоваром.

— Чай, батя?

— Чай, сынок.

— Можно... Чаю хорошо теперь.

Фадейцев, обходя стол (мешок у него лежал в переднем углу), взглянул в окно. Санитары несли раненого, мужик вывозил из деревни три лошадиные туши, а внизу под склоном холма виднелся нехитрый березовый лесок, овражек, крошечное озерко, где молодые гуси пытались лететь. Солнце было цвета медной яри, и гуси имели светло-кровяно-красные подкрылья...

...И тогда Фадейцев вспомнил...

Два года назад Фадейцев был помощником коменданта губернской ЧК. Ему было приказано сопровождать партию приговоренных к расстрелу белогвардейских офицеров. Было такое же, цвета медной яри, раннее утро, как сейчас. Приговоренные (их было пятеро), пока грузовик, круша звонкую пахучую грязь, вез их за город,— говорили об охоте. Один высокий, с жидкими пепельно-серыми усами, рассказывал любопытные истории о замечательной собаке своей Фингале. «Таких людей и убивать-то весело»,— сказал на ухо Фадейцеву один из агентов. А Фадейцев ехал на расстрел впервые, на душе было тягостно, хотя он убежденно веровал, что уничтожать их нужно. Остановились подле такого же озерка, что и сейчас. Гуси неумело, испуганно отлетели от машины. Приговоренных подвели к оврагу, и высокий перед смертью попросил у Фадейцева папироску. Тот растерялся и отказал. Высокий сдвинул угловатые брови и сказал сухо: «Последовательно». После выстрела Фадейцев должен был выслушать пульс и сердце (врача он почему-то постеснялся позвать), четверо были убиты наповал, а пятый — высокий, закусив губу, глядел на него мутноватыми, цвета мокрого песка зеницами. По инструкции, Фадейцев должен был его пристрелить. Солдаты уже сбрасывали в овражек трупы и слегка присыпали песком (так как все знали, что через три-четыре часа придут к овражку родные и унесут тела; сначала с этим боролись, а потом надоело). Высокому прострелили плечо.

Не опуская перед ним взора, Фадейцев вынул револьвер, приставил к груди и нажал собачку. Осечка,

Он посмотрел в барабан — там было пусто. Как всегда, он забыл зарядить револьвер. Теперь он попросил бы солдат пристрелить, а тогда ему было стыдно своей оплошности, и он сказал: «Умер... бросайте»...

Фадейцев пощупал револьвер и отошел от окна.

— Ду-урак... — придыхая, сказал он, — ду-урак... у-ух... какой дурак.

— Кто?

— Кто? Да разве я знаю?.. Я сосну лучше, товарищ Карнаухов!

И перед сном он еще раз проверил револьвер: тот был полон, как стручок в урожай зерном.

1923

ЛОЩИНА КАРА-СОР

I

Кони наши, неистово стряхивая пену с удил, вбежали на холм.

Холмы, чуть вырастая, подходили к самому озеру и обрывались небольшими, похожими на седла, утесами.

А дальше за утесами, влево, низкие и солончаковые берега. Направо, на самом высоком холме, несколько юрт. Издали еще можно было приметить табуны, тощие и костлявые, и бедные двери — есык из крепко плетенного камыша. У богатых есык кошемный и пестро расшит.

— Едут,—сказал Егорка.

Я посмотрел влево по солончакам.

Шелковая и узорчатая, словно арабское плетенье, вилась по горизонту пыль.

— Да,— ответил я,— едут.

Мы спешились и отправились к юртам выпить молока.

Теперь я скажу несколько слов о Егорке Хвоще и как я попал с ним в лощину Кара-Сор, в Голодную степь, на дорогу Кан-Джол, что значит Кровяная дорога.

Наш отряд стоял, охраняя подходы к Тюмени. Белочехи заняли Петропавловск, перерезали ревком, перестреляли Красную гвардию,— наш отряд поредел, устал, и мы ждали своего конца. Крестьяне косились на нас, часто у нас пропадали лошади, и покидали нас мобилизованные подводчики.

Комиссаром отряда был Гейдань, латыш. Он теперь на Украине. Это был огромный белесый человек с необыкновенно прозрачными глазами, до того, что часто казалось, не глаза у него, а слезы. Он был очень суров, постоянно держал за плечами в кожаной сумке деньги отряда и у костра читал Маркса, — я чаще всего видел

у него работу «Гражданская война во Франции». Марксистом он стал недавно, и доставалась ему эта наука с великим напряжением. Читая, он словно вырывал у себя жилы.

Дисциплиной мы хвастались.

Так вот, однажды, когда я сидел рядом с Гейданем и пытался расспросить его о травосеянии (я тогда интересовался, не помню почему, клеверной культурой в Сибири) и он отмалчивался о своей сельскохозяйственной работе: он был колонист, и у его отца было огромное хозяйство, разоренное же, к слову сказать, отрядом сына,— пришли сказать — какой-то очень толстый человек спрашивает товарища Гейданя. Мы имели тогда некоторые основания недолюбливать толстых людей (увы, теперь многие из нас растолстели), и Гейдань со всей своей белобрысой суровостью сказал:

— Веди его.

И вот мы увидали тело! О, это тело! Оно было стогоподобно, неимовернейше жирно и гладко. Руки его были ровные, розовые и настолько толсты, что совсем не хотелось смотреть на прочее. Всегда дрожащий рот— влажен, розов и пухл.

— Где тебя поймали? — спросил Гейдань.

Детина посмотрел на нас сверху вниз и — вдруг сел рядом с нами.

— Меня не ловили, я сам пришел,— ответил он своим прыгающим, словно студень, ртом. Голос его тоже был жирный и какой-то расползающийся.

Гейдань понял, по-видимому, что пришедший сел не из неуважения, а от неспособности держать на ногах свое неимоверное тело. Все-таки Гейдань проговорил на всякий случай:

— Поймали бы — расстреляли, и сам пришел — расстреляем.

Детина отнесся к такому делу спокойно, закурил трубку, огляделся и попросил посторонних отогнать. Гейдань оставил только меня.

— Секретарь,—представил он меня.

Детина пожал мне крепко руку и проговорил:

— Я из Тюмени пришел. Вам осведомители из тыла противника не требуются?

Гейдань молча покачал головой и вдруг ни с того ни с сего показал пришедшему кукиш. Здесь произошла странная история, которую, наверное, читать сейчас

Гейданю будет очень весело. Детина наклонился — и укусил его за кукиш.

Гейдань вскочил, прозрачнейшие его глазенки поплыли совсем куда-то прочь, он выхватил револьвер, но детина заорал так, что со всего лагеря прибежали на крик красногвардейцы.

— Не позволю смеяться над собой, тело можете оскорблять, а душу не смеете... Я сам на «Потемкине» был...

Револьвер в руке Гейданя дрожал, — и едва ли смог бы он застрелить или, вернее, попасть. Мне казалось, что он не столько разозлен, сколько напуган, на пальцы он смотрел, как будто их укусила бешеная собака.

Детина уже орал сбежавшимся, что он пришел честно работать с советской властью, а над ним пытки устраивают. Вдруг из толпы, где имелись тюменские красногвардейцы, раздался возглас:

— Братишки, да ведь это Егорка-мясник!

Здесь Гейдань плюнул на землю и сказал, почему-то очень презрительно:

— Иди к черту!

Егорка-мясник не замедлил уйти, а Гейдань достал Маркса.

Егорка Хвощ рассказывал, пространно ругая буржуазию, как он, приехав после восстания девятьсот пятого года в Тюмень, пошел в мясники, как ему повезло в этом деле. Сначала долго революционная совесть потемкинского матроса не позволяла ему торговать, но на пароходы пойти он мог из-за своей распустившейся толщины только коком, а он презирал речные пароходы и особенно коков на них. Обыкновенные трактирные поваришки, блинопеки! В меру помучившись, он открыл лавочку и начал торговать. Торговля пошла необыкновенно успешно, он завел домик, хозяйство, жену, от которой пошло тоже увеличение, но почему-то белобрысое и необыкновенно тощее. Дети!

Его выбрали даже однажды в гласные городской думы, но за неявки в продолжение года — исключили. Пришла февральская революция, он начал мучиться: его товарищи, наверное, в необыкновенных почестях в Петербурге, а он сидит в Тюмени. Он попробовал сходить в газету и рассказать свою историю, но ему никто не поверил и даже как-то очень сложно обидели.

Он попробовал к анархистам, но, хотя анархисты были очень тертый и веселый народ, взять они его отказались. Так толстяк бродил долго по деревянным тротуарикам городка. Наконец пришло наступление белочехов, и Хвощ понял, что за революцию надо биться.

Он бросил всю свою торговлю, детей, дом и помчался вслед нашим красногвардейским отрядам в степь.

— Одна надежда на вас, братишки,— заключил он с отчаянием.

Гейдань посмотрел на него и вдруг милостиво спросил:

— Ты какой табак-то куришь, дай затянуть.

Затянулся и сказал протяжно и как будто с ленцой:

— Не плохой табак, теперь такой табак реже встретишь, чем правдивую женщину.

Увы, Гейдань был в меру сентиментален (теперь он не тот). Егорка молча протянул ему кисет, похожий на чемодан, и было в нем не меньше трех фунтов табаку. Гейдань отсыпал себе в меру (табак был действительно недурен), сказав:

— Что же ты, братишка, думаешь нам принести?

— Принесу все сведения,— ответил Хвощ,— как у них там в Петропавловске, сколько войска и также настроения.

— Иди,—сказал Гейдань, покуривая и раскрывая Маркса.— Иди, и если через неделю не вернешься, буду считать предателем рабочего класса и дезертиром самым злостным. Расстреляю при случае.

Еще покурил.

— Денег не надо?

— Ничего мне не надо,— ответил Хвощ.

— Тогда иди, говорю окончательно.

Но Гейдань был верен себе, и недаром изучал он диалектику по Марксу: вслед за Хвощом он послал второго осведомителя — следить. Осведомитель был из робких и вернулся через три дня, одобряя Хвоща.

— Только одного не понимаю,— обмолвился он.

Но, чего он не понимает, мы от него так и не добились: он, по-видимому, боялся Хвоща.

Ровно через неделю Хвощ явился, принес действительно очень ценные сведения, которыми нам так и не суждено было воспользоваться, и еще — сорок тысяч керенками. Тогда это были огромные деньги, и Хвощ заявил довольно нагло, что половину он отдает рабоче-

крестьянскому правительству, а половину берет себе. На наши возмущенные возгласы он достал ассигновки от белочехов и атамановцев на его имя, в которых говорилось ясно, что деньги эти выданы Хвощу на поставку мяса для армий Учредительного собрания.

— Меня же теперь за жулика считать будут, по-вашему, ничего моя честь не стоит? — воскликнул он в возмущении.

Впрочем, матросская совесть опять вскорости, по-видимому, заговорила в нем, потому что он заявил — деньги эти он употребит на вербовку отряда имени Хвоща. Его стали упрекать, и скоро все сорок тысяч перескочевали в кожаный мешок Гейданя, рядом с тщательно сложенными отчетами, писанными моей рукой, и Марксом, завернутым в сахарную синюю бумагу. Атамановцы возобновили наступление, мы стали заметно убывать, и однажды Хвощ исчез.

Нам некогда было думать о нем, вспомнили как-то за обедом, что хорошо умел готовить щи,— и забыли. Затем наступила памятная битва наша с казаками у речушки Ишим, подле переправы, где много легло смешных и хороших людей, которым совсем не следовало бы умирать подле нелепых тополей и мельницы с шестью крыльями. Мы отступили и оставили противнику обозы. Нас уцелело всего три десятка, и мы не имели никаких сведений о Тюмени. Мы сидели —усталые беглецы—среди стогов в лугах, называемых почему-то Помойными,—когда заметили несколько подвод, мчащихся на нас. Гейдань крикнул окопаться, но через весь луг раздался вдруг голос Хвоща:

— Пополнения не надо?

Это Хвощ явился с двумя десятками людей и под странным желтым знаменем, которое он немедленно же и порвал.

— Другого нигде не мог достать, вся красная материя в уезде израсходована.

Казаки между тем продолжали продвигаться, и вскоре мы были вынуждены пожать друг другу руки и разойтись, кто куда знает, в одиночку или, на худой конец, по двое. Я полагал, что Тюмень уже взята и решил идти на казачьи поселки, ближе к родным могилам.

Хвощу, конечно же, надо было возвращаться на Тюмень, но он, помнится мне, икнул и хмуро сказал:

— Я с тобой.

И вот мы проделали большой и невеселый путь до казачьих поселков. В Павлодаре Егорка остался и уехал, чтобы его не арестовали, ловить стерлядей на Три острова. Историю моего бегства из родной станицы я уже описывал. Вернувшись, я заехал на Три острова за Хвощом, и вот мы двое решили промчаться через Голодную степь на Сергиополь, оттуда — в Россию. Тяжелей всего жалеть себя, и на лошади человек делается в пять раз храбрее. Мы и поехали, а лошадей мы добыли отличнейших. Мы были переодеты киргизами, в поясе у меня зашиты удостоверения от Омского отряда Красной гвардии, организованной профсоюзами, написанные как-то очень сложно, не помню.

На Хвоще была зеленая чалма, и он выдавал себя киргизам за арабского ученого.

Наивная кошемная страна; библейские седобородые старцы, поившие нас кобыльим молоком; курганы в степи и странные намогильные памятники каракалпаков.

Тогда (с такой огромной, как эта белая ночь, радостью) услыхали мы, что степью идут тоже на Сергиополь разбитые под Красноярском отряды мадьяр (одни из первых вступивших в Сибири в Красную Армию). Мы свернули и помчались к ним навстречу.

И вот холм над лощиной Кара-Сор, вдали пыль, и, пыхтя, говорит Хвощ:

— Едут!.. Они!

II

— Да,—отвечаю я.— Едут. Они.

Мы смотрим вниз, в лощину.

Всадники приближаются, спешиваются и дают коням отстояться; они не смотрят вверх, они привыкли к киргизам.

Тогда мы спускаемся, и они очень удивлены русской речью. Больше всего их поражает огромная туша Егорки Хвоща; они переглядываются и, кажется, принимают нас за шпионов. Хвощ шепчет мне тревожно:

— Доставай документы, тут их за кукиш не укусишь. Они дяди серьезные.

Мадьяры загорели, все они в красных штанах, выцветших от солнца и приобретших цвет хаки. Они рваны, но все до одного тщательно бриты. Не показывая нам недоверия, они толпой стоят вокруг меня, распа-

рывающего пояс. От них пахнет приятным запахом солдатского хлеба, их двухсотчеловечье дыхание стройно и сильно.

Я распорол пояс, достал бумажки, развернул — и подавать их комиссару отряда было незачем. От продолжительной скачки, когда мы в жару и духоту мчались по барханам и саксаулам, стараясь пересечь мадьярам путь,— документы пропотели, чернила и печать расползлись, и ничего нельзя было прочесть.

Комиссар еще раз посмотрел на Хвоща и сказал:

— Нам некогда говорить и допрашивать вас, за нами гонятся неделю... мы не будем думать, кто вы такие... идите вы своей дорогой, мы своей, и не будем мешать друг другу.

Я попробовал было говорить об общих знакомых, но комиссар перебил меня:

— Не задерживайте отряд. Мы подозрительны.

Мы с Хвощом вернулись на холм.

— Разве про Гейданя им сказать,— проговорил он задумчиво,— тоже был иностранец, а мог людям доверять.

Я обернулся, чтобы посмотреть на всадников.

— Хвощ, видно, не зря испортились наши бумажки.

Хвощ тяжело, точно ветряная мельница, повернулся.

— У тебя все не зря. Нельзя же всю человеческую жизнь...

Он не додумал своей мысли, они у него ползли, точно сало по стеклу. Он хлопнул вдруг меня ручищей.

— Там, что ли? Это ты про пыль? Там?

— Там,— ответил я.— Пыль.

— А ведь едут, парень, братишка... За ними...

— Едут. Погоня за мадьярами.

И он закричал на всю лощину:

— Едут, братишка... едут!.. Гонятся!

Он помчался вниз, но какой-то необыкновенно усатый мадьяр поднял на него карабин. Все обернулись, и Хвощ опять зашагал ко мне.

— Братишка,— сказал он мне тревожно,—ведь и помереть с собой не допускают. Как же так?..

Всадники, догоняющие мадьяр, приближались. Они сидели строго и прямо на конях и словно не знали монгольской посадки.

— Чехи,—сказал Хвощ,— ложись на землю. Пойти

принести разве наши дробовички? Постреляем, братишка, хоть из дробовичков.

— Не успеешь дойти. Лежи.

Хвощ тяжело ухнул на землю.

— Пожалуй, и впрямь вернее будет полежать.

Приближающиеся всадники спешились, дали несколько выстрелов, мадьяры ответили им очень нестройно. Белочехи вновь вспрыгнули на коней и вновь вперед, по лощине.

— Ни лешего не понимаю,—сказал Егорка,— на явну смерть бегут... они же их из пулемета... встретят, мадьяры...

Но странно, пулемет мадьяр молчал. Они дали еще один нестройный залп.

— Я-то их считал за вояк... разве так воюют?.. Куропаткин так воевал, сукин кот...

Оба отряда опять вспрыгнули на коней. Пыль на минуту заслонила их столкновение. Затем мы увидали обычную кавалерийскую отскочку, несколько разрубленных трупов; хрипящих и нелепо скачущих лошадей; на песке кровь от рубленых ран.

Хвощ начал кое-что понимать.

— Не терпится. Ага? Ждать не могут, своей рукой, а?

Он привстал на колени, раскрыл свой влажный и пухлый рот.

— Не кричи,— сказал я ему.

— Да не буду. Ведь это что же такое, а?

Всадники продолжали пятиться и что-то кричать друг другу. Наконец один всадник из отряда мадьяр, помню, очень высокий и, как мне показалось, с очень длинной головой, соскочил с коня, выхватил из-за пояса германский штык, который мы в Сибири носили вместо кинжала, и, припадая на одну ногу, побежал навстречу белочехам. Тотчас же вслед за ним спешились остальные мадьяры. Лошади их сбились в кучу.

Белочехи тоже кинули коней, — и вот, вооруженные одними ножами, два отряда кинулись друг на друга.

Пыль Голодной степи густа, как войлок! Но почему же ясно я помню этот огромный клубок человеческих тел, ерзающих, давящих друг друга, хрипящих и зубами — прямо зубами — грызущих друг другу горло. Я видал разрезанные лица. Странную бледность рук, отпускающих нож.

Клубок иногда разрывался. Отскакивал человек. Отбегал три-четыре шага в сторону — и валился со смертным хрипом!

Иногда клубок ширился. Казалось, люди вскакивали на ноги, бежали к ружьям. Нет, это ширились пыль и песок.

Хвощ стоял на ногах, трясся всем своим невероятным телом и кричал мне:

— Разними их... разними, парень... невозможно...

Наконец пыль улеглась, поднялось несколько десятков уцелевших чехов, и медленно, задыхаясь и устало поднимая руки, они начали добивать пленных.

Хвощ рухнул подле меня и, кладя на мое плечо руку, сказал:

— Те-то... Те-то за нас резались как... Мадьяры-то?

Оставшийся десяток белочехов, устало замогилив своих соотрядников, не посмотрев на нас и не поднявшись даже на холм, умчался обратно.

Мы поймали в степи несколько оставшихся мадьярских лошадей. Киргизы вылезли из юрт.

— Надо бы хоть начальника-то нам похоронить,— сказал Хвощ,— комиссара, который...

Но мы не могли узнать среди трупов начальника.

Мы оседлали коней и пустились в иную сторону, влево от озера Кара-Сор, по прежнему нашему пути, дорогой Кан-Джол, мимо озера Тогой, Чун-Куля, чтоб через горы Ченгис-Тау спуститься на Сергиополь. В степи было прохладно, поднималась луна.

III

Возможно, я никогда бы не написал этого. Мне все труднее и труднее писать о себе.

Но вот теперь весна двадцать четвертого года. Я получил письмо из Тюмени, от Хвоща, он зовет меня летом в гости.

Я прочел и подумал: «Не торгует ли он опять мясом?» — и решил написать рассказ.

Пускай в своем домишке за самоваром прочтет Хвощ рассказ, плюнет на все, может быть, поедет... Помчится разыскивать свою молодость...

1924

КРЕПКИЕ ПЕЧАТИ

I

Места наши — земли на душу не больше шагу. А от такой жизни шаг у наших меньше ребячьего.

И вот про землю. Как же — царя свергли, а говорили — как уйдет царь, так и дадут землю.

Спросили Земельный комитет. А тот — с печатями бумагу, что жди, мол, Учредительное собрание, и тогда тебе земля.

Печати крепкие, бумага твердая, не скоро износится.

Видно по всему, долго ждать придется.

Опустили бороды мужики.

— Значит, ждать...

А ждать ты, парень, привык. Вот и жди...

Одного добился Митрий от крестьян — пойти рано утром до первого ближайшего помещика Духанова и «прикинуть на глаз, как там у него и что».

Вышли из деревни, было еще темненько: коленкор серенький, реденький в глазах. Дорога сухая, бесснежная, стылая. Ухабы что шпалы. Ноги в сапогах о них отбили.

Вот оно, имение, очень даже просто взять его. Белая березовая рощица перед ним — не защита. Вырубить — так с одного взмаху хорошим топором. Тюк-тюк, и готово — работы на десять мужиков, а их пришла сотня. Березки, правда, прямые, станом гордые, белотелые, не чета корявым пестреньким деревенским березкам. Иная порода, как человек на другом корму и в холе. Но о чем тут говорить, не в этом дело.

За рощицей звери желтые видны, большеголовые, сердитые, тулово поджарое, как у худой собаки, а головы в лохмах. А пасть ощерена, одна лапа на шаре...

Барская выдумка — мертвыми зверями охранять дом.

Как домина, что твой дворец, — у входа мертвое зверье беспременно.

Кто его боится?

За дурачков считают мужиков господа. Ребят малых такими пугают. Очень просто, взять с места и свернуть эти чучела, чтоб глаза попусту не мозолили.

Мужики, сами большеголовые, в больших шапках бараньих, больших воротниках, туго перетянутые опоясками, пригибались, заглядывая между деревьями в помещичью усадьбу.

Дом двухэтажный, белый, крыша легкая, веселая, зеленая.

Опять прикидывает в уме Митрий: «Сорвать такую крышу пара пустяков. Игрушка для мужика. У жука крепче крылья прилажены. Трубы с резьбой — пустая фантазия. Свистнуть только в такую трубу. Вот что хорошо, солидно, крепко — ступени от зверей в дом: широкие, высокие, из мрамора». Хорошо знают крестьяне, какие это ступени: ногу заносишь и чувствуешь — высота и камень дельно, основательно положен. Уважать начинаешь хозяина, когда поднимаешься. Столбы перед окнами из такого же камня, шесть в ряд, тоже, дело видимое, не шутка. Возьмись за один в два обхвата и не свернешь с места. Надсадишься, а он будет стоять все так же выше и сильнее тебя. Тут ни топором, ни грудью не возьмешь, а в такую пору грудь застудишь сгоряча, коли будешь его лапать.

Отольют же свечу господа, никуда ее не повернешь. А на вид, что из воску.

Долго Митрий примерялся к колоннам, нельзя ли их как сокрушить. А без сокрушения ему никак не представлялось возможным захватить помещичий дом.

— Да, тут поработать да поработать надо,— говорили собравшиеся крестьяне, не переступая дальше белой распахнутой ограды в имение.

— Вот кабы они сами, помещики, уразумели, что прошла их пора, надо и честь знать...

Не сообщая своих соображений, Митрий все же подталкивал мужиков:

— Ну что же, ребятушки, надо брать.

— Земля... земля... а тут дом, видишь.

Из толпы выступил старик. Белая борода желтым, загнутым вверх языком лизала его грудь.

— Я вот что, ребятушки, скажу, тут надо наверняка, Митрий Спиридоныч. Вот ежели бы ты, как самый толковый, съездил в Питер,— мы и своих коней тебе до станции не пожалели бы, и на билет обчеством собрали бы. Поезжай в Питер устраивать.

Говоря так, старик отводил Митрия от усадьбы, и, слушая его, отходили от усадьбы и мужики.

Когда Митрий это заметил, возвращаться к усадьбе уже никто не захотел.

II

Места в вагоне Митрию, конечно, не нашлось. Меньше его раздумывали люди, и увесистый багаж и мешки в объем человека оказывались подвижнее и проворнее, чем его тощее, ничем не обремененное тело. Пока он раздумывал, глядя на вагоны, совсем лишенные стекол, мешочники уже совали туда тяжелые мешки и сами лезли вслед за ними, несмотря на ругань и сопротивление помещавшихся в вагоне грудь с грудью.

Пока разглядывал, которая площадка посвободней, все были залеплены до последней ступеньки, и кондуктор, как нищий, упрашивал пропустить его в вагон.

Митрий растерянно хватался за последних бегущих к вагонам пассажиров.

— Куда же, куда же, ребятушки, сесть-то?

Запоздавший солдат отцепил его от своего рукава.

— Какой еще барин — «сесть». А ты не видишь, люди меж вагонами на буферах стоят. «Сесть... сесть».

Это слово злило солдата необычайно. Наконец он разрядился:

— Черт лохматый, полезай на крышу, коли такой седок.— С хохотом махнул рукой на крыши вагонов.

Но крыш вагонов и не было видно: телами человеческими они были крыты. За трубы вентиляторов борьба — наибольшее скопление тел, рук, голов.

В сомнении, где поместиться, шел мимо переполненных вагонов Митрий.

Второй звонок, где тут!

— Полезай, братишка!..— раздалось с первого у паровоза вагона.

За дымом, завороченным хвостом из трубы паровоза прямо на спину живого вагона, не сразу различил Мит-

рий кричавшего. Целые уголья летели на припавших к крыше пассажиров. На ком-то затлелась одежда, пахло горькой овчиной.

— Горите, братцы! — закричал Митрий.

— Лезь, чертов сын! — свирепо закричал ему парень с вагона, грохоча по кромке кулаком.— Теплей будет у паровоза, руки не смерзнут держаться под дымом.

Совсем растерявшийся Митрий смотрел, как можно взобраться на вагон. Откинули прикрепленную к вагону железную лестницу. Еще не занес он на крышу ногу, как парень, схватив его за шиворот, повалил на чьи-то длинные тощие ноги, вытянутые поперек вагона. Поезд уже тронулся.

— Гни голову! — орал парень, колотя его по затылку.

Митрий даже обиделся и попробовал сопротивляться нахальному парню.

— Вот я тебе дамся, — угрожал он, пытаясь сбросить со спины его руку.

Парень сам лежал, пригнув голову.

— Дашься, как голова отлетит,— прошипел ему парень в самое ухо.

Тут над головой Митрия свистнуло ветром и потемнело. Он понял, что парень не озорник, а благодетель.

Так, не смея приподнять голову, несся он под свистом ветра и дымом паровоза. Когда другие приподнимались, давая отдохнуть спине и поплотнее запахивая живот, промерзавший от железной обивки вагона, Митрий оставался распластанным.

Шуба его во многих местах прогорела, и соседи охотно хлопали его по спине, пожалуй, иной раз и без надобности, а так, поразмять захолодевшие руки.

К ночи он уже сам поддерживал и будил засыпавших, ехавших так уже не первую ночь.

В Питере Митрий не бывал раньше. Хватаясь по временам среди толпы за парня, втащившего его на крышу вагона, он вышел на площадь перед вокзалом. Торопиться ему не хотелось. А тут сразу всадник.

— Вот добрый коняга-ломовик, — указал он на памятник Александру III. — Да и мужик дородный. Ха-ха...

— Царизм это,— не глядя, ответил парень.

Он озабоченно прислушивался к стрельбе, доносившейся из города.

— Берут опять чегой-то,— ни к кому не обращаясь, пробормотал он, вытирая обветренные губы.— Верно, слух был: не все взяли — добирают.

Утвердив покрепче увесистый мешок на спине, он пошел к Невскому. Веревочку от тянувшегося по земле красного сундучка он передал Митрию.

— Бери,— все равно порожняком идешь.

Митрий охотно поволок деревянный крашеный сундучок.

— Крупа у меня там, на соль выменял,— пояснил парень.

Около больших зеркальных стекол Митрию хотелось постоять, почитать над ними вывески. Сулилось так много, а в окнах ничего. Двери на замках — замки с давней, не тревоженной, скопленной пылью.

Он был так занят этим, что не выделял из общего уличного шума и грохота раздававшуюся по городу канонаду.

Дальше пошли очередь за очередью. Длинные, устойчивые хвосты. Иногда пробегали по улице автомобили с вооруженными людьми на открылках.

— Тоже места не хватает? — спросил Митрий, видавший раньше автомобили.

— Ишь понравилось,— неопределенно буркнул в ответ парень, ускоряя шаги.— Тут надо дотемна домой снести...

Он опять перекинул, плотнее прилаживая к спине, тяжелый, гнувший его мешок.

Прошли четырех коней, уже не так понравившихся Митрию. Дородством не сравнить с первым, что у вокзала. Еще мостик миновали. Пальба слышнее, люди торопливее, суеты больше. Закрытые со всех сторон серые автомобили с пронзительными гудками беспрерывно неслись мимо них.

Митрий отстал от парня, красный ящик еле-еле ползет.

Парень сердито вырвал у него из рук веревочку, и в каких воротах скрылся парень, Митрий не заметил. Он прошел дальше, погнался за кем-то похожим, завернул опять в несколько улиц. Бормотал:

— Кто же обмозгует?.. Кто ответ даст?..

Из переулка — опять площадь. Толпа. Выстрелы.

Крики. Красные, блещущие выстрелами приземистые здания... Крики пронзительные, ярче выстрелов, дружнее пулеметов:

— На приступ! На приступ!

Подхваченный этим криком, Митрий едва сам не кинулся в гущу толпы.

— Вот оно дело-то какое,— захлебываясь словами, глотнул он воздух.

Красный домина почище помещичьего, а схож. Такое же мертвое зверье, наверно. На крыше люди, — хозяева, решает Митрий. Плохие хозяева — они не шелохнутся, невозмутимо взирают на всю эту стремящуюся к дверям толпу. И не больше внимания уделяет им толпа. Напрасно увлеченный Митрий кричит:

— Бейте их, бейте, на крыше!..

Рядом с Митрием — рабочий, штык у него отстегнулся, и, прилаживая его, он взглянул на крышу.

— Что мертвых бить-то!

И Митрий догадался, что фигуры на крыше — это такие же мертвые чучела, как мертвые звери помещика, и бить их незачем. Двери — вот устремление толпы. Вот куда нужно направить удар.

— Чей это дом, братишки? — спросил он у рабочего.— Земли за ним много?

— Дом?! Зимний дворец это, царский дворец, понимаешь?

Из дворца все реже доносились выстрелы. Двери не выдержали, и, напирая на них, ринулась внутрь голова толпы.

Снега пали широкие и твердые. К урожаю. Глубоко увязая в таких снегах, вернулся Митрий в деревню. Молча оглядел обступивших его крестьян, раздвинул руками толпу, словно для того, чтоб больше места занимало его слово, и, прерывая чей-то вопрос «как?»,—ответил:

— Устроилось.

1924

ЗАПОВЕДНИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дом на Опоясанной скале. Появление Пётры и царского оленя

Иногда бывало: море придет с утра не свое — зеленовато-пепельно-серое, с пылкими запахами анатолийских берегов. Перекосив волны, выкатывает оно на тускло-чалый берег острова диковинные гостинцы. Тут есть перетлевшие, непонятных покроев тряпки, травяно-зеленые раковины, похожие на рыб, — и откуда-то из затерянных бесцветных вод выплывают к острову дельфины.

Легче на них смотреть, когда думаешь,— похожи они на жирные тугие бревна. Такие бревна на родине старшего надсмотрщика Максима Черкасова рубили высоко в горах — по осыпи, перескакивая, грохоча, сплескивались они в реку. Крючьями ловили их у яров и на глухих мокро-мшистых полянах ставили на века черные избы.

И всегда дочь (не помнившую родины) спрашивал презрительно:

— Хворает эта птица дельфин?

А птиц он презирал. Здесь соком своим притягивает солнце виноград; ходит солнце над морем хмельное и веселое. Птицы где-то там, в суглинистых аржаных полях, под слякотью и дождливыми камышами. Или со стыда их бранил — самому на родину возвращаться не хотелось. Пусть себе птицы возвращаются.

Дочь, лениво и разморенно, словно дельфин, выставляла на ветер тугие свои бока. От слов ее утешения мало было.

— Они, наверно, больше человека болеют — иначе почему их мало. И сильные и не ворчат. Мало их, жалко...

— Кого жалко?

— Дельфинов. Птиц. Мало.

Голос у ней приторный.

— Мало? Это здесь мало, а где-нибудь много. Веселые плодятся быстро.

— Выходит, на мне не скоро женятся?

Она мясисто хохочет.

— Ты веселись, Анна. Ты ребрами дрыгаешь. Ты сердцем шевелись.

— Для кого мне — сердцем?

Шорохи водяные под скалой. Думается — жара плавит, соскребает блеско-белые стены дома. От такой жары и шорохов нежностью наполняются руки; лениво плещется кровь.

В полнолунье чаще море выносит к скалам мертвых дельфинов (говорят, погибли от любви, но бывает больше от пули). Тогда Анна топором в воде рубит широкий хвостовой плавник. Она прибивает их гвоздями к соснам, и можно думать, что какая-то жар-птица оставила на сосне свой хвост.

Так и сегодня у телесного красного камня в море мелькнула мокрая спина и розоватое брюхо. Анна бежала вниз по тропе, а Максим Егорыч смотрел с обрыва. Вечером он будет перетапливать жир, и после ужина гости и он намажут себе густо сапоги. «Пятнадцать или двадцать фунтов,— гадает он,— в птице».

У береговой пены дельфин ныряет. Затем встает на четыре лапы, ползет по галешнику. Он даже пытается подняться на две, падает, мотает круглой головой. Круглой?..

Приплыл человек.

Надсмотрщик Черкасов опасливо ступает на тропку.

— Занесло гуся... лодка разбилась, что ль... Если от татар?

Он оглядывается в тусклую голубую муть. Впервые он не видит гор. Вспомнив, что камни закрывают от него хребты, что он на тропе под скалой,— он крестится. Кричит дочери:

— Обожди, махало поднять или как?

Махало — выцветший, некогда трехцветный флаг. В четырех сторонах острова на скалах — четыре мачты и четыре белых домика. Когда к заповеднику приближались контрабандисты или браконьеры,— сторожа друг другу давали знать: днем — флагами, ночью — зелеными фонарями.

Прихлестнутый волной человек одинок, без ружья, штаны его обернуты вкруг плеч — оттого-то, выныривая,

он походил на черного дельфина. Его тошнит, но он натягивает штаны, качается.

Хотя сейчас война, но в полдень сторожа заповедника обедают.

— Издохнет, все равно остудится, на таком ветре лихоманку схватить все равно, что родиться. Легко.

Камень, к которому прислонился человек, словно плыл под руками. На лице сохранился мертвый голубоватый цвет моря; быстро опуская четырехугольные, словно скамьи, плечи, отплевывал воду. Временами она была с кровью, и тогда лицо его землело.

Откинув топор, Анна протяжно спросила:

— По спине разве стукнуть, батя?

— Отойдет и так. Ты от него, Анна, подале — облюет,— и зараза.

С час, словно выхаркивая все море, бился плечами человек о камень. Выбирая крупные камни, словно не веря еще земле, медленно пошел он вверх. У него плотная спина, жилы будто вдолблены, и плечи дрожат — он несет еще волны. На себе.

— Ты куда, прохожий? — громко спросил Максим.

Человек, не оборачиваясь, словно камням, грубо ответил:

— К тебе.

— То исть как так, к тебе? Ты, между прочим, знаешь, кто я?

— Ну?

— Тут, подкумок мой, заповедник Биюк-Давлы его императорского величества, и посторонним вход...

— Пошел к черту!

Приплывший, будто подломив что голосом, грузно говорит:

— Там режут.

— Где?

— В городе наших режут...

— Дождутся они с этой резней холеры, от трупа всегда... Кого опять, господи?

— Большевиков.

— Да-а... ну, и пущай режут, бог с ними!

Человека будто притягивало море. Оглядываясь, он тяжело, как гальку, харкнул на скалу. Ящерица, меньше харчка, аспидно сверкнула. Такой же аспидно-быстрый смешок у Анны.

— С ночи, подданный, плыву... думал, сдохну.

— Я тебе раз навсегда скажу: я человек больной, у меня здешний ветер все легкие повыдул. Мы царское имущество стережем, нам с посторонними прохожими...

Человек вытянул ладонь и, будто меряя скалу, ухнул:

— Вы-высока, подданный, ех высока, а я бы еще подстроил, больно тут хорошо! У тебя полопать есть? А с имуществом после разберемся... Мы здесь основательно красное знамя водрузим.

Он хмыкнул и вдруг, словно прыгая, взмахнул руками и заорал на сторожа:

— Не узнае-ешь, что ли, кряжина чертова!..

И человек, подняв плечи, ринулся дальше. Морщинки на круглом почти безволосом лице Максима мешковато затряслись, в больших выпуклых глазах его мелькал залепленный морскими водорослями человек. Анна обогнала его, у ней словно подмененное тело. Максим разозлился и вспомнил:

— Пётра, провалиться мне на этом месте, сдохнуть, Пётра!

— Давай молись богу от радости, а ты мне, молодуха, жрать дай. Больше всего брюхо устало.

Пётра лег головой на ступеньку крыльца.

— Здесь даже пыли, говорят, не бывает. Правда? Тепло живете! Подобные элементы всегда в белых домишках живут, вон возьми Украину... я плыву и думаю: застану Максима или нет? Мужик ты организованный, должно быть... И что ты думаешь, я в спокойное время на остров не собрался, а сейчас мне непременно буржуев надо крыть.

— Кто, Пётра, в городе-то?

— Режут, сказал. Белогвардейское восстание.

Он с силой повел на Анну свой широкий, веселый и выдающийся бровный свод. И у той дрогнули полуоткрытого рта слабокрашенные губы.

— Он тебе, молодуха, не говорил разве про меня? Скрытный старюга. Я Максиму раньше, года четыре назад, устроил побег, а не то по сию минуту сидел бы... в контрабанду влип. Сидит, а сам поет — у меня, говорит, все градусы чахотки... А сам, смотри, какую подливочку сцапал!

— Да дочь это. Анной зовут.

— Подтверждаю — хорошая дочь, кормит хорошо. Вы тут всех зверей, говорят, слопали?

Сторож начал жаловаться на болезни. Пётра жестко расхохотался. Крошки хлеба сыпались из его большого рта.

— Тебе бы в наших побывать, видал, как плаваем, за двадцать верст уплыл, а ваше офицерье все больше ко дну идет, — подтрунивая, сказал он.

Под серо-зеленой пихтой лежала Анна. Ветви подталкивали ее сладострастно. Ветер сушил его одежду.

Пётра попросил хлеба и задремал.

— Скоро, думаю,— вдруг взвизгнул сторож,— генералы с царем скоро охотиться приедут сюда?

Пётра устало ловил ветер лицом.

— Кокнули твоего царя, Максим; будешь такие разговоры вести — и тебя кокнут.

— За какие мои позиции?

— За недоброжелательство твое к нам. Вас, сторожей, сколько на острове осталось?

— Пятеро.

— Покатитесь. Будет одна девка лен сеять... Я пока на травку лягу, сосну. Ты на меня не сердись, я веселый.

Небрежно позевывая, вошла Анна в дом. Максим хотел было заглянуть в ее желтые зрачки, но крутилась перед глазами трава лужайки. Желтее ее зениц. И не трава даже, а храпело, словно последний раз, четырехугольное большое тело и волосы Пётры, слипшиеся, пойманные морем в один комок. Уже сентябрь, и у оленей начинается течка. Волос Пётры желтее...

Пётра, проснувшись, бежал купаться.

Было безветрие. Заносчиво в камни лился прибой. Полукруглая Опоясанная скала, кровавая до полоумия от солнца, полоскалась над ним. Бакланы молчаливо трепали воду.

— И-иэй!..— закричал Пётра.

Расталкивая мраморную пену, поплыл искать крабов.

— Максим, дробовик есть?

Сторож обругал эти края: дробовик есть, но дичи тут не водится, есть один перепел, а на него надо собаку.

— У меня ноздря шире собачьей, видишь!

Он далеко всунул палец в нос.

— Тащи дробовик.

Смешным он казался Анне.

Пётра долго стоял на скале, глядя вниз на долину. Красная, теплая, словно расплеснутая кровь, луна над

скалами, потоками, дубами. Сдавленным голосом позвал он Анну показать ему заповедник. Приторно цедя слова, будто обцеловывая их, Анна согласилась.

Много ручьев в скалах растерялось, пересохло. Тропы заросли травой и сочным валежником.

Они шли к потоку Сюткен-Су.

— Туда олени на вечер пить ходят.

Пётра поравнялся и толкнул ее в бок.

— А есть, девка? Врешь, наверное, всех перебили,— стережете пустыню для жалованья или чучелов понаставили!

— Есть,— ответила она строго,— олени царские, их никто не трогает. В сосняке рядом пасется один, Мишкой зовут, здоровей быка, с плешиной белой на лбу,— может, увидишь. Его царь пять раз мимо стрелял — не мог, а к простым людям рядом подходит. А ты говоришь, царя не надо, нету, говоришь?

— Царя-то давно нет, девочка.

— Есть царь, это браконьеры нас обманывают, которые сторожа поверили и ушли, а пять сторожей остались. Их царь наградит.

Он выдернул пыж из патрона: там внизу дробь. Надо бы пулю забить — сердце у него охотничье.

— А коли телушку маленькую, милушка моя? Кто про телушку узнает?

— Дури больше. На всех книга есть. Как царь убьет — так и вычеркивают. Кабаны есть еще, ты слушай-ка! Все записано.

Выпукло цокал и чавкал воздух. Камешки осыпались. Спаленным чем-то пахнул сорванный Пётрой дубовый лист.

— Желудь едят.

— Я пристрелю, раз самого царя пристрелили! Кабана-то я пристрелю.

Анна вдруг пошла обратно. Пётра догнал ее: озлобленные веки в фиолетовых кругах странно оттеняли бледность ее лица.

— Я шучу, Нюрочка, я только по белякам стрелять умею, в зверя мне попасть трудно... пойдем еще, посмотрим.

Он взял ее за руку. Анна ущипнула его. Он ссохшимися пальцами сдавил удушливую выпуклость ее тела. Она приподнялась, упруго ускользнула.

— Пусти, большеротый!

Плохо? Это тебе не олень.

Скажешь, хорошо?.. Туда же лапать! Бери ружье, пойдем. Раз офицеры английские со своим королем у нас были.

— Давно?

— А с месяц, с броненосцев.

— С королем? Наврали тебе!

— Пущай, им веселее, а то иначе тятя им охотиться не дал бы. Один ко мне, белый такой, кудрявый, полез, вот как ты... я ему в брюхо так пхнула, у него со страху все пуговки на штанах лопнули. А у тебя и рубахи нет... туда же, беспуговишный.

— Хлопот меньше.

— Стреляй птицу иди, кра-аса!.. Лезешь.

Шипя ветвями, вышли к потоку олени. Статные мордочки цветисто вздохнули. Хрустально булькая, звенела у них в глотках вода. Храпы их — словно в поток падали чеканные теплые чаши.

Просторная усталость вдруг охватила Пётру.

В прибой, когда скалы, окружавшие остров, мешали подойти судам, сторожа сбирались к Максиму. Они надевали небесно-голубые форменные тужурки, пуговицы хитро блестели орлами, они разливали в стаканы вино и любезно вели беседу.

— Старики все,— устало сказала Анна, входя в дом.

Э, они большие знатоки тонких вин и деликатных блюд, какие привозил на остров царь. Они вспоминают, как один из сторожей хранил царские бутылки, и среди них у одной было стекло толще плахи, даже топором трудно разрубить. В какой из стран находится царь — не мешало бы достать верную газету!

— Такой теперь нет,— ленивым голоском говорит самый толстый из них.— А вчера,— он заметил,— незастреленный царем олень Мишка притащил в долину, к ручью, на рогах большущую выкорчеванную им коряжину.

Все удивляются, какой прекрасный олень, от него славный получится приплод, он редко яруется. У всех плотный уверенный вид, толстые, густые, словно кипарисовая хвоя, усы, они аккуратно переглядываются и аккуратно выговаривают нужные слова. Э, их трубки

могут долго ждать. И попыхивают они одновременно, так же, как фонари их мчат в тревогу.

И, довольные компанией, сторожа спрашивают Пётру:

— Много настрелял птицы?

Максиму не нужен его глупый ответ. Он не смотрит на миску, которую приносит прохожему дочь. Миску поставили ему отдельно. Когда есть рядом бродяги — приятно послушать знакомые разговоры. Анна приветливо подходит к гостям.

Максим полуоткрыл дверь и сказал ему строго:

— Я слыхал, Анна говорит, ты на зверя позарился. У меня чтоб этого не сметь.

Пётра, облокотившись о стол, долго слушает. Его развлекает сначала — такая рябь бывает в пруду, когда упадет листок. А дальше разговоры гонят его мысли во что-то унизительное и безвыходное, он мычит и скребет ногтем грязный кухонный стол.

Э, не надо ли поискать ему дороги по другому потоку!

У него даже слезы наволакиваются на глаза.

Он сдергивает дробовик, трясет ожесточенно патронташем и сует туда со стола нож. Запертая дверь мешает сторожам увидать его грозящий кулак.

Всякое вино бывает в южных погребах...

Под широкой, словно кусок масла, луной тянутся за Опоясанную скалу, мимо розово-желтого домика, к царевой пристани кипарисы. Тропы, ведущие Пётру дальше, перевиты можжевельником и тамариском. Курятся и кипят заносчивые запахи. И, точно захлопывая стальные двери в чужой дом,— над ним дубы.

Под эту жирную откормленную луну выходят, звеня копытцами, олени, кабаны лениво точат клыки. Им на зиму косят сено и мечут неогороженные стога.

Ждут своего царя, который убьет их!

О, случается, царь забывает, и они умирают своей смертью. Таких кладут в пещеру, приезжает доктор-ветеринар и свидетельствует: своей ли смертью умерла императорская дичина.

Ага! Идешь.

Вот вышел один к ручью, раздвинул рогами ветви, и черные глаза его боятся разве этого не по-царски четырехугольного человечка и не по-царски блестящего. Олень дрожит от презрения и, раскрыв покрытый пеной рот, — подминает свою самку. На лбу его белое пятно, издали похожее на мышь.

Ага! Стой.

Пётра садится на корточки, выдирает пыж и для чего-то ссыпает себе в рот дробь. Может быть, чтоб от злости не стучали зубы и чтоб не понял зверь злости человека.

Пётра срывает пуговицу от штанов (пуговица свинцовая, германской войны), штаны сцепляет шипом. Эх, больно царапает шип, но еще больнее царапает руки пуговица, не входящая в патрон.

Но все же с ревом вошла она сначала в патрон. А вот и в черный олений глаз.

Ага! Выстрел. Рев. Кровь!

Узнали!

Сразу метнулся после выстрела и после оленьего рева — зеленый огонь па мачту. Сразу сторожа схватили винтовки.

Ножом, руками, дубовым суком — отодрал Пётра оленью ляжку. Смахнул в поток кровь и, стрекоча ветвями, без троп побежал вверх в скалы...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вершины сосен во тьме. Люди отдыхают на скале в глубине заповедника

Целый день...

Нет, еще ночью море треснуло, опрокинуло горизонт и, ломая зеленовато-охрово-желтые камни берега, перекликаясь с кем-то в вышине, крутилось, кувыркалось, купалось в скалах. Буря!

Целый день, с утра, сторожа вместе с Максимом обыскивали остров.

Облазили почти все тропы заповедника. В скалах кис туман, он имел запах крови. Они отправлялись к туше убитого Пётрой оленя.

Зверя звали Мишкой — он был самый беспокойный и самый любимый. В ясную погоду он шутя перекочевывал с края на край острова, и, словно стекло, блестели тогда в ветвях его рога.

Теперь лисицы съели у него язык, вороны или орел возможно, испортили шкуру, а одну ляжку утащил человек. Нашли золу, кровь у потухшего костра. Максим устал.

Самый толстый и самый умный из сторожей сказал:

— Жрал под зарю, видишь — роса еще, где сидел. Под зарю самое превосходное оленину есть, так все

большие охотники делают. Поставим караул и зажарим ляжку, а буря улягется — с биноклями за милую душу подстрелим Пётру. В бурю куда он уйдет... а бродить — из-за каждого угла застрелить может.

— Они, большевики, привыкли скрываться...

— А коли не большевик, а каторжник?

— Все они с каторги!..

На лужайке, вокруг костра, нашла их Анна. У них усталые тела, словно они загнали оленя. Винтовки — по-солдатски в козлах.

Взмахнув тонкими крепкими руками, она опустила миску. Перекатились груди. Один из сторожей сплюнул.

— Дельная будет баба... Мужика с ляжкой не встречала?

— Они все с ляжками, даже вы!..

Сторожа захохотали.

Где ей встречать! Она легла, слегка раскинув ноги. Листья липли к ее потным щекам.

Отец вдруг спросил:

— Лапал Пётра?

Анна, словно прикрывая веткой улыбку, откусила листок.

— Кто меня не лапал, а что толку.

Сторожа вспомнили англичанина и захохотали. Анна тоскливо указала на стынущий обед. Все опять захохотали, а отец строго сказал:

— Раз лапал, бери миску, хлеб — ищи его!.. Скажешь, разжалобилась и исть принесла, а там уговоришь его костер зажечь. Они, мол, у меня пьянствуют. Пока жрет, уйди — мы по огоньку доберемся.

— Фулиганье,— сказала Анна,— приплыл тоже... Оленей бить!

Она собрала хлеб, подняла миску и, лениво глядя на трясущиеся животы сторожей, качнулась.

— Идти, что ль, тять? Он и сам придет. Потолкается, потолкается да придет. Спать бы надо вам.

— Я служу или нет? Чтоб ночью еще забрался, перерезал? Сказано — иди.

Сторожа ласково и гордо посмотрели ей вслед.

Она порывисто дышит. Ломает мокрую от морской бури ветку, хлещет ею по встречным деревьям. Оттого деревья словно редеют. Она протяжно кричит:

— Пётра-а!..

Зеленый огонь горит в одном из домиков — она не может узнать, в чьем? Листья и ветки переселяются в ее волосы. Тропы переселяются ей под ноги, застревают. Она поднялась на скалу. Зовет по долине:

— Пё-е-етра-а!.. Пё-тра!.. Петя!

Свистят срывающиеся камни. Его здесь нет. Ей нужно спускаться опять в долину, кричать в логу. Густо по-осеннему пахнет под ногами можжевельник. Она вспоминает змей, вскрикивает.

Нет, шею сдавила не змея, а пальцы.

Она оборачивается в разные стороны. Она сует хлеб. Он хохочет, глотка у него веселая.

— Ищешь?.. Я за тобой с час хожу, сначала думал — впереди тех идешь... Поди, так пожалела, думаешь? От меня не уйдешь!

Губы ее словно заросли. Лицо ушло в руки. Руки нельзя поднять. Она впервые чувствует себя тонкой.

Он размякло гудит. Она послушно идет за ним. Тропа ей кажется знакомой, но она не может вспомнить, какая это тропа. Не смешно ли давать название тропам, когда на каждой можно заблудиться?

— Огня нельзя зажигать,— говорит он ей, прикрывая ее своим телом.— Понимаешь?

— Аа!..— отвечает она равнодушно, хотя ей очень холодно.

Тело ее содрогается от страха. А он думает от страсти и, довольный, громко рычит.

Тогда же самец-олень затабунил в свой косяк молодую самку. Он гнал ее долго и отличал ее в кустарнике по жирной лупе, блестевшей у ней на хребте. Ноги его скользили у ней по спине, и он кусал ее. Самке казалось, что она плывет, засыпая в необычайно теплой воде, такой, какие бывают теплые в полдень камни. Когда самец отошел от нее, она качнулась и заснула.

Произошло это недалеко под скалой, где лежали люди, в долине. Они, впрочем, не слыхали.

Когда женщина проснулась, был уже рассвет.

Шишки южных сосен необычайно широки, растрепаны, похожи на мужицкие головы. Она наступила на одну и вспомнила сторожей.

Она очнулась в незнакомых камнях.

А крепкорукий человек продолжал ночь, уткнувшись

лицом в траву; затылок у него от пота, вызванного любовью и радостью, необычайно гладок. Анна отвернулась и стала быстро карабкаться на сосну.

Ей необходимо узнать дорогу. Зажечь костер.

Светло-серо-лилово-синие под нею вершины кипарисов, пихты, скалы, сосны, тропинки и шоссе. Зяблый дымок увидала она на юге.

Она вспомнила про свой дымок,— дымок, обещанный отцу. Ей захотелось кликнуть или заплакать, но на вершине дул ветер, тогда она разозленно сдернула рубаху, оцепила коленями сук и туго закрутила рубаху вокруг вершины.

Еще пальцы трудно было выпрямить от затянутого узла, но она опустила их в карман за спичками.

Она сидела голая, и ей вдруг стало стыдно потому, что кожу ее щипала кора и застрявшая в щелях коры хвоя.

Она подняла с земли платье и бусы, разорванные ночью. Солнце киноварно-красной мутной тучей лежало за морем, травинки и платье обжигали росой.

Ей стало холодно. Пришла мысль — здесь, рядом, в холоде скоро будет лежать убитый человек.

Долина наполнилась голубоватым туманом.

Анна вышла из камней и поднялась рядом, на скалу, дабы дождаться солнца.

Но тело внезапно согрелось, и сон вновь овладел ею.

Около костра, дальше за долиной, бродили поочередно сторожа. Усталыми от бессонья глазами они, оглядывая остров, поочередно же говорили отцу:

— Заблудилась! А то и убил.

Иногда укоризненно в пухлый рассвет:

— Еще где-нибудь оборвется с камня! Выдумал! Папаша!

Волны словно костями били галькой в скалы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Расщепленная пулей кора дрожит, и Анна просыпается

Глядя на сонное, словно исхлестанное волнами лицо Анны, Пётра рассуждал об оленях:

— Никак не придумаю. Куда их девать? Царя нет, ясно. Ребятишек на них катать, что ли? Буду я, Анна, катать на них ребятишек.

Анна потухшим голосом сказала:

— А ведь цари были сильные?

— Мне на них плевать!

Она отодвинулась от него и взглянула в долину.

— Петр был сильный, Александр, который в Ливадии умер, подковы гнул... А ты — дурак!

Она зло вытянула тело.

— Я? Зачем же ты ко мне пришла?

— Оттого что дурак. Бог велел юродивых любить.

— Насчет этого, девка, брось!

Она подвинулась.

— Дурак, дурак, дурак!.. Думаешь, велик ум девку свалить? Ты вот меня побей, если не дурак. Побьешь?..

— Иди к отцу, побьет.

— Я уйду, а вот куда ты уйдешь?..

Глаза ее туманные, влажные, тело ее пахнет крепкой смолой.

Тело ее спало весело, словно отдавая что-то Пётру.

Колено ее вошло к нему в ладонь, как маленький камешек. Он улыбнулся и хотел было лечь.

Внизу с грохотом покатился по осыпи камень, послышались голоса...

Пётра подполз к краю.

Вверх по тропе, огибая скалу, поднимались люди. Выйдя на уступ, в грабы, они закричали нестройно:

— Анна-а!..

«Сюда прут»,— подумал Пётра и отполз.

Он быстро вернулся к выбоине.

На его ружье, упершись глазами в землю, в руки, сжимавшие патронташ, сидела Анна.

Пётра сурово (как там в городе) сказал:

— Давай!

Она окостенело пыталась мотнуть головой.

— Не дам, не трогай, закричу... стрелять хочешь, стрелять, падалина!

— Давай, меня же пристрелят!..

— Не пущу, лучше уходи к ним сам.

— Анна, отдай!..

— Не дам, закричу!..

Голоса слышатся ближе, они словно рядом — в пещере. Кто-то говорит: «Англичанин»,— и сторожа хохочут.

Пётра вдруг прыгнул и зажал ей рот ладонью. Она опрокидывается, ногами охватив ружье.

Пётру окатывает разгоряченный потный запах женщины. Он перекидывает ладони с ее рта на шею и дальше, руки у него срываются, мнут, оклеивают, окрыляют ее тело. Глаза ее оперяются слезами, она молчит. Руки оползают под ее тело, спину.

И вдруг женщина застонала иным, опаленным стоном, широко раскрытым ртом хотела найти его губы, но сорвалась и впилась зубами в его плечо.

Пётра посмотрел на можжевельник, рассмеялся. Заснул.

Анна поднялась с ружьем. Она-то не заснет.

Перед спуском на тропу она оглянулась.

Засохшая трава, как и тогда, перед домом у моря, торчала у него в волосах.

Она медленно прислонилась к сосне.

— Дурак,— сказала она, грубо смеясь,— балбес!..

Ей послышались скрипучие, непривычные к воплям голоса сторожей. Что-то крепко давило ей в спину. Она обернулась, отломила большой сук сухой сосны. Он ей показался гнилым (он так легко вышел из основания). Она помяла его в руках. Пальцы ее руки едва-едва охватывали его. Она хотела согнуть и не могла.

Руки ее были в смоле.

Она выпустила ружье, наклонилась, чтоб обтереть об мох пальцы.

Сосновый сучок летел по осыпи вниз, к сторожам. Она положила ружье за Пётру, а сама легла рядом. Чтоб было легче уснуть, сказала:

— Подождут.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Простые разговоры, Пётра исчезает

Острая морда дельфина осмотрела простор.

Буря улеглась.

Далеко в синеве отчетливо мелькнул гребень последнего вала.

Вал подступал, узился, очарованно белел.

Сторож Силантьев, тощий и глухой, первый разглядел этот вал.

— Судно,— говорит он.

Сторожа лениво идут к берегу. И так же переваливаясь, как они, — идет к берегу шхуна.

— Провизию везет!
— Какую тебе провизию, за кефалью рыбак.
— Кефаль в такую войну?
— Выходит, контрабанда...
Они переглядываются и — через плечи — в долину. Там все еще бродит Максим. От бессонницы и страха он чувствует себя совсем больным, ноет поясница.
Он грозит ружьем, плюется.
— Пакостница, дрянь!.. Анна-а!.. Куда ты делась?
Он не боится, что она умерла: две птицы на острове — перепел и ворон. Ворон все знает. Ворон же спокоен, не кружится.
Судно приставало к царскому берегу, где кипарисы, как гренадеры.
Максим вернулся домой.
Увидав со своей скалы шхуну, Пётра сразу подумал о себе. Тащилась у борта лодка. Лодку слегка трепала зыбь. Лодка во тьме маленькая и незаметная. День проходит — если уснуть — быстро. Он густо захохотал.
— Контрабандисты,— вымолвила Анна. — Приехали.
— А водятся такие?
— Когда бывают.
— Увезут они нас, ты как полагаешь?..
— Ну-ну... А отца-то? Не увезут?..
Ящерицы суются под ноги.
Шхуна — большая ящерица — маячит в глазах и в сердце.
Пётра и Анна кустарниками пробираются к морю, крадутся.
— Не раньше, к утру будет, Петя, ветер с юга... Раньше утра она не уйдет... ночью в порт-то и не пускают. Лодка сторожьев-то по ту сторону острова; пока они за ней побегут да размахаются, да веслы в укрючины вставят,— можно за десять верст уплыть... на лодке можно; ссажу тебя у татар, они через горы проведут в степи... в степях странников много...
— А ты, Анна?
— Я?..
Намоклые просоленные ветки! Она встряхивает ветки.
— И я с тобой.
Он глядит на дом.
— У них солдатские ружья?

Он строго кладет ей руку на плечо.

— Ты вот что, Анна. Ты ступай, хлеба у него возьми и туда, к судну. Я там с лодкой все сделаю. Иди! Постой, да еще — патроны у них спрячь.

Он покачал ее на прощанье за плечи.

Отец хмурил гладкую и холодновато-мягкую кожу круглого лица. Он ходил неуверенно, меняющейся и стесненной походкой за приплывшими; на Анну едва взглянул.

— Не встретила,— сказала она,— Пётру.

Он пощупал свое сердце и спросил:

— День какой?

— Сегодня понедельник.

Он тоскливо, словно над могилой, махнул рукой.

Прибывшие были в грязных солдатских шинелях. Блестя глазами, неумеренно восхищались они островом, словно открыли его впервые. «Нет, ты сюда!.. Ванька, во-от здесь!.. Эх, а туда-то!.. Ну и жили-и!..» — кричали они.

— Те,— наконец сказал Максим.

— Кто?

— Оттуда...

Он указал книгой в глубь заповедника.

— Как тот... тоже оленей бить будут. Одной все масти.

— Кабы... переворот, говорят... сторожей всех сбирают, волю объяснить и коменданта назначить. Хозяин судна-то сказывает, те, другие, все пароходы и моторные лодки если не увели, то перетопили, уходя. Они потому и на парусном.

Гологрудый матрос тронул его за плечо.

— Дела тут хоть отбавляй, надо уполномоченного, коменданта и учет движимого и недвижимого имущества. Обратно нам под южным ветром идти; приходится, гражданин, торопиться. Спеши.

Сторожа подавали какие-то книги с золотыми на крышках вензелями.

Матрос вдруг пристально поглядел на их руки и по-военному крикнул:

— Какое оружие есть, сдать немедленно!

От оклика солдаты сделали винтовки наперевес.

Анна поняла — патроны выкрадывать у отца не нужно.

Анна вдруг схватила шинель начальника.

— А там... Там!.. Скорее, на острове, на берегу!.. Он!..

— Что, что?..— круто закричал матрос.— Офицеры, офицеров прятать, старорежимная сволочь! К стенке их, кругломордых, крой!..

Сторожа торопливо закрестились, Максим завыл:

— Граждане!.. Господа!.. Товарищи!.. Ей-богу, ей-боженьки, вам... а?.. Пётра... как его!.. Пётра Хрулев!..

Матрос твердо расщелкнул кобуру.

— Подождь, кряква. Хрулев потонул при восстании...

— Да нет, товарищи... приплыл!.. Дельфин, думал, мертвый, а он встает и матом меня...

— Матом?.. Прямо из моря? Доплыл?

— Слышь, братва, Пётра доплыл? Матом, грит, его из моря!..

— Но-о!.. Слышь, девка, где он?..

Синяя повязка Анны цвела уже на тропинке.

— Он у судна, лодку ворует.

— Кто, Пётра лодку ворует?.. Слышь, ванятки, Пётра у нас лодку ворует... Хо-о...

— Да, ну, пошли!

Часовой на борту судна спал. Часовой был новобранец, и ему снились поля колыхающейся ржи, хорошая радуга, как немецкий добрый серп.

Э, крепко умеют морские люди завязывать узлы! Так бы радость в своей жизни завязать. Пальцы, когда плыл к судну, намокли и скользят по узлу. Надо, чтоб обсохли!

Пётра отплыл от бортов, лег на спину и выставил на солнце пальцы. Легкая зыбь колыхала его.

Отвязав просмоленную веревку, он подтолкнул лодку к борту ближе, дабы не отнесло. Еще раз сплавал на берег за ружьем и патронташем.

Скрипеть будут укрючины, проснется тот, что спит. Смазать бы. Он добыл со дна лодки промасленную тряпку, обернул крючья.

Теперь весла входили в воду, как в масло. Зеленовато-пепельная, кружила она лодку, дробила в смех весла. Приятная и теплая здесь жизнь.

И, вытянув руки так, что они казались ему длиннее весел, он взглянул вверх.

А сверху по тропам, а где и скатываясь, чтобы не вилять,— прямее,— бежали люди. Впереди синяя повязка Анны и крылатые ее плечи. Короткие мотались у них руки, и винтовки походили на сучья.

Пётра достал дробовик. Там, в скалах еще он вылил из дроби пулю и обточил ее на голышах.

— Предала, курва?.. В человека-то я наверняка попаду!.. К одному пропадать, за оленя и за суку!.. Живьем хочется, сплю я здесь, дескать!..

Тогда же начальник, передавая Анне бинокль, сказал:

— Он на мушку кого-то берет.

— Пущай берет.

— Я пальну,— сказал один из солдат,— там со шкунки ванятки услышат, скажут ему.

— Никто его там не знает, все молодняк, подумают офицер и пристрелят. Попали мы в кашу, надо бы, девка, тебе одной идти.

— Я с радости!

Отец, догоняя:

— Велика радость!

Начальник, выходя вперед:

— Обождите, придется к нему под пулями подходить, пока крик поймет. Он чего не стреляет?

— У него дробовик,— сказал Максим.

Солдаты захохотали.

У Пётры точно был дробовик, выходило — нужно подпустить Анну к самому берегу.

Лодку слегка зыбало, и синий платок Анны метался на мушке.

— Не уйдешь, курва! Предала...

Лодку коротко стукнуло о борт, он коснулся коленями мокрого дна, и от неожиданного влажного холодка ружье соскользнуло у него с руки.

В то же время люди с Анной скрылись в кустарниках. Он подождал, приподнялся, посмотрел. Обходят разве.

— Э, из-за какой-то там...— сказал он, кладя ружье на корму,— погибать!

Море напряглось, подогнулось под лодку.

Пена от весла как крыло. Греби!
А уключины скрипят только в душе. Греби!
И весело спит часовой. Греби!

— Плывет,— сказал начальник.

И любивший стрелять солдатик спросил:

— Пальну в воздух?

— Я те пальну! Они на шхуне еще подумают: ловим кого-нибудь. Им со сна человека пристрелить — плевое дело. Надо как-нибудь по-другому.

Весла косматого замелькали. Человек был прямее лодки, и руки у него теперь тверже, чем любовь.

Анна заплакала.

Матросы, подойдя к берегу, вдруг захохотали. Уплывавший быстро оглянулся и совсем слился с бортами, только весла косили зеленую рябь.

А тут, словно вознаграждая себя за несостоявшиеся выстрелы, хохотали широко по-казарменному матросы. Проснулся часовой и, глядя на болтающийся в воде конец, захохотал. В воду у него капала сонная еще слюна. Сторожа любезно жались в кучу и любезно (так они отпарывали погоны с орлами) смеялись.

И зыбь под лодкой была оливковая и веселая. И уходящие скалы были оранжево-желтые...

А человек в лодке, Пётра, не понимал: почему не стреляют по нему. Там махали шапками и пели что-то знакомое.

— Врете, не вернусь! Словить хотите.

И когда он выгнал лодку в пустое море, он поднял весла и, вытянувшись на корме, стал ждать ночи, чтобы пристать к татарскому берегу.

Капала на ноги с весел несбыточного цвета веселая вода.

Качало тепло и широко.

1924

ЖИРЫ

I

Лапушкин приехал из германского плена. Ехал он оттуда чуть ли не через пятьдесят фронтов — везде спрашивали бумаги. Ему наконец надоело, потому что даже во сне чудилось — шлепают штемпеля в его удостоверение, а оно силится надуться, расшириться. Удостоверение становится шире всей Лапушкиной жизни.

Он спросонья, не разобравшись, вскочил и порвал удостоверение.

Отсюда и началась замечательная жизнь Лапушкина.

Раньше фронты казались туманом, но идти все-таки можно, а теперь, как стосаженный обрыв в море или, вернее, парашют, с которым кидается наблюдатель, если зажгут «колбасу». Парашюты те приобретены Россией в 1912 году во Франции, а там они остались, наверное, еще от Наполеона, потому что прогнили до невероятия. Один летчик, посмотрев, как при помощи такого парашюта его товарищ камнем полетел вниз, развернул брезентовое пальто и, матерясь, спустился па этом пальто.

Короче говоря, через фронты перебираться не стоило, хотя в Забайкальской области, в селе Егоры, той же волости четыре года ждала невеста Лапушкина. Невеста знатнейшая — высокая, силой что лошадь и по хозяйству лучше трактора.

Писала она ему в плен каждую неделю, и много о ней думал Лапушкин, когда перебирался через фронты.

Еще короче говоря— Лапушкин попал в авиационный парк.

Здесь нужно бы кое-что сказать о нашей авиации в гражданскую войну, но об этом позже.

Колчак взят был уже в Иркутске, и солдаты рассказывали о нем, как он перед расстрелом попросил папироску.

Фронт приближался к Забайкальской области, и Лапушкин перестал щупать мясистых сибирских баб, а во сне вместо крыльев своего аппарата стал видеть невесту Нюру.

Сны ему всегда снились, когда в его хозяйстве было какое-нибудь неблагополучие.

И подумал он, поднимаясь: а что, если, ожидая его четыре года, Нюра взяла да и завела другого хахаля,— ведь недаром же вместо крыльев аппарата увидал ее.

А была весна к тому же, впервые после сна разглядел Лапушкин цветы в поле позади аппаратов. Сапоги у него были рваные, и оба на правую ногу.

Комиссар парка Анисимов, несмотря на весну, ходил еще в валенках, вместо подошв притачав куски лыж, и оттого походка у него была чрезвычайно легкомысленная.

Он с тоской потрогал крылья аппарата Лапушкина и сказал:

— А тебе, Васька, небо придется взять.

У Лапушкина болела голова, и вообще было довольно скучно. Он тоже больше со скуки потрогал аппарат, и казалось, сам аэроплан заскрипел: «Мне умирать давно пора, а вы все летаете».

Во многих местах он был скреплен проволокой, кое-где торчали на нем куски картона и ненужные совсем куски белой жести.

— Местности тебе, кажется, знакомы.

— Родина, поди,— не без гордости ответил Лапушкин.

— Село Егоры, такое слышал?

— Егоры-ы...

Комиссар поглядел на его удивленное лицо и захохотал.

— Чудно, конечно, а оказывается, есть такое село. Смешно...

И он захохотал еще сильней. Лапушкин тоже хохотал до упаду, так они и покатывались. Ткнет комиссар пальцем и повторит:

— Вот черти, и выдумывают: Егоры-ы.

— Егоры...

И покачает головой.

— Егоры-ы... Сами-то вы жулье, Егоры...

Уже стали собираться на хохот летчики.

— Попа поймали, что ли...

— Нет, свинью на весь отряд крестьяне за доблесть поднесли.

Тогда комиссар отвел от весело хохочущих солдат Лапушкина и сказал:

— Там, Васька, партизанский штаб...

— В Егорах...

— Да ну тебя, не смеши. Семеновцы их окружили, четвертый день не жрамши сидят, послали двух человек, а их японцы перехватили да на дерево... Один из петли вылез, так с синяком на шее и приполз к нам. Надо им пакет доставить, чтобы еще три дня продержались, а мы как раз подоспеем.

— Четвертый день, говоришь?

— Чего?

— Не жрамши.

— Да тут не в жратве дело, а в крестьянской идеологии, постольку поскольку...

— Значит, и Нюрка.

— Чего?

Но Лапушкин вместо ответа щелкнул сапогами на одну ногу и сказал:

— Дай колпак.

На весь отряд у комиссара Анисимова был шлем с красной звездой, и в торжественные минуты летчики надевали его по очереди.

Доставая шлем из березового туеска, где он хранился, комиссар проговорил с тоской:

— Покроешь ли, ведь триста верст?

Лапушкин махнул рукой.

— Покрою, только дайте бензину получше. А мне сейчас жиров надо.

— Чего? — не понял Анисимов.

А один молодой хлопец (за это, правда, получил по шее) подумал, что не хочет ли Лапушкин сдаться белым: очень уж он спешил, а затем все свое барахлишко обменял на сливочное масло, а любимую гармонь, вывезенную даже из германского плена, отдал за четыре банки американского сгущенного молока.

Не понимая ничего, с большим уважением смотрела оборванная и грязная братва летчиков, как Лапушкин в белой, тщательно выстиранной остатками мыла рубахе, в сапогах на одну ногу и новом шлеме, глубоко влезавшем ему на уши, включил магнето мотора.

II

Высоко подхваченная желтым песчаным вихрем, взнеслась фиолетовая с желтыми крапинками бабочка. Она была очень испугана, а пронесшийся мимо аппарат приняла за новый вихрь. Иначе должен бы удивить даже ее странный человек в расстегнутой рубахе и в глубоком шлеме, из-под которого выбивались, как бабочки из вихря, синие глаза.

Но и синеглазый летчик не заметил бабочки.

Сто верст он пролетел, почти не глядя вниз. Затем внимание его разбудили выстрелы белых постов.

Лапушкин вгляделся и впервые увидел родину сверху. Перед его глазами мелькали каменные безлесые и редковатые четырехугольники. Когда аппарат, словно вырываясь у него из рук, взметывался, его глаза сразу приобретали возможность видеть четырехугольники. Здесь они еще более подчеркивали безлесость и безводность.

Изредка внизу, среди груд камней, как игла, мелькал ручей или горная речка.

Горные речки всегда на удивление, всегда словно они только что родились.

Лапушкин шел на большой высоте.

Холодный воздух жег ему открытую шею.

Он оглянулся — крепко ли прикреплен бидон с десятью фунтами выменянных жиров.

Он вспомнил Нюру, и его еще более зазнобило.

Вспомнилось, как на голых горных площадках созревает гречиха. «А ведь теперь, поди, лето, поди, внизу печет».

Аппарат голубой сверкающей искрой понесся вниз.

— Э, не сожрете,— сказал он, давая руля книзу.

Сухое пламя раскаленной, бесплодной земли пахнуло ему в лицо. Лапушкин вспомнил: а ведь в Егорах жрать нечего, значит — голод.

Надо бы ему помнить, что здесь только одни стручки лопаются, только один ствол приносит плоды — выстрелы.

И сейчас же Лапушкин услышал звуки этого смертельного урожая.

— Зря, стерва, снизился,— выругал он сам себя.

Знакомые лога, где когда-то с дедом гнал он однажды на ярмарку продавать трех телят. Лога называются Саратовскими от имени переселенцев, пытавшихся засеять склоны оврагов. Значит, до Егоров осталось сто с лишним верст.

Лапушкин от радости словно окрылился, он даже подпрыгнул на сиденье.

Нет, это ему так показалось, потому что, подпрыгнув, аппарат накренился и чуть было не выкинул Лапушкина.

— Труба,— сказал Лапушкин, больно ударившись о вертикальный брус.

Но через несколько секунд аппарат выровнялся и принял прежнее положение. Тогда Лапушкин расслышал новый выстрел шрапнели влево от себя. «Японец крост»,— подумал он. Воздушная волна от выстрелов едва донеслась до него. «Втикать надо».

И Лапушкин взвился вверх. Ощущение удивительной, но в то же время опасной легкости овладело им. Было так — как после долгой зимы пойти вдруг босиком.

Он по привычке стал рассматривать крылья аэроплана. Повреждения обычно начинались с них.

Нет, крылья были целы, а все же аппарат с необычной легкостью, словно воздух был смазан, несся вверх.

Шрапнель внизу ухала, словно волны били в тупой камень.

И вдруг Лапушкин изогнулся, заглянул вниз — и остолбенел.

Осколок шрапнели сорвал колеса.

Теперь Лапушкин должен был делать так называемый «вынужденный спуск».

До Егоров оставалось не более сорока верст.

Другой бак был полон, и его, пожалуй, хватило бы, если бы повернуть сейчас же обратно.

«Придется осесть в Егорах», — вместо этого подумал он.

Но тут же вспомнил, что колеса сломаны, и можно спускаться только на деревья или на воду.

В голых камнях — даже хаты сложены из камня — были Егоры.

Ближайший лес от них в восьмидесяти верстах. А вода...

Но ничего, кроме колодцев, не помнил Лапушкин.

Лапушкин плюнул в манометр, снял шлем и полетел к Егорам.

Так же блестела золоченым крестом церковь. Лапушкин надел шлем.

Густая толпа, митинговавшая на площади, брызнула во все стороны при приближении аппарата.

Красной звезде на его крыльях, по-видимому, не верили.

«Обстреляют еще, черти»,— подумал Лапушкин.

И он вспомнил о прокламациях.

Он кинул тюк вниз.

Облетел вокруг села, и, когда вернулся, толпа, густо заполнив площадь, пела «Интернационал».

Слезы появились на глазах Лапушкина.

И Нюрка поет.

Злость на то, что он не может спуститься, овладела им.

Он выключил мотор, и голоса, среди которых ему показались многие родными, раздались:

— Слезай!

Толпа глухо гудела.

— Товарищ, слезай...

И Лапушкин, чтобы не слышать этого призыва, опять включил мотор и сразу очутился в грохоте аппарата.

Он кинул пакет.

Тот шлепнулся и пошел по толпе белым пятном к красному флагу, под которым, по-видимому, находился штаб.

Лапушкин потянулся к бидону с маслом, но вдруг вспомнил: ну как же он спустит бидон?

И он в отчаянии, как птица подле разрушенного гнезда, закружился вокруг Егоров.

Он матерился, плевал и свистел, но ничего не мог придумать.

И толпа, недоумевая, долго смотрела на круживший, словно сошедший с ума, аэроплан.

На пакете он написал карандашом:

«Привет Нюре. Крас. летчик Лапушкин».

И ему показалось — какая-то девка махала ему и мчалась почему-то за деревню.

И тогда Лапушкин повернул аппарат от Егоров.

Носясь без толку над деревней, он израсходовал много бензина, и ему нельзя было вернуться обратно.

Неизвестно, сможет ли он где снизиться — кругом каменная пустыня без леса и воды.

И Лапушкин поднялся высоко вверх.

Черные пятна выжженных пространств опять были внизу.

Ни лесов, ни большой воды.

Леса, по-видимому, выгорели, а горные речушки блеском своим раздражали, словно осколки стекла в ране.

— Значит, конец. Значит, подыхать выходит, братишка Лапушкин.

Авиатор раздраженно скинул шлем.

— А поедем, пока едется!

Все же он не верил, что не найдется внизу зеленых пятен лесов.

Он опустился ниже. На земле он разглядел шпалы железной дороги.

Изредка его встречали выстрелы белой охраны. Он летел как во сне.

Вдруг из-за гор, лязгая буферами, выскочил поезд.

О, веселое ясное время! Красные флаги стягивают жизнь, словно кушак удалого ямщика веселый его тулуп. И мысли — как кони.

Лапушкин разозленно низко пронесся вдоль поезда. Он вдруг вспомнил о бомбах.

И он кинул одну в тендер паровоза.

Но еще до этого машинист застопорил поезд и над задней теплушкой взвился белый флаг.

Писать было неудобно, и выходило так, словно пишешь перед смертью. А надо показать бодрость и уверенность. И буквы оттого были громадные, как сапоги.

Он заколол булавкой шлем с запиской, примотал шпагатом к шведскому ключу.

От записки его кинулись врассыпную, как от бомбы. И на секунду Лапушкину стало весело.

«Приказываю: наименовать сдавшийся поезд именем красного летчика Лапушкина. Офицеров — к стенке и немедленно перейти в наступление, идя на соединение с Красной Армией, которая ждет в трех верстах».

А до передовых постов красных было не меньше семидесяти верст, и было не то страшно Лапушкину, что он надул сдавшийся поезд, а что бак бензинный гремел, как гривенник.

Жизни Лапушкина осталось двадцать минут.

Он отчаянно оглядел пустыню.

Направо мелькнул зеркальный блеск воды.

Он протер глаза. Взмыл.

Нет, это блестели лощеные палатки штаба полка, стоявшего за станцией, в полях гаоляна.

Он пронесся над штабом, кинул последние бомбы. Бидон с маслом для Нюрки тоже полетел вниз. А бумага, прикрепленная к пробке бидона, приказывала: «Расстрелять немедленно офицеров, иначе...»

Несколько офицеров, отстреливаясь от солдат, пробежали к палаткам.

Сказка о медведе, который «всех давил», вдруг мелькнула в голове Лапушкина.

— Я вам покажу!..

Лапушкин низко опустил аппарат. Ему уже чудился заглушавший треск пропеллера — треск раздавливаемых палаток и вопли белой сволочи, визжавшей под тяжестью его трупа.

И вот Лапушкин помчался через гаоляны, на расстоянии двух аршин от земли.

Пропеллер резал широкую дорогу в тростнике. Пыль забивала рот Лапушкина. Казалось — сидит в молотилке.

— Раздавлю-ю!..

Он сквозь гаоляны ринулся, скребя по палаткам.

Гарь пахнула ему в лицо.

Он прорвал одну палатку, другую...

Он стукнулся о перекладину и крикнул перед смертью:

— Да здрав...

Но аппарат остановился, слегка покачиваясь.

Гаоляны задержали его разбег, а огромные, крепкие

японские, на железных кольях, палатки штаба выдержали аппарат.

Лапушкин начал искать в сиденье гранату. Пустота. Портсигар с высыпавшейся махоркой мотался в ногах.

Тогда, зажав портсигар, как гранату, Лапушкин выскочил из аппарата.

От станции бежали с красным флагом солдаты плененного им поезда.

Офицеров исправно расстреливали.

И, усевшись на камне перед палаткой, разминая зашибленную ногу, Лапушкин приказал:

— Становись в очередь. Я вас сейчас перепишу.— Он подумал и добавил: — А вечером «Интернационал» разучим.

Очередь растягивалась по дороге. Лапушкин, не без удовольствия разглядывая ее, сказал снисходительно:

— Зачем по одному? Можно и по два человека в ряд. Имя...

III

А еще через три дня начальнику партизанского отряда, товарищу Лапушкину, связной воюющей волости Егоры принес следующую записку:

«Борцу за революцию, дорогому жениху, Лапушкину Василию Семеновичу, во первых строках сообщаем, что у нас, слава богу, все живы и здоровы, чего и вам желаем. Еще кланяется папаша наш, и, по его совету, посылаем мы вам бочонок масла, как изголодавшемуся красному воину за Советскую Россию... А еще кланяется...»

Лапушкин со всем пренебрежением оттолкнул бочонок.

— Отдай завхозу. Жиры прислала, а того не понимает, что у нас коммунизм и общность красных завоеваний.

Он с тоской поглядел на небо.

— А я-то ей жиры вез, из-за этих жиров в черепаху превратился. Неужто больше не полечу?

А начальник хозчасти, толстый, а значит, уверенный в себе, откатывая бочонок, ответил уверенно:

— Полетим, да еще как. Я полагаю, даже над Сахалином.

Дальше он не знал, как называются земли.

1924

САДОВНИК ЭМИРА БУХАРСКОГО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Садовник настроен элегически

Война окончилась.

И сразу море стало аспидно-кровавое, цвета запекшейся крови. Кипарисы замерли подле этой кровяной лужи. Их хвоя похожа на шинели, они темно-озеленевшие солдаты.

И во вторую половину дня садовник улыбается умиротворенно и одинаково.

В первую он пытается проснуться, сон у него послевоенный, долгий и нелепый, как крымские парки, где рядом с пальмой насадили теперь месткомы огурцы. В первую половину дня морок его жизни запашист и огромен, как цветы магнолии.

Чаще всего в первую половину дня к нему приходит газетчица, продающая «Известия» курортникам и коммунистам, ремонтирующим напряжение. Только она сама, одна в городе, помнит, что родом она из славнейших купцов Галицыных, владевших на Урале неисчислимыми рудниками, а в Крыму — неизмеримыми виноградниками. Она, как продолжение сна садовника, рассказывает о своем муже, что он жив и находится в Туле. Ей бы немного скопить денег, ей бы занять немного — и, странно, как сон, она находит деньги и едет ненадолго в Тулу. Она длиннее и однообразнее своих снов, ей сорок семь лет, и много-множество утеряно ее жизни и ее одежды.

Это и есть тот человек, которого может видеть садовник Кара-Дмитриев в первую половину своего дня. Встречаются еще вещи, цветы, оранжереи и дворец.

Прежде чем перейти ко второй половине дня (все движение людей будет там), узнаем, что ныне во дворце эмира бухарского восточный музей, а в нижнем этаже, где в войну заседала чрезвычайная тройка, дирижер симфонических концертов дрессирует фоксов. Дирижера

зовут Коршуновым, и он толст и легок, как волна, он любит маслины, и даже сапоги его пахнут очень странно.

Уходя вечером на концерты, он с сожалением смотрит на дворец и говорит:

— По-европейски жил эмир и уцелел, а другого эмира расстреляли в Туркестане, так вот тот восемьдесят жен имел, и все теперь машинистками в Чека служат.

Садовник же не может понять — как тот смог разделить одного эмира на двоих, и поэтому не разговаривает с Коршуновым.

Зачем говорить об эмирах, когда цветет земля?

Однажды он видел сон, и, проснувшись, когда пошел к морю купаться, ему долго казалось, что сон продолжается.

Ему казалось, тотчас же по окончании войны, когда люди за свою злость расплатились мором и голодом, коралловo-красный пепел пронесся над садами. Море приняло в себя кровь, деревья приняли в себя движение войн, а цветы — окраски сражений.

И точно, в порту он видел, как дерево кораблей, шхун и фелюг (над кораблями паруса, как созревшие плоды, напряжены и готовы скатиться в рейд) — дерево несет к граниту набережных: желтовато-телесные груши, желтую, достойно созревающую только на островах Японии и вдруг невиданно созревшую здесь мушмалу, яблоки, похожие на розы. Запыленные татары везут арбузы, и курносые рабфаковцы осматривают императорские дворцы.

В Севастополе потоплены дредноуты, с бесчисленных фортовых орудий англичане сняли замки и швырнули в море. Никто не ищет замков, но по привычке у бесполезных орудий ходят часовые.

Кара-Дмитриев верит своим глазам, он любит свои глаза.

Совершенно неожиданно приходит умиротворенная цветисто-оливковая радость, и садовник даже во вторую половину дня не может понять — чего он ждет и что ему нужно.

Мерная, полноценная тишина, как старинные тюльпаны, вступает в оранжереи, сады и парки. Цепь человеческих дней можно измерить его усталой душой. Цепь наступает легкая и неуловимая, как первая половина его дней.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Восточный размер бытия не создается архитектурой

Садовника эмир любил за матово-бронзовые плечи. Гуляя парком, эмир любил, опираясь на голый торс садовника, принимать от него розы. Из вин эмир предпочитал коньяк, из женщин — проституток Варшавы, но ярче, чем при чтении стихов Саади, вспоминались ему туго витые барельефы Персии — при виде курчавой длинной бороды своего садовника.

Но как заросли бурьяном и месткомским картофелем цветники дворца, так спутанно и крестьянится лицо сына садовника, Павла. Зимой он ходит с портфелем из клеенки. Тело его вдруг вспоминает зиму: оно в шинели, солдатских сапогах — хотя зима здесь всего два дня в году. Летом он почти гол. Женщины его — женщины войны, берет он их быстро, точно их короткие волосы. Они приходят и уходят, точно он мчится из селения в селение. «Город же здесь» — он не понимает слов отца и почему он не должен носить шинели. Он изредка приносит отцу деньги и, настойчиво похваляясь революцией, советует отцу искать службу в порту. Оранжереи не скоро понадобятся, и цветы теперь, говорит он уверенно, будут разводить по новой системе.

Отец улыбается:

— Посмотрим.

Сын горячится и кричит о плодовых цветах, изобретенных в Америке. Оттуда теперь идет вся техника, а туда наши идеи, сплоченные Интернационалом. Старорежимникам, даже в цветном деле, остается одна черновая работа. Отец опять улыбается искренне и курчаво:

— Какой я старорежимник, я тоже рад, что нет эмира.

— У тебя осталась цветная закваска, иди в порт.

Теплый ветер с гор поднимает бороду садовника. Распускающиеся глицинии поднимают ему глаза. «И цветы и любовь везде одинаковы», — думает он. Он несколько раз видел сына с дочерью газетчицы, приходящей к нему в первую половину дня рассказывать свои сны. Никто почти в городе не помнит Галицыных, весь почти город, как любая больница, меняется каждое лето, он знает, что будет стоить любовь Марии Галицыной и каких цветов спросит еще у него сын.

Однажды садовник получает письмо с заграничными марками. Письмо заставляет его вспомнить девятнадцатый год. Многое случилось тогда даже в простой жизни садовника. Зачем бы он теперь стал закапывать на кладбище дрянную шкатулку, она бы стояла теперь на божнице, например, у себя в комнате. Земля была сырая, и, словно всем телом, лез туда, с моря шел гнилой запах водорослей. Вечер походил на покинутый трактир. И верно, многие кабаки в городе были покинуты, и корабли увозили беженцев за море. Старик Галицын плакал над шкатулкой и все-же почему-то не взял ее с собой. Из-за этих слез не вырыл, наверное, Кара-Дмитриев шкатулку позже и все заставлял себя думать, что гниют теперь там маловажные документы.

Садовник идет в порт встречать пароход. Сгнили документы, и не спросит, может, старик Галицын. Трапы пахнут рыбой и морем. «Сколько же ему теперь лет,— думает садовник,— много, наверное, лет». Со стариком спускается сестра газетчицы, зовут ее Ксенией Константиновной. «А старуха-то, должно, умерла»,— думает садовник и незаметно крестится. Опять вспоминается кладбище и шкатулка. Надо было бы перерыть ее в другое место, сгнила. Почвы теперь злые и на разложение жадные, как эти прошедшие годы.

В бывшей усадьбе Галицыных детский дом, они же решают открыть столовую в городе. Со старой купеческой сноровкой Галицын уютным голоском спрашивает:

— Приезжают ли теперь состоятельные или все бесплатно?

Ночью садовник ведет Галицына на кладбище... Теперь на соседних могилах вместо крестов большие деревянные пятиконечные звезды. Галицын спрашивает шепотом: «Без отпеванья коммунистов-то, или разрешают?» Он стар и рад шкатулке, хотя многому не верит. Ему кажется, что садовник держит за спиной топор, достанет шкатулку и убьет.

На рогово-желтое пальто сыплется сухая земля, он ее крошит, крошит. «Нельзя же одной рукой держать лопату»,— думает он,— но садовник умеет держать в одной руке лопату, в другой — нож.

Такая же мысль, хотя по-другому, приходит садовнику. Ведь за такие сокровища убивают людей. И, чем он быстрее роет, тем ему бо́льшим кажется сокровище, ему

становится жарко, и он пыхтит. Такие же вздохи он слышит и у Галицына.

Старику опасно и тяжело нести шкатулку, но он ее не передает, он торопливо отказывается зайти передохнуть к садовнику. Его ждет, его очень ждет Ксения Константиновна и очень беспокоится. Садовнику не хочется настаивать, и он все-таки настаивает.

— Нет, уж я к себе, милый, уж к себе,— бормочет старик.

Придя домой, садовник неизвестно чему пугается. В девятнадцатом году было ведь страшнее зарывать, но почему-то не дрожали так руки и ноги и не была в поту голова.

— Ну их к лешему...— шепчет он, ложась спать.

Комната скрипучая, рамы повыбиты — на рамах еще прилип девятнадцатый год.

Кому теперь нужны документы девятнадцатого года?

Ему следует только определять честность, и даже не цену ее.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Природа умиротворяет только при безделии

У садовника на пальце появилось кольцо с уральским рубином. И, когда он рассматривал, или, вернее, радостно чувствовал красную капельку на пальце (алую и честную, как его кровь), вдоль аллеи бежала к нему газетчица. Четыре часа дня: «Что, разве она спит днем?» — подумал садовник. Над бровью у ней висит ехидная слеза. Солнце сушит, и выцветает и так конченное тело. Губы ее в ссадинах, и издали голос ее походит на звон цикад.

— Идемте.

Садовник добродушно шутит:

— Какие сны покажете, Елена Константиновна?

Но она почему-то яростно бранит дочь. Садовник с улыбкой думает о сыне и о цветах.

Раскаленная улица несется в раскаленную гору.

Продавщица газет приводит садовника в садик, точно нарочно просыпавшийся вдруг в мыльно-белый жар холма. Стены сухой каменной кладки полуразвалились, за ними видно, как по узкому переулку с тяжелыми

вязанками дров идут с гор туземцы. Усталыми распаренными голосами кричат петухи.

Галицын неодобрительно смотрит на садовника и спрашивает старшую дочь, газетчицу:

— Какую черную кошку, матушка, запустила ты меж нами. Это, прямо тебе скажу, нехорошо.

Младшая дочь, Ксения, садится на камни и вытирает сухие длинные руки.

— Не кошка, папа, а «Известия».

— Ксения, я горжусь честным трудом. Про меня весь город знает, чем я занимаюсь, а вот где ты за границей была и где научилась задом так вилять?

— Брось ты, Елена, маленькая, что ли. Люди останавливаются, и почему-то постороннего человека привела, нехорошо. Елена, нехорошо, какие твои годы? Мы с Ксенией за спокойствием приехали.

Два проходящих мимо черных человечка скалят зубы. Ксения неприметно плачет: ни в одном из писем не писала она, что делала в Константинополе.

Газетчица вся в ехидной испарине, ей хочется дотронуться до сестры, она отскакивает, крестится, она кого-то благодарит.

— Слава тебе, господи, слава тебе, господи, ревешь, ага! Я все могу понять, я все. Я сегодня во сне видала своего мужа, его сослали в Вологодскую губернию, в деревню. Я сейчас...

Она ищет в грязном мешочке записанный со спа адрес. Один только отец не верит ее юродству, оп подходит к черным человечкам и шепотом предлагает им проходить мимо. «Сами проходите»,— отвечает один из них со злостью.

— Я к ним пришла на дорогу просить, они тут, в России, на всякий случай ризы золотые и камешки уральские оставляли... я у них прошу. А она шлюха, шлюха, не дает, на дорогу не дает.

При слове «камушки» все прямеют. Молчаливые человечки с восточной юркостью переглядываются и словно уже пересыпают на ладонях камушки. Теперь мещане на юге говорят не о политике, а о кладах аристократов. Черненькие перешептываются: «Графья, должно быть, вернулись, не перепродадут ли?..»

Смородинно-черная борода садовника мнется.

— Стыда-то нисколько нету, Елена,— говорит устало отец,— чего говоришь-то, подумай.

— Мне стыдиться воров, мне? Вы все там прокутили, здесь мое оставалось, мне мужа спасать надо, мне к мужу ехать!

Газетчица с визгом, выпрямив пальцы, кидается на сестру.

— Я из горла вырву, жениха на нее ищешь?.. На последние, думаешь, жениха купить?

Старик отодвигает старшую, укоризненно смотрит на садовника — он думает, что тот рассказал все газетчице. Губы у него удивительно прямые и ко многому привыкли, он не спеша говорит Елене:

— Расстреляли Семена Николаевича, давно, мать, расстреляли, теперь нам могилу искать, а ты там какие-то камушки ищешь. Нечего делать тебе в Вологодской губернии, и по совести тебе говорю, если не хочешь, чтоб еще за мной туда ехать, — не кричи. Пойдемте лучше чайку изопьем.

— Ничего не дадите?

— Шальная ты, Елена, шальной и осталась. Ну, куда я, скажи ты мне, ходил в эти дни?

Газетчица указывает на садовника:

— Я его привела, чтоб пред ним, он святой и чистый человек, богом поклялись, что ничего у вас нет и не на что мне ехать.

— Полгорода па оранье сбежалось. Чай пойдешь пить или нет?.. Изволь, поклянусь тебе, всем своим богом поклянусь.

Он морщится и машет устало рукой.

Тогда садовник сдергивает кольцо и сует его газетчице. Пальцы потные, и кольцо долго не сходит. Галицын смотрит на него остро и вместе устало. Елена пытается поцеловать садовнику руку, тогда Галицын торопливо идет к домику.

Петухи продолжают разморенно орать.

У калитки садовник встречает Марусю. На ней татарское платье, и в платье таком я бы сравнил ее с полонянкой. Впрочем, садовник не знает ни о скифах, ни о татарах, ни о генуэзцах.

— Мама здесь?

— Здесь, а Пашку моего не видали в тутошних местах?

— Нет.

Садовник делает широкий шаг и спрашивает:

— В разрыв-траву верите, барышня?

— Это что на Ивана Купала, с папоротником?
Она на секунду думает, может быть, о матери.
— Хотела бы поверить.
Садовник делает шаг еще крупнее.
— А мой Пашка совсем никак.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Садовник путается в заключениях

Пускай люди доживают жизнь так, как умеют, если не вредно. Галицын вместо работы стал искать свой клад, пускай живет на клад. Газетчица — на газеты, и младшая дочь старика пускай ищет себе мужа. Жизнь коротка, и если слабже смог ее сделать садовник — очень хорошо, тугая жизнь — как недозрелый апельсин. Сок его горький и слипает пальцы, и на нем, как на цветном грибе, гибнут мухи. Садовник Кара-Дмитриев ходит к морю и ждет, когда Галицын выйдет к набережной в новом платье, чтоб толстая трость хорошо звенела по песчанику, чтоб он твердо и спокойно подошел к столику ресторана и заказал бутылку вина. Садовник оглядывается: в каких шелках ходят теперь женщины. Их пестрые полосатые платья похожи на индусские купола или большие лепестки, локоны их, как виноградные кисти.

В новом костюме и отец и дочь будут очень веселы.

Хм, черт, качай, приятно думать, что ты почти подарил мир именитейшему купцу Галицыну. Ведь в России не знают их теперь, но за границей-то едва ли забыли. Мало ли туда отправлено было товаров и уральских камней и мало ли оттуда вывезено добра? Очень немало.

Случится так, что обмолвится Галицын в письме или встречному знакомому о честности садовника. Ведь он мог знать, что там лежало золото и камни,—мог знать и не вскрыл. Четыре года лежало, и, дабы не смущать себя, думал он — лежат там всякие монархические письма, бумаги.

Пройдет слава... Ерунда, что стоит слава, когда от наиверной славы Галицыных ничего не осталось. Газетами — одна, и, бог знает, чем — другая...

Так размышляя, выходил садовник к морю, к набережной.

Да, тепло и приятно даже одежде пройти подле моря.

И вот в один вечер садовник встретил Галицына.

Шел он сутулый, постаревший, с рваным и грязным мешком под мышками. Пахло от него самой дешевой и самой противной рыбой, похожей на чешую, а не мясо, рыбой-камсой.

Прошел он мимо и не поздоровался.

Длинный и крепкий его подбородок зарос волосами, иноземный костюм неумело зашит на локтях.

«Э, — подумал садовник, — бережлив же ты, дяденька, и со своей особой мыслью».

Свернул за ним, и так как хитрость человеческую, а не цветную усваивал туго, то и опросил легонько:

— Константин Константиныч, вы?

И вдруг под каштанами Галицын неожиданно остановился, и место такое неудобное, в скверике подле уборной. Запах, леший знает какой, тут и переспросить никак неудобно.

Наклонился и в самое лицо прошипел:

— Отстань от меня, халуй, ханжа и гад.

Садовник вышел на чистое место.

Море так же метет камни.

Волна в таком же запахе легко тухлого яйца.

— Непонятно доживают свою жизнь люди,— сказал садовник.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Митинг с заезжими агитаторами

Сын его имел солдатскую привычку как-то полновесно махать руками, словно гири зажаты в кулаки. Шел он по кипарисовым аллеям со всей непочтительностью к этому роду дерева. Когда ему было весело, он любил подражать приказчикам, а в Крыму самые подлые приказчики — небо и море продают.

— Папаша, имеете желание идти на антирелигиозный митинг? Будут там московский и симферопольский агитаторы. Туда и Галицыны пошли.

Садовник разгладил бороду и ответил хмуро:

— Я их вчера видал, да нет, не их, а почти его, старика.

— Не объясните ли, папаша, зачем они приехали в Россию?

— Жить.
— А зачем уезжали?
— Тоже, чтоб жить, ведь ты же бы пристрелил.
— Случилось бы, папаша, пристрелил бы. А на сестру-газетчицу имеют они придел наводить в мыслях?
— Думаю, имеют.
— А у газетчицы дочь есть.

Кипарисы все-таки походят на солдат, а какие цветы любят солдаты? Русские солдаты не привыкли к цветам.

— Пойдете, папаша. Об живой и мертвой церкви будут говорить, а потом обоих их умертвят. Резолюций выносить не будут, и одобрять и порицать можно. Я там оратором записан, меня тоже стоит послушать.
— Ты за какую церковь?
— За такую, чтоб без креста и с красным флагом.

Он хлопает себя по ляжкам, кувыркается по траве и кричит:

— А какой церкви эмир был?

Садовник гладит бороду. Сын не огорчает его — сам он давно отвык думать о боге, давно, со смертью жены, оползла красками икона и в девятнадцатом году совсем как-то исчезла. В углах вместо икон паутина. Сейчас ему скорее жаль затянутых паутиной углов, жаль пустоты и старости, оттого-то он говорит строго:

— Перестань охальничать.
— Пойдете, что ли?
— Да можно и пойти.

Когда на эстраде показался узкоплечий в желтых очках человек, Павел подтолкнул отца. «Ничего от вашего бога не останется»,— шепнул он. Человек ступал неторопливо и к столу, казалось, шел целый час. Говорил он тоже не спеша и, видимо, привык говорить с крестьянами, потому что часто вставлял анекдоты и мелкие рассказики.

Галицыны сидели крепко, старик опирался на стенку скамьи, словно на всю свою жизнь. Газетчица, видимо, с ними помирилась, на ней была чистая шерстяная кофта. Павел попытался было пробраться к Марусе, но было очень тесно и хотелось ему посмотреть на отца.

— Или был такой здесь случай, гражданки и граждане, — тянул человек с помоста, — идет здесь один товарищ по своим делам в парк, скажем. Паренек молодой, шаг легкий, не слышно его. И видит, совершенно вне-

дальнейше идут впереди двое, идут, значит, прямо на кладбище. Естественным путем, подозрительно. Паренек за ними и видит: роют. Естественным путем, паренек ждет. Порыли, порыли и обратно, и у одного под мышкой тяжеловесный предмет, по виду сундучок различного объема. Если сразу потребовать, двое убьют, кладбище за городом, и по промежутку времени двигается паренек за ними. В городе один, который пустопорожний, отстает, тяжеловесный двигается дальше, и только выходит он на одну из улиц, где можно подозревать существование милиционера, товарищ совершенно сознательно обращается к нему: на минуточку, мол, задержитесь, господин-гражданин. Ночи здесь такие, что у меня вчера калоша спала, я час искал и не нашел. Гражданин подозрительного порядка, ящик, конечно, трах обземь и в переулок — куда же побежишь с такой тяжестью. Граждане и товарищи, церковь сошла с политической и экономической арены, все же мотивы и аргументы остались у ней старые. Что же, вы думаете, было найдено в этом ящике? В этом ящике, товарищи, найдено было спрятанные попами золотые ризы, драгоценные камни из окладов, итого из спрятанного от изъятия в пользу голодающих на пятнадцать тысяч довоенных рублей. Сейчас мы изжили наиболее острые моменты голода, но, товарищи, как бы пригодился этот сундучок в более ранний период. Но лучше поздно, чем никогда, и после моей речи, товарищ, нашедший сундучок и субъектов, сообщит в связи с этим о своих религиозных убеждениях...

Садовник тряхнул головой, темень шла какая-то с затылка. Хотел было спросить, какого вида был сундучок и давно ли произошло, но на скамье впереди его увидал он устремленные к нему глаза Галицына. Был в них и упрек, и сожаление, и гнев. Весь мелко одряхляясь, подумал садовник: «А он ведь это про меня».

Дальше же произошло самое худшее. На эстраду вышел Павел и, размахивая руками, начал говорить. Лицо у него потное, ворот рубахи по-матросски расстегнут.

— Силой нашей железной сплоченности нам удалось за такой малый период... антирелигиозная пропаганда и прочее... иду я тогда, товаришши, и вижу впереди по виду будто два попа. Один повыше, поосанистее, на нашего протоиерея походит, а другой мельче и, видно, из сана пониже, потому что все время сундучок тащил,

а осанистый шел впереди. Как вы после этого им доверять должны, когда точно установлено, что драгоценности из России привезены и таких в наших местах зарегистрировано не было. Может, золото это намерены за границу на поддержку заговоров против Союзного республиканского, сплоченности...

Садовник встал и, легонько шевеля пальцами у сердца, стал биться к выходу. Комсомольцы кричали: «К черту их, обманщиков, в море со всеми принадлежностями». Запах от толпы шел едкий и густой, как от залежавшейся рыбы. И у выхода сказал в лицо какой-то девице в красной повязке:

— Брехня ведь, сплошь брехня и один позор.

На что девица, выставляя мясистые груди, ответила:

— А вы идите на сцену, гражданин, и возражайте. У нас в религиозных областях свобода слова.

Кумачовый платочек слезал у ней на бок, верхняя губа вспотела. Вышел садовник на крыльцо.

День, как всегда, жаркий и светлый.

С моря, как всегда, жаркий и светлый ветер.

Одинокая фелюга медленно, будто в последний раз, уходит в море.

Трудно понять даже фелюгу и ветер.

А еще труднее понять человека.

День в море, как одинокая фелюга с одиноким, ничего не понимающим человеком.

И день близок телу, как сын.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Свершившееся на берегу моря, чаще же в России свершающееся на берегах рек

Рядом с дворцом эмира бухарского, в саду, заросшем молодым дубняком, одиноко, без ограды, стоят чугунные ворота. Там по черной жести написано белым: «Спите, орлы боевые», то же самое по-татарски и еще ниже: «кладбище коммунаров».

Колыхается черное знамя — «жертвам моря», музыканты едят груши. Садовник спросил, останавливаясь:

— Кто утонул?

— Петербургский комсомолец, купался — и судорога.

Газет садовник не читал никогда, значит, речь оратора-коммуниста не напомнила бы ему газеты. Впрочем,

что ж тут дурного, если газетами определяется, зачем человек живет.

Оратор отряхивался так, словно выплыл из моря. У него отцветшие растрепанные волосы.

Похороны напомнили ему вчерашнюю девицу в кумачовом платке. Потом он вспомнил Марусю и дальше Павла. У газетчицы с трудно запоминаемой фамилией Галицыных одна лишь дочь. Жаль, что исчезают купеческие поколения: у них да у попов крепче всего была семья и семейная любовь.

Мысль о возвращении домой, и особенно по кипарисовой аллее, больно защемила его сердце. Садовник никогда не садил кипарисов, а сам вырос солдатом: грубым, безжалостным и веселым.

Садовник через отягченные зноем улицы шел к голому камню моря. Издали музыка звучала отчаянно — словно музыкантам наплевать на смерть так же, как и на жизнь. Да и похороны не понравились ему: провожавшие держались суетливо, будто в канцелярии без начальства.

Восемь лет он носит одну и ту же голубоватую визитку с плеч эмира и мелкую соломенную шляпу. Утром, надевая визитку, он заметил, что она совсем обветшала под мышками. С непривычных мыслей человек часто потеет.

Цикада из-за камня старается перестрекотать галечник, сыплющийся под его голубую тень.

Берег укорачивается, и скоро пойдут императорские парки. Ослик, подаренный молодому императору итальянским королем, развозит теперь совхозное молоко. А когда-то с парохода ослика встречали почетным караулом казаки и в имение вели его с музыкой.

Внезапно размеренный стрекот галек рушится.

Он смотрит в море.

Какое ему дело, почему разрушился размеренный стрекот галек?

Конечно же, нет, он делает вид, что смотрит в море. У него нет своих мыслей, и он рад бы был проходившим людям. Он подумал бы об их одежде, обуви, манере идти.

Конечно, часто море пахнет по-разному — но ведь у него есть цветы, и надо бы найти человека, который бы смог рассказать, как пахнут в полдень и как вечером цветы и когда их надо рвать.

Из-за глыб желтовато-сурикового обрыва выходят. Он не глядит на них, но по галькам можно узнать развязную, живую и простую походку мужчины и женщины, не чувствующей зноя, переполненной собой, поигрывающей плечами, телом.

— Здравствуйте,— говорит садовник.

Если они ответят, он обернется вполную и будет говорить с ними. Теперь им, конечно, хочется говорить.

Женщина, не замечая его, морщит гладкую кожу лица и досадливо говорит спутнику:

— Оправился бы.

— А, ну-у...

Здесь садовник оборачивается.

Это сын его Павел и дочь газетчицы Галицыной Маруся.

Похлопывая себя по бедрам, Павел хохочет. У него толстые хрящеватые и неумеренно открытые ноздри.

— Ты, батя, как тут? Ты место для рыбалки подыскиваешь? Здесь наметкой надо, вон — кефаль идет.

Он гладит покатистые плечи женщины и шохает крутой воздух.

— Кефаль,— повторяет он, поискивая что-то губами.

Женщина полнокровно краснеет, глядя на кефаль. У ней свои мысли, и едва ли она видит выпрыгивающих из волн рыб. Садовнику жаль ее.

А Павел, поигрывая бровями, говорит:

— Мне место хорошее в совхозе дали, и вообще, помимо этого, намерен с Марусей советиться браком. Помимо идеологической разрухи по всему фронту, уходит она от матери. Качаем, Маруся, домой.

— Павел, обожди.

— Чего?

Павел потер себе ребра и сказал весело-устало:

— Уварились, лучше после переговорим. Тут море чище спирта действует. Если ты канитель насчет отцовского права, то я тебя заранее предупреждаю, лучше брось. Старуха у ней тоже бросила и ушла к своим.

Садовник проговорил покаянно:

— Я о другом.

Сын отошел к обрыву и сел.

— И говорить нам, папаша, не о чем. Хотите, вас в порт устрою или в совхоз, даром хлеб есть не придется. Пустячьем жизнь заросла, вот и бродите потому. Уйдете из дворца, и все будет окончено. Если так, по-

духовному, вам сказать, тени в вас бродят. Мы же многие предрассудки прощаем, простится и вам.

Садовник покривленно глядит на женщину.

У ней пожелклые упорные глаза и ползуче размышляющие ресницы. Она поощрительно прислоняется плечом к Павлу, тот же словно разлезается голосом.

— Оранжерейному существованию амба.

Садовник размолото переспрашивает ненужное слово:

— Амба?

— Значит, аминь.

Павел размахивается и с силой хлопает женщину по бедрам.

— А сам-то старик знает насчет сундучка?

— К чему нелепые вопросы, когда я всенародно митинговал. Его счастье, что я тихий и не донес, а то бы закатили показательный процесс из вас и, как через перекрестный вопрос дернули, не стали бы камушки в воду пошвыривать.

Они грубо, по-солдатски обнявшись, подымаются в гору.

Садовник бросает гальку в зеленую, густую, как сало, волну.

К ногам его море все больше и больше подкатывает галек. Крошечные крабы тоже походят на камушки. Мыслей своих так же, как галек, не сосчитать и не смыть слезами.

Подойти бы и подсказать самую главную. Война не окончилась.

А что это объяснит и к чему поведет? События идут по-своему, как эти двое в гору.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В рассказ снова вводятся элегические настроения

В заплатах, еще более старящих его тело, бегает городом старик Галицын. Дочь его Ксения сытно кормит пансионеров, но их меньше, и они ищут и стол и женщин, грубее и дешевле. Ночью, ложась спать в грубые, сбитые из плах кровати, они укоряют друг друга:

— Здесь и даром женщин много, и газеты твои, Елена, никто не хочет читать.

— Не мешай мне видеть сны, может быть, мне еще будет указание о моем муже, он бы нас тогда избавил от всего.

— Отец думал, кончится в России константинопольское, у нас имение рядом, и все нас знают, и еще с чахоточными, с чахоточными... Я, Елена, хочу в Москву.

— Везде одинаково, не мешай спать, мне снятся везде одинаковые сны.

И шепотком-шепоточком, дабы не разбудить отца — длинными константинопольскими и портовыми словами она бранит садовника, его сына и Марию, прельстившуюся кучерским крепким телом. Любовь должна быть вязкой и редкой, а эта, кучерская, быстра и горяча, как вспыхнувшая береста.

Город же в жаре, жгучими каменными уступами пытается преодолеть и походить на горы, на Яйлу. Уступы его, как лестницы в горы. Владычествующие рабы стоят на лестницах. Замки, имения и дачи господ взяты усталыми от войны людьми. Их много, усталых, вся страна. И только эта усталость мешает им превратить горы в сплошную лестницу, дабы отдыхать всем.

Пока они вырастили один цветок.

Огромное красное полотнище над белыми плитами плоских домов.

Только один этот цветок создали рабы. И этими розами увенчали себя.

Так мог бы думать садовник, бродя в плоском, как черепаха, городе. Но мысли его безличны и безглазы, подобны арабским плетениям. Кольцо его с уральским рубином продается в комиссионном магазине, и ошелкованные курортные дамы примеряют на пухлые пальцы. Куртины садовника в исправности. Дикие лошади на привязи. Все же зарево сражений чувствует его старое сердце. Потому и мысли его, как ворох опавших листьев,— остались одни запахи. Море зеленовато-пепельно-серое. Каштаново-коричневые горы. Пахнут смолой и серой камни. И, словно зеленый лепесток, над ними небо.

Мне ли не воскликнуть здесь:

— Кони ржут в полночь.

Осмотри седла свои, человечество!

Потому что война не окончилась, война приближается.

Мраморная доска у ворот дворца и выбитая золотом надпись:

«Сейд Саад Шифи эмир Бухарский». Экскурсанты карандашами чертят на ней фамилии, и одну из них «Редиска Федор» — садовник стирает. В ограде дворца нелепо размалеванные артисты разыгрывают ленту-агитку «Крушение старого мира». Толстый в сером костюме режиссер кричит:

— Приготовьтесь, товарищи!.. Но бегите, бегите — снимаю!

Оператор торопливо свертывает па катушку людские страсти.

— Вы садовник? — спросила его актриса.

— Да.

— Нельзя ли мне чайную розу?

У оранжереи она начинает жаловаться: платят меньше, чем прачкам, а сниматься в жару гонят по пыльному шоссе за пять верст, в Ливадию, например. Вдруг стирая от любопытства краску на губах:

— Правда ли, во дворце не могут найти пять замурованных комнат.

— Пустяки, сударыня.

— А ведь теперь очень скучно.

Впрочем, она позже говорит всем по секрету: садовник ей сознался, что очень скучно, но, что он знает, есть замурованные комнаты и в них Кораны (весной здесь татары очень ценили Кораны).

А сцену царского приема помогает ставить опытный человек Галицын. Дабы заплатили ему больше, он лжет о родстве своем с светлейшими Голицынами, и что для большевиков вместо «о» вставил «а» в фамилию. У него совсем неподвижное и цвета юфти лицо, режиссер, утешая его будущим, нерешительно дает ему роль дворецкого.

— Не все сразу, не все. У кино в республике огромнейшие возможности и у нас с ним вместе.

Заметив садовника, Галицын просит удалить посторонних.

Режиссер, вытирая полотенцем потные скулы, напыщенно вопит:

— Посторонних просим разойтись, граждане, уважайте труд!

Рука тощая, жилистая, а карандаш в руках подошедшего, словно выросший вдруг зеленый стручек. Он, мотая прикрытым очками лицом, тараторит:

— Стекла мхом переложите, да осторожно. Гвозди в ящики, тесин не колоть, я их мелом, карандашом перемечу. Оставить ту часть, которую садовник и, вообще, комиссия.

— Позвольте заметить,— говорит с порога Кара-Дмитриев,— оранжереи все ценны, а не часть их... я ничего не могу делать в части. Вы вот смотрите, здесь у меня русская роза.

Карандаш облетел вкруг его лица, словно видел он не глазами, а этим зеленым стручком.

— Ччвы грите, товарщ садовны... мы все, мы все предусмотрели... рекомны с такими вопро оброщать в отдел охраны памятников старины п лесов.

— Старина. Цветы старина.

— А вы как дума, твры садовпы? Безусловно старина, экономическая натуральная старина. Сейчас порд дня — временно историей — экопомиче строите. Оранжереи на постро барака для ремонта труда, очень ясно. Выгоды оранжере оставляем, как зубров или продажу нэпманам. Да, понадобились цветы, когда, ломается лазарет, барак и превращается в оранжереи, чрезвычайно просто экономи...

Поклонился, приказал стручком.

— Прщ... немедл ломать за исключе садовником указа...

И также быстро, глотая шаги, как слова,— исчез.

Плотники не спеша сели на корточки подле крыльца.

— Сколько жалованья-то получаешь? — спросил один у садовника.

— Так живу.

— Так чего же тебе беспокоиться?

Самый младший устало заметил:

— Стекла наломается множество.

— Да, стекла хватит,— подтвердили все.

Рухло, плевок через плевок, сплюнули. Еще поговорили об стеклах и об эмире («расстреляли, сказывают, а может, и удрал. Крепкий был мужик, сколько девок по Крыму перепортил») и, нарвав по букету роз, ушли, пообещав начать завтра после обеда работу.

А вечером стекла оранжерей налились синью и переплеты рам вдруг стали словно черные жилы. Рябь по-

шла по цветам, и воздух стал, будто морская вода.

Садовник шел меж кустов.

Много цветов засохло. Паутина вверху походила на медуз. Ноги его тяжелели, он задыхался, хотя запаха цветов почти не чувствовалось. Губы же ощущали соленый привкус. «Будто аквариум»,— подумал он.

И верно — цветы походили на водоросли. Их посинелые длинные стебли и не по-русски огромные толстые изнеженные листья, чуть задевая его плечи, будто уплывали дальше. Осыпающиеся, без запаха, лепестки подымало выше, к отсутствующему солнцу, на поверхность вод. Поломанные чугунные скамейки без спинок и сидений, словно рифы.

Он натыкается на них и рвет себе платье и руки.

«Отделу памятников старины сказать надо»,— уныло шутит он о своих порезах. Он идет, широко размахиваясь, словно гребет. И сам он здесь, словно большая, больная рыба.

Он бродит до того, что начинает ощущать голод. Парк эмира в дубах, магнолиях, кипарисах, олеандрах. Во всем парке, словно нарочно, нет ни одного плодового дерева. Будто эмиру не хотелось есть. На цветы жить трудно, их покупают плохо. А сломают оранжереи, тогда как? И сейчас только он видит испуганно: почти все оранжереи пусты, засохли или увяли.

Запахи цветов, которыми он гордился больше, чем запахами моря,— запахов цветов нет давно.

Как давно — ему трудно вспомнить. Стоит ли думать о том, что до приезда Галицына или позже?

Будет кормить сын в совхозе. — «Еге»... — Садовник улыбается. Рыхло и почти пусто.

Эмира нет, он мертвый садовник. Его мысли, которые он думал здесь недавно еще,— мертвые мысли, как запахи цветов, которыми он будто был наполнен. Мертвые цветы и запахи убежали за своим владыкой.

Сын ушел, да и приходил ли он? У сына не дом, а казарма, а в казарму ходят в гости по воскресеньям.

Выкапывая шкатулку, вместо нее закопал он свою душу. Или выйдет иначе. Не выходит иначе. По нему так же, как по дворцу эмира, придется экскурсировать и объяснять, чего не знал ни эмир, ни творцы дворца, ни слуги его.

Пустоту ль создавали дворцы?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Заключительная зелень строк, но не мыслей

Он рядом с рубахой кладет в мешок остатки хлеба, три огурца и какую-то растрепанную книжку (в детстве и позже он много читал книг, а весной говорил с эмиром не о книгах, а о цветах). Вещи ложатся неуютно в котомку, словно щепы.

Затем он пишет заявление в домком, приклеивает его к замку своей комнаты. Ничего объясняющего нет в заявлении. И, наконец, он заменяет восьмилетнюю соломенную шляпу забытой фуражкой сына. Шея у него короткая и жилистая, курчаво-бородатая голова круто и твердо посажена, походка его уверенная, шаг большой, громкий и быстрый.

И вот он теперь на винограднике.

Четыре кизиловых палочки твердо держат накиданные на них ветви. К вечеру под шалашом сгущается тень и земля пахнет селитрой. Хозяин его, арендатор виноградника, губастый грек, важно опираясь на шалаш, говорит спокойно и размеренно.

— Я люблю, чтоб у меня один сторож жил. И ему расчет быть одному — жалованья больше, а мне — сожрет один меньше. Ну, сегодня десять фунтов винограду, ну, завтра десять, а потом и два фунта будет тяжело жрать. Ты только с хлебом не пробуй.

Вот сторож Кара-Дмитриев проходит мимо лоз, связанных парами (виноградники возделываются впервые после войны и шестов для подвязыванья лоз не хватает). Внизу, на склоне, гряды виноградника переламываются, и среди зелени показывается земля. Она приветлива, приятна и похожа на пролитое вино. Грозди пахнут еще листьями лоз. Ореховое дерево растет подле шалаша сторожа. Плоды его бессознательно грубы, и почему-то глазу приятно на них отдыхать.

Кара-Дмитриев тревожно, тоскливо и ничего не понимая, улыбается и смотрит вниз. Веки его окружены фиолетовыми кругами, и матово-странно его лицо.

Он смотрит вниз по склону. Первые половины дней — окончились, сны его исчезли.

Дорога среди виноградников пустынна.

Почему никто не идет?

Какие и чьи солдаты будут пить вино с этих полей? Повезут ли они оружие или иконы, или на порогах своих

домов будут избивать отцов, или будут без ответа призывать их? Или, опьяненные вином, создадут новые дворцы и призовут сюда своих новых садовников? За виноградниками ленивое, наполненное скрытым сладострастием море. На море такие же, как здесь по склону, гряды, дельфины прыгают, сторожа плоды моря от детей и птиц. Но дорога пустынна, она тщетно ждет пешеходов, и деревья, тщетно наклоняясь, тщетно пытаются подмести ее.

Пустота и пустыня в сердце земли — в вине и в человеке.

1925

ДЕНЕЖНЫЙ ЯЩИК

РАССКАЗ, СОСТАВЛЕННЫЙ ИЗ СОБЫТИЙ ЗАТЕЙЛИВОЙ ЖИЗНИ МОЕГО ПРИЯТЕЛЯ ЕВГРАФА СОСНИНА

I

Я уже не помню, какие снега были в том октябре, какими аршинами надо было бы их мерить. Революция ворвалась в казачий городок, как воинский эшелон в своды вокзала. Гудит пар, стая галок несется под крышами, лихая песня доносится из вагона, толпа теснится и орет,— черт подери, кажется, перепутаны все расписания. И вот таким скомканным расписанием представляется мне случай с денежным ящиком.

Однако я вспомнил, какие были снега: выше колеса денежного ящика.

А выше чего была тогда наша жизнь? Никто не вспомнит, а если и вспомнит — не поверит.

Сороковой сибирский казачий полк митинговал и спал в красном здании, где некогда была каторжная тюрьма и часовой мог видеть Достоевского. Впрочем, часовому до того тяжело жилось, что некогда было запоминать еще лица арестантов. Ведь самые крепкие замки на двери зданий и сердец были изобретены в николаевские времена.

И тоже в Омске, в Николаевском соборе, в те времена — и позже, при мне — ветшало знамя Ермака.

Мы, пятеро красногвардейцев, не знали ни о камере Достоевского, ни о знамени Ермака, через три недели выкраденном атаманом Анненковым.

Мы, пятеро, были наследниками.

Мы приобрели, или, вернее, брали, старый губернский городишко со всеми его казачьими постройками, Екатерининскими воротами у входа в крепость и со всей чиновничьей дурью, которую не выбили и посейчас.

И, между прочим, мы получили мандат. В нем говорилось: «Пройти в район крепости и подле второго форта взять и привезти в Дом Союзов денежный ящик 17-го полка, охраняемый поручиком Заливиным».

Второй форт — это просто старая кирпичная постройка, похожая на водокачку. Подле нее кинематограф «Прогресс», и плотовщики с арбузами любят здесь ставить на причал свои неуклюжие плоты.

А рядом, в двух кварталах,— Дом Союзов, еще не отнятый у «Цинделевской мануфактуры» декретом, но заполненный штыками Красной гвардии.

Там мы, пятеро, получили свои мандаты.

Мандатом называется бумага, признающая возможным делать невозможное.

Каторжная пересыльная тюрьма, где часовой некогда мог видеть Достоевского, всеми своими тусклыми кирпичами примыкала ко второму форту.

В каторжной тюрьме митинговал казачий полк, не признающий советской власти. Не знали — разоружать ли его, или он сам разоружится. В кадетском корпусе готовились юнкера к восстанию. Впервые за все двухсотлетнее существование города весь снег был утоптан плотнее, чем на базаре. Бессонные утра мелькали, как выстрелы.

Порой 40-й полк — всего лишь толпа мужиков, не осмеливающихся сбросить красные лампасы, дедовские погоны,— порой 40-й полк и постреливал в нас.

Поэтому-то мы, пятеро, получившие мандаты, направились закоулками ко второму форту, мимо 40-го полка.

Мелькнули деревянные тротуарики, шириной со спичечную коробку.

Сугробы наметены выше заборов (ибо все занимались революцией и некому было вывозить снег).

Из-за такого сугроба в переулочке мы и рассматривали форт.

Большая дверь этого здания, напоминавшего заржавленную консервную банку, была наполовину занесена снегом, и виднелись по нему лишь собачьи следы, петельки. Двери соседних казарм точно передразнивали двери форта. На мелких брызгах окон не мог даже держаться снег.

— Пусто,— сказал цыган Фома.

И тогда все вскинули винтовки на плечи.

Один из нас был казак. Он очень боялся мести 40-го полка. Он четверо суток не спал, порывался на самые опасные дела и не признавал пощады.

И еще — он был самый осторожный из нас.

— Що-то мне думается, паре, не ладно тут. Уж я допрежь посмотрю.

— Посмотри.

Мы вернулись в переулок. Казак — его фамилия была Курбышев — полез на крышу казармы.

Он сполз с крыши по снегу на животе, тяжелым прыжком пробил сугроб и со злобой, перемежая ее вековечными казачьими матерками, рассказал, что в окно видно, как офицер спит на солдатской койке с женщиной. В революцию — послышалось мне в его голосе — нельзя быть с женщиной, как некогда в великий пост. Стекла здания промерзли, и я сказал:

— Почудилось тебе, Курбышев.

Негодование его было столь велико, что он даже не предложил нам самим убедиться.

Он наклонил острую, как у птицы, голову и крикнул во двор:

— Прыгай. Голыми руками их надо брать, а не мандаты показывать.

И мы, глубоко увязая в сугробах, побежали через двор форта.

II

Денежный ящик стоял в сенях казармы. Караульный казак, услышавший наши шаги, далеко отбросил винтовку.

— Десять человек из нижних чинов и один офицер,— сообщил он нам напряженным голосом, вскидывая руки.

Курбышев яростно выхватил наган.

— Офицера арестовать и представить нам.

Хорунжий Заливин, значившийся у нас в мандате, вышел из канцелярии вместе с пухленькой барышней.

— Согласно революционного отношения...— начал он, но хохот Курбышева, взглянувшего на барышню, прервал его речь. Барышня улыбнулась, и тогда мы все захохотали. Так, держа винтовки на прицел, хохотали мы в растерянные лица казаков.

Наконец Курбышев заметил вынутый мною мандат и построжал.

Он только добавил пренебрежительно, как только умеют говорить солдаты о проститутках:

— И пролезут же сквозь пули эти шлюшки...

— Прошу не оскорблять служащих! — прокричала, взмахнув убогой каракулевой муфтой, девушка.

— Служащих...— задумчиво остановился Курбышев, направившийся было к денежному ящику.— Какие тут еще служащие?

Хорунжий выпрямился.

— При канцелярии вверенного мне полка гражданка Лебедева состоит машинисткой, и я прошу ее, как не подлежащую аресту, выпустить на волю, пусть идет к себе на квартиру.

— Пущай, гражданин офицер, гражданка Лебедева обождет. Разобрав вверенное нам дело и допросив по этому делу Лебедеву, мы ее и отпустим.

Хорунжий настойчиво шагнул вперед.

— Мы все-таки просим отпустить гражданку... Да и согласно моего отношения, направленного в штаб...

Курбышев вдруг побагровел:

— Не крякай. Прилип. Отпустим, когда нада. Сичас тащи пишущую машинку, и пусть она строчит ведомость об денежном ящике.

А я, чтобы успокоить офицера, добавил:

— Мы не вмешиваемся в ваши личные дела.

Приклад прогудел по стенке ящика.

— Ключ давай от ящика!

— Ключ, граждане, захвачен полковником...

— И черт с ним! Тащи лом.

— Топор лучше.

— Лучше всего зубилом.

Тут Курбышев отодвинулся в сторону.

— Я в таких делах понимаю мало. Могу держать стражу.

Он повел толстым, измазанным маслом пальцем в сторону машинистки.

— Пиши ведомость захваченного имущества при семнадцатом полку и что в ихнем денежном ящике.

И вот — эхо, словно разыскивая и призывая хранителей, грохотало в коридорах. Быстро сломался топор и осколком разрубил сапог у пленного казака.

Наконец крышка взвизгнула.

Но ящик был пуст.

— Сволочи,— сказал, снимая ружье с плеча, Курбышев,— куда деньги могли деваться? Пиши, гражданка: «При пустом ящике захвачен в плен...»

Но зубья машинки не двигались.

Они толпой метнулись кверху и впились в ленту.

Потому что на клавишах лежало плачущее лицо машинистки.

Хорунжий, еще более растерянным взглядом, чем на пустой ящик, глядел на машинистку.

— Что ж, пошли домой,— сказал кто-то.

Курбышев оглянулся, подумал, передал мне ружье. Осторожно взял за плечи машинистку и увел ее в канцелярию.

А через десять минут приоткрыл засаленную, как во всех солдатских канцеляриях, дверь и лениво, сонно позвал:

— Гражданин хорунжий...

В дверях хорунжий столкнулся с машинисткой и, не успев выпутать шпор, зацепившихся за оборку ее платья, нырнул под револьверный выстрел Курбышева.

III

Мы кинулись в канцелярию

Пристраивающийся с винтовкой у выбитого окна Курбышев сказал между переменами двух обойм:

— Он ей обещал ящик с деньгами. Согласна — бежим, не согласишься, грит, все равно красные испортят, скопом. Тяжелее. Я его за такую подлость и ухайдакал.

Точно прячась от выстрелов, девушка, рыдая, прижалась к машинке.

Два казачьих трупа упали на снег казарменного двора. Соседние корпуса шипели снегами, точно граната перед взрывом.

Курбышев перестал стрелять в окно и стукнул пальцами по клавишам, где въедалась в эмаль буква «в», и сказал:

— Ты, гражданка, пиши скорее: «Властью, мол, рабочих и крестьян под председательством...»

Он сонно оглянулся и назвал меня. Я думаю, из-за того, что я был в очках.

— «...дан тебе, как соблазненной и опоганенной сволочью...»

Пухлые пальцы не попадали на клавиши, и она боязливо взглянула на меня.

— Я его и так любила... Он был такой вежливый...

— Тогда не надо про сволочь, хотя он вполне того заслуживает... Пиши: «Выдан настоящий пропуск...» Да скорей стучи, сейчас на нас казаки полезут, тебе надо заблаговременно от пуль...

Вскоре машинистка, крепко зажав наш пропуск, неловко обходила во дворе трупы казаков. Кошка, выскочившая из дверей форта, перебежала ей дорогу, и она перекрестилась.

— Вот бабья мысль,— плюнул даже Курбышев,— кошки боится. Суеверие и опиум.

Он повернулся, уперся мне в грудь ладонью и спросил:

— Ну?

— Чего?

— Ты что, паря, полагаешь: нам так и поверят, будто взяли мы ящик пустой. Ведь есть основание, коли посылали нас.

— Есть основание,— отозвались все.

И я подтвердил, что да, основание нас посылать, наверное, было.

— Могут подумать...

И все подтвердили, что разное могут подумать.

И я тоже согласился, что могут.

— Потому,— указывая глазом на торчащий в углу пулемет, сказал Курбышев,— надо, паря, не дожидаться станишников, пока они за нашими животами явятся, а по всем основаниям...

И все решили, что по всем основаниям нам надо переходить в наступление на 40-й полк, имея конечной целью захват денежного ящика 40-го казачьего полка.

Только в этой снеговой путанице, где переулки мешались, как спички, и где улицы словно заволокло дымом, мы могли подставить длинные лестницы к зданию, занятому 40-м полком, по блоку, сделанному наскоро из ружейного затвора и перочинного ножа, втянуть на крышу пулемет.

Тогда лишь появились казаки во дворе.

Мы, глубоко увязнув в снегу, засели меж трубами и поливали из «максима» лежавший под ногами огромный полковой плац.

Никаких людей там не было, наши пули решетили бочки да искалечили двух лошадей. Испуганные голуби тучей носились над конюшнями.

Курбышев, вытаскивая снег из голенища одной рукой, другой напряженно, словно занозу, вытягивал пулеметную ленту и бормотал:

— Главна, у казака надо коня сшибить. От коня офицерской смелости наполовину приобретается. Ты по коням бей.

— Бей, товарищи, по коням! — кричал я, ибо я ничего не понимал в войне.

Мы скоро забыли о денежном ящике 40-го полка, о возможности его захвата, так как вспомнили, что к нам на крышу можно пробраться через чердаки и накрыть нас смертью, как голубей сеткой, на крыше.

Но ведь и мы можем через чердаки спуститься вниз, в здание.

Но смертная тоска быстро успокоила нас, когда мы пригляделись к плотному, как лед, снегу, что лежал, ровняясь с кромкой саженных труб.

Снега крепко, до весны, залили все входы и щели крыши некогда каторжной тюрьмы, теперь захваченной нами.

— Не видать нам ихнего денежного ящика!

— Потому — смерть...

И все согласились, что действительно не видать нам ни денежных ящиков, ни даже сегодняшнего заката.

IV

Впрочем, о закате я это сейчас приписал. Тогда ни закатом, ни воздухом мы не интересовались. Солнечные отметки нам необходимы были лишь как даты вступления нашего в хозяйство города.

И в хозяйство земли и войны.

Позже, когда мы промерзли, мы подумали о запасе наших патронов.

Их хватило бы только на то, чтобы продержать казаков в их казармах шесть часов.

Мы их продержали три часа. В эти три часа нам, меж выстрелов, страстно хотелось поднять над трубами красное знамя, но у нас были только узенькие алые ленточки в петлицах, с земли в бинокль похожие, наверное, на капли крови.

Тогда мы, под хохот наивного казака Курбышева, состряпали из трех белых шарфов и моей рубашки

огромный белый флаг и, прикрепив его к ружью, подняли на трубу.

Казаки меж тем, лениво подстреливая кверху, спорили о войне и земле, о советской власти и о своей выгоде от такого порядка вещей. Я уверен, что многие из них, взглянув на белый флаг, подумали, что засевшие на крышу красные желают сдаться.

Но другие размышлявшие казаки подумали, что, возможно, их соседи решили перейти на сторону красных. То есть сдаться красным и арестовать офицеров. Иначе, откуда же белый флаг на крыше?

И наш расчет и наша хитрость удались. Они быстро сговорились, и еще через полчаса полк, приняв красное знамя, разоружился, арестовал офицеров, и пожарные лестницы помогли нам найти комнату, в которой было тепло.

Через пятнадцать минут, как раз необходимых для выбора председателя митинга и принятия соответственной резолюции с приветствием от имени 40-го полка Совету рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, председатель нового полкового комитета благодарил нас.

Комендант города произнес следующую приблизительно речь:

— В выдвинувшихся на высоте революционного долга товарищах мы видим революционных, крепких героев, а потому категорически предлагается выразить им свое революционное восхищение и направить их на более ответственные посты...

И нас направили охранять пороховые склады.

V

Уже ходили слухи о наступлении со стороны казачьих станиц атамана Анненкова. Офицеры переезжали через Иртыш в киргизские степи, и к юнкерам ездили уговаривать их члены партии Народной свободы. К юнкерам не пускали социалистов.

И мороз стоял двадцать градусов.

Так мы, пятеро, наследники города, шли на другой день к пороховым складам. Курбышев, кажется, и эту ночь не спал, потому что он думал о вчерашнем, и спросил он потому же:

— Интересно, из-за кошкина суеверия уцелела ли она?

— Кошка?

— Не-ет... Суеверие глупое. Веселая была барышня... Как ее фамилия, паре?

Но никто не помнил ее фамилии. А один из нас, бывший некогда ротным писарем, сказал укоризненно:

— С копией надо печатать. А пропуск тогда напечатали ей без копии. А там ведь была проставлена фамилия и, может, даже имя.

— Ты долго был писарем? — спросил его Курбышев.

— Три месяца.

Курбышев зачем-то снял винтовку. Переменил совершенно целую обойму и через десять шагов подвел итог вчерашнему дню мечтательными словами:

— Кабы хоть месяц в канцелярии... Лешак ее знает, эту самую... ко-опию... А то всю свою жись в строю...

Мне хочется еще добавить, что послали нас принять денежный ящик согласно отношения хорунжего Заливина в Комитет Красной гвардии при Доме Союзов. Отношение было переписано на машинке и после слов: «денежный ящик 17-го полка, заключающий в себе монет на сумму...» было вписано рукой хорунжего Заливина: «пустой».

Отправляя нас во второй форт, нам забыли показать это отношение. Вот почему никто не упрекнул нас во лжи, когда Курбышев рассказал, что денежный ящик был пуст...

И по-прежнему снега были выше колес, по-прежнему замерзали окна казармы и ветер хлопал целый день открытой дверью, пока не нанес синий сугроб. И тогда наступила ночь и синяя тишина.

1925

ВСТРЕЧА

Весеннее таянье мое!

С тающей быстро, как степной снег, радостью наблюдаю я, как сонные птицы медленно скользят над логами, над травами; и тени их тяжелы, будто вылиты из чугуна.

В пустыне кони моих друзей покинули трупы хозяев,— и все же нет одиночества в моей душе. Узкая тропа ведет меня к развалинам Каракорума, где был некогда Чингисхан, который в долине Заравшана повелел на великую охоту согнать зверей со всей Средней Азии. Еще и посейчас, пуская арыки на топкие рисовые поля, таджики находят там сотни черепов лосей и невиданного размера клыки кабанов.

Оставшиеся в живых друзья спешиваются, из кизяку раскладывают жалкий костер, кипятят густой монгольский чай, а я, сопровождаемый Докай-Салет-Амиром, мчусь дальше.

Тропа все у́же и у́же, вот она только козья. Конь, раня грудь, расчищает дорогу для моих стремян. Докай позади поет самокладку о том, что в дороге русский в смешных очках рассказал ему о великой охоте Чингиса, которого поистине прозвали «железной ногой» и «железным сердцем».

Мы на холме, и вот в долине перед нами камни Каракорума. Его черная тень некогда лежала над всей Средней Азией, а теперь камни его домов не имеют четкой тени своей, способствовавшей некогда сравнению, что тени его домов подобны чепраку седла. Они овиты жалкими монгольскими травами. Сыто смотрит на травы моя лошадь.

Некогда. Желтоскулый и с узкими, словно это была рана в сердце, глазами монгол скакал от ворот с перстнем Чингиса направо — через Иртыш и Обь к океану,

налево — через Волгу к польским лесам, и еще за узорными коврами — в Персию. Теперь — тени тишины.

Желтовато-синий росистый вечер ползет к моим стременам, и кажется — громадная собака лижет подъем моего сапога.

— Барамыс. Поехали? — спрашивает Докай. — Дальше?

— Барамыс, — соглашаюсь я. — Дальше.

Но кони наши продолжают стоять неподвижно.

Их уши насторожены, и мне кажется, что сердце моего коня своим биением колышет мое стремя. Я склоняюсь к луке седла и вглядываюсь в кустарник. Может, там торопится к своему логову волк или заглянул с Балхаша джульбарс, тигр. Мягкая тишина над кустарниками, будто все вокруг окутано шерстью, и низкое небо, как скатавшаяся шерсть — джабага — овцы. Конь неслышно поднимает копыто, опять вздрагивает, и вдруг резкий свист, как разорванный шелк, трепещет над тропой.

Огонь смолевой щепы широко вспыхивает на одном из камней. На мгновение огромный камень приобретает очертания дома.

— Кто? — кричим мы.— Кто там? Кто идет?..

Слышу — седло мое четко, как затвор винтовки. Мысли бегства в последние недели научили меня вспоминать сначала о седле, затем о винтовке.

Свист повторяется, он наполнен, я бы сказал, какой-то седой хрипотой. Я вдруг вспоминаю его: так глухой ночью разбежавшееся стадо призывает пастух. Он уже знает, что стадо не вернется. Это свист скорее отчаяния, а не призыва. Одни лишь огорченные собаки трутся у его ног. Пуста теплая, умятая тушами земля, ветер неслышно уносит клочки шерсти — остатки его стада.

Я молчу. Конь храпит.

Дрожит на камне горящая щепа. Ее оранжевый пламень густеет. Наконец она тухнет. Я кричу опять:

— Кто-о?..

— Обожди, апа...— шепчет мне Докай.— Тохта... Обожди.

Мы ждем.

Кустарники вдруг начинают шипеть.

Нет, это шаги. Они тяжелы, и мне вспоминается железная нога строителя Каракорума. Они медленны. Ды-

хание идущего таково, будто он дышит железными легкими.

Конь мой пятится, когда широкая, почти ползущая по земле серая фигура показывается из кустарников.

— Ты кто? — хрипло спрашивает он меня.— Ты кызыл-урус?

— Да, — отвечаю я, поднимая ружье, да, кызыл-урус (что на языке пустыни значит красный русский).

— Тогда я буду говорить и целовать твое стремя,— хрипит вышедший из кустарников.

— Говори.

Опять вспыхивает щепа, и вместе с запахом смолы я явственно слышу запах трупа. И я тороплю, и конь, мотающий уздой, тоже торопит.

— Говори, подошедший ночью.

— Я говорю тебе, сидящий на кауром коне, и слова мои верны, как то, что некогда здесь вместо каракорумской полыни кузнецы умели ковать сабли лучше кузнецов белого царя, которого вы, кара-урус, зарезали. Значит, так нужно, и мне не жалко его. Я кузнец, и в джатаках подле поселков у меня есть горн, и род мой, быть может, идет от кузнецов Каракорума. Я имею стадо в пять рогатых голов: две лошади и указанное, по преданию, для бедняка число баранов. Восемь лет платил я за жену калым и платил бы, если б было нужно, еще восемьдесят ради одной встречи восхода на комше моей юрты за чиевой перегородкой. Ее походка легче иноходцев всей Гоби, а пальцы ее, доящие кобылиц, колыхали вымя легче, чем ветер колышет ковыль, и такое колыхание было у меня на сердце, когда она подавала мне чашку, наполненную до краев айраном. Я — хороший хозяин, но, беря чашку, я плескал на кошму айран, молоко. Ты б, посмотрев на выплеснутые капли, вылизал их языком, потому что вы не привыкли, русские, любить. Ваша любовь похожа на молодую лошадь, не умеющую держаться на скачках. Я не хотел быть баем, богачом; жена не хотела быть ханшей, и все-таки вчера вечером к лощине Аи-Той пришли бии и урусы-казаки с парчовыми плечами. Они вырезали мое стадо, и, думаю, кызыл-урус, им, должно быть, не хватило крови, и они на голой земле, растоптав мою жену, вырезали ее груди. Они не нашли ее сердца, потому что оно, страдая за мои стада и меня, высохло в тот вечер и было, наверно, не крупнее пылинки! Я не мог принести вам своих зарезанных

овец и коров, они поедены. Я принес показать вам свою жену... Я нес ее двадцать верст от лощины Аи-Той до стен Каракорума, чтоб ты обменял ее труп на верную винтовку...

Киргиз сдернул грязное одеяло, покрывавшее труп. Скатилась черная капля смолы и сипло зашипела на мутно-малиновых кусках мяса. Рот у женщины был распорот, и щека проткнута саблей.

— Ее звали Кызымиль,— сказал киргиз, сметая ногтем упавший на рану жены уголь.— Она плюнула старшине в бороду, когда тот, опившись кумыса, полез ей за ворот.

Он вдруг упал на колени и схватил мое стремя. Губы его вытолкнули из стремени мой сапог.

— Давай, урус, винтовку. Я двадцать верст нес на себе Кызымиль, она тяжелая, ее хорошо любил и хорошо кормил. Я тебе говорил об ее калыме...

Я думаю, что спящие птицы видят во сне день. Вот одна поднялась с кустарника, крылья ее в тяжелой росе. Роса вымочила повода моей лошади. Я думаю: «Почему мой конь идет медленнее, чем мои мысли?»

Тропа несет меня к кострам моих друзей. Костры будто покрыты росой. Тропа мокра от росы, как повода узды моего коня.

Кони тоскливо ржут у костров. Я слышу взволнованные голоса моих друзей,— сейчас мы оседлаем коней и помчимся глубже в пески. Близка погоня.

Я отдал мужу Кызымиль свою винтовку.

Он с Докаем остался закапывать Кызымиль под одним из каракорумских камней.

Позже они вернутся к нашим кострам, и секретарь штаба спросит у неизвестного могильщика его имя и фамилию.

Мы проедем мимо Каракорумской тропы дальше в песчаную пустыню, и редкие утренние птицы встретят нас далеко среди барханов.

Затем солнце будет на полдне, сердце в тоске, и бурый песок зацелует наши следы.

Пора весенняя — таянье мое, пора зажечь костры мудрости!.. Ибо кони пустыни приближаются к большим дорогам!

1925

ГАФИР И МАРИАМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой описывается, как герои настоящего рассказа презирают время, деньги и американских бизнесменов, выдумавших соответствующую пословицу

Лет этак десять тому назад на одной из улиц Лещинска, позднее без особенного труда разрушенной снарядами враждующих партий и непогодой, враждующей с пустыней, стоял одноэтажный домик в четыре каких-то заплесневевших окна.

Подле окон висела выцветшая вывеска с нарисованными чайником и самоваром и с надписью: «Медник и циник Авраам Кашевец».

Это был единственный еврей в Лещинске, если не считать провизора казачьей аптеки, под влиянием наказного атамана перешедшего в христианство и даже принявшего фамилию Крестовоздвиженский.

Авраам Кашевец — мальчишки дразнили его «кожа овец» — имел многочисленное потомство, пухлые перины и желание переехать навсегда жить в Минск.

Часто бородатые уральские казаки подсаживались к нему на завалинку и, отмахиваясь от комаров, рассказывали, как некогда в молодости участвовали они в еврейских погромах. Ко многому привыкает человек, и Авраам Кашевец привык без содрогания слушать страшные те рассказы. На славу и утешение родителей росла у него дочь, красавица Мариам, и вот к завалинке, под веселую вывеску, стали присаживаться казаки с подбородками гладкими, как чайник, и кипящие страстями, как свежевылуженный самовар.

Ко многому привыкает человек, и Авраам Кашевец не без гордости смотрел на тонкие сукна шаровар, отороченные алыми лампасами, и думал, что казачий сарафан будет к лицу его высокогрудой Мариам.

Огромное пахучее степное солнце, медленно оправляя в золото травы, медленно уходило за Яик.

Пахнущие солнцем стада медленно возвращались из степи.

Киргизенок пастух Гафир свистел кнутом так, что дрожали окна, и старухи, крестясь, предсказывали, что быть Гафиру конокрадом. Молоко из вымени коров с такой силой бежало в подойники, что звенели дужки.

Руки казачек, несших наполненные молоком ведра, были спокойны, величавы и медленны, и ласку мужей казачки принимали спокойно, словно земля зерно. В тишине и глине бежал мимо города Яик, наполненный красной и черной рыбой. Словно красный лещ, выплывала над степью луна, называемая казачьим солнышком...

Попробуй-ка вскипятить самовар, наполненный вместо воды спиртом! Попробуй залуди такой самовар! Попробуй устрой жизнь по-прежнему. Черт разве залудит такой самовар, черт разве разберется в такой жизни!

Первым же снарядом, попавшим в город, снесло вывеску Авраама. Закрутило так, что будто было это не добротное железо, а папиросная бумага.

Отсюда начались все несуразные дни.

Какой смысл в жизни, если нет у тебя вывески? Выручай ты миллиард в день, все пойдет зря.

Многое умерло, многое изменилось. Многие из семьи Авраама уехали в Минск, многие поженились, у многих завелись лысины на голове и в сердце, а сам Авраам вместо лужения занимается рыбой и мануфактурой. Из Оренбурга возит мануфактуру, а в Оренбург — эту соленую да сушеную штуку, от которой плохо пахнет. Ну, если желают есть, пускай едят!

Мариам в полном мясе и жире, как рыба, идущая метать икру.

Сукно тонкое теперь не носят,— как разглядишь настоящего жениха? И к тому же, вместо того чтобы ехать в Минск, она желает в Москву.

Что Москва? Говорят, в Москве четыре рубля зернистая икра, когда она в Лещинске сорок копеек. Не мешало бы проверить. Ну, разве с девкой, у которой грудь трепещет при первом взгляде парня, как рыба,

выкинутая на берег,— разве с ней можно говорить о цене на икру?

Непонятная, как в кипящем самоваре, жизнь.

Или ходит, рассказывают, по улицам Гафир, бывший пастушонок. Но есть у него револьвер и штаны-галифе с такими карманами, в которых зарядов можно напрятать на целую роту. Состоит, говорят, секретарем комсомола, получает огромное жалованье, кроме автомобиля... а... пастухом Михайло Иваныч Кочетов, некогда станичный атаман, предки которого с успехом Пугачева усмиряли и награждались самой Екатериной — крестами и кроватью.

Не напрасно ли мы так назвали эту главу? Можно было бы этак шутить десять лет назад, а теперь, когда Гафир...

ГЛАВА ВТОРАЯ,

описывающая состояние и быт города Лещинска теперь, когда Гафир влюблен

Теперь, когда Гафир стоит под яблоней в самых лучших своих галифе (это говорится и про Гафира и про яблоню, ибо ветви ее, отягощенные плодами, свисли, как самые лучшие галифе) и говорит:

— Вступайте, особенных препятствий не будет...— можно подумать, что он забыл о газете, лежащей в кармане, в которой подробно приведена его речь на уездном съезде комсомола, о том, что в восемь часов собрание ячейки, а в десять он должен прочесть (для самообразования) начало работы Ленина «Государство и революция».

Длинная кисть, и на ней ласковые пальцы, широкий рот и глотка, словно привыкшая глотать кости. Пальцами бы провести по ее «ажар». А вместо этого он переводит самому себе, что «ажар» значит глянец на сукне и что глупо называть так цвет ее лица.

Таков Гафир.

— Дай пять,— наконец кричит он. Охватывает ее пальцы и намеренно грубо спрашивает: — Пойдешь?

Он, этот азиат, упрямо смотрит ей в глаза, будто предложение вступить в комсомол есть величайшее блаженство для человека ее возраста.

Она деловита в меру своих страстей, она уважает Гафира, а в общем, ей самой многое непонятно. Хотя бы, например, то, почему она не говорит отцу, что встречается с Гафиром.

Она строго пожимает Гафиру руку так, как ей самой не хочется, и говорит то, что ей не нужно было бы говорить:

— Я затрудняюсь. Вам известно, Гафир, что мой отец уже давно не медник, а торгует рыбой и мануфактурой, и дела его идут...

Она мужественна, эта крепкотелая девушка.

— Дела его идут неплохо... Ваша рекомендация только бы повредила вам... и меня бы не приняли...

Но почему ж ей не быть с ним откровенной? Хочется тебе быть в комсомоле или нет? Думаешь ты по ночам о Гафире и его большом рте или нет?

А Гафир говорит ей не то, что нужно, и даже не то, о чем он думал месяц или более того назад:

— Автобусное сообщение открываем через Уральск на Оренбург. Шестьсот километров в пустыне по неустроенной грунтовой дороге.

Она отвечает с грустью, хотя о чем бы ей грустить:

— Да, большое достижение.

Гафир медленно протягивает ловкую свою руку:

— Ну, до свидания, Мариам.

— До свидания, Гафир.

Сильный вихрь несется через сад, и яблоки гулко ударяются о землю. Белое платье Мариам исчезло с дорожки, заросшей травой. Рыжий муравей перетащил через эту дорожку блестящую соломинку. Вернулся и с недоумением посмотрел на галифе Гафира. Воды, вертящие колеса чихаря, ушли на отдых.

Нет, не все еще можно понять и выучить в партшколе, хотя бы и была она республиканского масштаба. Так бы нужно было подумать Гафиру, одиноко возвращающемуся из сада в город.

Он же достал газету из кармана и сказал:

— Газету-то нужно было передать, хотя абсолютно несомненно, что отец у нее спекулянт.

И от этих слов стало еще обиднее. Он еще раз перегнул газету, так что она стала иметь вид спичечной коробки, и глубоко всунул ее в галифе.

Страдай не страдай, сворачивать с дороги не приходится. Ясно. В восемь часов собрание.

Гафир достал большие стальные часы, чем-то отдаленно похожие на револьвер. Часы показывали пять минут шестого. Он пришел к Мариам ровно в пять. Неужели только пять минут и было всего разговора?

Гафир даже обрадовался. Ловко он ее — в пять минут заставил признаться в паразитическом своем существовании и беспомощности, порвать со всем этим. Если человек может в уездном городе организовать четыреста человек комсомольцев, то себя-то он не может разве поставить на рельсы разума? Смешно!

Однако солнце закатывалось, и тени от крутого яра переходили на другой берег Яика. Такая густая и ехидная тень бывает только в пору «тамыза» (самое жаркое время с 10 июня), а в «тамыз» солнце закатывается в восьмом часу.

Проще послушать часы.

Слушай и часы и свое сердце!

Часы стоят. От сердца на все тело ехидная большая тень, как от солнца.

Дело ясное. Нужно занести исправить часы, а затем идти на собрание.

Часовщик Урманов прославился в Лещинске своей философией. На каждый день он вывешивал на стену своей мастерской «правила мудрой жизни и порядка». По воскресеньям он рекомендовал не пить, а по понедельникам не опохмеляться. Стригся он по-старомодному — в кружок, голос имел писклявый и слова любил на «о».

В дверях мастерской с писком летали огромные мухи. Веснушчатый мальчишка ржавым долотом выдергивал из пазов мох и мелкими кусочками кормил громадного жирного верблюда, привязанного к палисаднику.

По голосу можно было узнать дите Урманова.

Широкий зад почти закрывал весь прилавок мастерской. Зад был умело обтянут крепким синим сукном; воротник пиджака умело закрывал деловито-грязную шею.

Человек с синим задом торопливо тянул:

— Мне бы хотелось, гражданин, приобрести такой изумруд или лунный камень, такой, чтоб не менее ста каратов. Оправа ж, видите, рассчитана на камень менее пятидесяти каратов, а ее можно так расширить! Бесконечно расширить! Дочь моя собирается ехать к родным... в Минск или куда далее, это мое дело. Я ей дол-

жен преподнести подарок в хорошей оправе и не стыдясь за убытки.

Из-за прилавка пискнули, и Гафиру показалось, что читают «правила» на сегодняшнюю среду.

— Человек должен располагать собою в силу своих возможностей, не очень гордиться и пить и есть в меру. Человек должен понимать, что жизнь его коротка, и камни часто попадают ему под ноги или в руки его врагов.

Поучающий чихнул. Показался трепаный хохолок волос.

— Вам безусловно, гражданин, часы?

— Часы,— ответил Гафир.

От возмущения «синего» заколебался ветхий прилавок.

— Хотя вы и мудрец, гражданин Урманов, но нужно же соблюдать очередь для заказчиков.

— Успеем, гражданин Кашевец, все успеем, помимо того что мне необходимо ехать за таким делом в Оренбург, а передвижения хотя и обогащают душевно человека... Дайте, гражданин, ваши часы. И зайдите за ними через два часа, они будут в исправности...— добавил он со вздохом, не успев вывести никакого заключения, так как Гафир поспешно шел мимо громадного верблюда и дальше, дальше по песчаной и печальной улице.

Чье сердце не занесет песком печали, если отец твоей возлюбленной покупает дочери кольцо в сто каратов или больше и если он аккуратно платит все налоги советскому правительству?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О том, что такое тамга, что такое лещинский базар, и почему много рыбы в Яике; касается также слегка ветел на берегу Яика

Зачем, вместо того чтобы заседать в ячейке типографии, попал Гафир на лещинский базар,— нам точно не известно. Страдание, конечно, страданием, но что делать на базаре, если торговля там почти кончилась и где такая вонь от рыбы и прокисших выкинутых огурцов, что даже собаки обегают такой базар за два квартала.

Мы полагаем следующее. Как-никак отец Гафира был пастухом, а дед, по преданию, хаживал в великих

салаватовских походах (Салават — знаменитый степной бунтарь, сподвижник Пугачева). Про деда бы многое можно рассказать, но главное, много старики понимали в лошадях, а по средам в Лещинске издавна конские базары, и самый торг разгорается под вечер, когда садится солнце и когда человеку хочется поехать прокатиться по прохладной степи. Ради прохлады иногда люди большие деньги за лошадь переплачивали.

Вот по старой думке и привели ноги Гафира на конский базар позади деревянных ярмарочных навесов.

Молодежь узнает Гафира.

— Тамыр Гафир, друг Гафир, не хочешь ли кумыса?

А Гафир идет мимо, не откликается. Или работы много, или горд?

Кони тянут уздечки, шипит привязанное к седлам в «тары-бастык», мешках, просо. Коней потные азартные кулаки тычут под бока, в шею, тянут за ухо. Охлябью и в седлах пробуют в степи бег. Идут в пивную вспрыскивать продажу. Цыгане, киргизы, казаки. Лихие бороды, высокие скулы и рваные выцветшие лампасы.

И по старой памяти, по привычке, что ли, вдруг сбоку среди возов сена приметил Гафир аргамаков. Шесть штук на подбор. К огромным арбам привязаны железными цепями. Ноздри в судорогах, в глазах видно, как убывает и прибывает кровь. Тысячные кони.

«Подымается страна, коли таких коней стали в Лещинске продавать»,— подумал Гафир с важностью и захотел узнать цену.

Подле аргамаков шесть киргизов нарядных, кушаки из бархата с серебряными пряжками. Смиренные деловые лица достойно несут размытые молоком бороды.

— Какие деньги? — спросил Гафир и, не удержавшись, потрепал солового аргамака по шее.

— Проданы,— ответили киргизы в голос.

А у солового аргамака тамга на холке в виде буквы «н».

Тамга эта — всегда одна у целого рода, отметины же на ушах — масал — может делать всякий владелец посвоему.

Тамга «н» принадлежит Бакеевскому роду.

А Бакеевский род кочует в Наримановском уезде, под Астраханью. Тысячи верст от Лещинска.

Вести из Наримановского уезда лошадей в Лещинск?!

— И кто их мог здесь купить? Кому проданы?

Уже совсем темнело, а может, и не знали киргизы, с кем они так непочтительно разговаривают.

— Иди, не твое дело! Иди.

Через час только пришел Гафир в ячейку. А ребята его не ждали и прикололи на дверях бумажку: «Отправились купаться на Урал».

Там он их и встретил.

Широко рассыпая ногами пенистый беловатый песок, промчался он по берегу, заухал по воде, ловко выкидывая широкие кисти на лунный свет. Веселой сладостью омывается тело. Синяя тишина в пахучих и густых ветлах. Гафир плывет по Яику, а на берегу, поджав покиргизски ноги, сидят ученики — наборщики типографии, и курчавый Ерошка рассказывает:

— Как заплыли, значит, они вместе с Разиным по Каспию до Яика, как, значит, заняли городок, то астраханские воеводы хлебу им не посылают и объявили, выходит, вроде блокады. Казакам, значит, смерть с голоду; приходють к Разину. «Так и так, выручай!» Ну, а тот спрашивает: «А если по триста пудов рыбы в день на человека добывать будете, можно тогда хлеба достать?» — «Обязательно,— говорят,— нам киргизы доставят. Менять можем и тогда просидим, пока к нам еще казаки, значит, не подвернутся. На подмогу». — «Ну, держись»,— говорит им Разин. Встал, снял шапку, побормотал — рыба и поперла в Яик. Заговорил, значит, и никаких гвоздей...

— Ер-ру-у-унда, — орет Гафир из реки. — Я вам минералогически сейчас докажу, откуда сюда рыба прет и почему. Обожди.

— Мы и то ждем,— говорит курчавый Ерошка.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

описывающая день, красотой подобный луне в пятнадцатую ночь

Стоит только не понять один случай в жизни. Дальше повалит и повалит.

В среду Гафир не мог понять, почему ушла Мариам, и как он, Гафир, не мог ее убедить покинуть отеческий дом и пойти с ним на работу и любовь. Мало того убедить,— он ей и сказать-то толком ничего не мог.

Дальше и пошло. Авраам с жирным задом, покупаю-

щий дочери кольцо в сто каратов. Киргизы из Бакеевского рода с аргамаками.

Можно об аргамаках сообщить в угрозыск. Но почему?

Ведь не потому же, что ноет сердце.

А оно ноет и ноет, словно раскаленную тамгу положили.

Вывели на площадь автобус № 1. В стеклянной будке шофер. Автобус желтый, свеженький, похож на дыню. В нем пассажиры с лицами еще свежее автобуса. Должно быть, перед поездкой все в баню сходили.

На переднем месте сидит ювелир и часовой мастер Урманов. В одном кармане толстовки у него кошелек, а в другом тщательно переплетенная книжка с изречениями, которые он везет издать в Оренбург — на русском и киргизском языках. Черт возьми, должна же советская власть поощрять философию! А раз поощрять — издавай!

А рядом с ним — сам Авраам Кашевец. Ну, этот, конечно, едет по делам. Конечно, он промчится шестьсот верст в автобусе и, может, обгонит по дороге свой обоз, что везет в Оренбург рыбу. Попросит остановить автобус, отдаст несколько распоряжений, посмотрит, не давят ли ярма шеи быкам, и покатит себе дальше.

Дальше сидят пассажиры помельче, хотя тоже примечательны каждый по-своему. Один с бельмом...

Но, дорогой читатель, я вам не Диккенс, автобус не дилижанс и СССР не Англия с разными там королями и Чемберленами.

— У-у-у! — Автобус отправляется, первый гудок.

И заметьте, в то же самое время, в четверг, в час дня, ровно за шестьсот верст, в Оренбурге, такой же точно автобус № 2 отправляется навстречу. Через пустыню, где раньше верблюды, да караваны, да «цари-орлы» гадили на телеграфные столбы.

Вот и не печатай после этого размышления философа Урманова о жизни и о различных ее видах. На каждый день.

Трубы оркестра пожарного общества нарочно начищены так, что будто медь-то расплавлена. Милиция сапоги начистила не хуже медных труб.

Мариам с лаковой сумочкой для пудры там или для платочка. Кто знает, что у женщины на уме и что у ней в сумочке? Так Мариам держится за ручку дверки,

и лицо у ней невозмутимое. Может быть, она не знает, что готовится ей такой подарок и что будут ходить по магазинам великолепного Оренбурга ювелир Урманов и негоциант Кашевец. Что человек знает о себе?

Например, первый гудок. Через полчаса автобус помчится по пустыне. Уже идет в «Известия» и «Правду» телеграмма, извещающая мир о мчащемся автобусе. Речь перед отправлением автобуса от имени киргизского народа должен сказать представитель молодежи Гафир Аструллин.

А Гафира нет. Ждут. Час. Полтора.

Поймали какого-то проезжавшего мимо конопатого казака с разорванным ухом. Послали за Гафиром на квартиру.

Гафира нет. Еще ждут.

Здесь казак прослушал второй гудок автобуса, почесал разорванное свое ухо и лениво сказал в рыжую свою бороду:

— Это вы ильбо Гафирку ждете, пастушонку? Так он ведь ускакал в степу. Я ведь как в город ехал, встретил. Скачет верхом, как угорелый. Прямо в степу. Я ему еще кричу: «Коня загонишь!» — а он...

— Зачем же ты на квартиру ездил за ним?

— А зачем посылали? Думал, может, он как вернулся. Еще подумал: ильбо другой Гафир у вас имеется?

Автобус уже мчался, а казак с разорванным ухом бормотал:

— Ильбо брат его... Послали меня, ну, я и съездил, а теперь вот недовольства.

Пыль за автобусом золотая. Орлы бросаются в небо. Клювы орлов такого же цвета, как шины автобуса. Суслик уходит в нору. Там прохлада и тьма. Выжженные травы на пологих холмах измяты ветром до красоты сусликовой шкурки.

Но автобус № 1 не догнал, не встретил и не услышал ничего о Гафире Аструллине.

ГЛАВА ПЯТАЯ,

эстетическая, описывающая ночь, красотой подобную солнцу в дни «тамыза»

Самого старшего из шести звали Тат, что означает отведать вкус. Тат Какчи звали его полностью, когда пригоняли отбитый косяк лошадей или стадо овец. Тат

Какчи — это значит ловкий вкус. У Тата была редкая борода, и в большие праздники он надевал сапоги, отделанные зеленым сафьяном.

Младшего кликали Муймулда, что значит: будет блестеть. У него были штаны из овечьей шкуры и рваная отцовская купа. Отца у него убили прошлой весной за плохую кражу.

Красть и грабить нужно много и упорно учиться. Еще хорошо красть и грабить, чтоб носить позже сапоги, отделанные зеленым сафьяном.

Комара в этом году было, как у бедного человека голоду. Шестеро разложили костер из кизяка: от него нет пламени, и дым хорошо отгоняет комара. Поодаль лежал айкастыр из ружей. Айкастыр — значит крест-накрест.

Тат пил кумыс, а Муймулда — айран. Тат рассказывал, а Муймулда слушал. Остальные тоже слушали.

Костер был разожжен в глубине лога; поодаль, в полсотне шагов, звенели железными путами аргамаки, сверху шелестел синий кустарник, таволга. А рядом с кустарником белая дорога с телеграфными столбами — тракт на Оренбург.

— Не каждый ходит в Моншу-баню,— говорил седой и хитрый Тат,— не каждому дано понимать даже русскую винтовку. Ко всему надо привыкать и всему учиться. Почему мы винтовки сложили отдельно и слушаем, чтоб у нас не потревожили коней, а чтоб винтовки потревожили, не слушаем? К коням мы привыкли, а винтовок боимся, хоть и умирали из-за них люди, и мы были виной этим выстрелам. Я вам говорю: довольно гонять табуны, попробуем остановить «от арбу» (автомобиль). Едут торгующие, у которых деньги лежат рядом в кармане, потому что они думают: большая машина, хорошо едет. Верная пуля может остановить любую машину...

— Так,— сказал Муймулда.

— А ты, щенок, молчи. Твое дело подкладывать кизяк в костер и слушать: не стучит ли «от арба» по тракту.

— Не стучит,— сказал Муймулда.

— И здесь ты ответил не так. Ты должен молчать и, если стучит, должен по-русски сказать: «есть». Вот как водится в хороших местах.

— Палле, прекрасно,— подтвердили все,— русские умеют грабить. И слова у них хорошие.

— Что? Русские умеют хорошо грабить? Это ты, наверно, говоришь про чиновников? Так нашлись солдаты, шайтан их знает какого племени, они так ограбили чиновников, что чиновники перестали быть русскими и решили умереть. Русские! Был у нас старик Суйо Аструллин.

— Э, расскажи про Суйо.

— Молчи, Муймулда, пока я не разбил твою плохо бритую голову. Сам расскажу. Старик Суйо был великий конокрад. Он мог увести из-под тебя лошадь, даже если ты полчаса лишь сел в седло. Он мог бы увести лошадь у самого царя. Ха-а... Такой был человек, а не богател. Сын у него пошел в пастухи, а внук... даже никто не знает в Бакеевской орде, где теперь внук Суйо.

— Тэ-эк!..

— Суйо мог распутать любые путы и снять без ключа стальные цепи, и ни один человек и ни одна собака не слышали его. Суйо знал самого Салавата, и рука его лежала между двух салаватовских рук. Не один раз лежала и не два. Я сам говорил не раз Суйо: «Зачем теперь тебе знать так много, и почему ты не хочешь мне сказать, что лежит в твоей голове?»

— А он?

Тат потянул на ноги халат.

— Будто куян (заяц) будоражится в кустарнике или сурок. А? Муймулда, где твое молодое ухо?

— Здесь, отец, но там ничего нет. Ничего.

— Ничего? Вот всегда так. Как выпью кумыса, так у меня шипит в ушах. Так вот, говорю я Суйо: «Помирать собираешься,— стар ведь».— «Собираюсь, говорит, а передать тебе успею даже после смерти»,— такой был веселый.

Киргизы помолчали. Даже Муймулда напугался.

Вдруг он наклонился вперед и забормотал:

— Бар!.. Бар!..

— Ча-а! — сказал Тат, вставая.— «Есть». Я пойду на дорогу. Едут.

Самый старший из них, Тат, вышел из лога. Пел легкий ветер в телеграфных проволоках. Сапоги казались тяжелыми, а пыль — как вода.

Далеко стучал автомобиль, а еще дальше вдруг расслышал Тат лошадиный конский топот.

— Приготовь коней, Муймулда. Там, позади от арбы, будто едет охрана или едут пустые люди. Патроны приготовь, и подайте мне сюда мою винтовку.

Автомобильный стук становился шире.

Таволожник словно осел подле дороги.

Столбы словно от страха отодвинулись. Луна посерела. Но тут закричал истошно из лога Муймулда:

— Эй, апа, отец!.. Эй!.. Нет наших аргамаков и путы, аллах, сброшены!.. Эй!..

— Чего ревешь? — стальным голосом сказал Тат.— Кто может снять железные путы?

А сам уже скатился в лог, щупал раскрытые замки пут. И железо замков плыло у него под руками, словно масло.

— Бисмилля,— выговорил он наконец,— угнали аргамаков. Бисмилля!.. Положите винтовки в кусты, и давайте молиться аллаху, чтобы из наших винтовок не угодили в нас. Без лошадей — мы песок. Пыль.

И тогда автобус № 1 мчится, подымая белую пыль, мимо лога. Покачиваясь, дремлют в нем пассажиры. Белая пустыня впереди, белая пустыня позади. И еще тишина. И, как огромная печать за советским счастливым гербом, луна на синем звездчатом конверте. Печать, удостоверяющая истину, что в степи тишина и мир.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

несколько возвращающая действие

Перед тем как произнести речь об автобусном движении в пустыне, Гафир неизвестно почему опять ушел в сторону.

Среди остатков сена бродила со скукой серая собака, и еще жарче казался от того пустой базар.

Гафир прошел взад и вперед. Было раннее утро, дню, видно, быть сухостойному, непереносному. Надо бы прочесть какую-нибудь газету перед речью, вставить бы туда об урожае, что ли? А вместо этого Гафир бродит по пустому базару. От стыда стало еще жарче и захотелось искупаться. Послышался позади пустых

ярмарочных сараев, влево за церковью, густой конский топот.

Дорога за церковью идет к Яику. Этим и объяснил Гафир то, что он вышел на эту дорогу.

Шесть аргамаков быстро уносили в степь всадников. Мало ли ездит киргизов по степи, и стоило ли Гафиру вместо Яика повернуть в город, взять у знакомого казака лошадь и тоже мчаться в степь? Видно, стоило. Тракт от Лещинска идет сначала между холмов, по логам. И вот между холмов скрылись аргамаки, и там же скрылся Гафир. Он закатил рукава толстовки, низко пригнулся к луке и другим (не городским, как, скажем, на конференции) взглядом окидывал степь. Ему стало сразу весело, седло под ним будто с детства, и захудалая казачья лошаденка словно помолодела на пяток лет. И день вышел, верно, сухостойный, и лог, где с аргамаков спешились киргизы, был сухой, темный и глубокий.

Гафир не доехал до киргизов версты две, привязал повода узды к седлу, стегнул нагайкой коня, и конь пустой умчался в город к хозяину. Гафир неизвестно чему погордился, глядя ему вслед, лег в кустарники, закурил и стал ждать ночи. Потом он видел, как Муймулда спутывал железными путами аргамаков. Сонно как-то вытащил Гафир перочинный ножик и долго тер его о сапог. Лежал и думал.

Позже киргизы разложили из кизяка костер, и самый старый и самый хитрый, Тат, рассказывал им о деде Гафира, великом Суйо.

Внук великого Суйо лежал над ними в кустарниках, жевал веточку таволожника, и ему очень хотелось закурить.

Затем великий внук Суйо подполз к аргамакам и сразу вспомнил, как нужно открывать перочинным ножом замки стальных пут, как погладить лошадь, чтобы она поняла, каков новый хозяин, и как из отрезанного хвоста сделать недоуздки.

И вот под утро шесть аргамаков очутились во дворе милиции города Лещинска. А солнце увидало Гафира купающимся в Яике.

Вода была теплая и быстрая, на кувшинках еще не высохла роса, а ветер из степи уже пахнул сухой полынью. Гафир вылез на берег и очень гладко и очень красиво причесал свои густые черные волосы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

У секретаря укома

— Это что ж, товарищ, — сказал недовольным голосом секретарь укома,— что ж вы это пропадаете, и речь экспромтом надо мне говорить, это что ж?

— Дело было,— хмуро ответил Гафир,— не сердись. Личное дело. Не сердись, дай пять. Пойду домой, усну. У тебя книжки нету по первобытной культуре?

— Что ж, напился?

Но тут заревел телефон, и секретарь уткнулся в трубку.

— Ты подожди, Гафир. Дело еще есть...

Трубка почти закрыла целиком маленькое лицо секретаря. И Гафир видел, что трубка начала покрываться потом, ползущим с подбородка.

— Ну-у?.. Чего? Какие аргамаки?

Секретарь от удивления даже сунул было телефонную трубку в карман.

— Что ж это, а? Совершенно удивительно! Пригнал кто-то шесть аргамаков во двор милиции, и записка привязана к гриве, что в Маринкином логу ждут ареста шесть бандитов из Наримановского уезда, и даже указано, что винтовки, наверное, в таволожнике спрятаны. Поехали и — верно, арестовали. Ничего не понимаю. Откуда аргамаки? Что ж это?

— Бывает,— хмуро протянул Гафир.— Значит, нету книжки?

— Чего бывает? Почему бывает?.. Совершенно поразительный случай!.. Ты куда же?

— Спать.

— Успеешь выспаться. Поезжай вот в уезд беспартийную конференцию проводить. Там тебе...

Секретарь всмотрелся в лицо Гафира и махнул рукой.

— Впрочем, что ж, поди проспись. Вечером зайдешь?

— Зайду.

Подле крыльца укома Гафир встретил Мариам. Он вяло поклонился ей и пошел было мимо.

— Гафир,— сказала со свойственной ей нежностью Мариам,— куда вы направляетесь, Гафир?

— Спать.

— Может быть, вы меня проводите, Гафир?

— Могу.

Он хмуро и молча шел с ней рядом. Галифе у него как-то осели и даже казались заплатанными, хотя были совершенно целы.

— Над чем вы грустите, Гафир?

— Так.

— Может быть, вы мне скажете?

— Никогда не предполагал спасать буржуев и нэпачей. А пришлось.

— Я не понимаю, Гафир.

— И хорошо.

Опять хмуро и молча солдатским шагом вперед.

— У меня свои поводы грустить, Гафир. Папа прислал письмо. Нет, вначале телеграмму. Письмо привез с обратным автобусом Урманов. Я там так понимаю, что тресты снизили цены на мануфактуру, а папа закупил ее по высоким ценам и теперь потерпел большие убытки, а рыбу его комиссия отказалась принять как испорченную. Я хотела посоветоваться, куда бы ему поступить на службу. Разве в Кирторг, он специалист по рыбе... Притом он совсем одинок

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Несколько размышлений философа Урманова

«Многое на свете устраивается как-то само собою».

Так записал это в своей книжке философ Урманов.

Дело в том, что зашел к нему за часами Гафир. По всему лицу веселая улыбка. Веснушчатый мальчишка сидел на пороге и про себя считал у него зубы. В верхнем ряду насчитал восемь, а затем начал считать у Мариам и насчитал девять. «Должно, у ней мельче — больше вмещается»,— подумал мальчишка с презрением.

— Часы были готовы почти неделю тому назад, а вы не заходили за ними. Без часов человеку жить трудно.

— Некогда было,— радостно отвечал Гафир, поглаживая крышку часов.

— Оно, конечно, труды часто заставляют отвлекаться от необходимости многое помнить. Письмо получили, Мариам Авраамовна?

Он поглядел на лихие ее брови, достал из столика громадное золотое кольцо с пустым отверстием для камня.

— Папаша ваш думал сюда... лунный камень, по крайней мере. Обстоятельства повернулись неожиданно.

Урманов глубоко по-философски вздохнул.

— Нужно сказать, неудачная и у меня поездка была. Убыток.

Он показал кольцо на свет.

— Тяжелое, заметьте. Очень легко могу сделать два обручальных кольца. Я уже ваш размер знаю,— теперь, возможно, вы мне свою руку покажете, гражданин Гафир?

Но тут Урманов вспомнил что-то, опустил кольцо и опять вздохнул.

— Извините, не думал обидеть. Коммунистам ведь кольца нельзя, а также и комсомолу?

— Нельзя,— весело ответил Гафир.

И Мариам строго подтвердила:

— Нельзя.

Ну, что ж, вот и все. Разве рассказать, как вели милиционеры мимо мастерской шестерых киргизов и как в переднем ряду шел старый Тат, а в заднем Муймулда. Как умный Тат увидал выходящего Гафира и как присмотрелся к нему, а затем через пять шагов охнул. И все шестеро охнули и вместе со старым Татом оглянулись.

— Бисмилля,— сказал коротко старый Тат.— Бисмилля, я узнал эту рожу. Будет нам скорая смерть, если еще раз встретится нам этот киргиз в военных штанах, похожих на турсуки. Бисмилля, у него походка и рожа Суйо!..

И милиционер, старший по команде, тоже остановился. Встревожился и сунулся в карман, где вместе с подсолнухами лежали у него запасные обоймы. Подтянул винтовку и пристально посмотрел в палисадник, под яблони, куда испуганно глядели шестеро. Ну, целуются. Так мало ли кто в такую жару целуется!.. Нашли чудо! Двигай дале, вы!..

1925

КОГДА Я БЫЛ ФАКИРОМ

От доктора Воскресенского я ушел душевно усталым. Было такое чувство, словно я поседел в одно утро. Я думал, если доктор выдаст мне рецепт, то я, продав единственные свои брюки, смогу купить в аптеке кокаин. А продавать на пищу брюки и сидеть сытому без брюк — глупо.

Хозяйка моей комнаты, близорукая и с каким-то слезящимся носом, низко склонившись, читала по складам на столе афишу:

> ПЕРВЫЙ РАЗ В ЗДЕШНЕМ ГОРОДЕ!
> ГАЛЛО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
> Выступает всемирно известный факир и дервиш!
> БЕН-АЛИ-БЕЙ!

— Вы где ж обучались этому? — спросила она, кривя затейливо слезящийся нос.

— В Индии,— ответил я мрачно.

Да и что я мог бы ей иное ответить? Не рассказывать же ей, как за свою складную кровать вместо трех рублей я согласился взять у старьевщика две шпаги с маркою «Гамбург». Шпаги были совершенно похожи одна на другую. Только, если всмотреться, одна из них была цельная, а другая складная с тремя кнопками в рукоятке. Кнопки были белые, слоновой кости, что ли, и это меня более всего раздражало. Если надавить одну кнопку, треть лезвия уходила. Надавить другую — исчезала следующая треть. И, наконец, вся троица скрывалась в рукоятке.

— Вы ж этим какие деньги будете зарабатывать! — сказал мне ласково старьевщик.

Я убого скучал по ласке и по надежде. И поэтому я больше для себя ответил:

— Но ведь одной шпаги мало?

И тогда старьевщик прибавил мне растрепанную книжку, изданную, как помню сейчас, Холмушиным в Москве: «Руководство по черной и белой магии с присовокуплением карточных фокусов».

— Тут и найдете теперь вашу подробную жизнь, молодой человек.

И почти угадал ведь старик. Действительно произошла отсюда часть моей жизни.

Квартирная хозяйка моя страдала животом, и ночью по всей квартире горела только пятилинейная керосиновая лампочка в уборной. В моей комнатушке, конечно, ни лампочки, ни керосину нет. Тщетно в ту ночь хозяйка стучалась в уборную. Постоянно слышала она оттуда суровый голос: «Извините, но у меня, кажется, дизентерия». Это я изучал черную магию.

Утром я пошел в Народный дом, где труппа актеров из пяти человек ставила «Красный фонарь», «Евгения Онегина» и «Горе от ума». Когда я сказал Пудожгорскому (это был режиссер), что могу глотать шпаги, он косо улыбнулся.

— Шпаги, что шпаги? Когда это всем известно, что немецкая работа. Вот если бы вы могли гипнотизировать массы. Вынуть, скажем, глаз из орбиты и вновь его вставить на прежнее место. Вот это, понимаю, сбор... будет!

— До глаз я еще не дошел,— ответил я мужественно,— но я могу безболезненно прокалывать руки, грудь, щеки стальными дамскими от шляп шпильками, подвешивать на них гирьки до трех фунтов.

— Чего ж вы не говорили раньше?

— У меня шпилек нет.

— Достанем. У наших актрис. Как же вы,— спросил он не без уважения,— до шпилек дошли, а до глаз не можете? — Он вздохнул.— Впрочем, на все наука и время.

И вот почему хозяйка читает громадную афишу. По этой афише мне, старому и хитрому индусу, вменяется в обязанность: «глотать горящую паклю, шпаги, прыгать в ножи и *прокалывать безболезненно* свое тело дамскими шпильками, подвешивая на оные гирьки до трех фунтов весом». Должно было еще в афише

значиться, что я беру раскаленное железо голыми руками, но такого опыта я не мог проделать. Подвела «Черная магия» Холмушина. Там говорилось, что нужно натереть руку яичным желтком, смазать клеем и посыпать «одной частью крупно истолченного порошка осолодки». Я так и сделал в точности. Затем накалил легонько самоварные щипцы и приложил к ладони. В комнате запахло горящим мясом, и хозяйка прибежала на мой вопль. Я мочил руку в простокваше. Хозяйка, поджав тощими руками живот, соболезнующе смотрела на меня и на испорченную простоквашу. Мне тоже было жаль простоквашу. Я был голоден и думал с презрением, что только наружные и внезапные мои страдания заставили хозяйку пожертвовать мне простоквашу.

Один раз в три дня меня кормили обедом в монастыре, что стоял над зеленым Тоболом. Были в монастыре зеленые колокола и откормленные сизые голуби, на которых облизывались кошки и я. Между прочим, все, что я видел тогда, мне хотелось съесть или выменять на съедобное. Монах, наливавший мне в деревянную чашку постных щей, спросил:

— Занозил, что ли? — и добавил с любовью: — Не из плотников?

— Итальянская гангрена,— ответил я с пересохшим горлом.

Монах умилился глазами. От жалости и от удивления дал мне лишний ломоть хлеба.

— В Италии-то, — сказал он с презрением и любопытством,— совсем, говорят, нету деревянных домов?

— Окончательно,— подтвердил я,— камень и вулканическая лава.

— Выходит,— спросил он с легким страхом,— там и плотников нету?

— Тебя как зовут-то? — спросил я.

— Евсей в пострижении буду.

— Плотник, что ли?

Монах обрадовался, положил мне еще ломоть. Подобрал полы подрясника с замасленной скамьи.

— Как же, как же... пермской я, пермской. У нас там все святители кельи рубили! Христос ведь тоже плотником был.

Евсей низко наклонился ко мне, сунул еще ломоть и тихонько спросил:

— Ты вот книги, поди, читаешь: потому — очки. А не прописано там где-нибудь, действовал Христос фуганком или топором все чесал?

Я промолчал, а после обеда Евсей отозвал меня в сторону, к монастырским воротам, где выли слепцы и ерзались жирные голуби.

«Поди, парень,— подумал я,— ты и в бога не веруешь?»

Я был сыт, весел, тайное звание факира выпрямляло мою жизнь, я часто думал об Индии, сочиняя вступительную лекцию к моим опытам. Все же мне не хотелось обижать хлебосольного Евсея, видимо, ушедшего в монастырь только потому, что и Христос был плотником.

— Ты в театре был когда-нибудь, отец? Ну, на представленье?

— Не доводилось.

— Я тебе билет дам, Евсей!

— А ты что там робить-то будешь?

— Огонь глотать и тело колоть без боли...

Евсей отшатнулся. Серенький истрепанный подрясник сразу стал светлее его конопатого лица. И бороденка так резко выделилась, будто выстругали ее. Руки были у него легкие, но все-таки он не мог их поднять, чтобы перекреститься.

— Сатана-а,— прошептал он,— ты чего смущаешь меня, сатана неверующий! — Затем он выпрямился, кинул вперед руки и глухо проговорил: — Я не зрю, зачем я тебе надобен, а я тебя обличу. Иль ты меня бога лишить хочешь? Бога я тебе не отдам. Ты хитришь, сатана!

Он вытянул легкую свою руку, я вложил туда контрамарку и ушел.

Едва появились на дощатых заборах широкие мои афиши, как в номерах, где стоял Пудожгорский, обнаружились какие-то ветхие старушки, желавшие меня видеть — мага, чародея и отгадывателя. Пришел чиновник из уездного казначейства, просчитавшийся на пятьсот рублей и желавший узнать, вернут ли их. Пудожгорский взял с него рубль и сказал, что ответ будет завтра письменный. Являлись барышни за приворотным зельем. Любопытствующий купец, желавший знать: какова на вкус в Индии водка и почем бутылка, и успеет ли он ее выписать к своим именинам. Сердце мое билось так же быстро, как моя слава. И, как сердце, бились в кассе билеты.

Мальчишки, ловившие на железные обручи, обтянутые сеткой, раков из Тобола, думали ли они, что угрюмый человек, сидевший на яру над ними и тупо перелистывавший «Магию», есть тот знаменитый факир, чья молниеносная слава всколыхнула тихий городок?

Нас теперь трудно удивить. Как правило, мы перестали быть наивными. В последний раз я видел удивление на улице — это когда стали продавать свободно черный хлеб и еще, позже, когда из Бухары привезли в Москву слона. Но и то удивление было такого сорта: «Что, мол, слоны? Через год у нас сотня слонов от него расплодится. Только удивительно то, к чему бы нам слоны?»

Тогда были другие времена. Времена хуже, но смешнее. Я теперь горд и высокомерен и тоже научился не удивляться. Мне даже не умилительно вспомнить, как я мазал коричневым гримом лицо, навязал на голову зеленую повязку, пахнувшую клопами, ноги мои прикрывались кумачовыми штанами, вправленными в кавказские сапоги. Пудожгорский, заикаясь и подмигивая глазом, похожим на букву «з», хвастался сбором. Рядом с гримом на опрятной тарелке, вычищенные мелом, отвратительно блестели громадные шпильки. Тут же украшенные петлями из выцветших лент с остатками запаха гелиотропа лежали гирьки «от одного до трех фунтов». Были тут и немецкие шпаги, и факел, и бензин, и ножи в обруче, через который я должен прыгать.

На сцене оркестр вольно-пожарного общества пил водку, закусывая печеными яйцами, и пальцами пробовал: настроены ли инструменты. Инструменты были духовые, и мне казалось, что музыканты вместе со мной понимают, что ничего из нашего представления не выйдет. Завтра на меня весь город будет показывать пальцами, мальчишки хриплыми осенними голосами будут орать: «Факир-р, стерва-а!..» Мальчишкам забавно, что к обтрепанным штанишкам вязнут осенние листья, а мне эта осенняя слякотная лирика давно надоела, я хочу хорошего жирного супа с клецками, папирос «двадцать штук семь копеек» и грубую книгу, которая бы над многим смеялась.

Флейтист, достаточно пьяный и мудрый, вошел ко мне и, взяв тяжелый звонок, ударил три раза. Он выматерил Пудожгорского, пытавшегося еще продать лишний десяток билетов.

Занавес, изгрызенный мышами и продырявленный пальцами драматических любителей, наблюдавших за сборами и за знакомыми барышнями, занавес, дергаясь со всей нервностью любителя, поднялся. Пудожгорский — во фраке и с бумажным цветком, половина которого отпала, чему публика беззлобно ухмылялась, с любопытством наблюдая, как во все время чтения Пудожгорский топчет этот цветок, причем выяснилось, что вместо лаковых ботинок на Пудожгорском новые резиновые галоши. Я не помню, что читал Пудожгорский, что пели после него и как жарко и душно было в зале. Я не трусил. Я помню отчетливо, что у меня было страстное желание не запнуться о кулису. Почему я боялся запнуться — не знаю. Может быть, грохот переставляемых декораций остался еще в моих ушах.

— Вы готовы?

По случаю парадного такого выступления Пудожгорский даже билетерам говорил «вы». И при этом еще картавил.

Я отложил шпагу с ненавистными тремя кнопочками из слоновой кости, вспомнил, что кровать моя скрипела со свистом, напоминавшим сверчка, и ответил:

— Сверчок.

Пудожгорский подумал, что так и нужно, крепко пожал мою руку и подтвердил с убеждением:

— Действительно, сверчок.

Вступительная речь моя (я помню ее от слова до слова) начиналась так:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Прежде чем начать свои опыты, я должен вам сказать, откуда и когда появились на земле факиры. В далекие, далекие времена жил на земле воинственный народ — индийцы. У них был обычай: прежде чем принимать молодого человека в войско, его подвергали различным пыткам и истязаниям. Например, надевали на голову мешок с живыми муравьями и с пением девушек обводили вокруг селения...

Дальше я говорил, что в моих опытах нет никакой магии или тайн и что тут дело только в личном гипнотизме, в силе воли, перешедшей к нам от индусов.

— Музыка, ма-аэш!..— неистово картавя, закричал Пудожгорский.

Я показал по рядам зрителей шпагу без белых кнопок, вернулся к своему столу, стал обтирать руки

полотенцем и затем прикрыл им шпагу. Затем взял ту, что с кнопками, и, конечно, без труда удержал во рту рукоятку с лезвиями, аккуратно ушедшими внутрь рукоятки. Затем кнопки давил наоборот, и лезвия выходили обратно. Прыгал еще в деревянное колесо, уставленное с боков ножами, лезвиями *от меня*, так что если бы я задел нож, он, слабо укрепленный, просто бы выпал прочь из колеса. Но прыгать — это не сложно, нужно только упорство и чтоб тело твое привыкло из секунды в секунду повторять одно и то же движение. Позже я прыгал в это колесо так же беззаботно, как надеваю очки. Огонь глотать... и хотя сейчас трудно достать книжку по магии и Госиздат не занимается таким доходным делом, но мне рассказывать о магии не хочется.

Я устал, и пот выступил у меня на шее. Я боялся больше всего пота. Мускулы тогда скользят под пальцами, сам себя чувствуешь рыбой. Я выпрямился и начал считать, сколько народа сидит в первом ряду. Насчитал восемнадцать. Сколько мужчин и женщин? Попробовал их оженить, развеселился, и пот схлынул.

До этого случая я на сцене был однажды. В Павлодаре был цирк, и я вышел бороться любителем. Меня борец положил в пять секунд, шлепнул по заду и сказал: «Туда же лезешь, сопля. На ногах научись стоять прежде».

Нет у меня и сейчас любви к сцене. Пьяные музыканты ревели «На сопках Манчжурии», я наполнен был ненавистью и отвращением к этим гремящим трубам. Зал вонял вареным мясом и невыполненными людскими желаниями. Гремели громадные каблуки о деревянные полы, и мне, должно быть, казалось, что эту первую иголку, которую я должен воткнуть себе в грудь, втыкают эти гремящие каблуки.

Я не помню, думал ли я так,— едва ли. Помню ясно: тонкая слюноточивая боль ударила мне в веки, головка булавки запрыгала у меня в руках, я дрогнул было, но, взглянув на эти восемнадцать морд первого ряда, тупо, сладострастно, с верой в мою волю глядящих на меня,— я еще глубже воткнул в тело булавку. «Только бы не проткнуть артерии,— непрестанно повторял я,— только бы не проткнуть артерии...» Вот розовый язычок стали вылез из моего мяса, через мою кожу и, лениво-розовато блестя, пополз дальше.

Кусок груди величиною со спичечную коробку был проткнут насквозь.

Я даже почувствовал какую-то гордость и взял быстро другую булавку. Щеки мои горели, и рот пересох, но мне нужно было спешить. Пудожгорский глядел на меня из-за кулис с недоумением, и я понял, что забыл улыбнуться. Я стыдливо улыбнулся. Ряды захлопали, и я на мгновение подумал, что моей улыбке... Нет, это уже третья булавка была в моей груди, и я брал фунтовую гирю, чтобы подвесить на булавку. И тогда-то седая вековечная боль ударила мне в затылок и расплавилась по спинному мозгу. Мне показалось, что грудь моя сорвана, и кровь хлынула. Я совсем не чувствовал тяжести гирьки, казалось, что громадный гвоздь идет в ребра. Я понимал, что вспотею от боли. А нельзя, может быть заражение крови. Я начал считать людей в первом ряду. Я не мог их увидеть, и тут, схватив тарелку, я быстро стиснул зубы и забыл про улыбку — неизменную цирковую улыбку, о которой тупоголовые идиоты так сожалеют, не понимая, что улыбка, это — торжество над собой и единственная награда своему телу, ибо, когда улыбаешься — действительно бывает теплей.

Так вот, оскорбляя самого себя, я без улыбки с наглым упрямством и гордостью начал втыкать в тело булавки и навешивать на них гирьки.

Ряды кричали:

— Довольно, довольно-о!..

Какая-то белокурая чиновница упала в обморок, и никто не хотел ее выносить.

Тогда я выпрямился. Улыбнулся, насколько позволяли проткнутые щеки, и пошел вниз по ступенькам в зал.

Я прошел пять рядов и в шестом, направо, увидал рубленую бородку Евсея. Бороденка была вся потная. Глаза с распухшими веками отвернулись от меня. Он взмахнул руками.

В реве ладоней я не услыхал, что крикнул он мне. Мне было тошно, и я чувствовал, что весь рот наполнен кровью.

Я почему-то снял сначала самые легкие гирьки и вытащил булавки, которыми были проткнуты мускулы рук. Ушел в уборную и торопливо плюнул в полотенце. Нет, мне почудилось, крови во рту не было.

— Болит? — спросил Пудожгорский, пересчитывавший кассу.

— Не очень.

— Привычка. У меня тоже... Ишь негодяи, трехрублевку фальшивую подсунули. Мне жена говорила, рожать тоже страшно больно.

Он посмотрел поверх моей головы.

Позже, когда Пудожгорский отсчитал мне за выступление, в уборную пришел доктор Воскресенский: у него было всезнающее лысое лицо, он был членом общества любителей мироведения и очень интересовался Сатурном.

— Ну, конечно, вы извините меня,— сказал он,— я же думал — вы наркоман, и отказался дать вам рецепт на кокаин. Смотрю на ваше страдающее лицо и ругаю сам себя: кокаин умиротворяет боль, а вы работаете без кокаина.

— Никакой боли у меня не было,— сказал я, выпивая третий стакан воды,— вам везде кажется боль. А дело в самогипнозе. Кокаин же мне нужен был для дизенфекции стали. Впрочем, я его достал и без вас...

— В нашем городе все можно достать,— ответил доктор с уверенностью.— Я вам про историю с Сатурном не рассказывал?.. Как мы без трубы...

— Мне некогда,— сказал я, натирая незаметно под шалью грудь йодом,— но все-таки расскажите.

Всезнающий доктор сел рядом и полтора часа рассказывал мне о Сатурне. Пудожгорский написал афишу о следующем представлении: «Масса новых номеров всемирно известного факира и дервиша...» Мне нужно было попросить у доктора рецепт на кокаин, но я ненавидел его всезнающую физиономию, его гуттаперчевый воротничок и длинный ноготь на мизинце; я знал, что ничего не скажу ему, и опять стальные иголки, не обезвреженные кокаином, вопьются в мое тело...

И я мечтал вместе с ним, что хорошо бы побывать в Пулковской обсерватории...

Наконец доктор Воскресенский убедился, насколько он умнее меня. Ему скучно стало разговаривать со мной.

Деревянные перила крыльца, мохнатые и пахнущие сыростью, последний раз затряслись от удара ладоней самоуверенного доктора. Пахнущий вином и ветром лист прилип к моему виску.

А я знал, что у ворот меня поджидает Евсей. Под тусклым фонарем я мог рассмотреть обрызганные грязью полы его подрясника. Он успел уже переодеться — должно быть, в монашеском одеянии ему было веселее.

— Я тебя понимаю,— схватив меня горячей рукой, выговорил Евсей.— Я тебя насквозь, как топор, понимаю. Я тебе раны-то смазать, может, деревянного масла принесу. Ты, брат... кабы ты в бога верил, ты бы апостолом, по крайней мере, был. Я тебе в глаза смотрел,— не сатанинские у тебя глаза... Смотрю — и думаю: тошная наша жизнь, пыльная. И скучно мне стало, парень... Раны твои смазать целительного масла принесу...

Масло я его не взял, а довелось Евсею оставить в моих руках свою душу. Был он сначала плотником по постройке нашего компанейского балагана на Славгородской ярмарке, а на Кулунду он поехал клоуном, в долине Рок-Сая был джигитом и сватом, и веселую историю его женитьбы, случившуюся на Семиреченском тракте, я расскажу позже.

1925

ПОСЛЕДНЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ФАКИРА

I

Факир Бен-Али-Бей, шедший от озера Иссык-Куль в благословенную Фергану, встретил на перевале Лаук-Капе караван торговца шелками и кожами Меркурия Алексеевича Засекина. Горы, как долгий сон, надсадили глаза факира, он тосковал о равнинах, о пшеничных полях и медленном русском солнце. Собой факир был тощ, большеголовый, с длинными темно-русыми волосами, говорил немного запинаясь, не от застенчивости, а от гордости: ему казалось, что надо говорить умно, красиво и слегка туманно,— но это редко выходило. А торговец Меркурий Засекин сидел против него у костра, белокурый, курчавый, начавший немного полнеть, и видно было, что купец верит себе, своему счастью, что слов у него приготовлено на всю жизнь, едет он в Джунгарию один с тремя проводниками киргизами и ничего не боится. Так же бесстрашно, накопив тысяч пять-шесть денег, перейдет он со своей торговлей в Нижний и настроит вокруг своего тела каменных амбаров, набьет их кожами и шелками и с людьми, которые настроили ему амбары, будет обращаться надменно и нагло, как завоеватель. Подальше от костра сидели оборванные киргизы, варили в двух котлах мясо: одно пожирнее, грудинку — хозяину, другое, голову — себе. Киргизы жевали табак, сплевывая огромные плевки прямо на скалы, отвесной громадной стеной стоящие рядом с ними. Влево, подле обрыва, бродили ленивые пышноглазые яки, и глубоко где-то тосковал в камнях поток.

— А жизнь-то у вас все-таки тяжелая,— сказал факир.

Он говорил так всем, и все сразу делались если не добрее, то разговорчивее. Сейчас от этих слов он ничего не ждал, сказал их больше по привычке,— но вдруг Засекин мягким голосом приказал налить ему сурпы из

своего котла. Желтые маслянистые отразились в деревянной ложке последние скалы, так как солнце уходило; теплая, наполненная запахами ореховых деревьев, поднималась на перевал ферганская ночь.

— И верно говорите,— сказал быстро купец.— Торгуешь-торгуешь среди этих немаканых, можешь и тысячу голов наторговать, погонишь через перевалы к себе, а тут — на́ тебе! — буран с белков хватит, да и в полчаса сдует тебе все тысячи в пропасть.

— Правильно,— подтвердил, немного запинаясь (думая о своем), факир,— смерть и любовь — как сучок сквозь стену глядят. Женаты вы?

Купец ответил сухо, коротко, самоуверенно. Факиру не хотелось его расспрашивать. Но вдруг купец достал водку, выпил — факира не угостил — и, долго, молча одергивая чесучовую рубаху, смотрел в костер, — и видно было: не о тысяче голов, сметенных бураном в пропасть, думает он. Неистово, дребезжаще заржал привязанный на выстойку конь. Купец схватил кнут, губы заблестели, словно заняв все лицо. Он долго, вытянувшись и вздрагивая локтями после каждого удара, бил коня. А когда широкая спокойная грудь торговца показалась у костра, факир развязал свой мешок, сказал, что покажет теперь на сон грядущий несколько фокусов, достал длинную иглу, обтер и, глядя на огонь, медленно проколол насквозь немного повыше локтя руку. Меркурий Засекин крякнул, выпил водки, факир отказался пить, и тогда купец, вспоминая какие-то затерянные слова, сказал тихо и почтительно:

— Человек — будто седло: то тебе выше лошади, то ниже собаки... Так как вы из Индии идете и, конечно, многие тайны тайных прошли, — можете ли вы судьбу мою определить и особенно семейную жизнь?

Купец, конечно, не верил, что факир идет из Индии, но ему было приятно думать, что существует страна, где страдания понимают сразу и умеют лечить; где, для того чтоб высказать свои страдания, не нужно даже напиваться и где над человеком нет незнакомых и бешеных скал; где тысячи лун, отражающихся в потоке, хотя и похожи на здешние луны, и поток такой же, как и здесь, но луны принадлежат руке человека, как четки. Факир, устав от долгого ужина, широкого пламени костра и пронзительной боли проколотой руки, немного растроганно и немного злясь, подумал, что любовь — как

земля, — нет ничего жирнее, — и что в пустыне ли, в горах ли, в плодоносной ли равнине — одни страдания у людей. И купец стал скучен ему, и он быстро, как цыганка, сказал, что ждет купца в торговле невиданная удача, дома суждена верность жены и горячая постель и что не придется ему из-за такого счастья гонять караваны в пустыню. Проговорив это, факир раскаялся, и ему захотелось уйти, но купец засуетился, постелил ему кошму и долго рассказывал о любви какого-то приказчика к генеральше,— и надо было понимать, что он, купец Засекин, одновременно и приказчик и генерал. История была смутная, изобиловавшая почему-то попойками, и факир вздремнул. Кусты арчи — светлые и косматые,— упершиеся в кошму, пахли медом. Один конец кошмы падал на скалу, и скала была горячая и чем-то напоминала утюг. Забывшись, должно быть, купец схватил факира за руку, повыше локтя,— и факир вскочил. Купец строго сказал:

— Извиняюсь. Я ж говорю, я не верю вам. Вот вы человек чужой и еще идете из Индии, к тому же русский, а русскому человеку много дозволено. Зайдите вы в мой дом, письма к братьям занесите и проследите, как вообще...

— Хозяйство?

Купец вздохнул и совсем низко наклонился к лицу факира.

— Кабы в хозяйстве жизнь? Я ж вам верю — про хозяйство. Жена у меня веселая, легкая, вполне возможно ваше предсказание. Зайдите и проверьте, правильно ли предсказали. И ей скажите, что Меркурий Алексеич-то тоже герой, в Индию собирается,— он глотнул воздуха,— и очень может быть, что все факирские науки пройдет. Мне, если надоест дожидаться, письмо оставьте на почте, до востребования... так, мол, и так... сбылись предсказания. Следите, ради Христа!..— И он совсем шепотом добавил: — У меня душа-то — чисто свинья: ничего не болит, а все стонет.

Письмо, данное купцом, факир захотел было порвать, но ему казалось, что с письмом входить в чужой город все-таки легче, и он оставил.

Среднеазиатские городки похожи на грязный конский хвост, и словно в него вплетена шелковая лента. Плещутся на солнце, как хвост, плоские мазанки, узенькие улички, где, кажется, невозможно раскрыть спичеч-

ную коробку; вонючие базары, звенящие ослиным ревом,— и вдруг вы видите широкий проспект. Проспект аккуратно обсажен тополями; по бокам опрятные белые домики — и в них альпаговые кителя чиновников и тонкие платья чиновниц и купчих. В Текинске было общественное собрание — сад и сцена, и подле — номера для приезжающих. Факир остановился в этих номерах. Хозяин их оказался одновременно и владельцем типографии. Летом заказов нет, номера пустуют, любимая поговорка у типографщика была: «Душа — будто ставень: то к свету идет, то от света, то к риску, то от риска», и типографщик дал факиру денег — под проценты — на устройство представления. Афишу типографщик писал сам и очень настаивал, что нужно крупно, трехквадратным шрифтом поставить строку: «гвоздь сезона».

— У нас такой риск любят,— добавил он, и факир согласился на «гвоздь сезона».

Типографщик знал, сколько давать денег: после всех расходов у факира остался только полтинник, он купил зимнюю чарджуйскую дыню. Сразу запахом песка и ветра дыня наполнила узкую комнату факира; широкое, не входившее в стекла солнце плавило подоконник, а за перегородкой с утра какой-то новый постоялец соблазнял невинную девицу. Соблазняемая, не то полька, не то еврейка, необычайно визгливым голосом в самые патетические минуты, когда чиновник храпел и задыхался от страсти, вскрикивала: «Ой, пане, крест мне поможет, не рвитесь, мамуся убьет за такую обиду...» Трудно быть торжественным при такой дыне и таком солнце, и, катаясь по шаткой кровати, факир хохотал. Хохотали и за перегородкой; затем бас говорил: «Убери Христа!» — и вновь подымалась возня.

Со скуки и от жары факир съел почти всю дыню. Потом он достал письмо купца Засекина к своим братьям. Мятый синий конверт пахнул салом. Факир не мог решить — нести или не нести письмо. Пришло в голову, что не вредно бы привлечь к продаже билетов купцов... вспомнился напуганный голос Меркурия Алексеевича и пегий конь, мечущийся на сыромятном ремне...

Но здесь в дверь постучали, и факир очень удивился: все и всегда входили в его дверь без стука. Он вспомнил читанные книги и деревянным голосом сказал: «Войдите!» И вот вошел низенький с какими-то выпуклыми,

словно пришитыми плечами и в то же время чем-то похожий на булавку человек. Все в нем было многозначительно и непроницаемо: мелкие тревожные жесты, серенький костюмчик (чистенький и в то же время в морщинках), зелененькая кепочка и тросточка с оловянным набалдашником. Поспешно и многозначительно он подхватил стул; быстро придвинулся к кровати (факир не успел еще ног спустить, да его смущала теперь непрекращающаяся возня за стенкой) и с лучезарной тревогой в глазах забормотал:

— Слышал, как же, слышал о вас, по всей России слух идет, уважаемый коллега. Сняли на воскресенье? А в воскресенье-то, правильно-с, открытие конской ярмарки, купцы съезжаются. Сбор обеспечен, конечно. Не с завистью говорю, а с уважением к вашей проницательности. Я сам импрессарио и тренер. Я сам везу в Москву знаменитого тибетского борца и атлета Дуэн-Хэ. В эту зиму он победил Зайкина, в следующее лето будет чемпион мира. А, плохо? Предлагаю пай — вам отчисляю сорок процентов сбора, чистого. У меня — клише. Его. Любимого его яка. Далай-Ламы. Виды Лхассы. Предварительную лекцию о Тибете... Да ну ее! Лекцию не разрешат. Одним словом, я все устраиваю — и в воскресенье совместный вечер. Кончено. А?

— Дайте ботинки надеть,— растерянно глядя на босые ноги, сказал факир.

— Ничего, ничего, ухожу звонить!.. Я сам все. Дуэн-Хэ не общителен, но вы его увидите... завтра. Чай приходите пить... по-тибетски. Где вам одному выдержать программу!

Он многозначительно тронул факира за нос и отпрыгнул. Услышав стон за перегородкой, поднял тоненький палец и, поняв, милостиво и нежно улыбнулся:

— Стихия!..

И от этой улыбки факир еще больше растерялся. А человечек на цыпочках, тихонько притворив дверь, выскользнул. Факир кинулся за ним. Черненькая девушка в измятой кофточке и с мокрыми волосами, держа в руках точеное из кости распятие, рванулась из дверей соседнего номера. Длинная красная рука за плечо втянула ее обратно. Антрепренер исчез, и многозначительная тишина, казалось, осталась от него в узком, с запахом клопов и керосина, коридоре.

II

Ничем не пахло от антрепренера, везущего знаменитого тибетского атлета; однако факиру все время казалось, что антрепренер пахнет прогорклым гусиным салом. Часто облизывая серым искусанным языком узкие губы, антрепренер, казалось, мял в пальцах каждую строчку афиши:

— Надо бы это крупней выделить... Или лучше это. Вы как думаете?

Суетливость и многозначительность были в каждом его слове.

В небе царила засуха, густые клубы пыли носились над равниной,— антрепренер за два дня до представления побежал в Переселенческое управление узнать погоду. Ему показали барометр, а заодно и уборные, которыми на диво всей Ферганы славилось правление. Не поверив барометру, побежал к какому-то дунганскому колдуну. Колдун гадал ему на бараньих лопатках. Фамилия у антрепренера была Чибаков, и скоро он непереносно надоел факиру. Мир для девятнадцати лет, которыми обладал факир, представлялся огромным и чистым и был словно весь наполнен водопадами, так что хотелось кричать в полный голос. Чибаков же сидел где-нибудь рядышком, стараясь занять краешек, облизывал губки и смотрел так внимательно, будто рассматривал каждый волосок в отдельности, а замечал и говорил все о пустяках, вроде того, что, мол, на столе заржавело перо, тупым карандашом писать не экономно, а увидав следы клопов, обрадовался даже. Оказалось, что он необыкновенно искусно и дешево выводит клопов. Афишу вместо заказанного размера хотел уменьшить наполовину. «К чему торжество? В таком городе и без афиши прекрасно можно обойтись»,— а сам никак не хотел поверить, что возможно наполнить не слишком-то большой зал общественного собрания. Факир не верил, что Чибаков мог вывезти гиганта (девять с четвертью пудов значилось в афише) Дуэн-Хэ из Тибета. Невежествен был Чибаков до крайности (в афишу он все хотел вставить «концерт-представление», что значило, по его мнению, «благородное представление»), а факир много читал и, проверяя Чибакова, видел, что тот не врет и все проходы — на Тибет от Иссык-Куля мимо Хан-Тенгри и дальше — знает в совершенстве. Иногда

факир робел от многозначительных подмигиваний Чибакова и в одну из таких минут рассказал о храбром купце Засекине и даже зачем-то упомянул о письме. Чибаков заметался, выпросил письмо, несколько раз прочел — сначала близко от глаз, затем подальше, пощупал бумагу и, передав факиру, велел прочесть письмо вслух.

— Подписать тут места нет? Вроде того, мол, что выдать подателю сего... сто рублей... и коня.— Взглянул на руки факира и даже каблуками ударил в пол.— Все шучу, насквозь шучу! Шутку понимать нужно, а я у тибетцев шуткам научился. — Он поднял кверху палец и вдруг вырвал письмо. — Вы не беспокойтесь, молодой человек приятной наружности, семь верст в окружности; я это письмишко сам братеникам отдам и разговоры деликатные поведу за вас. А чтоб насчет удовольствия — доставить купцу переписку «до востребования» насчет бабешки, ваше дело. Сплошь ваше дело, так как... — Чибаков на цыпочках, необыкновенно оживленный, подскочил к факиру и, чмокнув губами, крикнул ему в ухо: — Любви-то... Любви-то, молодой человек... — Затем отпрыгнул на цыпочках опять же к двери и, присев, зачем-то просвистал в дверную ручку: — ...как солнца — ни обшагать, ни объехать. — Указал пальцем на соседний номер: — Там тишина, спят. Чего и вам желаю, — и скрылся.

А факиру стало тоскливо: в соседнем номере действительно счастливо спали второй день, и это даже суетливого хозяина номеров не беспокоило.

Утром, по словам Чибакова, атлет Дуэн-Хэ упражнялся с гирями. Факиру пришла было мысль пойти взглянуть на эти упражнения, он спустил ноги, поднял ботинок. Шнурок ботинка показался ему необычайно пыльным; факир уронил ботинок да так и провалялся пару суток на кровати. Под конец тоска нещадно завладела его сердцем, и, когда оказалось, что луны нет и надо зажигать лампу, он неизвестно чему сильно обрадовался, и даже кашель его охватил. Кашляя, хохоча и сморкаясь, стоял он над лампой — спичка все не могла попасть на коробок. И тогда он услышал за спиной растерянный голос:

— Ты что ж, старый хрыч, жизнь мою портишь?

Факир шаркнул спичкой по ладони раз, другой...

На женщине был длинный, какой-то необычайной белизны (должно быть, голубой днем) платок, и больше нельзя было рассмотреть, и тут только факир заметил,

что окно его густо забито ветвями тополя. У листьев тоже растерянный голос. Факир раскрыл окно. Женщина крупно шагнула вперед. И голос ее, и шаги, и руки под платком — все было напряженно и в то же время растерянно. Она, видимо, злилась (и приходилось ли ей испытывать злость раньше?) и слова, казалось, говорила не свои, а какие-то найденные, чужие.

— Ты что ж там в горах мужу наворожил? Это про что он в письме братьям пишет, и какого такого сморчка за мной целый день гоняешь? Господи! В церковь к обедне пошла — стоит; в лавке — стоит; на лошадях поехала — так ведь коней обгоняет, коням на морды, как собака, готов кинуться. Тебе, что ж, деньги от меня нужны, что ли... дядя?

И в голосе ее было столько презрения, что факир впервые почувствовал ничтожное свое место в жизни, и мир с тех дней стал ссыхаться вокруг него, как брошенная на солнце кожа.

Факир опустился на кровать,— спичка все еще была в его пальцах. Опять, который раз уже в эти дни, он услыхал о любви. Оренбургский платок резко колыхнулся: женщина тихо рассмеялась — для легкости, наверное.

— У меня ведь... дедушка, сердце-то робкое, как цыпленок. Я, поди, и десять лет теперь не пойму — откуда у меня столь храбрости явилось к тебе прийти? А ведь пришла... Я ведь всего боюсь: туча на небе — боюсь; а туч нету — тоже страшно. Я и Меркурия-то Алексеевича тем и взяла... цыпленком зовет. Мои родители-то бедные; отец в казначействе чиновником; дочь я одна — теперь семья-то и довольна. Хм... и... любовь-то будто репа: в землю блошкой, а из земли лукошкой. Когда выходила, было легко, а теперь, как дошла до самого его сердца, страшно. Хозяйство большое — младшие братья со двора изжить хотят. «Меркурий Алексеевич-то, говорят, из-за тебя торговлю разлюбил, хочет ехать в Нижний». А счастья с места на место не перетащишь — это тебе не кошель. Братья, голубь, опасаются, а Меркурий Алексеевич-то бесстрашный, он готов на все... Теперь он заместо прибылей про горы индийские написал да про меня... в письме-то. Ты, дедушка, не пугайся: я это вначале крикнула на тебя, чтоб полегче мне было разговаривать,— а вот теперь мне опять страшно — и ты вот молчишь.

А факир действительно молчал. Он и спичку выпустил, чтоб как-нибудь по ошибке не вспыхнула.

Слова ее были пустяковые и даже банальные. Но тогда факиру было девятнадцать лет; он привык в темные ночи видеть сны, наполненные дневным светом, а теперешний разговор и то, что его несколько раз называли дедушкой, и тьма ночная, настоящая, нескончаемая тьма, набавила ему полстолетия, и слова ее потрясли его.

И он молчал. Она легонько тронула его руку. И тогда факиру захотелось рассмеяться — и над собой, и над глупой бабешкой, принявшей его за старика, и он басом проговорил:

— Женщина, иди и не греши.

Кому известно, что вызвали в ее душе эти слова? Она, наверное, забыла, откуда они, но они словно смяли ее. Она метнулась по комнате, тяжело задышала и вдруг, казалось — из последних сил, выкрикнула:

— У-у!.. Гнида старая, ничего не узнаешь... ничего!

Она сжала платок и кинула в угол кровати, куда забился факир. Мягкая шерсть, словно проволоками, впилась в потную кожу. Стул упал, и каблуки ее, будто шатаясь, рассыпчато исчезли в коридоре. И сразу же, едва отзвенела дряхлыми стеклами номерная дверь, влетел Чибаков, зажег свечу и, вглядевшись в лицо факира, присел, хлопнул себя по икрам и взвизгнул:

— Прыщик у вас подле носу новый. А мне против прыщей мазь известна! Поговорили? Это что ж такое? Платок. Платочек оставила, сувенирчик тоже. Кладите его, молодой человек, под подушку: в жизни самое ценное мягкость — мягкий хлеб, мягкая перина, мягкая душа. А платочек-то, как юное сердце, в кулачок спрячется... Да ведь я все подле окошка вашего. Хотел вас предупредить, а они раньше меня. И главное — огня не зажгли, в темноте-то разговор всегда полезнее. И ей страшней. Я ей наговорил, что у факира-то, мол, борода до пят, жизнь нашу смешную насквозь видит и даже булавки сквозь тело тычет бесследно, как в ноздри дым. И все время следом, следом...

Чибаков, тиская платок и принюхиваясь, забился с ногами на кровать.

— Про булавки-то я начал... Порой ведь и булавки ценнее пушки бывают... Я вот девочке одной, — тут ря-

дом, никудышняя чиновничья семейка,— так вот я девочке булавочку с бирюзовой головкой подарил, а она мне и рассказала: ныне славная купчиха-то, скотопромышленница-то, Зинаида Григорьевна, в бедности и незамужности будучи, с двоюродным братцем,— из-за тесноты квартиры, не более — рядышком под столом спали, под одним одеялом. Обоим хоть и по семнадцатому году шло, а небось многое друг у друга изучили и многое могло понравиться, потому что двоюродный братец и по сие время продолжает к Зинаиде Григорьевне захаживать. Поняли? Денег не обещала? Надо с нее драть. Драть! Купец — еще неизвестно — заплатит ли, а с нее получим наверняка...

Ветки в окне были пыльные и грязные, по стеклу скреблись упрямо, как мыши. В углах номера факир увидал тоже грязь и мутные петли паутины. Зачем-то вспомнилось, что давно он не ел хорошего горячего обеда.

— Уйдите,— сказал он медленно,— уйдите, Чибаков, с кровати... грязными лапами!..

Чибаков не обиделся, только быстро-быстро стукнул нога об ногу, словно стряхивая грязь, и вскочил... У дверей он остановился, разгладил по косяку какое-то грязное пятно, полюбовался на него, успокоился и сказал многозначительно:

— Без меня вам это дело не обстряпать. А если в честность играть, так попробуйте-ка шаль вот в окно выкинуть. Ну! — возвысил он вдруг голос.— Ну! Не выкинуть! А? — И, выходя, протянул вдруг как-то и испуганно и угрожающе: — Эх вы, тоже, скотопромышленники-и!..

Факир подошел к окну — точно: не мог выкинуть оренбургского платка. И обиднее всего, что не мог подобрать истинную причину, почему он не может выкинуть; причин подбиралось много, как кистей на платке.

III

Текинск лежит на тракте к окружному городу Верному. По тракту гнали стада; в толстых бочонках везли масло, — казалось, маслом пахли жирные пески: мчались возы топорщащихся кож, мертвые бескостные ноги жалко болтались, словно прощаясь со степью. Степь лежала, туго наполненная ветрами и песками; солнце

неслось над нею чужое по травам, как бешеная лошадь. Из птиц один беркут торопливо оголял павшие туши, оставляя кости для песков. Тропы никогда не орошались росами: кости павших животных, обгрызенные пустыней, блестели, как вечная роса.

Караваны, телеги и арбы проходили через Текинск дальше к железной дороге. Купцы, заложив руки за спину, стояли на порогах лавок, и их саманного цвета лица были наполнены таким же дрянным самодовольством, как и их лавки — товарами. Но голая степь с великой радостью прикрывала, как шелком, свою голизну паршивыми московскими ситцами.

Так вот, надо ж было случиться, чтобы среди бочонков масла, тюков изюма, кислых кож и еще более кислых кишок — всей этой вони и воплей, от которых задыхался тракт, попал пробиравшийся в Верный обоз большого цирка. Актеры и кони устали от бешеного солнца; цирк наскоро разбил палатки и решил дать два-три представления в Текинске. Факир и Чибаков увидали на заборе, где рядом с их афишей, указывающей, помимо прочих чудес, на то, что Дуэн-Хэ, великий тибетский борец, едет состязаться в Москву с «русским колоссом Иваном Мухиным», — цирк возвещал, что, кроме прочего, он выпускает на свою арену чемпионат знаменитых борцов под руководством Ивана Мухина, чемпиона мира. Чибаков спиной прикрыл цирковую афишу, трусливо взглянул факиру в рот, но тотчас же обернулся и, злорадно тыча в афишу цирка, нашел пять опечаток.

— А у нас только две! — сказал он торжествующе.— И сборчик-то мы сорвем, наше представление за день вперед. Из-под носа!..

Сажени две в вышину бился на наружных стенах общественного собрания полотняный торс великого тибетского борца Дуэн-Хэ. Бицепсы его были так напряжены и столь прекрасны, что, если б он двинул их в дело, то все пропасти земли засыпал бы он в полчаса. Круглые болотные глаза его не обещали ничего хорошего миру, а шея, темная и огромная, как колесо, казалось, могла выдержать на себе все Тибетское плоскогорье. Несколько мальчишек, потрясенные и наполненные гордостью за человечество, с раннего утра,— тщетно разгребая ногами горячий песок, чтобы охладить хоть немного пятки,— неподвижно стояли перед полотняной громадой. В коридоре собрания теснился говорив-

ший вполголоса обыватель, видимо, не меньше потрясенный сообщениями художника, рисовавшего Дуэн-Хэ. За столиком Чибаков многозначительно продавал билеты. У каждой двери торчало по два билетера — мужчина и женщина. «Мы зайцев всех искореним», — твердил Чибаков всю неделю, и лица у билетеров были такие напряженные, словно они только что вступили в сыщики.

— Где же Дуэн-Хэ? — спросил факир.

— Молоко пьет, — поспешно ответил Чибаков громко, во весь голос, добавивши: — Каждый день по ведру молока выпивает. Вы к занавеси пройдите, там для обозрения любопытствующих гирьки его лежат. В чистоте-то какой, не говоря уже о весе.

Действительно, перед занавесью, за рампой, там, где обычно сидят музыканты, был настлан помост из огромных плах-горбылей. В зале оттого пахло сосной, и голоса звучали звонко. На горбылях лежали три штанги, громадные, пудов по десять — пятнадцать. Факир попробовал поднять, но даже и откатить не мог. Несколько громадных, пирамидальной формы, гирь лежало подле. Факир едва оторвал одну из них от полу. «Ну, и детинушка!» — подумал он и неизвестно чему задорно улыбнулся. Также, разве шире, улыбались и мальчишки подле плаката. Но здесь он услышал в коридоре громкие басистые голоса. Перед столиком Чибакова стояло несколько человек с такими толстыми и багровыми шеями, что факир вначале подумал об одинаковых шарфах. Затем он разглядел — туго, до отказа, набитое в белые рубахи мясо. Каждый мускул бродил под рубахой сам по себе, словно кони в распущенном стаде. Волосы начинались прямо от глаз, а их огромные затылки были выразительнее их лиц. «Борцы», — подумал факир и не ошибся. Самый толстый из них, беспомощно теряя бас в синем сукне своей громадной груди, наступал на Чибакова:

— Я ж тот Мухин, с которым едет бороться борец Дуэн-Хэ!.. С которым бороться, я ж должен посмотреть. Едет ко мне, а я ж Мухин...

Чибаков, прижимая к груди билетную книжку, одной ногой упирался в столешницу, над которою ехала гигантская синяя грудь.

— Господа, войдите в мое положение: я не могу его показывать, пока не кончена тренировка. Пока он — дикарь и совершенно необразованный человек. В следую-

щее представление устраивается схватка на пять минут,— к черту залог в пятьсот рублей! — решительная схватка между Дуэн-Хэ и чемпионом мира многоуважаемым Иваном Мухиным. Но сегодня, господа, билетов бесплатно я вам не отпущу. Контрамарки не действительны. Приди сейчас Петр Великий — и того не пустил бы.

При имени Петра Великого колоссальная грудь ослабила натиск на стол; воспользовавшись этим, Чибаков переменил ногу, огляделся и увидел факира.

— Позови полицию, Бен-Бей! Господа борцы без всякого позволения лезут.

Здесь господа борцы пошептались меж собой дикими рокочущими басами. Затем господа борцы полезли в гигантские свои карманы и вытащили необычайно тощие истрепанные бумажники. Увидав свои бумажники, господа борцы пришли в совершенное затруднение, и факир тихо сказал Чибакову:

— Пустили бы вы их!..

Чибаков даже попытался щипнуть за ухо факира.

— Пускай, пускай платят. Я ж их знаю, это не борцы, это надуватели, у них вся борьба сплошь по предварительному сговору. А вот вы посмотрите, им Дуэн-Хэ покажет, как надо бороться. Тут одно дикарское прямодушие, я его даже ни одному европейскому языку не учу, не исключая и русского. Он им пропьет свет да слезы, да-с... А то как самовары — и пищат и дышат, а души нет. Нет...

Факир имел тогда пристрастие к обличительным речам. Понравилась ему и независимость, с которой Чибаков сказал билетерам, похожим на сыщиков:

— Проводите господ борцов на приобретенные ими места. Чемпиона Мухина — тоже на приобретенное...

Чибаков раскрыл вновь билетную книжку, чья-то жирная рука протянула ему рубль, он потянулся было за монетой, но вдруг вскочил, пал животом на билеты, и серенькие глазки его, устремленные на дверь, засияли, запотели. В дверях, среди трех осанистых молодцов, факир увидал белокурую незнакомую женщину. Зеленая китайская шаль и смиренно, и в то же время задорно спускалась с плеча и мела пол. Карие огромные ее глаза робко взглянули на стол, но ресницы ее строго выпрямились, и как бы падающей, знакомой факиру — вернее по звуку — походкой она прошла дальше.

— Пришла. А? Зинаида Григорьевна-то, пришла-с,— хлюпая горлом, сказал Чибаков.— Страху-то, как отцова сундука не поднять. Я ей шепнул, что, мол, на вечере-то знаменье будет показано. Вот вы и... дешевые билеты распроданы, остались от рубля!.. Вы и не упустите...

Он вытянулся к самой голове, и факиру казалось, что он хочет лизнуть его в ухо.

— Денежки небось принесла. Мокрые небось от страха-то денежки, а вы, молодой человек, не побрезгуйте. Вы на нее страху, страху побольше. Лицо-то серым каким-нибудь гримом изобразите. Бороду можно седую наклеить. Освещенье-то у нас керосин, ну, и сам черт не заметит, а что тело молодое — даже хорошо; купчихи стариков с молодыми телами любят.

— Идите вы к черту! — прошептал, краснея, факир.

Чибаков таинственно кашлянул, моргнул — и опять руки его испуганно зашмыгали среди билетов, словно он только что свершил огромную ошибку.

«Смешная тварь — человек! — думал факир.— Вот бы теперь подойти к Зинаиде Григорьевне и просто сказать, что ерунда, мол, досадная ерунда и глупость. Я, мол, не знаю, что вам наболтал Чибаков, — и сам я ничего не понимаю. Любите мужа по-прежнему и будьте с тихой душой». Но факир много прочитал книг со всей доступной им сложностью, советовавших ему впутываться в человеческие отношения; факир верил и знал, как можно переделать людей. Он знал, как нужно поступить с толстыми молодцами в чесучовых пиджаках; один из них — почему-то в дымчатом пенсне — особенно не нравился ему. Не нравилась ему и смущенная гордыня — Зинаида Григорьевна, с презрением думал он о вековом страхе, испытываемом ею перед колдунами. Факир, неизвестно чем гордясь, прошел в свою уборную.

Зрители были те же, что и в остальных степных городках, через которые прошел факир: длинноволосые искатели чудес — не то начетчики, не то изобретатели, не то дьячки; напомаженные приказчики с галантерейно-бакалейными носами; в промежутках между ними шмыгали барышни: их бюсты, наполненные степными соками, неимоверно перли вперед; желтые рты мамаш жадно ловили воздух, наполненный сплетнями и степной похотью, которая, нагло протекая мимо их дочек, направлялась в Шиманиху, в два публичных дома, где за

полтинник расстраивались, казалось бы, прекрасно склеивающиеся супружества. Керосинная вонь мешалась с кислым запахом человеческого тела. Сапоги и туфли воняли ваксой. Шварканье, сап, сморканье, вздохи и зевоту — все это с содроганием и ненавистью слушал в своей уборной факир, высокопарно нанизывая в то же время длинную цепь нелестных мыслей о человечестве.

— К черту! — сказал факир Чибакову.— К черту! — повторил он опять в уборной. Но тут раздался третий звонок, и факир торопливо наклеил седенькую бородку, смазал какой-то противной серой краской лицо и провел под глазами большие коричневые пятна. И когда факир взглянул на себя в зеркало — стало смешно и весело, словно вместо него на сцену должен был ступить другой человек. Было условлено так: первое отделение ведет факир, а во втором тибетский борец Дуэн-Хэ поднимает штанги, ломает на голове рельсы, гнет подковы и пятаки и прочая, и прочая. Гармонисты заиграли «На сопках Манчжурии»: вальс этот везде встречал факира, словно одни и те же музыканты шли с ним. Факир натянул фаевые штаны, на голову напялил зеленый тюрбан, и лицо его от тюрбана неожиданно приобрело испуганное выражение. Факир подмазал черной краской брови.

Зарабатывая целковые, которые ему, в сущности, и не очень нужны были (факир не пил, не курил) и которые он и тратить не умел (однажды неожиданно в Петропавловске факир заработал сто сорок рублей, так он выписал из Германии за сто пятнадцать рублей громадную подзорную трубу. Посмотрел два раза на Марс и со скукой отбросил. Позже приятели продали трубу за восемь с полтиной и пьянствовали на эти деньги двое суток), факир не раз и не два пронизывал грудь огромными булавками; глотая огонь, обжигал до кровавых волдырей рот; а прокалывая раз кожу подле уха, заразился, пришлось делать операцию, и по сие время у него на шее шрам. И факиру обидно было видеть, что гармонист не смотрит на него, а на лады своей гармошки (позже только он узнал, что гармонист слеп). Факиру хотелось посмотреть на свое бесстрашное лицо в зеркале, он высоко задирал брови; великие, но очень смутные мысли осеняли его думы, и, по всей видимости, вид он являл достаточно глупый, ибо у борцов, сидевших во втором ряду, были наполнены величайшей скукой лица, и по зевкам можно было понять, что такой аттракцион в свой

цирк они бы не приняли. Меняя булавки, факир увидал в разрезе кулисы Чибакова. Прижимая к груди деревянный ларчик с билетами и деньгами, он другой рукой показывал факиру прорешку штанов, очевидно, намекая на расстегнувшуюся пуговицу. Факир вышел поправиться и спросил:

— Дуэн-Хэ пришел?

— Обязательно, обязательно. Баранину жрет, подкрепляется, стерва.— Чибаков проверил прорешку.— Здорово вы это... колетесь-то. Прямо как Петр Великий. Вы только гонору больше... и помните? про купчиху! Она в четвертом ряду.

Факиру было тошно вернуться на сцену: зеркало, о котором он думал, и зеленая китайская шаль смешались в его мозгу. Устало путаясь ногами в штангах и скользя по горбылям (запах сосны теперь утомлял его), факир спустился в зал, чтобы показать публике шпагу, которую он должен был «глотать». Зинаида Григорьевна сидела не в четвертом, а в шестом ряду, и факир понял, что Чибаков соврал ему, дабы, не найдя ее в четвертом, факир, слегка разозлившись на нее, искал — и стал смелее. И, помимо воли факира, произошло так, как желал Чибаков. Заметно было, что, увидав факира, Зинаида Григорьевна вздрогнула, зеленая шаль ее упала на колени, и карие глаза ее неподвижно со страхом и ненавистью остановились на двигающейся к ней серенькой бородке. Казалось, она не верила в приклеенную бороду — далекая и тихая улыбка прорвалась было на ее лице; факир наклонился, и ему на мгновение почудилось, что серенькая бородка наполняет его злостью к молодости и ее ошибкам, к ее часто бессмысленному страху. И со стыдом, но в то же время бессмысленно наглея, факир наклонился к ней, слегка тронул белой рукояткой шпаги зеленую ее шаль и сказал вполголоса:

— Извольте шпагу пощупать... вскоре сгодится и вашему братцу.

Ей, воспитанной на приложениях к «Родине», где на дешевенькой серенькой обложке «Тайн венценосцев» были изображены рядом и крестоносец в латах, похожих на ламповый пузырь, и маркиза с буклями, и опричник, — как ей отделить нелепый зеленый тюрбан от блестящей шпаги и кольцеватую бороду от русского носа «картошкой»? В больших прозрачных глазах на

мгновение всем огнем сказки отразились и зеленый тюрбан, и керосиновые лампы, и рукоятка шпаги, и, кажется, даже гармонист, по-прежнему влюбленно приникший к ладам. Сердце у факира сжалось. Он отступил — и обильный пот выступил у него на шее и на груди. «Собака!» — послышался ему вслед ее шепот, но у него не было уже сил обернуться, и когда он стал «глотать» шпагу, он жалел, что номер с прокалыванием тела прошел раньше. Обывателям же номер со шпагами почему-то понравился больше всего, и какой-то молодец в голубой шелковой рубахе выбежал к рампе, порылся в карманах — ничего не нашел, кроме серебряного портсигара. Он неистово крикнул: «Бери!» — кинул портсигар на сцену. Факир поймал портсигар на лету, закурил, — и голубой молодец, упав лицом на горбыли, благодарно зарыдал на весь зал. Оказалось, что он был вдрызг пьян.

Когда брезентовый занавес опустился (да и то не совсем: одна половина его соскочила с положенных путей и уперлась куда-то в кулису), факир сорвал бороденку, швырнул на пол свои булавки — и в кулисных дверях встретил Чибакова. Он был в розовых шелковых штанах, персидских сапогах носками вверх: неожиданно коренастый торс его был неумело вымазан коричневой краской, а в руке он держал оранжевую ленту с множеством медалей.

— Слушайте, что это за опера? — встревоженно воскликнул факир. — Где же Дуэн-Хэ? Вы что же это для лекции перенарядились?

Чибаков прикрыл и опять распахнул дверь. На лице его был испуг и в то же время какая-то загнанная решительность.

— Дуэн-Хэ, то есть еще... то есть... — тихо, скороговоркой, сказал он, — то есть он наелся... Дуэн-Хэ-то и есть — я. Да... Такое недоразумение... Распорядитесь, чтоб штанги, штанги на сцену вкатили!

Факир поднял было кулак. Чибаков неожиданно выпрямился, подставил грудь. Факир опустил кулак.

— Дрянь...

— Дрянь-то себе тело прокалывать не будет. Левей! — крикнул Чибаков трем казакам, выкатывающим из-за занавеса штанги.— Гирю урони! Роняй, говорю!

Он с явным наслаждением послушал грохот упавшей гири.

— Вы борцов — к черту! Борец сволочь — мясо: его жалеть стоит разве? Он тебе в день трех баб переменит: для него любви не существует, молодой человек...

— Что вы ко мне с любовью? При чем тут любовь, когда вы обманываете...

— Любовь, как солнце, в сундук не упрячешь. Да... А борец — сволочь: он все животом да грудью берет, а мужской грудью и воробья не вскормить.

Факир вдруг вспомнил, что где-то он читал, что были случаи, когда мужчины вскармливали детей: нужно только какое-то огромное потрясение. И он зачем-то сказал об этом Чибакову. Чибаков многозначительно подмигнул и, схватив руку факира, крепко пожал ее; выпустил, схватил и еще пожал. «Да что, он меня за дурака считает, что ли?» — растерянно подумал факир.

— На вес попробуйте. Вес-то каков?

Казаки укатили штанги с горбылей за кулисы, а вместо них выкатили другие, но такой же формы и размера. И вот с одной такой штангой в руке Чибаков стоял перед факиром.

— Не желаете? Напрасно. Собственное изобретение. Для осмотра публики выкатываю штанги по шестнадцать пудов, а для работы имею собственный вес... да... шестнадцать фунтов. Окраска и лак на обеих из одной банки. Вот и будут охать, что я шестнадцать пудов поднимаю. Превосходно-с? Вот вам бы тоже изобрести нацепную грудь какую, что ли; и то ведь смотрю я на вас, а вы на самом деле колетесь. Колоться надо умеючи...

Гармонист опять погиб «На сопках Манчжурии».

Казаки, получившие по рублю, делая напряженные лица, перекатывали по сцене штанги. У них были такие глаза, словно они верили, что штанги по шестнадцать пудов.

Факиру тяжело было видеть глаза казаков — и почему-то жалко было самого себя. Он ушел вбок, за кулисы, и «опыты с тяжестями» Дуэн-Хэ видел по тени на полотне кулисы.

Еще было обидно то, что, когда факир выступал, зал был наполнен сопеньем, шипеньем, кашлем,— а теперь, если б не дыхание и не запах человеческого тела, можно было б подумать, что находишься под громадным теплым одеялом. Голова горела, виски стучали; «спать бы»,— вяло думал факир.

Он видел, словно сквозь дремоту, как на серой стене

кулисы показалась громадная тень Дуэн-Хэ. Его необычайно подвижные руки сначала поднимали гири — одну, затем две — и вот три. Треск хлопков заглушил их падение. Дуэн-Хэ продолжал номера: его узкий торс согнулся; он опустился на две табуретки — на одну голову, на другую ногами, сделал «мост». От ног его повисли шаровары — их тень на стене походила на воду, а от плеч отделились тонкие палки, запрокинулись за табурет и медленно подняли с полу громадную штангу. Штанга поползла вперед и выше над тонким трепещущим телом.

А в зале чей-то старческий голос заглушенно, словно из-под одеяла, сказал:

— Фу-ты, какая мразь, а экая силища-то...

— А-а!..— протянул удовлетворенно зал.

И от этих слов, наверное (вместо того чтобы, не спеша, снять с груди штангу и через голову перенести ее на пол), Дуэн-Хэ почувствовал себя борцом и, подобно всем атлетам, кинул с груди штангу через голову на пол.

Вскочил.

Лязгнуло.

Визгливый крик Дуэн-Хэ:

— Занавес!

Грохот стульев.

Бледные казаки, трясущиеся у веревок занавеса.

— Занавес! — опять визг.

Серое полотно кулисы, по которому двигалась тень Дуэн-Хэ, прорвало чем-то тяжелым. Кажется, гармоникой.

— Ой, давят!

Опять визги, вопли, рев басов.

Факир взглянул на сцену.

На сцене вместо штанги валялись лакированные черепки двух разбитых горшков, туго набитых бумагой. Крупная палка, сдерживавшая некогда эти горшки, валялась подле.

Путаясь в кулисах и в рукавах своего пиджака, метался Чибаков.

— Господи, убьют... господи, убьют...— бормотал он. Чибаков наскочил на факира и с визгом, не узнав, отпрыгнул. И тогда факир ринулся в окно.

А в зале уже звенели стекла и двери, ведущие на сцену, выламываемые толпой. «Где вазелин?» — слышал факир последний возглас Чибакова.

Факир запомнил повороты песчаной дорожки в саду, колкую черемуху, клумбу и какой-то мохнатый цветок, вдруг забившийся в штанину. Сад наполнился визгом и грохочущими басами борцов: «Лови!» Факир прыгнул через забор и упал в крапиву, а по ней скатился в канаву. Запахло дымом,— на каланче, рядом, ударили в набат,— и, не помня себя, факир бросился по улицам. Вскочив в номер, он придвинул кровать к двери, а окно зачем-то завесил одеялом.

IV

Так окончил дни свои факир и дервиш Бен-Али-Бей, знаменитый индийский маг и волшебник, и в мир вернулся человек, написавший эти строки. Человек этот плохо понимает факира и даже подсмеивается над ним; он недостоин в Текинске выступить под теперешним своим именем, и поэтому старый наш знакомый сохраняет прежнее звание факира.

V

Пожара в общественном собрании не случилось. Дым почудился факиру. Но тогда факиру приятнее было думать, что шпага его сгорела в огне — так он и рассказывал долго. А теперь он стал спокойнее, и ему весело б было знать, что шпага его значится и по настоящее время в списках реквизита, и общественное собрание именуется: «Клуб имени такого-то». «Крест и попа переживет»,— придумал факир поговорку о своей шпаге.

Для чего понадобился Чибакову вазелин? Почему — вазелин и почему любовь?

Утром, как всегда, пахучая жара наполнила комнату факира. Лень и боль владела его телом, и не хотелось ему думать, что надобно платить за номер, а у него нет даже пиджака, чтобы выйти в коридор: остались лишь нелепые факирские штаны, кавказские желтые сапоги и сверху какой-то выцветший и рваный парчовый халатишко. У печи лежала тяжелая вьюшка; факир привязал к ней ремень, и ему отрадно было смотреть на свое оружие, хотя он и знал, что никого не ударит. Бежать бы! А куда убежишь в факирских штанах? Теперь весь город думает, что и факир такой же обманщик, как Дуэн-Хэ. Несколько раз факир вставал, но, увидав свои

штаны, опять ложился на кровать и со злобой начинал думать о Чибакове. Надо бы пхнуть его к борцам, пускай кулаков да стульев попробует. Булавкой бы его в зад, когда он метался среди кулис, разыскивая вазелин.

И зачем ему вазелин? И куда Чибаков теперь удрал?

Но здесь в дверь раздался знакомый стук. Факир поднял вьюшку. Чибаков тихо приоткрыл дверь и многозначительно сказал:

— Спите? Пора вставать.

Он вошел сконфуженный и сгорбленный. Пальцем отодвинул вьюшку и вздохнул.

— Вы все воюете, а тут сплошные неприятности. Случаи-то в жизни, как солома,— тонкое деревцо, а брюхо наше питает. Прямо не знаю, что и делать... Опять и вам тридцать процентов следует... Хорошо, что я ларчик захватил... Вот я заплачу вам эти тридцать процентиков.

— Сорок,— возразил со злостью факир, ткнув вьюшкой в свои штаны.— Гоните сорок, если пришли, а то я вьюшкой вас по черепу, наряжу в свои штаны и выпущу.

— Привилегии все одни. Не могу я, молодой человек, платить вам сорок процентиков. Я и то из-за любви: хмурилась позавчера, я и скажи, что комбинация скотоводческая есть. С приятелем на паях — тридцать процентов ему, остальное мне. Удастся — сережки куплю. Вот и приказала жена заплатить.

— Жена? Ваша жена?.. Что же вы мне о жене раньше...

Чибаков уныло и вместе с тем гордо посмотрел на факира:

— Я не солнце, чтоб без огня гореть. А не показывал... староверка она... не интересуется. И вообще в ее присутствии прошу не говорить о нашем представлении. Меня и то сегодня черт сунул — сократить, мол, вам выплату процентов, а она говорит: «Приведи самого — хочу воочию убедиться, уплатил ли приятелю». Что я,— мошенник, что ли? Вазелин вчера еле нашел, иначе мог бы домой в краске прибежать.

— А, вазелин!

Факир не верил Чибакову, а тот, по-видимому, сильно не хотел вести его к своей жене. Он положил деньги кучкой на стол и вяло попросил расписочку.

— А с женой как же? — спросил факир.

— Как-нибудь... обойдемся... в расписочке-то свою настоящую фамилию пишите и без указания промысла. Ох!.. Ох, жара-то какая!

— Жара сильная,— подтвердил факир. Он глянул в окно и соврал, что на углу дежурит городовой.

Чибаков отпрыгнул к дверям.

— До нас... до нас...— залепетал он.— Я ж ей говорю: «Бежим — возможно, лошади краденые»,— а она говорит: «С приятелем разочтись».

И тогда факир ехидно спросил:

— Это что ж она вам про Тибет рассказывала? Может быть, и книжки читали, и от нее, как...

— Как! Как! — передразнивая, вдруг взвизгнул Чибаков.— Как река без ног бежит, вот как! Прошу не вмешиваться в семейную жизнь порядочных людей. Вы и так мне все планы сломали. Я из-за вас в полицию попаду!

Но пыл у него скоро прошел, и он уныло сел на кровать, даже не посмотрев в окно.

Коридорный одновременно промышлял на толкучке старьем. Факир наказал Чибакову ждать. Тот без былой многозначительности кивнул головой, но все-таки факир запер его на ключ. Мигом, с небольшой придачей, факир выменял свой колдовской костюм на пару серых штанов и сатинетовую рубашку. Чибаков все в той же позе сидел на кровати: все полыханье, видимо, исчезло у него, и он чуть только скривил лицо, когда факир заявил, что желает видеть его жену. Чибаков, вместо прямого пути, долго водил факира по городским закоулкам. Они прошли через конскую ярмарку,— киргизы совали им в руки повода недоуздков,— и наконец низкая дрянная дверь предстала перед ними. Чибаков молча пхнул ее, и они вошли во двор. Тощая курица сидела на поломанной пыльной арбе, всюду были развешаны грязные тряпки, и на единственном фиговом дереве сушились розовые тиковые подштанники. Сонный текинец поил из гнилой колоды трех лошадей. Увидав лошадей, Чибаков оживился.

— Каковы лошадки-то? А? Пламя!.. Мои! И работник мой.

Лошади были на редкость дрянные, но текинец поклонился ему низко. Дергая ременную ручку двери, Чибаков напомнил факиру:

— Не забудьте, что вы скотопромышленник.
И зачем-то добавил:
— Телеге летом хорошо, саням — зимой, а лошади-то все равно — вози да вози... Так и я.
На коврах в бухарском халате поверх шелковой рубахи лежала жена Чибакова. Увидав незнакомого человека, она не заохала, не вскрикнула, а левой рукой (в правой она держала кусочек халвы) прикрыла халатом выползающую из рубашки громадную грудь с неимоверно черным соском. Потом она подала факиру руку — и факир вспомнил чьи-то слова, что рука на земле всего мягче. Чибаков, увидав руку жены у факира, торопливо сказал:
— Я ему... все заплатил, все, Глашенька!
Глашенька чуть скосила карие с кровавым отливом глаза («Эх, и красота ж!» — подумал факир) и ничего не ответила мужу. А тот как сел на табурет, вытянул голову, словно собираясь ринуться с места по первому приказанию, да так и замер.
— Какая неприятная история с конями вышла-а,— проговорила она протяжно. — Анатолий-то говорит, будто оказалось, что вы продали краденых лошадей-й... и лучше, говорит, уехать подальше от беспокойства. Халвы не хотите?
— Пожалуй,— зачем-то сказал факир.
Чибаков быстро и неприязненно взглянул на него. Глашенька повела головой, и Чибаков помчался к факиру с тарелкой. Факир растерянно взял халву руками.
Глашенька засмеялась в нос (золотое кольцо было на глазах от ее ресниц), и Чибаков подал еще ложку, хотя ложка уже и была на тарелке. От каждого ее движения веяло непреодолимым спокойствием, она, как сосна, всегда была в одном цвете. И сразу вся злость у факира к Чибакову прошла, и ему стало жалко антрепренера Дуэн-Хэ. В лошадях он, конечно, ничего не понимает, и текинец небось дико надувает его. А Глашенька вышла на двор показывать лошадей; Чибаков, очень довольный, что она смотрит коней, выискивал какие-то несуществующие достоинства. Походка у Глашеньки была легкая, и громадное тело свое она несла, как подарок. «Этакая баба,— мелькнуло в голове факира, — не только атлетом, но и богом заставит быть. А главное, поди, и сама не замечает». А она, точно, мно-

гое не замечала. Похвалила лошадей. Кровь ударила в шею факира, залила уши — сладкая до кислоты кровь, — и он подумал, что лошади действительно хороши, что он, может быть, ничего не понимает и что, может быть, надо ему сделаться на самом деле скотопромышленником.

Дальше Глашенька начала говорить о домашности и о том, как ее отец долго не хотел выдавать ее замуж за Анатолия. «Так тебя Анатолием зовут?» — с недоумением подумал факир и чему-то позавидовал.

— При его работе постоянные разъезды, а вот ведь,— пришел милый да, как сон, повалил силой.

И она посмотрела в сторону, и почему-то, несмотря на ее слова, факиру не верилось, что она говорит о Чибакове. Любовь, как рост, — глядеть можно, а не видно. Чибаков вдруг выпрямился, повернул арбу, да так здорово, что сразу видно, что на ней отлично можно ездить, и вдобавок крикнул что-то очень хозяйственное текинцу. Текинец изумился и не возразил.

Факир не спускал с нее глаз, и каждый шаг, казалось ему, делала она с горы к нему. Жара охватывала его все больше и больше. Он попросил воды. Чибаков остановился, взглянул в глаза факира, хихикнул и вместо воды строго приказал текинцу седлать коней. Текинец не спешил, и он ткнул его кнутом в бок. Тюки он таскал сам, но и этого ему показалось мало, и он еще нанял на улице двух киргизов помогать. Торопил он киргизов яростно и все оглядывался на факира и Глашеньку. Она, поглаживая рукой щеку, неподвижно стояла на крыльце, а факир все время хотел что-то сказать и только смог два раза повторить: «Жарко»,— и Глашенька тотчас же подтвердила, что, мол, действительно жара. А когда караван был собран, Чибаков отозвал факира в сторону и пробормотал, весь косясь от злости:

— Да... рыбы звезд не считают... и ехать нам с вами незачем. И глядеть на нее незачем, да... А потом еще, я на почте письмишко оставил купцу Засекину, с брехней, что, мол, Зиночка-то твоя тихая с братцем живет, да и именем вашим письмо-то подчеркнул. Надо вам в этом разобраться, в узорчике-то этом... А?

Глашенька легонько опустилась в седло и, не оборачиваясь, сказала Чибакову протяжно:

— Скоро ты?

— Чичас, чичас,— ответил Чибаков, а она наклонилась с седла к факиру:

— Вы где нас догоните?

Чибаков визгливо, со злорадством, выкрикнул название какого-то фантастического перевала. Стегнул коня, замахнулся было и на Глашеньку, но не посмел. Текинец выпрямил спину и выехал вперед. Караван поднимался по узенькому переулку на холм.

Еще ряд холмов, город останется позади, и подымутся из-за пустыни перед человеком Ферганские горы.

VI

Вначале факир написал купцу Засекину письмо, где говорил, что первое письмо брехня; а какая брехня и что написал Чибаков, да и писал ли он — все перемешалось в голове факира. Он пошел к Зинаиде Григорьевне, и та долго не верила ему, а поверив, вместо смеха, напугалась еще больше.

— Я ведь страх свой, как пчелы узор вышивают без иглы, без шелка, я страх сердцем беру,— добавила она, и факир припомнил слова Чибакова об узорах.

Факир решил остаться до приезда купца и поступил в типографию владельца нумеров. Кассы стояли в сарае, а прежде чем набирать, кассу окатывали водой,— все же раскаленные буквы жгли, как булавки.

VII

Через три месяца кто-то передал факиру, что из Джунгарии приехал купец Засекин — приехал и запил.

Факир пошел к купцу. Меркурий Засекин выбежал к нему с кнутом, пьяный, в изорванной рубахе.

— Ты чем бабу запугал,— испуганно завопил он еще с крыльца,— сволочная твоя жизнь? Чем ты сердце ее испортил, что она от моей любви с двоюродным братцем в Ташкент убежала? Где твои тайны тайных, и для чего ты тело безболезненно колешь? Куда ты направляешься, стерва?.. Чем ты судьбу мою изгадил? Сто-ой!..

Собаки с воем кинулись под ноги факира.

Он оторопело выскочил за ворота, побежал в типографию, схватил у хозяина паспорт и скрылся из города.

1926

ОАЗИС ШЕХР-И-СЕБС

У Али-Акбыра, торговца виноградом из кишлака Шехр-и-Себс, заболела оспой жена Джаланум. Сам Али-Акбыр человек был рослый, красивый, с крашеными по-персидски ногтями. За жену, пять лет тому назад, во время голода и войн, он заплатил большой калым, и не фальшивыми николаевскими деньгами, а скотом,— и скот до сих дней обогащал его тестя. Поэтому Али-Акбыру жалко было терять жену, и еще жалко было потому, что во время войн много красивых женщин повымерло или же увезено в Афганистан. Теперь хорошую жену найти трудно, а молодежь растет тонкогрудая и тонкозадая. И Али-Акбыр сразу же позвал к больной местного святого Хуссейна, и не успел Хуссейн перевязать опояской живот и взять клюку, как Али-Акбыр оседлал лошадь и помчался за фельдшером. Фельдшер был русский, Герасимов по фамилии, а держал себя словно святой: собирался медленно, нехотя, а может быть — боялся оспы. Приехав, фельдшер потребовал, чтобы Джаланум сняла покрывало, а когда Али-Акбыр пообещал ему барана, фельдшер пощупал ее руку и сказал:

— Кризис прошел, выживет!

А еще раньше фельдшера то же самое сказал святой Хуссейн, и Али-Акбыру стало жалко себя, своих хлопот, трат,— и он выбрал фельдшеру для угощенья самого тощего барана и чай заварил жидкий. Однако через пять суток Джаланум стало хуже,— и к вечеру она умерла. Ее быстро стащили к могиле, посадили и засыпали песком.

Али-Акбыр остался один. Мимо кладбища пролегала дорога в пустыню. Шел караван. Впереди, на маленьком ослике, низко свесив босые ноги, сидел каравановожатый, седой текинец. К его седлу на волосяном аркане

был привязан первый верблюд, к первому — второй; верблюды шли так тихо, что слышен был шелест арканов, то опускавшихся, то натягивающихся. Текинец ехал сосредоточенный, спокойный, и длинная палка, знак его власти, чуть колыхалась в его руках. Медленно, друг за другом, то взбираясь на песчаные холмы, то пропадая в котловинах, то вытягиваясь в струнку, то образуя ломаную линию по извилистой дороге, верблюды уходили в пустыню. Было совсем безветренно, караван оставлял позади себя следы верблюжьих ног, но тотчас же след этот заплывал. На вершинах холмов синела легкая дымка, это был песок, поднимаемый дыханием пустыни. Увидав эту синюю дымку, Али-Акбыр потрогал рукой сочащееся тоской сердце — и пошел домой.

Поспевал виноград, и крестьяне-виноградари пришли вечером, дабы побеседовать о ценах и узнать, скоро ли Али-Акбыр поедет в город. Лампа горела тускло,— после смерти жены некому было почистить пузырь,— и в комнате пахло керосином. Чай пили, держа чашку за края донышка, и после каждого глотка громко крякали. И вот, наливая гостям третью чашку, Али-Акбыр сказал, что святой Хуссейн — обманщик и вор, хотя он и хорошо знает все законы бога. Крестьяне не поверили Али-Акбыру, но спорить не стали. Тогда Али-Акбыр поднял кверху торжественно палец и протяжно сказал:

— Когда у вас умрет еще пять человек и про каждого Хуссейн будет говорить, что выздоровеет, тогда вы не будете молчать, как молчите сейчас!

Но вот пять человек от оспы вновь умерло, хотя Хуссейн и говорил, что они выздоровеют, и все-таки крестьяне не верили Али-Акбыру...

Виноград поспевал, листья его приобрели цвет крови, а в жилах Али-Акбыра созрело вино желаний. Ему нужна была крепкая жена, и, хотя советские законы запрещают калым, все же на крепкую жену денег надо много, и Али-Акбыр стал часто посещать город. Виноград поспевал, но вода в арыке-канале Кочик спадала, и проходящие странники из-за Заравшанских гор говорили, что снега дотаяли и что осенью едва ли можно ждать разлива воды. Виноград зрел, но вода в арыке все убывала и убывала, словно виноград выпивал ее. И тогда крестьяне, все еще не верившие Али-Акбыру и все еще молча слушавшие его бранные речи, пошли к мечети и попросили святого сотворить молитву. Сам

Хуссейн недомогал последнее время: он по всем законам прожил жизнь и с гордостью ждал смерти и рая, так как сам себя считал святым. Ему было обидно видеть, что крестьяне верят ему меньше и приношения их убавились. Ему не нужны были эти приношения,— многое из приносимого он раздавал,— ему жаль было крестьян, грешивших перед аллахом. Он сурово сказал крестьянам, что будет молиться и надеяться, что аллах услышит его молитву: вода прибудет, и оспа прекратится. Оспа-то, правда, давно ушла, но крестьяне не возразили ему. И Хуссейн действительно молился всю ночь и еще половину длинного и жаркого дня. Он упал от изнеможения, и служка при мечети, его внучек, румяный Алимбай, почтительно увел его к тощему ложу. Отдохнув, Хуссейн опять долго молился, но молитвы его, видимо, не доходили до бога, так как вода продолжала идти на убыль и деревья оазиса Шехр-и-Себс начали увядать.

В те дни Али-Акбыр подыскал в соседнем кишлаке Учим невесту, именем Идрис, по красоте своей способную превысить красоту Джаланум. Калым за нее просили большой, и, как Али-Акбыр ни торговался, будущий тесть не уступал, а еще грозился набавить. Деньги доставались с большим трудом, винограду уродилось в этом году много, и цена на него упала. Али-Акбыру думалось, что, если б Хуссейн хотел, он мог бы пойти в кишлак Учим к родным Идрис и упросить их уменьшить калым. Но Хуссейн — тунеядец, негодяй и вор — умел только тянуть с вершины глинобитного минарета не нужные ни богу, ни людям молитвы. Али-Акбыр быстро научился говорить те богохульные слова, что теперь часто услышишь в городе, — и ему казалось, что правды он знает не меньше Хуссейна и, если б не виноград и не заботы о новой жене, ему б ничего не стоило превратиться самому в святого. Но Хуссейн, видимо, и сам чувствовал себя тунеядцем: на вопросы крестьян он отвечал угрюмо и, сухой и длинный, в зеленой грязной чалме, проходил улицей не в тени, как прочие люди, а по солнцу, словно ему мало было того жара, что был в его душе.

Однажды вечером, когда в виноградниках, недалеко от арыка, пало три вола и один из них принадлежал Али-Акбыру, — Али-Акбыр заявил, что тунеядца и обманщика святого Хуссейна надо отвезти в город и судить по советским законам. Крестьяне, как всегда, пока-

чали бородами, и нельзя было понять — согласны они со словами Али-Акбыра или нет. Веранда, где они сидели, была обвита виноградом. Солнце закатывалось, и тени от гроздьев темными пятнами сияли на огненных бородах стариков. Чтобы разобраться в том, что думали старики, Али-Акбыр соврал:

— Лучше самим отвезти, а то приедет пять милиционеров и заберут старика.

— Так,— ответили ему старики,— правильно,— и с тоской посмотрели на пыльный сухой двор и бурую глину стен, которую даже и солнце не могло озолотить.

А вечером, когда крестьяне собрались на намаз, Хуссейн сказал, глядя в небо:

— Я уже стар, я, видно, много нагрешил, и бог не принимает мои молитвы. В соседнем кишлаке Учим у меня есть родственники, я уйду умирать туда.

Крестьяне промолчали, а вечером после намаза пришли к Али-Акбыру.

— Вот собака и вор! — сказал Али-Акбыр.— Он врет от начала до конца, как врал всю свою жизнь. В кишлаке Учим у него столько же родственников, сколько у меня теперь жен. А разве кишлак Учим не имеет уже могилы святого Имъямина — Асалата-Будакчи и поэтому плодородие не покидает их полей? А какие святые могилы имеем мы? Сколько их у нас?

И старики пустыми глазами посмотрели на метущиеся сильные руки Али-Акбыра. В пустыне выли шакалы, огромная луна медленно поднималась на небо. Сухо шелестели вдоль арыка умирающие тополя. Крестьяне прошли к арыку, долго слушали вой шакала, и один из них сказал: «На луну воет, к смерти» — и хотя такой приметы не было, но все ей поверили. Затем Али-Акбыр явился к Хуссейну, и они долго раскланивались друг с другом. Кланяясь, Али-Акбыр пустил в ход все красноречие, приобретенное им в городе, и спросил витиевато,— правда ли, что святой Хуссейн желает лишить святости и божеского плодородия кишлак Шехр-и-Себс и уйти в кишлак Учим и если желает, то почему. Все в Али-Акбыре было необычайно ласково, и даже руки его смиренно лежали на животе, но, поймав под его тугими бровями неподвижные и угрюмые глаза, святой Хуссейн пощупал сердце и ответил, что он передумал и остается у себя на родине, и могила его, если бог удостоит, будет во все века прославлять кишлак Шехр-и-Себс. «Седые

ресницы твои благословенны, и украшающая сердце тишина исходит от них»,— сказал Али-Акбыр смиренно, но по голосу и по тому, как осматривал святой Хуссейн длинный двор мечети, Али-Акбыр понял, что этой же ночью убежит святой Хуссейн из кишлака Шехр-и-Себс в кишлак Учим и будет там до конца дней своих проклинать нечестивых и нерадивых соотечественников. И, подумав так, Али-Акбыр испугался, ласково поклонился и быстро ушел. И наконец Али-Акбыр мог слышать из уст крестьян слова, доставившие ему много радости; и Али-Акбыр, как и подобает всякому мудрецу, ниже, чем всегда, поклонился крестьянам.

Сухой и быстрый рассвет ударил в тополя, стоявшие подле мечети. Раскрылась калитка, и Али-Акбыр начал локтем толкать крестьян. Служка святого, румяный Алимбай, вывел оседланного коня, а за ним показался Хуссейн. Лицо у него было усталое, скучное, ему, видимо, не хотелось покидать и своего ложа и мечети, к которой он так привык. Служка протянул Хуссейну стремя, но здесь, из-за тополей, тихо вышел Али-Акбыр и длинной сухой палкой ударил Хуссейна в затылок. Чтоб не было крови, конец палки Али-Акбыр обернул тряпками. Служка с воем побежал в мечеть, один из крестьян пошел его уговаривать, а когда крестьянин вернулся, Али-Акбыр снимал уже с лица святого халат, которым он зажимал Хуссейну рот до тех пор, пока не остановилось старое сердце. И вот Хуссейн вернулся на свое ложе мертвым. Его обрядили в лучшее платье и собрали превосходнейших плакальщиц. К вечеру из соседних селений на похороны святого Хуссейна стал собираться народ, и многие завидовали кишлаку Шехр-и-Себс, приобретшему святую могилу, и только люди из кишлака Учим сомневались в святости Хуссейна. Затем Хуссейна закопали на том же кладбище, где Али-Акбыр некогда похоронил свою жену Джаланум. Караван, возвращавшийся из пустыни, остановился подле кладбища, и карвановожатый, седой текинец, слез со своего осла и сотворил молитву.

В городе неожиданно поднялась цена на виноград, понадобилось много высококолесных арб, снег в Заравшанских горах начал таять, и вода в арыке Кочик поднялась на нужную для счастья высоту.

Плодородие и тишина спустились в оазис Шехр-и-Себс.

И в свое время посетило счастье и Али-Акбыра: он, с великой выгодой продав виноград, ввел в свой дом новую жену Идрис, красотой и полногрудием превосходящую несравненную Джаланум. В ограде был пир, — и гостям было зарезано четыре барана и жеребенок. Захожий певец пел песни о счастье и любви богатырей, и шепотом сказал юной жене своей Али-Акбыр: «Я украшу твою грудь монетами и счастьем, как великий и добрый богатырь в песне». И грудь Идрис содрогнулась, и сердце ее заболело неиспытанными страстями. На другой день, для счастья и плодородия, Али-Акбыр повел свою жену Идрис на могилу святого Хуссейна. Был на могиле глиняный невысокий памятник, незатейливая надпись, взывающая к людям о тишине и смирении. Ленты материй — приношения — валялись подле. Идрис, прикрыв шелковой чадрой угол памятника, смиренно молилась о счастье и долгой жизни, а Али-Акбыр стоял рядом, высокий, гордый и красивый, и красные ногти его лежали на русой бороде. Опять мимо кладбища шел караван в пустыню. От верблюдов оставались следы, но тотчас же песок засасывал их. Дыхание пустыни подымалось над далекими холмами. И тогда Али-Акбыр встал подле жены своей Идрис и всеми прекрасными словами, которые только имела его душа, поблагодарил бога и его святых за ту милость, что сошла на его дом. Затем он поднялся, вернулся в свой дом и лежал на коврах три дня и три ночи, наслаждаясь женой и своей силой. Приняв от жены восхищение и радостные слезы, он поднялся, совершил омовение, расчесал бороду и вышел на солнце, дабы исполнять обычную свою работу.

1926

ЗВЕРЬЕ

Накануне захвата станции Ояш отряд, в котором служил Павел Мургенев, справлял Октябрьский праздник. Подле двухэтажного волостного правления, чем-то похожего на кувшин, устроили митинг. Снег блестел тускло, как кудель. Мургенев с чувством произнес речь о наступлении, мужики заорали «ура», политрук благодарно пожал ему руку; Мургенев ответил ему с достоинством:

— На станции Ояш моя родина. Старик там и сестра...

Он хотел добавить, что старик необыкновенно горд и заносчив, но политрук уж говорил:

— Жаль — не захватили родину в день Октябрьского праздника.

Мургенев тоже посочувствовал ему.

Шли в обход Ояша. Шли знакомыми Мургеневу местами. Он увидал луг, с которого мальчишкой еще возил домой сено. Все такие же желтые дорожные раскаты вились у мостика через речку. Но мост был сожжен и, видимо, из озорства, потому что ехать через лед речки было легче, чем через ветхий мостик. Подле моста увяз автомобиль. Клочья ободранного кузова жалко торчали из сугроба. Мургенев подошел ближе. Окровавленный платок с кружевной бахромой прилип к полузанесенному снегом сиденью. Но на все в этот день смотреть было весело. Весело разглядывал Мургенев и этот платок.

Обошли станцию версты за четыре. Спешились, потоптались. Покатили морозные пулеметы. Как всегда, начали с неохотой, затем разгорячились и, при взятии станции, убили несколько лишних человек. Опять Мургенев увидел эшелон с беженцами; сдающихся офицеров с пустыми кобурами; ввалившуюся бледность щек;

в теплушках запах пота и пеленок. Его поразило только одно: неподалеку от станции, в сарае, дверь в который изображали жерди, прибитые к косяку гвоздями, он увидел несколько верблюдов, задумчиво вытягивающих к снегу длинные морды. Красноармейцев тоже, видимо, изумило присутствие верблюдов; двое даже принесли сена. Мургенев постоял у жердей, погладил верблюду теплую морду, подивился, что нет дверей: замерзнут — и, не досмотрев захваченные поезда, направился к родителям. Он уже сбегал по ступенькам станционного крыльца на площадь, по ту сторону которой виднелся одноэтажный родительский дом под железной крышей,— но вдруг вспомнил, что отец был не только горд, но и любил пышность: шаровары, например, он всегда носил плисовые. Мургенев вернулся, попросил привести ему офицерскую лошадь. Красноармейцы разбирали вагон брошенного белыми полкового имущества; Мургенев пожурил их,— но себе выбрал новый полушубок и сапоги. Поверх седла лежал зеленый ковер.

— Для веселья! — сказал подводивший лошадь, и действительно Мургеневу стало необычайно весело. Задорно блестела и звенела дорога. Старик, Алексей Дементьевич, стоял на крыльце, словно знал, что сын приедет, видимо, был рад, — но дотронулся только до ковра:

— Колера-то какие, ядрена мышь! — сказал он и уступил сыну дорогу. Старуха засуетилась, заохала, на крыльях ее носа дрожали слезы.

— Крепко тебя ограбили, тятя, белые-то? — спросил, облокачиваясь на стол, Павел.

Прямо против него, на кровати, стонала его сестра Шура. Она была в тифу, но брата узнала, даже шепотом поздоровалась и опять забылась.

— Ограбили,— ответил старик недовольно.

Старик в чем-то хитрил. Боялся, как бы сын не захватил хозяйство, увидав пораженную гордость отца. Павел улыбнулся и попросил поставить самовар. Сестра рванулась с кровати, то ли от слова «самовар», то ли в бреду. Павел подумал: может быть, она не больна тифом, а изнасилована? У отца правды все равно не узнать! Самовар заликовал, было тепло. Старуха расспрашивала о войне. Павел рассказывал (отец опять мешал его мыслям), и получалось не так, как было бы нужно. Нужно было бы рассказать действительно

героическое, а он нес какое-то солдатское полувранье. У старухи умиленно слезились глаза, старик хитро улыбался. Наконец Алексей Дементьевич развеселился совсем, достал из-под пола бутылку самогона. Рюмка, остатком отбитой ножки насаженная на черешок (из-под ножа, наверное), дрогнула в его руке.

— За ваше здоровье,— сказал он, и сын ему ответил тостом за республику. Тогда отец велел позвать родственников. Старуха засуетилась с ухватом. Какая-то незнакомая вошедшая молодка вызвалась истопить баню. Павел ущипнул ее за упругий бок, она сверкнула на него глазом, и Павел подумал: «Ночь-то нынче занята». Кровь поднялась в нем. И сразу он решил ночевать в бане.

— Затопи,— торопливо выговорил он и отвернулся.

Отец выдвигал на середину горницы стол; ложки радостно играли в руках матери.

Но тут в избу ворвался запыхавшийся красноармеец. Измятая записка упала на пол, он выкрикнул:

— Штаб сообщает товарищу Мургеневу: Воткинский и Ижевский полки ведут наступление на станцию Ояш!

За последние два месяца не было случаев перехода белых в наступление, и Мургенев не поверил бы, если б не знал, что Ижевский и Воткинский полки колчаковской армии состояли из рабочих, согласившихся покинуть Урал вместе с белыми, и что среди красных имелось невысказанное соглашение: не брать пленных из этих полков. Ходил слух, что каждому из солдат этих обреченных полков был выдан револьвер для самоубийства. Возможно, что полкам зашли в тыл и они теперь кинулись на явную смерть. Так, надо полагать, думали во всем отряде; даже посыльный, которого Мургенев никогда не видал растерянным, стоял бледный, и пот увлажнял его молодую бороденку. Павел развел руками. Не без франтовства пристегнул он револьвер, вспрыгнул на лошадь, раздраженно скинув перед этим ковер с седла. Лошадь, играя, подпрыгнула; прыжки ему не понравились,— плеть тяжело упала на бока коня. К станции, на ходу затягивая полушубки, с обеспокоенными лицами бежали красноармейцы. С той стороны, откуда утром пришли красные, уже слышался вражеский пулемет. Мургенев быстро нашел свою роту, она уже шла на правый фланг. Поспешно и молча шагали

мимо эшелонов. Теплушки беженцев плотно молчали; солдат это раздражало, и один сказал:

— Кабы время, я б вам в окошко по гранате...

На лиловеющих снегах раскинулись цепи. Вдали замелькали желтые точки.

— Ижевцы,— сказал солдат, говоривший недавно о гранате.

Пулеметы усилились.

— Кабы мы артиллерию успели подвезти! — сказал все тот же солдат.

— Молчать в строю! — крикнул Мургенев.

Видно было, как передние цепи красных дрогнули, ринулись к станции. Мургенев закурил, закурил и весь отряд.

— В своих придется палить? — не унимался разговорчивый солдат. Никто ему не ответил, папироски кинули недокуренными, колебнулись винтовки. Но цепи выпрямились, остановились; звонкая команда донеслась версты за полторы. Рота Мургенева опять ухватилась за винтовки, и стало ясно, что перестрелка затянется.

— Вы бы насчет стариков,— сказал вдруг его помощник Аксенов.

Мургенев внимательно взглянул Аксенову в розовое молодое лицо, по которому было ясно, как вся рота радовалась тому, что у Мургенева такие хорошие родители. Мургенев развел руками.

— Пускай старики в тыл едут, пока идет перестрелка. Штаб наш от греха подальше на разъезд «четыреста шестьдесят девять» в десяти верстах, ушел, вот туда и пускай едут. Пока на полчаса можете побежать домой. Мы удержимся... Только площадью осторожней, неравно хватит...— продолжал Аксенов, и ему, видимо, хотелось покомандовать в таком опасном деле.

Мургенев подумал, закурил папироску, осмотрелся (никто в отряде и мельком не мог, конечно, подумать, что он трусит и потому уходит),— веселые и бодрые лица глядели на него. Он согласился.

Старик по-прежнему сидел на лавке перед столом, выдвинутым на середину горницы. Сестра стонала. Павел предложил, сам не веря, что отец поедет. Отец ответил:

— Куда нам ехать, земля для могилы везде одинакова. Да и Шуру не бросишь, сынок.

Павел кинул о пол шапку. Отец поспешно и нежно подал ее ему.

— Шапка-то казенная,— сказал он. Поднял руки, чтобы обнять, но и тут, видно, загордился,— хлопнул себя руками по бокам и перекрестился в угол.— Бог спасет, может!

Павел выскочил. Старик отвернулся к окну.

— Герой. Гордый.— И тогда, подойдя к киоту, он одну за другой снял иконы, сложил их стопочкой на стол и проговорил: — Чего же нам одним в хозяйстве гибнуть, надо и богов по шапке, а, старуха?

— Тебе видней, старик,— недовольно ответила старуха, садясь к изголовью дочерней кровати.— А по-моему, не лез бы ты в войну-то. Лучше...

Со страхом Мургенев увидал, что за промелькнувшие полчаса многое изменилось на станции Ояш. Цепи ижевцев стлались уже по полю недалеко от семафора. Несколько красноармейцев из его роты, не слыша его и не узнавая, бежали без винтовок вдоль путей. Он остановил все же одного, спросил о своем помощнике Аксенове.

— Убит,— сказал солдат, отталкивая. Мургенев остолбенело застыл у станционного колокола. Пулеметная стрельба усиливалась. Толпа солдат бежала от станции вдоль дороги. Ижевцы, видимо, приняли это за какой-то хитрый маневр, потому что приостановили перебежку.

— Ваше благо... товарищ комиссар! — закричал выбежавший из помещения станции бледный шатающийся телеграфист.— У меня рука прострелена, больно!.. Штаб с разъезда вам телеграфирует: снарядов нет, снаряды в последнем вагоне... зеленый состав, под синим флажком.

И телеграфист побежал вдоль перрона, кинув к ногам Павла клочки телеграфной ленты.

— Идите вы, сволочи, со снарядами!..— завопил ему вслед Павел, для чего-то выхватывая револьвер. Но револьвер словно тянул его вперед,— и он побежал вдоль зеленого состава. Действительно, в конце поезда он наткнулся на теплушку под синим флажком. Почему под синим? Он подпрыгнул и сорвал с дверей синий флажок. И с флажком в руке он побежал дальше. Залитый кровью кочегар катался на полу тендера.

— Куда? — сам не зная для чего, спросил его Павел. Кочегар, привстав на локте, указал на плечо и сказал спокойно:

— Никто, брат, тебя не увезет. Из всех паровозов пары выпустили, ни угля, ни дров. Не мешай.— И он со стоном опрокинулся.

Павлу было стыдно мешать его смерти: рана была ниже плеча. Паровозы безмолвствовали. Павел кинул флажок и вернулся к снарядной теплушке. Под соседним вагоном, плотно прижавшись к колесам, лежали два солдата.

— Взорвет вас,— сказал им Мургенев,— рядом вагон со снарядами, давайте отцеплять.

— И то взорвет, дяденька,— пискливым голосом сказал один из красноармейцев. Они поднялись и, мало понимая, что делают, подошли к нему. Мургенев указал им на крюк сцепления. Они сняли крюк и стали отталкивать вагон от состава. Вагон тронулся легко.

— Паровоз-то подают? — тоненько спросил красноармеец.

Павел не успел ему ответить: красноармеец лежал мертвым — пуля пробила ему шею. Его приятель взвизгнул, скорчился, подобрал полы шинели и так, оглядываясь на Мургенева, словно ожидая, что он выстрелит ему в затылок, уполз под вагоны. Мургенев поспешно спрятал револьвер и прислонился к стенке вагона. «Действительно,— пришло ему в голову,— зачем отцеплять вагон, если нет паровоза? Через полчаса, самое большое, ижевцы займут Ояш. Надо бы разорвать документы или лучше...» Он посмотрел: в револьвере было пять патронов. «Богацько!» — улыбнулся он, оглядываясь. Ни одной лошади не видно было ни на путях, ни подле станции. Идти через площадь в деревню?..

— Богацько! — повторил он вслух.

Вдруг он услыхал рев. Он увидал угол сарая, дверь, забитую жердями, и мохнатую морду верблюда в веревочной узде. Мургенев даже подпрыгнул от радости, поискал глазами между колес, но красноармеец исчез. Ветер чуть шевелил солому сарайной крыши. Жерди были прибиты крепко; дабы их сломать, Павлу приходилось падать на них всем телом. Связанные попарно верблюды шарахнулись в проход, Мургенев схватил первую пару. Он подвел их к дверям теплушки, встал на ступеньки... Мургенев вспомнил о хомутах, а вспомнив хомуты,

вспомнил и вагон — и, поспешно замотав повод за скобку двери, кинулся вновь в сарай. Там у туши убитого мотался, пытаясь оторвать узду, — верблюд; его рев, должно быть, и услышал Мургенев. Хомуты висели на деревянном гвозде. Путаясь в незнакомой сбруе, Мургенев поспешно натянул на верблюдов хомуты, привязал длинную вожжу к уздечке; захватил буфер петлей веревки; вожжу закинул на теплушку. Зацепил вожжу за кромку и, подставив лестницу, вскарабкался на вагон. Усталость овладела им, он вспомнил о пулеметах — и по крыше вагона полз на животе. Он мало верил в то, что верблюды смогут везти вагон.

— Трогай! — заорал он, отчаянно мотая вожжами. Верблюды покосились на блестящие рельсы. Спокойствие животных на мгновение овладело человеком.

— Экий морозище! — сказал он. Вагон тронулся.

Больше всего, по-видимому, верблюдам было страшно видеть эти ровные блестящие полосы железа, что текли перед их мордами. Они им казались в одно и то же время и оглоблями и кнутами. Верблюдам было тесно. Они толкались животами, а вырваться в сторону из блестящих стальных оглобель не могли. Павел пожалел: надо бы запрячь одного. Вагон двигался толчками, но все быстрее и быстрее. Мелькнули станционные постройки, водокачка. «Только бы,— думал Мургенев,— верблюды не свернули в сторону или ижевцы не открыли по мне огонь». Он нащупал в кармане перочинный ножик: на случай, если верблюды свернут, перерезать постромки. Как он слезет к буферу по отвесной стенке — он еще не знал. Мургенев лежал ничком па крыше; пряжка пояса больно врезалась в живот, а подняться и сесть у него не хватало смелости. Теперь он разглядел верблюдов: один, правый, был бурый, лохматый, а левый — почти седой и гладкий, с высоко поднявшимися откормленными горбами. Увидав эти колыхающиеся горбы, Мургенев вспомнил веселую бабу, которая должна была ему сегодня топить баню. Затем вспомнился отец, ему стало грустно, и он начал твердить: «Рельсы, рельсы...» — и скоро, верно, начал думать о рельсах. Вспомнил, как однажды проводник вагона сожалел, что за границей рельсы сдвинуты у́же наших и вагоны наши туда идти не могут... Бег вагона все убыстрялся. Он скоро заметил, что верблюды начали реветь и оглядываться. Буфер толкал их в задние ноги. Вначале Мурге-

нев подумал: верблюды разогнали вагон, а теперь уменьшили шаг; но толчки буфера становились все яростней и яростней, и вскоре стало ясно, что за станцией Ояш путь идет под гору и разогнанный вагон мчится сам. Мургенев даже обеспокоился: скоро покатость кончится, вагон должен подниматься в гору, и что тогда — хватит ли у верблюдов сил втащить его? Но вагон все сильнее и сильнее толкал верблюдов, и уже появилась опасность, что вагон сшибет верблюдов, помнет или раздавит их, и они своими тушами могут задержать его бег. Столкнет ли один Мургенев вагон? Павел замерз и мелко дрожал, железный ветер свирепел; нужно было спускаться с крыши к буферу перерезать постромки. Он расстегнул ремень, зацепил его за доску набрусника, подумал и, скинув шинель (длинный полушубок, надетый им поверх шинели, он забыл в отцовской избе), привязал рукавом ее к ремню. Ветер на мгновение вырвал у него шинель, мотнул ею по воздуху: верблюды испуганно заревели, вагон зашатало. Потом Мургенев, осторожно вися на шинели и скользя ногами по гладкой стенке (со злостью думая, что шинель затрещит и вот-вот лопнет), стал спускаться. Шинель сильно пахла табаком. Наконец сапог его коснулся буфера.

Холод овладел им. Холод казался сильнее оттого, что вагон защищал от ветра... Он едва мог открыть перочинный нож. Кость рукоятки жгла ладонь, он обернул руку платком. Постромки то натягивались, то слабели — резать было очень неловко. Но вот наконец один верблюд ринулся вперед! Мургенев выстрелил, верблюды сразу выпрыгнули из рельсовых оглобель, кувыркнулись по насыпи — по одному с каждой стороны и, увязая в снегу, наступая на постромки, побежали в поле. В иное время Павел похохотал бы над их прыжками. Буфер жег ему ноги, висевшая шинель хватала только до шеи, а стянуть ее он не мог, так как не за что было ухватиться и если б она оборвалась, он упал бы вместе с нею под вагон. Теплушка неслась, отвратительное морозчатое железо свистело под колесами. Руки коченели, ему ничего не оставалось, как лезть обратно на вагон, и он полез. Он, цепляясь за шинель, подпрыгнул, насколько мог, и ухватился за кромку крыши. Здесь шинель затрещала, и руки его бессильно поползли с крыши. Тогда он схватился за шинель зубами, еще раз подпрыгнул — и снова повис у края крыши! Ему пришлось выпустить

мешавшую движениям шинель, и она болталась меж его ногами. Несколько ниток соединяли рукав и те куски материи, что некогда закрывали грудь его и ноги. Он вскинул тело на крышу. Нитки лопнули, — и на крыше, привязанный ремнем к доске, остался лишь рукав его шинели. Серое сукно долго маячило позади на шпалах. На крыше Мургенев присел сначала, затем опять лег; поплясал,— стало теплей, но вдруг он вспомнил, что там, под ним, полный, плотно набитый вагон снарядов. Снаряды эти сейчас мчатся на станцию, вагона уже не остановить, скорость его все увеличивается. На стрелке ли, дальше ли, вагон наскочит на другие вагоны, и снаряды вспыхнут, взлетят!.. Было ветрено, пустынно. Среди снегов, неподалеку от железнодорожных путей, бежал желто-лиловый проселок. Кое-где синели лески. Мургенев и не заметил, как присел. Он отвязал рукав, прикрыл им сначала шею, затем плечи, пытался прикрыть обессилевшие руки. Он лег, вытянулся и стал стучать в воздухе сапогами. «Замерзну, сука!» — подумал он и вдруг почувствовал ненужный стыд: на многих убитых офицерах он видел фуфайки, а вот сам не мог решиться надеть — все проклятая крестьянская гордость: и так, мол, выдержим. Мысль о взрыве владела им сильнее, чем мороз. Он всегда боялся грохота, и теперь смерть представлялась ему такой непрерывно растущей тучей грохота. Тошнота приступила к его горлу, глаза слипались. Вдали уже виднелись избушки разъезда «469». Он выполз на край крыши, спустил ноги, чтобы спрыгнуть. Ему неимоверно трудно было открыть глаза, но прыгать с закрытыми глазами было еще трудней...

Посреди проселка он увидал сани. Длиннобородый мужик в азяме стоял на коленях в санях и с ужасом крестился на мчащийся вагон. Ветер загнал лошади хвост к животу, и оттого лошадь казалась тоже испуганной.

Непонятная гордость овладела Мургеневым. Он собрал последние силы, чтобы послать озорное благословение мужику, но руки бессильно ползли по коленям.

Перед самым разъездом «469» путь пошел в гору. Три разведчика легко остановили вагон. Мургенева кинулись растирать.

Еще через час начался с разъезда «469» обстрел станции Ояш снарядами, доставленными Мургеневым.

Громили ее весь вечер; зарево заняло полнеба — и рано утром поступило донесение, что станция противником оставлена. Днем, в числе прочих победителей, Павел Мургенев ехал занимать станцию. Руки его были забинтованы, а лицо густо смазано гусиным салом.

Станция, станционные постройки, поезда — почти все сгорело. Пахло тряпками, горелой мукой, мясом. Сохранилась только водокачка и на дверях ее вчера, должно быть, наклеенный приказ «верховного главнокомандующего». И почти все домики подле станции сгорели. Место, где стоял родной его домик, Мургенев едва нашел — сгорели даже деревья в палисаднике. Он узнал место дома по каменной бабе, которую когда-то в юности притащил из степи в палисадник. Отец за эту нечисть выпорол его, все собирался отвезти обратно в степь, да так, видно, и не собрался. Плоское лицо каменной бабы тоже почернело. Мургенев пихнул ее сапогом. Никаких следов не осталось от его родных, и никто не мог сообщить, живы ли они, умерли ли, или их увезли ижевцы. Среди пожарищ нашли десятка два обгорелых трупов, и никто не опознал их. Не опознал и Мургенев. Красноармейцы между тем в уцелевшем доме священника сварили обед. Пообедал и Мургенев. На вечер штаб назначил выступление: идти дальше, в тыл ижевцам. Вот и вечер подошел, а Мургенев все еще тоскливо бродил среди пожарища. Попал он на станцию. Выступила луна. От ее сумасшедшего света составы поездов казались еще более обгорелыми. Где-то затянули песню и оборвали. Мургенев одрябло прислонился к теплушке и вспомнил, как вчера он точно так же стоял у вагона со снарядами. Револьвер и вчера был в его руке; в револьвере со вчерашнего дня изменилось только то, что вместо пяти пуль стало четыре. И огромная, как бы многостворчатая, скорбь хлынула в него. Шумное широкое дыхание послышалось вблизи. Он поднял голову. Огромный верблюд, тоскливо мотая головой, шел вдоль состава. Его лиловая тень прошла по ногам Мургенева. Сквозь заледенелые ресницы луна блеснула в верблюжьих глазах.

— Эх ты, зверье,— шепотом сказал Мургенев вслед верблюду. Ему хотелось что-то добавить, а что — он и сам не знал.

1926

ОБСЕРВАТОРИЯ

Утром еще один поезд привез казаков. Они, изумленно рассматривая виднеющийся вдали Петербург, выводили лошадей по деревянным сходням из вагонов. Они много видели и в Галиции и на Карпатах завоеванных городов, но самый страшный город, где жил их царь, — это был Петербург. Лошади, смешно подымая передние ноги, осторожно, словно в первый раз, спускали копыта на цемент вокзальной платформы.

Леньшина лошадь внезапно захромала, и поэтому он чувствовал себя в толпе немного чужим и немного праздничным. Он повел ее к фельдшеру. Казаки, словно торопясь первыми войти в город, строились на шоссе. У фельдшера, наверное, подумал он, очередь, и Леньше не хотелось спешить туда. Он смотрел, как лошади его однокашников звенели копытами на шоссе.

Слева под холмами прятался поселок-пригород, о котором говорили еще в вагонах казаки, стосковавшиеся по женщинам. Домики походили на грязные волдыри, и шоссе в поселке было такое, словно пахали его, а не ездили по нем.

Направо, на довольно высоком холме, среди редкого сада, усыпанного нехорошим городским снегом, словно снег шел не с неба, а из Петербурга — высилось большое темное здание. Об этом здании говорил генерал, делавший на шоссе смотр. Он упомянул о храмах науки, которые хотят уничтожить германские шпионы, о церквах, в которые введут лошадей. Сам он был плотный, в шинели, которая тяжко облегала его фигуру. Он был бульварный романист, писавший романы для приложений к «Родине», и он действительно верил, что в Петербурге теперь восстали немецкие шпионы, предводительствуемые Лениным, и революция произошла на деньги кайзера. Он был монархист. Но странно, он был доволен

арестом царя, и в папке у него лежал уже проспект романа, и дневник его писался необыкновенно тщательным почерком, словно от каждой буквы зависела судьба империи.

Он объехал казаков и необыкновенно тонким голоском прокричал, что сейчас приедет верховный главнокомандующий Керенский. Затем в сером автомобиле показался худой человек в желтых гетрах.

А вечером или, вернее, в полдень, потому что день был темный и длинные очереди толпились у лавок поселка, казаки пошли к девкам. Они принесли им хлеб и баранки. Позже была драка, и Леньша сбил кулаком шляпку с одной девки и очень этому смеялся. Пришла хозяйка и почему-то обиделась на Леньшин смех. А девки не приняли его, и он ушел обиженный. Трещали деревянные перегородки, и хохот казаков был очень странный.

Леньша шел по пригороду и думал, что теперь делается у него дома в поселке подле Иртыша. Наверное, удят рыбу через проруби и возят по горячему пути дрова из бору.

Серое здание обсерватории походило теперь, в голубом сумраке вечера, на курган, и так же, как на кургане, лежали на нем охапки снега.

Он избил девку потому, что она стала объяснять ему, почему город бастует. «Немецки шпиены, — сказал Леньша лениво,— Ленин — главный шпиен, мильен получил. Очень просто». Девка рассмеялась и сказала, что неправда. Тогда-то Леньша ударил ее в ухо.

Вдали все еще виднелся город, весь наполненный огнями и дымом. Смутное беспокойство овладело Леньшей, и ему еще раз захотелось ударить девку. Он было повернулся обратно. На шоссе, прямо, как нож, направленном к городу, толпились казаки, и Леньша вспомнил, что на полдень назначено наступление на город, а все об этом забыли, и, может быть, потому, что говорили больше о винном погребе, что стоит за поселком. Притом, война, наверное, внушила им страх против немцев-шпионов, и потому они тут толпились. Леньша сел на пень. К нему подошел человек в пальто с барашковым воротником и стал объяснять про звезды и телескопы.

Чтоб отвязаться от него, Леньша сказал: «Хорошо бы посмотреть, а то ведь все граждане-офицеры». Человек охотно согласился показать ему Марс. Планета

войны. «Значит, всегда там воюют?», — спросил с тоской Леньша. «Сплошь воюют, а нам немцы не дают покоя»,— добавил он со злостью.

Они по большой лестнице поднялись вверх. Там было очень тепло. Леньша наклонился к стеклу, увидал мутную звезду, похожую при закате на сгусток крови, и недовольно проговорил: «Все омман, никаких там звезд нету». И со злостью оглядел щупленького человечка, особенно его барашковый воротник, и сказал: «Окопались тут пред разные предлоги, сволочи, хмыры...» Затем он ушел далеко в кусты, но все равно всюду перед ним маячил город, издали в тумане похожий на звезду, которую он видел в телескоп. Он залез глубоко в кусты. Тоска не проходила. По аллеям продолжал гулять человечек в барашковом воротнике. Он тоже, по-видимому, тосковал. И вдруг Леньша начал потихоньку подвывать по-волчьи. Казалось сначала, что голос идет далеко из-за поселка, и человечек в барашковом воротнике обернулся и посмотрел на закат. Вой стал увеличиваться. Туман оседал; человечек поспешно пошел домой. Когда он проходил мимо Леньши, тот высунул из куста длинную, попавшую под руки, жердь и ноги человечка запутались меж жерди, и он упал, потешно вытянув тонкие пальцы. «Кокнуть его по башке, что ли»,— лениво подумал Леньша.

Другой человек, в ватном пиджаке и в фуражке, давно наблюдавший его проделку, раздельно, как у ребенка, спросил:

— Где тут к казармам пройти, товарищ?

Леньша знал по его куртке и упрямому усталому лицу, что все равно тот найдет дорогу, и потому сказал со злостью:

— У нас генерал говорит. Однако пойдем провожу.

Человек в ватнике укутался, словно зяб. Один каблук у него был стоптан, и будто потому он спешил.

И позже с неприязнью смотрел Леньша на его самодельную папироску, и чем больше говорил тот, что не надо воевать, что земля принадлежит всем — тем папироска его горела все ярче и ярче и все более раздражала Леньшу.

Затем говорил генерал.

Он опять обещал привезти Керенского и крикливо приказал арестовать агитатора.

Но тот уже исчез.

С непонятной злобой растоптал Леньша папироску агитатора и ушел.

Каша в котелке остыла.

Ложка увязала в ней, как нож в сыром дереве.

И вдруг Леньша понял — он сегодня умрет.

Он почувствовал едкий запах во рту и побежал к фельдшеру.

У фельдшера была путаница. Он сунул ему лекарство трясущимися руками, а потом на улице хотел отнять.

— Яд! — закричал он, бледнея.

Леньша махнул перед его лицом кулаком.

— В морду хочешь? — И отказался взять другое лекарство.

В грязи и снегу метались лошади и автомобили.

Казаки поминутно строились, мчались по шоссе и сворачивали.

Все заборы были уклеены афишами.

Мчалась к Петербургу батарея. Солдат, сидевший впереди на орудии, читал газету. Он, поравнявшись с Леньшей, кинул газету, дочитав, должно быть, до конца, и крикнул:

— Вертай обратно!

И батарея помчалась прочь, а позади неизвестно почему срубили постромки и несколько человек охлябью помчались в Петербург.

— Стреляй им вслед! — крикнул Леньше скакавший мимо офицер.

Леньша хотел спросить:

— А зачем?

Но ему было скучно, да к тому же он подумал, что у офицера такое глупое лицо — наверное, ничего не понимает.

— Видно, подохну,— подумал он с тоской, озираясь на обсерваторию.

Он обошел ее вокруг.

Внизу был закат и все неслось по ветру.

Поезда выкидывали войска. Они словно таяли. Автомобили вязли в снегу.

Тогда, сутулясь, весь ослаблый и пустой, Леньша отвязал лошадь.

— От такого дела надо ехать домой.

Когда он вел лошадь, под качающимся фонарем какой-то человек в кожаной фуражке крикнул ему озлобленно:

— У, китайская морда!

— А ну вас к черту,— тускло ответил Леньша, вспрыгивая на лошадь.

Он ударил коня крупной казацкой плетью, но плеть сорвалась и хлестнула по подпруге.

Он не знал, куда ехать от местечка, и пустил лошадь через парк.

Дорога была прямая и слегка подмерзшая.

В седле он сразу осмелел. Он вспомнил человека в барашковом воротнике, показывавшего ему планету, генерала, говорившего писклявым голосом, и Керенского в автомобиле. Он засмеялся над всеми и плетью ударил по покрытой снегом ветке. Белые опилки со звоном покатились по рукавам его шинели, в животе лошади по походному булькала вода.

На повороте аллеи, у заиндевевшей и похожей на труп синеватой статуи, его окрикнул патруль:

— Ты чей?!

Леньша не ответил.

— Чей?! — напуганно и простуженно долго кричал ему вслед голос.

Конь перепрыгнул через какую-то канаву, и тогда Леньше показалось, что дорога выбрана правильная.

И он обернулся.

Позади, на холме (он был с этой стороны голый и какой-то тускло-лиловый), высилась в небо труба рефлектора. В башне вспыхнул огонь, и раздвинулась часть крыши. Огонь побежал ниже — должно быть, человечек в барашковом воротнике спускался к стеклам, чтобы увидать планету-звезду, на которой всегда воюют.

Ветер, сухой и звонкий, пронесся по снежным веткам. Дым и туман стояли над далеким городом. Орудийный гул был похож на огромные шаги.

Дрожь и тоска, которая, казалось, прошла, когда он вспрыгнул в седло, опять вернулась к нему. Он пошатнулся.

Лошадь, чуя отклоненные рукой повода, шарахнулась в сторону. Леньша наклонился и долго рассматривал землю, покрытую каким-то невсамделешным снегом и наконец протяжно проговорил:

— Смертонька...

И он стегнул коня.

И всегда, когда конь прыгал, казаку казалось, что он избрал настоящую дорогу. Седло словно ширилось.

Все металось и неслось в эту ночь.

Если б продрогшие часовые могли разодрать заиндевевшие веки, то они бы наблюдали страшную картину.

В тумане и мгле на низенькой заиндевевшей лошаденке, высоко подпрыгивая, носился по парку всадник. Он хлестал нагайкой по коню, по деревьям. Он был без фуражки, и тело его держалось в седле больше по привычке. Казак прикрикивал, свистел. Звенящие комья снега летели из-под копыт коня.

Казак оглядывается. Парк нескончаем. Не перебить всех веток, порывающихся сорвать его голову. Не выбить из себя непонятную тоску и муку. Конь хрипит и задыхается, седло съело ему спину. Конь видит одну и ту же дорогу.

А позади их труба рефлектора, медленным движением вокруг наклонной оси, руководимая мощным часовым механизмом, шла по небу, вслед за созвездием Тельца.

И с ревом несся к новым созвездиям, под гул орудий, взрывы и вопли, чудовищный, потонувший в крови и пламени, город.

Утром горнист не успел по привычке пробудиться. Он лег поздно, и ему показалось — офицер крикнул:

— Сбор!

Трубу он носил в такое беспокойное время всегда с собой. Натягивая одной рукой вонючую портянку, он затрубил.

Эхо разнесло его звук по пустой казарме, и он отбросил трубу.

Кругом валялись оставленные шинели и шашки.

— Митингуют,— проворчал горнист,— а мне-то почудилось...

Но он услышал стук копыт, и лошадиная окровавленная морда просунулась в дверь.

— Куда лезешь? Распустили вас...

Лошадь пыталась, по-видимому, пролезть. Дверь шаталась.

— Ишь нарезался. Это тебе, стерва, не костел, а казарма. Куда прешь?

Лошадь захрапела и свалилась.

Горнист подошел ближе.

Перед ним сидел, сброшенный при падении лошади, скуластый казак. Корявые руки его раскидались, а от пота оледенели волосы.

— Ты чего же, — спросил строго горнист, — круташь-то так?

Леньша ткнул пальцем на лошадь:

— Вернулась на рожок. Всю ночь несла.

— Куда несла?

— Домой.

— Подохла.

Леньша поднял голову.

— А четыре года только было коню. Аспидной зверь. Я на нем восемь раз Карпаты объехал, а сегодня думал, сдохну.

Горнист думал о своем:

— Всеобщее разоружение, и шомполом штаны шить, говорят. Ребята рассуждают, а Краснов бежал.

Леньша соврал:

— Я знаю. Я их догонял, всю ночь за ними ехал.

Ему вдруг стало весело. Мысли о смерти прошли. Обсерватория была в тумане. Но он все-таки соврал:

— А я того старичка на дороге встретил. Стеганул слегка по хребту. Агронома с трубой, кикимору.

— Теперь нельзя.

— А ты не юли против рабочего народу. Звезда-а!..

Казаки шли к вокзалу со знаменем полковым и рядом красным. Одни из них пели — «Славное море, священный Байкал», а другие — «Марсельезу».

Некоторые говорили о нейтралитете, объявленном казаками, о бежавших генералах и скрывшемся Керенском. Генералы поездами, говорят, увезли деньги, а Керенский — царскую корону. «Век проживет на нес, курва», — пискливо сказал кто-то под ухом. Шагали по-своему, тихо, словно на свадьбу. Офицеры были без погон, и Леньша вдруг вспомнил о порошке, который дал ему вчера фельдшер. Леньша выкинул порошок, и ему стало необыкновенно весело.

Здесь он увидел вчерашний полушубок. Он остановился против него и проговорил:

— Твоя правда была, канец казачеству, настала свобода, издох мой Серко.

Полушубок не понял:

— Что ты говорил, товарищ?

Леньша хитро подмигнул:

— Канец, говорю, слободному казачеству, коли не найдешь дорогу. Всю ночь не мог найти. Прямо к паровозам несет. А я, коли я верхом, напоследки хочу домой приехать.

— Составы готовы, через неделю будете дома.

— А дома — дым остался. Знаю.

Леньша подмигнул опять, достал папироску:

— Звезду мне показывали на днях как-то; вся в крове, сплошь. На ту звезду бы надо переселиться вольному казачеству, потому труба. А мне плевать, мне офицерье надоело. Дай прикурить.

Он с полной благосклонностью прикурил и весело полез в теплушку.

Испитой паренек, в бабьем салопе, сунул ему в руку прокламацию, сообщающую о переходе власти в руки Совнаркома. Леньша посмотрел на подпись и спросил, не знает ли кто портрета подписавшего прокламацию за председателя.

Никто не видал такого портрета.

— Вот звезда,— сказал Леньша,— зачем же мы сюда приезжали? Серко издох, на душе — земля. Зачем приезжали?

Но никто в теплушке не объяснил ему, что произошло подле холма обсерватории, где вверху был рефлектор, а внизу поселок, населенный «шпаной», и где застряли последние автомобили штаба Верховного Главнокомандующего.

1926

ПУСТЫНЯ ТУУБ-КОЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Экая гайдучья трава! Не только конь — камень не в силах раздавить, разжевать такой травы. И не потому ль в горах скалы — обсыпавшиеся, обкусанные, словно зубы коней, что бессильно крошатся о травы Тууб-Коя.

И над всем, вплоть до ледников, такое же желтое, как пески Тууб-Коя,— небо.

Звезды на нем, словно шаянье сухого помета аргалов.

Да и то так ли? Потому что никто не знает, есть ли на этом мутно-желтом, гнилой соломы, алтынном жалком цвете неба,— есть ли на нем звезды.

И все же через гайдучьи травы, через пески, откуда-то от Тюмени, сквозь уральские и иные степи пробрался в партизанский отряд товарища Омехина агитатор, демонстратор и вообще говорун Евдоким Петрович Глушков.

Удивительнее его словес, которые, правда, стоили пятидесяти газет,— алебастровый, девичий цвет его лица. Никакие солнца никаких пустынь не могли потревожить его нежнейшей кожи, а он, нимало не млея, гордился своими словесами и особенно — способом своей агитации.

На трех ослах пригнал он свое имущество. На первом — «Командир» по кличке — имел Глушков «вполне исправный», по списку, пулемет. На остальных — кинематографический аппарат «Кок» и в туркменском пестром мешке — круглые ящики лент.

Ноги у Глушкова были босы, потрескавшиеся, в цыпках, а брюки он почему-то не подбирал, и густая желтая пыль была в отворотах — точно он нарочно насыпал туда песку. Вытянувшись, стоял он пред товарищем Омехиным, и было у него такое розовое лицо, будто явился он с ледников.

— Удивительный способ моего воздействия на массы заключается в объяснении событий предыдущего строя, демонстрируя вышеуказанные события и любовные драмы на мелком экране, посредством домашнего электричества, машиной, приводимой в действие человеческой рукой, именуемой «Кок», что по-русски значит: победа.

— Победа? — спросил Омехин и поглядел в горы Туб-Коя, в ледники, что одни прорезали небо и куда бесследно ушли отряды белых.

— Несомненно, победа, — ответил Глушков, и зубы его показались белее алебастрового его лица.

— Тоды что ж, — сказал Омехин. — Мы не против буржуазной культуры, если она со смыслом... Показывай.

Больше года уже носился омехинский отряд по барханам Монголии, больше десятка месяцев жевали кони гайдучьи травы пустыни, и многое стал забывать товарищ Омехин. Так, пройдя несколько шагов, остановился он и поглядел на тех трех заморенных осликов, на жирных оводов, носящихся вокруг них, и на Глушкова, раскладывавшего по кошме аппарат «Кок».

— Поди так, про любовь?

— Преимущественно про любовь, товарищ.

— Зря. Тут надо про смерть.

— А мы подведем соответствующую структуру.

Одни сверкающие ненавистью к зною ледники, одни они прорезают небо. Высоки и звонки горы Тууб-Коя.

И, отходя к своей палатке, хрипло сказал Омехин:

— Разве что — подведем.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В средине ленты, когда гладкий и ровный «трутень» объяснился в любви длинношлейфой даме, а соперник его — трухлявый лысый злодей — подслушивал за портьерой, когда Глушков совсем приготовил в памяти одну из удивительных своих речей, такую, что после десятка подобных совсем к черту бы развалился старый мир, — в отряд, пробравшись незнаемыми тропами, примчалось подкрепление — уфимские татары.

Экран потух, партизаны заорали «ура», и косым ножом семиреченский казак Лумакша перехватил горло

кобылице. Казаны для гостей мыли так, будто собирались варить в них лекарство, и, по степному обычаю, сам Омехин первый кусок сваренной казы пальцами положил в рот командиру отряда татар Максиму Семеновичу Палейке.

— Вступаю под непосредственное ваше командование, — сказал Палейка, быстро глотая кусок.

— Кушайте на здоровье, — ответил Омехин, придвигая блюдо. — По поводу же картины замечу: с точки зрения человеческой целесообразности любовь вызывает жалость к себе.

— Зачем же... Жизнь любить не мешает, особенно — рожать. Не рожая — какая жизнь. По-моему, женщина у меня должна быть единственная. Чтобы сказать фигурально или, в пример, аллегорией, — присосаться к шее на всю жизнь и пить.

— Не одобряю,— возразил Омехин.

Он хотел было спросить о буржуазном происхождении Палейки, но здесь тонко, словно испаряясь в сухом, как пламень, воздухе, пропел горнист.

Всадники вспрыгнули на коней.

Казак Лумакша, резавший кобылу, привел двух киргизов. От страха стараясь прямо, по-русски, держаться в седлах, сказали они, что ак-рус — белые люди — с ледников пошли в обход омехинскому отряду, по дороге берут киргизские стада, и бии — старшины — собираются резать джатачников.

— Мы сами джатак,— сказали они.— Пусти нас, мы по вольной тропе пришли.

«Джатак — значит бедняк,— самому себе перевел Глушков.— Необходимо отметить и употребить в речи, как окончу картину демонстрировать...»

Дни здесь сухие, как ветер, тоска здешней жизни суше и проще ветра, и ветер желтым и крупным песком заносит конец ее.

Вот поехали утром еще трое партизан сбирать кизяки — топливо — и не вернулись.

В долине Кайги остались сторожа подле запасных табунов, пустые палатки, три пасущихся подле саксаулов ослика и агитатор Глушков, спящий со скуки на камне, подле смотанных лент.

Сторожа рассказывали сказки о попадьях и работниках. Неутолимая тоска по бабьему телу капала у них с губ, и Глушков проснулся от вопроса:

— Неужель такая баба растет, как на картине? Надо полагать, перерезали таких баб всех, а не порезали — мы докончим. Зачем ты, сука, виляешь, когда мы тут страдаем, а?

Проснулся Глушков, тесно и жарко показалось ему в грязной своей одежде, пощупал горячий и потный свой живот, подумал — разве можно, действительно, показывать в пустыне такие бедра. И с необычайным для него матерком добавил:

— ...Вырежу прочь вышеуказанный кусок из ленты.

Тогда же.

На одной из темных троп шарахнулись в сторону копыта коней.

Темно-вишневый цвет смолистой щепы осветил узловатый подбородок Омехина, кровь на копытах коня и грудь человека, разрезанную в виде звезды. По челку утонула в груди человека конская нога.

Это был один из троих, ушедших утром сбирать кизяки.

Крупным песком заносится конец здешней жизни.

Палейка оправил ремни револьвера и тихо сказал Омехину:

— Предлагаю: труп в сторону. Пленных не брать.

От гривы к гриве, от папахи к папахе пронеслось с неясным шумом, словно вставляли патрон в обойму:

— Пленных не брать.

— Так точно,— прошептал задний в отряде, оглядываясь в тесную темноту,— так точно: пленных не брать.

В битве подле аула Тачи, как известно вам, был убит полковник Канашвили, зарублено семьдесят три атамановца и взят в плен брат Канашвили.

Горный поток тоже не брал пленных. Вода мутнеет от крови только в песнях, а пасмы туманов в горах были такие же, как в прошлый день.

— Расстрелять,— сказал, не глядя на пленного, Палейка. Он разыскивал тщетно спички, но не курил всю ночь, и, конечно, приятнее держать в руках папиросу, чем шашку.

— Товарищ...

Омехин зажег ему спичку. Такая любезность удивила Палейку, и он даже поклонился:

— Благодарю вас, товарищ Омехин.

Омехин зажег еще спичку и так, с горящей крохотной лучинкой в руке, проговорил:

— Но, товарищ, поскольку она женщина, а не брат...

Палейка опять зашарил спички.

— Предлагаю: расстреляем через полчаса. Я ее сам допрошу. Выходит, не брат, а жена? — спросил он почему-то Омехина.

Тот тряхнул головой, и Палейка тоже наклонил голову.

— И жену... тоже можно расстрелять.

— Можно,— подтвердил Омехин. И тогда сразу Палейка почувствовал, что папироса его курится.

Был рассвет. Пятница. Татары умело кололи кобылиц, и так же уверенно, словно блеском своим сами себе создавали счастье, так же смело блистали ледники Тууб-Коя.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Допросили. Чего ее караулить, мазанка у ней такой крепости: развалится, крышей придавит, и в расход не успеешь пулей ее вывести. Тоже строят дома: горшок тверже. Знает свое дело.

Палейка любил говорить о великой войне. Он рассказывал, как при взятии Львова за его храбрость полюбила его черноволосая мадьярка и как он на ней хотел жениться. Свадьба не состоялась: войска оставили Львов, но на память она дала ему дюжину шелковых платков песенного синего цвета.

Он вынимал тогда один из платков и, если приходила нужда, нос туда вкладывал, словно перстень.

Так и тут — он потянул палец за платком, галифе его заняли весь камень.

— Допросили, Максим Семеныч?

Палейка поднял платок. Пятеро татар, лениво переминаясь с ноги на ногу, ждали позади Омехина.

— Допросить-то я допросил. Однако должен предупредить вас, Алексей Петрович, что указанная вами грузинка есть не жена, а сестра Канашвили. Зовут Еленой, и, между прочим, девица. Она согласилась дать исчерпывающие сведения о состоянии бандитских шаек в горах, указать пути обхода и все связи бандитов с городом.

И по тому, как Палейка твердо выговорил последнюю фразу, Омехин понял — врет. Тянущий жар у него

прошел от губ к ушам, упал на шею, и ему показалось, что он пятится.

— Я согласен на отсрочку расстрела. Я ее сам допрошу, товарищ Палейка.

— Очень рад. Вы, как твердо знающий политическое руководство, за долгое пребывание в степи изучивший ее... У вас связи с городом не имеется, если туда препроводить?..

Связь тут — красное знамя, да и то источили ветры и дожди.

Чудак Палейка, весенняя синяя твоя душа!

Омехин подошел к ветхой, словно истолченной киргизской мазанке. Несколько партизан заглядывали в просверленные круглые отверстия задней стенки мазанки, перебивали очередь, переругивались, с силой рвали рукава друг другу.

— Черт, гляди, отмахнул на круговую от плеча! Зашивай теперь.

— А ты воткнулся головой, что клоп в пазуху. Ишь весь накраснелся, кровью налился. Надо и другим...

Испитой, бледный, как его старая потертая шинель, мужик тщетно проталкивался между двумя крепкотелыми татарами. Бока его шинели, нависающие на туго перетянутую поясом талию, совсем закрывали широкий, заворотившийся с обеих сторон ремень, и локтями он упирался в стоящих рядом татар.

— Я совсем немного, братишки, одним глазком,— умолял хилый парень.— Дай-ка, ну-у...

Другой, тонкий, вертлявый, в короткой шинели, ухитрившийся придать ей вид щеголеватого кафтана, босой, угрем проскользнул между гладких круглых спин и отверстие отыскал совсем под локтем мужика. Сухие ноги кафтанника совсем неслышно упирались в тяжелые сапоги татар. Он взвизгнул от удовольствия:

— Ай, что за женчин... Все только пундрится и мундрится...

Столпившиеся захохотали:

— Неужели еще пундрится?! Вот стерва, уж третий день. Другая бы глаз не осушила, доведись до нашей русской бабы, а этой хошь бы што...

— Полька она.

— Может, и еврейка, только белая.

— А муж генерал, говорят. Его не поймали.

— Ха, что ей муж? Его и не было в отряде, она сама

орудовала, как командир. Вот черт баба — в штанах, с ножом, а рожа крашеная...

Новая гурьба желающих взглянуть на пленницу толкалась к просверленным отверстиям, хватая друг друга за локти. У одного старая, пробитая пулями шинель треснула, и фалда повисла до земли. Он, не оглядываясь, попал кулаком обидчику в голову. Фуражка у того надвинулась на глаза. Он, рассвирепев, принялся лупить напиравших по чем попало. Серые шинели слились в один матерно мечущийся, растрепанный ворох.

Омехин, давно недовольно наблюдавший за солдатами, придерживая тяжелый наган, двинулся к ним.

— Обожди, не муха! Чего ползешь? Где караул? Ну, отойди, говорят.

Мужики шарахнулись, словно разлепились, и едкий пот нанесло на Омехина.

— Сплошь пундрит,— сипло продохнул кто-то позади.

Омехин обошел партизан и поискал отверстие в стене на уровне своего роста.

Такого высокого отверстия не оказалось. Он оглянулся.

— Куда вы смотрите-то?

— А ты пониже, пониже, брат.

Омехин недовольно примял немного фуражку на голове и, согнувшись перед отверстием чуть не вдвое, заглянул. Сначала ничего не видел: узкие стекла у самого потолка мало давали света. Мазанка совсем пустая. Пахнет в ней золой. Две грязные полосы сосновых нар, скорее — длинная узкая скамья, и на ней, теперь сразу стало видно, сидит женщина в белой черкеске. Две тугие косы прямой линией — по спине. Косы будто зеленые. Лица не видно: оно к свету от окна. На коленях — белая папаха. В мягкой расчесанной мерлушке совсем утонуло круглое зеркальце. Рядом на плахе — круглая плоская голубая коробочка. В руках у женщины пуховка. Она водит ею по лицу, поворачивает голову перед зеркалом. Лицо все более отходит от Омехина. Он оперся, видимо, тяжело: из ветхого глиняного кирпича стенки выдавился сухой треск. Женщина быстро подобрала под плахи ноги в черных лакированных сапогах и оглянулась. Еще сильнее запахло мокрой золой. Серые глаза ее с ненавистью забегали по стенке. Брови совсем нависли на глаза, или ресницы хватали до бровей.

— Ссс... скоты...— скорее свистнула, чем произнесла она.

Лицо бледное, выжженное, неживое, какое-то внутреннее, а не наружное. Глаза наездничьи, разбежистые.

Омехин отвернулся от щели и вздрогнул, словно по его груди проскользнуло это стремительное, молниеносное насекомое.

На его плечо по-дружески, но крепко легла рука Палейки.

Пальцы у него растрепанные и грязные, словно испаренные веники.

— Допросили?

— Собираюсь,— ответил Омехин.

— Может, препроводить ее при письме? Часть нежелательно возбуждена. Вы заметили, Алексей Петрович?

Омехин, уменьшая свой широкий рот, быстро спросил:

— Вы, кажется, товарищ Палейка, больше о ней заботитесь, чем... Да тут лавочка у ней, дальше коробки с пудрой не двинется. Да... Разговаривать с ней нечего, я ее допрошу. Допрошу...— повторил Омехин.

Голоса негромкие, не дальше сжатых губ, короткого дыхания, но ухо пленной чутко. Она всем телом прижалась к стенке мазанки. И так горячо, так охвачено пламенем ее тело. Серая шершавая стена принимает, впитывает ее жар — она совсем теплая. Очень теплая. Совершенно не удивительно будет, если переданное ею тепло коснется, дойдет до лиц близко стоящих мужчин. Щеки одного вспыхнули, за ними пылают уши.

— Я вам не сочувствую, хотя как руководителю военной части все сообщенные ею сведения мне необходимо было бы знать первому...

Палейка вдруг круто, по-военному повернулся, козырнул молча и пошел вдоль палаток.

Омехин крикнул уже вслед ему:

— Обождите, Максим! Надо выяснить, чего недоразуметь. Верите ли...

Последние слова он бормотал на ходу, далеко откидывая коленями длинные полы шинели.

— В лесу надо поговорить,— через плечо сказал ему Палейка.

— В лесу?

— В лесу. Здесь неудобно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Шинель Омехин сбросил на куст саксаула. Голубая нездешняя птичка выскочила из-под его куста.

«Хорошее место для могилы»,— подумал он.

Палейка, не по-солдатски широко размахивая руками, шел далеко впереди.

...Ведь надумает еще пойти не до саксаулов, а до гор. Не до гор, а до скал Каги, до них пять верст, по меньшей мере. Собачий перегон — так называются пять верст...

Костры чадили в долине. Партизанские кони рвали траву, как сучья. Горы — как палатки, в которых спит смерть.

Одни ледники разорвали желтое небо.

Ледники холодом своим смеются над пустыней.

...К горам, что ли, он идет?

...Не дойдешь, брат, в такой тоске.

...Все мы не доходим. Было другое лето в Петербурге, где нет гор и где море за ровными скалами, построенными людьми. Все же и там дует ветер пустыни, свивает наши полы и сушит без того сухие губы. Птица у меня на родине, в Лебяжьем, выводила из камышей к чистой воде желтых птенцов. Я не видал их. Об этом напомнили мне книги. Петербургские тропы ровные и прямые, и я все-таки недалеко ушел со своей тоской...

Палейка, обессиленный, повалился грудью на землю.

Саксаул острыми спицами впился в тонкое сукно, разрезая приникшее к земле тело. Теплый дождь — подумал с неудовольствием кустарник.

Запыхавшийся Омехин остановился подле. Губы у него твердые, как дресва саксаула. Будто всю жизнь Омехин ест корки.

«Вы, я вижу, Максим, на самом деле, а?..» — хотел было сказать он, и, как всегда при речах, потер он оземь и согнул правую ступню.

— Бывает,— промолвил он.

И так стало тихо, что от соседнего кустарника, вершка четыре от ствола, отскочила вдруг голубенькая мыш-

ка. Юхтач называется она, что значит — жадный. Задумчив и величав ее чуть загнутый нос.

Палейка приподнялся на локтях, вынул неслышно наган. Рот у него открылся: один зуб у него, оказывается, перерос другие. И главное — желтее всех.

Он повернул потную голову к Омехину и сказал:

— Пали!

Омехин хотел отступить, но Палейка приподнял на глаз мушку, и Омехин прошептал:

— Бог с тобой, Максим Семеныч, с чего я в тебя палить буду?

— Не в меня, в мышь. Кто попадет, тому она и достанется. Пали, ради бога.

— Спятил! Да никогда я в мышей не стрелял из револьвера.

— Пали! Считаю до двух. Кто убьет — тому. Система у нас разная. Пали, тебе говорят.

Мышь насторожилась, хвост у нее поднялся, она вздохнула, собралась бежать... и вдруг, не чуя себя, Омехин шепнул:

— Считай!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Женщина лежала на лавке, подложив папаху под голову. Когда Палейка вскочил в мазанку и поспешно задвинул за собой дверь, она быстро поднялась и села, держась обеими руками за кромку плахи.

— Я закричу. Что вам?

Не отвечая, Палейка чиркнул спичку и зажег небольшой огарок, оглянулся — куда бы его поставить. Она прищурилась, словно приберегая глаза для разбега, быстро согнула в локте его руку и сказала:

— Стойте так!

Осторожно достала из кармана кофточки круглое зеркальце и пудреницу из бокового кармана юбки и, открыв голубую коробочку, не глядя на Палейку, неподвижно светившего ей, стала пудриться.

Когда нос стал белее лица, она губной помадой тронула чуть-чуть губы. Улыбнулась тягостно-легко.

— Теперь хорошо.

Спрятав пудру и помаду, взглянула на Палейку. Зеркальце осталось у ней в руках. Вытянулась и, еще

притянув к носу зеркальце, тронула рукой грудь Палейки.

— Отойдите дальше.

Палейка, повинуясь совсем не ее руке, задевшей, словно пчела, отступил назад.

В зеркале брызнулась отсветом свеча, ему захотелось загасить — но губы ссохлись.

Она опять села и положила зеркальце на колени.

— Что же, вы опять молчать будете, как прошлый раз? Вам чего, собственно, от меня нужно? Я ведь знаю, куда вы меня утром отправите, и ничего вам не скажу. Я и ничего не знаю.

Она ненадолго задумалась. Опять словно водяной паучок скользнул на ее щеки. У паучка смешное имя — «мзя».

— Я хотела после себя оставить...

— Мне?

— Совсем не вам, а вообще. Я думаю, что мои косы на это годятся. Пускай они останутся жить... я их люблю.

Она сложила на груди обе косы вместе, играя пушистыми концами.

«Хитра»,— со злостью подумал Палейка, ощущая теснящуюся в носу влагу растроганности.

И он сказал басом:

— Серьезнее вы ни о чем не попросите? Может, какие другие вещи есть?

— Вот смешно! Это очень серьезно...

— Неужели на меня нельзя рассчитывать в смысле легкой, предположим, помощи. Мы, в крайнем случае, где-нибудь и понаскребем.

— Помощь... фи! И притом... надо же понимать. Кто служит, вообще как-то действует в жизни вместе с хамами, сам теряет благородство. А у лишенных этого достоинства я услуг не принимаю. Уйдите. Вы мне больше не нужны. Спасибо за огарок. Да, вот еще что: разрешите мне причесаться к завтрему, а то завтра я не успею. Подержите еще огарок.

Женщина спокойно, таким же заученным жестом, как ее слова, стала распускать волосы.

Палейка быстро поставил огарок прямо на пол. Его большая неуклюжая тень метнулась по стене, сломляясь у потолка. Голова на потолке превратилась в чурбан.

Он сел рядом с женщиной и, не давая ей опомниться, поймал ее руки.

— В помощи? Да? Фу, гадость какая, только подумать... Уходите. И вы еще прикоснулись ко мне: у вас руки грязные, смотрите, ногти обломанные, короткие, желтые... как окурки...

Она с отвращением вытерла свои пухлые руки о низ черкески. Вдруг зеркальце соскользнуло с ее колен, упало на пол и разбилось пополам.

Женщина испуганно посмотрела на осколки, подняла их, словно не веря глазам, посмотрелась и заплакала, затопала ногами, пронзительно крича:

— От вас только несчастье, горе, потеря! Ненавижу, ненавижу! Убирайтесь! Знаю, что завтра расстреляете, знаю... и незачем зеркало бить!

Она бросилась на нары, подогнув под себя колени, и, уткнувшись головой в папаху, зарыдала. Косы, свисая до полу, бились, трепетали, увертливо развивались.

— Ишь, черт! — сказал хрипло Палейка. Горло у него было сухое, словно из папье-маше.— Ишь, черт, зеркало пожалела. Сплошь тяготение к суеверию.

Он слегка помолчал. Пальцы его нащупали в кармане платок. Мадьярский платок был последний. По бокам он обтрепался. Не будет больше таких платков у Палейки. И любви такой песенной больше не будет. Капут.

— Я его оставлю.

Женщина молчала.

— Я его тут рядом положу. Мне его невеста подарила. Теперь она, несомненно, померла. Я к вам даже не в смысле любви, а так, если что сможете почувствовать, то предлагаю вывесить на видном месте. Думаю: долго придется вам жить, так как, по некоторым соображениям, предполагаю отложить ваш расстрел.

— Я хоть в сапогах, а портянок не ношу. Уберите платок.

Палейка упрямо подошел к скамье, аккуратно разложил платок и, плотно захлопнув дверь, строго сказал двум часовым татарам:

— Смотрите в оба, потому что — стерва.

Татарин только сплюнул через уголок губ.

— Знаем.

Он поднял винтовку и сплюнул еще.

— Все знаем, солай.

Увидав входящего, Омехин приподнялся с койки.

— Какова?

— Ничего.

— Говорили?

Палейка, высоко взметая пушистые брови, захохотал.

— Везет вам, товарищ Палейка, с бабами. И-и, везет. Я ведь как стреляю, а и то промахнулся, на ваше счастье. И в чего — в мышь. Она добровольно...

— Конечно.

— Сволочь бабы. Брата ухлопали, многих перебили, а тут на четвертый день... Вот и женись тут. Возни нам теперь с ней будет.

— Какая ж возня? Отправим по месту назначения.

— А вы как, товарищ Палейка?

— Побаловался — и будет.

— Да... будто и хорошо, будто и плохо. Везет вам с бабами, товарищ Палейка.

— Да, везет,— вздохнул Палейка.

Пески не стынут за ночь — как сердце. Пески разбредаются по всей пустыне, как кровь по телу. Кто убережет саксаулы от вихрей? Тученосно увиваются пески вокруг саксаулов.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Деревянная койка была жестче седла. У постланной шинели прямо невозможные швы. Не швы, а канаты. Завтра, наверное, пойдут по всему телу красные рубцы, отпечатки этих толстых грубых портновских швов. Положил бы он спать на эту шинель самым нежным местом самого портного. Посмотрел бы, как стал этот портной ворочаться, кряхтеть и почесываться. Но почесываться приходилось не от одних швов. Омехин, ворочаясь, бормотал:

— Швы... вши...

Портного все-таки не мешало бы притянуть к ответственности, чтобы шил аккуратнее. Надо сообщить, но...

— Лешак те дери, таку жись! Сидишь, как вошь на сковороде — и жирно, и жрать нечего. Бабу бы по такой жизни.

«Военком рядом за стенкой, спит уже. Как боров, храпит, наверное...»

Омехин прислушался.

«И дыханья совсем нет. Значит, доволен».

— А ну его, сдался он мне!

Он достал махорку, выкурил трубку. Опять лег, накрывшись одной полой шинели. Духота — как в мелочной лавке. Промчался мимо патруль. Годы спал на шинели, не жала, а тут... И вспомнил он вдруг запах богородской травы. Пятикратное заклятье читать от такого запаха, если он почудится во сне девице... А тут патруль. Думай лучше о пахоте. Вот жарким весенним утром пахота. Пахота... пауза... похоть... пахтанье... похоть...

Со скуки читал он словарик иностранных слов, среди которых все были русские... «Иностранные» напечатано, чтоб больше покупали. Смешно.

...Совсем какая-то куличная ночь. Пахнет — словно на пасху. Луна, наверное, и чужие горы. Луна здесь — словно каждый день пасха...

Он отбросил шинель. Пуговицы четко ударились о стенку. Омехин достал из-под изголовья сапоги.

— Пойду, посмотрю караул.

Он, стараясь не звенеть шпорами, стал натягивать сапоги.

Но здесь он явственно расслышал женский визг, рев нескольких голосов, и затем упал выстрел и, странно, не отдался в горах. Точно во сне — там никогда не узнаешь эхо.

Омехин запнулся о порог.

Мелькал фонарь подле мазанки, партизан задевал о его стекло наспех привязанной шашкой. Небывалый клекающий гогот слышался там. В кустарниках за лагерем выли приставшие собаки.

— Тише! Ну-у...

Кафтанистый партизан схватил его за руку и, со смехом указывая на троих татар, громко прокричал над ухом, словно выстрелы продолжались:

— Ты на них посмотри... ты на эти рожи. Хотел ка-а...

— Чего тут, парни, а?

В углу мазанки, держа в одной руке нож, а в другой папаху, плакала женщина. Ей, наверное, было стыдно видеть себя плачущей, и потому она визжала непереносно высоким голосом:

— Изверги, палачи! Сегодня комиссар кидался, а теперь стаей хотят... Расстреляйте меня, не мучайте! Сейчас же, сию минуту! Гадины!

Омехин, отстегнув кобуру револьвера, взглянул на сутулого татарина, одного из часовых:

— Ну?..

Татарин сделал руки по швам. Лицо у него вдруг вспотело, веки как-то опухли. Он оглянулся на остальных.

— Баба нету. Четыре месяца терпел, как Уфа уехал, нету баба. Завтра стрелять все равно, комиссар щупал, надо нам мало-мало прижимать. Он...

Татарин жалобно указал на жидкую бороденку, по которой ползла кровь.

— Он нож — пщак сюда, начал меня резать. Пошто нам нету баб?!

Кафтаносец даже взвизгнул:

— Эта рожа, браток, смотри, эта рожа! Бабу ему надо! Терпи, терпи так, как революция тебя терпит, а?

И он в совершенном восторге хлопнул себя по сапогам ружьем.

— Они для страха в воздух уф... Припереть ее чтоб.

— Запереть ее,— сказал Омехин с раздражением.— Запереть наглухо... Ты покарауль пока, — указал он кафтаносцу.

Тот для чего-то обнажил шашку и застыл, только зубы его смеялись в темноте, и видно было их, казалось, за десять саженей от мазанки, куда отошли Омехин, татары и Палейка.

Фонари стояли на теплых и словно вспотевших камнях. Трухлявый ветер чуть шевелил полы шинелей.

— Поскольку...— сказал Омехин, глядя на камень.

Свеча нагорела, и не находилось дурака снять нагар, и поэтому Омехин чувствовал все увеличивающееся раздражение.

— Поскольку командная сила нашего славного партизанского отряда допустила попустительство, не кончив ее сразу, а дальнейшее ее пребывание заклеймит позором наш отряд,— я нахожу необходимым провести без промедления революционный приговор. Во избежание аккредитивов на анархические выходки — часовых: Гадеина. Алим Каши и Закия Кызымбаева приговорить к высшей мере наказания, но, принимая во внимание их несознательность, приговор считать условным. До ис-

полнения дежурить над гражданкой... чем и загладить свою вину. Иначе — к черту. Понял? Есть возражения? Возражения имеются?

— Нет,— ответил Палейка.

Все так же глядя в камень, Омехин сказал татарам:

— Приговорены условно к расстрелу. Ступайте по местам и караул веди теперь безо всяких. Понял?

Татары вдруг взялись за руки и отступили.

— Ну?!

— Э, понял, Лексе Петрович, э...

И сутулый татарин низко, почти до земли поклонился.

— Э...

— Осмелюсь доложить,— сказал Палейка,— могли не понять. Может, разъяснить им?

— Какие там разъяснения, если о пощаде не просят. Ясно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Утром от мазанки нашли следы, направляющиеся к горам. Скакали четыре лошади, а на самой легкой, на карем иноходце Палейки, мчалась сбоку трех, видимо, она — Елена Канашвили.

Всякие бывают события в жизни, как всякая вода в реках, но очень муторно было в это утро Омехину. Сидел он в седле, вытащив длинные сухие ноги по кошме, и глядел с раздражением, как Палейка выбирал в табуне лошадь.

— Каки события предпринимаешь?! — крикнул он ему.— Плохо, видно, с бабой спал, раз утекла. Плохо, видно, присосался.

Палейка с криком ударил укрючиной в табун. Кони метнулись, из-за палатки послышался топот копыт, и Палейка выехал на неоседланной лошади.

— Ка-амандер... Без седла ехать хочешь?! Не овод. Дать ему седло!

Татары подхватили Палейку.

— Дарю тебе на счастье свое седло,— сказал Омехин.— А коня не дам, прозеваешь.

Вслед за Палейкой помчались еще шесть всадников.

Палейка метался один, без дороги, натыкаясь на кусты, камни, рытвины. Дергал за уздцы коня,— тот часто вставал на дыбы, крутился на одном месте,

пытался даже сбросить непонятного ему, по желаниям, всадника.

Он словно бежал в догоню за скрывшимися и в то же время словно скакал от Омехина.

Но все-таки на крутой горной тропе, подле горы Айоль, Омехин догнал его. Оборачиваясь на топот, Палейка крикнул:

— Они, Алексей Петрович, убьют нас, как тараканов. Четверо их.

Омехин в седле сидел так же уверенно, как за книгой, за словарем иностранных слов, который он небывало презирал. Ноги его плотно сжимали бока и были четырехугольные, тупые и скучные.

На шестой версте от лагеря, в нескольких шагах от тропы они увидели труп бежавшего часового Алим Каши. Череп его был разрублен саблей. Скользнувший дальше клинок рассек гимнастерку и обнажил впалую, чахоточную грудь.

— Тоже баба понадобилась,— не слезая с лошади, сказал Омехин.— Я думаю, отказался с ними в горы дальше идти. Не захотел быть предателем рабочего класса. Потому закопать его, а то волки сожрут.

Чернели вдали сухие выветренные скалы. Очень сильно, до кровавых ссадин надо было сжимать бока коня, чтобы еще и еще сбирал он растраченные силы.

И вот у Агатовой скалы еще распростертое тело партизанского коня и всадника — часового Гадеина. Это был красавец саженного роста, веселый и хохотун. Скрюченные руки его запутались в поводу. Обезображенная голова коня — рядом.

Гадеин еще жив. Он поднимает омертвевшие веки и чуть слышно, словно веками, спрашивает Омехина:

— Стрелять пришел? Зря я от твоей пули бежал. Лучше от своей пули азрак — азрак капут. Он говорит: бежим, убьет, все равно расстрел. Каши говорит — бежим, Закия говорит — бежим, все равно расстреляют. Ха, куда свой полк убежит татарин?.. Ха... Закия баба нет. Закия баран. Закия мне в башку расстрелял, как баба просил. Не стреляй, Алексей Петрович, в морду, стреляй прямо в сердце.

— Да,— сказал Омехин, подбирая свои повода,— кончится скоро. И верно — не понял, что значит «условно». Что значит условно? — обернулся он назад.

Бойкий пензенский паренек выпрямился в седле.

— Условно,— значит, товарищ комиссар, которых убить бы надо, да пожалели оттого, что хорошие ребятишки.

Ближайшая гора прикрыта до пояса кустарником, словно юбкой, а дальше голая, скалистая. В кустах паслась лошадь. Высоко подымая пухлые губы, она весело щипала колючую траву. Появление людей ее не встревожило.

Она отдохнула, освежилась и радостно заржала. Далеко от лошади, впереди, на каменистой тропке лежал вниз лицом труп. Он врылся в расщелину камня грязными пальцами.

В него было всажено — в спину, в шею и в голову — четыре револьверных пули. Совершенно бессмысленно, тщеславно.

— Это баба стреляла,— сказал Омехин.

Дальше уже шел след одного коня.

Омехин посмотрел в горы. Куст окончился, и обнажился голый камень. Высоко, где-то в снегах серел аул. Дымок виднелся среди скал. Вечная жара веяла от камней.

Омехин натянул левый повод, а сам откачнулся вправо.

— Будя! Дальше нас самих пристрелят. Вертай, товарищ, обрать. Лошадь забери. Жалко мне твово иноходца, Максим Семеныч, но, бог даст, поймам когда-нибудь ее.

Позади его в спину он услышал шепот Палейки.

— Товарищ, вы заметили — у последнего-то в руках волосы ее...

— Ну?

— Он ведь был самый некрасивый. Закия, который всех убил. Он ее за волосы успел схватить...

Омехин осадил коня, поравнялся с Палейкой и наклонился к нему так, что почувствовал запах кумыса и курта.

— Ну, а если даже и за волосы... За волосы таких баб бить надо, а не помирать.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

До потока, что проходил у самого стана, они ехали молча. И когда копыта разбудили деревянный самодельный мостик и вода словно забурлила еще быстрее,

Палейка догнал Омехина. Держась за луку его седла, он забормотал:

— Я ведь вам все наврал, Алексей Петрович, как есть наврал. Может, она ему жена, может, сестра... или польский шпион. Не спал я с ней, и ничего не было, и зря вы в мышь промахнулись. Лучше бы мне промахнуться. Я ей только синий платок подарил.

— Ну?

— Чтобы она показала в руке, если захочет вообще с симпатией, а она...

Омехин вдруг тяжело повернулся в седле и огорченно будто крикнул:

— Увезла?!

Сухие скулы Палейки вспотели, повод скользнул, и он соврал:

— Сожгла. Пепел мне показывала потом, после татар. Пепел. От шелку сколько пепла? Как от папиросы.

Вязкая теплота наполнила жилы Омехина. Ему захотелось спать, стремя отяжелело и словно стопталось в сторону.

— А ну ее,— сказал он лениво.— Надо протокол для отчета составить. Я еще хочу днем мазанку осмотреть, как они удрали. Татар жалко...

К двери мазанки, там, где скоба, был прибит тоненьким гвоздиком синий шелковый платок Палейки.

— Так,— проговорил Омехин задумчиво, глядя, как Палейка торопливо, даже не спрыгнув с лошади, сорвал платок,— так, посмеялась паскудная баба. Увижу — шесть пуль всажу.

Отъехав немного, он остановился, посмотрел на Палейку, покачал головой и вдруг, спрыгнув с лошади, пошел пешком к палатке. Какой-то проходивший партизан подхватил повод его коня.

Вечером Омехин взял винтовку, переменил обойму и почему-то снял с сапог шпоры, хотя он очень любил ходить в шпорах.

Ружье ему показалось очень тяжелым, ночь — непереносно душной, и только было хорошо то, что не видно было во тьме гор.

Он сел недалеко от мостика через поток. Воды словно убавилось. Пахла она цветливыми горными запахами. Омехин не спал вторую ночь, и потому все ему казалось почему-то соленым. Виски тучнели, и тьма ночи была непереносно тягучей.

Под ногами, казалось, сыпались-сыпались мелкие, острые, как иглы, камушки. Костры в лагере потухли, и скоро вернулся через мост патруль. Мужики громко хохотали, и один из них скинул в поток горсть горных орехов.

Так Омехин сидел долго. Ноги свела тесная боль в жилах. Ружье он отложил в сторону. Где-то на небе мелькнуло пятнышко зеленого с желтым рассвета, и здесь он услышал заглушенный топот.

Всадник медленно, со стороны лагеря, приблизился к мосту. Постоял немного и громким шепотом понукнул лошадь. Лошадь четко ударила копытами.

— Палейка, ты? — окликнул его Омехин.

Всадник дрогнул и неестественно громко выкрикнул:

— Я!

— Подними голову выше. Я тебе покажу, куда надо бегать.

Омехин плотно, согласно уставу, прижал к плечу ложе винтовки.

Лошадь шарахнулась от выстрела, прыгнула два раза и с пустым седлом помчалась обратно в лагерь.

Омехин перевернул труп, из бокового кармана гимнастерки достал пакет, завернутый в синий мадьярский платок. Там было немного денег и документы Палейки. И документы и деньги он кинул в воду вслед за трупом, а платок сунул в карман.

Затем он, неизвестно для чего, разжег костер из саксаула. Закурил и разложил перед собою платок. Достал веточку с горящим концом и проткнул платок посредине. Запахло гарью, и палочкой же Омехин швырнул платок в костер. Подошедшему же секретарю штаба сказал:

— Надо мне сегодня картину ту досмотреть, что татары помешали. Какая, интересно, мораль получилась из ихней любви.

— Нельзя ее досмотреть, товарищ комиссар,— ответил ему секретарь.

— Пошто же я не могу ее досмотреть?

— Оттого, что две недели назад уже как демонстратор, товарищ Глушков, отъехал в другую сторону, с вашего же разрешения переменив ослов на лошадей, потому что ослы, как известно, были задраны волками за отсутствием стадности и наблюдения.

— Две недели?

— Так точно.

— Ишь ты, жизнь-то как идет. Жизнь идет прямо...— но не докончил, как именно идет у него жизнь, так и не докончил товарищ Омехин. Только ухмыльнулся.

Камень в горах тугой и броский. Веселая и зеленая под ним земля. Солнечный пламень в горах потух, и облака, как пепел на костре человека, закрыли камни.

Под руку попалась трава. Экая гайдучья трава: не разжевать ее, не раздавить.

И все же через гайдучьи травы, через пески откуда-то от Тюмени, через уральские и иные степи, через партизанский отряд товарища Омехина пробирается дальше агитатор, демонстратор и вообще говорун Евдоким Петрович Глушков.

1925

ПРО ДВУХ АРГАМАКОВ

С крутых яров смотрелись в сытые воды Яика ветхие казацкие колоколенки. Орлы на берегах караулили рыбу. Утром, когда у орлов цвели, словно розы, алые клювы, впереди парохода хорек переплывал реку. Пожалел я о ружье, низко склонившись к перилам и разглядывая его злобную рожу. А он, фыркнув на пароход, осторожно стряхивая с лапок капли воды, юркнул в лопушник.

Великое ли диво — пароход? А в этом году впервые за всю свою жизнь видит славный Яик гремучие лопасти. А тянется этот Яик от Гурьева до Оренбурга — больше чем тысячу верст, и до сего лета не допускали казаки на свою реку парохода: рыбу, говорят, перепугают. И довелось мне видеть, как целые поселки, покинув работу, бежали смотреть на пароход.

Старуху одну, в зеленом казакине, полной семьей вели на пароход под руки. Надо было старухе ехать в Уральск лечиться. Крепко боялась старуха парохода, истово крестилась при гудках и с великой верой взирала на ветхие колоколенки.

Долго не хотела говорить со мною старуха. А потом, когда рассказал я ей, какие у нас на Иртыше переметы, стала она меня учить, как правильно рыбачить и какая должна быть «кошка» у перемета. Попутно выбранила сибирских казаков. И к вечеру уже, когда и колоколенки и яры скрылись в лиловом, пахнущем полынью и богородской травой сумраке, поведала мне Аграфена Петровна семейную свою притчу.

— Ты ведь, поди, нашего хозяйства не знаешь? А наше хозяйство, по фамилии Железновское, известно по всему Яику. Ильбо от Разина — сказывают, великий он колдун был,— ильбо от чего другого прадед наш, Евграф Железнов, развел аргамаков. Таких аргамаков развел, что из Хивы приезжали и многие тысячи пла-

тили за породу. Табуны наши были в скольку сот голов — уж не помню. Мать моя, царство небесное, сарафан обшивала по вороту индицким зерном-жемчугом, а дом у нас кирпичный, двухэтажный и под железной крышей.

Детей? Детей у меня много было, все больше девки, а парня уродилось два — Егор да Митьша. Егор-то русой был, на солнце, бывало, отцветает, что солома, а Митьша — черный, чисто кыргыз кыргызом. Разница меж ними в двух годах была, а учиться довелось им вместе. И по хозяйству все тоже вместе держались. Вот перед тем, как Егорше в лагеря идти, «сам»-то и подарил им по жеребку наилучших ног. Он, царство небесное, в ногах беда как понимал — лучше самого хитрого цыгана. Егору дал Серко, а Митьше — Игреньку.

И выросли те жеребята, как сказ. На войне, говорили, на смотру генерал оглядел наших аргамаков и Егорку спросил: «Каким, дескать, овсом кормлена такая чудесная лошадь?» — «Нашим, грит, яицким». И велел генерал записать адъютанту про тот овес, чтоб кормили им любимого генеральского коня.

Сколько раз казацкую жизнь спасали кони — я уж и запамятовала, а только раз на том коне Митьша полковую казну вывез из немецкого плена и получил за этот подвиг два «Георгия».

Осенью пустили их ильбо самовольно приехали — не знаю уж. Подойти к ним тогда было — чисто сердце отрывалось. Ходят по двору: один — вправо, а другой — влево. А как сойдутся, так Митьша крестами на груди трясет и кричит: «Царя, мол, отдаю, а веру мою не тревожь! Имущество, грит, с кыргызами да другими собаками делить не хочу».

И почнут кричать, будто не братья, а бог знает кто. Я поплачу, поплачу, свечку перед образом зажгу. «Утиши, господи, их сердца»,— молю. А самой все-то непонятно, все непонятно: как? из-за чего? Шире — боле. Я уж говорю Митьше: «Разделить вас ильбо что?» А тот: «Не хочу, грит, добра зорить». А Егор, тот кричит: «Все народу отдам!» И в кого он уродился такой заполошный?

Тут еще одна беда — Егорова молодуха собою красавица была: лицо — чисто молоко, сама — высокая, с любою лошадью управлялась лучше мужика. Приглянулись ей Митьшины кресты, что ли,— только начала с ним шушукаться. Я уж ее однаж огрела помелом,

а она белки выкатила да на меня. «Ты,— грит,— старая чертовка, за сыном бы Егором лучше смотрела: несет он разор всему нашему роду, в большевики пошел». Мы тогда большевиков-то не знали.

Казаки-отпускники ездят из поселка в поселок, кричат, что офицерское добро делить надо, что пришла намеднись воля. Только однажды приходит станичный атаман, говорит Митьше: «Собирайтесь, грит, герои, в станичное правление — по городу ходят, на манер пугачевского бунта, солдаты. Надо, грит, ихних главарей переловить».

Егор-то в ту пору в городе находился. Надел все кресты Митьша и отправился, на меня не взглянув.

Только не вышло у них, что ли,— не знаю. Вернулся Митьша — прямо на полати в валенках залез. А тут немного погодя и другой сыночек. С порога прямо кричит: «Митрий Железнов, слазь с полатей! Я тебя за бунт против народной власти арестую!»

Тот молчком спускается. А на чувале у нас всегда дрова сохнут. Поставил это Митьша ногу на поленницу, а потом как прыгнет, схватит полено и брата-то — господи, родного брата! — по голове, и бежать! Ладно, у того кыргызский треух был. Охнул Егор и пал наземь, а потом через минуту, что ли, поднялся и говорит: «Никуда, грит, от наказания не уйдешь! Я, грит, на замок коней запер».

У нас конюшни-то на железных болтах были. Я его было за руки, а он отвел меня и говорит ласково: «Не тревожься, матушка. Буду я народным героем!»

И за дверь — тихонечко.

Я, как только очнулась немного,— за ним. А он на дворе, слышу, кричит: «Кто смел открыть ему конюшню, когда один ключ у меня, а другой — у моей жены?»

Посмотрел он на молодуху, покрутил усы. «Выпустила, грит, ты убивца и предателя. Прощай!» А пуще его озлило, полагаю, что отдала молодуха Митрию Егорова Серка. А был этот аргамак из лучших лучший — где было тягаться с ним Игреньке, хоть и получил на нем Митьша два креста! Вывел Егор оставшегося Игреньку, потрепал по шее, оседлал тихонько и уехал, не взглянув на жену.

Сказывали, что в ту ночь в нашем городе переворот доспелся. Одолела в том деле Егорова сила. Отступили за реку те казачки, что за генералов были. Вот в погоню

и отрядили под началом Егора сколько ни на есть народу. Месяц-то ноябрь был, убродный да лютый. По снегу — след, так и видно, куда поскакали казаки. Догнал их Егор под Лужьим логом. «Сдавайтесь, грит, а то всех перепалю из пулеметов». А генеральские казачки-то — шашки наголо, да — на них. Ну, оседать начали Егоровы силы. Хотел было Егор приказ отдать отступить, потому видит — не одолеть ему генеральских казаков.

Только заржал в ту пору под ним конь, Игренька. А из супротивников другая ему лошадь откликнулась. Узнали, вишь, конь коня, Серко — Игреньку. Закинул Егор голову да и спросил громко: «Брат Митьша, ты?..» — «Я,— отвечает тот,— я!»

Через всех казаков проскакал Егор к брату. «Эх, грит, Митьша, прощай, изменник. Стыдно мне за тебя и за все семейство наше казацкое! Помирай от моей руки». И вдарил его шашкой.

Потом что?.. Ну, напугались генеральские казаки. Уж коли брат своего брата не пожалел, значит, за Егором правда. А с правдой как воевать? Она победит. Генеральские казаки и сдались.

А Егор револьвер вынул, подходит к коню Серко. У самого слезы на глазах. Ведь конь — тварь бессловесная, ее винить в чем?.. И говорит Егор тому коню: «Конь ты, конь серый! Возил ты меня, возил и брата. И всю жизнь будешь ты напоминать об изменнике. Жалко мне тебя, но стыдно будет всем смотреть на тебя. Прощай!»

И убил коня.

...Сердце-то у меня с того времени будто полынью поросло. Все-то времечко на нем горечь горькая.

1926

О КАЗАЧКЕ МАРФЕ

У ворона вон гнездо куда какое крепкое, хоть и сделано из прутиков. От Каспия, когда подует ветер, камни несет в голову, столетнюю вершину ломит, как соломинку, а вороново гнездо серым цветом цветет, смеется будто — цело.

Только ведь и так бывает: подрастут воронята, перо сизым налетом покроется — раздерутся. С чего раздерутся — никому не известно; может, из-за какой ни на есть насекомой. Глядишь ты — в драке-то развалится тое гнездо — чисто скорлупа.

Я к тебе с гнездом этим не к примеру, а вот даве видела — нищая одна под ветлой плакала. Обличьем мне та нищая показалась знакома, а присмотрелась и — подумала: все нищие на одно лицо и на одну суму. А над ней писк, и в гнезде воронята дерутся,— выходит, конец лету... Вот и плачет нищая, что теплу конец, что сума снегом скоро покроется, сгниет: нонче и сума денег стоит... А до воронят ей — что? Воронят ей и в сказку вставить нельзя, — ноне в сказках-то ароплан подавай, в ковер-то-самолет не верят...

В нашем поселке Лещинском (это его в прошлом году — для смеха, должно — хоть и назвали городом, так ты не верь) строй глинобитный, деревянное только одно — пожарный сарай. Крыши одни только казачью удаль выдают — тесовые, а у богатых — крашеные.

Вот из-за крыши такой богатеем прослыл у нас Климентий Федосеев. А и было у него всей богаческой силы — что сыны покрасили ему крышу. Произошло их у него шесть человек, один другого на голову обгоняет — красавцы.

И только успели доспеть ему крышу, — даже скворешник не воздвигнули,— в тот же час как раз пришла ерманская война. Муторно стало смотреть Федосею на

крышу, взглянет и слезами, бывало, зальется: «Лучше, грит, я, как расейский, вшивая губа, сидел бы под соломенной покрышкой...»

Судьба — не баба: слезой не возьмешь. А получилось так, что целехоньки пришли с фронта казаки. Как сказали Климентию, что видно сыновью пыль за ярмарочными балаганами,— силы в ногах ушли. Отправился он в избу, лег на скамью. «Я, грит, маленько вздохну». Да так с таким словом и помер.

Подъезжают сыны, смотрят на крышу — покоробилась та, облупилась. Думают — надо перекрасить.

Встречает их мать у ворот.

— Мир тебе, мамаша! — говорят казаки.— Что ж ты стоишь — и думаешь и плачешь?..

— А вот стою,— отвечает мать их Марфа,— думаю: помер счас от радости по вашим лицам отец. Неужто станете вы тепѐрь, как у всех, делиться и рушить хозяйство в такую тяжелую жись?

Казаки и говорят ей:

— Вот тебе перед отцом и богом слово: будем жить по-прежнему сообща и тихо... Покой свою жись!..

Ну, а дни тогда, что торопкий да далекий путь: и лошади вспотели и телеги заскрипели. А ямщик-то гонит да гонит...

Ты и сам знаешь, да и повторить не грех: наши-то степи уральские — еройские степи. Разин тут и Пугач гуляли, Маринка, жена Гришки, жила, тут Чапаев с атаманом Толстовым сражался и в Яике потонул.

Слово, что ли, дали, что не делиться, али так уж вышло — только довелось всем шести братьям Федосеевым попасть в отряды к тому царскому генералу Толстову, которого большевики, сказывают, анафеме предали...

В бога, гришь, не верют? А как же они всех победили, коли в бога не верют? Может, вера в него другая — не наша, может, и скрытая какая — бог-то один: он знает, кому помогать. Знает.

Ну, и разбил тот ерой Чапаев толстовскую армию, казаков дивно перерубил и начал над всеми суды судить.

Забрал он всех шестерых братов (тоже ведь к горю, видно, их в бою-то пощадило), выстроил, посмотрел на них и приказал судить — истреблять их без пощады, как комара.

Суд-то тогда был короче вздоха.

Спрашивают их судьи:

— Вы ли с нами воевали так, что от вас дух гнилой по земле прошел?

— Так точно,— отвечают те шестеро в голос,— воевали!

Прочитали им присужденную бумагу: так, мол, и так, за то, что воевали вы с нами, дается вам смерть —к расстрелу.

Надели казаки разом шапки. Самый молодой, так тот даже набекрень и чуб не забыл выпустить.

— Господи, благослови! — говорят.

Я беду свою тебе сказывала, а что моя беда перед такой смертью? Мошка! На ногах-то у командера опорки ильбо что еще хуже, а пала Марфа к тем опоркам, щекой прижалась, воет:

— Простите, христиане, хоть одну смерть, хоть одну жизнь-то оставьте. Буду служить за ту смерть всей своей кровью советской власти... хоть самого малого простите...

Сняли свои шапки перед советской властью пятеро казаков и в голос сказали:

— Просим!

Посмотрели красные командеры на малого, на бабу Марфу, значит, посмотрели, а той хоть без нескольких пятьдесят, а на тело и тридцатилетней не дойти.

— Ладно,— говорят,— прощаем одного: посмотрим на твою службу...

И верно: малого-то пустили, а остальных пришлось засыпать в одной могилке.

Пошел полк тот али дивизия дальше, а за полком отправилась Марфа. Остался младший дома хозяйничать, женился вскоре,— хозяин из него вышел ладный. Одно: к деньге был жаден.

Марфа-то сперва около полковых казанов ходила, а дале — позорище для казачки-то невиданное — и на лошадь вскарабкалась. Смеху-то, поди, много над ней было: как-никак — парень, а волос — седой. Шире-дале — ружье да шинель она себе обнаружила. И пошла с того дня об ней слава.

Бают у нас поселком: «Баба Марфа ротой командует и к советским отличиям представлена». Командовала ли она ротой — бог знает: слов ведь тогда много говорили,

а еще более того — им не верили. Коли деньги без цены ходили, то слова — что?

Так, значит, с летошним снегом и перестали об Марфе говорить. Жена-то Василия Федосеева — невестка, значит, Марфы — даже в церкви панихиду отслужила.

Вот и вышло, что поторопилась. Война кончилась. Народ про семена начал думать. Выйду это я за поселок, а мужики стоят да на землю смотрят. И дивно было — страшная какая-то земля была: багровым бурьяном заросла, корни какие-то в ней ползут, толще руки. Вот и вышел так однажды казак Абрам Новопольцев на пашню посмотреть, а видит — по тракту тройка мчится, аж от лошадей пена клочьями летит. Комиссарам-то раньше не все радовались — вот и захотел Абрам посмотреть, кого это леший к нам несет. Заглянул в кошевку-то, а там — Марфа. В солдатской шинели с наличниками комиссарскими, вся грудь в орденах, рука на черной перевязи, и — постарела.

— Как, — спрашивает, — сын мой Васенька живет?..

А у самой руки трясутся от нетерпенья, и больным локтем ямщика в спину торопит.

Ошалел Абрам. Еройски, видно, отплатила советской власти Марфа. Шапка у него аж свалилась, ничего ответить не мог, так и промчалась трашпанка мимо. Только через полсотни сажен услышала Марфа, как орет Абрам «ура»,— а не обернулась.

Греха, по-моему, в хорошем хозяйстве нету, а только нельзя, коли мать приехала, первым делом в трашпанку заглядывать, много ли добра привезла, и спрашивать: «Пенсию-то тебе, мамаша, большую назначили?»

Отвечает ему Марфа:

— Я, грит, не за пенсию, а долг платила...

Видно, такая горькая дорога вышла Марфе. Жаловаться она не жаловалась, выйдет на яр, подберет больную руку и в Яик смотрит. А разве казачке в Яик смотреть? Казачке надо робить. А тут невестка ее до самого худого горшка не допускала, а дале — лишним куском стала попрекать, расчеты стала вести на Марфину жизнь. Сын тоже посмотрит за обедом в сторону, скажет сурово так:

— Коли, грит, воевать, так надо, чтобы до победного конца. Зря, грит, домой калеки не приходят — в такую жизнь людей объедать...

У Марфы-то ложка тяжелей топора станет.

Сказали ей как-то старухи:

— Тижелова сына ты оставила, Марфа...

А она так выпрямилась, быдто поленницу уронила:

— Кому он и тяжел, а мне — легче его нету...

Так и пресеклись все.

Дале-то совсем замолкла Марфа. Вид делает, чтоб про сына не болтали чего: будто и кормят ее мясом каждый день, будто белый хлеб ей из города заказывают, а от платьев, от обновок будто отказывается. А сама все худеть да худеть, под конец одни глаза остались.

Земля (я тебе говорила) в тот год тяжелая была. Вот и соблазнился Василий на легкую работу: начал самогон варить. Граммофон купил на те самогонные деньги, двухлетку хороших аргамаковских пород, тарантас с крытым верхом. Как привел он тарантас да как устроил гулянку, так Марфа пришла в поселковое правление, попросила пакет, положила туда ордена свои и велела отправить в город самому главному комиссару.

Не знаю, что у них еще было. Сказывают, будто ударил свою мать Василий, а может, она его ударила,— только видал вечером в тот день шляющийся Абрам Новопольцев, что подле кладбища развязала Марфа какой-то платок, достала суму, сломала с ветлы палку и ушла по тракту. За поселком суму-то надела, чтоб сына не позорить (а может, и врет Абрам), только где она теперь — никому не знаемо, разве что в новую войну объявится...

1926

ПЛОДОРОДИЕ

I

Прибежал сынишка Алешка. Весело тряся недоуздком, радостно крикнул, что Серко разорвал путы о камень и ускакал в гольцы. Смеяться было нечему. Мартын со строгим лицом повернулся к сыну и нехотя вытянул его по потной спине недоуздком. И когда ударил, стало так тоскливо и жалко — то ли сына, то ли затерявшуюся в горах лошадь. Он перекрестился на видневшийся через забор крест молельни и сказал кротко жене:

— Ты уж обедать не жди... Дегтем бы смазана была, тогда бы не угнала, а то теперь овод, поди, ее к лёдову затурил. Вот гнилота: путы — на что волос, а и то сгнил. Скоро и пригоны порушит... Работаешь, работаешь...

Жена его, маленькая, болезненная и тощая, словно недосиженный цыпленок, зная, что напрасно говорит и напрасно сердится, далеко брызгая жидкой слюной, крикнула ему:

— Заработался, леший!.. Мотри — толстый, как церква... Ишшо дите беззащитное бьешь... Ты бы себе за свою леность по мусалу съездил! Ох, пропасть бы мне скорее...

Чтобы подняться к гольцам, нужно было пройти через все село, через кладбище и сосновую рощу; оттуда начинался березняк, затем Святой Овражек и дальше гольцы. Мартын достал единственную новую ситцевую — в большой цветок — рубаху. Пелагея даже побледнела от злости, прижалась к голбчику, рот у нее пересох — и ей самой стало страшно своего гнева. Она ткнула ему вслед тощим пальцем, точно пронзая что,

разглядела свой палец — и тонко, словно с большой высоты, завыла.

Улица шла по берегу озера, где по необычайно зеленой траве вверх днищами были раскиданы лодки. Над берегом и озером тлелся легкий, как дремота, туман. Отдаленные горы, как снежный обруч висевшие над долиной, тоже были в синевато-розовом тумане.

Один лишь бот, принадлежавший Мартыну, валялся ближе всех к воде, боком; днище было треснутое, пакля вылезла и — обиднее всего — кто-то нагрешил под лодку. Ребятишки, наверное.

Мартын хотел поругаться, но вспомнил, что не только бот, но и сети его давно сгнили. Было жарко. Собаки, высунув ровные розовые языки, лениво глядели на него, словно приглашая проходить и не мешать сну. Мартын бодро дернул плечом, оправил рубаху.

— Направлю вот, с понедельника али со вторника начну...

Ему неизвестно с чего стало весело. Он любил уходить в горы. Там легко думалось о кладах, редко встречались сельчане, при первом же слове упрекавшие его в лености. Сельчане были староверы — кержаки по-алтайскому,— любили с благочестием помогать друг другу, любили, чтобы упоминали часто о такой помощи. А Мартын все забывал, и благочестием его наполнить было так же трудно, как бочку плевками.

Когда он начал подыматься проулком к кладбищу, навстречу ему попалась Елена, жена начетчика Скороходова. Она была высокая, полная; льняные косы выбивались из-под длинного платка на синий старинный сарафан. Мартыну понравилось какое-то раздолье, несущееся от нее. Пухлые белые руки ее тихо потрогали маленький подбородок, когда над ней низко пролетела сонная ворона.

— Здравствуйте, Мартын Андреич,— протяжно сказала она, проходя плавно мимо него. И белые руки ее, казалось, неистово как-то улыбнулись.

— И-ех... касатка,— сказал Мартын ей вслед...— И-ех... Поповски дочери что голубые лошади: либо добры, либо дики.

И вдруг у него громко — будто в реве — заныло сердце. Сначала он как будто сдержал себя, но мотанулось, словно щука на крючке, сорвалось — и понесло. Мартын глядел в радужные от древности стекла окон, и какие-то

мелкие рыбешки дрожали в них. Солнце поднялось высоко; басом, точно бык, прокричал петух; мальчишка с псалтырем в обеих руках торжественно пробежал мимо Мартына.

На кладбище он посмотрел, как над могилами, старинными голубцами в виде маленьких домиков, опушались березы. Вспомнил почему-то, что если в радуге выделяется зеленый цвет — к урожаю, и посмотрел на небо. В Святом Овраге он послушал, не ржет ли Серко, хотя помнил, что путал его версты за три от Оврага на березовой елани — поляне. Подле одного пня, почему-то похожего на сига, он посбирал перезревшую, почти темную землянику. Ягоды были темные и приторно-сладкие. Он выплюнул их с омерзением и пошел по березняку выше. Затем вспомнил про разрушенный бот и решил, что тут в чем-то виновата Елена.

— Краля толстопузая,— уныло сказал Мартын,— тоже лезет...

И опять заныло сердце, и трава под ногами казалась жесткой, словно солома.

— Я те мурсало-то расквашу, попади на меня!

И он закричал так, что даже сам вздрогнул:

— Серко-о!.. Сер-ко!.. Ну-у!..

Эхо отчетливо, без перекатов, повторило его крик. Рассыпчато покатился камень. И эхо и тилилиньканье камней указывали на близость гольцов. Мартыну надо было взять вправо, а он полез влево по самой крутой тропе. Облепиха путалась в коленях, громадная паутина с жирным пауком посередине села ему на лицо. Жизнь свою, казалось ему, знал он, знал все свои нужды, знал все, что ему нужно делать... и все же долго бежал в гору, пока по крыльцам за ошкур штанов густо не потек липкий и словно связывающий ноги пот.

Теперь вокруг него были матерые лиственницы, кое-где с них пластами была снята кора (для покрытия хлевов), ярко-желтая смола походила на ледяные сосульки. Подосинники синели в траве, дятел говорил где-то о кладах. Мартын огляделся — и опять рассердился не то на лошадь, не то на Елену. Прохлада охватила его, он лег полежать — ко сну он был падок, но в боку вновь словно хлестнулась заноза. Он ударил по стволу лиственницы так, что на недоуздке осталась сера.

— Я те мурло-то расквашу! Краса, подумаешь! Алена, тридцать три года...

II

Осиновые листья лежали кверху изнанкой. Осинник и попавшийся овражек густо заросли пучками. Мартын, как дети, любил пучки. Сломал одну, есть не мог и, даже не думая о ней, полез влево. На самом дне овражка Мартын выронил пучку — и поскользнулся на ней. Упав, он вдруг ощутил мокрый холод в колене, наклонился ниже; прозрачный до того, что паутинка, упавшая вместе с сучочком, виднелась на донышке его, маленький ручеек пробирался у него под ногами. Овражек показался ему незнакомым. Жужжали пчелы,— должно быть, недалеко пасека. Он поймал пчелу, она ласково зашипела у него в ладони, будто торопя его выпустить,— и не укусила. Он последил за ее полетом и пошел по ручью дальше.

То, что тут тек ручей, казалось ему большим непорядком, и это даже заглушило его сердце и то, что он выпачкал штаны. Откуда ручей? Озеро в долине Кок-Таш наполнялось весной тающими снегами со склонов гор, осенью оно сильно мелело,—и тогда легко было ловить карасей и линей.

«Родник, видно, забил,— придется проследить. Да и Серко небось к воде вышел. Где ж, коли не у воды, искать коня».

Овраг скоро кончился, ручеек тек уже из березняка. Был он теперь шириной не больше пол-аршина, тек он медленно,— упавшие березовые листья долго цеплялись друг за друга, словно играя, а потом, качаясь, плыли дальше. А местами вода была столь прозрачна, что ее можно было заметить только по журчанию.

«Не иначе, родник».

И вдруг, выходя из березняка, он увидал болото, самое настоящее болото с мелкими кочками, поросшими остро пахнущей осокой. Это было уже совершенно чудно,— никогда по склонам гор, окружающих долину Кок-Таш, не слышно было про болота.

«Да заплутал я, што ли?» — и Мартын встревоженно поднялся на высокую безлесную скалу. И тогда сразу, поверх запахов хвои, снизу, из долины пахнуло на него цветущими хлебами. От волнения у него словно колос прошел по горлу. Ему казалось, что сквозь синеватую пленку тумана, закрывавшую озеро и долину, он видит поля, плотно затканные колосьями. Звенят усики,

подмигивает игривый овес, просо лохмато, будто староверческие бороды... Много телег едут осматривать поля, голоса звенят ясно, значит, будет ведро, будут закрома подперты кедровыми слегами, чтобы не развалились...

«Соберу зерно, ружье обязательно куплю, на горностая уйду в камни... а там видно будет».

Он вновь вспомнил Елену — и кинулся к ручью.

Болотом идти было труднее, осинник перегнил, часто нога вязла в кислой няше — болотной глине. Перед самым концом болота из осинника выскочил журавль. Нелепо расставляя ноги, он разбежался, оглянулся со страхом и медленно полетел. Поднявшись над скалой, на которой был Мартын, журавль тоскливо курлыкнул. И журавль, и болото, и тоска — все было зряшное, пустое. Мартын обрадовался гольцам, обширному серому полю, голым скалам вдали и твердому, с каменным запахом лишаев ветру.

А ручей уже был величиной с шаг и встречал грохотаньем влекомых им галек.

«Чисто наважденье... и Серко не могу найти...»

Он поднялся совсем высоко — едва ль уйдет сюда конь. Болотце, через которое он проходил далеко внизу, закрыл туман. Показались впереди холодные, крытые рыжими лишаями, обдерганные словно, скалы. Сверху хлынул ледяной ветер, знобким коробом натянул за плечами рубаху. Мартын, вправляя рубаху в штаны, упрямо потряс недоуздком:

«Я-то узнаю, в чем тут запалошная события...»

Солнце поднялось высоко, но было холодно; шаг становился все легче и легче, но было такое чувство, словно он идти-то шел, а — словно часы — не сходил с места. Закопошилась знакомая всем долинная тягость, все же Мартын не повернул назад.

Слева из гольцев вышла темно-бурая гряда холмов. Ручей уперся им в бока. С самого высокого холма Мартын разглядел внизу, еще левее, начало пустынной каменистой долины, соседней с Кок-Ташем, называемой Талас. Она была необитаема, гола; холодные потоки вод с ледников устремлялись туда, чтоб, соединившись в реку, направиться в Нор-Зайсан. На холме было еще холоднее, он вновь спустился за гольцы.

Наконец он увидал Тиляшские неприступные скалы. Они подымались в густое синее небо высотою в пять наивеликих сосен, вершины их походили на поставлен-

ные дыбом челноки; огромный беркут, словно часовой, нехотя и злобно кружил над ним. За скалами начинались ледники, незнаемое лёдово, вечные холода, смерть.

И здесь Мартын увидал: огромная, с часовню, глыба, выпавшая из скалы, открывала что-то похожее на окно или погреб. Там, похожие на синие нити в ткацком станке, блестели тускло льды, и оттуда-то хлестал на волю неизвестный ручей. Выше и по бокам ледяного погреба шли широкие, в ладонь, трещины, осыпался щебень.

— Дивеса!..— сказал со смехом Мартын. Он был доволен, что знает, откуда течет ручей. Он наклонился с розового, похожего видом на паука камня напиться к крошечному запруднику. Коршун отразился в воде, и ему показалось, что коршун летает над ним.

— Брысь! — весело сказал он.

Но вода была столь холодна, что словно камнем ударило ему в зубы. Спокойствие охватило его, он свистнул, подмигнул неизвестно кому и побежал вниз. На одной из еланей он встретил Серко, стоявшего по голову в траве и яростно отмахивающегося тощим хвостом от оводов. Конь, увидав хозяина, заржал; в редких зубах его торчали листья таволжника. Таволжник цвел, значит, хорошо пойдет в сети карась.

III

Утром он почистил Серко, и баба долго дивовалась на это. Дальше ему захотелось на озеро. Он вычерпал бот, кое-как затыкал щели куделью, Алешка сел за лопашные весла. В курье — узком протяжении озера, заросшем камышом, встретились рыбаки-сельчане, сытые, здоровые. В ботах у них стояли большие корзины, наполненные рыбой — золотисто-серыми карасями и темно-янтарными линями. Похвалили Мартына:

— Надо, надо! Клев на уду.

Мартын смазал морду внутри пресным хлебом; вода, казалось, гнула прутья, когда он опускал морду, долго расходились круги по воде. Утро было крепкое, как холст; кудерочки облаков ходили стайками. Жить бы, поживать да посмеиваться в такое утро да в таких местах.

Ресницы от теплоты слипались, словно березовые мочки. Мартын начал смазывать вторую морду, но вдруг опять защемило сердце, он отодвинул горшок с тестом и посмотрел на горы.

— Парит, Алешка.

— Но, парит! — возразил ему Алешка.— Я вижу — на сеновал хошь. Сичас ветер с лёдова подует, жара-то и схлынет. Я самолов поставлю.

— На поле надо сходить... поворачивай-ка, Алешка.

Алешка обиделся.

— Дай хоть морду спущу.

Он ловчее и быстрее отца поднял широкую плетеную, похожую на корчагу, морду. Мартын удивился на его сноровку, но было обидно, что сын не почитает его. Гляди, лет через восемь прогонит отца на полати и возьмется за хозяйство. Мартын сказал ему об этом.

— И будет... — уверенно ответил Алешка. — Лежи.

Мартын рассердился, выругал его.

Вытащив бот на берег, Алешка взял нож и пошел в березняки за вениками, а Мартын направился на пашню. Погонка хлебная — концы колосьев, образующих ровную земле плоскость,— блестела, словно начищенная; изредка над ней выныривали от легкого ветра князьки — более высокие и крупные колосья. Все было как нужно: в цветенье дул легкий ветер, погода ясная, в колосе завязывалось доброе зерно. Пахло теплой соломой и сухой землей, в пыли играли воробьи, перепел выстукивал «вот идет, вот идет...»

Мошки вились табуном, бабочек-белянок было много — все к урожаю, к ясности, а сердце у Мартына захолонуло еще больше. От жары, что ли, или устал, много пробыв над водой. Он вернулся домой, влез на сеновал,— баба только что привезла накошенной травы. Трава была мелкая, точно волос, и пахла медом. Он тупо выслушал бабью воркотню, даже не обругал. Угрюмо смотрел он на ветхую крышу сеновала и так мотал головой, словно крыша могла сейчас упасть и раздавить его. Так он пролежал до вечера, а вечером поел картошки с луком, переложил топор под лавкой лезвием к стене и вернулся вновь на сеновал.

И весь следующий день пролежал Мартын. Баба начала беспокоиться

— Болит где, што ли?

«Разве к доктору съездить?» — подумал Мартын. Но

доктор жил далеко — за двадцать верст, к тому же Мартын думал, что доктора могут помогать только в животе, до всего остального они еще не дошли.

— Чего ж лежишь ты тут, будто лёдово!..

При этих словах жены Мартын вспомнил синюю стену льда, выдавившего дно скал, холодный ручей, бьющий с рокотом из-под льдов.

— Ты мне на завтра хлеба отложи. Мне надо в камни сходить.

Утром он, верно, ушел в камни.

«Выкупаться, гляди — поможет»,— думал он, идя Святым Овражком к болотцу.

На болотце была уже довольно глубокая топь, кое-где по открытым местам ветер, прорывавшийся через осинник, колыхал по воде осоку. Крякали утки, легкий пар подымался от затопленных пней. Мартын обеспокоился, что придется далеко обходить болотце — не раздалось ли оно еще в ширину. Поток за болотцем стал еще шире, он увлекал с собой камни величиной с гусиное яйцо, с шипеньем рыл в гольцах свое логово. Камушек, где еще недавно Мартын стоял и пил воду из потока, был под водой и, казалось, вырос. Лед под скалами словно сел ниже, и отверстие погреба расширилось. Мартын сунул в поток руку, ее захватило, словно петлей, и повлекло...

А тоска оседала на душе все ниже и ниже, как эти льды. Мартын вышел из тени скал, и ему сразу стало теплее, хотя с ледников через скалы несло холодом.

«Жара-то какая... лёдово-то тает как, поди, там... Ишь ведь камень проело, чисто крот...»

И он подумал, что сейчас начало самой жары, льды начнут таять по-настоящему недели через две...

Солнце упало в погреб, и льды ощерились, словно клыки. С металлическим звоном откололась глыба величиной с бочку и, качаясь, выкатилась по потоку на гольцы.

«Вот потечет-то... Ведь эдак-то...»

Он хотел пошутить, что теперь им не надо набивать на лето погреба свои льдом, но вдруг мучительная мысль опалила его сверху донизу так, что заныли икры:

«Ведь этак-то в долину река пойдет...»

Он еще не мог понять, как это пойдет река в долину, через матерую черную землю, через эти нивы и покосы, где колос тяжестью в человечью руку, а сено на вилах словно бобровая шапка.

Он, не оглядываясь, кинулся вниз по гольцам.

Пробежав сосновый лес, он выскочил на дорогу. Здесь догнал он Турукая-Табуна, Микиту, веселого мужика. Турукай был мужик никчемный, пустой, и если б не тесть да не отец, он бы всегда сидел подле озера с удочкой, рассказывал сказки да ловил окуней. Собой он был какой-то мочалистый, постоянно кашлял и много врал. Турукай сидел на возу березовых жердей; увидав Мартына, он заулюлюкал, заорал; лошадь, привыкшая к его выходкам, только повела ушами.

— Мартын, друг сердешной, таракан запешной, откедова? А я как раз сотой воз жердей в этой неделе везу, да едва под пропасть не попал, — медведь, сукин сын, лезет из черни... ладно лошадь ученая. Садись, подвезу.

Мартын сел. Нежная белая кожица на жердях во многих местах облезла, показалась другая, зеленая. Мартыну, кто знает почему, стало жаль березки, да и брехняка Турукая тоже было жаль.

— Река идет в долину-то,— сказал он тихо,— из лёдова идет. Сейчас сам видал.

— Ну, река! Плоты, значит, будем плавить. Я, брат, мастер по плотам... раньше, до революции, меня купцы нарасхват на плоты звали, невест-то сколько давали, с приданым... тыщи!

Он уперся руками в бока и долго хохотал.

— Али мельницу открою на шестнадцать поставов, с аликтрическим освещением. Брать буду по копейке с пуду, всем мельникам по округу конец. Еще убьют, пожалуй.

— Да ты не болтай, Микита. Я те всурьез говорю — река.

— Взаболь? Ишь лошадь под тобой вспотела... как сел, так вся потом изошла... к сердешному делу, выходит.

— К сердешному? — переспросил Мартын.

Но Турукаю, видимо, стало скучно.

— Ко мне девка пришла ноне за яйцами, занять. Я ведь кур новых купил... голландских... десять рублей пара, каждая весом полпуда небось. Я говорю девке-то — пойди на поветь, там куры свежих яиц нанесли, собери сама... я оглобли строгал. Да правей бери — там они и несутся. А правей-то жерди разошлись, в повети-то яма. Она и бу-ух... только руками полснулась. И застряла, трафи ее, посредь жердей, юбка на голове, орет.

Ногами машет, вертит, дрыгат в конец-то... в дождь ударило... едва со смеху не сдох.

Он долго катался по жердям, хлопал себя по ляжкам, визжал.

— Да у тебя, Мартын, мурло-то — чисто ты погань какую съел... Али идет вот попадья с работником, и встречаются им две собачки...

Но когда Мартын и этой сказке не рассмеялся, Турукай обиделся:

— Зболтанный ты какой-то, Мартын, скушно с тобой, чисто в туесе.

Он стегнул лошадь, жерди затрепетали, защелкали. Турукай запел песню. Кому тут говорить о мутном своем сердце?

Мартыну не спалось. А когда поднялся над озером месяц и погасил в воде лениво мигавшие звезды, стало так тоскливо, что заныли пальцы. Он пошел по селу. Подле изб, как и везде у сибиряков, лежали напоказ богатства все: плуги, косилки и жнейки. Они портились от погоды, месяц блестел тускло и кроваво на ржавчине. Ворота высокие, как у крепостей, с железом крытыми кровлями. На бревенчатых заплотах сидели кошки, сытые, толстые.

Ночь шла под Ивана Купальника. Девки в эту ночь сбирают двенадцать разных трав, кладут под подушку — завечают свою судьбу. Девки шли в обнимку с парнями, с полными горстями трав, тихо, без голоса, словно скотина с водопоя. Кое-где в палисадниках тихонько, истошно охали, и тогда сразу тяжелел живот у Мартына. В одной избе проснулась баба, вспомнила, что завтра Иван Купальник, и, голая, на месяц вышла к окну, поставила на подоконник под иванову росу пустые кринки,— от ивановой росы снимок-сметана делается толще. Груди у ней не вместились бы и в кринку, она сонно, медленно качалась и не замечала стоявшего под окном Мартына. Окна везде были настежь, и казалось — в вековечном сне храпят кержацкие избы. Спокойно дышала скотина во дворах; тоже, если не идет в хлев,— к добру, к ясности. В одной избенке мельтешил жировик, там вдова шинковала, но пили там тоже тихо, будто больше для сна. В окне Мартын увидал мужа Елены, начетчика Скороходова; он уговаривал соседа

идти домой. Мартыну захотелось выпить, но кто ему поверит в долг? И тогда он озлился, выругался и пошел к скороходовской избе. Он перелез палисадник, черемуха хлестнула его по горячему лицу, он поднялся на завалинку. Плахи завалинки качались (землю, чтоб не прели бревна, выкинули от плах и стен), пазы пахли мхом, а изба, вся наполненная месяцем, пахла хлебом и человеком. Елена лежала на кровати, и пухлые руки ее свешивались до полу, словно ловя косы. Ребенок, посвистывая носом, спал на голбце. Месяц ушел за облако, и Мартыну было приятно видеть темное жерло избы. Только еще сильнее пахнуло оттуда человеком.

— Экая сыть,— уныло сказал про себя Мартын, плюнул в выставленную на росу кринку и пошел обратно.

Парни и девки расходились по домам. Девки зыбались чреслами, шел от них плотный запах кислого хлеба, а парни словно спали.

Мартын остановился перед молельней; прямой раскольничий крест скосился от древности. Мартын в бога не верил, и ему казалось, что все верующие притворяются, но сейчас он обидчиво сказал:

— Видно, и бог-то тоже спит. У одного меня, што ли, сердце-то ныть обязано...

Безгромовые зарницы мелькали над белками, беззвучно качались камыши, и выпрыгнувшая из воды рыба словно растаяла в воздухе.

IV

Мартын сидел на заплоте, он веревкой перехватывал матицу, чтобы потом попытаться с лошадью вместе потянуть и выпрямить покосившиеся ворота. Мимо прошел Антип Скороходов; он был сильный, плечистый мужик, в проседь, картуз низко сидел над длинными, словно огурец, ушами. Отойдя несколько шагов, Антип остановился, подумал и, одернув пиджак, вернулся к Мартыновым воротам.

— Мартын, я ведь тебя, как птицу, могу с заплота стряхнуть,— сказал он, положив крепкие волосатые руки на бревна.

— А стряхни,— нехотя сказал Мартын,— может, ворота выпрямишь. Мышь скирдой не задавишь.

Скороходов повернулся к нему спиной и сказал, глядя на озеро:

— Колдуешь все... деревню обещаешь затопить...

Мартын озлился и закричал:

— Кабы да мне грамоту да обученье, а я бы вас, толстопузых чертей, всех превзошел. Ты вот начетчик, Писанье наизусть выучил, почему ты понять не можешь, что деревню-то зальет. Вот к брюху бабищи твоей подойдет, тогда и засикильдите.

— Ну! А ты, Мартын, старайся, старайся.

Он наклонился к нему, огляделся по сторонам, и на висках у него показался пот.

— Ты вот по горам стал похаживать, а я тебя понимаю... На воде-то ты глаза отводишь, а главная мысль твоя — металл. Я тебя без хитрости: бери меня в пай на золото. Работников наймем, брата пошлю, сам все дела буду вести, как по ниточке.

В горах там вокруг прииска. Были когда-то прииска и в пустынной соседней долине Талас, куда бежали потоки с ледников. Из таких сел, вроде Ильинского, на прииска народ больше уходил зряшный, пустой, у которого с хозяйством ничего не выходило. «В металл пошел» — было вроде ругани. По правде сказать, богатеями с приисков и стараний не возвращались.

— О золоте не спишь, а того, леший, не поймешь, что скоро, месяц, два али раньше, деревню затопит.

Антип погрозил толстым волосатым пальцем:

— Мартын, не хитри. Говорят тебе: в пай пойду.

Глядя ему вслед, трудно было понять — поп ли это, купец или знахарь. Пиджак длинный, волосы тоже длинные, в одной руке пук травы и кореньев, а в другой — кнут.

Мартын разозлился на ненужные мысли и на то, что подумал: «Хорошо бы с ним в пай. Елену будешь каждый день видеть». Он кинул нагретую солнцем веревку на землю, погрозил кулаком воротам:

— Вешаться на такой махине только!

Поглядел на горы.

«Сам уплыву, тони все барахло, а не пойду».

Но через день он взял лопату — и пошел.

В Святом Овражке пучки уже подсохли; ему захотелось есть. Он остановился, подумал, не вернуться ли ему домой за хлебом. В кустах рядом треснул сучок, кто-то фыркнул. Мартын раздвинул кусты и увидал

обвитое паутиной лицо Антипа Скороходова. Скороходов был тоже с лопатой, руки его беспокойно перебирали черень, а фигура была строгая, и голову он держал немного набок, словно читал молитвы.

— Дай, думаю, посмотрю, где это ты металл, Мартын, роешь.— И он осторожно вздохнул.

— Пойдем, чего тебе за мной следить,— сказал Мартын.— Хлеба ты не захватил?

Антип указал на оттопыренную пазуху, Мартын кивнул и пошел вперед.

Болотце было сплошь залито водой. Вода, видимо, не успевала испаряться и, несколькими струйками теряясь в траве, искала выхода в долину.

— Видишь? — указал Мартын.

— Ну?..

И по губам Антипа Мартын понял, что думает он совсем иное и едва ли видит воду и думает о ней. Из кармана у него торчал завернутый в тряпку нож, и нож-то особенно разозлил Мартына.

— Долго мне еще с вами, дураками, возиться! Понимаешь?

Антип не обиделся на его ругань, он как-то не по характеру торопливо поддернул штаны и ласково заглянул Мартыну в глаза.

— Это тебе, начетная твоя дурь, должно быть, дороже металла. Ручей-то течет в долину, а долина-то как блюдечко — ни вытека, ни втока. Ты вот попробуй капать в блюдечко по капле... капай да капай...

— Здесь, што ль, Мартынушка, россыпь-то?

Мартын яростно плюнул.

— Дурак!

— Где ж?

— Выше.

Мартын и не повел его к Тиляшским скалам: все равно — метла метлой, а не человек. На самом низком холме, из цепи закрывавших проток в долину Талас, Мартын ткнул перстом в землю и сказал:

— Здесь. Рой, да глубже.

Он сел рядом на камень и тоскливо глядел, как моталась в руках Антипа лопата. Прорыл тот не больше аршина, лопата зазвенела и сломалась.

— На породу наткнулся,— с недоумением сказал Антип.— В другом месте разве порыть, а то пласт-то тонок больно.

— Не надо. Не прорыть, значит.

Долина Талас лежала перед ними — пустынная, бурая и тихая. Сколько воды может принять, а поди ты!

Антип тем временем схватил лопату земли и побежал к потоку. Там он пустил землю по шапке, долго рылся в ворсе и, вернувшись, потряс черенком перед лицом Мартына.

— Нету металла-то, ведь нету.

— И не было,— сказал Мартын, вставая.— Пойдем домой. Я своей силой думал отвести, а теперь не иначе — взрывать... Со стариками бы ты поговорил.

Антип вдруг задрожал, побледнел:

— Ты у меня не хитри, ты у меня глаза-то не отводи... Ты указывай, коли сговорился.

— Укажу-ка я тебе одно место,— сказал тихо Мартын и тоже начал дрожать,— откуда мысль твоя пошла... да небось сам знаешь. Иди, я на тебя да на твою бабу... не работник.

Скороходов вдруг заругался громко, всеми матами,— он, видимо, и сдержать-то себя не мог, да и не хотел. Так он шел за Мартыном до самой колесной дороги через весь сосновый бор, ругался, пока Мартын не удивился:

— Ну, и жаден же ты, Антип! Как суслик. Благословись, огарком очертись.

V

Пашни начинались сразу за поскотиной. У ворот поскотины часто любил сидеть Турукай: можно было остановить каждый воз, въезжавший и выезжавший из села, поговорить и соврать что-нибудь. Турукая все любили за сказки и за то, что он многому верил. А не верил он только в смерть, и такие сказки, где говорилось, как и где помер, он не рассказывал и говорил, что их бабы-старухи выдумали.

— Я,— говорил он с полной верой,— не помру. Пробогохульствую и в лешие или водяные предназначу себя — только меня и видали.

Поскотину караулили всегда мальчишки. Турукай рассказывал им сказки и подговаривал обворовывать огороды и маковые поля. Мальчишек часто ловили; кто знает, может, Турукай же и предавал их. Пороли их

мокрой крапивой. Турукай долго потом издевался над выпоротыми.

Когда Мартын подошел к поскотине, Турукай широко распахнул ему ворота, поклонился в пояс и вдруг захохотал:

— Баба сейчас Скороходова на пашне лупила, только что прошел впереди тебя, весь-то будто каменный. А ты все, Мартын, металл ищешь. В прошлом году попал я в Таласскую долину, смотрю — на дороге самородок лежит, никак не меньше куриного яйца. Я его бац в карман, а карман-то с дырой. Прихожу домой, а там ветер в кармане. Слез-то пролил сколько, жалко!

Мартыну после Антипа как-то весело стало от туру-каевской брехни. Глаза у Турукая были веселые, ясные, сам он весь словно на гору вспрыгнуть хотел.

— А ты, Мартын, разрыв-траву такую поищи. Все тебе клады раскроет, от болезней излечишься и любую бабу приворожишь.

— Нет такой травы, чтоб приворожить. Я бы поискал.

— Я тебе говорю — есть. Я одного старика видел, купец-скопец, в городе. Листок дал один махонький,— клад, грит, можешь достать, любую бабу али болезни. А у меня страх тогда живот болел! Мне бы про клад надо сказать, а потом на эти денежки из Питера докторов выписать, а я и брякни: брюхо, мол, хочу залечить, понос несусветный. Листка-то как не бывало, а и болезнь-то как теленок языком слизнул. Да...

Мартын потрогал его за плечо и сказал:

— А ты, Турукай, в партию не хошь?

Турукай даже зажмурился от радости.

— В партию, Мартын, хорошо-о... Волостным председателем...

— Я те на самом деле говорю: давай по селу-то партию устроим, зажмем им гасники-то,— прервал его Мартын.

Турукай заморгал, посмотрел в сторону, подергал локтями.

— Давай. Однако и чудно! Сколько лет жили без партии, а седни только оказалось — нельзя без нее жить. Я в ней кем буду? Я ведь тоже грамоту-то хоть и проходил, да все церковнославянскую, да все за заботами-то из головы выскочило.

— Научишься.

— Это я могу. Учиться я могу здорово. В три дня до всего дойду.

Он яростно сплюнул, засучил рукава.

— Мы им, сукиным детям, покажем. В шелковых рубахах скоро ходить будут, а там страдают. Да-а...

Вечером было тихо и пасмурно. Турукай обегал всю деревню, наврал, что из города едут на трех подводах инструктора, что Турукай послал главному по партии пакет, а что там написал,— добавлял он угрожающе,— потом разберутся. Старики, вышедшие из молельни, сгрудились и стали говорить о погоде, что пора перепахивать во второй раз пары, а под пшеницу троить кислые залоги — новые земли. Поговорили и о прежней жизни, и о том, что теперь так дорога мануфактура: рубль двадцать аршин. В это время проходили мимо бабы, сговаривавшиеся назавтра идти по клубнику и по красильные травы. Среди них была и жена Мартына. Высокий старик с тупым и упрямым лицом, Митрий Савин, поманил ее пальцем.

— Ну, как Мартын-то?— спросил он ее строго.

— Не знаю, Митрий Василич. Все тосковал, по ком, не знаю, а вот теперь гневается, а пошто гневается, и ума не приложу. Вам, старикам, разбирать.

— Дурит он у тебя. Скажи, что, мол в гости придем.

Идти им к Мартыну было до мучения тяжко. Они долго еще говорили о погоде и об урожае, наконец оправили сзади старомодные кафтаны и пошли. Мартын согрел в чугунке чай, старики поблагодарили, но попросили налить им вместо чаю кипятку. Но и кипяток они пить не стали. Спросили, много ли Мартын наберег на зиму сена; за него ответила баба. Тогда высокий старик, Митрий Савин, протяжно сказал:

— Мартын Андреич, ты бы эту штуку, што Турукай болтает, оставил. На чем свет, на том и позор, а на наши места тысячи народу зарятся. Наша земля-то клином впереди всех земель идет. Сколь лет без партии жили, а тут на тебе. Вон в Артемовке младший у Глафировых в город ушел, в комсомольцы записался да и женился. Пошел второй — на водке сгорел. Третьему только счастье: жена тихая, работящая, сам дома сидит — пимокатное рукомесло изучил. Тебе и помощь устраивали, и хлеба давали, и еще дадим, коли надо...

скотину для работы можно определить... А коли сознаешь ты, што не можешь хрушкую лямку тянуть, шел бы в металл. Семью-то твою не забудем...

Старикам не хотелось говорить с Мартыном, но времена дикие: если не партия, сожжет еще, а потом такие законы отыщет, погорельцев же судить и будут.

— Не хочу металлу! — вдруг, подбочившись, закричал Мартын.

И кричать-то ему не хотелось, да и подбачиваться-то, сам знал, смешно, по-турукаевски выходило, а вот понесло как-то.

— Не хочу. Разговор буду с вами иметь.

Он вспотел даже, но локти задрал еще выше. Старики, все так же легко вздыхая, смотрели в сторону.

— Имею я желание ехать с вами, старики, в горы. Для полного маршрута. Лёдово на долину идет.

— Веками лёдово в Таласскую долину шло,— осторожно сказал Василий Тюменец, толстый, со слезящимися алыми веками старик,— а теперь што ему запритчилось к нам поворачивать...

— Прошу встать! — закричал вдруг Мартын — Алешка, собери к завтрему телегу.

Старики пожевали губами и попросили выехать пораньше, до жары. Когда они ушли и баба, вздыхая протяжно, стала убирать со стола, Мартыну стало стыдно, что он так кричал на стариков, которые ничего не сделали ему плохого, ломался, словно пьяница, и себя показал дураком. «Завтра,— решил он,— буду степеннее». Но утром он опять задурил: надел новую рубаху, занял у соседа ременный пояс с блестящей пряжкой, по деревне ехал и громко кричал, упрекая стариков. Ехал он медленно, и ему хотелось, чтоб его видела Елена,— он даже остановился против ее окон, будто бы поправляя шлею. Окна были раскрыты настежь, но Елена не обернулась; она садила хлебы в печь, и мелькала перед темным жерлом печи круглая, посыпанная мукой, лопата. И тут Мартын не вытерпел; указывая на ее зад, он подтолкнул самого молчаливого старика, богомольного Сидора Лабашкина:

— Цело-то, цело-то како, мотри! Тебе бы такое цело. Не уцелел бы, дядя!

— Отвяжись, лихоманка, креста-то на тебе нету,— строго сказал ему Митрий Савин.

— И не будет! — закричал Мартын.— Всю деревню переверну, легче. Мне ради такого дела... никого не жалко! У меня душа горит! Я на все согласен!

Но и тут Елена не обернулась.

За поскотиной поехали быстрее. Черная пыль огромным хвостом, словно тень, волоклась за телегой. Старики глядели на поля и говорили: цветы пахнут сильнее с каждым днем, значит, колос наливается полней, тяжелей; что коготки рано развернули венчики — овсы будут питательны; к теплу — мышь оставляет траву, пищу снаружи, а не тащит внутрь норы; что кошки крепко спят — тоже к теплой зиме. Трещали звонкие кузнечики, высоко выпрыгивая промеж колей дороги. Небо было душное, хотя и раннее, и почти желтое.

Но вдруг громадная лужа воды преградила им дорогу.

— Объезжать, что ли?! — закричал вдруг обрадованно Мартын.— Дождались! Выбирайте теперь имя реке, крестить ее надо, старые черти!

Старики охнули. Прямо через поле богомольного Сидора Лабашкина несся с шипеньем и пеной ручей.

Тогда Мартын указал на небо и начал по пальцам пересчитывать приметы:

— Горы-то в ясности — жара, кошки-то спят долго — к теплу, мышь-то сено снаружи держит — к теплу... А лед-то тает, лёдово-то идет — конец вам подходит, а?.. Буде с бабами валяться, буде... дай другим, а?

Старики молчали, а старик Лабашкин слез с телеги, ухватился руками за смятые, подмытые водой колосья и тихонько, по-ребячьи, завыл.

VI

К ручью сбежались мальчишки, сразу появился подле ручья мусор,— пашню, чтоб не пропадала, наскоро скосили и стали сушить пшеницу для корма на поветях. Рев быстро прекратился, и никто не верил, что вода в озере может подняться. Тогда Мартын воткнул в воду размоченную вешку, вода в сутки поднялась на полвершка. Ему не поверили, и старик Митрий Савин сам воткнул вешку и весь день сидел подле нее, не спуская глаз. Вода поднялась по его вешке на вершок.

Турукай-Табун, согнув палец, помчался по деревне с криком:

— Братцы, на вершок! А с завтрава будет по пол-аршина подниматься, там еще камни обрушились, я сам видел.

Турукаю не поверили, но старики съездили в горы, посмотрели поток.

— Што, назвище какое будет? — сказал им ехидно Мартын. — Назовем ручей-то Бабьим, а?

Антип Скороходов закричал ему:

— Колдун, сукин сын, наколдовал, а теперь смеешься! Цена зайцу две деньги, а бежать за тобой — сто рублей.

— Одна пора в году — страда,— вздохнул Митрий Савин.— Мы к тебе, Мартын Андреич, опять вечерком-то заглянем.

— Загляните, угощеньем не обидим.

Елена как-то встретилась; попробовал Мартын сказать ей что-то, да получилось очень обидно. Она оправила платок, шевельнула плечом и, сказав с отвращением:

— Пела бы жнея, да горлышко пересохло,— пошла прочь.

Позже Мартын подобрал нужные слова, но не было случая переговорить, да и нужно ли было с ней говорить — он не мог понять.

Старики опять, как и прошлый раз, сели по росту — низкий ближе к божнице. Опять отказались от чая, и Митрий Савин сказал:

— В город, што ли, тебя послать...

А молчаливый Лабашкин наконец вымолвил:

— По вершку в день — так вот и смерть человечья.

— Что в город! — возразил Тюменец со злостью.— Богатеи, скажут, кулаки — тоните, ни дна вам, ни покрышки. В городе народ обнищал, на достатки зарится, за ситец вон по рупь двадцать дерет.

Тогда Митрий Савин тряхнул большой головой и сказал резко:

— Што там с души-то кажуху сдирать, надо дело... Придется тебе, Мартын, как ране говорил, партию по селу доспеть.

— И на самом деле, Мартын, партию.

— Партейному, бают, сплошь вера и помощь.

Тут постучали в окошко, и внучек Лабашкина прокричал, что вода поднялась еще на полвершка. По всем

приметам выходила длительная засуха, для хлебов хорошо, а для льдов...

— В волость разве, в комитет...

— Во-олость... Соберут савет, таких же талегай, как мы, писарь резалюцию напишет, а она месяц до города пройдет, а через месяц-то вода будет на улках. А то из города приедут, инструктора какая там, заездят по страде лошадей, обожрут, да и видал их.

— Своими надо силами.

— Своими...— длинно вздохнул Лабашкин.

Тут опять строго заговорил Митрий Савин:

— Однако можно в городе и помощь кому деньгами там али чем оказать. Найти наших, которы на металл ушли, выменять у них пузырек металлу, все равно в Китае дороже не дадут. И не монета, а лестно. Кто откажется.

— Да што в лёдово понимают, што они могут доспеть, коли там сам бог больше... Надо такого человека, штоб с леригией подступиться мог.

И Лабашкин опять надолго умолк.

— Допоручить Мартыну,— сказал решительно Савин,— составить партию. Надо выбрать кого.

— Турукая я взял,— сказал Мартын.

— Турукая можно в пугало, а не в партию. Турукая ты для нашего веселья оставь. Окушков Егор победней всех.

Тюменец замахал руками:

— Не пойдет Егор, рыбалку и самогон любит. Ему бы воды побольше, он на воде и спать будет.

— Мир заставит — пойдет.

— Разве мир.

Митрий Савин загнул палец,— пальцы у него были длинные и сухие, как щепы.

— Значит, один есть, с Мартыном двое. Надо бы с металлу, которы победнее, привести.

— Металл сейчас не бросят. Сейчас с гор вода двинулась, для промывки золота самое время.

— Тогда Семенов: он все советску власть хвалит.

— Семенов гундосый и храпит, скажут — пьяница, а то еще что похуже... Не допустят.

— Монополку-то сами ж открыли.

— Так это не для пьянства, а для аппетиту.

— Оно и верно,— сказал Тюменец,— аппетит, пока с ног мордой в канаву не летит.

Сидор Лабашкин неожиданно оказался смешливым,— долго, держась за живот, хохотал он. Наконец осел, вспотел и стал креститься.

— Прости ты, господи, грехи наши... Тилиграмму послать в Москву, кто у них там главный, ему... так, мол, и так, тонем.

— Покедова проверят, все ледово станет.

Мартыну надоело слушать, он стукнул кулаком по столу.

— Да што ж эта вы никому не верите! Я вам бабьи слова говорю, что ли? Я о бабах вам?..

Митрий Савин посмотрел на него спокойно и спокойно же ответил:

— Мы стогам верим, да скирдам, да богу.

Потом все же решили послать в город делегацию. Выбрали четырех, которые побородатей да похудее. Долго смотрели на Мартына и наконец сказали, что может и он поехать, только чтоб был посмирнее. Пиджаки надели погрязней, долго разучивали, как вначале нужно хвалить советскую власть, как благодарить за благодеяния, за агрономов, за школы, за свободу религий, а позже добавить, что агрономы-то почти не заезжают, урожаи совсем плохи, а то ведь многое можно сделать при урожаях-то... И про тракторы, мол, слышали. А всему, мол, этому мешает наша темень, наступают на нас льды с белков, топят селение. Налогу не сможешь заплатить, не говоря уже о тракторах. Нельзя ли помочь взорвать Оленью гряду, отвести поток в пустынную долину Талас.

На постоялом дворе в городе было грязно, прокурено, клопы не давали спать, а днем ходили какие-то слепые и продавали пакеты — по двадцать копеек пакет. Слепые были навязчивы, ругали мужиков буржуями. Потом пристал какой-то тощий человек в солдатской шинели и татарской шапке, в треснутых очках. Он пообещал, что если в Совете ничего не получится, у него имеются нужные люди. Все ж нашли в Совете необходимого человека. Сказали ему так, как решили в селе. Необходимый человек долго думал, послал к другому, тот думал не меньше, и оба, видимо, ничего не могли придумать. Первый спросил, порывшись в каких-то бумагах:

— Работников много имеете?

— Какие ж та работники, все сродственники, семьи опять большие.

— Но есть? Обсудим...— и велел прийти через неделю.

«Взятку бы дать,— подумали мужики,— да страшно».

Пришлось ждать неделю, а там еще пять дней — через пять дней обязательно. Тем временем тощий человек в солдатской шинели привел другого тощего человека, армянина, должно быть. Они написали за трешку два прошения и добыли откуда-то двух подрядчиков по подрывному делу. Подрядчики с карандашами в руках сели за стол, вынули из-за пазухи узкую книжку, разграфленную красными чернилами, и долго прикидывали на уме. Поговорили в соседней комнате, еще посчитали и запросили за взрыв Оленьей гряды и вообще за «урегулировку» всего вопроса — три тысячи. Пятьсот сейчас, тысячу на месте, полторы тысячи после благополучного окончания работ. Старики крякнули и дали сто рублей. Подрядчики заявили, что обсерватория предсказывает грозы и бури, что на дворе уже падера — дождь и что другие и за пять тысяч не возьмутся.

А вечером прискакал из Ильинского Егор Окушков и привез два пузырька намытого подле болотца, за которым начинались гольцы, самого лучшего крупного красного золота.

VII

В Совете, перед двумя необходимыми людьми, Егор Окушков, тряся пахнущей рыбой шапкой, рассказал подробно, как его односельчанин Антип Скороходов нашел подле болота россыпь, как они вдвоем начали промывать и в первый же день намыли два пузырька. Пузырьки эти они решили подарить народной власти и ей же заявить об открытии новых приисков. Необходимые люди взволновались, из соседних комнат выскочили стриженые барышнешки. Тряся кудельками, они щупали пузырьки и взвизгивали. У Мартына от этого шума и от того, что не он, а Антип Скороходов нашел золото, разболелась голова, поднялась изжога. Тут прибежали фотографы и сначала сняли Егора Окушкова, а потом и всех ильинских мужиков. Мужики кланялись, благодарили — и в тот же день поехали обратно.

А в городе после их отъезда стали рассказывать легенды о новых приисках — что будто бы какой-то поп намыл в два дня золота на сорок тысяч, что сельский писарь вымыл самородок чуть ли не с лошадиную голову. В газете появилось объявление, приглашающее не верить вздорным слухам, и оттого им поверили еще больше. Заскрипели телеги, направляющиеся к селу Ильинскому; беззаботные мечтатели, соорудив котомки, бросали службу и пешком направлялись в гору. По дорогам ночью горели костры, было несколько лесных пожаров.

Пришедшие на прииска останавливались подле поскотины, здесь их встречал Турукай. Он рассказывал необыкновенные события, был каждый день пьян. Хлеб и молоко в селе стали продавать втрое дороже, и бабы завели себе шелковые московские платки.

Затем приехали три молодых инженера и в первый же день напились, собрали девок со всего села и неумело плясали русскую. Девки визжали, парни лезли обниматься с инженерами, жена Скороходова, Елена, не отходила от самого старого инженера в синих брюках и белой шелковой рубахе. Мартын прошел мимо гулянки раз-другой, никто не позвал его. Турукай блевал, нехорошо ругаясь, руки у него были почему-то в сметане. Инженер со Скороходовым и его женой (ехидно, как показалось Мартыну, виляющей бедрами) ушел в избу.

Мартын дома застал полный порядок,— казалось, жена без него лучше управлялась с хозяйством. О партии никто с ним не говорил, не говорили и о золоте, один раз только жена упрекнула его:

— Как же так, Мартын Андреич, ходил ты, ходил, а металл-то нашли другие.

— Нету никакого металлу,— закричал уныло Мартын,— врут они все! И себе врут. Бабьи разговоры, брехня...

А это походило на правду. Из Ильинского на приисках никто не работал, изредка старики ездили в город — будто бы продавать нарытое золото, а на самом деле гоняли скот. Да и прибылью воды в озере никто не интересовался. Попробовал Мартын поставить измерительную вешку, подошел Митрий Савин и, тихо сказав:

— Не гневи бога, Мартынка,— вырвал вешку.

Потом строго посмотрел на него и спросил:

— У тебя... как ее... эта, партия-то, сбирается?

«Сбирается!» — хотел крикнуть Мартын, а не мог. Он подергал только реденькими своими бровенками.

— Ты ужо, Мартынка, живи один, а то тоже — партия сбирается... Болото!

Отошел подальше, отвернулся и начал расстегивать штаны. Вода в озере была прозрачная, холодная. Мартыну тоже хотелось искупаться, но казалось, что Митрий Савин занял своим телом всю воду, что это озеро, а не Митрий Савин, крякает.

К белкам, к лёдову, на прииска ему не хотелось идти, да и ему ли верить теперь в свое счастье. Попробовал походить с бреднем по озеру и вытащил мертвого карася. От карася нехорошо пахло, и грязная чешуя осталась на ладони, как перчатки. Долго держал его в руке Мартын, даже не заметил, как выдавил глаза. Кинул его в озеро — и заплакал.

VIII

На Флора и Лавра почти совсем закончились уборка и кладка хлеба, загородили остожья вокруг хлебных кладей и зародов сена. Глянцевитые березовые жерди остожий, казалось, дрожали, как опояска на туловище тучного человека, полевые мыши отъелись так, что с потом влазили в свои норы. Разгородили поскотину, и на Флора и Лавра скот весь день отдыхал. Сделали очистку скотных дворов, поправили постройки. Мужики начали осматривать сани, пошевни, плести короба и пестери для возки мякины.

Ничего словно и не случилось в Ильинском. Вода из озера вышла почти на улицу, приходилось, как в весеннюю грязь, идти вдоль завалинок. Колеса уходили кое-где по спицы в воду.

— Тепла ж,— говорили мужики нехотя,— тепла ж, хоть и из лёдова идет...

А Мартын так и на поле не заглядывал. Нехотя пришли мужики па устроенную бабой помочь; отработав, не остались даже па паужин. Мартын, когда увидал пришедших мужиков, их походку, тихие злые голоса,— даже Турукай-Табун и тот отворачивался, — опять заманило его в горы. Баба справилась почти одна со всем полем. Один раз только Мартын парубил ей сухостойных дров для сушки снопов в овине. Баба остригла овец, вы-

била луком шерсть и начала катать потники. Кисло запахло в избе..

— Заели вы меня,— сказал Мартын, а баба ничего не ответила.

Широкая отводная канава по ту и по эту стороны высокого холма, загораживающего сток вод в долину Талас, была готова, и на воскресенье приисковые люди назначили взрыв середины холма, заграждающего соединение канав, взрыв тех пород, которые было трудно и долго бить киркой.

Как и тогда, когда он впервые увидал вытекавший из ледника поток, Мартын надел лучшую цветную рубаху, взял за пазуху ломоть хлеба и направился в горы. Главную улицу, затопленную озером, нужно было обходить, да и никто не встретился Мартыну: с раннего утра почти вся деревня, кроме самых ветхих стариков, ушла в горы, к холмам.

Как и тогда, шумели на кладбище березы, легкая дымка стояла над горами, и только, словно вспарывая долину серебристо-синим ножом, несся через Святой Овраг, через поля неизвестный ледяной поток. А когда Мартын обогнул болото и вспомнил, что сегодня потока не будет, завтра и послезавтра вода в озере пойдет на убыль, озеро встанет в свои берега, на токах загремят цепы и громадные телеги, кованные железом, повезут зерно в город,— засосало у него опять сердце. А поток по гольцам, казалось, понимая свои последние часы, несся с тоскливым грохотом, фыркал пеной и голосисто ржал в березняках. Мартын постоял, посмотрел. Юркая синичка дрожала на камешке. И тогда Мартын с ясностью до боли припомнил эти месяцы, свою короткую славу, и власть, и то, что он ничего не мог сделать из этого,— получилась только одна мужицкая злоба к нему да вконец разоренное хозяйство. Опять чувство тоски до слез охватило его сердце.

Зачем ему идти к холмам? Мужики посмотрят на сбегающий в долину Талас ледяной поток, меж собой одними хитрыми глазами рассмеются над глупым городским людом и разойдутся. Позже и городские уйдут, останутся одни Тиляшские неприступные скалы, за ними — ледники, готовящие к осени метели...

Мартын вернулся к опушке болота. Сонно трепетали осины листьями, пьяной сытостью пахло из болота. Мартын сел на поваленную осину, спустил ноги к потоку.

Зеленая ящерица осоловело заметалась между камешков, среди его ног. Он злобно каблуком отдавил ей хвост. Хвост остался трепетать, а ящерица скрылась. А деревья в болоте все хлопали и хлопали, словно уходящие-входящие в комнату дверью. Мартын сидел и думал все о том же. Он зажмурил глаза,— поток булькал водой, будто наливался в бутылку. И Мартын вспомнил, что за все это время он ни разу не напился пьяным... Надо бы уйти, лечь спать дома, что ли, но где-то внутри была еще надежда, что спускающиеся с гор мужики остановятся подле него и кто-нибудь скажет: «Ну, спасибо тебе, Мартын, все ж много ты доспел для общества...»

Зеленые тени листьев были у его ног, затем поползли по лицу за спину и, наконец, совсем скрылись. Небось уже давно за полдень, обедать пора. И в это время маслянистый какой-то гул донесся с ледников. Поток словно колыхнулся, а затем зажурчал еще сильнее.

— Черта взорвете! — сказал Мартын со злостью.— Смыло бы вас лучше, как щепки, небо коптите только...

Что-то темное и высокое мелькало среди осин. Мартын пригляделся. К нему, выбирая места посуше, спешил какой-то человек. Позади, быстро махая ручонками, бежал мальчишка.

Мартын вытянул шею, мотнул головой и грубо выругался. Это была Елена. Должно быть, она давно не бывала в горах или же радовалась, что пятилетний сынишка, как большой, не отстает от нее. Лицо ее пылало румяным удовольствием, платок она держала в руке, и льняные, былинные косы были страшны, как ледники. Как шиповник-колюка на вилах, а одета в багрянец.

— Чего сидишь там?! — крикнула она издали еще Мартыну.— Домовничать осталась, да в деревне-то, будто в колоде,— тихо. Мотька зовет: пойдем, мамка, да пойдем,— ну, и пошла... Верно я иду-то?

— Верно,— хмуро ответил Мартын, отворачиваясь.— Туда и дойдешь, иди. Ждут тебя.

— Ты что ж на бревне-то уселся? Я думала — водяной или горовой, колдуешь все...

— Нога подвернулась, — соврал Мартын. — Да все равно у них ничего не выйдет.

— Не выйдет! А сколько хлопотов убухали да металлу.

— Металлу?! — удивленно спросил Мартын.

Елена поняла, должно быть, что сказала лишнее. Она ни с того ни с сего наклонилась к его ноге.

— Я ведь кое-что в костоправстве мерекую... Дай пощупаю, кость-то цела?..

Мартын увидел ее пухлый, розовый, слегка влажный затылок, крутые плечи. Складки сарафана показались ему мокрыми; башмак у ней со щеголеватым высоким каблуком поднялся над землей. Притихло как-то все внутри Мартына, и он тогда взглянул на поток. Вода журчала тише, синие мокрые гальки на пол-аршина обнажились вдоль берега. Более крупные уже обсыхали.

Взрыв, значит, удался! Поток, значит, повернул в долину Талас.

И Мартыну почудилось, что он закричал — и испуганно и насмешливо. Он было и руки протянул ко рту — прекратить этот крик,— но рука и волосы были словно из металла... И вдруг он вспомнил, как мужики шептались с неизвестными шатунами из приисков, как однажды он встретил трех стариков, ехавших на трашпанке в горы, — лица у стариков были жадные и потные, руки их крепко охватывали шкатулку, прикрытую половиком.

Соленый пот злости наполнил его глаза. Он зажмурился.

— Отвели? Из-за баб отвели, кобылье! А кто указал? А?..

Захотелось пить. Ноги были тяжелые. Крутая шея и затылок с жирной складкой, склонившиеся к его ногам, словно взывали о жалости, а о какой и к кому — он и думать не мог... И он, понимая, что думать так нехорошо, глупо — все ж подумал, что теперь только Елена поняла, сколько она горя причинила ему, как испортила жизнь, какие принесла обиды,— и готова всячески наградить его. Ее широко расставленные ноги лениво и в то же время торопливо шевелились, выбирая место помягче. Казалось, дотронься до нее пальцем — и она упадет, но дотронуться не хватало сил, и было проще и легче пхнуть ее, дабы под сапогом почувствовать испуганное поганое мясо бедер! Мартын взглянул на ладонь, и то, что она была грязная и сухая,—это даже обрадовало его. Он плюнул в пальцы и, весь трепеща от испуга и от какой-то непонятной радости, со всего размаху ударил кулаком Елену в розовый ее затылок. Кулак скользнул на шитье сарафана. Елена охнула, опрокинулась.

Мальчонка завыл: «Ма-амка!..» Мартын наотмашь левой рукой ударил ее по лицу, а правой изо всей силы пхнул мальчишку за пень в траву. Елена привстала было, горло ее напряглось. Мартын схватил ее за косу, обернул вокруг шеи и притянул косы к березовому суку. Глаза у ней закатились, она захрипела.

— А, будешь, будешь!..— визжал Мартын, увивая косами сук.— Будешь перед каждым вилять? Я тебе колода? А?..

Холодная и какая-то тяжелая влага выступила у него на груди, сухой жар хлынул в ноги, и, путаясь в тряпках, захватив зубами косы, обвитые вокруг сука, Мартын дернул ее за ворот сарафана. Ситец казался необычайно крепким, а в пальцах расходился, словно вода.

Мальчонка визжал в кустах: «Ма-амка!..» Тряпки пахли нехорошим потом, и странно было видеть на лице у этой красивой сильной бабы испуг и трепет и его, Мартынову, слюну.

Потом баба, неприятно расставив ноги, долго ползла вокруг березы, распутывая с ее сучьев свои косы. Большой клок волос, потемневший от слюны, остался на коре. Баба, схватив разорванный сарафан, как в мешок, уталкивала в рубаху огромные белые груди. Медленно локтем стерла с лица слюну и тогда завыла:

— Ой, матушки, ой!.. да што это-о!.. ой!..

Мальчишка визжал гуще ее и как-то жалобнее. Кончик носа у него был красный, и тут только заметил Мартын, как он походил на мать.

— У, падаль! Лезет тоже,— сказал Мартын и пошел к потоку умыться.

В ложе потока, во впадинах остались лишь редкие лужицы. Вода показалась ему удивительно теплой.

Баба, нелепо тряся задом и путаясь в юбках, бежала вверх. Мальчишка, смешно приседая, спешил за ней.

Мартын опять сел на бревно. Жар остался в пальцах, ему ничего не думалось и только почему-то жалко было, что он умылся. Он все соображал — и было такое чувство, будто он истратил последнюю воду. Пить к тому же хотелось, а тут нахлынула такая слабость и дрожь, какой он не испытывал никогда.

Огромная тишина повисла над пустым ложем потока. Казалось еще, что по невысохшим галькам скользит багровый осиновый лист, попрыгивает, лепечет, но все

бесшумно и все зря. Мартын закрыл глаза, и многое в этом мире качнулось перед ним.

Протяжно прокричала иволга, и Мартын подумал: «Похоже, мужики спускаются...»

Мужики действительно, молча, держа руки за опоясками, спускались по гольцам.

Они остановились в нескольких шагах от Мартына плотной толпой. Кто-то из них дышал тяжело, со свистом и часто сплевывал. Мартын тупо открыл глаза и положил почему-то правую руку в карман. Вышел вперед Скороходов, скинул кафтан, обшитый по борту и по вороту треугольниками.

— Ну, бей,— пробормотал Мартын.— Бабы жалко? Бей.

Скороходов побледнел, поднял руку, словно для приветствия, и нехотя проговорил:

— Што ж тебя бить... за што тебя бить...

Мартын зажмурился, качнулся. Так же, будто нехотя, Скороходов прошел мимо него и вдруг, быстро обернувшись, ударил Мартына в переносицу. Желтый, как смола, свет лизнул Мартына в затылок, он схватился за грудь.

— Не надо,— сказал какой-то лысый, изъеденный оспой старик.

Из толпы спокойно отозвались:

— Проучить не мешает, из-за него металлу сколь потратили... Ты ему, Семен, за металл-то...

— А, за металл! — взвизгнул вдруг Скороходов.— Колдун! Сколько денег из-за тебя... Животины сколь погибло...

Мартын только жадно хватал ртом, будто не мог напиться. Скороходов наклонился, схватил в руку гальку. Жидкая как будто кровь брызнула из щеки Мартына.

— Та-ак его! — крикнул лысый старик и, подпрыгнув, с разбега ударил Мартына в грудь.

Мартын заревел каким-то телячьим ревом, и так не переставал реветь он, пока его били сначала кулаками, затем подхватили и, подкидывая в воздух, бросали спиной на гальки. Голова мокро стучала, руки мотались — белые и слишком сухие. Лысый старик начал топтать ему руки, а затем крякнул и прыгнул на живот. В животе тоже нехорошо крякнуло, грязная жижа потекла из рта Мартына, а он все еще ревел нелепым своим телячьим ревом. Лысый старик топтался уже по голове, сколь-

зил с нее, словно с мокрого камня, а рев еще не прекращался. И здесь молодой курчавый парень, до того стоявший в стороне и больше всего оравший: «В морду ему, в морду!» — взял продолговатый камень, оттолкнул старика и, прищурив глаза, ударил камнем Мартына в висок.

Когда Мартын стих и перестал даже подергиваться, лысый старик вытер пот, оправил рубаху, перекрестился:

— Миром согрешили, миром и отвечать.

— Миром,— качнул головой курчавый парень.

Елена ж все время сидела на бревне, где недавно еще сидел Мартын. Мальчонка прятал у нее в подоле плачущее лицо. Волосы у нее были плотно убраны под платок, глаза сухие и ожидающие, и смотрела она поверх мужиков. Когда Мартын выпрямился и курчавый парень вынул из рта искусанные им пальцы и руки сделал ему крест-накрест, Скороходов подошел к ней, покачал головой и вдруг со всего размаха ударил ее в глаза. Она опрокинулась за бревно и долго лежала там, пока не ушли мужики и пока мальчонка не перевел весь свой голос. Тогда она оправила платок, взяла мальчонку за руку и стала спускаться в долину.

Долина опять наполнилась плодородной тишиной; опять на жнивье гоготали сытые гуси, и опять месяц в озере был тепел и походил на каравай, только что вынутый из печи.

1926

ПОЛЕ

Отпустили Милехина на четыре часа.

— Опоздаешь — не в очередь в наряд отправлю,— сказал ротный командир, со стуком прикладывая штемпель на пропуск.

Да Милехину и часу было достаточно. Ротному он сказал, что приехали родные из деревни, и, сказавши так, соврал. Хотелось проветриться. В казарме особенно казалось темно от мартовского солнца, от грязных окурков на полу, от стен, серых от грязи. На классной доске (раньше здесь была школа) кто-то белой глиной написал нехорошее слово, а рядом на стене хлебным мякишем был прилеплен плакат: «Колчак несет колбасу, Советы — свободу». И когда Милехин захлопнул обитую рогожей дверь и пошел через большой двор на площадь,— ему было тепло, сытно и радостно.

Станция железной дороги была от города верстах в четырех, и через каждые полчаса в город ходила ветка. Милехину не хотелось дожидаться ветки, и он пошел пешком через огромную площадь к станции.

Сверху пекло солнце, а снизу морозило. Площадь уже оттаяла, и только бугор дороги лежал грязновато-желтоватой лентой на черной разбухшей земле. За тальниками — прямо на западе — мерзло синел Иртыш и видны были на нем разорванные кусочки дороги, как клочки бумаги.

— Тронулся ночью, должно,— сказал Милехин.

Но шипящего шума тронувшегося льда еще не было слышно.

«Скоро пойдет».

Милехин улыбнулся и почувствовал радость, словно лед принадлежал ему. Он, шумно бухая мокрыми английскими бутсами, шел по краю дороги, и снег ломался под его ногами. И треск этот доставлял ему удовольст-

вие. Зеленоватая английская шинель, похожая на пальто, и голубые французские обмотки на икрах так не шли к огромной заячьей шапке с ушами и плохой рыженькой бороденке.

Над тальником мелькнула белым крылом чайка.

«Скоро пойдет»,— подумал опять Милехин.

На вокзале толпились люди с мешками, большинство женщин; солдаты с жестяными звездочками на шапках; три китайца продавали сигареты и семечки. С крыши капала вода, и часто с тихим звоном падали длинные ледяные сосульки.

Милехин постоял у двери третьего класса. Какой-то комиссар с желтым портфелем под мышкой, проходя, толкнул его и тихо проговорил:

— Извините.

Милехин, чтобы не мешаться, отошел и сел на подоконник. Бегали мимо с фонарями и какими-то черными ящичками железнодорожники, свистели на разные голоса паровозы, стучали буфера вагонов. Сверху, тихо и не спеша, грело и станцию, и грязные вагоны, и набухающую влагой землю большое чистое солнце.

Рядом упала сосулька. Милехин наклонился и поднял ее,— она была без пустоты внутри. Упала вторая, третья — все такие же.

«К урожаю,— подумал Милехин,— налив будет полон и умолот богатый. Штука-а...»

И ему вспомнилось, что снег тает не от солнца, а больше ночью, от земли. И тает дружно.

— К урожаю,— сказал вслух Милехин и, сказавши этак, подумал о деревне.

Подумал, что скотина у него вся ко двору — чалая и бурая, хозяйство идет хорошо. В прошлом году плох был урожай, а нонче должен быть хорош — март весь сухой, да вот коли апрель будет в сырости — благодать. А теперь — в такое святое время винтовку чисти, а то на часах у какого-нибудь склада стой. Ему стало нехорошо на душе, он поднялся, прошел три раза по перрону и решил идти в роту. В это время его окликнули:

— Кольша!

Милехин обернулся и узнал одного из товарищей по роте, Федьку Никитина. Он месяц назад заболел тифом, и его увезли в больницу. Милехин подошел к нему, и они подержали друг у друга руки.

— Как живешь-то? — спросил Милехин.

— Ничо. В поправку на два месяца в деревню пустили. Поеду сейчас.

— Ты какого уезда-то?

— Татарского,— ответил Никитин с удовольствием.— Через полдня, брат, дома буду. А ты?

Милехин нехотя ответил:

— Ново-Николаевского... Двое суток надо ехать. Ноне поезда-то беда как ходют, а коли с «максимом», так и всю неделю.

— С «максимом», верна,— подтвердил Никитин и звонким радостным голосом сказал: — Айда ко мне чаи пить.

Милехин согласился. Когда они шли, Милехин заметил, что Никитина пошатывает от слабости, а с лица он был такой, будто под венец шел. Милехин ему позавидовал.

За чаем Никитин, как и все послетифозные, ел много и угощал Милехина. А Милехин не слышал, что рассказывал ему Никитин про больницу, докторов, а думал о своей деревне.

И когда он вышел из вагона, распрощавшись с товарищем, то решил уехать домой с этим же поездом. Прошло три вагона, хотелось сесть в самом хвосте поезда, но не вытерпел, вошел в вагон, прошел одно купе и в следующем полез под лавку.

В купе сидело пятеро солдат. Один из них, с расщепленным носом, спросил:

— Куда ты?

— Домой,— ответил Милехин.

— А-а...— сказал солдат, а другой, макая сухарь в стакан с чаем, спросил:

— Далеко тебе?

— До Ново-Николаевска. Одну станцию не доехать.

— Далеко. Документов нету?

— Нету.

— И хлеба нету?

Милехин ответил со злостью:

— Ну, нет, а тебе чо?

— Лежи уж,— сказал солдат.— Как-нибудь доедешь.

Два дня пролежал, не вылезая, под лавкой Милехин и на третьи сутки ночью слез на Грачевой. От Грачевой до Крутого осталось пятнадцать верст, и утром Милехин был дома.

Милка завизжала и кинулась под ноги. Гусь испуганно бросился в сторону, под опрокинутые розвальни; на конском черепе, воткнутом на заборный кол, как и год назад, сидел воробей и чистил под крылышками. Сенька выглянул в двери и заорал в избу:

— Мамка, батя приехал!

Баба поставила самовар, принесла молока, нарезала калачей и, утирая в кути подолом глаза, спросила:

— Надолго те пустили?

— На двое месяцев,— степенно сказал Милехин, и ему самому поверилось сказанному.

— Война кончилась, што ли?

— Где кончать? По болезни пустили.

— Какая болесть-то?

— А черт ее знает. Докторам известно.

— Конечно, докторам известно,— всхлипывая, сказала Марья,— уморили человека-то, да еще и не говорят — чем.

— Ладно, не лопшись. Буде.

В деревне спрашивали:

— В кумынию не записался?

Милехин отвечал:

— Брюхом не вышел, говорят.

— Ишь ты...— удивлялись мужики.— А у нас тут бают — в Омске-то усех в кумынию пишут, а кто не хочет, тому затылок бреют и к немцам шлют. Не видал таких?

— Не приходилось,— отвечал Милехин.

— Набродь мутить народ, добра не жди.

Милехин подтвердил:

— Не жди...

Но расспросы скоро кончились. Начался взмет земли, и все пошли на пашню. Весна шла тихая, апрель сырел — падали недолгие, но хрушкие дожди.

— Благодать,— невголос говорил Милехин, чтоб не сглазить. — Оглобля за ночь травой зарастает.

— Дивеса! — охала баба.

Плуг упорно и бойко буравил черную землю. Бурко потел, и от хомута пахло остро и сладко. Поблескивал лемех, поблескивала влажная шерсть на Бурке, и Милехину казалось, что сама отваливается земля — надоело ей лежать. С озер пахло камышами, распускались деревья, а кое-где на них мокрели еще нераспустившиеся почки, похожие на больших жуков.

И как-то не думал Милехин, что в Омске, во втором взводе, лежит у его нар винтовка № 45728 и что он совсем не дядя Коля, а Николай Милехин, солдат Красной Армии.

Куры сходили с насеста поздно. Баба улыбалась и тихо ночью говорила на ухо Милехину:

— Урожай будет.

— Ладно,— сонным голосом отвечал Милехин, и у него слегка щипало краешек сердца. Он притискивал к себе бабу и засыпал.

Когда расцвела черемуха, начали сеять. Утром с востока дул легкий ветерок — хорошо, зерна несло к западу, к покою; потом к полудню ветер совсем прекратился— еще лучше. Солнце стояло в теплом красном круге — смотрело, как ровно и грузно падают в землю большие желтые зерна.

Потом Милехин пошел в поле и увидал густой зеленый подъем. С вглава — прозорного места, на котором он стоял, пашня походила на зеленую коломенскую скатерть. А по краям — акорье — черные, обгорелые лесины, как стаканы с кирпичным чаем.

— Видал ты...— с уважением к себе сказал Милехин и, вспомнив, что дома не поена скотина, пошел домой.

За воротами его встретил Сенька:

— Батя, там стражник.

— Где?

— В горнице... Шапка большая-я... Я боюсь.

— Не укусит,— сказал Милехин, подымаясь на крыльцо.

Милиционер повез Милехина в волость, а оттуда в уездный воинский комиссариат. Из уезда его отправили в губернию, и губвоентрибунал постановил: за самовольную отлучку из Красной Армии в момент напряженной борьбы с врагами социалистического отечества конфисковать в пользу государства половину его движимого и недвижимого имущества.

1926

ЖИЗНЬ СМОКОТИНИНА

Когда, впервые после долгих войн, пришли в деревню плотники рубить богатому мужику Анфиногенову вместо сгоревшей новую избу, — насмешек над ними было много. Кричали, что осины им теперь, разучившись, не отличить от сосны. Но все ж было приятно сознавать наступившее стоящее время, когда можно и построиться и поработать не зря. И все подолгу ходили подле накиданных холмом желтых бревен и щупали хорошие златоустовские топоры.

Подрядчик, рубивший избу, был свой, деревенский, Евграф Смокотинин, низенький, широконогий старичок. Евграф был запуган войной, голодом, непонятными налогами, а еще больше его запугали, когда вновь, после долгого перерыва, он начал подрядничать. Срубил в волости, на совесть, лавку для кооператива, деньги назавтра получать, а кооператив возьми и лопни! Суд да дело, и не поймешь, кто виноват, и взыскивать не с кого. После этого он окончательно никому не верил и сам платил и себе требовал платить за работу вперед. Накануне рубки избы ему занедужилось, или он притворился, чтобы приучить детей, но он направил смотреть за работой младшего сына своего Тимофея.

Румяному, ясному и звонкоголосому Тимофею смотреть за работой и понукать плотников было скучно. Он схватил топор, выбрал потяжелее лесину и — ударил! Топор зазвенел, охнуло дерево... Утро выдалось прохладное; на исподе листьев еще не обсохла роса; подле амбара ворковали голуби — и голоса у них были деловые, как и все в это утро. Плотники, видя, как старается их хозяин, тоже крепко ухватились за топорища. Они были со стороны, не любили эту сытую деревню, и им хотелось показать, как по-настоящему должно работать. А хозяин словно желал с ними потягаться.

Здесь из-за амбара вышла Катерина Шепелова, вдова: мужа у ней убили на войне, она осталась с одним ребенком. Кто знает, чем она жила,— говорили, будто бы волостной кооператив заказывает ей для продажи вязать варежки. Да и велик ли от варежек доход? И часто, ночью, в открытое окно протягивалась из тьмы неизвестная рука, ставившая на подоконник узелок с пищей: тайная милостыня. Собой она была высокая, здоровая, молчаливая, голову держала несколько наискось, и казалось — мели землю длинные каштановые ее ресницы... Обойдя груду бревен, сильно пахнущих смолой, она поравнялась с плотниками и медленно, словно стыдясь, взяла большую, аршина в полтора длиной, щепу, поклонилась им низко. Плотники взглянули на хозяина — тот горел над лесиной; думал он вырубить из нее матицу, а попался громадный сук, значит, опозорился: в матице сучков не полагается.

— Баба-то будто окно, раму бы ей подходявую: тут тебе и тепло и светло будет,— сказал один из плотников, глядя вслед Катерине.

Тимофей поднял голову и тут только заметил Катерину.

— Кто ей щепу дал?

— Сама взяла,— с неудовольствием ответил тот же плотник: хозяин, молодой и глупый, не знал, видно, обычая, по которому плотники могут давать щепы, кому захотят.

Из-за неудавшейся матицы, из-за того, что по голосу плотников можно было понять, что он спорол какую-то глупость,— Тимофей рассердился, догнал уже ушедшую за амбар Катерину, схватил ее за рукав синей кофты и раздраженно крикнул:

— Кто тебе позволил щепы таскать?

Катерина плавно качнула плечами,— кофта у ней была старая, заплатанная, плохо застегнутая на груди и, должно быть, надетая на голое тело, потому-то она и прижала щепу к груди, словно ребенка,— и от этого ее движения словно что-то зарябило внутри Тимофея. Он протянул руку — с бабами он был боек — и вместо щепы, через незастегивавшуюся прореху, схватил ее за грудь. Катерина, не так, как иные бабы: не завизжала, не заерзала, и ноги ее остались твердыми, она будто и не спешила его оттолкнуть,— Катерина только сказала:

— Полно,— и выпустила щепу.

Щепа медленно скользнула, ткнулась концом в землю и, прежде чем свалиться, легонько качнулась, словно вздыхая. Катерина подобрала под платок руки, повернулась, и вдруг Тимофею показалось, что вместе со щепой скользнуло так же его сердце, так же торчком, так же качнулось...

— Иди ты, задавалка! — прокричал он и, похлопывая себя отнятой щепой по сапогу, вернулся к работе. А щепа-то была тяжелая, и казалось — похлопывает он себя поленом.

— Грош на разживу да щепочку на растопку,— насмешливо поддразнил его все тот же плотник.

Но Тимофей не огрызнулся.

Попробовал он было выбрать новую лесину для матицы, но вдруг оказалось, что лес-то сплошь сучковатый и сырой; что место для избы выбрано покатое, надо скапывать, выпрямлять; да и плотники лодыри, много курят и смеются. Захотелось домой — выпить чаю; пойти на реку, что ли,— выкупаться.

— Канительше папаши получится,— сказал ему вслед насмешливый плотник.— Жоха вырастет для нашего сословия.

И все плотники согласились с его мыслью.

Отец лежал на полатях, и, когда сын вошел, он заохал, застонал,— Тимофею было противно видеть его притворство. Отец начал выспрашивать, как идет рубка. Кипящий самовар стоял на столе, сестра налила Тимофею чашку и придвинула сахар в стеклянной сахарнице, похожей на подойник. Тимофей не ответил отцу и выругал сестру:

— Только и знаете чай жрать, а он два цалковых кирпич!

Вышел на реку. На противоположном берегу в зарослях перекликались бабы, сбиравшие смородину. Он и на это рассердился. Стянул было сапог — выкупаться, — онучи были горячие и свернулись трубочкой, отдаленно напоминая форму его ноги. Он хлопнул кулаком по онуче.

Лето выдалось тихое, запашистое. К вечеру выпадал легкий дождь, выбивая каплями в пыли тонкую сетку; росы были тяжелы и теплы; майки — ароматные жуки, носившиеся по вечерам, — тыкались, словно играя,

в волосы: поздравляли с урожаем. Работать бы, рубить бы в это лето, все перепахать, все застроить, всю округу!

А Тимофей с того утра так и не заглядывал к срубу. Отец поругался, поругался и пришел сам вести дело. И на пашню не хотелось Тимофею, а с пашни все приезжали усталые, выпить было не с кем, и даже варка самогона уменьшилась. Вздумалось Тимофею погулять по реке с бреднем, а как сунул ноги в воду, так чуть было не вытошнило.

— Поди ты,— смущенно сказал он, опуская бредень на теплый песок,— болесть какую, что ли, прилепили?

Вечером знахарная бабка спрыснула его с уголька, дала выпить крещенской воды, но и от этого не стало легче. Даже спать стал плохо. Той же знахарке обещал шерстяную юбку, если ночью приведет на сеновал Катерину. Бабка всполошилась.

— Я тебе лучше Лизавету приведу, та и не так сухопара и соглашается. Катерина никак не согласна. Перед мужем, грит, в обете. Разве гостинец обещать настоящий, вроде ботинок, что ли...

Но и бабке Катерина ответила тем же темным словом: «Полно»,— и бабка, пристально взглянув на ее ресницы, вдруг зашикала, замахала руками.

Жара началась в небе, жара была в душе. Зрел колос, и зори были пьяны своей сытостью, весельем, как и поля.

Тогда Тимофей упросил отца справить ему подводу и уехал в город извозничать. Но извозчик из него выдался на редкость плохой. Хоть и стоял он на самых бойких перекрестках вроде того, что подле зеленой церквушки, похожей на лукошко с грибами; хоть и лошадь была сытая и тележка новая, окрашенная в голубую краску; хоть и парень будто бравый,— а подойдет седок — пьяный, дурак,— посмотрит на ямщика и направится к следующему. Тимофей никогда не зазывал; подсобрав выручку, приворачивал к пивной и, облокотившись на стол, торопливо пил пиво; молча, как на перекрестке — не видя никого,— глядел на столики. Однажды в праздник довелось ему выручить семь рублей; пошел с приятелями по квартирному углу в трактир. Один из них, гундосый и прыщеватый, рассказывал, как он вчера испортил девчонку. Слушавшие долго хохотали над каждым словом.

— Да брошу, ну ее... плаксива больно...— закончил гундосый.

— А не зажалеешь? — вдруг спросил Тимофей.

— Чего? — удивился гундосый.

Тимофей тряхнул головой — и потребовал стакан водки... Приятели тоже, за компанию, выпили по стакану. Тогда Тимофей сказал:

— А я одну... вдову загубил, жениться не хотел, она мне и говорит: на ком этот вздох, тот бы в щепку иссох...

Водки осталось лишь полстакана. Стали обсуждать, что пить дальше — пиво или водку. Все давно забыли о словах Тимофея, а ему хотелось досказать, почему он не женился и как ее слова оказались брехней и только после ее слов началось ему настоящее везенье: зарабатывает он уйму, коляску скоро себе заведет на дутых... Многое хотелось ему рассказать, но так и не пришлось.

Утром он опохмелился в том же трактире, голова сразу необычайно прояснилась, и ему стало так весело, как не бывало давно. Стоял он опять на том же шумном перекрестке подле зеленой церковки, похожей на лукошко с грибами. Он бойко посматривал по сторонам, и какой-то старик в длиннополом сюртуке, умиленно указывая на него, сказал шедшей рядом с ним молодке: «Купец Гаврилов, тысячами когда-то ворочал, а теперь до чего довели,— извозчик». И Тимофею было приятно, что его приняли за купца. Но вдруг направо от человека с лотком — пирожника — отошла женщина в синем платье. Легкие руки ее таким знакомым, единственным, движением скрылись у нее под платком, походка ее была единственная, тоскливая... Сразу та ясность, что порхала в Тимофее, слетела, как цвет, оборванный ветром с шиповника; защипало в глазах... Крикнуть он было хотел, подхватил вожжи, и лошадь словно узнала ее,— смирная была всегда, а тут понесла в толпу! Мальчишку с сумкой сшибли, посыпались книжонки, пирожник упал, подвернулась какая-то бабка в длинной серой шали... А Тимофей кричал, нахлестывая лошадь: «Останови ее, останови!..» Румяный милиционер засвистал, сам забавляясь и суматохой, и свистом, и непонятным происшествием.

Тимофея забрали в часть. Просидел он неделю, выпустили: решили — больной. Лошадь за эту неделю

исхудала, словно и она стыдилась. Тимофей продал лошадь, пропил деньги и в опорках вернулся в село. Отец уже подрядился строить четвертую за этот год избу, а был все так же запуган. На нивах в жнивье гуляли жирные гуси; по утрам вдоль реки появлялась наледь, и крепко пожелтели осины. Катерина и думой не бывала в городе, все в том же синем латаном платье проходила она селом, и казалось — дали ей чужую жизнь жить, она и живет. Вскоре после приезда Тимофея волк задрал у них в поле жеребенка. С жеребенка сняли шкуру, а тушу оттащили в овраг, в кусты. Отец дал Тимофею дробовик, заряженный картечью, и приказал сидеть в кустах: кто знает, волки осенью злы, голодны, авось и придут на мясо. И верно, на рассвете в кустах таволжника вверху оврага показалась пара волков,— никогда не предполагал Тимофей, что у них такие громадные головы. Тимофей выстрелил, волки прыгнули, один из них захромал. А Тимофею было скучно и хотелось спать. «Завтра найду»,— подумал он и отправился домой. В деревне еще спали, но, когда он вошел в улицу, уже показался из труб дым, и оранжево заблестели отсветами от печей маленькие окна. В окне избушки Катерины тоже мелькнуло оранжевое пламя. Тимофей заглянул. Катерина стояла к нему боком и тянула с печи лучины. Печка, видимо, слабо разгоралась, и она хотела дожечь лучины. И опять Тимофей увидал ее руки: легкие, белые и как бы пушистые, чем-то напоминавшие лен. Когда она касалась ими груди, то словно мелькали зарницы: не освещая, а наводя трепет и на ее лицо и на чужое. Ее, стоявшую неподвижно со щепами... даже какое-то умиление почувствовал Тимофей. Но едва она двинулась и руки опустились к бедрам, едва показалась линия грудей, словно крутой берег выступил из тумана,— Тимофею стало стыдно, мерзко — и того, что он даже думал на ней жениться и не было сил сказать о женитьбе отцу и ей; и того, что он ждал опять этого слова «полно», и того, что он, здоровый, казалось, смелый человек, стоит, как попрошайка под окном, не смея не только войти, но и подумать об этом.

Тимофей, дабы освободиться от таких мыслей, жирно сплюнул и, сплюнув, почувствовал на плече тяжесть ружья. Достал патрон и не мог припомнить — с картечью он или с дробью. «Все равно — три шага»,— подумал он, и та необычайная ясность — что приходила

однажды на перекрестке подле зеленой церквушки — опять нахлынула на него.

Он не убил ее, заряд угодил ей в плечо. Она пролежала полтора месяца на лавке под тулупом, присланным отцом Тимофея,— на суд она не явилась. Тимофей ничего не смог объяснить суду — о колдовстве ему было стыдно говорить, хотя и хотелось. «Как щепа за сердцем»,— сказал он и развел руками. Суд дал Тимофею год. Отсидев положенный срок, он уже не вернулся в свою деревню. В тюрьме он завел много знакомств, начал шляться с новыми знакомыми по ярмаркам, с цыганами сидеть в трактире. Жизнь казалась легкой, невсамделишной, все думалось: надо прийти к отцу, поклониться в ноги и сказать, а что сказать — он и сам еще не знал. А пойти к отцу все не было времени, да и одежонка поистрепалась.

Опять была осень, заморозки, небо словно в инее. На одну из ярмарок привели откуда-то из-под Оренбурга необыкновенных аргамаков. Мужики за последнее время полюбили кровных лошадей, — цыгане предложили Тимофею дело. Но пригнавшие аргамаков тоже были коновалы опытные, хитрее цыган. Аргамаки стояли в сарае, одна стена сарая выходила в темный переулок. Цыгане выпилили доску. «Полезай»,— сказал ему нетерпеливо самый молодой. Тимофей прыгнул: невиданная боль ударила ему в колени, — коновалы поставили вдоль стены волчьи капканы. Он закричал. Замелькали фонари, кто-то выстрелил. Тимофея долго били кулаками, плетью, допытывались — где цыгане. Он сказал. Тогда его ударили в бок поленом — и кинули в овраг, за селом. У него вытек глаз, он начал хромать — и пошла о нем тяжкая слава. Теперь и пьяный даже он не думал возвращаться к отцу. Цыгане его гнали от себя, он совсем обносился, голодал, и однажды парни из соседней деревни предложили ему убить какого-то человека. За убийство они обещали валенки, полушубок и соглашались отвезти в город.

— Да, братишки, довела меня, падлюка! Идет, согласен непременно! — закричал он. Услышал свой голос — и попросил водки. Ему дали полстакана, и в санях, лежа среди парней, он врал им о своей любви к поповской дочери: как гонял его поп, как подговаривал деревню выселить его... Парни, неизвестно чему, хохотали, пока не доехали до угла большой пятистенной

избы. Они предложили ему постучать в окно, крикнуть Игната и, когда тот выйдет, сунуть ему нож в живот. Тимофей так и сделал. Вышел Игнат, высокий мужик в длинном тулупе, похожий на попа. Был высокий спокойный месяц, и лицо у Игната было тоже спокойное, и шуба его казалась синей, а воротник походил на облака.

— Не мешай жить,— крикнул Тимофей, ударяя его ножом.

Однако нож скользнул, и вдруг все перемешалось в теле Тимофея. Он ясно почувствовал — горький снег во рту, шатающийся сугроб — и месяц скользнул у него между рук...

Утром Тимофея нашли за овинами, подле проруби на речке, мертвого. Голова у него была проломлена в трех местах, а десны — совершенно голые, как у ребенка. Родное село его было в тридцати верстах, думали — отец не приедет, а он приехал, на паре саврасых... Посмотрел сыну в лицо, перекрестил и, прикрыв его скатертью, велел положить в сани.

И вот Тимофей последний раз лежал дома, под образами, в горнице. Лысый дьячок читал псалтырь, кошка играла бахромой скатерти, сестра Тимофея готовила поминальный обед. Все было спокойно: без рева, без хлопот. В сенях плотники стругали гроб, и насмешливый плотник, когда-то вместе с Тимофеем рубивший избу Анфиногенову, подтрунивал над недавно женившимся товарищем. Многие приходили проститься с покойником. Плотники, чтобы идти было легче, отодвигали в угол рассыпавшиеся по всем сеням медовые запахи стружки. Пришла и Катерина. Перекрестилась, оправила медяки, сползавшие с глаз Тимофея, поцеловала его в лоб. Медяки делали его лицо испуганным и робким. «Полно»,— сказала шепотом Катерина и еще раз перекрестилась. В сенях она посмотрела на гроб. Плотники отдыхали, курили. Крепко пахло махоркой. Она туго, чтоб не скользил с плеч, затянула платок узлом на груди — склонилась к полу.

И никто теперь не помешал бы ей набрать щеп.

1926

СМЕРТЬ САПЕГИ

Я отстал от полка.

Наш полк, состоявший большей частью из мадьяр и сербов, шел югом Барабинской степи. Мне было скучно в нем. Мадьяры были наполнены какой-то непонятной мне заботливой храбростью. На разведку в неизвестную им местность они шли, как голодный на обед. Возвращались словно с головокружениями — такие у них были глаза. Мне казалось: так поступают они из презрения к нам, к русским, у себя на родине они не были бы столь храбры. Все то время казалось мне их бесстрашие мимовольным...

Подле крохотной речушки Усяцкой встретил я Омский батальон профсоюзов. Командовал батальоном Вася Колесников — щеголь, бабник, весельчак; позже он погиб в памятное восстание на Куломзине. Раньше, до революции, мне пришлось работать с ним в типографии, — он был метранпажем. Помню, было испытание: новый метранпаж должен выпить двадцать семь рюмок водки, и если на двадцать седьмой отличит нонпарель от корпуса, значит, годен. Васька не отличил — и точно, плохой выдался из него метранпаж. Позже мне довелось сменить его, а его перевели на афиши, — и афишером он был плохим.

Зато комиссар из Васьки вышел великолепный — веселый, находчивый; батальон свой он вел по степи и на бивуаки ставил, словно коробку папирос откупоривал, чистые, опрятные, свежие. Так вот секретарем у этого Васьки Колесникова был Аника Сапега.

Где он ухитрился захватить столь удалое имя и еще более — великого гетмана — фамилию, мне так и не удалось узнать. Сказал я ему как-то о гетмане; Аника быстро пощупал голову (так — я заметил — щупают голову боящиеся себя люди) и спокойно сказал:

— Ежели по характеру судить — родственник, хотя папаша мой и не упоминал о родстве. Папаша-то мой похвастаться любил. Говорил же вон твой папаша, что отец-то его — туркестанский генерал-губернатор.

Дня через три возобновил он разговор о гетмане. Аника был назначен командиром третьей роты, и меня перевели туда заведовать продовольствием. Я думаю — настоял о моем переводе Колесников: человек он был самолюбивый, трудно было ему примириться, что рядом с ним идет лучший метранпаж, хотя никто во всем полку и не слышал никогда слова «метранпаж». Заведовать продовольствием казалось мне унизительным долгом, и я сказал Анике, что по матери предки мои — польские конфедераты.

— Человек — как топор, друг: в лес идет — назад глядит, из лесу идет — в лес глядит. Потому я всех этих притчей о прошлом-то и не люблю. Мне, друг, на предков твоих, да и на своих, по пути, плевать...

Сапега вытянул по кошме костлявое и плоское свое тело, спокойно посмотрел на озеро, спокойно налил чаю из медного котелка. А я чаю не мог пить: когда мы подъехали к озерку и сухие, залоснившиеся от травы ободья колес зашипели в солонцах, лошади отказались пить. Подумали — вода очень соленая, попробовали — и нет. Озеро мелкое, начали искать палками — и нашли пять трупов с камнями на шее и на коленях. По черному волосу и по усам можно было узнать мадьяр. Невдалеке находилось богатое село; отстали, вроде меня, зашли выведать дорогу, и их мужички и направили туда, куда казалось мужичкам выгоднее.

Вишневая весенняя рябь была на озере, винтовки отражались в ней и похожи были на камыш. Солончаковая полынь цвела вишневым небом.

— Плевать мне на всех предков вплоть до седьмого колена — дальше мне не доплюнуть. Я сам хочу предком быть, и очень просто — не придется. Вчерась меня Колесников вызывает и говорит: «Дошли до меня слухи, Аника Сапега, что ты буржуазных женщин валишь и насилуешь при первом подходявом случае». Я ему отвечаю, что никаких насилий нету, они сами согласны со мной. «Смотри,— отвечает мне Колесников,— смотри, Аника. Назначили тебя по моему настоянию командиром третьей почетной роты. Я могу тебе в башку пулю всадить».— «И сади,— отвечаю я ему,— только в морду

не бей, крой в затылок». ...На том разговор и кончился. ...Тут вот в стороне заимка Козловских есть, верстах небось в ста отсюда. Я под ихней заимкой родился и рос, а позже батраком на ту заимку попал. Парень я был взрослый, в восемнадцать лет горел и сох. А тепло-то внутри, как в избе,— не видно. К концу лета на страду в заимке народу много нанимали. Съехались бабы, девки. Груди у баб в этих местах как стога — и запах и мягкость. Ну, и замучили эти запахи. Валяются ночью по соломе, по колодцам, по телегам,— скрип и гам не меньше, чем днем. Днем лошади в хомутах ходят до седьмого поту, а ночью бабы. Не нравилась мне эта прелюдия, и не нравилась по той простой причине, что на меня ни одна баба не смотрела! ...Парень я был здоровый, да застенчивый, что ли. Необразованность наша и забитость. Запустил бы это пальцы, думаешь, а дальше своего носа, смотришь, и не уйдешь. Схвачу иную бабу, два часа подхожу, бывало, а она наотмашь — и прямо в рыло. И так обидно, что даже живот заноет. ...Стряпуха там водилась, Параскевья Понедельник по прозвищу. Такая грязная и конопатая, чисто свиное корыто... никто на нее и не зарился. Шел это я по кухне как-то, она в печь чугуны ставит. Посмотрел я на масленицу-то ее... эх, думаю, да что там рожа, не с рожей жить, а с человеком! Заиграл во мне весь инвентарь, что восемнадцать лет хранился. То ли она рассердилась, что не вовремя полез к ней, то ли даже и ей, корыту свиному, не понравился... как она обернется да как хватит ухватом меня в живот, в ту ли самую мою бабью боль. Ну, тут я, значит, не вытерпел уже, тут я полный кулак грязных ее волос надрал. ...А она о том происшествии моем всем и расскажи. Обедали все в сарае, столище на пятьдесят человек, так от смеху словно шарф трясется. Девки, может, со временем бы и привыкли ко мне и, как-никак сжалившись, удостоили бы... ну, а после такого случая — хи, да ха, да изголянье... У меня от того случая судороги начались, и на теле рябь выступила. На бабу посмотрю, и вдруг вид из себя стану такой иметь — ну, хоть в тулупе ходи. И сны замучили, и чудные все сны: голые бабы все, и все зря, никакого поражения им не было... И кончались те сны таким образом, что быдто я бревно, и везут меня в жару по тряской дороге. Мученье страшное! Я в одну ночь чуть было передок телеги зубами не перегрыз, ладно —в рот

деготь попал. ...А стряпуха за мной все следит. Хитрая, стерва, была, и все непонятно, зачем за мной ходила. А у меня совсем, должно быть, помутнение головы получилось. Одним словом, идет мимо току стряпуха Параскевья Понедельник, я на току задержался, лошадей из молотильного круга выпрягал, и пришло мне в голову... ...Одним словом, посмотрела она на меня — и к барину. «Так, мол, и так, иду, мол, мимо току, а Аника бог весть что приспосабливает».— «Что же он приспосабливает?» — спрашивает барин. «Да,— отвечает стряпуха,— и язык не поворачивается. Выпряг кобылу Флору, скамеечку подставил и лезет по той скамеечке»... Ну, барин закричал, усами зашевелил, схватил со стены мушкет какой-то старинный. А на дворе уже стемнело. Впереди идет лакей с фонарем, за ним стряпуха, а позади стряпухи с мушкетом наперевес сам господин Козловский. ...Приходят на ток, а преступник, я-то, выходит, услыхавши те крики и беготню да и огни в неурочное время,— скрылся. Валяется на току скамеечка, да хлопает ушами Флора. Посмотрел на эту беззащитную Флору барин, заорал ей что-то по-французски и хлоп ее из мушкета в лоб. ...Искали меня, искали — все бесполезно. Под утро случайно парни наткнулись. Сижу я это у яра и в реку смотрю. Они подойти боятся, издали кричат: «Конец твоей жизни, Аника! Одно остается — кидайся с яру в реку и топись немедленно».— «Ну,— отвечаю я им,— коли уж я не утопился до этого, то теперь, поняв жизнь и ее сладость, я не утоплюсь, а буду я...» ...И сам не знаю, кем я могу быть. В разбойники уйти? Да где тут разбойники — степь кругом голая, как пятак, каждый кустик у стражников на учете, да и инструменту у меня — палка да моргалка. Одним коротким словом, пошел я в город, оттуда вскорости пришлось на войну попасть, а оттуда...

Аника выпрямился, сделал грудь колесом, зашевелил бровями,— и я понял, что сейчас он начнет хвастать.

— Наврал ты мне, Аника,— сказал и рассмеялся.

Аника раздраженно вырвал пук полыни, размельчил на ладони землю и вдруг выронил землю прямо на кошму.

— Куды, друг, наврал... Кабы наврал, самому бы хохоту на три дня хватило. Правда все сплошь, как полынь вот тут подле озера...

Он посмотрел пристально на меня и хрипло сказал:

— Убьет меня скоро Колесников, и за дело убьет, не в затылок, а в морду. У меня предчувствие есть. На меня как забота найдет, так и получается предчувствие. У Васьки-то характер разнообразный... И судить меня нельзя, придется убить без товарищеского суда, единолично.

Он собрал землю в костлявую и тонкую ладонь и веером раскинул ее по полыни.

— Соленая земля, а вот, поди ты, для полыни и благодать. Я это, когда при первом подходявом случае доберусь до барского нутра, лежу с барыней, и голова-то, мне кажется, как пузырь, раздуется от крови, и мысли-то перепутаются, растут, как трава в тундре... и какие-то багровые, друг. Лежу и чуть не ору прямо: «Смотри, Аника, куда ты заехал, на какую высоту!..» И от такой моей крови и гордости барыню-то от меня потом хоть на носилках убирай. И не жалуются, знаешь.

Он быстро тронул меня в голову, отшатнулся и захохотал.

— Ей-богу, не жалуются. Может, даже довольны. А как я могу на суде товарищам смысл объяснить, если надо по долгой мысли и по тайне объяснять... Убьет меня Васька Колесников.

— Пожалуй, убьет,— согласился я.

Аника задумчиво выбивал пальцем из кошмы травинки.

-- И помирать-то неохота.

Тут к кошме подбежал вестовой, подал записку Анике. Аника лежал на животе, долго читал ее, а затем передал мне. Колесников — пером «рондо» (слово «распоряжение» было выведено под готический шрифт) — отдавал распоряжение: что, ввиду поступивших сведений и приближения чехов «в лоб» нашему отряду, собраться и двигаться в северо-западном направлении, к долине реки Уймона и к озеру Сарыкуль.

Аника тщательно сложил бумажку и некоторое время думал — положить ли ее в правый или левый карман френча. Устало повертел ее в руках и положил в левый.

— Я тебе говорил али нет про заботу-то свою с предчувствием?.. Вот и выходит: идти нам прямо на заимку того проклятого господина Козловского, с которого и началось мое сотрясенье. Барин там живет, а при

нем офицерская жена за сыном. Сын-то Козловского у белых... Тут мне и конец. Ну, одним словом, надо сбор трубить.

Через двое суток кончились солончаки, и мы вступили в березовые колки, а дальше начали встречаться нам матерые дубровы, где березы были в два обхвата; у подножий их росли густо опенки, а в дуплах гудели шмели. Помню, поймав такого бархатного шмеля, Аника сказал, что через трое суток будет заимка Козловского, и положил шмеля в кисет. В деревнях мужики встречали нас неприветливо, и если спрашивали: «За какую вы власть?» — отвечали: «Властей теперь много ходит, у нас теперь власть покосная». И точно — пора бы и косить. И вот в полдень так увидали мы среди березовой рощи на увале господский дом: розовый, с нелепыми бронзовыми завитушками над окнами. Низкая кирпичная ограда почти вся ушла в крапиву, а над чугунными воротами развевалось бело-зеленое сибирское знамя. Увидали мы неумелые окопы; пятеро каких-то необыкновенно низеньких людей выскочили из них и, подпрыгивая, побежали к воротам.

— Это и есть Козловского? — спросил я у Аники.

— Козловского дальше, у Козловского мы завтра будем, а это есть заимка генерала Стрепетова.

Красногвардейцы привели пойманного в коноплях за рощей парнишку. Парнишка сбирал землянику и больше всего боялся, как бы ее не отняли.

— Генерал-то здесь? — спросил Аника.

— Здесь,— ответил торопливо мальчишка.

— Семья тоже?

— Чо?

— Бабы есть?

Парнишка поправил лопух, прикрывавший ягоды, и сочувственно улыбнулся.

— Баб тут сколь хошь. Вы на подмогу им, чо ли, генералу?.. А-а!..

Аника испустил нечленораздельный вопль. Его плоский и широкий рот, подернутый мутной слюной, почти не закрывался. Фразы и слова, прорывающиеся через вихрь воплей, были наполнены неистовой бранью. Дыханье смешалось, и густой пот выступил на висках.

Нашей роте суждено было идти первой. Аника вел ее бесстрашно. «Многие бы мадьяры,— мелькнуло у меня в голове,— позавидовали б его храбрости».

Я не люблю сражений и боюсь, но есть какая-то прелесть в беге с винтовкой по полю. Незрелая пшеница вьется в ногах, упадешь — влажная земля прилипает к ладоням. Матерые стволы березовой дубровы виднеются вдали, и кажется — пуля летит в тонкий крест колоколенки. Что ж, если помирать, так помирать, приложившись ко кресту не по-отцовски!

Ружейные залпы бело-зеленого знамени быстро прекратились. Только с крыши усадьбы неистовствовали два пулемета. Мы винтовками выбили ворота — не по нужде, так как достаточно было сшибить замок, а для большего страху. Во дворе среди телег, нагруженных разным хламом (готовились к бегству), метались куры, неистово лаяли собаки: на свежих тесинах, привезенных, по-видимому, для починки погреба, у самых дверей лежало бело-зеленое знамя, и какой-то длинноволосый человек в очках стоял подле него, высоко подняв вверх руки. Рукава пиджака были необыкновенно коротки, и стало вдруг жаль его. Помню, я крикнул, пробегая: «Опустите руки»,— и он не опустил. Аника, потрясая наганом, спросил что-то у толпы сдавшихся людей, и вдруг самого упитанного, в капитанских погонах, ударил кулаком в зубы. Капитан упал больше от страху, чем от боли. Толпа, словно одной рукой, указала Анике на веранду. Он запахнул полы шинели, качнулся, отхаркнулся и медленно, словно вспоминая затерянные слова, приказал мне переписывать пленных.

— А с хозяевами я сам... Сам... поговорю...

И опять беспорядочно понеслись над его телом беспокойные его руки. Я поспешил за ним. Визжали половицы веранды. Встретил нас высокий старик в длинном генеральском сюртуке с сорванными эполетами, рядом заплаканная старушка мяла шаль, несколько впереди ее дочь — смуглая девушка лет девятнадцати, востроглазая, хохотунья, должно быть. Она была в сереньком ситцевом платьице и в крошечном ситцевом передничке,— может быть, перед самым нашим приездом разливала чай. Аника схватил старика — его плоская рука как бы заменила сорванный эполет — и толчками повел его в кабинет. За ним кинулись мать и дочь. Вытирая потный лоб и дергающиеся веки, Аника оттолкнул меня от дверей кабинета — и через полминуты вышел оттуда. Девушка, чуть вздрагивая головой, направилась вперед по коридору. Окна были большие, и солнце было

большое,— шаги ее казались какими-то прозрачными. Он вдруг обернулся ко мне, мотнул револьвером и завопил:

— Ты што здесь, ты што? Пошел к черту!

Он весь трясся, губа его над далеко выдающимися передними зубами (в народе так называемый «собачий прикус») взметнулась. Едва ли он узнавал меня.

— Пойдем обратно, Аника,— сказал я, весь тоже дрожа.— Отпусти барышню.

— Не смей, стерва, командовать!.. Ваську поди зови, Ваську... А ты кто такой? Эй, веди! Судите меня!..

Девушка обернулась, ровная спичка бровей зажглась над ее лицом. Аника кинулся в распахнутую дверь. Белая пушистая кровать, коричневый ночной столик и развернутая книга на нем — мелькнули у меня перед глазами. Щелкнул замок. Белая солнечная тишина хлынула в дом.

Ручка двери была круглая, из синего стекла. Очень неловко было за нее дергать — казалось, словно дергаешь за трость. Я ударил каблуком в дверь,— злой рев донесся из спальни. Я начал стучать кулаками,— раздался выстрел, женский визг, очень короткий и очень спокойный какой-то. Пуля пробила дверь на четверть выше моей головы.

И тогда я решился на последнее.

— Аника! — закричал я.— Аника, зачем ее обманываешь?.. Генерала бьют... ребята генерала бьют... Ты ей обещал отца сохранить, Аника!..

Мне казалось — крик мой доносился издалека. Вскоре к нему присоединился неистовый женский визг. Я услышал топот.

Я разглядел красноармейцев и впереди их Ваську Колесникова; он был в новой кожаной куртке, ремешок бинокля висел у него через плечо. Щеголевато, одним пальцем указал он на дверь спальни, красногвардейцы ударили в дверь столом, и мы увидали посреди девичьей кровати лежащего на спине Анику. Он был мерзко расстегнут. Угловатые его колени поросли рыжими волосами, а на груди с левой стороны гимнастерка медленно тонула в крови. Подле опрокинутого ночного столика лежал окровавленный бронзовый нож нелепой формы, похожий на огурец. Аника был мертв, убит. Не доехал Аника до своего предчувствия, не видал он заимки Козловского!

Женщина, завернувшись до горла в пикейное синее одеяло, лежала комочком в огромном кресле. Складки полотняного чехла поднялись вверх, и можно было разглядеть муаровую розовую обивку, расшитую серебряными нитями.

А Колесников, держа одну руку в кармане, говорил женщине:

— Пролетарское правосудие знает, кого карает, и оно умеет щадить, гражданка. Напрасно вы пошли на его вымогательство и на обещание сохранить жизнь вашим родственникам, которое есть сплошной блеф. Идите к родителям, они там ревут, думают — убили вас тут.

Она, все так же завернутая по горло в одеяло, встала и пошла. Походка и лицо ее были иными. Мы отодвинули к стене наши винтовки, чтоб дать дорогу — матери.

Вдвоем с Колесниковым отвезли мы в степь тело Аники и зарыли на пригорке. Колесников не сказал ни слова, я крепко пожал ему руку, и он понял — за что. Батальон пошел дальше, генерала Стрепетова и его помощников по защите заимки отвезли в город. Опять — травы, солончаки, полынь, степь.

А несколько лет спустя наткнулся я на Люблинском проспекте города Омска на женщину. Было у ней строгое лицо, прямая, словно в смертельной тоске сотворенная фигура, одета она была очень скромно, а вырываясь из тонких рук ее, несся вперед мальчик. Он был плоский, костлявый, с далеко выдающимися вперед зубами, что в народе у нас зовут «собачий прикус», и была у него походка Аники...

Она не узнала меня, и я не остановил ее. Да и зачем?..

1926

ПОЛЫНЬЯ

Жизнь, как слово, — слаще и горче всего.

Богдан Шестаков очень изменился за последний год. Когда он напивался, в голову приходили тягучие мысли о смерти, а подумав, он начинал драку. В деревне его стали бояться и хвалили только за то, что он дерется не ножом, а постоянно палкой. Девки приставали меньше, кто-то пустил о нем славу — порченый. И верно, всякий раз после пьянки его долго тошнило, и если выскакивал из горла темный сгусток крови, то становилось легче дышать... Кожа на его огромном скуластом лице казалась какой-то гнилой, а маленькие глазки смотрели так, словно дано было ему видеть мир в последний раз.

Был конец масленой, деревня много дней уже пила, дралась и, путаясь в огромных сугробах, орала озорные песни. Накануне прощеного воскресенья девки не пришли на вечерку, и Богдану хоть и скучно было драться без девок, но опять заныло сердце, опять в голове стало так, словно он стоял, наклонившись над бездонным оврагом, — и Богдан разогнал вечерку, выбил в избе окна и даже ударил любимого своего друга Степку Бежнова. Ударил в ухо, в кровь, а Степка парень был гордый, удара не простит,— и думал утром Богдан: теперь или Степку придется зарезать, или Степка зарежет его. Стало необычно тоскливо. Плохо растапливалась печь. Мать, перекладывая поленья, сказала ему:

— Хоть бы ты долги за бочки собрал, кончат тебя скоро. Степка по селу ходит — не миновать, говорит, тебе ножа.

В свободное от хозяйства время Богдан бондарничал. Деньги за работу сбирать не умел, и часто надо бы сказать заказчику ласковое слово, а у него получалась брань. И то, что мать не пожалела его, а думала больше о деньгах, тоже как-то расслабило Богдана. Вяло и нехотя натянув щегольские, с узкими голенищами са-

ноги, взял обеденный нож со стола, вытер его два раза о подошву, сунул за голенище. Мать только громыхнула ухватом. Размахивая сучковатым своим батожком, Богдан вразвалку, лихо играя плечами и удало посматривая по сторонам, шел по улице. В первый раз за всю его жизнь лежал у него за голенищем нож, и было непонятно чего стыдно и даже страшно. Казалось — выбеги сейчас из-за угла Степка, едва ли Богдан выхватил бы нож и даже едва ли поднял бы палку.

Деревня после вчерашней гулянки еще спала. Выйдет разве за ворота посмотреть погоду какой старик. Тупо стоит, распахнув тулуп и подставив солнцу сивую бороду. Снег тает у него подле валенок, валенки темнеют, и не видит ничего старик. Даже собаки не лаяли, словно и они страдали с похмелья. Казалось Богдану, разбежалась, перепряталась по сугробам деревня, словно вспорол он своим ножом мешок с пшеницей. Так Богдан дошел до выгона, там уж кое-где посерел снег: словно протерлась материя и выступила подкладка. Ночью, надо думать, выпадала пушная кидь — самый крупный снег, и обледенелая дорога казалась исковерканной долотом. И опять мысли, тяжелые горы, упали на него. Один он стоял у поля. Повернуть же в деревню было страшно до поту. Вправо от выгона белело кладбище, и пришло ему в голову, как трудно будет долбить ломами могилу, а копать ему могилу будут парни-сверстники (есть такой обычай: зарезанному приятелю сверстники копают могилу, чтобы подольше поговорить о покойнике). Степка первым пойдет по деревне... И тогда он подумал: «Надо обрат идти. Говорят уж, поди,—от Степкина ножа утек». И все ж не было сил обернуться к родным избам. Здесь он припомнил, что в Данилове — соседней деревне, верстах в пяти — сегодня престол и вечерки.

Богдан выпустил чуб из-под шапки, подтянул выше голенища, страх будто прошел, и Богдан направился по обширной снеговине в Данилово.

С легким хрустом скользили его каблуки по ледку дороги. Хруст льда был рыхлый, весенний, и рыхлые шелковисто-белые облака были в огромном небе. Конец снеговины был занят легким синеватым леском. Дорога, словно утомившись прямо бежать по снеговине, начинала вилять и в лесок брела, как пьяная. Лесок-ельничек был весь в снегу, в искрах, в фарфоровом блеске,

поднимался он на холм бодрый, веселый, словно бы с пеньем. За холмом — поляна, а с краю ее — Данилово. Перед самым леском текла речка, занесенная пухлым снегом, убродная, словно стянула она со всей равнины на себя снега, будто нужно ей было прятать что-то драгоценное. Ничего-то в ней не воднлось, даже пескари и те давно передохли, запутавшись и устав жить в неимоверно густых лопухах и водорослях. Через речушку лежал мостик, тоже занесенный снегом; торчали от него два столбика, а направо от этих столбиков виднелся сруб,— года два назад кто-то хотел устроить здесь мельницу, да так и бросил, неизвестно почему. Летом в этот сруб парни водили девок, водил и Богдан.

И вдруг влево от столбиков, в двух саженях, не более, увидал Богдан громадную, как большой двор, полынью.

Не меньше как в неделю раз ездил Богдан по этой дороге за сеном на луга, а заметил эту полынью впервые. Вода была неподвижна, смарагдово-зеленая по краям, а снег, окружавший полынью, казался необычайно рыхлым, злым. Да и полынья не казалась радостной, будто речушка вынесла в нее всю свою злобу, накопленную за долгие годы.

А по ту сторону полыньи увидел Богдан большого сизоголового селезня.

Кому дано знать, как он попал, когда он попал на эту полынью? То ли затосковал он в солнечной стране по родным лугам? То ли на самом деле должна через несколько дней хлынуть весна? И селезень, словно смеясь над смущенно остановившимся человеком, весело поныривая, плыл вдоль полыньи. И казалось, когда он выныривал, вода расцветала. Селезень крякнул, ударил крылом и подплыл ближе к человеку. И то, что он ударил крылом, словно по сердцу, непередаваемо разозлило Богдана. Он отпрыгнул, схватил ледышку и метнул ею в селезня. Птица нырнула, шесть темно-серебристых кругов, похожих на круглые перья, пошли от нее. И Богдан уныло подумал — не завести, видно, ему никогда дробовика. Он быстро начал собирать обледенелые комья снега, и ему было стыдно: большой парень, а, словно мальчишка, гоняется за селезнем. Но тут ему захотелось принести на вечерку в Данилово дикого селезня.

— Замучаю, гадина! — закричал он, продолжая собирать ледышки.

Селезень крякал, тревожно смотрел вверх. Рыхлые облака, словно пряди седых волос на молодом лице, продолжали скользить по небу. Желтый клюв селезня, подобный уцелевшему осеннему лепестку, тонул в воде. Богдан, весь потный, увязая в снегу по пояс, бегал с одного берега на другой и все не мог отыскать такого места, с которого он мог бы попасть в селезня. Подле кустика он ткнулся в на́стыль — промерзшую толстую кору снега. Богдан наломал куски этой настыли и долго кидал их в прорубь. Он скоро устал — и от злости на такую глупую охоту, и от мысли, что селезень может улететь. А селезень продолжал все нырять и нырять, и казалось — с каждым разом он остается в воде все дольше и дольше. И вот, когда он нырнул особенно надолго, Богдан, внимательно рассматривавший полынью и гадавший, где бы мог вынырнуть селезень, как-то невзначай взглянул на сугробы. По сугробам переметывался с тревожным шипеньем снег. Богдан поднял голову, и в небо, словно с сугробов, перекинулась волокуша. От солнца в мятущихся снегах осталось только пятно огненно-красной киновари. Края земли походили на завороты сугроба. Деревни не было видно.

Тогда Богдан поспешно отыскал свою палку, переломил ее, долго целился и так кинул ее, что палка завизжала. Селезень взлетнул на сажень. Богдану показалось, что он попал ему в крыло. Да и селезень теперь не нырял, а, чуть волоча крыло, плыл вдоль снежного берега. В воду с надутых, как капризные губы, сугробов сыпался снег. Стало тускло, как в сумерки. Очень ясно обозначались талые места дороги, и тут только Богдан понял, что, даже убив селезня, он не смог бы достать его из полыньи. Разве лесиной, но едва ли подыщешь такую тонкую и длинную лесину, которая могла бы достать до середины полыньи. Он почувствовал иней на шее, замотал крепче шарф, перетянул опояску, вдруг стало почему-то обидно, что на полушубке недостает трех пуговиц. И опять с непонятным страхом подумал о родной деревне, о Степке, опять тяжелые, как горы, мысли подступали к сердцу... От ножа ноге стало холодно, он достал нож и сунул его за пазуху. Посмотрел на полынью,— селезня за снегом не было видно. Богдан постоял, подумал и все-таки пошел в Данилово.

А ветер все усиливался, и не успел Богдан отойти десяти шагов от столбиков моста, как снег — мелкий, пылистый «блеска» — так ударил ему в лицо, что словно забил горло. Богдан долго протирал глаза и, протирая, не заметил, как очутился на реке. Потерялась лиловая тень мельничного сруба, да ельник куда-то исчез — и дороги под собой не нашел Богдан. И когда он, поддерживая для чего-то шарф на шее, кинулся вперед,— вдруг темная вода полыньи открылась у его ног. Снег медленно уходил в воду, так медленно, что казалось — прежде чем уйти, он скользит поверху, отыскивая нору, куда бы мог скрыться от разъяренного ветра, от бесконечных однообразных полей, и, уходя, не верит, что можно скрыться. Богдан, неотступно глядя на полынью, медленно шел вдоль берега и вскоре наткнулся опять на столбики. Он яростно сбил с одного из них снег. Он потоптался перед столбиком, даже как-то неумело приплясиул,— сразу стало веселей, и он вновь направился в Данилово.

И вновь, не успев отойти десятка шагов, сбился с ледка дороги (хотя вначале, прежде чем ступить, нащупывал впереди себя ледок, но ему быстро надоело нащупывать, сразу поверилось в удачу) и опять попал на реку, глубоко теперь, почти по пояс занесенную снегом. Идти вперед по реке было до обиды страшно,— каждый шаг, казалось, обваливался и катился в полынью. Мчалась округ него шипящая светлая темнота. Богдан остановился. «Господи!» — прокричал он приказывающе, повел палкой, и вправо палка его наткнулась на бревна мельничного сруба. Он хотел было войти туда, но вдруг зачем-то вспомнилось, как воняло в срубе, когда он водил туда девок, и как вонь эту замечали только тогда, когда шли обратно. И стало ему до слез обидно на Степку, пригнавшего Богдана на такую обидную смерть к срубу. «Господи!» — опять приказал он. А поносуха все сильнее и сильнее крутила снега, притискивая к его телу кожух. «На дорогу от сруба надо брать влево»,— припомнил Богдан. А на дороге ветер был еще сильнее, поднялся, видно, последний зимний буран. Столбик вновь был занесен снегом, полынья исчезла. «Тоже, должно быть, занесло»,— подумал Богдан, и ему стало легче. Он присел на столбик, скрутил папиросу и, когда между колен в полушубке зажигал спичку, ветер дернул, вырвал кисет, обидно помахал им

в воздухе и швырнул его к полынье, в снега. Богдану стало так тяжело, что он даже не обрадовался тому — на таком сильном ветру, закуривая папиросу, не испортил ни одной спички. «Затянуться напоследки»,— подумал он и здесь вспомнил опять Степку, свою трусость, и селезень в проруби чем-то напомнил ему венчик, что надевают на лоб покойнику. Он уже и сам понимал, что не дойти ему теперь ни до Данилова, ни до дому, заблудится, сдохнет,— и все-таки пошел в Данилово. И верно — сразу же он спутался, упал, сразу очутился в сугробе, и вот снова перед ним — полынья. Она лежала такая же неподвижная и темная, как и раньше, так же неподвижно били в ней подземные родники, и так же нехотя принимала она в себя снега. Не колышась, плыла она спокойно среди этих взбесившихся снегов, плыла настолько неподвижно, что даже не отражала ничего, как глаз мертвого.

Сердце у Богдана вдруг словно прокололи насквозь, он даже от такой боли перекрестился. И затем сразу нашло на него такое чувство, словно он засыпал после большого, наполненного усталостью дня. Вода на мгновение просветлела — и он неистово ринулся прочь. Но сразу же до истомы стало ясно: куда бы он ни кидался, как бы ни бежал по сугробам,— везде под ногами обрушивались глыбы рыхлого снега, и вода открывалась ему. Попробовал было он закричать,— сразу от сильного ветра заныли зубы, и стало чего-то стыдно. Шарф стал влажным, и скоро обмокрела спина. «Добро — у сапог узкие голенища, а то бы снегу-то сколько набилось»,— подумал он, не замечая, что и узкие голенища были наполнены снегом, а теплые капли пробирались вдоль икр.

Он устал думать о дороге,— в голове у него остались только какие-то коротенькие мысли о столбиках. Ему казалось — ухватиться бы за столбик, и он не скатится тогда в воду. Виски были словно зажжены, а чуб лез на глаза, холодный и чужой. Несколько раз отскакивая от полыньи, наткнулся он наконец на столбики, упал и прижался лбом к обледенелому дереву, и на мгновенье вернулась храбрость, он полез было в карман за табаком. Скверно и долго выругался. Брань шла легче, чем крик, и он, длинно и долго ругаясь, звал на помощь. Показалось, что чем-то и кому-то он отплатил за свои муки. А веселый и свистоголосый ветер все так же несся

над снеговиной, все так же блестящей пылью звенел на обледеневшей коре-чире, колол ресницы. Богдан отполз немного от столбика, от дороги; он ясно заслышал понуканье ямщика, храп утомленной лошади, ему показалось, что его могут растоптать, но тут лошади словно свернули в сторону. Он даже разглядел, как блеснули длинные оглобли, хотя и знал, что иной дороги, кроме той, на которой он лежит,— нету. Но он отполз еще два шага.

И опять темное жерло полыньи всплыло перед ним. Обледенелый скат, спускающийся в воду, как бы дрогнул, в плечах Богдана словно что-то хрустнуло, и он торопливо поджал под себя ноги. И было время,— каблук уперся в какую-то ледышку или коряжку, а в полуаршине далее лежала вода, пахнущая почему-то тиной. Эта пахнущая тиной вода словно всосала все его мысли. Он долго, сгорбившись, сидел и неотступно смотрел в воду. А затем, как родник, со дна его души ударила в тело и смятенно пронеслась мысль, что сейчас каблук соскользнет с коряжки, кости и мясо — все то, из чего составлен Богдан, покатится по льду, ветер, дующий в плечи, еще сильнее ударит в полы полушубка, и шесть огромных кругов, похожих на круглые перья, захлопнут его жизнь. Он стал тереть ноги, а пальцы без толку путались, и казалось — трет он сапог о сапог, как безрукий чеботарь. И когда подумал — «безрукий», все както вдруг рухнуло в его голове: дорога, ожидание саней, удаль его, и он хорошо понял, к чему это, словно пропели ему конец.

Тогда вправо, совсем против столбиков, подле большой, нависшей над водой глыбы снега (с глыбы тусклой струйкой сыпался в воду снег) Богдан увидел селезня. Птица, уткнув под крыло голову, тихо покачивалась на воде. Сверху она была вся засыпана снегом и как бы походила на свою белую тень. Богдан изумленно потрогал веки — снег словно посинел.

— Цыпа... цыпа...— позвал он вдруг и сам удивился своему писклявому голосу. Не успел он позвать птицу и трех раз, как селезень встрепенулся, снег с него скатился, и он медленно поплыл прочь. Богдану стало обидно, зло, он даже почувствовал жар в веках,— так напряженно вглядывался он в крутящуюся синеву. А более всего ему было обидно то, что он мог вспомнить сразу, как кличут цыплят, а как кличут утят — он не

мог вспомнить. Селезень давно уже уплыл в снега, а Богдан все покрикивал: «Цыпа, цыпа»,— и, когда совсем обмерзли десны и ему пришлось замолчать, он вдруг почувствовал, что катиться в полынью не так страшно. Он убрал с коряжки затекшую ногу. И оказалось — скат не так уж скользок. Опять усилилась метель, и вскоре он начал думать, что селезень почудился ему и что нет такого селезня совсем, а было ему виденье перед смертью.

Снег пожелтел на минуту,— надо думать, закатывалось солнце. А потом зашипело еще сильнее; казалось, снег был теперь с мелкими градинками, — очень больно колол за ушами. Долго так сидел Богдан. Снегу намело вровень с плечами, перекатывался он по груди. Спине стало теплее, и Богдану не хотелось вставать, уходить. Он всунул пальцы в рукава, надвинул шапку на уши и полузакрыл глаза. И тогда ему показалось, что коряжка выскакивает из-под его ног. Он шевельнул ступней: что-то похожее на льдину качнулось подле его сапога. Он наклонился — было уже совсем темно, — и неподвижной холодной рукой он скорее почувствовал, чем ощупал, перья селезня. Птица отошла от его руки и поползла, скользнула вдоль сапога к сгибу ноги,— видно, ей хотелось, выбрать, где теплее. И Богдан вспомнил, как раньше сизое перо селезня чем-то напоминало ему венчик на лбу покойника. И огромная злость потрясла Богдана, он сунул руку за пазуху к ножу, но тут грудь его наполнилась каким-то кипящим теплом, тепло это хлынуло по рукам. В голенищах снег уже не таял, и не было ощущения, что портянки с ног разматывают по ниточке. Сугроб за его спиной почудился шире, тверже и чем-то напомнил баню. Небывалая доброта овладела всем Богданом.

— Ишь, черт,— сказал он шепотом и заботливо погладил селезня по крылу. Затем рука его спустилась к животу; живот у селезня был мокрый. Тогда только Богдан заметил, что селезень мелко дрожит и шея его бессильно падает на тыл Богдановой руки. — Полезай дальше, — прошептал Богдан и долго не убирал руки, пока селезень не согрелся и не взял голову под крыло.

Так человек и птица просидели всю ночь у полыньи. Вначале, когда Богдан перебирал затекающими ногами, селезень шарахался, а потом привык и только легонько

крякал, и это смешило Богдана. Под конец даже Богдан решил, что селезень выведен при птичнике из яиц дикой утки, может быть, даже и улетел из птичника. Под утро Богдан вздремнул и, засыпая, подумал уверенно и весело: «Не замерзну». И он, точно, не замерз. К утру из-за лесочка, из-за холма, словно он там спал всю ночь, хлынул в снеговину теплый весенний ветер. Ветер тронул Богдановы ресницы. Богдан вскочил и начал оттирать снегом руки. Три пальца не действовали, посинели слегка и стали необычно гладки. «Придется обрубить,— подумал он, — и на ногах, поди, придется обрубить». И оглянувшись, заметил он, что больше, выше всего снег на дороге, да и всегда весной, если идет крупный снег, больше всего наметает его на дорогу. Что ж тут позорного, если и заблудился. Тихий плеск послышался рядом — это селезень нырнул в полынью. Но он вскоре вынырнул, точно ему жалко было оставлять тепло и солнце, взглянул изумленно на человека и с громким криком уверенно и быстро поднялся вверх, прошелестел над леском и понесся на холм, навстречу весеннему ветру.

— Ишь, черт,— сказал любовно, глядя ему вслед, Богдан.

Отмороженные пальцы начинали ныть, но Богдану было легко переносить эту боль. Идя вдоль каймы занесенной снегом дороги, он думал уверенно, что если уж теперь драка выйдет, так конец-то теперь Степке будет, а не ему, Богдану. И было непонятно, как он мог бояться своего села,— оно лежало в снегах такое теплое, пахнущее хлебным дымом,— как он мог думать о смерти, бежать куда-то, кого-то зря, точно свою смерть, бить... Он не знал еще, что будет делать теперь, но веселая уверенность наполняла его все крепче и крепче. Так, улыбаясь неумелой улыбкой, прошел он вдоль села, стукнул в окно и тихо крикнул:

— Мамка, неси топор да рукотерку!

Положил руку на бревно, на котором кололи дрова, отрубил три пальца и, перетягивая полотенцем руку, сказал ласково матери:

— Теперь удача мне во всем, работать ли, еще ли что, а коли со Степкой резаться, — обязательно ему конец, мамка.

А матери было страшно слышать его ласковый голос, тошнота подступила к сердцу от снега, залитого кровью,

слезы текли у ней из глаз, а вытереть она их боялась почему-то. И так же ласково, в голос сыну, она спросила:

— Ливорвер, что ли, купил?

И, опять улыбаясь неумелой улыбкой, ответил ей ласково Богдан:

— А то как же... Не со слова же быть мне такому храброму.

1926

НОЧЬ

Любовь да тоска на крови стоят.

У Афоньки Петрова умер старший брат Филипп. Умер в первый день своей женитьбы, на свадебной кровати. А к свадьбе Филипп готовился долго, тесть его был состоятельным мельником, зятя брал к себе в дом и на хозяйство требовал много денег. Филипп мотался по волости, но волость была бедная, деньги не шли, и к тому же Глафира, его невеста, была близко — у самого сердца,— и тогда он ушел в город. Жил он там год с лишним, а когда вернулся, то ничего не мог рассказать, кроме того, что вывески там черные, с золотыми буквами,— может быть, потому, что у Глафиры под соломенными волосами цвели ржаные глаза. Пожалуй, так. Оттого и в те немногие часы, что приходились ему на сон в городе, его ноющее тело видело эти ржаные глаза. И вот накануне свадьбы добро свое он привез к тестю на собственной тройке с золоченой дугой и с бубенцами. Народ сбежался смотреть на Филиппа, мельник обнял его на крыльце, растроганный, со слезами на огромных, близко поставленных глазах — и немного пьяный. Позже приехали на таратайке Филипповы старики: Александр Ильич и Марья Егоровна, тоже пьяные и разговорчивые; приехал и Афонька — младший сын, конопатый, с растерянной походкой, в синем новом картузе и толстых пуховых перчатках. Все они сидели за столом обнявшись и неустанно хвастались. Старики Петровы говорили, что сын их Филипп упрямый и своего места в жизни добьется, а мельник хвастался своей красавицей дочерью и гулко на всю пятистенную избу кричал, что у Глафиры глаза — что твой колодец и что в молодости и он своими глазами десятки баб завораживал. А глаза у Глафиры действительно были как в ружье смертное дуплище, и она не подымала их на жениха. Филипп же сидел рядом, прямой, крепкий

и немного бледный, но спокойный, и только в сердце у него словно летала пчела и редко-редко чувствовалась игольчатая боль.

Запрягли опять тройку и поехали в Совет, хотя ходу было до Совета одна улица. Записались быстро, и председатель, тоже веселый и без шапки даже, сел с мельником рядом, и тогда весь поезд направился в церковь. А было начало весны,— ленты, которыми были убраны лошади, сыро мотались под ветром, через гривы коней ямщику виднелось ясное небо, и ямщик прогнал тройку по всем улицам села. Воробьи, выбиравшие из завалинок чистые соломинки, любовались на мчащийся поезд, мальчишки гнались за синими комьями грязи, летящими, как облака, из-под копыт и из-под колес. Мальчишки быстро устали, лица их стали напряженными, но они не могли отстать от поезда, от гремящих весенних бубенцов — и от пьяных лошадиных и человеческих глаз.

Свадьба, вернувшись на мельницу, опять стала пить, кричать песни и хвастаться. Председатель орал, что, если б ему волю, он бы перекричал любого попа,— и действительно, голос у него был необычайно дикий и пронзительный. Филипп сидел так же прямо и строго, он только под скатертью схватил невесту за руку и мял руку так, словно хотел выжать всю свою силу, накопленную за полтора года,— и не умел. Глафире было больно и приятно, рука немела, и немота переходила на сердце — и никак она не могла поднять ржаных глаз. Затем молодых проводили до кровати, и мельник долго и неумело плясал перед дочерью, неустанно подмигивая огромными и близко поставленными глазами. Гости совсем было расходились, но как-то замешкались у стола и вдруг опять начали пить и плясать. Уснувший было гармонист ударил по ладам, а после вышло и солнце и тоже ударило в пальцы гармониста, и гости свалились, кто куда мог. Матушка Филиппа, Марья Егоровна, пила мало, но ей было веселей и радостней всех, и особенно она была довольна, когда гости все свалились; тогда она, крестясь, обошла всех и накрыла шубами, кого могла. Афонька уснул во дворе, на телеге: она накрыла его двумя тулупами и еще пологом и с радостью подумала, что старость ее будет добрая и легкая и что младшему сыну — а был он пожиже Филиппа и не такой строгий — невесту надо выбрать веселей и свадьбу устроить еще лучше Филипповой, чтобы любовь была

крепче. Потом Марья Егоровна вернулась в избу, но спать ей не хотелось,— и вздумала она подоить коров. Она взяла подойник и вышла было в сени, но опять радость охватила ее, и она вернулась. Тихо, дабы не греметь, поставила она подойник среди объедков и разбитых тарелок на полу, подошла к дверям горницы, где спали молодые, и медленно перекрестила двери — и прослезилась и, прослезившись, опять перекрестила. Глухой стон послышался в это время за дверьми, и Марья Егоровна таким же голосом, каким она увещевала рожавших коров, проговорила:

— Ничего, мила, ничего... потерпи,— и медленно, подхватив подойник, пошла.

А на крыльце уже услышала она дикий вопль, и подойник задребезжал по ступенькам.

Выбежала в одной исподней растрепанная Глафира, упала старухе на плечо.

— Плоха, с Филиппом-то плоха! — крикнула она.

Старуха оглядела ее всю — и ласково прикрыла ее бедра своей шалью и затем ласково же сказала:

— Ничего, милая, пройдет, это у его от заботы.

Она взяла ковш воды, перекрестила его и пошла в горницу. А Филипп, такой же прямой и строгий, как всегда, лежал на кровати, и только лицо у него было такое, словно он удивился, что за все его муки и терпение он смог получить все-таки свою награду.

А после его хоронили, и с кладбища уже шли другими. Началось с того, что мельнику показалось — могила будто не так глубока, как нужно, что его и здесь хотят надуть. Он слазил и сам смерил могилу. А идя с кладбища по самым грязным местам, бормотал:

— Девку-то как охаял. Теперь по всей волости смех пойдет, разломана жиснь у девки...

А старику Петрову, шедшему рядом с ним, хотелось утешить его, и он не знал как, и стыдно было врать, что Филипп не дотронулся до жены.

— Ноне все быстро заживает,— сказал он — и сам испугался своих слов.

А по лицу Глафиры нельзя было понять, что она думает и даже знает ли, отчего умер Филипп, и только один Афонька, нечаянно встретивший ее в сенях, когда в избу вносили крышку гроба, увидел ее глаза и матовый влажный рот. Она остановилась у косяка и так провела рукой по глазам и рту, словно замыкала в себе на

всю жизнь ту радость, которую получила в одну ночь. Холодная роса упала на сердце Афоньки, и неожиданно, вбежав в избу, он закричал со слезливой завистью:

— Лучше б мне подохнуть!

Марья Егоровна посмотрела на него удивленно и раздельно, будто на весь мир, сказала:

— О, господи, жисть-то как переклубилась. И ты туда же.

На поминках, за блинами, отец Филиппа повел разговор, что тройку-то надо вернуть. Тогда мельник, как будто ожидавший такого разговора, закричал и даже ложкой стукнул:

— Что ж, позор на мою дочь трех лошадей не стоит?! На всю волость смех теперь пойдет, — колдун, мол, мельник и дочь колдунья. Кто ее теперь возьмет? Вековушей сдохнет, а то солдаты измусолят.

И неожиданно Глафира тряхнула головой и, обведя всех своими огромными ржаными, так же, как у отца, близко поставленными глазами, протяжно сказала:

— Видно, от бога так мне...— и не докончила, что ей суждено, и никто ее не переспросил.

Все же старик Петров, подпив, осмелел и начал торговаться и под конец выторговал у мельника одну лошадь из тройки, с упряжью, а деньги, внесенные Филиппом, мельник наотрез отказался вернуть. Выторгованную лошадь привязали к оглобле, она бочилась, не шла, а глаза у нее были такие же веселые, как и в день свадьбы.

В эти несколько дней в поле многое изменилось. На пригорках выступила зелень, земля пахла травой, и только в оврагах кое-где лежал конопатый, изгрызенный ветрами снег. Чуть заметный туман стоял над оврагами.

Сразу же старик Петров заговорил о посевах, что весна, надо думать, будет теплая. Слова у него были такие же, как и в прошлую весну, но теперь Афонька им не верил, и ему тяжело было их слушать.

В двух верстах от деревни дорога разветвлялась,— одна, поуже, шла в родное Афонькино село, другая, пошире и погрязней, вела к станции. Несколько подвод, груженных бревнами, уныло брели, лошади увязали по животы, и тощий мужичонка, необыкновенно искусно свистя кнутом, кружился подле обоза. Рыжая собака визжала — кто знает на что.

Афонька посмотрел на них, сердце его защемило еще больше, вспомнились опять Филиппова смерть и нездешней наполненные радостью и удовлетворением глаза Глафиры. Он спрыгнул с таратайки и сказал, что приедет домой по чугунке. И хотя до родного села железной дорогой было верст сорок, а проселками — все шестьдесят, а то и больше,— всегда удивлялись, если кто ехал чугункой. Удивился и теперь старик Петров, но ничего не сказал, а только покрепче натянул вожжи и бочившего Филиппова коня вытянул хворостиной.

Афонька так спешил на станцию, словно там его ждал поезд, а прибежал — и вдруг оказалось, что и спешить-то не стоило, да и, пожалуй, не стоило ехать чугункой. На станции курили мужики, привезшие бревна; два солдата, возвращавшиеся с побывки в казарму, читали вслух «Крестьянскую газету» и непрестанно прерывали чтение разными деревенскими новостями. Афоньку в солдаты не брали, грудью как-то не выходил, хотя с лица и был ловок — рот лишь был очень пухлый и длинный. Афонька позавидовал веселым солдатам, попросил у них кусок газеты, но разговориться не мог. Окна, грязные и холодные, еле пропускали свет — и скоро стало смеркаться; до поезда оставалось четыре часа. Сторож, гремя зажатыми в одной руке ключами, стал подметать пол.

— Подбери ноги-то! — неожиданно сердито закричал он Афоньке.

И тогда Афонька, махая газетой, тоже закричал и потребовал составления протокола. Сначала и мужики и красноармейцы поглядели на него с интересом: думали — или пьяный, или будет драться, а потом отвернулись как-то обидно и заговорили о своем. Ссора несколько ободрила его, но вскоре опять стало скучно, и начало казаться, что сторож, стоявший у печки в грязном тулупе и с грязной метлой в руке, выдумывает такую каверзу, которая позволит ему на всю жизнь опозорить Афоньку. И когда сторож вдруг во все горло, так, что газета выпала из рук красноармейца, заорал, что поезд опаздывает на три часа, — Афоньке стало непереносно муторно, и он вышел, сильно прихлопнув громадную дверь. Дул сырой ветер, мелкими каплями неумелого дождя брызгая в косой фонарь подле станционного колокола. Особенная, пахнущая керосином станционная скользящая слизь блестела под ногами, и слов-

но отражалась в ней вся мерзость сегодняшнего дня — весь этот хриплый шум дождя, простуженный храп железа на крыше, чахоточный свист проволок. Сразу же за станцией, по обе стороны полотна, начинался лес — сосновый, высокий, но теперь тоже какой-то чужой, без гула и запаха, словно укутанный тиной. Афонька повернул обратно. И тогда-то к станции, медленно и со скрипом, подкатил товарный поезд. Впереди шли теплушки, а в конце темнели широким треугольником две платформы, груженные каменным углем. И то, что уголь везли, как песок, не прикрывая и без стенок,— очень удивило Афоньку. Тот же ругательный сторож, теперь уже в башлыке и рукавицах, прошел мимо всех теплушек, освещая все площадки фонарем. Платформы с углем он не стал осматривать. Афонька обежал кругом паровоза, лысый машинист быстро тянул папироску за папироской, словно воровал огонь. Афонька, ухватившись за плаху, поставленную на ребро и служившую стенкой, прыгнул на уголь. Папироска машиниста, до этого мелькавшая у него в глазах, вдруг потухла. Он вспомнил, что на нем новая стеженая, крытая бобриком серая тужурка, а уголь пачкается. Поезд качнул его плечи вперед. Уголь заскрипел под плахой, за которую он держался. Оказалось, что сидеть очень неловко, доска шаталась, тело скатывалось, а уголь, мелкий и сырой, лез в рукава, за голенища, в носу щекотало, и никак не удавалось нащупать большую глыбу угля, чтобы ухватиться. Вскоре уголь стал подкатываться под него, и казалось, что Афонька будет сидеть сейчас выше плахи, платформа как-нибудь шатнется по-особому... Афонька со всей силой ухватился за плаху.

Золотая кукла искр прыгала в темном небе, — выпрыгнет и погаснет. Колеса с грохотом и шипом гнались за куклой, откосы отвечали свистом вдруг проснувшихся сосен, и когда однажды Афонька наклонился,— рельсы блеснули, как рога. А доска шаталась все больше и больше, холодела и скользила из рук. Попробовал было Афонька обнять ногами доску, но она совсем скрепилась, и тогда он, не помня себя, рукой и ногой начал разгребать уголь. Попалась острая, чем-то напоминавшая льдину, глыба угля. Но здесь золотую куклу искр остановил разъезд, и начальник разъезда попросил у машиниста папироску. Афонька хотел было спрыгнуть, но вспомнил свою выпачканную углем тужурку —

засмеют, и здесь ему пришло в голову, что наверху, на угле, ему будет легче держаться. Он полез. Машинист кинул докуренную папироску, колеса подхватили ее, буфера им одобрительно подлязгнули, и теплушки опять понеслись вперед.

Вскоре Афонька разглядел, что на угле, в аршине от него, сидит еще человек. Когда Афонька, рассматривая его, наклонился, человек сказал что-то. Афонька не разобрал — что, но понял — какую-то тоскливую жалобу. Афонька, прикрывая ладонью, зажег спичку и поднес ее к лицу человека. Он увидел большие добрые глаза, костлявое старушечье лицо и боязливо сжатый рот. Афонька с веселой тоской крикнул:

— Бабка, куда едешь?

И от его крика старуха боязливо оправила за плечами котомку. Она сидела, охватив валенками большой кусок угля. Места наверху было мало, к тому же под тяжестью двух человек начал сыпаться мелкий уголь, и скоро Афоньке пришлось притиснуться плечом к старухе. Она легонько, варежкой, должно быть, тронула его за бок, а затем осмелела и тронула сильней. Афонька хотел было выбраниться, но в это время свистнул паровоз, а после свистка браниться не хотелось, да и старуха затихла, а вскоре котомкой своей легонько прислонилась к Афоньке. Котомка была жесткая, как будто деревянная, наверное, с сухарями,— и Афонька вспомнил, что словно бы на поминках брата он видал эту старуху. И снова зависть и непонятное томление охватили его — и он спросил:

— Много на Филипповых поминках-то наскребла?

Опять старуха пробурчала что-то непонятное и жалобное.

Вскоре спина у Афоньки заныла, сидеть вдвоем было очень неудобно, и когда поезд задержался на разъезде, Афонька подумал было перебежать на другую платформу, но ведь и там могли сидеть люди — в темноте соседняя платформа походила на развороченный стог сена. К тому же с фонарями прошли мимо кондуктора, разговаривавшие о непромокаемых плащах. Один из них нехотя сказал что-то о сыплющемся с платформы угле, и тогда из тьмы вдруг раздался злой и басистый голос: «Складывают тоже, лодыри!» В голосе было такое презрение и такая власть, что давно и кондуктора прошли,

давно уже двинулся поезд,— Афонька же все вздрагивал и недовольно сопел.

— Тебе не здесь слазить, бабка? — спросил он шепотом.

Старуха шатнулась вся, и виски его вдруг похолодели. Так с похолодевшими и тяжелыми висками он сидел долго, пока не понял, что поезд идет очень быстро, что все время он думал о старухе. «Вот,— думал Афонька,— если толкнуть ее слегка в спину, в ее жесткий горб, а затем поддать еще в шею,— старуха метнется под откос, и ее место освободится. А то может и она поддать». Но он хорошо понимал, что старуха его не тронет, но все же думать об этом было приятно, и не было мыслей о гордой Филипповой смерти. И старуха, словно понимая его, зашевелилась, и рука ее в легкой варежке тихо дотронулась до локтя Афоньки. Афонька оттолкнул ее, и горб ее затрясся подле его плеча. Засосало сердце — и он стал считать до десяти. Но стук колес перебил его счет и томление, и тут сосущая сердце злоба нахлынула на него. Синяя широкая туча вдруг обозначилась в небе. Он снова поймал свой ненужный счет. «Шесть, семь»,— пробормотал он и стал шарить ногой такое место, чтобы оттуда, упершись, можно было возможно ловчее ударить старуху. На мгновение стук колес опять раздавил его мысли, но вскоре шумящая теплота злости опять убрала этот стук. Нога его уже было вытянулась, кулак сжался, но тут он почувствовал, что ноги его, слегка замерзшие у колен, были охвачены варежками — и горб старухи очутился у его груди. Старуха, взвизгивая, терлась лицом о бобриковую его тужурку.

— Бабка, ты что ж, спятила, что ли!..— сказал он, и голос его был такой, что он сам испугался. Он вспомнил, что тужурка будет выпачкана, и стал оттягивать руки старухи, но они с бешеной силой охватывали его, и одна из них зацепилась за карман, и ее-то трудней всего было оторвать, к тому же (стороной) подумалось, что старуха испортит карман. И он начал ругаться, и тогда злость скоро схлынула с него; но старуха все не выпускала кармана, и теперь он уже не стал думать о том, почему нужно свалить под откос старуху, он стал думать — как бы ее свалить, чтоб вместе с ней не упасть самому. И еще уверенность, что, если он выпустит старуху, она его столкнет,— эта уверенность охватывала его

все более и более. А старуха становилась все ловчее и ловчее, и уже руки ее ворочали теперь его тело, как квашню. И тут-то он вспомнил, что последние ночи он почти не спал — все утешал мать, да и за отцом нужно было следить, и самого замучили непонятные мысли. И вчера и сегодня он почти не ел,— у него закружилась голова, ослабли ноги, и он упал всем телом на старуху. Теперь она вся очутилась под ним, он лежал грудью на ее горбу, но все же рука по-прежнему крепко держала его карман.

— Пусти руку, карга! — закричал он.

— Не пущу,— вдруг хрипло и раздельно проговорила старуха.

И тогда стал он плевать ей на горб и на шаль, и чем больше он плевался, тем харчки его растягивались все больше и больше — словно полз из его рта сплошной сладковато-горький ревень. Наконец рукам стало больно, шарф сполз на рот, да и дышать было тяжело. Но тут мелькнул семафор, поезд подошел к станции, тускло заскрипели двери. Старуха опустила руки и скатилась вниз. Афонька растер тело, сказал что-то очень скабрезное и обидное про старуху, спрыгнул. Это была та станция, куда он должен был доехать,— до его села оставалось еще верст пять. У станционного фонаря он осмотрел тужурку; уголь не так выпачкал ее, как он предполагал,— он легко отчистил ее снегом. Афонька, чтобы не встретиться со старухой, не зашел на станцию, а, обойдя здание кругом, направился в свое село.

На другой день было воскресенье — и опять поминки. Собрались родственники, долго жалели Филиппа и говорили, что все это порча от войны, что на войне у всех солдат снарядами сердца отбиты. И никто ни слова не сказал о Глафире, а когда все ушли, отец снял с деревянного крючка зачем-то узду и, держа ее в руке, как подарок, сказал Афоньке:

— Как доехал-то?

— Хорошо доехал,— ответил Афонька раздраженно.

По голосу отца можно было понять, что он придумал какую-то ловкую мысль и что, ответив раздраженно, Афонька тем самым согласился с отцом. Так оно и было. Отец хлопнул его уздой по плечу и сказал:

— Вот это я и говорю. Можно и без суда обойтись. Скажем, што Филипп-то с бабой вовсе и не спал, не тронувши ее, значит. Законы нонче что редька, — всякий

за хвост держит. Стал, значит, Филипп раздеваться,— ну, тут с ним и случилось. Ее ведь раздетой-то никто, окромя нашей старухи, и не видал... выходит, какая она ему жена?.. Однако по волости может пройти — ведьма, всякие разговоры... Позору сколь мельнику. Вот я и говорю: возьмет он тебя, Афонька, в зятья. Старику жить недолго, все на ноги жалуется, а домище-то пятистенный, да и к нему мельница о скольких поставах...

— Уж и мельница,— льстиво сказала мать. Ей казалось, что, может, наладится прежняя жизнь, и если Афонька уйдет к Глафире, то Филипп словно бы вернется. Афонька же молча взял уздечку из рук отца и повесил ее на крюк.

Отец подождал, думая, что сын скажет что-нибудь, но Афонька молчал, и отец подумал, что всегда-то Афонька хоть и был шальной, но послушный. Подумав так, он решил, что с лошадьми Филиппа улажено. Ушел. Мать прошла к окну, на лавку, и, перебирая руками подвернувшееся полотенце и, видимо, стараясь загладить неясную еще ей самой вину, стала что-то рассказывать. Афонька все еще стоял у крюка и не слушал, что говорит ему мать. Ему было обидно, что так скоро ушел отец, не сомневаясь в согласии сына. Афонька и сам знал, что не откажется, и не мог понять — почему. Знал, что ляжет в кровать рядом с пустыми, выпитыми Филиппом глазами и будет виться голодным псом вокруг ее тела всю свою жизнь, и на долгую жизнь хватит Афонькина сердца. Сердце у Афоньки не то что у брата... «Выдержит»,— презрительно мелькнуло у него в голове. И Глафире уйти некуда, так и она останется подле Афоньки,— с ним и без него,— будет терпеть и ругань, и побои, и темные осенние ночи...

— Ты ето про кого? — спросил он вдруг, вслушиваясь.

— А тут, Афонюшка, нищая на нашем краю показалась, жисть свою всю нам со дня рожденья рассказывала... такая жисть — все утро просидели, и отойти от нищей нельзя. Глаза-то у ней хоть и старые, а большие да добрые. Страдаю, грит, страдаю, а тут откуда ни возьмись добрый человек появится и добрым поступком пригреет. Так и тебе Глафиру пригреть надо. Нонче, сказывает, едет она на углях, на площадке, значит, а кондуктор мимо шел, позвал с углей, в свое помещенье провел,

чаем угостил и еще полтинник на дорогу дал. Думала, грит, земляк, а он совсем из других краев, просто ласковая душа.

— Ласковая, говоришь, душа? С горбом она?

— Кто с горбом?

— Ну, старуха-то.

— Известно, котомка, либо што в той котомке...

Афонька расхохотался, сразу стало веселей, и мир словно полегчал, словно оперился. Афонька похлопал ладонью по уздечке, переобулся,— походка будто изменилась. Тут пришли парни и стали звать Афоньку на вечерку. До ночи было еще далеко, но надо было успеть достать водки, с гармонистом сговориться и с девками. Водки достали быстро, слегка выпили. Пришел гармонист с новой, необычайно звонкой гармошкой. Афонька позвал парней на улицу. Парни, обнявшись и долго толкаясь в сенях, вышли.

День был яркий, козырьки фуражек горели, словно зеркала. Село их стояло на пригорке и было такое веселое и светлое, словно нарадоваться не могло, что забралось на такую вышину, откуда столько земли видно, что во всю жизнь пахать — не перепахать, сеять — не пересеять.

Подле амбаров парнишки играли в бабки, и бабки блестели в воздухе, словно прыгающие рыбы.

— Женюсь, ребята, угощаю! — вдруг закричал Афонька, и тогда развеселились еще больше.

Парни загудели и, предвидя выпивку, начали угадывать невесту, льстиво выбирая самых лучших девок в волости. И никто опять ни слова не сказал о Глафире. И то, что никто не сказал ни слова о Глафире, наполнило душу Афоньки страшной и непередаваемо веселой тревогой. Он подождал, когда назвали самую красивую и богатую невесту — Аннушку Боленькову. Тогда он вскрикнул:

— А может, ее!.. Ставлю четверть! — И парни пошли к шинкарке.

Переступая порог шинка, Афонька запнулся, и вновь ему стало непередаваемо страшно и весело. Шинкарки Любки не застали дома; был ее племянник, тощий Митя, прозванный «Архангелом». Говорили, что шинкарка жила с ним, делая над ним городские любовные фокусы, которым она научилась, когда служила кухаркой. Митя

имел сухие, словно высосанные глаза и говорил, сильно шепелявя. Он дал парням только бутылку водки, и деньги спрятал, как баба, в голенище, за чулок. Другую бутылку он не посмел выдать без шинкарки и на вопросы парней ответил, что Любка ушла к школьной сторожихе, а у той сидит какая-то нищая. «Афонские истории рассказывает»,— добавил он и как-то нехорошо облизнулся. Парни говорили, что надо обождать, а от выпитой водки у Афоньки еще больше заныло сердце, и он позвал парней к школьной сторожихе. И вот парни, звеня гармошкой, шли за Афонькой, и солнце за это время, казалось, стало еще больше и низко висело над домами, занимая почти все небо. Сторожиха же, шинкарка Любка и неизвестная нищая уже перешли в другой дом — к вдове Параскеве. Афонька постучал в окно и поманил пальцем — и он знал, кто выйдет. И верно — вышла вчерашняя нищая. Она зевнула, ласково посмотрела на парней. Десны у ней были розовые и в мягких хлебных крошках. Афонька подумал, что она на него не посмотрит, но она взглянула — и не узнала.

— Шинкарку Любку нам подавай! — закричал Афонька.

Но и теперь старуха не узнала его голоса; она молча, все так же ласково улыбаясь, щелкнула щеколдой и ушла.

Вскоре появилась шинкарка Любка — грудастая, толстогубая — и, так как люди все были свои, она стала говорить, что водки в городе достать стало трудно, она устала от такой тяжелой работы; видимо, она хотела надбавки или просто ломалась перед парнями. И опять Афонька закричал:

— Угощаю, плачу, бери все, что хочешь!

И на последние его слова из сеней показалась нищая. Она зорко посмотрела на широко расставленные ноги Афоньки — щедрость была во всей его фигуре — и, локтем поправляя за плечами несуществующую суму, спустилась с крыльца. Она рядом стояла с ним и все еще не могла узнать. Тогда Афонька наклонился к ней и крикнул ей в лицо:

— Че-ем, бабка, живешь?!

И вдруг ласковые глаза старухи слиплись, она отшатнулась, и рука ее сделала такой жест, словно она хватала Афоньку за карман. Она открыла было ввалившиеся губы, но здесь Афонька, неожиданно для себя,

ударил ее со всего размаха в рот. Старуха качнулась головой легонько влево, но Афонька ударил ее слева, в затылок, а когда она упала на землю, он пхнул ее в висок каблуком и отошел. Самый пьяный из парней взвизгнул, хватил кулаком старуху в бок, но потом отскочил и бессмысленно уставился на Афоньку. Парни закричали было: «Так ей и надо!» — хотя никто не знал, почему ей так и надо, но немного спустя парни вгляделись в старуху. Она быстро-быстро сучила ногами. Парни кинулись на Афоньку. Он не отбивался, а только протяжно мычал и, когда его начали бить, защищал руками лицо. Били его долго, неумело и как-то растерянно. Сбежалось много мужиков, и никто не хотел вступиться за него, да никто и не подзуживал парней. Когда пришел старик Петров, Афоньку отпустили; он лежал, окровавленный и грязный, неподалеку от старухи, сразу ставшей какой-то чистой,— ей уже кто-то сложил крестом руки. Старик Петров постоял, погладил тонкую бороду, хотел что-то сказать — и не мог. Попробовал поднять сына за руки — и тоже не мог. Тогда мужики не спеша, молча взяли Афоньку и повели в холодную.

Утром его увезли в город. Там, до суда, он сидел, сколько нужно, в тюрьме, а на суде, когда судья — бойкий и самоуверенный человек, сразу почему-то решивший, что Афонька конокрад, картежник и пьяница, сказал: «Подсудимый, ваше последнее слово»,— Афонька встал, хотел было рассказать, как он ехал с похорон брата на угле, но не мог вспомнить названия той длинной телеги, на которой везли уголь. Он растерялся, и многие слова перепутались в его голове. Он начал и долго говорил про каких-то кондукторов и врал неумело и зря. Афонька оглядывался, топтался. Никто, кроме старика Петрова, не приехал на суд, да и старику хотелось пожаловаться, что старуха все хворает, хозяйство сыплется, даже Филиппова лошадь, возвращенная мельником, хромает. Сам мельник пьет, Глафира ходит худая, оборванная и богомольная... Старик глядел на него укоризненными глазами. Судья морщился и думал, что Афонька, видимо, убил старуху, дабы скрыть кое-какие грешки, которые она могла знать.

— Ничего больше не имеете сказать? — спросил судья бесстрастно и сам остался доволен своим голосом.

— Ничего,— ответил Афонька, и тогда-то только пришло ему в голову, что он людям понятного сказать ничего не может,— и он визгливо, по-ребячески, заплакал. Отец тоже заплакал, а суд ушел совещаться. Суд вернулся быстро. У Афоньки были опять сухие и тусклые глаза, он долго и пристально смотрел на отца, а поклонился судье — низко, как отцу не кланялся во всю жизнь, косо ухмыльнулся, и его увели в тюрьму отсиживать положенный ему срок.

1926

НА ПОКОЙ

Ермолай Григорьич на работе был строг, часто упрекающе вскрикивал, и упреки его были почему-то особенно обидны. Его желтые зеницы ехидно смотрели вбок, в сторону, словно там, за плечами человека, он видел и знал самое плохое, о котором ему не только говорить, но и думать было противно. И когда вдруг оказалось, что фабрика убыточна и выделывает не то, что необходимо республике, и что ее нужно закрыть,— сотоварищи обрадовались, что наконец-то Ермолай Григорьич попал в беду. Но его желтые глаза по-прежнему уверенно и ехидно блестели под круглыми, какими-то косматыми бровями, и они поверили, что Ермолай Григорьич всегда справедлив и строгость его от большого знания своего места на земле, и они разозлились так, что когда выходили из конторы и расставались, может быть, навсегда, то никто не подал руки Ермолаю Григорьичу. Ермолай Григорьич скосил крепкие щеки, желтые глаза его последний раз увидали за плечами товарищей то, чего никто не видал и не знал, и он бодро вышел впереди всех. Но сердце у него ныло, и казалось, закрыли не всю фабрику, а выгнали его одного.

Он прошел два квартала вдоль фабричной красной стены к трамвайной остановке. Подле светло-синей, быстро на глазах высыхающей лужи стояла небольшая очередь. Он гулким голосом, крепко выходящим из его выпуклой пятидесятилетней груди, спросил, кто последний, и так уверенно стал позади какого-то чахоточного человека в грязном парусиновом пальто, что человек сразу затосковал, да так и, мучаясь, не смог понять, что с ним происходит. И когда исшарканная трамвайная подножка уже была подле его колена, Ермолай Григорьич догадался, что он сбирается ехать к своим сыновьям. И он так уверенно отошел от трамвая, что никто

не подумал о его ошибке, а всем было ясно — ему не понравился вагон. Кондратий и Евдоким, его сыновья, работали на другой фабрике, кондитерской, кочегарами. Кондратий был лыс, выше почти на голову Евдокима, говорил раздельным тенорком, а Евдоким неумело хрипел, и все же и посторонним и даже отцу казалось, что братья всегда говорят в голос, может быть, потому, что всегда говорили о хозяйстве, деньги до последней копейки посылали в деревню, сами впроголодь жили в какой-то провонявшей селедкой и мочой кухнишке и к отцу в его опрятную комнатку ходить не любили. Каждый вечер они начинали меж собой разговор о сбруе,— им хотелось иметь кожаную сбрую с ременными вожжами,— и всем чудилось, что мечтает о сбруе один какой-то очень недовольный голос. Изредка они брали на ночь девку, уговариваясь, что спать с ней будут двое, и, хватая девку за ляжку, лысый Кондратий говорил: «скидывай сбрую»,— и девка почему-то всегда была ими довольна, и, уходя, она старалась думать, что спала с одним каким-то необычайно сильным человеком. Поспав с девкой,— это чаще всего происходило в субботу,— братья шли в гости к отцу, и всегда они встречали там кипящий самовар на столе, связку пухлых баранок, полбутылки водки и в окне довольного снегиря. Отец весело и снисходительно расспрашивал их о деревне, хвалил деревенскую жизнь, легонько трогал пальцем клетку, говорил: «Как птицы живете»,—и заглядывал далеко куда-то за плечи сыновьям. Но сам он никогда не высказывал желания поехать в деревню, и, расставаясь, все трое чувствовали, что между ними многое не договорено,— и тогда они враз все трое улыбались и хлопали суетливо друг друга по плечу.

Были у него еще две дочери — Василиса и Вера, жившие в деревне и правившие хозяйством вместе с женой Кондратия, Анной. О дочерях Ермолай Григорьич вспоминал с нежностью: они были беспечны, певуньи, а женихи как-то не шли к ним, — и, что им суждено остаться в девках, тоже трогало нежностью сердце Ермолая Григорьича. Но с сыновьями о девках Ермолай Григорьич не говорил, и, когда сыновья уезжали в отпуск, он давал им по ситцевому отрезу и хмуро бормотал: «Ублажите... пущай по кофте сошьют, глядишь — и хватят кого за душу».

Весь день он был доволен, что не пошел к сыновьям, покрякивая, пил чай и сам не заметил, что снегирю три раза насыпал зерна в кормушку. Проснулся он рано, легкий весенний морозец чуть тронул окно; снегирь играл перьями в розоватом и блестящем тумане света. Трамваи звенели так, словно неслись в небо. Сидевший на тополе грач, увидав проходившего мимо Ермолая Григорьича, радостно тряхнул перьями, и показалось, что весь синий тополь тоже задрожал. Вчера, за чаем, Ермолай Григорьич выбирал, на какой бы ему завод пристроиться: он не любил людных зданий и завод выбирал подальше от города и почему-то с коротким названием, может быть, потому, что фабрика, с которой его убрали, имела огромную вывеску в добрую сотню букв и при открытии ее говорилось много речей и посылались длинные привстственные телеграммы. И вот Ермолай Григорьич направился на выбранный им вчера завод. Знакомые на заводе долго жали ему руку и, оглядываясь на дверь — словно их кликал кто, сказали: «Что поделаешь, кризис... у всех...» Дверь была обита клеенкой, неимоверное количество ржавых гвоздей в бешеном беспорядке гнездились на клеенке. Ермолай Григорьич, ласково улыбнувшись, ушел. И чем больше он ходил от завода к заводу, от фабрики к фабрике, от окошечка биржи к другому, тем все больше он приближался к людным местам и тем все обиднее разговаривали с ним люди. Сразу во всем: в разговорах, в поступках людей — увидал он обидный до слез беспорядок и, вспоминая многие резолюции, за которые он голосовал в ячейке, он замечал чепуху и непонятное в этом, казалось бы, налаженном деле.

Явилась нужда пойти в пивную со знакомыми, один из которых, угрюмый, с кривыми грязными пальцами, одетый в парусиновый пиджак поверх грубой толстовки, обещал ему поденную работу. Ермолай Григорьич поставил дюжину пива, и сразу после двух бутылок знакомый развеселился, начал расхваливать себя, рот у него размок, и можно было ясно понять, что зря ему поставлено пиво. В другое время Ермолай Григорьич прогрохотал бы тяжелыми своими сапогами и ушел бы, а тут он вдруг почувствовал себя усталым, веки его с трудом подымались, и в бровях кололо так, словно веки были стеклянные.

— Цыпленок-то вот дважды родится, а ни однажды не крестится,— сказал он и пристально, словно удивляясь чему-то, взглянул в пивную бутылку.

Все посмотрели на него вопросительно, а он тихо расставил крепкие ноги и между ног опустил руки, и все с какой-то робостью увидали, что руки его почти хватают до полу.

— А я вот дважды крестился. Сперва в Христа, а потом в коммунизму. Под крестом-то на шапке я всю Галицию проходил, до немца через все болота докатывался, а из-за коммунизмы и на Украине и на Колчака... много скитанья принял.

— Ты к чему поешь-то? — весело спросил хмурый знакомый, играя грязными пальцами.

— А к тому, что спокойствия, а выходит, и меня — не рождалось еще!

— Найдешь, найдешь работу, не тоскуй.

Между столиками стояли сделанные из фанеры пальмы. Пиво пылало желтым солнцем. Ермолаю Григорьичу до головной боли было непереносно смотреть на эти пальмы.

— Я в Закавказье не на таких пальмах кашу варил, — вдруг, со злобой глядя на угрюмого знакомого, сказал он, — там пальмы... в обхват...

— И верю, верю,— напряженно прикрывая рот грязными пальцами, испуганно ответил ему знакомый.— Ты пиво пей. Говорю, будет тебе работа!

Но Ермолай Григорьич взял шапку, постоял: никто не сказал, чтоб он платил за пиво, и он грузно вышел. Ложась спать, он подумал, что завтра встанет бодрый и уверенный, дабы искать работу, но поутру усталость еще более овладела им. Он даже не застегнул пуговиц на рубашке, и неприятно было чувствовать голую, казалось — одряхлевшую шею. Вспомнилась вчерашняя выпивка, и мысль опять вернулась к скитаньям, и он вспомнил, как он вступил в партию. Случилось это накануне сражения с каппелевцами, когда все думали, что полку нужно сдаться. Военком воскликнул, указывая на него: «Товарищи, учитесь смелости у Тумакова!» И сто одиннадцать человек в ту же минуту пожелали вступить в партию. Каппелевцев разгромили, и приказом по полку была отмечена выдающаяся храбрость тов. Ермолая Тумакова. Потом пришло на ум, как на Урале, на хозяйственном фронте, дивизия заготовляла дрова. Должен

был проехать нарком. Красноармейцы десять верст, прямо через снега, шли к рельсам для того, чтобы прокричать мчащемуся мимо поезду «ура», и Тумаков пришел первым. А теперь усталость (что как тень лежит на воде и не тонет) — усталость овладела им, и он чувствовал себя стариком. Ему захотелось посмотреть на себя в зеркало, но и зеркала, оказалось, он не имел. Последний раз, перед отъездом на фронт, жена подарила ему маленькое зеркальце в ладонь величиной. Он разбил его случайно прикладом и, помнится, пошутил, что с бабой-то видно, плохо, а баба почти в те дни и умерла от тифа. Вспомнив и зеркало, и терпеливую старуху, он вспомнил и свое хозяйство, которое он не видал лет восемь,— и тогда он направился к сыновьям.

Сыновья, как оказалось, уже знали, что фабрика закрылась и что отец не может найти работы.

— Деньги-то заместо пропивок надо было б в деревню посылать,— сказал Кондратий и самодовольно погладил лысую голову.

— Барин,— подхватил Евдоким,— хамунист, вояка...

Сыновья держали себя заметно развязнее, и когда Ермолай Григорьич сказал, что он устал и ему пора на покой, сыновья промолчали. Серая кошка с гноящимися глазами развязно прошла по вонючему полу кухни. Ермолай Григорьич хотел было прикрикнуть на сыновей, но как-то получилось, что он утомленно сказал им, что дом его и скотина им не отписана. Сыновья, видимо, испугались, хотя бояться им было нечего, и вот, побродив без толку еще неделю по городу, Ермолай Григорьич уехал в деревню.

В Волгу врывалась речонка, желтая, бойкая, и бойкие рыбешки с красными крылышками, словно обгоняя струи, выпрыгивали из воды. Речушка же, врываясь в Волгу, пересекала ее прямо до противоположного берега, и казалось, что через Волгу лежит свежий сосновый горбуль. На песчаных холмах синели избы деревни под веселым названием Тоша. Ласковые холмы неустанно кружили вкруг деревни. Прыгали по ним с веселым пчелиным звоном зеленые хлеба. Церкви блистали среди рощ, и, казалось, Волга шла под колокольный звон.

Тело к ухабам сразу привыкло, но Ермолаю Григорьичу казалось, что сердце вздрагивает у него от толчков телеги. Ермолай Григорьич держался одной рукой за те-

легу, а другой прикрывал глаза от солнца, хотя солнце было тихое. Когда вдали, с холма, перед ним блеснула Волга и скрылась, легкий страх охватил его. И чем более он ощущал звенящую тишину полей, чем более сливались перед ним стоявшие вначале в одиночку колосья,— тем сильнее и увереннее отягощал его страх. Ему не то что казалось, что его не допустят до околицы, но не было даже уверенности, что эта родная ему околица есть. Медленно и как-то боязливо отвечая его мыслям, тряслась телега. И вот вместо оврага, по которому когда-то тек высыхающий летом ручей, он увидал громадину воды. Новая мельница, вся в ласковом пушке пакли, как хвост распустила за собой большой пруд, усеянный кувшинками.

— Общество-то экую сляпало,— с гордостью сказал возница, и от его немудрых слов Ермолая Григорьича всего потрясло, и даже скулы заныли.

Чумазый карапуз медленно распахнул перед ним жердевые ворота. Ермолай Григорьич кинул ему две копейки. Карапуз медленно, не спеша, поднял их и с достоинством пошел к дому. Собак не встречалось, и Ермолаю Григорьичу смутно подумалось, что, забреши сейчас собака, он, пожалуй, повернул бы обратно. Когда телега остановилась у его дома, он несколько раз снял и надел картуз и без нужды сказал вознице:

— Домище-то какой я сыновьям оставляю! Из-за такого домища меня и столетнего не выгонят.

Но в локтях была обидная дрожь; входя в сени, Ермолай Григорьич чувствовал, что теряет походку. В сенях пахло мокрой кожей. Сундук, который он купил лет двадцать назад на ярмарке, был прикрыт незнакомым ему половиком с наглым серым узором по желтому полю. Он скинул половик и присел. Ноги его крепко упирались в покосившиеся половицы пола, а руки беспокойно бегали по пиджаку. Вошел возница и, удивленно глядя на него, обидно спросил:

— Деньги-то сейчас платить будешь али ждать придется?

Здесь из кухни прибежали дочери. Они были в заплатанных кофтах, постаревшие, с надтреснутыми голосами. Они распахнули дверь в горницу, и Василиса робко спросила его:

— Иконы-то сейчас снимать, тятя, иль обождешь?

И тогда Ермолай Григорьич бодро встал с сундука, обнял дочерей. Отдал картуз и драповое пальто вознице и сказал:

— Вез-то ты хоть плохо, а все-таки заходи, чаю выпьешь.

За чаем он был немного смущенный и несколько раз говорил вознице:

— Дочери-то каковы... хорошие дочери...

Возница, корявый, и запуганный, и тоскующий мужик, ничего не находя в девках хорошего, вздрагивая от его благодарного голоса и сам в то же время чувствуя какую-то непонятную благодарность, торопливо поддакивал:

— Эх, да кабы мне таких обходительных дочерьев!

После чаю Ермолай Григорьич, хотя ему и не хотелось, лег соснуть. Он прикрылся толстым одеялом и с тихой благодарностью слушал, как дочери его ходили на цыпочках по горнице и как Вера уронила кусок хлеба, а Василиса прикрикнула на нее и тихо ворчала потом. Заснуть ему так и не удалось; он полежал час-другой, придумывая, чем бы ему теперь заняться, затем встал, умылся, причесал голову и вышел раздавать дочерям подарки. Дочери отмахивались, говорили, что напрасно, им ничего не нужно, а им действительно ничего не нужно было, а Ермолаю Григорьичу все казалось, что он мало привез.

— По кольцу бы надо,— сказал он, ухмыляясь, и тогда вдруг сестры спросили о братьях.

— Живут,— угрюмо ответил Ермолай Григорьич и ничего не добавил.

Под вечер, когда нагретая солнцем лавочка, на которой сидел Ермолай Григорьич, охладилась и он лениво вложил руки в карманы,— с базара приехала жена Кондратия, Анна. Кондратий женился на ней, когда отец воевал на Украине, в город ее не привозил, и Ермолаю Григорьичу не доводилось ее видать. Она вошла, легко неся в руках жирную баранью ляжку с прилипшими травинками. Переступая порог, хотя дверь была и высокая, она, видимо, привыкнув к низким дверям, наклонила голову, и оттого ее высокая грудь прикрыла плотскими тенями ее нежное, чуть-чуть широкое лицо, убранное легкими волосами. Ермолаю Григорьичу она поклонилась низко, в пояс, и голос у нее оказался такой же, какой некогда был у Веры и Василисы. Да и весе-

лой походкой, беззаботными руками она напомнила ему дочерей, но только расцветших, удовлетворенных, таких, какими они не будут никогда. И легкая грусть овладела им.

— Детей-то нету? — спросил он.

— Не дает бог,— тихо ответила Анна.

Ермолай рассмеялся на ее тихий, какой-то виноватый ответ.

— Муж редко бывает.— И она, будто поняв его мысли, вдруг густо, всем лицом вспыхнула. И тогда Ермолая Григорьича, помимо благодарности, охватила такая беспричинная радость, какой он не чувствовал давно. Ему не захотелось есть, и он ел, дабы не огорчать дочерей, и сам умилялся этим.

— Баню истопить на завтра? — тихо спросила Анна, видимо, не имея силы отделаться от нахлынувших мыслей.

— А истопи, пропарюсь,— задорно сказал Ермолай Григорьич, отодвигая тарелку, которую беспрерывно наполняли ему дочери. Даже мухи, казалось, лезли ему в ложку не оттого, что им хотелось есть, а от радости.

Анна раскинула ему постель, Вера принесла подушку. И подушка и постель пахли мятой. «Не думал, не думал, что так встретите...» — хотел было сказать Ермолай Григорьич, но почему-то не сказал, а по глазам женщин он увидал, что не сказанные им слова им понятны и они отвечают ему мысленно: «А как же иначе?»

Проснулся он рано и вышел на двор выбирать работу. Утро было легкое и пушистое, как хмель. Глубокое, словно омут, небо вещало жару. Напряженно зеленели в небе листья яблонь.

С дровами к бане прошла Анна.

Надо было бы переменить ось в телеге, но эта работа показалась ему необычайно легкой. Потяжелей бы. Работа потяжелей была на пашне, а ему не хотелось покидать дом. «Отдохну денек-то...» — сказал он сам себе и потрепал яблоню по стволу. Возвращающаяся от бани Анна ласково улыбнулась и не спеша сказала:

— Нонче на яблоки урожай будет: шиповник-то густо расцвел.

Ермолай Григорьич не понимал, чем связано густое цветенье шиповника с урожаем яблок, но сразу поверил Анне и громко рассмеялся:

— Я вас вино из яблок научу гнать. Куда самогону!

И Анна улыбнулась милостиво и долго, и уши ее залились краской.

Весь день Ермолай Григорьич ходил по соседям, рассказывал о войне, о коммунистах,— и рассказы получались такие, словно он читал вслух газету. Мужикам это и нравилось. Своих, крестьянских разговоров никто с ним не вел,— получалось несколько обидно,— но обида эта еще более усиливала бушевавшую в нем радость. Опять незаметно подошел вечер, теплый, тихий. Ветер вынес было запахи молодых нив и цветущего шиповника, но и ветру, казалось, не хотелось тревожить редкое человеческое спокойствие, и он скрылся. Пришла Василиса — звать в баню. Ермолай Григорьич выбрал побелее рубаху и подштанники, достал голубой вязаный поясок.

В предбаннике на скамье он заметил юбку.

— Мойтесь, что ж. Я попозже приду.

— Никто не моется,— раздался из бани голос Анны.— Угар выбздаю, да полок надо промыть.

Анна показалась в дверях. Накаленная, плотно облепившая тело рубаха была дымчатого какого-то цвета. Черные круги сосцов мутно просвечивали через ткань. Глаза у нее были липкие, и круглый, упруго трепещущий от дыхания живот глубоко уходил к костям.

— Иди, иди,— торопливо сказал Ермолай Григорьич,— сам выбздаю угар.

Анна взглянула на его щеки. Поспешно схватила юбку.

Ермолай Григорьич долго снимал сапоги, затем налил в шайку воды и, крепко прижимая шайку к животу, вошел в баню. Ему надо было б вылить шайку на каменку, а он вылил на себя. Распаренный веник плохо держался в руках, он его отложил, и долго, неподвижно вытянувшись, смотрел Ермолай Григорьич в потолок. Потом он вскочил, облил кипятком веник, сунул на камни и почти мгновенно охлестал его о свое тело. Окатился, и ему стало скучно, и было ясно, что в бане больше делать нечего и что он отвык париться в деревенской бане. К тому же заболела голова, и он вспомнил, что угар-то он и забыл выбздовать. Возвращаться же столь быстро из бани было как-то неудобно, пожалуй — обидно для дочерей; посидеть бы хоть на пороге, повздыхать, посмотреть на яблони,— но Ермолай Григорьич не мог.

Над столом клубился самоварный пар. Черная почти струя чая, зыблясь, наполняла его чашку.

— Отвык, поди, от наших бань? — спросила Василиса.

— Отвыкнешь,— угрюмо ответил Ермолай Григорьич и почему-то взглянул на Анну.

— Выбздовал угар-то? — спросила та ласково.

— Выбздовал.— И Ермолаю Григорьичу стало стыдно, что у него нет сил сказать правду. Вчерашняя радость, казалось — на всю жизнь наполнившая его, прошла бесследно.

Неподвижно вытянувшись, лежал он в кровати, пытаясь уверить себя, что все, что томит его,— это от бани. Ветер пронесся по улице. Тонкая ветвь через окно упала и задрожала на подоконнике. Ермолай Григорьич не выдержал, притянул к себе с силой ветку и сломал. Из соседней комнаты раздался сонный голос Анны: «Кто там?», и Ермолай Григорьич не нашел сил ответить ей. Анна же, должно быть, тотчас заснула. Долго он ждал второго вопроса, и долго его тянуло пойти на голос.

— Квасу бы выпить, што ли? — сказал он вслух тревожно и громко.

Кошка прыгнула на печь, оттуда с шипеньем скользнула лучина. Ермолай Григорьич вздрогнул. Заснул он на рассвете.

Томительная тревога овладела им с того дня. Он быстро раздражался, стал малоразговорчивым, и, когда дочери собрались однажды ехать на почту получать деньги, Ермолай Григорьич крепко обругал Кондратия: дескать, не доверяет жене, а деньги шлет сестрам. Анна посмотрела на него удивленно, да и все другие удивились. После этого не проходило дня, чтоб Ермолай Григорьич не бранил сыновей, особенно Кондратия. И когда он бранился, тревога как будто стихала в нем. Работалось плохо, да и работать на жадных сыновей, которые, конечно, при первом удобном случае выгонят его,— такая работа казалась ему унизительной. Дочери по-прежнему были ласковы: раз в голос спросили его, какое б варенье сварить ему на зиму. А ласковость эта еще более беспокоила Ермолая Григорьича, словно он ждал, что они сразу выскажут ему все накопившееся в них раздражение.

Однажды, наполненный такими мыслями, он встретил Анну: она несла в баню тяжелую охапку дров.

— Давай помогу,— сказал он, беря поленья с ее рук.

Она молча, с недоумением передала ему дрова, а проходившая мимо Василиса крикнула: «Что ей помогать, не беременна!» И голос ее был по-прежнему ласков, но он раздражил Ермолая Григорьича. Анна, все недоумевая, шла позади него, и когда он скинул дрова у каменки и она наклонилась, дабы класть поленья в печь, Ермолай Григорьич легонько взял ее за плечи и сказал:

— Ты мне на сеновале стели спать, Аннушка.

— Душно, что ли, в горнице? — спросила она, не оборачиваясь.

— Душно.

И тогда она обернулась, робко взглянула в его лицо и почти прошептала:

— Ну, постелю.

Ермолай Григорьич построжал, сдвинул брови, и все ж таки ему пришлось облокотиться о косяк, когда он сказал:

— Ночью-то приходи.

— Господи,— писклиьо вскрикнула Анна.

— Я те покажу господи,— жестко ответил Ермолай Григорьич, и весь день голос у него был командующий, грубый, и за обедом он ел поспешно и строго, и дочери боялись поднять на него глаза.

Убирая посуду, Анна спросила Василису:

— Сердитый стал батя? Рассердится, так, поди, и дом сможет отобрать. И сынов-то все ругает...

Василисе не понравилось, что Анна непочтительно говорит об отце, она уверенно сказала:

— И отберет, ему б захотеть. В царское время сколь бы «Георгиев» имел он... Куда ополоски-то льешь, в молоко!

— И то в молоко,— сказала Анна тихо.

Спать лег Ермолай Григорьич рано и лежал, вытянувшись, горячий, без одеяла, и даже в темноте хмурил брови. В пригоне рядом шумно вздыхала корова. Сено почти не имело запаха, и в сеновале остро пахло гниющей соломой крыши. Ермолай Григорьич был уверен, что Анна придет, и она, точно, пришла. «Ты не трусь»,— сказал Ермолай Григорьич, схватывая ее за шею, и она молча, не шевелясь, вытянулась рядом с ним. Он уверенно, как и все на земле делаемое им, подхватил ее, и действительно, она скоро сладострастно раскрыла рот,

и дрожащие зубы ее побежали по его лицу, и шумное дыхание коровы было заглушено ее усталым стоном. «Лежи»,— сказал Ермолай Григорьич, засыпая. Она покорно лежала. Вот закукарекал радостно петух, и от двора к двору побежало хлопанье крыльев. Анна тоже заснула, и ей снилось, что приехал из города Кондратий в новом пиджаке и желтых ботинках, ласково, как всегда, обнял ее и повел на сеновал. Он соскучился по ней и, как всегда, быстро заснул у ее груди, и ей было радостно лежать, чувствуя рядом с собой молодое, веселое только при ней и с ней, человеческое тело.

Она проснулась. Начинался рассвет. Ворота в сад забыли закрыть, и корова беспокойно ходила по стойлу. Ермолай Григорьич лежал на спине, и пухлый старческий живот его — весь в морщинах—поднимался и опускался уверенно и легко. Анна вытерла слезы и крадучись пошла в кухню.

Ермолай Григорьич призывал ее еще раза два, и затем она стала приходить сама. Она как будто соглашалась с ним, когда он говорил, что Кондратию во всем далеко до него, и как будто на работу стала спорее, и, когда Ермолай Григорьич бранил сыновей, она так глядела на него, словно вот-вот скажет что-то очень обидное и правдивое про них, и, хотя Ермолай Григорьич часто с удовлетворением думал: «Чем бо́льшим можно было б отплатить чванствующему сыну?», тревога попрежнему не покидала Ермолая Григорьича. По-прежнему Ермолай Григорьич не мог как следует взяться за дело и, чтоб как-нибудь оправдаться, начал жаловаться на недомогания, и было противно видеть, что дочери верят ему. И вот однажды за обедом, когда Ермолай Григорьич ворчал, что сыновья высохли от жадности и некому будет наследовать добро, Анна вдруг отложила ложку и, побледнев, выбежала на кухню. Василиса пошла за ней, и, когда вернулась, у нее было другое лицо. Ермолай Григорьич сразу смолк, прервал обед и ушел, хлопнув оглушительно дверью. В кухне завыла Анна, а Василиса встала перед образами на молитву. Помолившись, она пошла в Совет, а оттуда ее направили в вик. Было дождливо, слякотно, до вика было верст десять, она шла без платка, полями, дабы сократить дорогу. Жидкая, мокрая прядь волос упала ей на глаза, она взяла прядь в руки, вгляделась — много седых, и тогда она, внезапно обессилев, села у колосьев прямо

на землю и долго, с закрытым ртом, плакала. В деревню вместе с ней приехал милиционер. Обед был все еще не убран, и милиционер, курчавый и курносый, строго приказал очистить стол. Затем он призвал Анну и жалостливо стал ее расспрашивать. Допросил и Ермолая Григорьича и с пренебрежением добавил: «На тебе, как на березе, две кожи, за такие дела не погладят, — па-артейный», и когда Ермолай Григорьич хотел возразить, он закричал: «Молчи!» — и самодовольно указал на свой револьвер.

Ермолая Григорьича увезли сначала в волость, потом отправили в уездный город, предъявили обвинение в насилии и вскоре назначили суд. Сыновья не приехали, они не хотели ради суда покидать работу, а заводский отпуск их выходил на глубокую осень. Явилась Василиса. Она все боялась, что на позор придет смотреть весь город, а в камере оказалось пять-шесть человек, да и то трое из них скоро ушли. Она приготовила всякие оправдывающие отца слова, а получилось так, что все ее слова оказались на суде ненужными и говорили все совсем о другом. У нее было растерянное и слегка довольное лицо. Все дни до суда, да и во время суда, Ермолай Григорьич по-прежнему ощущал беспокойство и тревогу, а когда вышла к красному столу Анна, исхудавшая, с заметно выдающимся животом, и, стоя к нему боком (причем как-то особенно тронуло сердце судей острое ее плечо и маленькая заплатка на кофте, ниже плеча), начала давать показания и говорила о том, чего не было: будто Ермолай Григорьич гонялся за ней всюду, улещал подарками, грозил отнять у сыновей дом и под угрозой ножа положил ее рядом с собой и что она согласилась спать с ним, потому что это меньше видно людям, чем приставанье. «А с мужем-то мы дружны, как снопы», — сказала она, и судьи жалостливо улыбнулись, и хотя Ермолаю Григорьичу обидно было, что по голосу ее нельзя было узнать, каким словам своим она верит, все ж ему тоже стало ее жаль и стало жалко самого себя. Он встал, вытянулся по-солдатски, чтоб было легче говорить, и сказал приблизительно так: «Виноват. За войну испортился, к бабе привык относиться хуже, чем к скотине. Все происходило так, как она говорит: зарезал бы, если б не согласилась», — и было горько видеть, что все поверили его словам. Какая-то настолько раскрашенная женщина — волосы, губы, лицо, — что и гла-

за ее казались выкрашенными, испуганно взглянула на него и быстро и сладострастно заперебирала пальцами. Прочитали приговор. Василиса заплакала, и конвойный шепотом сказал неподвижно сидевшему Ермолаю Григорьичу: «Пошли, огурец!» — и сам засмеялся придуманному прозвищу. Так и в тюрьму вошел Ермолай Григорьич под прозвищем «Огурца».

Глубокой осенью приехали в Тошу на отпуск сыновья Ермолая Григорьича; они были довольны, что едут вместе и что удалось получить отпуск, когда еще нет снега и нет ранней осенней грязи, и, значит, хозяйство можно приготовить на зиму как следует. Кондратий слезал с телеги, из ворот выбежала простоволосая Анна и упала перед ним на колени. Кондратий взглянул на брата, тот бессмысленно улыбнулся,— и Кондратий тоже улыбнулся бессмысленно.

— Надо б ко мне приехать, выкидыш бы сделали, а теперь, ишь...— сказал он и ткнул ее сапогом в живот,— морда-то будто камень без цвету. Брюхом робить будешь, да?.. Ставь самовар.

— Самовар-то поставлен,— тихо ответила Анна, и голос ее был хриплый, чужой.

Разговора за чаем не получалось, у сестер были испуганно-ждущие лица, и вскоре сам Кондратий начал ждать от себя неизвестно чего. Надо б было сразу, после чаю, пойти на овин, а он вышел на улицу, оглянулся; повеселевшие лица сестер смотрели ему вслед, словно они угадали, куда он идет,— он и пошел. А затем получилось так, что все в деревне стеснялись разговаривать с ним, и ему пришлось напиться, хотя пить ему вовсе не хотелось, и, значит, вышло так, как ждали сестры. Самогон с непривычки отрыгивал, и было такое ощущение, словно он всполоснул рот керосином. Он пил три или четыре дня, несколько раз в кровь избил жену, куражился, кричал, что все теперь в хозяйстве испорчено,— и все молчали и словно бы одобряли его. Раз ему попал под руки ножик, источенный так, что посредине получилась выемка; он сунул ножик в карман, а когда проснулся утром и почувствовал в кармане нож, ему стало и страшно и весело. Он велел, — именно велел, а не сам,— запрячь лошадь и поехал в уездный город, в тюрьме которого сидел его отец. Звонко лязгала копытами в подмерзшую грязь подкованная вчера лошадь,

небо было ясное, высокое, и железо на шинах было почти что белого цвета.

Когда к Ермолаю Григорьичу подошли и крикнули под ухо: «Огурец, иди на свидку»,— он в это время стоял перед стенной газетой камеры и с горечью и страхом старался вникнуть в переписанные аккуратно стишки:

И теперь, чтобы в этапы
И в исправдомы не попадать,
Нужно меньше водки пить,
Да и в карты не играть.

Он легонько провел ногтем по стишкам, оглядел себя: борода росла клочьями, парусиновая рубаха и штаны были грязны и помяты. И вдруг он понял, о чем написаны стишки. «В карты не играть!» — повторил он с усмешкой и выпросил у соседа, смоленобородого молокана, судившегося за конокрадство, чистую рубаху. Туго затянув тесемки на воротнике, он думал: «Кто бы мог приехать?», и сразу же решил, что некому приехать, кроме Кондратия. Он распустил тесемки и вновь затянул. «Не с добром приехал»,— подумал он, и сразу горечь и страх, нестерпимо мучившие его, прошли и еще более стали понятны прочитанные стишки. «Главно, меньше водки пить, да и в карты не играть», — сказал он молокану, и молокан, увидав его развеселевшее лицо, неизвестно чему подмигнул. Ермолай Григорьич вытер тряпкой громадные солдатские ботинки, тоже занятые у соседа, и, осторожно ступая, направился по длинному, тусклому и вонючему коридору. И он тоже, как и его сын, заметил, что день был высокий и ясный. Двор тюрьмы был весь в траве, и, переполненный неизвестно откуда хлынувшим чувством благодарности и успокоения, Ермолай Григорьич легким и немного смешным шагом шел по хрустящей и желтой траве к сыну. Кондратий сидел у стены, на грудке кирпичей. Перед тем как прийти в тюрьму, он выпил полбутылки водки, и хмель еще не успел ударить в тело, а где-то под сердцем лежало и таяло дешевое, как от табаку, томление. Ермолай Григорьич остановился перед сыном, откинул назад голову и ждущим, в то же время успокоенным голосом сказал: «Ну?» — и тогда Кондратий встал, не спеша сунул руку в карман и ударил отца ножом в живот. Нож как-то необычайно быстро выскочил обратно, и Кондратий ударил еще. Ермолай Григорьич стукнул зубами,

схватился пальцами за усы, затем за глаза и подогнул колена. Руки у него упали на грудь, да так и остались, впившись в чистую, с аккуратными тесемочками на вороту рубаху. Тут только Кондратий увидал на его ногах огромные, тщательно начищенные сапоги, крепко стянутые толстым кожаным ремешком. Сразу же хмель зашатал его, и Кондратий устало присел на кирпичи. Уже трещал напуганный свисток, к трупу бежали с мокрыми раскрытыми ртами арестанты, а лицо убитого делалось все более и более успокоенным и благодарным.

1926

СТАРИК

От речушки и деревня называлась Глинище.

Мужики здесь раньше колокольничали, а это значит — обжигали оглобли, натягивали на лошадь тронутый огнем хомутишко, на дрянную тележонку клали колокол и шли по губерниям собирать на сгоревшую церковь. Осенью возвращались, вгоняли телегу с колоколом в сарай, обували лаковые сапоги и плисовые шаровары — и всю зиму пьянствовали и дрались. В революцию колокола у них отобрали, мужики, скучая, сидели на лавочках перед расписанными домами и с тоской видели, как облупляется со ставен краска. Говорили, будто некоторые начинают пошаливать в лесочке, подле станции.

Вот в это время явился из города Евсей Коробков. Евсей сызмальства служил по господам, обидным показалось ему колокольное ремесло, и он ушел в город. В революцию последний барин Евсея не то умер, не то прибрали его в общую могилку. Евсей об этом говорил мало. В ливрее, со споротыми галунами, сидел он на бревнах и смотрел холодно серыми глазами, чуть прикрытыми гладкими, молодыми веками, на поля, позолоченные тощей рожью, на сиявшие вдали среди рощ церкви, и непрестанно думалось ему, что вот рассчитывал найти тишину и уважение, а по песчаной улице все время с дикими песнями неслись бог весть куда грохочущие телеги, и мужики проклинали длинными до небес ругательствами все, что можно найти хорошего в этом мире. За любимую поговорку Евсея мальчишки прозвали его «Проста жись» и кричали ему вслед, словно долбя:

— Проста жись! Проста жись!

И та злость, что неустанно владела им в городе, вновь нахлынула на него. Однажды он проходил мимо

схода, какой-то веселый, веснушчатый мужик крикнул ему:

— Милай, ты всю жись подле умных людей прожил, што нам теперь делать, коли у нас колокола поотобрали?

Евсею всегда казалось, что с мужиками нужно говорить, поучая их, и он обрадовался, что у него спросили совета. Хотя умерший барин был пьяница и мот, Евсей начал с того, что стал хвалить барскую бережливость, и тут он вспомнил, как солдаты занимали барские комнаты и как один из баловства хватил прикладом японскую вазу, которая стоила две с половиной тысячи и которую Евсей изо дня в день одиннадцать лет обтирал ваткой. Злость схватила за сердце Евсея. Вспомнил он, что и солдаты-то были те же мужики, может быть, даже из родной его волости. Он поднялся со скамейки и пробормотал:

— Вон заводы-то в Питере бросили, картошку начали сажать... Вот и сажайте картошку, коли простой жизни не понимаете.

Под счастливую голову, что ли, попали слова Евсея, или уж так и должно быть, но только мужики послушали его совета. Почва вокруг Глинищ сухая, песчаная; лето выдалось и не дождливое и не знойное: к казанской картошка выросла невиданная, в кулак. Счастье как земля — нет ничего жирнее: мужики подобрели, приоделись, ребятишки стали бегать в штанах, ставни покрылись краской, а в груди Евсея — словно вместо сердца выросла кость. Собой он пожелтел, высох, седина стала какая-то нехорошая, грязная. Никто не вспоминал о его совете, от которого вся деревня вошла в тело; разве по вечерам парни, не видавшие никогда в глаза барина, слушали, посмеиваясь, речи Евсея о барской бережливости.

— Пчелу вот с телятами вместе удумали держать, она и подохла: пчела тебе не червь. У барина-то почти каждая пчелка в отдельной каморке жила... Барину-то перед смертью надо было вина выпить, а он бутылку пожалел откупыривать, вот и помер!

Евсею и самому казалось, что барин действительно был бережлив. Евсей смотрел с неудовольствием на мужицкую расточительность. Лень в объезд две версты ехать, так начали строить мост прямо против деревни. Гвоздей набухали в мост, словно в каблук. Жил Евсей

у племянника. То ли племянник наслушался Евсеевых рассказов, но кормил он Евсея объедками, да и то попрекал. Евсею жить было трудно, но он хвалил племянника за бережливость. Промышлять ему осталось одним — рыбачить, а рыбы в Глинище было мало, попадались только налимы, но и тех мужики не ели, так как рыбу без костей, как лягушек, считали поганой. И вот раз в полдень Евсей с удочками пошел через строящийся мост на рыбалку. Отдыхающие топоры рябью отражали редкие тучки, солнце словно не могло вместиться на топорах и искрами рассыпалось по смоле бревен. Белокурые плотники со смехом плескались в реке. Один из них, желтоголовый, неустанно нырял. Евсей перешел по бревнам моста, на которые должны были стелить плахи.

— «Проста жись» по рыбу пошел! — крикнул ныряющий плотник.

Ему, должно быть, было очень хорошо, и казалось, что вся река принадлежит ему; потому он и крикнул:

— Пожалуюсь на тебя, «Проста жись!»

И Евсей понял жадность и ответил со злостью:

— Вот рыбаки в реке хозяев воруют, да никто не жалуется.

— Много ты у меня наворуешь,— задорно отозвался плотник.

— Тело-то у тебя, как свеча, и бело, и маковка-то у тебя золотая, а душа портянная,— сказал Евсей.

Плотники захохотали, и тогда Евсею захотелось совсем унизить желтоголового плотника. Евсей пошел вправо, в небольшой заливчик. Три ивы низко повисли над водой; сизые стрекозы, видимо, изнемогая от зноя и радости, метались между ветвями. Вода была неподвижная, синевато-черная, только дальше, саженях в трех, омуток окружали чуть колыхающиеся кувшинки. Кое-где на лепестках у них дрожала вода. Казалось, что радость так переполняет их, что они неустанно плачут. И от раздражения и от нетерпения пальцы у Евсея дрожали, и он выронил двух червяков; раньше бы он их непременно поймал и еще прибавил бы что-нибудь про бережливость барина, который и из одного червяка мог бы великую извлечь пользу. Сразу же камышовый поплавок нырнул, Евсей дернул — оказался ерш. Ерши удочку заглатывают глубоко, к тому же Евсей торопился — он несколько раз уколол руку. Укололся удочкой от торопливости,— а оказалось, зря. Давно ерш, наса-

женный на прутик, заснул, давно уже звенели топоры у моста, а рыба не брала. Евсей переходил на три места, поднимал поплавок и выше, опускал и ниже, плевал на червей — ничего не помогало. Солнце крепко прожгло ему картуз, овод все норовил попасть на потную шею, а Евсею все казалось, что поплавок вот-вот нырнет, хватит лещ или двухфунтовый окунь, и Евсей лениво пройдет мимо нахальных плотников, подарит им окуня и кстати расскажет, как в барском именье строили мост, обошелся он вполовину этого, хотя и был чуть ли не вдвое шире, а все оттого, что люди умели бережливо жить и бережливо распоряжаться своей и чужой жизнью.

В желтой тафте мимо поплавка пролетела крутоногая пчела. Евсей, чуть шевеля губами, прошептал, что нынче и пчела-то не туда, куда нужно, за медом летает. Какой на лопухах мед? Здесь он вздрогнул, потому что почти под самым его ухом кто-то визгливо крикнул:

— «Проста жись», клюет!

Под ивой стоял сынишка председателя Митька в новой рубахе и синих штанах. Мальчишка был в отца, бойкий, самоуверенный; острижен он был как-то кусками, так стригут овец, но и это, казалось, сделано было у него назло.

— Не мешай воде,— медленно сказал Евсей и, для чего-то вытащив удочку, переменил червяка.

А мальчишка словно и ждал этого: он взвизгнул и подпрыгнул, и хотя ему, должно быть, вовсе не хотелось купаться, но он пролез за кусты и оттуда крикнул:

— «Проста жись», чур не мне воду греть!

«Всю рыбу перепугает»,— подумал Евсей.

И точно, сразу же в кустах зашелестели ветки и плеснула глухо вода. Мальчишка, видимо, ждал ругани, но Евсей не ругался: он неподвижно смотрел на чуть колыхнувшиеся от волн, что прошли от мальчишки, кувшинки. Кое-где в средину листьев кувшинки прошла вода, она медленно стекала по капле, задерживаясь на маслянистой поверхности листьев. Не дождавшись ругани, мальчишка рассердился и сам начал бить по воде руками, сначала слабо, а потом все сильнее и сильнее, и вскоре мутная вода медленно стала наполнять омуток, подле которого сидел Евсей. Муть шла кругами. Евсей с горечью смотрел, как постепенно исчезали в ней волнистые стебли кувшинок и мохнатые камыши. Исчезали

мелькавшие среди стеблей серые мальки, и плакучая ива укоротила свои ветви. Но тут вдруг раздался визг, и захлебывающийся голос с испуганным стоном выкрикнул:

— Тону!

Евсей вздрогнул, но не от этого крика, да и слышал ли он его, неизвестно. От мутной воды, что ли, в его омуток метнулась щука, потому что поплавок сразу рвануло — словно вода проглотила его, леска тоже почти целиком ушла в воду, и удилище задышало в руке Евсея. На мгновение, напугавшись, должно быть, невиданной боли, щука метнулась кверху, и Евсею показалось, что он видел ее мокрую и злую спину. Выскочил поплавок, блеснул самодовольно на солнце и опять помчался в воду. Щука вначале понеслась из омутка, но боль не прекращалась, и, не дойдя до камышей, она вернулась и кинулась к берегу. Леска ослабла, Евсей отшатнулся, поскользнулся и выронил удилище. Когда он встал, он сначала увидал ныряющее по омуту удилище, а затем услышал вопли:

— Тону!

И тогда он понял, что тонет это Митька.

То же самое, видимо, поняли плотники на мосту, потому что стуки топоров прекратились, и чей-то хриплый голос очень высоко прокричал:

— Беги!

Евсей скинул старые, подшитые много раз валенки (племянник не давал ему больше никакой обуви), расстегнул штаны,— ему показалось очень холодно,— и совсем было подумал идти в кусты, подумал (так как глаза его все еще были в омуте на ныряющем удилище):

«Надо парнишку-то тащить, а тут — щука!!»

И тут ему почему-то мгновенно вспомнился пруд на даче под Москвой и сеттер Пишо, прыгавший в воду по приказанию барина за поноской. Было хорошее теплое лето. Евсей был молод, получал отличное жалованье и собирался жениться. Удилище продолжало нырять.

«Перекусит леску-то, уйдет,— подумал Евсей.— А барин-то был бережливый... Барин бы такую щуку не упустил бы...»

И хотя ему было стыдно, но,— уверяя себя, что прыткий желтоголовый плотник небось уже подбегает к Митьке, что плотник вытащит Митьку,— Евсей полез

в воду. Коряга больно уколола ему ногу, он нырнул и вспомнил тут, что лет небось двадцать не нырял,— и у него похолодело сердце. Он вынырнул, воздух показался ему удивительно горячим, длинные волосы залепили глаза, и не было сил вынуть руку из воды и поправить волосы. Ему стало страшно. Он сразу забыл и поплавок, и удилище, и Митьку, и только трепался в голове обрывок мысли, которая зародилась у него, когда он вступил за щукой в воду:

«Река-то крива да лукава!»

А дальше было больно и думать. Он греб все вперед и вперед. Вдруг что-то липучее и в то же время скользское попало ему между пальцев.

«Щука! — радостно подумал он, крепко хватая скользкое.— Поймал-таки». Он открыл глаза. Лопух! Нет, щука! Сердце охладело. И тогда едкая вода ринулась ему под веки.

— Тону! — крикнул он.

И ему почему-то показалось, что кричит это Митька. Но Митька уже не кричал: желтоголовый плотник действительно успел добежать и, в чем был, кинулся в реку. Вытащив мальчишку, он легонько хлопнул его по заду и сказал:

— Дуй в деревню, а то тятьке скажу.

Крика Евсея никто не слыхал, и хватились его к вечеру. Нашли его запутавшегося в камышах, без порток.

Когда желтоголовый плотник рассказал об утопавшем Митьке, то все решили, что старик поплыл спасать мальчишку, запутался в камышах и утонул. И сразу все вспомнили совет старика — сеять картошку. Умиление охватило всех, и хотя старик никому никакого добра не делал, но каждый вспоминал или придумывал добро, сотворенное Евсеем. Вспомнили даже про пчел и попеняли друг на друга, что по-прежнему продолжают держать их вместе с телятами.

Председатель предложил похоронить старика на почетном месте, подле строящегося моста. Племянник обещал вывести вокруг могилы оградку. Рыжеголовый плотник выстрогал огромный крест, выкрасил его белилами и с завистью сказал:

— Мне бы такой...

Хоронить старика собралась вся деревня, а утром, перед похоронами, председатель выпорол Митьку.

— Из-за тебя хороший человек погиб, а ты чурбан чурбаном.

Митька стоял на похоронах в новой рубахе, заплаканный и гордый. Когда все разошлись, он, окруженный мальчишками, пошел посмотреть то место, где он тонул и где умер, как все думали, из-за него дед Евсей.

Омуток был чист, синевато-черен, неподвижен, а у самого берега, кверху белым животом, лежала большая сдохшая щука. Ребятишки боязливо вытащили ее, она уже протухла, щуку кинули собаке. Собака понюхала, поджала почему-то хвост — и отошла прочь. Тогда ребятишки боязливо и молча пошли домой.

1926

БЕГСТВУЮЩИЙ ОСТРОВ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Спасибо, так сказать, заранее,— визгливо сказал мне вдруг пассажир, сидевший напротив.— Сары медной не имеете? Медной мелочи, так сказать. Разменять мне необходимо полтинник.

Мне трудно было его рассмотреть: бурая горячая пыль закавказской степи плотно, как ставнем, прикрывала окна. Были сумерки. Пассажир, заметив мой взгляд, тщетно попытался протереть окно. Я разглядел юркие и большие его глаза и частую улыбочку.

— Откройте...

Тогда пассажир поспешно взглянул на своих соседей. Первый — сонно белобрысый красавец, стриженный в скобку, дремал, облокотившись о столик, а баба — молчаливая, широкогрудая, с огромными, щекочущими сердце ресницами, внимательно разглядывала мои очки. Она уже, как я успел заметить, много спала и во сне капризно приподымала верхнюю губу, обнажая белые и ровные, как березы, зубы.

— Открой, не украдут,— сказала она лениво, даже не взглянув на большеглазого. Тот, пристально и тоскливо глядя на бабу, поспешно — словно окно было в душу — дернул за ремни. Стеклянно-резкий ветер опалил наши гортани. Поезд на минуту задержался на полустанке. Возгласы беспризорных раздались под окном.

— Што ж, не серебро же вам! — крикнул им огорченно мой сосед.

— А ты серебро,— раздался спокойный голос бабы.— Плодить умеете...

Соседи мои все время пути питались булками и чаем, о деньгах говорили с завистью и нежностью.

Но тут юркий сосед вдруг быстро бросил в окно сначала двугривенный, а позже — полтинник. «Ну, тут неспроста»,— подумал я и стал присматриваться. Я уже

лег на верхнюю полку, и, дабы говорить со мной, Галкин Павел Петрович (как узнал я позже) поднимал лицо свое кверху, вровень с полкой. Я узнал припухшие веки сладострастника, тонкий длинный рот завистника и болтуна, а в нем исчерна-желтые зубы пьяницы и курильщика, а выше нагло мокли бледные десны кокаиниста. А вместе с тем было в нем пленительное тление мечтательности и какое-то бродячее страдание, какое бывает у старых собак, покинутых хозяином.

— Смеются... Они, братец Иванушка и сестрица Аленушка, смеются надо мной...

Он нежно улыбнулся им. Братец Иванушка, проснувшийся от толчка поезда, сурово взглянул на меня — и опять задремал.

— Если рассуждать по существу, то они, беспризорные, отца убьют и мать спалят, если надо. Однако пятака не подать — стыдно. И подаю, хоть мы и бедностью своей слывущие... Правда, в Мугани водопровод ведут на тысячу верст?

— Канал. Не на тысячу, а на тридцать семь.

Галкин сначала как-то поспешно моргнул, а дальше вдруг широко открыл глаза и визгливо вскрикнул:

— Канал! Скажи, пожалуйста, а все говорят: водопровод. А канал, по-моему, лучше. Птица осенью полетит на зимовку, тоже сядет, отдохнет, а то через такое пыльное пламя летит — перо сгорит, охотнику гольем достанется. Вот эти, допризорные, тоже на зимовку, как птица... У птицы хоть перья, а у них что — хмельная, путаная судьба...

Галкин вздохнул. Кондуктор зажег свечу. Кожа на лице Галкина как-то тоскливо пожелтела, сморщилась. «У тебя-то тоже, видно, хмельная судьба»,— подумал я.

Сумерки были черные, как печное цело. Вагон качало. От горячего ветра волосы мне чудились перьями. Я задремал. Сквозь сон слышался мне визгливый шепоток Галкина:

— А тебе, Аленушка, позагорблю слещить... последний раз, ей-богу...

Лещ, жирный и мягкий, вспомнился мне, Сибирь,— и уже во сне, кажется, я понял, что значит «слещить» на тюремном жаргоне. Я, кажется, потрогал карман брюк и перевернулся на другой бок. Словно шапка — простой, круглый и мудрый сон овладел мною. Мельком, где-то позади сознания, помню: в окне вагона огромное багря-

ное, похожее на шиповник солнце, на рамах, покрытых росой, необычайно шиповный блеск, а надо мной склоняется Галкин. Он улыбается, спрыгивает и, высунувшись в окно, любуется на восход. Голова у него мокрая и розовая...

Я проснулся поздно. Соседи мои пили чай из чайника, похожего на утюг.

— Долго,— весело взвизгнул Галкин,— долго вы спите.

Но тут началась ерунда. Услышав голос,— я вспомнил восходное мое видение. Сунулся, а затем, как все обокраденные, стал перешаривать другие карманы. Два месяца кавказских мечтаний, Казбек, романтические волны Черного моря, одним словом — мои сорок восемь червонцев были вырезаны. Вагон переполошился, и больше всех суетился Галкин. Он нашел начальника поезда. Тот сразу почему-то обиделся на меня. Меня ж оскорбили его выкрашенные хной усы.

— Надо в Чека,— сказал он злобно и ушел.

На станции я не нашел Чека (он прибежал после второго звонка, в руке его мотался ломоть недоеденной дыни,— он хотел поехать со мной, но быстро раздумал). В Гандже Чека спросил:

— Кого подозреваете? — и меланхолично добавил:— Обыскать мы Галкина можем, да гдэ найдэшь... Пэрэпрятал давно. В Гандже он слазит, говорит... Послэдим, послэдим... А обыскать — только вам нэприятности.

Чека был русский, акцент у него, видимо, был от скуки.

Чека лениво пососал кончик карандаша. Я отказался от обыска.

ГЛАВА ВТОРАЯ

А Галкин, оказалось, ехал дальше. У ног его уже качалась высокая корзина гранат и винограду.

— Вина не хотите, гражданин? Вино здесь дешевле картошки. Я с кувшином вместе купил за полтинник.

Днем верхние полки опускаются. Мы, мужчины, трое сидели на нижней скамейке. От толчков вагона груди спящей против нас женщины мерно колыхались — казалось, догоняя друг друга. Галкин любовно рассматривал заморские ее ресницы и тихонько вздыхал. На останов-

ках, чтоб ее не будить, он выходил на площадку и раздавал перед окном медные деньги.

— Поправитесь, — сказал он, быстро разрывая гранат.— Судьба кроет всех без обхода — и старого и молодого. У меня вот тоже судьба...

Но тут Аленушка лениво подняла розовые свои веки. Братец ее, до того неподвижно и прямо сидевший, словно его телу была отведена какая-то грань, вздрогнул и, тряхнув кудрями, не без грации вопросительно склонился к ней. «Выпадет же такая любовь человеку»,— подумал я со злостью.

— Поись бы, — проворковала Аленушка.

И тогда Галкин крикнул проводника. Как и весь вагон, проводник злобился на моих соседей и на Чека. Галкин дал ему на чай три рубля — и проводник улыбнулся милостиво. Из вагона-ресторана принесли закуски: свиная котлета с зеленым горошком, бефстроганов и водка. Покушав (мне и теперь страшно вспомнить, с какой злобой смотрел я, как они поедают мой Казбек, романтические волны Черного моря, тифлисские окрестности), покушав, они вздумали попеть (у Аленушки оказался медовый такой контральто), и вагон слушал их долго. Пели они разбойничьи песни. Опять вспомнил я Сибирь, подумал — чего мне на этом Кавказе и чем наша Белуха хуже Казбека. Злость моя схлынула. Попев, Аленушка стала разговорчивее и уступила мне место у окна.

— А передал бы ты сказку, что ли, Петрович.

Галкин даже руками взмахнул,— он, видимо, умел и любил передавать.

— Мы, знаете,— сказал он не без гордости,— люди семейные, в Тифлис решили к родным заехать, а оттуда вернуться в Мугань, к этим самым водопроводам, точную жизнь устраивать.

Он сказал обычную фразу, что сказки мужицкие — грубые, не побрезгую ли я, Галкин поломался еще немного.

— Может, и откушать теперь, гражданин, хотите? А за закуской и расскажу.

У меня остался рубль. Да простят мне все, страдавшие от карманников,— я откушал. Галкин рубанул рюмку, крякнул:

— Хороша она, леший ее дери, кавказская, на виноградном спирту...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Возможно, читая газеты, доводилось вам встречать вести о комиссаре таком — Ваське Запусе?..

«Эк, куда занесло твою славушку, Васька»,— подумал я и все-таки спросил:

— Из Тюмени?

— Так точно. Возможно, доводилось вам бывать в тех местах, гражданин?

— Бывал и там...

— И слава богу. Места обильнейшие: кисы да шишки (чемоданы и портмоне)[1] финашками, будто землей, набиты. В таких местах для проясненного жизнью человека — житье, лучше не надо... Так вот... в революцию Васька прославился.

В долгом зевке Аленушка опять показала нам березовую рощицу своих зубов и кончик языка, словно мокренький теленок из-за перегородки... Галкин так и замер.

— Ты бы,— наконец проклокотала она,— рассмехнулся хоть... про кота бессмертного рассказал. Про эту самую революцию — все страшно да скушно... будто болесть...

— Все будет там, Аленушка, все. Революция в происшедшем случаю тоже вроде кота бессмертного, чудная... Я, гражданин, сам из тамошних засильников. Душа моя по природе хозяйственная, а мне приходится претерпевать бог знает что, пока... детей вот...

Но тут Аленушка вдруг рассердилась и даже невнятно пробормотала резко так слово вроде «роппа-кимать»... Галкин, не закурив папироски, кинул ее в угол. Достал другую и — тоже не закурил. Пальцы у него дрожали. Наконец Аленушка проворковала:

— Скоро ты сказку-то?..

И Галкин встрепенулся, обрадовался.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— ...Я сам из раскольников произрастаю. Начинается потому сказка моя от тысяча шестьсот восемьдесят пятого — проклятого — года... Царские законы против раскольников в том году пущены. Мучали их по этим

[1] Все объяснения слов в скобках — автора, а не Галкина.

законам почесть до самой революции... В Драновитой палате при царевне-паскуде Софье-беспятой пришлось им закричать: «Победим, перепрехом!» — так и жили под таким зыком долгие века. Вы, гражданин, в обиду не впадайте: говорю непонятно, да по «музыке».

«Стрелял сам саватеек», хоть и мелкозвонов «на кистях» не носил. Богат оттого-то тюремной «музыкой»...

С Петра Перверликого настоящее им мученье пришло. Напечатал Петр против них духовный пергамент, после пергамента того — народ в ямки жечься полез.

Жил в пору того духовного пергамента в Питере книжный юный мудрец под названием Семен Выпорков. Дух исступлен, из себя красив, как черемуха. Главным виновником смуты Петра почитал, называл всегласно его Антихристом. Царя ругать — жизнь, как игра без козырей. Сходило ему это все как-то с рук — оттого себя считал богом избранным. Умер Петр от сифилиса. Выпорков возьми и напиши ему вслед проклятие: «Антихристу, спустившемуся в ад, всероссийского царства бесу, попущением божьим Петру, препаскудно-поганому императору». Вышло ли б что из того письма, кто знает... на подоконник обсохнуть его положил. Зашел в ту пору в келью протодиакон Иерофей, письмо увидал — донес.

Довелось вытерпеть Выпоркову каменные мешки, застенки — немшонные бани, «четок монастырских» на железном стуле покушал. Не ходил по дворам боярским с гостинцем-кистенем, а у заставы, при команде гвардейских солдат, мудрую голову его нещадно звякнули. Страдал он много, плоть дрогнула — дыба не мамка,— сознался: в пустыни начетчиком его ждали тем летом, находится та пустынь под Ярославлем, хутор купца Федорова. Пошли туда солдаты.

Раскольники, обычным манером, удумали в ямки. Ждала на хуторе том мужа жена Выпоркова, тихая Александра. Вкруг келий костры наложили, поют по крюкам отходные псалмы. Вдруг паренек, работник, по прозванию Оглобля, выскакивает вперед, кричит:

— Я сам со Строгановских заводов три раза бегал, знаю все ходы и выходы — от Зауральского камня до Калым-реки... Есть дальше крепости Тюмень да ближе крепости Тобольск, середь топей, середь болот — Белый Остров, от старых дубрав так названный. Топи те неза-

мерзаемые, тундра называется масленая... Проход туда три недели в году по редким кочкам, да зимой по снежным вершинам кедров, ибо снега там зимой по десятку сажен наметаются. Люди вы добрые, согласные, жалко мне вас, лучше уведу я вас на тот Белый Остров...

Сказал — и начались среди раскольников споры. Жена Выпоркова беременна была: кому охота с ребенком гореть. А работники возы сена подвозят, гореть легче, вокруг келий складывают. Кричит купец Федоров Аввакумовы слова:

— Дерзай, плюнь на пещь ту, не бойсь!

...До пещи дойти — страх, а как вошел, так и забыл все!.. Жена Александра ему говорит: «Пойду в Сибирь». Купец ее — за волосы, она его ножом. Вступились которые,— и драка великая произошла. Залезла наименьшая часть с купцом вместе в костер, а другая с работником Оглоблей, им ведомая, в пустыню пошла. Поется в песне даже:

Как от Камы-реки на Иртыш — великие версты.
Уж и были эти версты, стерли у рук персты...

Долго, выходит, шли. У молодой жены Выпоркова дочь родилась, назвали, как и мать, Александрой. На Белый Остров когда пришли, избывая муки все,— десять лет девчонке стукнуло.

Вера, как тесто,— без рук, без ног, а ползет. Разговоры да мысли, молитвы да пост — а оказывается: епископа истинно православного нигде нету, не фартит. Без передачи апостольского благословения тоже не фарт. Не фарт и то, — все епископы остались с антихристовыми слугами. Осталась одна надежа: второе пришествие Христово... Со дня на день ждали... Ну, и решили — какие надобно таинства делать пока самим. Мудрец такой великий на поморье жил, Денисов, поддержал тоже: «Мол, крепитесь, а самое великое таинство — брак — да будет пока сходным...» Запутались в мыслях, будто перекати-поле в самом себе.

На холм высокий, зелененьким мохом обросший, вышли. Видная такая чернь — тайга, и «горбач» беглый здесь не бывал, на что он пронырливее всякого зверя. А на восток видно через речушку безназванную — топи, кочки, камыши, болота да скалы. Растут на холме том три маленьких сосенки.

— Отсюда,— машет работник через речку,— начинается та дальняя тропка на Белый Остров. Надо только осени глубокой подождать, пока в болотах кочка промерзнет, стоять будет твердо. К тому времени я всю тропу вспомню наизусть, как утреннюю молитву.

Сел работник меж трех сосенок на мшистом камушке, голову рукой подпер, смотрит через реку на топи и думает. Сидел так он целыми днями, аж камушек, словно монета, стал блестеть,— все вспоминал. Пал снег, валенки его начало заметать. И уже застыл тот снег вокруг валенок, лисица по тому насту вкруг валенок наследила,— думает все еще работник Оглобля. «Жив ли?» — раскольники беспокоятся, а боязно потревожить: лишиться может совсем ума от сотрясения вопроса. Третьи сутки так в снегу сидит, не пьет, не ест. Поднялось солнце на четвертые сутки, мороз ударил — аж затрещал лес. И тогда работник Оглобля поднялся.

— Вспомнил,— говорит,— все тверже утреннего начала...

Молитву, какую полагается, спели, тронулся обоз. Подле трех сосен, у самого Работничьего камня, тихая жена Александра стояла. Проходили мимо нее возы. Триста их насчитала жена Александра. Затем самым молодым раскольникам и говорит:

— Пойдете вы позади всех и будете вы ровнять снег, чтоб не было ни следов, ни колей, ни памяти людей, не было ни дороги, ни троп, один снеговой сугроб! Замкните ворота таежные. Спустите засовы болотные,— и заклятье положу я на ту дорогу.

Так и сделали.

Пришли обозы к Бело-Острову на пятые сутки. Поляны снежные выше за березовыми дубравами, чьи стволы белее снега. Виднеется гора. Пещеры в ней темнеют жерлами, борются в пещерах тех медведи — перед спячкой. Воздвижения еще, значит, не было... Камни вниз швыряют с горы — забавляются, летят те камни, чисто птицы. Людей медведи увидели, заревели в голос, свой срок жизни на острове поняв, обнялись и попарно так остров и покинули.

Боялись сначала раскольники все царевой волны вслед, а потом поняли: на недоступные холодные воды вышли. Вывели кельи, молельный дом срубили из кедрового дерева. Устроили собор, и на соборе том киновиархом мирную жену Александру избрали. Дале, по наказу

поморского мудреца Денисова, разделились: «могшие вместить» ушли на гору, прозванную Благодать, в пещеры, схимниками-пустынниками, наставниками-начетчиками... Живи, дескать, в пещерном мешке, понимай, дескать, что жизнь эта есть мелкая ступень к будущей жизни, что есть нескончаемая лестница. Хо-олодная лоза!.. А кто не мог вместить, поселились ниже, на полянах. Срубили дома, пашни подняли, бить птицу и зверя стали. В домах жизнь тоже не лучше пустынников: ни смеха чтоб, ни возгласа. Тишина, сумрак да ладан. Унынь. Чуть что провинился,— пропишет наставница несколько лестовок, а в каждой лестовке сто поклонов. Считай богов в молельной бане...

Вышел еще обычай. Сначала из-за волков: замучали волки. Ружья и порох понадобились. Собор сбирался в декабре, избирал трех охотников да пятерых глупцов-силачей на место лошадей: дураков от пустынной жизни много рожалось. Шли те охотники — лыжники да глупцы-таскуны-кочерыжники к Трем Соснам. Зыряне-промышленники, воры-купцы встречали их там. Меняли порох да ружья, железо да старые иконы на меха и мамонтов клык. Зырянин, стерва, дуванщик, из огня одетый выйдет: жили-существовали на ту раскольничью мену целым селом Черно-Ореховым. Избы себе кирпичные под железной крышей сбахали, завели граммофоны — и молчат. Дрожали носы не одного десятка приставов: собака чует — неладно, трясет погоном, а взять не может. Дивовался народ всей Тобольской округи, до чего в охоте везет черно-ореховским зырянам. И соболь, и бобер, и рысь, и мамонтов клык, а белка дешевле мыша. «Черт помогает»,— решили.

Волчье гнездо это, пустынь белоостровская растянулась на три версты. Вверху, подле еланей, в пещерах схимников-пустынников не счесть сколь живет; спускаются вниз избранные на соборы только. Киновиархом, из жизни в жизнь, избирают род Выпорковых, от жены мученика начатый. Вели они жизнь суровую, пустынникам в науку, больше одного дитяти не имели, если сын — Александр, Александра — дочь. Как исполнится три года дитяти, мужик-отец в пещеры уходит, а жена киновиархом и хозяином остается.

Да-а, не знаю, ели ли они шаньги, булки такие есть со сметанной намазкой,—а я люблю... Я на них не сержусь, думаю — по праздникам разрешали...

Что и говорить, народ чудной. Родилась однажды у Выпорковых дочь. В день рождения, по обычаю, полагалось — вкопать на полторы сажени бадью меда. Первый выкоп бадьи — в свадьбу, второй — в похороны нареченного. Александрой, как водилось, нарекли. Опускают пятидесятиведерную бадью в яму,— на ней обруч и лопни. Делали обручи для случая, бадьи-то долбленые были. Обруч лопнул (кузнец-то слабый был и шатун-лодырь). Затрясся отец, блажной был, вроде провидца, Платоном звали.

— Худо ли, худо ли, худобушка!.. Не вынимать ей бадьи ни в свадьбу, ни в похороны... Сгниет бадья, пропадет бадья, не пускать туда ни ковша, ни ведра... Худо ли, худо ли!..

Не выждав положенных трех лет, в пещеры к схимникам-пустынникам в ту же ночь ушел. Думал — грех сделал: с бабой поспал. Виденье ему в юности такое было — не спать бы с бабой. Красавица была — польстился.

Молился Платон в пещерах неустанно. Большим почетом пользовался, ходили многие за советами,— сам он двадцатый год в поляны не спускался. В день съедал сухарь, малую чашку воды выпивал.

На двадцатый год его подвигов — хоть вокруг острова топи да гнилое дерево, лихоманочный комарь тяжелей грабителя,— уродилась небывалая рожь: в закрома не влазит, стоит в скирдах необмолоченная, да и молотить некому. Руки и цепы поотбили. Собрался в декабре собор. Старуха, тихая жена Александра-киновиарх в стуле сидит, на котором лохматые собачки вырезаны. В горнице тишина, благолепь, прокажено ладаном. Старики на лавках, в бородах у них от старости плесень да паучки бегают. Говорит им благочестивая старица Александра-киновиарх:

— Допрежь, чем послать охотников-лыжников да Марешку-охальника к Трем Соснам, хочу сказать я вам немудреные слова, старики и схимники-пустынники... Глупые мои слова, бабьи, может, и слушать их не будете...

— Говори, матушка, говори, кроткая...

Александра-киновиарх строго всех оглядела, Марешку особо. Марешка — главный зверолов — «маз» был. Знал тверже всех тесь к Трем Соснам, окаянным его прозвали: в кои-то веки, тридцать лет назад, соблазнил-

ся понюхать у зырянина-купца табаку. Марешке теперь лет семьдесят, а стоит в дверях — чин блюдет. Забормотал и он вслед за пустынниками:

— Говори, матушка...

Тряхнули бородами старики: такой не поперечишь. На што дочь — зверюга, а трясется подле двери соседней горницы. Старики все ж говорят для близира:

— Конечно, надо обсудить... Надумали что? Кто знат...

— Надумала,— отвечает им тихая старица Александра-киновиарх,— для продолжения киновиархского роду дочь свою Сашу за Гавриила-юношу Котельникова к сводной молитве подвести... Твердый и святой крепости он человек, и душа благоуханная и чиста, яко черемуха...

Потрясли старики бородами, друг к другу чинно наклонясь. Святость святостью, а Гавриилу-юноше Котельникову доход от этого брака, как самовар — беззаботный.

Не устояла на стреме Саша. Звериным воем изошла. Порвала перины, карточное одеяло на полу, пух перинный в слезах плавает. Тверд был, верно, в вере Гавриил-юноша Котельников. Молитву клал усердно, а на пещеры не очень заглядывался. Может, поспав с молодой женой, позже и в пещеры сбежал бы: крепок был душой, как кремень, а телом — как веник. А может, тисками да щипками умучил...

Идет коли Саша по деревне к изголовью острова, где мель и бывает такой разбой: вода речная разделяется на два рукава, и перед изголовью, перед желтым песком синее волнение блещет,— идет посидеть на коряжине — в деревне будто парад. Глядит она в землю, а ресницами будто тень на душу кладет... Кому вдруг середь лета сани понадобятся, бежит к соседу — ее встречает, кто потерял кнут, кто и в молельню захотел. Взглянут на грудь, на сарафан — руками разведут. Не спят трое суток потом... Не девка, а яруха.

Старики пошевелили языками, как гряды в затопленном огороде. Повела бровью Александра-киновиарх, как коршун крылом,— старики в один голос говорят:

— Делай молитвы на сводный брак, будет роду твоему благочестивое продолжение...

Отпустили Марешке и лыжникам сколь полагается соболей, рысей и прочих шкур. Старица Александра-киновиарх наставление напутственное прочитала. Каждогодный наказ Марешке — к табашникам близко не подходить. Отвечал ей Марешка, поясно кланяясь:

— Победим диавола, матушка наставница, перепрехом...

Вышли тихонько сборчатые кафтаны за дверь, еще тише в избе стало. Слышит шорохи и стоны старуха... Дочь вся в пуху лежит, не знают как и помочь ей гостиничные девки. Саша на мать глаза подняла: сразу прошло желание сказать, что — не хочу за Гавриила-юношу Котельникова.

— Голова недужит?

— Ой, недужит, матушка, сильно недужит.

— Пройдет. На перинах не спи, положи две лестовки, пройдет. Да порадуйся: собор разрешил выдать тебя за Гавриила-юношу Котельникова. Спорить мне с собором где? На масляной свадьбу сыграем — надо мне наследника: видения смертные вижу, умирать пора... Женихом довольна?

— Довольна, матушка.

Посмотрела старуха на разорванную перину, в клеть до свадьбы велела убрать, Саше на кошме спать. Старуха за скрепы, а у девки опять зенки в слезах. Пащенок, а не дите,— воет, кошму ногтями царапает. Никуда не уйти, в воду не броситься, а как вспомнит ноги жидкие Гавриила-юноши,— под мышками вода холодная потечет.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Юрцованили» охотники-лыжники с Марешкой много раз к Трем Соснам — все надивоваться не могут. Маленький такой, черныш да загорыш, как чугун, стучит клюкой по деревьям, белкам подмигивает, смотрит все в пол, «маршрут» — бурак с припасами плечиками поправляет, и нипочем ему тайга и чернь, скалы и топи. Ближе к Трем Соснам — Марешка все веселей. Знакомо кругом, будто в табакерке.

Марешка зырян не любил: нажили на нем не одну «косулю сары», подушки себе в санях завели для мягкости. И то ведь — горносталей нипочем хватают, как белье на чердаке. А отойти в сторонку, согрешить, та-

бачку понюхать, щепотку в сапог всунуть, побусить чайку — с зырянами любо.

— Дяденька, табак нюхать будем...— хохочут по дороге над ним глупыши-тянульщики.

Марешка брови нагнет, строгости — прямо старица сама.

— Вот заставлю лестовку считать...

Прошли они топи, камыши положенные перед Тремя Соснами на реку, так и до сих дней не названную, выкатились. На холме, словно из заморского чудесного камня, три дерева корой блестят, посредине работников раздумный каменный стул, и на нем сорока перья чистит.

Лежит по всей поляне снег нетоптаный — одни сорочьи следы. Бывало, раньше костров сколько зыряне нажгут: жадный народ, приедут раньше срока дня за три, боятся — барыши б кто не перехватил. По ту сторону полянки стояла избушонка такая, вроде баньки. Мену кончат, натопят баньку, попарятся. Охладится банька, на тех же полках — спи.

Баню протопили, пересказал Марешка свои непотребные сказки,— артельный чудак был. Сказки грешные, да ведь в походе и раскольникам многое спускалось. Зырян все нету. Хоть бы на сердце для легкости метель. А то — тишина. Белка по ветвям скачет, как по струнам,— такая голосянка. За пять верст слышно, как медведь в берлоге дышит.

Вот говорят — не играют трусы в карты. Марешка был трусишка, всей его жизни назначение — собачий нюх, а довелось ему в большой игре участвовать.

Стоит Марешка, с легкой «раструской» душевной, медвежье дыханье слушает. Взяла и его под конец оторопь, хоть и знает тайгу, как свою рубаху.

— Господи, спаси и помилуй, пронеси такой прислучай мимо моего двора...

Еще три дня обождали, а чтоб идти дальше, за Три Сосны, в помысел никому не пришло.

— Чума. За грехи на мир чума пришла. Пошто иначе зырянам не прийти. Чудом мы сохранились...

Вытесал он, на случай, на сосновой коре раскольничий — дескать, были — крест... Еще немного обождали. Вздохнули, большой начал положили и пошли обратно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вот в Тобольске и находился тогда губпродкомиссаром этот самый Васька Запус. Претерпевал он многие штуки от своего сердца: любовь ведь, как темная карта — рубашкой вверх, кто знает, что она сулит. Тут не поможет и шулерство. И мешает опять-таки: ученому — в занятиях, партийному — в революциях, жулику — бестюремную жизнь вести. Одно понятие о ней — темная карта и каюк... Вот, возьмите, мое существование, гражданин...

Ну, эти всякие разговоры — хрящи, а не мясо. Значит, так.

Распоряжение вождя Ильича о нэпе еще не произошло. Я не вдаюсь в рассуждение различных действий: мало знаком. Я отношусь к жизни фактически, а по моему фактическому воззрению — «тырба» на добычи была и «слима» — дележечка. Из верхних и нижних карманов брали. Так и надо, не зевай.

Вот, значит, сидит в тобольском своем кабинете Васька Запус. Конечно, в валенках, рукавицы, для случая, рядом на столе. Вместо колец на руках телефоны. Собой: «моргаи» голубые, «сапай», как спичка, тонок, «хватай» красный, а на «острове-кивале» — золотая трава. Прямо хоть в песню.

Шофер снизу ему по телефону: кто-то бензин последний спер, надо шоферу для сварки лопнувшей части бутылку спирту. В хорошей шубе комиссару ходить не полагалось: скажут — спер. Поедала тогда шубы моль, ворам и то воровать их было стыдно — вроде мертвеца. Запусу в полушубке козлином на санях в заседание ехать — застынешь. Появляется тут секретарь, услышавший злые разговоры. Секретарю что? — чин большой, сам беспартийный,— он тулуп носил и к тому же пуховую фуфайку.

— Вас там, — докладывает, — зыряне, по кулацкому сознанию от разверстки отвиливающие, желают для длительного разговора иметь.

Воззрился в его стекла Запус, пуховую фуфайку потряс.

— Гони их шире! Пускай разверстку платят, приму тогда.

— Никак невозможно. Дело, говорят, первосортное.

Примите, пожалуйста, вне очереди, как международных делегатов.

— Да ты взятку упнул?

Замахался секретарь, негодуйно покраснел. В такое-то великое да расстрельное время — взятки. Сказал Запус грустно так:

— Вокруг советской чашки, будто вокруг волчьей ямы с булавами. Видно, пристрелю я тебя как-нибудь на досуге, любимый мой секретарь... Эх, разволновался я, давай сюда зырян-кулаков.

Зыряне все в барнаульских длиннеющих тулупах, красными кумачовыми опоясками перетянуты, шапки с плисовым верхом.

— Эх, вы, щетки-гребенки, граждане, что ж вы налогу не вносите! Знаете — идет борьба не на живот, а на смерть на всех фронтах за социальное отечество... а с вас надо «старабачить» каких-нибудь пять тысяч белок. За такие дела-то... да со мной, «не картавь», я по «херам» говорить могу.

И понес он завяжи горе веревочкой...

Прерывает его самый красивый старик. Руками развел плавно, повел наикрасивейшую речь. До красоты Запус страдание всегда имел.

— Гражданин комиссар, белка — птица хитрая, а соболь среди всего зверя — как козырный туз. Сколько мук азартного игрока потерпишь ты, допрежь ему в глаза попадешь, чтоб не портить шкурку. Мы тебе соболей в козках добудем: это значит — шкурку снимем без продольного разреза, будто рукавицу. Мы тебе соболя в пластинах принесем: это значит — с боковым разрезом, брюшко и хребет цельный мех. Мы тебе... А только на войне наши души поизносились, дрожат наши руки, будто у картежника барина-угнетателя, проигрывающего свое именье... Трудно теперь соболю в глаз бить, много тратим усилий и пороху. Обнищали, захудали, посуда у нас чуман из березовой коры — где теперь чугунок достанешь? Жировики жгем с салом. Вот и надо нам для сбора такого налога в пользу комиссаров и отечества никак не меньше восьми чистых пудов пороху...

Отвечает, до слез пробитый теми красивыми словами, Васька Запус:

— Дорогие граждане, вы мне рыжики — золотые слова не подкатывайте, я сам на колесах хожу. Как же

это восемь пудов пороху, когда по всей губернии, что размером с Францию и Германию, вместе взятых, всего девять пудов охотничьего пороху, не считая милиёнов патронов, которы мы всегда рады направить против врагов советской власти и всего... да... Надо вам столько пороху для поднятия восстания и наглого кулацкого бунта.

— Гражданин комиссар...— возражает ему старик.

Но тут прервал его Запус громким голосом:

— Я тоже ел миноги и баклажаны, а вы идите, красивый старик, к матеровой матери. Устал я от автомобилей и спецов-секретарей... Беру я непродолжительный отпуск, беру свой верный отряд матросов и еду в ваши кулацкие селения мощными словами выяснить обстоятельства порохового дела.

«Ну,— думают зыряне,— спознались с корюшкой (палачом), не миновать нам кряковки». Ведь сотни лет лежали они на полатях, ляжки у баб щупали. Ружьишками, для блезиру, больше на уток промышляли. Перед глазами все сизая утиная цель в воде. А вдруг вздумает веселый комиссар экзамен — как, мол, стреляют. Черт ее, белку-то, на вершине найдет. Кабы собака, а собаки все на уток учены. А коли веселый комиссар произведет учет ружей — их на все село три. Скажет — попрятали ружья. «Амба», конец зыряновским полатям.

Собрали зыряне наикрасивейших баб и девок. Застольные песни велели вспоминать. Заготовить три мешка пельменей и Запуса у поскотины — у околицы «зенить, стремить». Пошли сами в лес, в землянки, самогон варить и придумывать такие красивые слова, чтоб насздить Запуса в своей любви к советской власти и губпродкому.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Вернулись лыжники от Трех Сосен тощие да бледные, как лен. Взад-назад сами на себе ведь сани тащили с мехами: лошадей в те походы не полагалось, считали — выдать может неразумная скотина заколебавшегося в древлей вере. Марешка трясется: мантов (плетей), а то и в бугры (пещеры) угодишь, спасайся там. Не помогало и «перепрехом» слово.

Как увидали Марешку раскольники, узнали про исчезнувших зырян, — буза поднялась по деревне. Прут,

у выпорковского крыльца все стропила пообломали. Голосянками заходили по своей «музыке»:

— Без пороху, братие, будто без стомика.

А стомиком называется брус такой деревянный, его в углу печи приделывают. Верят, что без стомика печь развалится, а по-моему — брешут.

— Не всегда ж на рыбе жить.

— Богохульство брось! Мясо не нужно — чугунки, железа нет. Сено косить нечем...

— Брат, во что порох ценишь! Про волков забыл, про видмедя?

— Нужен тебе видмедь, коли сам всегда на бабе виснешь. Соболью опушку на кафтан захотел для прельщения.

— Сам ты плисовый кафтан во сне видишь, кикимора!

— Пес поганый!

— Ирод!

Началась тут трескотня. В эту пору из-за угла выходит Дионисий-схимник, начетчик и наставник, обходительный человек. За ним идут другие, спустившиеся с горы пустынники. Собор внеочередной. Наложил схимник на смутьянов-спорщиков большой крест.

— Дьявол смущает вас, жгет, будто пал-траву. Положите подите перед иконами по лестовке,— пройдет. Какое пороховое зелье человеку, для чего оно ему?.. Огнь адский и так тяжек,— для чего прибавлять грехов. Без пороха надобно жить, кротостью, да тишиною, да молитвой. Плюнь на мир антихристов, плюнь да забудь...

Вот опять собор сидит, трясет бородой.

— Кто тебе, Марешка, про чуму сказал? — спросила тихая старица-наставница Александра.

Марешка со страху будто гриб-дождевик склизкий.

— Следы... следы...

Видят — до грани струсил мужичок, глазами водит из угла в другой. «Звонка» нету, чтоб подсказать.

Понимает собор — дуга, оправочка-то хворая.

А другого подходящего лыжника-водителя нет, кроме Марешки.

— Поди домой, Марешка, неделю бей пять раз в день начал по семь поклонов...

Вздохнула.

— Днесь благодать святого духа нас собра, днесь надо направить к Трем Соснам...

Но тут пришлось ей повыше голову-то, платком темным укутанную, повыше поднять. Тряхнул веригами, а вериги те от одного схимника-пустынника к другому по наследству переходили.

— Плюнь на мир антихристов, матушка-наставница, не посылай туда никого. Прикажи птицу ловить кротко, силками, волка — ямами да самострелами, как деют то язычники самоядь. Пошли Марешку срубить Три Сосны, а потом в пещеры под начал ко мне пусть идет, грехи замаливает. Забыть надо грешный мир... чадо антихристово — рождается каждый день и час: грех и блуд прозываемый — треязычный Аполонзий...

Подтянули ему в голосе против киновиарха другие пустынники, Митрофан Голодун по прозвищу, Стефаний Радостный, Петр Благовестник. Да где нхиим легким ковыльным голосом побороть поднявшуюся с лавки тихую старицу Александру.

— Полно, отцы святые, как муха-баба, в горницу влетевшая, крылья о потолок ломать. В пещеры-то вам хоть и малый, а запас нужен. Запасы-то селяне внизу добывают. Воды-то здесь студеные, работа тяжелая,— как при такой работе без железа обойтись? Землю суком ковырять не будешь. От волка ямами не спасешься. Окаянный блудник Марешка ничего доподлинно не узнал. Зыряне небось у Трех Сосен ждут... А коли не ждут — послать к ним, в мир.

За спинами старцев кедровые стены даже колыхнулись.

— В мир?

— Узнавать про мир и что там доспелось — пойдет Гавриил-юноша. Сосуд сей хоть и юн, но мудрости полн, тверд и древлекнижне, яко губа заморская воду, в себя впитал. Так ли?

Церковь не сеть — плетена в сто узлов, а — в тысячу сердец. Однако ж, будто сеть, тряхнуть может ее пастырь мудрый.

Схимники только робостно веригами звякнули на те слова.

Преклонил тощую выю перед собором Гавриил-юноша, Марешка скорбно стоял у крыльца и думал: как ему с таким хлябалем идти.

Саша-то, дочка киновиаршая, поспать, покушать да попрыгать любила. В горницах-то тишина всегда, ладан

да унынь. Собор — старики, а все веселее — хоть шаги слышно. Хорошо она угощала соборы.

Гавриилу-юноше говорит перед отходом:

— Ты там хорошенько смотри, в миру-то, подробно рассказать все чтобы...

Долго смотрела вслед. И нет метели, а кажется ей — метель подымается. И жалко и радостно. Постыл, леший, а кого еще? — все они на одно лицо. Лица синие да гнилые какие-то, будто дряблая береза. А тоже в мир понеслись, как желтые листья, на шарап...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Галкин вдруг вспрыгнул. Братец Иванушка давно спал, сестрица Аленушка тоже, видно, устала и вздремнула. Сны, как видно по бесстыдным ее глазам,— беспокойные, горячие. Такой же сон и сейчас, должно быть, ей привиделся. Метнулась она яро бедрами — и вскинутая юбка освободила крепкое розовое тело. Галкин исступленно посмотрел на меня — заметил ли я, не дрогнул ли. До этого я все ждал, не проговорится ли Галкин, какая ж специальность и какие термины из всех, которые он при мне употреблял, ближе его ловким рукам. А тут увидал я, как глотает он слюну, в платок харкает, словно выхаркнуть хочет свою душу. «Сгоришь ты подле такой церкви, Галкин»,— подумал я. Жалко мне его стало.

— Человек из-за любви в игре козырей забудет или с руками, полными козырей, колоду возьмет да и пересдаст.

— Так ведь вот со мной-то и бывало это! — воскликнул Галкин.

«Шулер»,— узнал я. Узнал, и еще жалче мне стало его.

— Здоровой девке много ли для успокоения надо,— сказал я.

— Меня девка и не интересует, гражданин. Девка, Сашенька, скажем, много что с тела сойдет, если ничего не выйдет. А герой может и жизнь и счастье потерять. Я вам сейчас о Запусе буду рассказывать.

Въезжает Запус со своим матросским отрядом в зырянское село. Баба наикрасивейшая с ведрами навстречу идет, смотрит на него от всего нижайшего почтения.

Шубейка распахнута, качаются под кофтой телеса, как ведра с водой. Аж лошадь под Запусом подпрыгнула.

— Какие бабы-то на воле бродят,— говорит он.

Лошадь к ней повернул, а она вдруг в сторону шарахнулась, ведра на пол. Из-за сугроба рядом вылазит прямо на нее жидкий да большеголовый, как безмен, человечек в подряснике. Увидал церковь, сначала перекрестился двуперстно, а затем, разглядевши, сплюнул.

Запус с коня, маузер — к уху.

— Кто ты, слепыш, и откуда ты, контрреволюционное отродье?

А того больше маузера сапоги щегольские лаковые (Запус их перед самым селом надел, а то все в валенках ехал). Глаз не спускает.

— Свят, свят... табашники, никониане...

— Или долгов много, или дурак. Кудрявку-бабу испугал. Забрать его, товарищи! Такая харя только и может руководителем кулацкого восстания быть.

Зыряне, как увидали раскольничьего начетчика, и на кудрявку-бабу с персидскими бровями надеяться перестали. Пробрало их с дробью. Раскольничьи доходы жалко терять, да и перед страхом — то ли согласились бы потерять. Страх хоть не тело, не дух — с крыльями, а и на нем к Бело-Острову не улетишь. Ждать, чтоб налетчик-вертун дорогу показал... знали они раскольничью твердость.

Занял Запус ту избу, куда красивая баба ведра понесла. Оставил ее с собой для ведения хозяйства, караулы пустил вокруг. Пойманного — с собой рядом: узел восстания, дескать, в нем, и начал вести красивыми словами допрос. Тот только дыхалом: «Господи, помп, госпоми...» А когда Васька закурил — грянул псалом.

— Ты мне вола не крути, я белогвардейскую хитрость с мясом прошел насквозь. Объясни, пожалуйста, что ты за талыгай и где могла, от какого паука такая рожа родиться? Смотреть на тебя жохомно.

А начетчик, знай, псалмы тянет.

— Хорошо, что я в следователи не угодил, зря б паек жрал.

Плюнул Запус, пельмени начал есть, хозяйку, как бумажник свой, прощупывать. Безменный человечек в подряснике смотрит на пельмени жадно, голоден. Отворачивается от запусовых щипальных шуток — и никак не ест. «Экая, будто окорок, красивая твердость,— поду-

мал Запус.— Пельмени даже не ест». Положил рядом с собой начетчика, чтоб не убег: на улицу ли, к кудрявке-бабе ли. Ревнив был Запус, как турок.

Спать.

А ночь-то душная: печка пышет, на голбце баба мясами горит. Ждет Запус своего часу и никак не может понять — спит его безмен или нет. К полночи так, поднял Запус голову: будто храпнул подрясник. Васька ноги с лавки, тело сразу затвердело, будто корень.

Прислушивается, а тот бормочет, как в табакерке, тоненько так.

Васька было — к голбчику, к бабе. Но победила революция. Решил минуту послушать сонное бормотание. Наклонился, со рта подрясник тихонько стянул,— запах из рта паршивый, гнилой.

Из пятого в десятое разобрать можно. Бормочет: «Братия, Белоостровье, тихая обитель... спасители веры истинной... матушка-водительница... Сашенька... Приду... приду... разузнаю, разузнаю... принесу... принесу...»

— Белоостровье...— сказал Запус.— А чтой-то такое за Белоостровье?

Да как тряхнет этого чудака, как пивную бутылку.

— Белоостровье, что оно?

А тот спросонья и заори:

— Ждут!..

Запус — маузер за аркан, хозяйке-красавке к уху:

— Веди сюда немедленно самого красивого... с бородой!

Караульные долго хохотали бабе вслед: бежит, шуба надета прямо на рубаху, а рубаха задралась выше колен, сыра да тесна, — тело-то как яичко.

— Прихватил! хо-хо!.. От него побежишь!

Заиграл у зырянских бород Запус стальным чемоданом:

— Тут вам не кругалку-репу глодать, граждане, тут революция... Ведите на Белоостров, к штабу контрреволюционеров, прямо наш матросский отряд. Красивый человек назначение жизни, как морковь, понимает. Ты, красивый и красноречивый старик, будешь у меня за главного спутника... Выменивай свою жизнь, а то конец ее назначению... не за иголку в бороду все шесть пуль шмякну!

Красноречивый зырянин так и плюхнулся на лавку, как булка. Расстегнуть у рубахи ворота не может.

— Мы ж тебе пельмени... мы же бабу... а в Бел-Остров дорога нам известна до Трех Сосен, а дале тропы раскольничьи, по тесь, по скрытым приметам.

— Мы без суеверий, у нас на все прогноз. Натягивай теплухи и веди! — сказал Запус, аркан вокруг маузера заматывая.— Веди пока до этих самых Трех Сосен, а там разберемся... А бабу вашу я не загорбил, не нравится она мне, телом жидка и вообще сварлива.

Неизвестно безменный человек сам на лошадь не сел, пришлось его привязать веревками. Да и лошади скоро не понадобились: тайга, снега глубокие, как море. Матросы, понимавшие в лыжах, с Запусом, а безлыжные в село вернулись. «Похлился отряд на стуках»: значит, пешочком, своими ногами, с мешком на горбу.

Запус весь в наблюдении за безменным человечком, отставать тот норовит, пошатывается.

«Экое упорство,— думает Запус.— Может, действительно, не штаб там белогвардейский, а монастырь». Спросил красноречивого зырянина, давно ли па острове раскольники и много ли их там.

Уксусно отвечает ему красноречивец: раскольники живут давно, и много их наплодилось. Тысячи, а какие — неизвестно.

— Сеют?

— Будто сеют.

Запус тотчас же велел замки винтовок проверить и посожалел, что не захватил с собой пулеметную чертоплешину.

— Тем более, если сеют. Хуже заговора: почему не платят продразверстку в напряженные моменты?..

И понес...

А собаки зырянские в снегу катаются. Говорит Запусу красноречивец:

— Метель будет.

А Запус весь в расчетах — сколько же можно продналогу собрать с раскольников? Может, их там целая волость.

— С десяточек бы нам таких островов пооткрывать, с честью бы мы тогда по всей губернии продразверстку выполнили.

— В карты играешь, а мастей не знаешь,— упреждает его зырянин.— Собаки катаются, метель будет.

— Не буси, ты на собаку не смотри: что она — умнее человека? Вот кабы барометр... мог бы безусловно поверить.

А безменный человек, услышав про метель, успел улыбнуться. Запус ту улыбку не видал, но по дыханию понял.

— Ты, гражданин, хитрость-то брысни, не сласти мой сахар. Думаешь — метель нас возьмет. Шалишь! Теперь даже всемирный потоп будь, я вас с вашими овинами под морем найду. Все топи и болота мелиотирую, леса повырублю, «больше широва, тем склешевей». Так живем...

Хвастливые слова на безменного человека — как залежалый и праховой товар.

Тогда сказал Запус:

— А известно ли вам, гражданин, что в России скоро десятилетие советской крестьянской власти и давно царь свергнут? Что Россия без царя живет?

Человек встрепенулся, потянулся к Запусу. Тот велел путы ему развязать. Будто впервые разглядел человечек на шапке Запуса красную звездочку. Начал чудить.

— Христос, Христос, звезда вифлеемская, осанна...

Староверы — народ сплошь иносказательный, понять такого где веселому матросу.

Закурил лишний раз Запус.

— Там, на местах разберемся. В речи какой-то блезир, а вообще-то черт их разберет!

Хотел, видно, безменный человечек порасспросить, что-то забродило в нем: две тропы более кратких показал даже, а там скрытость кержацкая победила, опять стих и псалмы загнусавил.

Скоро побежала среди мелких сосенок поземка, лыжи стала засыпать, валенки. Поднялась выше, и маковки сосенок скрылись в снег, будто вор в удачную кражу.

— Метель,— сказали зыряне.— Влопались мы.

— А далеко ли до Трех Сосен, граждане?

— До Трех Сосен, товарищ, пять часов еще ходу.

— Труба! Кроем! — и кинулся быстро вперед Запус.

А где ж было успеть...

Как ударило по верхушкам кедров, как засвистало, сугробы из-под ног валами вверх пошли, а ветки кедров будто по ногам ударили. Снег аж синий сделался — никогда такого снегу Запус не видал. Прислонился

к стволу, на минуту ошалел даже. Вспомнил раскольника-начетчика, закричал:

— Вяжи его, сукина сына, убежит!

А безменный человечек успел лататы задать. Унесло его от них, как снежинку.

Держась за вожжу, кинулся Запус в метель, весь маузер разрядил. Пустой вернулся к товарищам, что хороводом вокруг дерева.

— Достану, пускай только стихнет. Не быть мне продкомиссаром, если не достану.

Зыряне — народ смышленый, вынули топоры, кедр срубили и полезли на него — в ветвях сидеть удобнее, высоко, снегом не занесет. Просидели такими воронами сколько, не знаю, часов. Лыжи к плечам привязали, жуют сухари. Мести — мети, тайгу ведь не сметешь — по снегу идти все равно: саженью ли выше, саженью ли ниже.

Метель кончилась, следы начетчика унесла с собой в кармане.

Запус торопит свой отряд к Трем Соснам. Думает — перехватить начетчика. Награду обещал: снять продразверстку, кто первый прибежит. Зыряне и вдарили, пар столбом от них, рожи алым-алы, тело сухое, а они наклонятся кой-когда, бороды снегом помочат и дальше. Выбежали к Трем Соснам.

Поляна чистая, снежная. Посредь Трех Сосен камень, на камне сорока сидит, перья чистит. Был ли, нет ли человек — разве сорока скажет?

На запад от холма, в толоконниках сугроб большой виднеется, идет пар из какого ни на есть отверстия, будто из медвежьей берлоги. Начали копать, докопались — землянка. Снег от дверей откидали, и сшануло в рыло им банное тепло. Камни в каменке горячие, стоит на столе туес с просой, и рядом — рукавица.

Запус эту рукавицу — будто злодея за горло.

— Здесь он, поблизости! Я этого Сусанина схапаю, он у меня получит в лоб свинцовую разверстку!

И такая морда стала, даже матросы со страху заморгали. Зыряне — хоть в каменку. Проморгались, а от Запуса только след по камышам. Видно — здесь грудью камыш растерт, здесь расшвыряи, а там ногой упирался.

Зыряне в камыши идут нехотя, все липнут друг к другу, как старые карты.

Сумерки надвинулись. Пришлось вернуться в избушку. Костер зажгли. Стреляют по очереди в воздух.

Поземка вновь.

Зыряне трясутся: заметет следы, кому отвечать?—им.

Кинулись в ночь.

Шарят.

Воют.

Нет Запуса.

Пропал Запус.

Заблудился! Конец его красоте!

Весь день метались по камышам, следы занесло, камыши и так спутаны, как волосы от долгого сна. Где тут разобраться? И верно, пришлось ответ держать зырянам перед матросскими шинелями. Постреляли матросы весь запас в воздух; по пять патронов когда осталось, стабунились они в злобную шайку, сказали зырянам:

— Затырили вы, халдеи, нашего командера, Ваську Запуса. Вся эта лавочка вамп подстроена, нету у нас теперь индивидуального террору... как поляки Сусанина убили. Берем мы вас, кулаков-богатеев, под пролетарский суд в заложники.

И наикрасивейшие зырянские бабы не помогли: от баб матросы не отказались, но зырян всех, у кого в селе Черно-Орехове было в избе более пяти окон, увезли с собой.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Урожались и на Белом Острове постельные девки-дряпки. Только их по соборному слову в такие места ссылали, что через год— клади в колоду да на кладбище. Мужики каялись, что тревожили сердце на таких мордоворотах. А тут вдруг появилась дряпка Авдовка: собой невеличка, а в год почти со всем островом переспала. Сослал ее собор, через положенный срок вернули, думали — сгнила на гольцах-то, в рыболовных промыслах. А ее па тех гольцах расперло вдвое шире, щеки крепкие да быстрые на улыбку. Прямо красная рыба. Поселилась в хатенке своей, ходит в темном, платком укуталась — глаза да нос видно, у наставников молитвы берет. Смиренница. А в хатенке от мужиков проходу нет, порог броднями стесали и пропахали все пазы в избенке едким, до жжения глаз, блудом.

Видно — темной ересью запахло в селе.

Имелось в горах, за березовыми дубровами, било чугунное. Из Перми предки привезли. В столетие столь вызвонилось, — как ударят, так словно стеклышко покатится по всему Острову. Вставали бабы по тому билу на доение коров. Ночью, слыша его, с умилением вспоминал народ о молитвенниках-схимниках.

Утром раз проспали бабы вставальную пору.

И в обед и в паужин молчало било.

Разговор появился: расспорились будто схимники — слово придумали. Какое слово — никто сказать не мог, даже и догадываться боялись.

А в паужин встретила дряпка Авдовка у поскотины, там, где идет дорога в скиты (и зачем ее направило зимой к поскотине — никто спросить не догадался, такая муть нашла), увидала старца Митрофана Голодуна. На камне стоит, благословляет село, лес, суметы, а пещерам грозит. Посмотрел на нее, пальцем поманил. Со страху трое суток не могла спать с мужиками, затвердела и засохла кожа, как у змеи в линяние. Решили — могилу намекает ей старец, а получилось другое.

Прибежал Гавриил-юноша с лыжниками.

Первому встречному брякнул: в Руси царя нет, народ в крестьянской вере утвердился, ходит под вифлеемской звездой, во всем сомневается и — скрытен...

Больше всех обрадовалась дряпка Авдовка. Медовухи достали такой, что небо жжет (своя свадебная, да и многие прочих бадьи выпиты были давно). Блуд в хибарке неудержный пошел.

— Ссылать — так ссылать, гольцы — так гольцы!..

А собору не до Авдовки. Скамьи повалены, шум и гам, схимников-пустынников с горы полную горницу наперло. Кто поет, кто плачет.

Тут Гавриил-юноша хватил себя за бороденку — лишнее брякнул. Главное, сам понять не может: старая вера в миру или никонианская. Зачем народу царя прогонять, если не из-за старой веры. Поверить злотокудрому воину, привести с собой — может, всю почесть выхода из тайги на себя принять. Правильно, что сбежал.

Пустынники — как дети. Перестанут псалмы петь, кричат:

— Осанна, конец мученическим диадемам, восторжествовало двуеперстье по всей земле, прогнал народ антихристова царя и его слуг! Люди Христа ждут, ходят

под вифлеемской звездой. Зелье пороховое отменено и оружие на орала перековано!

Цыкнула тихая старица Александра:

— Опять ничего твердого в вестях не имам. Может, и к нам шел воин Андонисий, может, это и антихристов слуга под ликом Христа. Дельное доспел Гавриил-юноша, скрывшись от воинов. К Трем Соснам сама поеду, познаю святую истину.

В сенях Саша поймала Гавриила-юношу, за перехват выше кисти уцепилась:

— Правда ли говоришь, что древляя вера пришла и в Русь уйдем?.. Реку Иртыш увидим, Пермь-город, Волгу, все, что в песнях поется? Про Андонисия расскажи: шлем у него какой и меч есть ли?..

Гавриил-юноша только рукой отмахнулся,— в другое время и рад бы слово получить, а тут ушел. Хотелось ему, вишь, подражать примеру древлих отцов, киновиархом многих обителей быть, жить вволю. Есть хлеб ячменный, да чтоб ячмень тот рядили чистые жены: у каждого ячменного зернышка скорлупу ножиком соскабливали, чищенные таким манером зерна мололи в особой мельнице. Варили живую рыбу чтоб ему, лапшу делали из топленого молока со снимаными пенками...

Мудрят многие, а мудрецов нету.

До самого отъезда киновиарха Александры ничего не придумал.

Запрягли в росшивни чубарых могутных коней. Туман над горой Благодать поднялся кверху — будет вёдро. На облучок Марешкин ученик-лыжник уселся — сам Марешка прихварывал. Заиграли соколки-грудинки у лошадей, снег засвистал, ямщик гикнул,— и нету в селении старицы.

А в зырянской деревне Черно-Орехово так было: бабы зырянские, на луне избалованные, изголодались из-за войны по мужикам. Не успели вернуться, на полатях расположиться как следует,— тут и увезли матросы мужиков в тюрьму. Печь без мужика сколько ни топи — тело с одного боку жжет. Думали-думали они над постелями, плакали-плакали они под одеялами, отрядили сколько ни на есть баб к Трем Соснам: коли раскольники выйдут, выкупить у них комиссара Запуса или обманом к ним дорогу на Бел-Остров узнать. Сидят отряженные бабы в охотничьей баньке. Попарятся, в снегу

поваляются, чайку попьют и опять ждут. И происходит такое дело. Вкатывают на рассвете к Трем Соснам сани-росшивы, ковром крыты, в коврах строгая раскольничья мамка сидит. Выходит из саней, батог у ней толщиною в завязь руки.

— Правда, жены, что на Русь старая вера возвратилась?

Которая баба похитрее, чтоб в добрые войти, нужное выпросить, говорит:

— Пришла, матушка, пришла.

А самая что ни на есть молодая, по мужу наискучавшая, выскочила вперед:

— Ты, матушка, сколько за комиссара выкупу хочешь? Как к вам поближе на Бел-Остров пройти, сторговаться?

Хватила ее батогом по голове старуха.

— Соглядатаи, антихристовы слуги, кого караулите, кого обмануть хотите?!

И ни слова не говоря больше — в сани, перекрестилась на восток, и помчали обратно ее могутные чубарые кони по камышам да по скалам, будто по облакам.

Бабы молодуху бить, да только толк-то из того какой?

Уехала тихая наставленница Александра, по селу некоторое послабление прошло. Мужики кафтаны расстегнули, не так сдвигают низко на лоб бабы платки. Бывало, не переспишь, из-за смертной болезни в моленью только не придешь. Заглядывала сама в квашни — не скоромно ли; медовуху-брагу пробовала — не очень ли крепка.

Укатала молодежь гору, полила до синевы водой, настроила салазок: масленица и — никаких.

Катушка с горы — прямо на лед, где Саша летом любила по вечерам сидеть. Разбой там у самой изголови острова, вода речная на два рукава разделяется. По ту сторону камыши бескрайние, за камышами топи с медно-ярыми окнами да синие кочки. А на кочках — леший да сестры-лихоманки.

Народ-то, молодяжник, вокруг Саши будто ребятишки: малый, кривоногий, слабый, лицами все болотисты, безбровы и будто безглазы. Она салазки успеет три раза прогнать, а парни и по одному еле-еле, дойдут до

верху катушки: глаза на лоб, лопнуть хочут. Подумала Саша: «На Руси народ-то таков ли?..»

Повыше катушки лесок, за леском елани-поляны, за еланями — пещеры пустынников. Никто не догадается даже, что схимники-пустынники, один от другого прячась, повылезли из келий-пещер, за камнями, за корягами прижались — и слушают, как по морозу к ним девичьи голоса через лес несутся. Колени дрожат, по бородам слюна течет. Пакость!

А Саша глядит это вперед на сугробы, что как волны, на бескрайние камыши, на синие согры за ними да на синий осиновый лес за саграми.

— Эх, и укатила бы я, девоньки, далеко-о!

А тут под ухо ей:

— Лети, Сашенька, вот!..

Гавриил-юноша с салазками, Марешке заказывал, полгода обещал дарма кормить. И доспел же ему Марешка! Полозья шпроки, быдто у лыж, ни в каком снегу не увязнут, а по льду мчатся — посредине выступает шириной с мизинчик дорогая стальная шиночка, по бокам оторочена она, для снежного скольжения, шкурой с ноги молодого лося.

— Дай, Сашенька, я позади поеду. Править буду.

А та в смех.

— Править хочешь? Вот сведут нас на молитве, будешь править. А сейчас голова перевесит, санки опрокинешь.

Подруги смеются. Отшила, выходит.

— Сама править буду! Их, и полечу-у!.. Поднимусь вот как повыше, да оттуда...

К самому лесу почти ушла.

Села. Крикнула. Схимники за лесом соком изошли.

Остался позади черный безмен, Гавриил-юноша.

Платки девушек-подружек мелькнули мимо.

Наледь катушки взвизгнула под шинами санок.

Руки у Саши дубовые, правильные палочки не дрогнут. Лед из-под полозьев звенит, брызги-то холодные да серебристо-синие, глаза порошит.

Быстрее, сильнее!

Платок слетел. Косы по ветру, как ледяная стала коса.

Кончился наливной лед. Конец катушки.

А она — уже на реку! Копна пушистого да горячего снега — в лицо!

Шипит под полозьями камыш, по глазам хлещет, острый такой.

А санки все дальше да дальше.

А Саша-то:

— Так, так!..

Ну, а тут санки— на кочку, Саша — колесом и в сугроб, будто в сон...

Барахтается, валенками пурхается — и, на тебе, вдруг перед лицом протягивается ей на помощь лохматая рукавица. В камышах над ней, на лыжах, с палкой, с котомкой, в остроконечном суконном шлеме, в желтом полушубке — кто?.. а сам исходит мелкой морозной дрожью. Губы алые, а поверх легким ледком покрыты, будто лаком. Говорит, а лед сыплется:

— Кра-а-аса-вица... меняю свою жизнь... как бумажник. Шири-мури, давай руку, подниму.

А где поднять, сам еле стоит. Девку ж ему всю будто часовую цепочку видно.

— Думал мир на шарап взять, а чуть на небо не угодил. По сарафану судя, буду я, красавица, на Белом Острове. А?.. Насчет про-ле-та-ри-ата... Не могу такое слово на морозе говорить, не русское слово. Температуру для такого слова — пятьдесят градусов баня...

А та его видит, на него — словно через ледяную сетку: все лицо у ней в снегу: «Бредит,— думает,— парень-то, изошелся...»

— Ты шары не пучь! Натягивай теплухи, беги! Или доно-си или — хлеба. Жрать хочу! Пять суток по сугробам, за все время — зверюгу какую-то пулей, да и ту наполовину разорвало. Система «Маузер», не для такой охоты. Жрать хочу я... я жрать хочу, ну?!

Опамятовалась наконец Саша, рукавами затрясла, санки подхватила — и в гору.

Запус и вслед ей не посмотрел.

Саша на гору вскочила, будто на три ступеньки. Сунула салазки Гаврилу-юноше, — подожди, дескать, домой сбегаю, в пимы снег набился, портянки мокрые.

Насовала в рукава хлеба, из горшка мясо выхватила, в тряпке сунула за пазуху. Бежит, а грудь жжет — не то сердце свое, не то варево.

Выхватила у Гавриила-юноши салазки, и весь путь уже и ни снегу, ни льда, ни камыша не чувствовала. Все-то ей кажется: тихо санки летят да — того гляди —

опрокинутся. А парни да девки вслед ей гикают, за камнями пустынники любовным соком исходят.

— Нашего сукна епанча, — говорит ей Запус, вырывая хлеб. — Славно едите... спасибо. Запасов, видно, много?..

Мясом чуть не подавился, а как съел — в сон поклонило.

— Тепло, как сапожнику за верстаком. Теперь бы рюмочку.

В сугроб влез, ноги поджал.

— Теперь ты, девка, примечай, куда галки летят, раз у тебя душа общественная. Ночью приди, уведешь меня в овин или во что похожее к нашей продовольственной части, черт бы ее драл! Я с мыслями соберусь, перхунчика одного тут прищеплю, да мне обратно...

Косы ей голову назад оттягивали, лицо-то на пригорке— как церковь. А под бровью и строгость и милость.

— Погибну я из-за красоты. Ведь если этакая пожалеет, в раскольники нетрудно перейти, да что в раскольники...

Вечером перевела его Саша в старую брошенную баню на задах Выпорковых пригонов.

Зажег Запус спичку, осветил, поглядел ей в глаза:

— Ишь моргалы-то вырастила!..

Раньше баб крушил, будто кедровые орешки, а здесь — в груди теснит, в виске бьет, и даже нижняя челюсть ноет. Трех слов сказать не мог, не то что по старой привычке за чресла.

Высунул голову в предбанник, заскрипели за Сашей тесовые ворота, собака гавкнула — тоскливо так.

«Да, жизненка-то не бумажник, не все прощупашь. Куда бы хорошо в губпродкоме на пленуме сидеть, со звонком доклад слушать. Они теперь небось сидят, место для моей могилы выбирают — куда почетнее похоронить. Обязательно на площади зароют, а там грузовики мимо-то, черт бы их драл... да...»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Про дряпку Авдовку много болтали. Некогда болтовню было слушать, а, по-моему, напрасно: через постельных таких дряпок отлично судьба разбирается...

В соборе шум сколько дней, иносказаньями весь смысл речей забили. Дошли до того, что стали обсуж-

дать, кто на каком месте должен стоять, когда придут из «мира» посланные за светочами истинной веры. Главную муть начетчики-пустынники разводили. Сидят пятеро в ряд, торопиться им некуда, над каждым словом мудрствуют, под каждое слово або текст из священного, або мудрое иносказание. Старцы в «мир» хотят, веруют, а тихая старица Александра да Гавриил-юноша — сомневаются. Вот и судят, а стольники замотались, за хозяйством приглядывать некому: Саша только в скотный двор и заглядывает, в иное место ее и пе выманишь. Все сама убирает на скотном: сено задает, воды из колодца в колоды начерпает, убирает навоз. Смирения — не подступись. Обет, что ли? Про жениха и забыла, а тот совсем премудрым своим умом заболтался. Надо, грит, ждать — придут из «мира» с поклонами. Со схимниками ехидничает: что вам, дескать, «мир», когда жизнь ваша одной ногой в загробной жизни, — еще не доживете, не вытерпите перевозу... Куда спешить?.. А схимники: «А если где еще остатки старой веры сохранились, да если поискажена та вера, да если раньше нас в «мир» придут?..»

Шумят, орут. А под окнами начали мужики помоложе сбираться. Встанут и слушают, отойдут, пошепчутся — и опять к окну. На лицах-то — сумление. Шутка-то простая, а на Белом Острове не виданная. Да-а...

Старицу Александру Гавриил-юноша таким образом под клюв ухватил. Было, грит, мне видение. Глас возопил: «Явятся семь покаявшихся никонианских епископов на поклон Бело-Острову. Топи высохнут, и по сухой дороге в цветущую весну, посреди черемухи и боярышника, пройдем мы в «мир» с благими вестями».

Поверила или нет — не знаю. Чего же не верить, и на самом деле могло ему такое присниться. Ел мало, ночи не досыпал, на тело девственник.

Указала старица на провидца и громким голосом, будто доход получила, говорит:

— Бороды у вас, схимники, по чресла, а ни одному из вас не было видений, не удостоил бог. Се кроткий юноша указывает нам стезю к труду, ожиданию и молитве. Будет время, церковь, яко утица крякнет, по всему миру звякнет: утята побегут. Подымите лестовки с подручниками, очистите себя от грехов, достойно да примем семь никонианских раскаявшихся епископов. И будет тогда зело радостен и светел собор.

Старцы-пустынники вериги перетрусают, не успокаиваются.

— Посмотрю в окно, матушка-наставница, голос молодого естества ходит под окнами... ждут, чтоб в «мир» уйти. Како, кроткая мати, мы усмирим сие естество?

— Бейте било на всеночные бдения. Будем читать и пояснять им Маргарит, Ефрема Сирина, псалтырь старопечатную... живым, простым толкованием. Позовем премудрого старца Платона... Пусть будет им любо посидеть в молельной, повздыхать до самого донышка сердца и всплакнуть не один раз...

Вышла она за ворота, а там у высоко бревенчатого забора стоит молодяжник и пимиками о забор постукивает.

— Што вы тут, мокрецы, ходите и лапами о завалинки, яко псы, истекающие похотью, стучите. Ступайте по хлевам и пригонам, будьте кроткими пастырями, у ягнят учитесь кротости, у вола терпению, если не может вас человек научить. Эвон Саша-то, дочь, сама себя на работу сослала... А пока в молельню подите. Наставник придет — положите по лестовке, наставление прослушайте из Сирина...

Один, розовый такой, по фамилии Пономарев, рот было открыл, да не услышала старица, задавили его все возгласом:

— Аминь!

И пошли — к Авдовкиным воротам. Которые сутки бродили за ней следом, на четвертые — взбродили, а на пятые как влипли, так и не отставали. Вот тебе и лестовка.

А старица к образам вернулась, кости-то старые, тяжело гнуть. Помощь да вразумление долго не даются. Петухи запели, било зазвенело на горе Благодати. Метель над островом понеслась. Занесло дорогу к Трем Соснам — будто и мыслей не осталось об этой дороге. Волки в тайге завыли. И на долгую молитву встали пустынники.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Ведь будто в тюрьме сидит человек, Запус-то, а поди ты: свесит ноги с полки, в окошко, пузырем затянутое, глядит и насвистывает. Пока свистит— ни о чем думать не хочется, как перестанет — сумрак какой-то из окна

полезет, о могилах раскольничьих думать начнет: когда в баню крался, то мимо кладбища. Голубцы такие над могилками стоят вроде бревенчатых срубов, кровельки двускатные с крестиками. Тоска. А главное — внутри сосет. Не от трусости... Трусость-то, он понимал, какая была (это вы не верьте, что будто есть такие герои — не трусили: из сказок таких выудили), а вот не понятно ему, почему не может девку лапать, пока та губами не поведет так просто— все поймешь. За девку готов сгореть, за девку... Э, да что тут описывать! Пожары бывают, тысячи верст сгорает тайги, самой сокровенной скрытности, а тут один человек... А вот в тайге разберешься, в пожаре, а в человеке...

...Простите, я все на себя сворачиваю, у меня тоже Запусова мука, однако же говорить об этом — лишнее... Уж я вам одну сказку окончу...

Метель, пурга началась, и смог он тогда ночью протопить баньку, а то дюже холодно было. Тоже топка-то смешная была, да речь-то не об этом. Помылся он противным раскольничьим мылом, гнилыми кишками пахнущим, с души будто слегло, а немного спустя опять нахлынуло.

И чтоб Сашу ждать — не ждал очень. Да и она войдет, подойник поставит, улыбнется туго, как будто не умеет.

— Хватит? — спросит.

— Хватит,— ответит Запус и засвистит полегоньку.

Поправит она ему на полке провизию, вкось посмотрит на кудри его. Баня-то по-черному, сажа на стенах будто бархат, а кудри-то по саже золоты, будто хмель спелый. И уйдет.

При такой штуке никакими инструкциями не поможешь.

Собор кончился, пустынники ушли в горы. Одолело вдруг Гавриила-юношу сомнение: почему Саша на улицу не показывается, наложила обет, в пригоны ушла. Призвал он Марешку:

— Буду те я держать в сале, как окорок, еще год. Проследи и допытайся, с чего это Саша на улицу не показывается, меня видеть не хочет... Да не обидь, ты ведь на язык дерзок.

Марешка— рад. Ходить ему по людям, что по зверю. Сумерек дождался, поскитался по обширному выпорков-

скому двору. Только Саша с подойником на двор, он за ней. Пригоны там крытые, да и дворы кроют часто. Сумрак. Марешка-то и так не больше суслика — где увидать. Да она и не оглядывается, спешит, задержали в горнице, думает — проголодался парень.

Запус-то в этот вечер стабунил себя: надо ж сказать ей, если о своей душе не может, то о социальном перевороте-то на Руси. А то что ж получается? Откармливает, как борова, колода готова, а в какую игру сдавать? Она в дверь. Запус трубой с полки, и только она рот открыла спросить: «Хватит?» — смотрит он, что за диковинная морда из-за подола у ней в баньку пялится. Коробка спичечная — не коробка, глазенки словно гвоздики стертые. Запус подозрительность за плечо, прочь — и потяг человечью диковинку.

— Ах, ты, зеница, куда-а!..

А тот из рук — будто сальный. Запус его уже в сугробе догнал. Для прекращения крика всунул его пару раз головой в снег, в баню втащил.

— Запали-ка, девка, светильню... По-моему, сигун это от Трех моих Сосен. Колодник, а ну-ка, за горбом какая проскамедия!..

Раздул он в каменке уголья, к огню Марешку подтащил.

— Марешка,— объяснила ему Саша,— лыжник-путник наш, тропы ведает к Трем Соснам.

— Вроде разведчика?

Не поняла.

— Передовой?

— Путник.

— Я сейчас у него все выстребу.

Шарфом ему рот завязал. Саша от смеху даже плечиком повела. И Запус рассмеялся, по маузеру пальцем постукал.

— Ты, как тебя, морковка! Я тебя буду допрашивать, а ты головой кивай. Не понравится мне, в каком месте киваешь, кирпичом по башке и в прорубь. Понял?

Кивнул.

— Из таких инструментов голк слышал?

Кивнул.

— По какому случаю слышал?

Кивнул.

Погладил Запус маузер.

— Хороший чемодан, действительно.

И Саша тогда пальцем маузер тоже тронула. Пальцы у ней легкие, будто птичье дыханье. Положил на ее пальцы руку свою Запус — и даже Марешку погладить захотелось. Наклонился, а она губами шевельнула. И будто река в сердце к Запусу хлынула. Ласково так говорит Марешке:

— Помирать ведь никому не хочется, жить ведь надо. Может, поведешь ты, мой друг, нас к Трем Соснам, обвенчаешь.

И кивка ждать не стал, спешит.

— Я тебе всю контрреволюцию прощу, дам тебе должность в губпродкоме, кашеваром в свой отряд назначу, и дослужишься ты со временем до ордена Трудового Знамени. А?..

Кивнул Марешка. Поцеловал его тогда в паршивые его губы Запус, поцеловала и Саша. Путы сняли, принесла немного погодя Саша три калаузика,— мешки этакие, опушку стягивают шнурком, вместимостью в пуд, за плечами лежат, как живые горбы. Лыжи добыли, да и ночью по сугробам собаки их проводили через камыши к осиновому голубому лесу, к сограм. Собаки там отстали, повыли на волков и вернулись.

Поземка — счастливица и несчастливица, ей все равно — неслась. Ходоки веселые, и ей весело. Снял Марешка шапку, положил большой крест.

— Ей-богу, барин, думал — мне не жить. Ночь-то синяя да месячная, лыжа-то веселая, легкая, далеко умахаем за ночь, а ты все равно не тужи: где им меня ловить, кожеедам. Я вас такими тропами поведу, и волки не знают. Зато уж в городе-то и накурюсь же, господи...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Горе-то материнское в песнях все перепето, а лучше песни как расскажешь. Судите, гражданин, сами. На Острове матери-наставнице, будто в улье матке, почет. Шапку перед ней снимали за два переулка, в молельне — первое место, и в раю ж место уже уготовано.

А тут дочь-то сбежала, да с кем: табашник, старикашка. Марешка-охальник, нетяг.

Будто смолой затопило сердце у старицы. Молодежь было кинулась в лес в погоню, сказала старица:

— Не надо, до конца хочу терпеть. Слаба была с ней, бог наказывает.

А где там — слаба! Хотела вспомнить, целовала ли ее взрослую, и не могла припомнить такого случая.

— Слаба, слаба...— утешает себя.

Ну, тут схимники-пустынники и начали всяческие мысли, как лапти на одну колоду, плести: без города Тобольска теперь не обойтись, дескать, епископов раскаявшихся ждать, дескать — куда... Спустились они толпой с гор и прямо к кузнице, вериги расковывать. Кузнец у дряпки Авдовки был. Так что ж вы думаете... Ошалел народ—поперли к Авдовке. Не знаю, скорей всего— брешут про схимников-пустынников. Кузнец-то, будто пьян был после медовухи, на Авдовкиной кровати храпел. И будто схимники раскачивали-раскачивали его, устали, один и пригуби медовухи. Шире—боле, дальше—толще. Пошло смущение по пастве: умудренные в книжной премудрости уставщики, поседелые над молитвой, кровью-то не охладились...

И как узнала о том тихая старица Александра-киновиарх, волосы седые распустила, бежит по улице, кричит:

— Прости меня, господи, окаянную! В грехах, в непотребных мыслях зачала дочь... Сына еще хотела, мужа остаться уговаривала... мужа, святого старца от спасения души уговаривала... Святители, угодники!..

Распахивает Авдовкину дверь. Не знаю, от старости или от плоти ли взбунтовавшейся, а может, и от долгих молитв разумом рехнулся,— только посреди прочих опившихся пустынников лежит, уткнувшись в голую Авдовкину ногу бородой, лежит, пьян и мерзок, сам, не спускавшийся с горы девятнадцать лет, великий схимник-пустынник Платон Выпорков.

Остальное брехня, да так уж — из сказки слова не выкинешь: будто батогом била старица пустынников, будто самого-то велела помоями облить и увезти в гору и там в самую противную яму бросить. Будто Авдошка нагая, в смради измазанная, валяясь по кровати, кричала ей в исступлении: «Не пьешь?! Не нравится?! Дождалась я своего царства!»; будто старица велела Авдовку голым соблазном на снег посадить, а там чуть не сжечь.

А вот доподлинно известно: всем миром встали посреди улицы на колени, в грехах друг у друга каялись,

плевали друг другу в лицо и по снегу проползли в молельню, а там, не пивши, не евши, три дня подряд молились. От такой молитвы показалось им, что образа просветлели, улыбнулся им кроткий лик Христа,—все мы, дескать, люди, все человеки. Закричал и стар и млад в голос:

— Победим, Христе Исусе, победим, перепрехом!

И приказала тихая старица Александра-киновиарх:

— В «мир», братие, в Русь.

Вот здесь-то и почуял свою силу Гавриил-юноша. Ему и самому теперь хотелось в Русь. Спрашивают мужики:

— Готовить подводы-то?

Молчит старица. Гавриил Котельников начинает тогда распоряжаться:

— Четверку под кошеву киновиарха, тройку под схимников, три пары под певчих, остальные пойдут одноконно.

Говорит ему старица:

— Благие вести услышишь ты в Москве, придется тебе мой костыль взять, идти... А мне сдается — идут мои последние часы.

И до самого отъезда, когда ее в кошеву под руки свели, не подымалась она с молельного коврика.

Саней, я не знаю точно, небось с тысячу насбиралось. Скот весь да и скарбу много пришлось оставить под присмотром самых недужных. Ворота тесовые плахами забили, в молельню сторожем выпросился многогрешный Платон. Положили дорожный начал, осмотрели, крепко ли завязаны воза. Впереди, в санях, запряженных парой,— с иконами пустынники, за ними хоры ангельские псалмы по крюкам распевают, дале в кошеве киновиарх, позади хоругви золотые развеваются. А в конце — обозы, стая собак.

Белка, дивуясь, прыгает над кедром на сажень, медведь от санного скрипа и свиста бичей высовывается из берлоги.

А дорога-то длинная, убродная, сани-то в сугробах вязнут, со скал скатываются, постромки у коней лопаются, ругань да грех.

Приходилось лыжникам ветви рубить, бросать на дорогу, на скалы волоком на жердях да бревнах сани втаскивать. Руки-то сплошь в волдырях да кровоподтеках.

На коленях в кошеве перед иконой Николая Мирликийского неустанно пела акафисты о странствующих помощи тихая старица Александра.

Ну, а все ж — переперли, победили.

Вот тебе и Три Сосны, камень Работничий меж ними, а дальше дорога человеческая к зырянскому селу Черно-Орехово: за селом Тобольский тракт, с тракту — прямо на Иртыш, к кремлевским стенам белокаменным.

Дивуется пуще белок народ по тракту — откуда такая тьма раскольников понавалила. Иконы-то в серебряных окладах, хоругви золотые.

— Неужто советскую власть в Тобольске свергли?!

Кто и ответит:

— Идут, значит — коли не свергли, то скоро свержение. Зря не пойдут.

— Где идти! Дяди, а дяди...

Молчат раскольники, хоры еще громче славословия поют.

Кремль там далеко по Иртышу видно, золотые луковки церквей будто только что из праха вышли, кругом-то белые дома... Все б хорошо, кабы не тюрьма...

У ворот городских конные воины в суконных шлемах, на конях.

— Станом, на льду, легче будет чин развести,— приказывает Гавриил-юноша.

Дело перед весной, морозцы-то поопали. Распряглись, сани оглоблями вверх, зажгли костры и стали выбирать, кого послать к городским игуменам и архиереям с вестью о древлем благочестии.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Язык лежит, как мертвец, а поднимется — небо достанет. Сначала в городе подумали —восстание или пленные из германского плена пришли. Костры на реке горят, ходят вокруг стана злющие собаки, внутри— как в улье: в животе ярмарка, шум, разговоры, а в пупке, у входа — тревога. Любопытные у пупка так днями и торчали. Так вот, послали к ним агитаторов. Языки-то и оказались мертвецами. А раскольники никому не верят и все не могут сговориться, кого в город послать епископов разыскивать. Среди молодежи ропот: «Что,

дескать, как труба, зря все в небо глядеть? Подавай встречающих епископов».

Вздыхают пустынники, сосульки слез на бородах стынут. Белокаменные стены кремлевские как угол в избе: снаружи рогато, а внутри комоло— вот и пойми.

— Гласом должны возопить стены кремлевские: придите. Может, палаты-то райские диавол успел захватить... Позор, горе нам и смущение...

Дьявол дьяволом, а собор устраивать на льду под ветром — не то что на кедровых лавках в теплой горнице. Разговор больно злобен, и к старшим почтенья нет. Мужики помоложе рукавицами похлопывают, ходят вокруг костров и открыто над пустынниками начинают посмеиваться: чего, говорят, вы двести лет нас в тайгах морили — люди, как все. А молодицы, те прямо в город норовят, Сашу начинают вспоминать... А где—люди, как все? По лику—Русь, а по одеже чисто черти: ноги обернуты тряпичными лентами, башмаки на ногах бабьих — большие, будто колоды, шапочки-шляпочки — как воронье гнездо. А девки стриженые, юбки в насмешку над верой колоколом сшиты, короче колен, ноги почти голые... И смешно и больно...

И говорит тут тихая старица Александра:

— Пойду я сама в город к епископу али воеводе...

Выбрала клюку, подпоясалась смиренно мочалой и сама чует — идет, будто тень без ног.

Улицы-то широкие, как елани, дома сплошь кирпичные, гладкие, а среди их народишко спешит, подпрыгивает, у каждого кожаная сумка в руках, либо мешки за спиной, либо санки позади тащит. Город-то каких-нибудь пять верст, а спешки у людей на тысячу. Спрашивает она одного, что постарей да побородатей:

— Где тут к воеводе пройти?

Тот, не думая, в монастырь ее направил. Старица обрадовалась: значит, верно, пришла старая вера, коли живет воевода в монастыре, да и сам, поди, из духовных, вроде Авраамия Палицына. Снегом занесен двор монастырский, тропки меж сугробов, как в лесу. По тропкам тем люди в длинных балахонах травяного осеннего цвета бродят. Болтаются у них от пупа до пят сабли, как жерди.

— Где тут,—спрашивает,— пройти к воеводе?

Ткнули пальцем на церковь. Опять умилилась старица. Входит, а там тишина да холод, решетки в окнах

инеем, будто пухом обернуты. «Экий благочестивый воевода, в такой холод молится»,— думает старица и кладет начал перед древними иконами. Оглядывается: да где ж тут коленопреклоненный человек? — пустыня, а не церковь. Старичок какой-то забрел и удивился на нее. Она же — опять о воеводе. Тогда указал ей старичок на плиту мраморную возле стены.

— Здесь воевода...

И подлинно — начертано славянской вязью на той плите, что «похоронен здесь с родами своими, всего пять душ, воевода Иван Астафьевич Ржевский в 1682 году»... Даже обиделась старица: мне, мол, живого воеводу городского надо. Подобрал губы старичок: дескать, и ветха же ты, старица. Направляет ее за всякими справками в бывший губернаторский дом, нынче — Совет. И опять, как в полдень тень — пядень, а вечером через все поле хватает, так через всю душу почуяла старица тоску.

Двери и стены в том Совете табачищем пропахли. Стоят в каждую комнату люди в затылок. Ругаются, плюются, вонь от них. Бумажку какую-то от старицы требуют. Кричат стрельцы-солдаты ей: «Воеводиных никаких здесь нету, здесь за главного товарищ Егоров, а к нему — в затылок». Никак не может попасть старица в этот самый затылок. Стоит-стоит, дойдет до стола, где стриженая девка ногами болтает,— опять не туда. Так и мечется в сенях подле нескончаемых дверей, как челнок среди пряжи.

Только, откуда ни возьмись, бежит по сеням с мешком в руке Марешка-зверолов.

— Марешка! — кричит его старица.

Оторопел тот, мешок выронил. Кинулся под благословенье.

— Матушка, тихая старица Александра, как ты сюды?

Сразу построжала, подправилась старица.

— Ты меня допреж к епископу.

— Нет, матушка, в этом городе епископов. Был один, да пристрелили.

— К игумну веди в любой монастырь.

— И игумны, матушка, все сбежали, а то и пристрелены. И монастыри-то под лазаретами. В церквах-то попы не знают, что и служить. Табаку даже, и то достать трудно, матушка.

Как тень со стены не вырубишь, так и горя из себя не выбросишь. Опять на сердце-то смола.

Вздохнул, глядя на нее, Марешка.

— Теперь скажи мне, Марешка, где Саша-то?

— Замуж вышла, матушка, прямо как есть замуж.

— Кто сводные молитвы читал? Али вокруг сосен венчана, а?..

Вспомнил Марешка Три Сосны, как плясали подле них, когда выбрались из камышей. Почти что угадала старица. Опять вздохнул.

— Я тут ни при чем, матушка.

Даже батог подняла старица.

— Ты, окаянный, ты отрекаешься!.. Зачем увез коли? На старости лет сблудить да бросить?..

— Да я ее, матушка, не увозил. Ушла она с Запусом, комиссаром здешним, стольник, что ли, по-вашему, чином-то... Мне пищаль к рылу наставили: кажи дорогу. Мне помирать не в привычку, я...

Боль-то растет сама собой, как щель в дереве. Подперлась батогом, в стену долго смотрела, а затем говорит тихо Марешке:

— Веди меня, да не спеши... катко, ноги скользят.

А где там ноги, коли сердце.

Опять дома да сени, где дверей — как в блудливом совете, из дверей прыгают с визгом голорукие девки. «Квартиранты»,— говорит Марешка. А просто — погань, грибы мухоморы. Светелка у Саши пустая почти, занавесок нет: кровать да печь из железных листьев. Сидит Саша на кровати в сарафане, слава богу, в окно смотрит.

— Матушка!— крикнет как и — в плечо.

Ну, и старуха же была, прямо застенный мастер будто. Отвела рукой голову от плеча, еще оглядела светелку. Галифе с табурета (Саша их чинила) клюкой в угол скинула, повела бровями.

— Надевай платок, пойдем.

Говорит ей звериными губами Саша:

— Никуда я не пойду, матушка. Здесь останусь.

Опять стукнула клюкой, на Марешку случайно ее взгляд лег —так тот боком, да за дверь, так больше и не появлялся.

— Прокляну!

В дверях старица, а мимо по сеням мальчишка пробежал, за ним другой. Визжат, барахтаются, прыгают.

— Рожают наши бабы таких румяных, матушка?.. Такой бы у тебя наследник был... Парнишки-то наши гнилы да сини, будто хвощи осенние.

— Басурманы!

Распахнула дверь.

— Пойдем... Прокляну!

Дочь ведь одна-единственная...

И тогда громким троекратным возгласом прокляла тихая старица Александра-киновиарх дочь свою. Вышла не оглянувшись. Наскочили на нее в сенях играющие ребятишки, отшвырнула она их и крикнула вслед:

— Будьте и вы именем господа трижды и трою прокляты!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Я не манерничаю, переставляя главу: она должна быть последней. Но мне не хочется кончать нашу повесть мелкой встречей моей с шулером, болтуном и карманным воришкой Галкиным. К тому же мне обидно: я не понял и не узнал Галкина. Кто ему сестрица Аленушка и тихий убийца — братец Иванушка? Жена, сестра, проститутка, встреченная на вокзале, подруга по мастерству? Он намекал мне на какие-то жертвы и потери, что он жертвовал для нее? И почему он боязливо смотрел на братца Иванушку? Кто они, откуда?..

Наша встреча закончилась так.

Галкин кончил говорить, выпил еще рюмку. Он был совершенно сыр-пьян. Он низко наклонился ко мне, оглянулся боязливо на Иванушку и пьяно растянул:

— У меня тоже скоро ро-одится...

Мне хотелось спать, было поздно, свечи догорели в фонаре, как пишется в таких рассказах (а они действительно сгорели: кондуктор, по-моему, дал нам половину свечи), — и со смехом, чтобы рассеять сон, соврал Галкину:

— А у меня уже трое ребят есть...

И вдруг Галкин метнулся, завопил:

— Что ж я наделал, злодей, я же...

Было б совсем не плохо раскрыть таким способом кражу. Но красавец Иванушка опрокинул Галкина, зажал ему рот и так поглядел на меня... Я притворился спящим. Да мне, право, так хотелось спать, что нисколько не жалко было своих сорока восьми червонцев. Галкин

пытался еще крикнуть что-то мне, но Иванушка легонько стукнул его по лбу, и он затих. На ближайшей станции, далеко не доезжая до Тифлиса, они слезли. Аленушка шла сонная, недовольная, Галкин качался невыносимо; «ломался», по-моему, немного, бил себя кулаком в грудь и визжал:

— Трое, мал мала меньше... «Папаша, кричат, хлеба!..» А я его, я с ним как поступил!..

С того времени, к сожалению, я не встречал Галкина.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Да, зовут Запуса в губисполком. Вот, говорят, специалист вы по раскольникам, экспедицию готовите на какой-то Остров, — подите с ними на Иртыш, объяснитесь. Не понимаем, чего они от нас хотят. Дикари. Пришли говорить, а электричество зажглось — они бежать из комнат. Молодежь будто бунтует, однако не поймешь.

Раньше бы Запус к раскольникам на автомобиле шарахнул, надымил бы, языком навертел, а тут сел он на своего голубого коня и не спеша — шапку на брови — отправился.

Окружили его раскольники. Конь под ним фыркает, уши — как куклы на ярмарке пляшут. Смотрят на коня раскольники, ухмыляются... волосы у них на темечке выстрижены. Посреди ходит начальник ихний, на безмен похожий, указным способом из ручной кадильницы кадит. Кафтаны-однорядки по вороту и по бортам красными кружками обшиты.

«Эк, ведь это мне от Петра историю-то им объяснять надо,— думает Запус.— Учиться, видно, мне надо, а?..»

А как подумал это, так и совсем спутался. Да и что им можно объяснить на морозе. Они вопросы задают: каким, скажем, крестом надо креститься и сколько раз аллилуйя петь. Почесал Запус в затылке.

— А я, граждане, ей-богу, не знаю... Мы религию отделили, так сказать, как гнилой ломоть.

— Чего ж божишься?

— Раз басурман, не божись.

— Казак он, а не басурман.

— И верно, казак.

— Переменили беду на напасть...

Не зная для чего, предложил им Запус мосты и гати через топи к Бело-Острову провести. «Об вере столкуемся позже, а сейчас — на защиту отечества да имущественную перепись произвести». Перепись же им будто раскаленное тавро на душу: антихристова печать. Как сказал — перепись, отсюда и началось. Одни кричат, полами машут:

— Вертай оглобли, сбирай коней, затягивай гужи, пошли обратно!

Другие кафтаны рвут.

— Пиши!

Юркенький, розовый такой нашелся, дальше узнал его фамилию — Пономарев. Он у них вроде бунтаря ходил, во всех догмах сомневался... помер потом под Кронштадтом, что ли. Выскочил вперед, к Запусу:

— Пиши. Не хотим, как бобры, в топях жить, надоела нам вода. Земли нарежешь?

— Земли много, нарежем, — ответил Запус, и подумал тут он: «Сами разберутся, надо забусить». Ну, тут опять, как в улье,— шум, крики. Разметались бороды, как метели, в руках иконы появились, каждый перед своей иконой клянется. Развернули старухи хоругви, хор запел. Наконец и старица Александра вперед вышла, рукой на кремль махнула:

— Будь вы окаянны, кто до города Содом пойдет! Старики, хомутайте коней— вертаем к Острову.

А ее опять в толпу закрутило. К Запусу большеголового безменного человечка вынесло. Весь в слюне, с колом. Посмотрел на него Запус, подмигнул по озорной своей привычке, на маузер ладонь положил. Ну, а тот и не вытерпи, размахнулся колом и угодил в того розового, Пономарева. Парень не дурак: наотмашь, в зубы. На кулаке и остался весь заряд зубов-то Гавриила-юноши.

«Ну вас к черту»,—подумал Запус, старика какого-то со стремени спихнул и отъехал в сторону.

А на льду самая кунсткамера-то и началась: которые в город хотят— к себе свои сани и иконы тащат, которые в тайгу — к себе. Сначала на кулаках шли, показалась кровь едва — в колья. Народ-то хлипкий: как треснут кого, так с копылков долой, будто кочан. В сторонке бабы за волосы таскаются, плюются, друг дружке срамные места показывают. Костры пораскиданы, поразбросано имущество, собаки воют: им-то уже совсем ничего не понятно.

И вдруг видит: взметнулся смертным взмахом кол, привстал даже в стременах Запус, лошадь по льду подковами взыграла. Тепло ему стало. «Эх, кокнули кого-то», — подумал Васька.

Тогда разделился табор на две части. Старуха осталась в кошеве, икон подле нее накидали, будто иконостас упал. Руки кверху тощие задрала и проклинает половину обоза, которая в город направилась. На снегу, подле кошевы труп положили. Подъехал Запус поближе, узнал — безменный человек. Еще пальцы по снегу трепещутся, как выкинутые из сети рыбки. Скоро и они перестали трепыхаться. Не свесить теперь безменному человеку ни горестей, ни радостей, ни любви. Амба. Положили труп его на воз, затянули старики трясущимися руками на хомутах супони.

Передвинул Запус шапку с уха на ухо и тихонько шевельнул голубого коня к городу.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Шел обоз обратно медленно, в каждой деревне останавливался.

— Какой волости? — спрашивали мужики. — Насчет разверстки не слышно? А вы что — так али восстание было, сплошь старики в город ездили?

По утрам-то подтаивало, в полдни-то пар голубой над полянами курился. Береза — самое теплое дерево — стволами, как огнем, прожигала снега. Листья прошлогодние на снегу показались, скоро до земли дойдет солнышко-то. Старики-пустынники мерзли, проезжая через зырянское село, тоскливо так смотрели на видневшиеся вдали леса:

— Успеем ли, матушка? Кабы льды не колыхнулись, ведь толды не попасть.

— Успеем, — отвечала им тихая старица Александра-киновиарх.

Как в цепи узлов не узнать, так в тайге — радости. Иной поет, а иной за всю лесную жизнь не улыбнется. Которые пустынники даже настоль помолодели — на холм Трех Сосен стали въезжать, коням за тяжи помогали. Наст так легонько звякает под полозьями, солнышко ясное, крут да ясен холм и Три Сосны — будто три святителя. Строго кругом и весело. Расположились на ночлег в звериную избушку, теснота там и жара.

Приказала старица: утром срубить Три Сосны, сжечь избушку — не было б возврата в «мир». Рьяные еще с вечера срубили сосны. С гулким шумом повалились они на льды. Брызнули воды, и в незнаемой речке утонули головами великие деревья... Душно в избушке стало старице, вышла она передохнуть. Блестела поляна по-особому, легко-синевато, предвесенне. Смолой пахло от срубленных-то сосен, и жалко — сосны-то в сколько обхватов. «Так и старую веру покрушили»,— подумала старица, спустилась к реке мимо возов. На одном в кедровой колоде вечным покоем лежал Гавриил-юноша, везли его в родные голубцы... Лед-то на речке был еще ровный, не ноздреватый. Подале, влево в камышах прошел, легко ломая льдистую траву, какой-то зверь. В пустыне у него свое логово и свои детеныши— вот и спешит туда. Тоска-то на ней, на старице, как тень на воде — лежит, да не тонет. Вернулась она опять в избенку, пристальнее пригляделась к спящим-то. А ведь верно сказали мужики-то на постоялом: сплошь старики остались: который хоть и молодой, да дряблее старика. Лица строгие, будто у мертвецов, щеки провалились, и будто бороды-то чужие. Еще тяжелей ей стало. «Грехов-то сколько, грехов-то...» Вышла опять к Трем Соснам, а те будто распухли. Или месяц давал им такую тень. Справа полынья синяя-пресиняя, а в ней — как подсолнечник — месяц. Пошла она к полынье. Месяц прыгнул на середину и расплылся, будто кисель. Наклонилась, а ей виднеется из полыньи-то плосконькая головка, как лист, а ниже тулово, как бурак. Тьма внизу не рожденная, не сотворенная, никаким искусством не сличенная, ни с тоской, ни со злобой. Пошатнулась старуха:

— Господи, спаси...

А наутро, когда и берест под углом избушки заложили, достал пустынник Дионисий огниво,— хватились: нету старицы. Кинулись в лес, кто-то вспомнил, что стояла она вечером у Трех Сосен. Когда валились — не попала ли? Старушка-то мала, будто жучок. Да нет, не грешны кровью вековушные сосны. Кинулись на лед, подле полыньи нашли клюку тихой старицы Александры-киновиарх. Сели подле полыньи причитальницы: погиб тихий юноша-Гавриил, тело его хоть идет на Бел-Остров... что ж — где ж ты будешь похоронена, кротка? Доспели багры, в полынье стали рыть, а там водоворот — нет

дна, багры крутит, вырывает. Перекрестили воду, прочли упокойные молитвы и пустили в полынью наскоро сколоченный крест... А солнце пропекало зипуны. У краев речушки и в камышах ноздреватый да хрупкий, как соты, лед показался. И говорит тогда старец Дионисий:

— Пять дней еще быстрейшего ходу до Бел-Острова. Синичка прилетела, нопе видал, лед скоро пойдет. Сотворим, братие, последний начал... Не найти вам, видно, старицы.

И пустил огня под бересту, под охотничью баньку. Мотанулось по бревнышкам, по кровельке пламя.

А пламя раскидалось, как кабан с золотой щетиной. Кинулось на сосны — потекла смола с вековых деревьев, сухари — дуплистые такие деревья, на корню чудом уцелевшие, как береста, вспыхнули. От жары молодые ветки в огненные шары склубились, ветер их сорвал и понес дале. Стеной огненной встала тайга над речушкой, шипит над камышами, стреляет, звериным воем провожает.

Три месяца бушевал пожарище-то, зырянское село Черно-Орехово едва отстояли. Сам потух.

А раскольники? Ничего, доперлись. Как старец Дионисий сказал — точно: на шестые сутки треск прошел по речке, будто шелк рвали. А через недельку и топи открылись. Ну, теперь и попробуй, попади на Белый Остров.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Про старуху тебе или про Запусову любовь? Любовь! Любовь, братишка, будто темная карта — рубашка вверх.

Запус-то был вокруг Саши, как вокруг тына хмель с золотой гривой. Сидят, чай пьют, а тут на тебе, распахивается дверь и с котомкой мамаша ее, Александра-киновиарх,— и первую речь о детях завела, а о раскольниках ругательно: «Прогнали меня прочь яко нечестивую, да и тошно мне со стариками, дай, из угла на тебя буду смотреть». Вот и сидит и смотрит. Старуху я отлично понимаю, а все остальное — ерунда и мокрятина, дешевая карта. Мука-то не оттуда начинается, мука начинается с другого... Поживешь, поездишь, посвистит тебе ветер в уши, ну, глядишь, и поймешь.

1926

БОГ МАТВЕЙ

Три недели уже, как полк пытался взять брод через речку Ик. А брод был отличнейший. Далеко, даже в пасмурные дни, блестело желтое песчаное дно речушки. И, глядя на этот веселый блеск, всем думалось, что только перейди брод — и начнется легкая, веселая война. Белые хлынут наутек вдоль железнодорожной линии, полк каждый день будет вбегать в новый город, хлебные эшелоны (как бы изнемогая от радости) сыто поползут на Русь!

Комиссар полка, Денисюк Александр Петрович, был спокойный и деловитый человек. Его огорчали неудачи у брода. И еще было очень огорчительно, что в увеличивающейся спешке никак не удавалось обновить справленные для праздников с великим трудом и великой экономией превосходные галифе и френч цвета подопревшей соломы. Едва выходил праздник, как приказывали наступать, а в эти три недели, как назло, не пришлось ни одного революционного праздника, а в церковные праздники надевать свои обновы Денисюку было противно. Деревня Талица, в которой стоял штаб полка, несколько раз переходила от белых к красным. Мужики устали от войны, и не было ничего удивительного, что однажды комиссару Денисюку доложили: на передовые линии явился из Талицы житель, Матвей Митрофаныч Костяков, называющий себя богом Матвеем, и заявил, что для пуль он неуязвим и воевать приказывает бросить!

Денисюк мало верил в культурно-просветительную работу, но когда появилось такое живое воплощение предрассудков,—он сказал с удовлетворением: «Ну вот, упрекают— не ведем, дескать, культурной работы. Мы им теперь такой докладик напишем, во-о...» И он велел привести бога.

Бог Матвей оказался небольшим мужичком, на голову ниже Денисюка. Бог был в чистой холщовой рубахе длиннее колен. Лицо у него было бледное, восторженное, маленькая, поднимающаяся кверху бородка сияла, вымазанная лампадным маслом, и уголки длинных губ тоже сияли. Денисюк любил довольных людей, он и сам многим был доволен — удачным продвижением полка, храбростью солдат и своей храбростью. А он был действительно храбр, и храбр как-то по-плакатному, очень весело: он бежал, например, впереди полка с возгласом «за революцию!», он при этом делал какой-нибудь вызывающий жест в сторону белых — и это до слез почему-то и радовало и умиляло солдат. Денисюк был представлен к ордену, в газетах о нем писали несколько раз,— он тщательно вырезал эти корреспонденции и, наклеив на бумажку, отсылал матери, домой. Бог Матвей ему понравился, хотя Денисюка несколько коробила явная снисходительность Матвея. Между ними произошел приблизительно следующий разговор:

— Ты действительно сознаешь себя богом?

Денисюк сразу же почувствовал глупость этого вопроса, а Матвей, кажется, понял это, потому что он ответил с большим, чем раньше, снисхождением:

— А как же, я и есть — бог. Я тебе пришел сказать, что воевать не надо — глупость, а надо жить в мире и в радости. Вот и пуля меня оттого не берет. Приказал я ей меня не брать!

И он опять так посмотрел на Денисюка, что тот внутри как-то смутился, и опять снисходительно засияли уголки длинных губ Матвея. И Денисюк, понимая, что говорить не надо, все же сказал другую глупость:

— А я возьму и пошлю тебя на передовую линию.— И тут уже получилось совсем нехорошо, потому что бог Матвей даже отвернулся в сторону, словно ему стыдно было говорить: «Да ведь я же был на передовой линии, зачем же меня сюда приводить». И он пошел, еще более сияя бородой, лицом, губами,— солдаты, жалостливо и тревожно улыбаясь, пропустили его. Денисюк подумал, что самая пора сказать что-то очень поучительное, вроде — вот, мол, суеверия и тьма, как порог, всем под ноги смотрят. Тирада получалась длинной, неубедительной.

Штаб дивизии прислал спешную депешу,— его вызывали. Он забыл о боге Матвее, все же легкое томление

где-то билось в Денисюке, оттого на заседании он, с несвойственной ему горячностью, доказывал необходимость немедленного наступления. Предложение его было отклонено. Имелись точные сведения, что белые готовятся перейти речку Ик, к броду подтягивались значительные силы. Такие сообщения раньше всегда его ободряли — очень уж он был уверен в своем счастье. Теперь же он вернулся в полк встревоженным. С неприязнью к самому себе он выслушал сообщение политрука. Политрук Полтавский, плотный рябой человек с острыми и высоко поставленными ушами, часто говорил о себе: «Я как пиявка: кровь пью, но коли надо, и жизнь даю. Для успеха революции самое главное — беспощадность». Он и теперь повторил эту поговорку и добавил, что на передовых линиях солдаты смущены; перед окопами несколько раз проходил невредим бог Матвей. Политрук любил Денисюка, и говорить это ему, по-видимому, было неприятно, но в то же время он как бы любовался своей беспощадностью.

Разговор происходил в крестьянской избе. Денисюк вдруг разглядел, что все избы, виденные им в последние месяцы, внутренним убранством как-то очень похожи одна на другую: мужики прячут все лишнее, а остающееся необходимое во всех избах одинаково. Хозяин избы, должно быть, был очень религиозный человек — на божнице остался образ в серебряной ризе. Да и хозяин слушал их разговор с какими-то подозрительно спокойными глазами. Все это видеть и понимать было сильно неприятно Денисюку, но в то же время он сознавал, что ему ничего не придумать, и долго будут приходить ненужные мысли о крестьянских избах, об иконах, о хозяевах. Он поехал на передовую линию. Окопы были выкопаны наскоро и в песчаной почве, но они уже пахли жильем, портянками, окурки валялись всюду, и неимоверная толщина этих окурков напоминала о войне.

Бог Матвей сидел в окопе на пустом и очень грязном бочонке из-под селедок. Он с аппетитом ел большой кусок черного хлеба, макая его в чайник с чаем.

— Кружку бы дали ему,— неизвестно для чего сказал Денисюк.

Красноармеец, наблюдавший за едой бога, ответил и смущенно и почтительно:

— Дали ему кружку, а он, забывши, вышел в обход свой, у него пулей и вышибло кружку.

Рубаха на боге Матвее была уже грязная и измятая, особенно раздражали прилипшие к рубахе чешуйки селедок.

И Денисюку показалось, что солдаты на него смотрят теперь не с прежним любовным добродушием, к которому он привык, а добродушие их теперь какое-то нарочное. Вот они быстро столпились и стали просить табачку, хотя табак выдавали только вчера,— и это тоже взволновало его. Был ясный день. За речкой над окопами белых летела ворона, и отчетливо было видно, как, когда она взмахивала крыльями (несколько устало и, может быть, счастливо), от крыла отделялись перья; и вскоре одно перо выпало и, кружась винтом, медленно и как-то тепло падало на землю. Вспыхнул и погас пулемет.

Бог Матвей доел хлеб, собрал в подоле крошки, хотел их положить в рот, но выкинул за окопы.

— Пускай и птица поест...— сказал он лживым, видимо, несвойственным ему тенорком, а затем добавил уже деловито: — Ты не видал, я тебе покажу, Аликсандр Питрович. Воевать нельзя, Аликсандр Питрович!

Он одернул рубаху, оправил поясок, подвинул бочоночек и, покрякивая как-то про себя, вылез из окопа. Сразу же белые открыли огонь. Бог Матвей, мелкими шажками, непрерывно вытирая губы рукой и озорно, боком, поглядывая на Денисюка, прошелся два раза подле окопов, постоял, подумал, улыбнулся хитро и туманно и, сорвав желтенький, неприятно пахнувший цветочек, вернулся в окопы. Цветочек он протянул комиссару. Денисюка поразило не то, что бог Матвей вернулся невредимым, а то, что красноармейцы не отвечали на выстрелы белых, и то, что он, комиссар Денисюк, не скомандовал им огонь. Надо было пожать плечами и уйти, увести с собой блаженного этого, маньяка, но он понимал, что сделать так нельзя: солдаты смотрели на бога Матвея жалостливо, строго и в то же время восхищенно. И его трепетно ожгла мысль: «Убегут!» Страх к нему приходил всегда, как и у большинства, после случившегося ужаса. Сейчас никакого ужаса не было, но все же страх овладел им. Грубо и сжато выражаясь, было такое чувство, словно солдаты уже бегут, бегут по нему, по его счастью, топчут его заслуги перед революцией да и перед самим собой...

И он задорно, по-мальчишески, крикнул:

— А вот и кокнут тебя!

Бог Матвей даже притопнул ногой и так же задорно, чуть-чуть разве повыше, выкрикнул:

— А вот и не кокнут! Бог я или нет?

Денисюк обернулся к солдатам. Красноармейцы молчали. Но раздумывать было некогда, надо было спешить, он вяло сказал:

— Я вот тебе показательную штуку устрою.

— Чего? — оборачиваясь, весело спросил бог Матвей.

— Испытание,— твердо и резко ответил комиссар.

Тогда бог Матвей сразу стал тише. Он опять сел на бочоночек, сказал поучительно:

— Мы с тобой будто небо и земля: два быка бодутся, а никак не сойдутся... однако я с тобой разговаривать буду.

И он медленным и деловым крестьянским говорком стал рассказывать комиссару, как он думает устроить испытание. Он выбрал поле, сказав, что там тополь есть посредине, на ветер походит. Сравнение не понравилось Денисюку, он возразил, что такого тополя не заметил. Тогда бог Матвей добавил, что под таким тополем только поучать и притчи рассказывать. Есть у него одна притча... Комиссар поторопил его, и бог подмигнул: потом, дескать, расскажу. Говорок у него был спокойный и твердый, и скоро Денисюк если не совсем, то во многом верил своей мысли, что бог Матвей перед самым испытанием струсит и откажется. Денисюк опять подобрел, уверенно похлопывая себя по кобуре кольта, шел он окопами, и жизнь опять казалась простой и веселой. Испытание назначили на другой день, при заходе солнца. Политрук Полтавский зашел вечером в избу, потоптался, заговорил о каком-то смешном письме и смущенно заметил, что икону-то с серебряной ризой хозяин не спрятал.

— Забыл, должно быть,— сказал он, подходя к печи и облокачиваясь с таким видом, словно ему было холодно...

Он быстро ушел, так и не сказав своих мыслей, хотя едва ли у него было что дельное — тогда присущая ему вера в свою беспощадность помогла бы ему. Денисюк заснул быстро.

День вышел теплый, сухой. Когда Денисюк проходил под деревьями, на руки и плечи ему падали осенние листья — горячие, хрустящие, пахнущие странно: угаром. Огромное поле дохнуло на него теплом. Тополь посредине поля действительно чем-то напоминал ветер. Вдалеке за звонкой, старческого цвета травой виднелся трепещущий багрянцем осинник. Солдаты были встревожены, глаза у них были опухшие: должно быть, спали плохо. Мимо к осиннику верхом на неоседланной лошади проехал бог Матвей. Ему днем выдали четвертушку мыла, он принес из речки, под обстрелом, два ведра воды на коромысле и выстирал рубаху. Она высохла, коробилась слегка — складки и сейчас явственно обозначались на боках. Лошадь он выбрал белую. Он и ее вымыл. Он приостановился и, не глядя на солдат, восторженно и весело прокричал, чтобы стреляли, когда солнце будет опускаться... Солдаты молча и встревоженно глядели на его острые лопатки, шевелившиеся под опрятной рубахой. Лошадь пошла рысцой. Денисюк взглянул на небо: солнце спускалось за спины солдат, богу Матвею, значит, оно будет в лицо. Денисюк приказал зарядить ружья холостыми патронами. На мгновение солдаты улыбнулись, но затем, должно быть, забыли о холостых зарядах и, крепко сжимая винтовки, встревоженно и устало глядели в осинник. Пение псалма донеслось из осинника. Ни комиссар, ни солдаты не разбирали слов, а они были такие:

Еще немного, и не станет нечестивого;
Посмотришь на его место,
И нет его.
А кроткие наследуют землю
И насладятся множеством мира...

Бог Матвей привык к псалмам. Он пел и в то же время думал, что вот песня, как лук,—без боли и печали приводит в слезы. Он действительно плакал и от гордости и от радости. А комиссар Денисюк ждал заходящего солнца, стоял в трех шагах от трепещущих внутренней дрожью солдат и туманно думал, что вот этот рядом с ним, румяный и курчавый (Петров, кажется, по фамилии),— если не попадет в бога, возьмет да бросит винтовку и убежит из окопа. Пение усиливалось.

Голова лошади показалась из осинника. Медленно, на белом коне (багровое сияние неслось над его головой),

появился бог Матвей. Сияние слепило. «Какая ерунда», — подумал со стыдом и злобой Денисюк. И он крикнул, глядя в землю:

— Пли! — тогда как выстрелы начались еще до его приказа.

Солдаты стреляли нестройно. Конь, привыкший к выстрелам, спокойно старался достать траву,—оттого руки у бога Матвея были напряженно вытянуты, и пение часто срывалось, и ему было обидно, потому что он думал, что солдаты могут принять это за трусость. Он продолжал пение, но голоса не хватало.

Сияние все более и более било в глаза. И тогда Денисюк схватил винтовку. Он поспешно всунул боевую, сразу вымокшую в его руках обойму. Бог все двигался. Коня тревожили теперь близкие выстрелы, и он уже не рвал траву. Холостые заряды вышли. Солдаты с такими же лицами били боевыми, они, ясно, сразу не поверили, что им дали холостые. Больше всех спешил румяный Петров. Выстрелы все выпрямлялись и скоро превратились в залпы,— и когда три таких залпа последовали один за другим, разделенные ровными промежутками,— Денисюк кинул винтовку, взглянул в лица, — и отвернулся. Руки его тряслись и не попадали в карманы френча, лицо было мокрое. Залпы прекратились. Комиссар взглянул.

На земле, неистово мотая головой, предсмертно бился конь. Солдаты побежали, но бог Матвей поднялся. И солдаты на мгновение задержались. Ровное облачко дыма взметнулось над ними. Они опять побежали. Бог упал. Быстро — для чего-то поправляя револьвер — комиссар подбежал к богу Матвею. Плечо у него было мокрое и алое. Самодовольно и благостно улыбаясь, он пытался поднять руку — и не мог. На лбу у него, тоненькими тесемочками, был привязан осколок зеркала. Он увидал комиссара, улыбнулся еще самодовольнее и медленно проговорил:

— Ну что, парень, говорил я тебе — меня не спять! Кто меня снимет? Бог я или нет?!

И тогда Денисюк (понимая, что поступать так нельзя, но иначе он поступить не может) поспешно сунул руку в кобуру, и то, что она была не застегнута, чем-то ободрило его, может быть, как доказательство того, что все это заранее где-то далеко внутри его было решено,— поспешно выхватил кольт и одну за другой

всадил в бога Матвея три пули. Оглянулся. И тогда все еще более построжали. Румяный и курчавый Петров оказался самым расторопным. Он побежал за лопатами.

Бога Матвея похоронили под тополем, могилу выкопали мелкую, потому что Денисюк торопил, говорил, что будет скоро гроза,— да и то воздух был сухой, по волосам нельзя было провести — они тревожно трещали: быть грозе! И с ужином он торопил и, не доужинав, вскочил,— диспозиции совсем такой не было. Но он приказал двигаться вперед, будто он боялся, что счастье уйдет от него.

Полк загудел одобрительно; замотались в руках винтовки,— и счастье, верно, не изменило Денисюку: к утру переправа была взята, белые отступили, кинув обозы и орудия,—а сам комиссар полка Александр Петрович Денисюк погиб как герой — впереди всех! Ему простили своевольство, за которое хотели судить, и хоронили пышно. Накрыв знаменами, несли через осинник, а затем по звонкой, старческого цвета траве к тополю, который действительно походил на ветер. Грозы так и не было, и стояла по-прежнему великая сушь. Политрук Полтавский сказал обширную речь, вытер слезы,— и многие вытерли слезы.

Громадная толпа окружала тополь, и никто не заметил, что могила бога Матвея была совсем сровнена шагами (к тому же песок быстро высыхает, рассыпается). Холмик бога Матвея исчез. А на могилу комиссара Денисюка однополчане желали положить что-либо достойное, и так как в тот день сбили самолет белых, то в холмик вкопали пропеллер самолета, химическим карандашом жирно вывели: «Пал смертью храбрых»,—и полк двинулся дальше. В тот день случился большой революционный праздник, и наконец-то комиссару Денисюку удалось обновить свою одежду: и он гордо и прямо лежал в своей могиле, одетый в новый френч и галифе веселого цвета подопревшей соломы.

1927

СЧАСТЬЕ ЕПИСКОПА ВАЛЕНТИНА

Епископу Валентину (умилявшему граждан молодой своей хилостью, от которой казалось, что голос епископа звучит как бы во вчерашнем дне) председатель церковного совета Трофим Николаевич Архипов сообщил, что паства, собрав последние крохи и скорбя сердцем за епископа, жившего у мужика, отремонтировала светелку, где ранее помещалась ризница. Епископа умилило все, даже голос Архипова (не одобряющий мир и трескучий по звуку), хотя Архипов, промышляющий кожами и кадушками, был во многом противен епископу. Архипов был мужик увлекающийся, горячий, религией он занимался не потому, что верил в бога, в боге он сильно сомневался и даже просматривал изредка богохульствующие журналы,— он был честолюбив, отважен. Отец Архипова семидесяти двух лет повесился в витрине своего магазина: всю революцию торговал старик, а вот на восьмой год слопали, не мог осилить их,—а также не мог осилить себя. Сын рос в отца.

Паства уважала епископа, епархия была маленькая, недавно образованная: в церковном центре не знали, что уездный городишко И. вот уже полгода превращен за ненадобностью в волость. Добро, если епархия насчитывала полтора десятка сел. Все ж епископ приехал в епархию свою с радостью, исполненный надежд и любви. Дело в том, что вот уже как год епископ полюбил девушку, назовем ее Софьей,—ничего в ней отделяющего ее от толпы иных девушек не было; она в меру боялась жизни, нежно берегла свое девичество, епископа, может быть, полюбила потому, что он был не очень боек,— и поцеловал ее один раз в щеку. Каждый день епископ Валентин писал ей письма, длинные, со вздохами, со следами слез и с надписью в конце каждой страницы «продолжение на обороте». Шапка епископа, вы-

сокая, потертая, из поддельного котика, была починена ее руками. Епископ тихо любовался неровно лежащими синими нитками, привык за последнее время часто снимать шапку: перевернет ее в тонких и бледных ладонях, вдохнет холодный и необозримо широкий воздух пустынного городка, — печальные мысли все чаще и чаще посещали его голову...

В собор епископу Валентину приходилось ходить мимо дровяного и сенного базара. Ласковые запахи мерзлого леса и сонных трав издавна умиляли его. Он воспитывался в городе, в деревне бывал редко, мужиков привык жалеть по картинкам и книгам. Деревню епископ представлял кроткой и в то же время жестокой, чем-то похожей на его детство, и когда его назначили в И. (он знал, что И. превращен в волость), он вдруг поверил, что счастье, которое его ждало с Софьей, — здесь, в простой и ровной, земной и скотской, то есть ясной по своим плотским желаниям, жизни. Счастье здесь придет и возьмет его дни без замедления. Несколько дней ему даже казалось, что он как бы возвращается в свое детство. Его комната у мужика пахла животными и картофелем, тихо превшим под полом.

А от него требовалось постоянно мыслить, что он, епископ Валентин, слуга бога и живой церкви, борется с тихоновщиной в своей крошечной епархии; что епархии, такие крошечные, открывают для прельщения глупых и неразумных чад блеском епископского служения. Хлеб и паства доставались с трудом (даже служение из великих церковных композиторов надо было назначать с выбором, ибо постоянно стоял подле хора агент, бравший налог за исполнение песнопений, а миряне в кружку опускали мелкие монеты, и больше всего раздражало, что вот уже год, но каждый день в кружке находят николаевский двугривенный, и никак не удавалось уследить, кто так озорничает), и кроткая радость, с которой он встретил мужиков, медленно угасала в нем.

Так и теперь, идя базаром, епископ Валентин холодно, с неясным томлением, переходившим в раздражение, разглядывал тощие воза, мужиков, завернутых в грязные бараньи шкуры, плохо выделанные и плохо скроенные. На многих мужиках уцелели еще солдатские шапки, а от былых бравых движений не осталось и следа. День был светлый, морозный и как бы далекий. За базаром, среди сверкающих сугробов, сразу же начина-

лись две тропинки: одна черная (сажу роняли, должно быть, когда несли железные трубы и печь) к светелке; другая, желтая и широкая, к ветхому собору; эта тропинка, извилистая, была утоптана слабыми женскими ногами. Даже по тропинке можно было понять оскудение и пустоту веры! Собор блистал голубизной, древностью и веселым величием.

Длиннорукий мужик в черном тулупе, белой шапке с громадными наушниками, из которых один был полуоторван, носился по базару. Он наткнулся на председателя церковного совета Архипова. Архипов снисходительно оттолкнул мужика, мужик не отставал, и тогда Архипов окрикнул епископа. На Архипове были щегольские сапоги с выгнутыми голенищами, отчего сапоги походили на полозья, поставленные торчком. Епископ медленно благословил председателя.

— Еле отвязался, восемь копеек ему дай! Восемь копеек па земле не валяются. Морозно-с? — присвистывая сквозь редкие зубы, спросил епископа Архипов.— Мороз-то душу радует, если знать, что дома тебя ждет отдохновение. Я вам для светелки дров торговал. Мужик нынче пошел на деньги жадный, за сажень ломят бог знает что, им хоть церковь, хоть трактир.

Он бойко, одним глазом, посмотрел на епископа. Всегда такой взгляд смущал епископа Валентина. Всегда после такого взгляда Архипов начинал выказывать унижение, даже просил исповеди, отпущения грехов,— и невозможно было понять: смеется он или действительно томится в страданиях. Архипов, продолжая бранить мужиков за отсутствие веры, шагал по желтой тропинке к светелке. Любовь мужицкую он сравнивал с собачьей,— и здесь опять епископ Валентин вспомнил свою любовь.

Догнали их еще двое членов церковного совета: чахоточный с одутловатым серым лицом и до нестерпимости выразительными глазами, низенький, жизнерадостный и постоянно строящийся Любирцев и мрачный, непомерного здоровья и столетней, наверное, жизни и как бы каменноволосый Егор Чирков. Они были друзья, во всем почти соглашались, только святых уважали разных: один Николая Мирликийского, а другой Марию Египетскую. Архипова они чтили как знатока законов, а епископа сразу же, когда он приехал, хвалили за безбрачие: легче, дескать, с тихоновцами бороться.

И епископ вспомнил — тогда же Архипов, уже какой-то тайной мыслью унизив себя, исступленно, полушепотом, воскликнул: «Смущение веры, думали, произойдет, ваше преосвященство! Вы будто пламень, ваше преосвященство». Епископ Валентин растерялся и, хотя не верил Архипову, подумал — «скажу им о Софье позже...», и чем дольше он жил, тем все труднее и труднее было признаться в своей любви. Письма к ней становились все длиннее, часто в стихах. Она в ответ называла его своим Данте, а себя Беатрисой, письма так и подписывала: «твоя Беатриса», и это было неприятно и в то же время радостно читать.

Архипов, берясь за выпачканную известкой скобу низенькой двери, воскликнул:

— Нам ли, ваше преосвященство, не понимать ваших мучений? Живете вы у мужика, спите на досках, у Митрия-то клопов-то, поди, больше гвоздей, господи. И все из-за веры... Я же понимаю! Вера и терпение,— да мне ль не понять?..

Митрий, квартирохозяин епископа, был сапожник,— и клопов действительно было много. Помимо клопов епископа мучила духота: кроме Митрия, в комнате спали трое детей, теленок, стояли вонючие кадушки с огурцами и капустой. Митрий, сутулый, с грудной жабой, сильно некрасивый, настаивал перед епископом и перед живой церковью, чтоб требовали христиане уничтожения икон: «больно святые ликами прекрасны»,— озлобленно хрипел он. Тоже, должно быть, любви в своей жизни не встретил.

Епископ Валентин благодарно взглянул на Архипова. Епископу стало весело. Перед тем как войти в светелку, он радостно оглянулся. Морозный и звонкий шум базара умилил его. Голуби, суетливо хлопая крыльями, носились над собором. Купол собора отдаленно напоминал крыло, голубое крыло. И в светелке, когда они вошли, все бледно голубело, даже сапоги Архипова и те казались нежными. Пахло известкой. И простая мысль, что наконец-то милые женские кудри упали на его жизнь, непреодолимо завладела сердцем епископа Валентина. Стих затеплился внутри его. Он присел на лавку. И мужики, словно поняв его умиление, тоже присели на лавки. Они глядели в пол, молчали. Снег от их валенок светло и тихо таял на пахучих сосновых досках. Да, такая именно тишина ему необходима. Маленькое окно,

стекла, закапанные белой краской, которую, наверное, забудут отмыть и которую так важно именно не отмыть. За окном сугробы, крепкие, словно бы столетние. За ними чуть-чуть мерцают голубые локоны на главах собора, над ними огромное российское небо. Тишина, умиление, вера... Он вздрогнул, обомлел.

Надо сказать мужикам о Софье! Он понимал, что теперь у него сил хватит бороться: как бы ни вопили тихоновцы о женитьбе епископа, сколько бы прихожан ни отвернулось от него, как бы ни позорили его святость. Возвышенная дрожь охватила его,— он перекрестился в угол. И то, что в углу не было образов, что епископ крестится на пустой угол,— мужики поняли посвоему, умилились, и только Архипов мельком подумал, что тут неладно, хитрый поп намекает и язвит, что вот светелку-то отделали, а иконы забыли поставить. Намекает на суету! Но Архипов верил в себя и знал, что онто сумеет уровнять епископа. Излишне подобострастно Архипов проговорил:

— Тишина, ваше преосвященство, всего на свете слаще. Вот вечерком и сможете переехать. Помещение обширное. Одному скучно только мирянину...

Епископ смущенно осмотрелся: сводчатый потолок пересекала железная балка, тоже побеленная и как бы распухшая оттого. И епископ подтвердил, что да, комната, верно, большая. Архипов встревоженно взглянул ему в глаза (епископ понял, что сейчас, именно сейчас, надо сказать о Софье) — и опять смолчал. Архипов, должно быть, уже кое о чем догадывался. Он встал с лавки, и тогда епископ взял шапку, витиевато поблагодарил членов совета за хлопоты о нем и сказал, что пора идти на служение. Тяжело и устало бухал соборный колокол. По желтой тропе шли старухи в длинных черных платьях. На базаре, будто передразнивая благовест, лихо скрипели полозья. Члены совета отстали, епископ шел один, на душе у него было ясно, Архипов уже не тревожил его. Он с умилением думал, что вот: собор дряхл, служат в одном зимнем притворе, через весь притвор тянется к алтарю ржавая труба железной печки, и ладану никак не удается осилить запах сырых дров, а колокол гремит так, будто ему надо сзывать тысячную паству. Снег забился в калоши. Епископ остановился, и когда поднял глаза, перед ним стоял длиннорукий мужик в черном тулупе, недавно споривший с Архиповым,

Полуоторванный наушник шапки болтался подле его инистой бороды. В руке он держал варежку, несколько монет позвякивало на дне ее. Лицо у мужика было веснушчатое, украшенное тонкими и веселыми губами, руки у него были упрямые, он взмахивал ими так, словно и посейчас не выпустил топора. Да и по всему можно было понять, что никакая работа ему не страшна, что к людям он относится снисходительно и многое успеет (и хорошего и плохого) сделать в своей жизни. Епископу Валентину подумать так о мужике было приятно, и он спросил:

— Как имя-то твое, милый?

— Сумишев,—бойко, давая понять, что он все на земле знает, даже и то, почему епископ спрашивает его об имени, ответил ему мужик.—Сумишев, Митрий Максимыч, батя. Я вот с Архиповым говорил, Архипов твой... тьфу. Дай мне, батя, восемь копеек.

— Зачем тебе восемь копеек? — спросил епископ, думая в то же время, что в радости даже самые отвратительные голоса могут звучать прекрасно и что трудно понять: хороший или плохой голос у мужика.

Здесь подошел Архипов, но он не оттолкнул, как давеча, мужика, он наклонился к епископу и тихо сказал, что, верно, приходы бедны и епархия самая беднейшая, может быть, во всем мире. Жалованье епископу увеличат не скоро, причту где справиться. Он протянул синюю книжечку уложений о квартирной плате, и епископ смятенно прочел, что ему за квартиру надобно платить девять рублей за сажень. Он взглянул на Архипова, — «пять сажен», — сказал тот тихо и оглянулся на прочих членов совета. Члены совета сжали руки. Сорок пять рублей! Мужики молча переглянулись. Сумишев тараторил:

— Развожусь, батя. Развод-то стоит семь с полтиной. Ну и наскреб я эти семь с полтиной, прихожу, едрена мышь! Надо им еще! Еще требовается двадцать копеек за прошенье писать. А зачем мне прошенье? Никак невозможно, оказывается, без прошения. А меня одна баба ждет разводиться да другая ждет — венчаться. Самогон для свадьбы приготовлен, пироги мамка печет, прямо как в песне... А у меня двадцати копеек не хватает, едрена мышь!

Сумишев скинул рукавицы, щелкнул пальцами и притопнул даже, не имея силы, должно быть, сдер-

жать свое восхищение миром: таким шутливым и трогательным. И дальше он уже говорил не для попа (да и поп-то глядел под ноги, слушая, должно быть, себя), а потому, что восторга у него так много, что стыдно и даже больно не поделиться им с прочими такими же счастливыми людьми. Он глядел на епископа — и тоже ничего не замечал в нем. Не замечал острого, усталого лица, красных пухлых век, длинного пальто с отрепанными рукавами и шапки в руках, шапки, снятой, несмотря на мороз и на то, что волосы у попа жидкие, серые... Шея епископа, закутанная грязным оренбургским платком, казалась необычайно длинной, а голова (все от того же пухлого платка) испуганной и больной.

— Чтобы мне да и двугривенного не хватало на свадьбу, как же так, едрена мышь! Я говорю писарю: «Ты обожди, гражданин товарищ, я сейчас». И на базар. Кричу: «Граждане, товарищи, дайте двугривенный на развод. У меня корова стельная, весна на носу, а по весне мне надо избу новую рубить, а от старой бабы как от пуха на воде: ни тебе колыханья, ни потонуть. С такой бабой мне какая выгода жить? С такой бабой мне разводиться давно пора!» Ну они кричат: «Разводись, Митрий Максимыч Сумишев! Давай шапку али рукавицу, оберем мы тебе на развод». Весь базар кричит, вот какой мне почет. Ну, пошел я по базару. Смотреть ведь, кто сколько бросит — стыдно. Обошел всех, гляжу в рукавицу, весит тяжело, а сосчитал — накидали мне двенадцать копеек. Восьми копеек не хватает, батя! Второй раз мне идти по базару амбиция не позволяет, да и ни кляпа не бросят. Не ехать же мне из-за восьми копеек в обратную! А может, к тому времени и девка моего позора не перенесет, откажется. Что мне, по весне без избы быть? У меня изба должна быть новая, не могу я в осиновой избе жить, я хочу в сосновой. Правда, батя?..

— Правда,— ответил епископ на громкий возглас мужика. Но епископу даже и думать не хотелось, о какой правде спрашивает его мужик. Надо было б епископу обернуться туда, куда смотрит Сумишев, Митрий Максимыч: грудастая с крепкими, как бы деревянными, ладонями девка, обутая в раскрашенную катаную шерсть, полуоткрыв жесткий рот, стоит у дровней и ждет своей ночи и своей избы. И он, епископ Валентин, за восемь копеек подарит эту ночь девке. Горькая влага смочила б его сухие щеки. Но епископ, думая

о своем, порылся в карманах. Попалось три копейки. Он сунул их мужику. Мужик, разгладив варежку, пересыпал деньги в карман, звякнул ими — «Ну, и за пятнадцать уговорю. Напишет покороче»,— и мужик быстро побежал к крыльцу управления. Епископ уронил шапку, Архипов подобострастно подал ее. И епископ, все еще тиская шапку, сказал:

— Я не лед, братия. Я не могу поститься без досок, без топора, без клина. Мороз умерщвляет меня. Деньги мои ничтожны. Я отказываюсь. Счастье мое, видно, опять у мужика на печи пребывать.

Он взглянул на реку, виднеющуюся за обрывом, снежную, пухлую,— и Архипов и другие члены совета вздрогнули: от радости и от беспокойства. Радостно потому, что стало ясным, что архиерей святой человек, мученик, и подлая тихоновская паства кинет своих недостойных пастырей и перейдет на лоно истинной церкви, и беспокойно потому, что святой человек скоро поймет многие грехи, ранее им не замечаемые, многого потребует, возропщет, найдет других, более достойных сподвижников. Епископ опять уронил шапку. Шапку теперь ему не подали. Он склонился сам.

Мужики ушли далеко вперед. Соборный колокол трескуче гудел. Озябшие пальцы епископа неумело выдергивали из шапки длинные легкие и синие нитки. Поземка подхватила одну нитку. Легкое шипение перекатывающихся снежинок скрутило нитку, понесло. Сонная и пушистая туча подымалась из-за оврагов, из-за реки. Будет буран. Ветер обматывал синюю нитку вокруг тонкой вечернего цвета ветви, беспомощно тянувшейся из огромного сугроба. Какая пустыня, какое одиночество... И как тяжело жить, если счастье человеческое состоит в том, что ты не смеешь судить мир, не имеешь силы убежать от мира и должен подчиняться тайному тайных земли, малую каплю которого знают мужики... Снега темнели, туча надвигалась. Еще полдень только, еще бы сиять снегам... Купол собора походил на голубое крыло...

1927

ЛИТЕРА «Т»

Иван Семеныч Панкратов любил беззаботно повторять, что и умрет-то он, стоя за реалом, и что труп его вынесут из типографии, как букву вынимают из набора: лбом к стенам, а не к потолку. Приятели по работе уважали его за эту беззаботность, бодрую тучность, веселую седину и за те пять морщин, которые, как шрамы, пересекали его розовое лицо и говорили, что человек с такими морщинами видел много ветров и много солнца.

А солнце в Туркестане тяжелое, едкое — давно уже Иван Семеныч стал замечать, что зрение его слабнет, мир тускнеет: исчезают веселые облака, рано наступает серый вечер. С табличного набора его перевели на афиши, но и тут он делал много ошибок, — перед ним извинились, поручили ему раздавать оригиналы и разбирать. Но и тут Иван Семеныч не упал духом, он только заявил, что, видно, от старости руки трясутся, а про глаза умолчал. В жизни он, казалось, о многом молчал (хотя думать под такой жарой об этом некогда, да никто особенно и не думал о характере Ивана Семеныча). Говорил он хвастливо, например, что жена его, покойная Елена Александровна, была хозяйственная женщина, домоседка,—а Елена Александровна от водки сгорела: померла возле Аму-Дарьи у рыбачьего баркаса. Дочка, Машенька, уродилась в мать: и выпить и погулять мастерица; хроменькая, несчастненькая, будто лицо както вбок, рост и характер козлиный, — а почти со всеми парнями городишка П. спала и пьянствовала! Машеньку Иван Семеныч тоже уважал безмерно, тоже добродетелями ее хвастался!

За такую беззаботность его, за душевную, так сказать, красоту приятели жалеючи (перед тем, как Иван Семеныч начинал разбор) подкладывали в клеточки

касс темные бумажки. Иван Семеныч разберет заданный урок, а приятели утром велят выгрести буквы, бумажки возьмут — и снова переберут его работу, потому что, по слепоте своей, Иван Семеныч буквы путал и кидал не в те клеточки, где им надлежит бывать: кинет литеру «к» в свою клеточку, а она рядом упадет — в «л». Вновь поступающих рабочих Иван Семеныч не терпел: к лицу привыкнуть трудно, лицо как бы в синей мгле, а по голосам: голоса, по правде сказать, на эту дикую окраину, перед самой Хивой и пустыней Кызыл-Кумы, попадали худейшие, хриплые, пропившиеся, без всякого уважения к сединам. В молодости Иван Семеныч и сам мало уважал седины, а теперь думал иное, так как чувствовал себя человеком, работником, полезным для земли и для дочери своей.

В день, когда начинается рассказ, на работу первый раз вышел накладчик Мишка Благовещенский. Паренек это был молодой, лет шестнадцати, дошлый, с гнилым дыханием и весь как бы прогорклый. За свою короткую жизнь он успел уже объехать всю Россию, побывал и в столицах, лихо пил пиво, таскался с бульварными девчонками. Он сразу познакомился с Машенькой, сводил ее гулять в городской сад, пощупал в темной аллее и очень обиделся: она отказалась с ним спать, она почему-то решила, что Мишка болел дурной болезнью, и Мишка догадался об ее мыслях. Мишка обиделся на нее, на Ивана Семеныча, работать явился злым, к тому же в городе поговаривали, что со стороны пустыни ведут наступление басмачи с атамановцами и что руководит наступлением атаман Кашимиров (офицер, даже в Туркестане прославившийся своей жестокостью),— а Мишка был трус, хвастался трусостью, и поэтому никто его трусости не верил. Пришел он в типографию рано утром, мальчишка-подручный уже сбирал перепутанный разбор Ивана Семеныча; мальчишка пожаловался на свою унизительную участь. Мишка встретил Ивана Семеныча язвительным воем. У Ивана Семеныча была легкая, уверенная походка, он остановился на пороге: белое крыло седины поднялось выше косяка дверей.

Тогда метранпаж Ершов отозвал Мишку за машину, поднес к его носу пропитанный скипидаром кулак и свел коротенькие сердитые брови. Мишка смолк. Иван Семеныч понял, что Мишке не дали говорить: он и боялся и желал того, что ему могли выкрикнуть.

Был пасмурный, низкий день. Две недели уже шли дожди. Из-под подпочвы сквозь песок выступили глины с отвратительным затхлым запахом. Медленно по течению Аму-Дарьи к городишку П. спускался пароход «Волна революции». Пароход наполняли две роты красноармейцев, полевые орудия и снаряды. Пароход шел на помощь потому, что действительно из пустыни на городок шли басмачи. Спускался же он медленно оттого, что река Аму-Дарья, текущая среди песчаной пустыни, часто меняет русло, на ней много перекатов, мелей, течение ее стремительное, опасное, к тому же бандиты уничтожили на перекатах бакены, да и бакенщиков давно не осталось на свете. Ночью пароход бросал якорь, и каждую ночь поднималась брань: солдаты требовали, чтоб пароход все-таки шел!.. Да и верно, спать было более опасно, чем идти. Каюки басмачей не слышны; в камышах шелестит ветер... пароход тушил огни и проверял затворы. Наконец солдатам сообщили, что до городка остается каких-нибудь верст десять — пятнадцать. Но начался крупный дождь, небо потемнело. Буро-желтые песчаные холмы окружали стремительные воды Аму-Дарьи.

На одном из холмов виднелось огромное голое дерево, украшенное вороньим гнездом. Матросы высадились на берег, взобрались на холм. Ворон не пускал матросов на дерево; налетал несколько раз (подле дерева валялись щиты молодых черепах: воронята, видимо, питались ими), сверкнула молния — и тогда осторожный матрос выстрелил в ворона — и гром заглушил выстрел. Бесконечная голубовато-бурая равнина, покрытая гравием, расстилалась перед ними. Еще дальше виднелись фиолетовые холмы: ничто не напоминало им о городе. На душе у команды было смутно. Долго спорили они тихими голосами — и все же решили кинуть якорь. И тогда гнилые запахи подпочв, словно вдруг всплыли тысячи трупов, дохнули на них с берега. Туго натянувшаяся якорная цепь дрожала на мелких и злых волнах. Река, мутно-желтая, тяжелая и холодная, стремительно неслась мимо!..

В городке ревком уже давно ожидал парохода, уже второй день пристань была украшена мелкими красными флажками (они уже успели полинять, и свирепый дождь частью оборвал их). Половину городка населяли казаки, и ревком опасался, что они могут перейти на

сторону басмачей, и (в то время как остальное население было мобилизовано) боялись призывать казаков к защите. Казаки, несмотря на дождь и слякоть, ходили увешанные оружием, с песнями и гармониками, привезенными с фронта,— и все это еще более увеличивало беспокойство. И сидящие в окопах, за городом, перед лицом пустыни, больше всего смотрели на город, тоскливо слушая его тишину. В пустыне было темно, сыро, она походила на огромный грязный выгон.

Дальше, десятка за два верст, среди холмов, связав вершины нескольких кустарников, укрыв их попонами и чепраками, спали басмачи; атаман и генерал Кашимиров был среди них. Вот они прошли почти через Кызыл-Кумы, город уже был неподалеку, а за ним Аму-Дарья и за нею благословенная, благоуханная Хива! Все ж и басмачи и атаман Кашимиров думали, что веру, как пух, поднять можно, а через голову перекинуть нельзя. Они верили в силу города! Наконец они поймали киргиза, бродячего певца-уянчи, пробиравшегося из Хивы в Бухару, и певец, склонный к преувеличиванию, сказал им, что русские третий день уже отводят Аму-Дарью в сторону, что у русских непередаваемая даже в песне сила, что это великие богатыри; здесь атаман Кашимиров выстрелил певцу в рот. И тогда басмачи решили, что певец-уянчи подослан, шпион; сверкнули мокрые укрючины; седла звякнули стременами. Басмачи понеслись на город.

А город действительно под дождем, в грязи и слякоти третий день рыл канал. Пароход «Волна революции», кинувший якорь в пятнадцати верстах от города, вдруг ночью пошатнуло, команда спросонья открыла было огонь. Плеск вод прекратился, и дождливым утром солдаты увидали, что река отошла в сторону на сто саженей. Пароход неуклюже торчал в тине. Увязая по колена в грязи, матросы стащили лодку в реку. Коряги, тинистые и черные, торчали округ. Громадные рыбы, не успевшие скрыться, тускло трепетали под дождем в крошечных лужах. И это было все, что осталось от реки! Матросы с матерками гребли к городу. И вот тогда ревком объявил добавочную мобилизацию, конфисковал лопаты и кирки. И все ж, даже теперь, ревком не решался мобилизовать казаков. Неумело выстроившиеся отряды направились рыть канал, дабы пропустить воду к пароходу. Моросил дождь, и было такое низкое

серенькое небо, словно небо это было не над блистательным и ярким Туркестаном, а над тусклыми российскими болотами. В типографии было холодно, шрифты слиплись, потому что смывать краску было нечем: ни скипидару, ни керосину. Краска застыла; валики машины прыгали по шрифту, не прилипая. Рабочих увели рыть канал, остались только Иван Семеныч да Мишка.

И по-прежнему Иван Семеныч бодро ходил среди реалов, заложив за спину руки, покашливая и жалея, что некому рассказать пришедшие ему в голову занятные истории. Мишка, дабы его не мобилизовали, расковырял гвоздем ногу на взъеме, хромал, злился и резал узкие ленточки бумаги, чтобы ими переклеить крест-накрест окна: стекла тогда от бомбардировки не лопаются. Иван Семеныч побродил-побродил (Машенька, несшая картошку к обеду, долго что-то не являлась), — он посмотрел на стекла и сказал, что давно пора б вымыть — больно уж тусклы! Мишка огрызнулся: стекла мыли только утром, да и дождь их плохо моет, что ли! И он вдруг кинул полоски бумаги на пол, завизжал — вся ругань, накопленная за годы великих войн и революций, вывалилась у него изо рта. Он вытер губы; ладонь была мокрая, длинная. А старик все беззаботно смотрел в сторону, в окна, которых почти не видал: он ждал дочери. И тогда Мишка закричал ему правду об его дочери и, закричав, сам понял, что если еще можно было уязвить старика слепотой, то теперь-то совсем не поверит Мишке. И он, точно, сказал, что Мишка зря клевещет на дочь; девка верная, честная. Откуда Мишке вдруг знать о том, что неизвестно всему городу? Откуда у него такие сведения? Старик даже возвысил веселый свой голос. Мишка собрался крикнуть что-то необычайно обидное, но здесь в дверях типографии показался военком города Тулумбаев.

Тулумбаев, сутулый и решительный человек, страдавший некоторым излишком красноречия, на пороге попросил слова. И просьбу его Мишка принял как насмешку. Он обиженно ушел за машину. Военком, держа в руках аккуратно переписанный лист бумаги, сказал, что, по полученным сведениям, басмачи и атамановцы под предводительством генерала Кашимирова наступают на город со стороны пустыни и будут у окопов не позднее, как через полтора-два часа. Ревком заявляет рабочим типографии: в их руках судьба города. В ка-

зачьем клубе объявлен митинг, но казаки не придут, если по городу не расклеить воззваний, в которых приводится текст телеграммы из центра, уравнивающей в правах на луга и покосы казаков и туркмен (такой телеграммы ревком не получал: он сам сочинил ее!). К пароходу за рабочими не успеть да и некому ехать — надо говорить, действовать! Казаки боятся обмана, они боятся, что на митинге их могут переарестовать. Тулумбаев взглянул на часы: он говорил пять минут, ему показалось, что этого довольно, он передал оригинал воззвания старику.

— Когда явиться за напечатанными воззваниями? — спросил он.

И старик ответил ему:

— Через сорок минут!

Военком пожал ему руку, дотронулся до козырька и, щеголяя решительностью своих движений, быстро вышел. В окна все еще сыпал мелкий дождь, было тихо, но в городе уже началась ерунда: пулеметами не знали кого защищать: то ли исполком, то ли их утащить в окопы за город. Поперек улиц протягивали проволоку. Хроменькая Машенька спала с солдатом в будке, недалеко от местного музея географического общества. Из музея тащили старинную пушку. Машенька вспомнила и предложила зарядить ее упраздненными буквами (на упразднение «Ѣ» и «ъ» утром сетовал отец: он требовал завитков в жизни), никто не понял ее: зарядили гвоздями. На улицах засверкало битое бутылочное стекло, появились стулья раскиданные — все наивные устрашения для конницы.

Иван Семеныч стоял с оригиналом в руках и видел перед собой твердое серое полотно с ровными строчками. Шея непонятно ныла и остро кололо в висках, так остро, что трудно было повернуться. Мишка, дыша гнилью, мотался перед ним и жалобно и злобно (уже сам страшась своих выкриков) стучал каблуками. Он кричал, что не хочет из-за такого старого черта, всегда притворявшегося наборщиком, из-за побирушки и сволочи — он не хочет быть расстрелянным! Ему жаль, он страдает оттого, что не вздумал вовремя хоть сколько-нибудь подучиться набирать, хоть бы кассу немного знал! Мишка, задыхаясь от злости, схватил Ивана Семеныча за руку: кисть была длинная и неимоверно тяжелая. Мишка подвел старика к кассе, обежал кругом

реала напротив,— облокотился на выпачканное краской дерево; упал на него грудью и опять завопил:

— Расстреляют, прирежут из-за тебя, сука! Свои же расстреляют. Набирай!

Бумага сухо свертывалась. Строки стыли, исчезали. И тогда Иван Семеныч вдруг вспомнил, что ему очень нравится уха из окуней, пирог с калиной, печеная в золе картошка и когда-то давно он любил французские булки. Вспомнил, как недавно умершая старуха, уже перед самой кончиной, глядя на него жалобно, сказала, что «ты вот, Иван Семеныч, как овод: летишь по-птичью, кричишь по-бычью»,— а что дальше... слезы показались у нее на глазах. Тогда эти слезы сильно удивили Ивана Семеныча, и он их понял так, что старухе не хочется помирать, жалко расставаться с жизнью. И вот теперь, держа в руках оригинал, текста которого он не видел, он понял, как долгие годы он обманывал себя и как его обманывали и жалели. Понял многие разговоры, понял, почему так мало всегда было разбору и почему наборщики говорили, что мало работы и что он, Иван Семеныч, может отдохнуть, может идти. Иван Семеныч уходил, гулял по городу и думал: какая у него легкая и достойная старость. И еще он понял, какая была скучная и грязная жизнь, если его, старого болтуна и хвастуна, держали неизвестно за что в типографии, работали за него, кормили его и его дочь... А теперь из-за его беспомощности, из-за его... Здесь он вспомнил свою дочь, вспомнил, как часто пахнет от нее водкой... сердце его устало рванулось.

Мишка все еще орал:

— Набирай, набирай!..— Ругательства его были неистощимы. Иван Семеныч неистово дернул кассу: третью по счету сверху. Реал пошатнулся. Он выключил верстатку на десять квадратов; выбросил кассу на реал (несколько квадратов выпало). Он сразу схватил букву «Т»,— так начинались все воззвания, и ему показалось, что взял он не букву «т», а другую, перед ней или рядом с ней. Он взглянул на литеру. Литера была холодная, тяжелая и тусклая, как бы совершенно сбитая, стертая. Он беспомощно взглянул на окно, и окно было стертое, в розовой мерцающей паутине. Он совсем близко к глазам поднес литеру. Он видел: неясный овал блестел в его гладких туманных и как бы помолодевших пальцах. Литера упала к нему на ладонь. Ничего! Верстатка

затряслась в руке! И тогда он почувствовал легкий озноб в пальцах ног. Озноб этот все увеличивался, сначала он походил на то чувство, которое испытываешь, когда отсидишь ногу, затем нога совсем омертвела, и только дрожала в ней какая-то тугая и необычайно горячая жила. Дальше озноб кинулся в икры, охватил всю ногу. Живот обдало волнистым и тяжелым пламенем. Горло у него пересохло; губы далеко ушли в рот, тогда мозг его запылал, необычайная радость, такая, какой он не испытывал с детства, да и то воспоминания об этой детской радости были и по сие время неясны и необъяснимы,— эта радость вдруг выпрямила его. Слезы покатились у него из глаз! Литера из ладони опять вернулась в пальцы, в упругие пальцы, и он увидал теперь, и он вспомнил только теперь, как давно он не видал морщин на своих пальцах... Как давно!.. Но ему некогда было вспоминать, потому что он явственно разглядел, что из кассы он взял не литеру «Т», а литеру «С», лежащую рядом. «Ошибка», —сказал он вслух, кинув букву обратно, и твердыми пальцами, описывая полукруг перед верстаткой, принес литеру «Т», за ней «О», за ней «В» и так далее...

Тогда накладчик Мишка медленно отошел от реала, боязливо оглянулся, попробовал подумать о старике что-то обидное, получилось только ругательство; он не осмелился выругаться. Мишка зачем-то пригладил волосы и начал приготовлять марзаны для заключки набора в раму. Рама вставляется вместе с набором в машину — и можно печатать. Раму он сначала выбрал самую новую, а затем осмелел, ехидно подмигнул самому себе, — дескать, знаю,— старик-то лодырь — как ловко всех обводил!

И взял раму самую грязную и заржавленную. Иван Семеныч, все еще чувствуя необычайную свою радость и даже мучаясь от этого (грудь слегка покалывало и болели виски), поспешно выставлял одну верстатку за другой. Ему показалось, что он пропустил слово, он проверил, перечел,—все было в порядке. Он опять стал набирать, и опять казалось, что слово, теперь уже какое-то необычайно важное слово, пропущено. Он сплюнул, досадливо завязал шнурком набор, кинул его на талер и схватился за рукоятку, чтобы повернуть машину и чтобы валики накатали на буквы краску. Руки его были мокры от пота; пар шел от лица.

— Крути! — закричал Мишка, кладя на барабан под зубцы лист обойной бумаги (воззвания печатались на обоях). Иван Семеныч увидел оттиск набора. Сколько лет он не видал оттисков своего набора? Ему некогда было вспоминать. Мишка визжал:

— Читай корректуру, дядя!

И он увидал опечатку: вместо слова «смертельная» стояло «смиртельная», он схватил шило, дабы выдернуть букву из набора, заменить ее другой, но здесь острие шила исчезло из его глаз, затем он потерял рукоятку, пальцы его пошли в туман, рука исчезла. Он выронил шило и, крепко схватившись за рукоятку машины, огляделся. Типография скрылась. Мутно-багровый туман был его миром. Он сказал:

— Накладывай, Мишка.

Мишка свистнул, приказал ему крутить. Вскоре прибежал за воззваньями солдат, их отдали все — семьдесят штук, себе забыли оставить. А через полчаса казаки наполнили окопы. Пулеметы обратили жерла свои к пустыне. Басмачи отступили. А еще через пять часов пароход вышел прорытым каналом в Аму-Дарью. Весь город встречал пароход. Вывели встречать и Ивана Семеныча, под руки (он и сам не заметил: как и зачем). Казаки стройно и, должно быть, с некоторой хвастливостью кричали пароходу «ура». Все еще шел дождь, и мелкие капли падали на лицо Ивана Семеныча. Кто-то спросил его: «Видишь, пароходище-то какой агромадный!» И он ответил «вижу», хотя перед ним стлалась бесконечная туманная пелена и посреди нее блестящий крошечный кружок — солнце.

1927

ПЕЙЗАЖ

Чалка со свистом скатилась на пушку, врытую в песок. Матрос скидывал в холодную утреннюю воду слежавшиеся круги канатов. Над пристанью запахло каменным углем. Спустили трап, и воздух, сонный, спертый, наполненный запахами плохо печенного хлеба и плохо мытого человеческого тела, кинулся вслед за толпой. Помощник капитана, сонный, с мокрым круглым ртом, сплевывая и мыча, ловил из рук пассажиров скомканные билеты. Он протяжно, с вятским выговором, кричал, чтоб не напирали. Пристань-баржа быстро опустела. Затем невыспавшиеся матросы молча выгрузили в пустынные пакгаузы несколько тюков бумаги. Приемщик, тощий человек с связкой огромных и ржавых ключей, кусая усы и уныло глядя на свои ботинки с неимоверно выпуклыми, в виде бильярдных шаров, носами, долго говорил таинственно о «нем», не менее таинственно намекая на пакгаузных крыс. Наконец из трюма появился большой дубовый гроб. Приемщик почтительно одной рукой поддерживал его. Гроб этот поставили на несколько плах подле пакгауза. В этом гробу было тело члена президиума губисполкома тов. Одинцова,— купаясь, Одинцов утонул; река быстрая, и труп его унесло далеко. Приемщик из почтительности надел по ключу на палец, дабы не звенели, дремотно опустился на порог сторожки и пристально смотрел на гроб. Из парохода показался мужик, высокий, оборванный, чем-то похожий на вставшую на дыбы лошадь,— у него были такие же удалые и такие же умные глаза. Мужик этот вел за руку мальчонку с толстым и капризным лицом (мужика зовут Елизаром Тарасычем Латыревым, а мальчонка — его сын). Елизар Тарасыч сел на бревно, рядом с гробом, и достал плисовый истертый кисет. Мальчонка сунул ему в колени голову и тотчас же

заснул, и тогда стал виден на шее у мальчонки пионерский галстук. Отец локтем погладил его по голове и глубоко, с наслаждением затягивался.

— Покараулишь, что ли? — спросил приемщик и, сонно шипя ботинками, ушел в сторожку.

Из-за тополей пышет солнце. Тень от пакгауза огромная, влажная: ночью много пало росы. Роса и на рогожах, прикрывающих груды мешков с солью. Еще стоят две сноповязалки, неумело и небрежно упакованные. Солнце сверкает на влажной краске сноповязалок. И это на пристани весь и экспорт и импорт! Пароход перестал дымить, и теперь из-за баржи видна только корма с задранной лодкой и нос, где на свернутых канатах спал в придуманной позе (колена к подбородку и руки на пол) вахтенный. И здесь на пристань пришел Хаников Игнатий Тимофеевич. На нем ватная солдатская стеженка, которую он носит зимой и летом, от зимы еще остался на ней неотпоротый заячий воротник. Щеки у него утомленные, давно не бритые, глаза красные. Он лениво побродил по пристани, пощупал сноповязалку, как щупал ее и вчера и позавчера, долго глядел, как подле носа парохода течение крутило ивовый лист. Лист вьется, ныряет, вновь выскакивает и все не может исчезнуть! Так и не дождавшись его погибели, Хаников подошел к гробу; сел на корточки против мужика и, со злостью глядя ему в подбородок, спросил:

— Одинцова привез?

Елизар Тарасыч вяло погладил подбородок и ответил вопросом:

— Родственник будешь?

— Кабы родственник! От родственника не грешно было б и пострадать, от родственника можно надеяться — хоть пожалеет. А этому зачем меня жалеть? Сам я из-под города, здеся всего два года, и грамоте плохо знаю, а вот... А фамилия моя Хаников, а потом была у меня другая фамилия — Средний...

— Не понравилась? Бывает. У нас вон в волости человек с фамилией Дураков есть. Так-с... Шесть лет хочет фамилию переменить и все другую, подходящую подыскать не может! Требовательный человек.— Елизару Тарасычу хотелось чаю, он подумал было спросить у подошедшего, открыт ли трактир и сколько сейчас времени, но у Ханикова было такое унылое лицо, что Елизар Тарасыч только ногой шаркнул.

— Не то что не понравилось, а в газетах, в ведомостях начал писать, а там все фамилии, сказывают, меняют. Ну, думал, веселей будет, взял да и переменил... Служу на электрической станции, жалованье получаю и еще за ведомости деньги; за то, что пишу.

— Деньги?..

— И не то что деньги, а так — туман. Напьешься один раз, вот и нету тех денег, опять пиши. А писать трудно и непривычка. Кажись, легкое дело написать, и беспорядков много, а сядешь за стол, подумаешь — оказывается, все в порядке. На собрания в газету ходил — еще больше тумана в голове. И этот составитель, редактор-то у нас тоже филантроп — все заголовки в газетах переставлял, справа налево и наоборот. Под конец, оказывается, некоторые гадали: «Где, мол, сегодня заголовок будет...» Ему Одинцов вроде начальника был. Призывает наш редактор этого, который нами распоряжался, Папырина, и говорит: «Почему в других губерниях корреспондентов убивают, а у нас ни одного не убили? Получается, вроде как бы нет корреспондентов у нас или плохо пишут». Папырин вернулся грустный. А я к нему как раз с жалобой пришел — у меня такая история произошла. Шел я в субботу мимо квартиры главного нашего инженера Начапинского. А там пьянствовали и песни орали. Я остановился, наблюдаю, а здесь луна вышла — и вижу: на завалинке жена Начапинского с инженером Григоровым спит. Я на баб в последнее время злился, да и вроде обидно: зачем же на завалинке, под самым окном. Я и написал, назвал там — «буржуазия» и так, что полагается по закону и требованию. В воскресенье это и напечатали. А в понедельник приходит ко мне на службу жена Начапинского (и женщина-то веселая, хорошая, никак от нее я такого поступка не ожидал). «Вы, спрашивает, писали такую дрянь?» Я и честно согласился. Тогда она мне в морду. Я подумал, подумал, — думаю, пожаловаться, — выгонят, а не пожаловаться, — тоже выгонят, — зачем, скажут, позволяешь себя бить. А она моего позволенья спрашивала? Погода ветреная была; идти до города от станции верст пять, я вот шел все и думал: жаловаться или нет? А песок мне все в глаза. Ну, все-таки пришел. Вот тогда-то и увидал я грустного Папырина. Я ему рассказал, а он даже и обрадовался: «Из-

ложи, говорит, или давай, для скорости, диктуй мне, я тебе все более равномерно изложу». Я ему продиктовал. Сейчас они — фотографию, меня сняли — и в газету. Не били, дескать, корреспондентов, не преследовали, а вот это что такое? И мало того, особый листок выпустили. Я могу даже листок показать... — Хаников достал из портсигара смятый и подклеенный газетный экстренный выпуск.

Елизар Тарасыч взял листок и долго смотрел на него, никак не понимая, с кем этот унылый человек схож, наконец сообразил, что отдаленно он походит на собеседника. Тогда Елизар Тарасыч начал вслушиваться, о чем тот говорит:

— Получилось форменное нападение на меня! Вроде назавтра выпустили громадную статью про меня, и хоть наврали, но наврали складно. Все, кажись бы, хорошо. А на другой день вроде призывает этот самый Одинцов, ехидный был, Папырина — и к черту! И меня с ним вместе из газеты. А там, оказывается, и на станции я оказался неподходящ... Теперь скитаюсь...

— Драться нельзя, ты бы стерпел,— зевая и глядя в кисет, сказал Елизар Тарасыч.— Одинцов-то хоть и груб был, однако терпеливый. Вот бы и ты потерпел... Я его, правда, ни разу не видел. А мне от него тоже хлопоты. Сенокос у нас прямо нонче превосходный; косой раз провел — почти и копна. И комара нету, и погода хорошая, сено сохнет как раз. Ни одно лето я лучше не мог бы жить... так-с. Одинцов-то, говорят, до занятий был лют и, много работая, раскалялся будто бы так— его и терпеть было невозможно. Всяко бывает, одним словом. Работал он раз — работал, не вставая чуть ли неделю, и вздумалось пива ему выпить. А пива-то, говорят, он и никогда не пил, впервые. Так-с... Не известна эта история? Кто тебя знает,— мне почудилось, что ты родственник; лицом будто схож... Выпил он пива, и тоже много выпил. Вместо прохлады получилось у него внутри разгорение. И направился он купаться. И тоже, должно быть, впервой. Так-с. Помер-то, говорят, он весело, не кричал и не суетился, да и когда нашли его, лицо у него тоже не очень тоскливым было, хотя и распухло. Так-с. Друзей, я думаю, у него много было. Вот и ты, вижу, вроде друг. Жалко, видно, им человека терять. А может, думали, я полагаю, не утащил ли каких казенных денег неизвестных. Одним словом, чтоб, значит, хо-

рошо о нем думать: назначили награду. Кто найдет труп, тому триста рублей! Тебе цены деревенские неизвестны? Так-с. Одним словом, на триста рублей можешь очень легко купить (на дом пригонят показывать) шесть или семь коров в полную собственность, и станешь ты кулаком. Мужики косьбу бросили. Солнце траву к земле гнет. Бабы воют. Лозники все перешарили. Даже где у реки старое русло было — и туда народ прется. Зачем на старое русло? А бог его знает, может, его волной занесло шальной. Багры сразу в цене, а про невода и не говори, да и рыбу, кажись, всю перепугали... Так-с. Я мужиком всегда осмотрительным считался, я думаю, ну шалишь. Елизара Тарасыча не загонишь. Поветь покрыл, косы наточил, работников нанял и, чтоб напередки смущения во мне не было, я им деньги вперед заплатил. Три телеги наладили, пирожков и калачей напекли, запрягать пора, а день жаркий, — и нашла мне тогда в голову мысль: «Пойду, мол, искупаюсь, благо река-то под яром, у самого дома». Зову Ефимку, вот этого, — спит, подошли к берегу, ничего не думая. И никогда-то я не нырял, кроме как в детстве, а тут от солнца, что ли, меня слепота осенила; сорвал я портки, заорал и нырнул! А мальчонка за мной! И тут будто рыба мне в руки. Я провел ладонью: лицо, волосы, одежа. Тащу на солнце. И лицо у него смеется будто, борода, — по описанию, он. И Ефимка ему в ногу вцепился, тоже кричит: «Он, папа...»

— Счастье,— вздохнул Хаников.

— Ну, не скажи. Кому бы и верно счастье, да не моему сословию. Выволокли мы его. А надо тебе добавить, деревня наша давно моему хозяйству завидует, а тут увидала как этого Одинцова, так прямо вся изошла лицом, будто помелом с золой по морде им провели. И то сказать: на полтораста верст по реке все деревни искали, а почему мне одному такое привалило? Мужики со мной и не разговаривают. Положили труп в холодную. Телеграмму в город отбили. Люди приезжают, посмотрели на мое хозяйство: «Нет, говорят, кулак ты. Не можем, говорят, мы тебе триста рублей выдать». Так-с. Тут я тебе могу сказать правду: я обиделся, вроде тебя. Несправедливостей терпеть не могу. «Если так, говорю, то почему же я работникам вперед заплатил— и на моем сыне пионерский галстук. Я с сыном вместе

Одинцова нашел!» Согласились тогда они сыну моему половину уплатить, и то не ему, а всему отряду, одним словом,— кануло... Я с таким решением никак жить не могу, у меня уже азарт. Я говорю, все суды пройду, а свои триста рублей не уступлю. Сел с ними на пароход... Так-с.

Из сторожки вышел приемщик с ключами, посмотрел на солнце, крякнул и, протянув длинную руку в сени, лениво изгибаясь, добыл оттуда жестяной ковш с водой. Фыркая и сопя, приемщик начал умываться. От земли шел тусклый пар. Петух, клохча и расставляя ноги, подобрался, напился из лужицы воды, которой умывался приемщик. Напившись, петух заорал и, как бы испугавшись своего крика, отбежал, боком, на несколько шагов и еще заорал... Говорить было не о чем, и, чтобы хоть сколько-нибудь закончить разговор, Хаников сказал:

— Добрый был мужик...

— Одинцов-то? Обходительный,— глядя в кисет, ответил Елизар Тарасыч.

— И веселый...

— То-то и оно...

— Да...

— Так-с...

Раскачиваясь, с грохотом, показался в воротах катафалк. Катафалк на необычайно высоких рессорах, красный и весь блестящий, чуть ли не лакированный. Город длинный, одноэтажный, постоянно в нем песчаные ветры и постоянно засухи.

Идти через город трудно, и поэтому погребение назначено было рано.

Начали собираться сонные, невыспавшиеся люди. Лица у всех были мятые,— и уже пыльные. И только владелец катафалка, в длиннополом сюртуке и цилиндре песчаного цвета, распоряжался и радостно и гордо. Он первый, среди прочих городских гробовщиков, догадался окрасить катафалк в красный цвет и даже лошадей подобрал в масть — рыжих. Он отбил все заказы настолько, что прочим гробовщикам перекрашиваться было уже стыдно. Появился человек с тромбоном, укутанный в громадный шарф и, кроме того, украшенный солдатской фуражкой и роговыми очками. Устало и медленно поставили гроб на катафалк.

Оркестр заревел. Петух вспрыгнул на пушку. Осоловело глядел он, как тонкий лист все еще кружился у носа парохода.

И тогда и Хаников и Елизар Тарасыч стали среди провожающих, а когда катафалк двинулся, то Елизар Тарасыч перешел в первый ряд, к самому гробу, и так как толсторожего и капризного мальчонку принимали за сына Одинцова, то провожавшие несколько расступились, и мальчонка пошел первым за гробом.

1927

СЕРВИЗ

Едва показался у дверей церкви сторож, намеренно грохочущий ключами (дабы отогнать дремоту), как к паперти уже подошла Катерина Алексеевна. Был какой-то маленький церковный праздник; звонарь долго выбирал, в какой бы ему ударить колокол; священник, страдающий одышкой, белоголовый и глухой,—запоздал: старуха многим была недовольна и кресты клала размашистые, твердые, и ей думалось, что все в церкви понимают и страшатся ее неудовольствия. И еще она думала, что она стоит вот в церкви строгая, прямая, во всем черном, а стеганая кофта ее, засаленная, с ленивыми заплатами, горбила ее и без того сутулую спину. Дряблые щеки ее были покрыты серым, грязного цвета волосом, и острый нос ее всем казался распухшим и как бы потливым, и все оттого, что она редко мылась с мылом.

Опускаясь на колени, она каждый раз оглядывалась на Анфиску, девчонку, приставленную к ней; девчонка спешила ей помочь и делала такое лицо, какое делали все в доме, то есть что, дескать, страшно им гнева Катерины Алексеевны. А на самом деле Анфиска думала, что старуха притворяется, не богомольна она и в церковь ходит только потому— чем же она может отблагодарить хозяев, у которых чуть ли не пятьдесят лет служила она в кухарках и которые дали ей каморку за кухней, пищу и одежу до гроба и еще в прислужение Анфиску. Да и кому любопытно стоять в душной церквушке, пахнущей гнилым ладаном и дешевым воском, когда на улице август; зрелые, слегка желтые листья, устав от радостной жизни, лениво падают с деревьев, виснут на железных зубьях оград; листья эти пахнут плодами, и плоды наполняют базары.

Громадная и солнечная осень надвигается на город; и город гремит, и гремят в небе птицы, и на душе тоже много шуму! А старухе холодно, и на ногах у нее несколько пар чулок, все шерстяные и все один чулок на другой. Шлепанцы у нее тоже толстые, кошемные, без задков, и когда они выходят к порогу церкви, то всегда Анфиска торопит старуху, тянет ее за руку и взвизгивает: «Пойдем, пойдем!» Сразу же с паперти видны сады, ветви сияют солнцем и ветром, а старуха запинается о плетенный из веревок половик, и всегда Анфиска забывает посмотреть на ноги старухи, и каждый раз старуха оставляет здесь туфли и по улице идет в чулках.

А на улице Анфиске и совсем не до старухи, здесь на углах расторопные и веселые мужики с алыми пальцами продавали отяжелевшую запоздалую малину; покупатели со смехом смотрели, как малина вываливалась на землю из кошелки и лежала все такая же сочная и радостная. На лотках сиял голубым цветом виноград. Виноград запахи, должно быть, таил про себя, и Анфиска думала, что никогда рот ее не узнает этих запахов, и так же думали стоявшие подле торговца мальчишки, хотя были, говорят, случаи, когда торговец давал мальчишкам по ягоде или по две. Но стоять тут Анфиска не могла, надо было вести старуху домой,—да Анфиска и не завидовала мальчишкам, а была довольна их счастью, в которое, впрочем, она мало верила. И так же, как и всегда, и в этот день, старуха, подымаясь на крыльцо, остановилась у дверей и пожелала вытереть ноги, дабы не наследить, хотя день был сухой и пыльный, но со старухой спорить было нельзя. Старуха ухватилась за скобу,— и тогда опять оказалось, что она забыла на половике в церкви свои шлепанцы. У Анфиски были всегда широко расставлены пальцы рук (словно между этими пальцами лежали еще другие, не видные никому пальцы, да и Анфиска, кажется, так и думала). Катерина Алексеевна посмотрела на эти напряженно рвущиеся в разные стороны пальцы и медленно сказала: «Иди». Анфиска и пошла, хотя ей и не хотелось.

В церкви теперь уже совсем сыро, сторож бродит и ворчит, детей в церкви он не любит, ему все кажется, что дети ходят в церковь воровать свечи (сторож — сапожник, были у него две дочери, а отца оставили, ушли на бульвар за веселой жизнью,— может быть, они и нашли эту жизнь, но только отцу не сообщали). В квартире

же хозяев Катерины Алексеевны было пусто — кто ушел на службу, кто на свиданье, а кто просто на солнце, и Катерина Алексеевна, как всегда в таких случаях, прежде чем пройти в свою каморку, обошла всю квартиру. Дверь ей открывала кухарка, она теперь громыхала посудой в кухне. Кухарка была рослая, толстозадая и никак не могла родить ребенка, и муж ее, живший в деревне, грозил, что найдет себе другую жену. Кухарка говорила, что детей у нее нет от недостатка воздуха, она постоянно открывала форточку, чтобы проветривать, а хозяева запрещали ей открывать: они говорили, что из кухни пройдет холодный воздух в каморку Катерины Алексеевны и она может простудиться. Говорили они это не потому, что боялись, дескать, Катерина Алексеевна умрет, а потому, что не любили больных, от которых, казалось им, постоянно идет зараза, и хозяин, круглый и с зачесами на лысину, Федор Сергеич, даже ручку у дам целовать спешил первым, дабы не заразиться от остатков слюны тех, которые целовали руку раньше его.

Катерина Алексеевна же думала, что кухарка хочет ее свести со свету для того, чтобы самой занять каморку, и поэтому она не говорила кухарке того средства, которое, как ей было известно, способствует деторождению. И кухарка понимала это, и они много лет уже собирались переговорить друг с другом, и у обеих не хватало решительности. Комнаты были светлые, просторные, но почему-то оклеенные темными обоями с крупными неестественными цветами наверху, и все гости хвалили и радовались почему-то этой темноте и этим цветам, похожим на щепы. Лучше всего и веселей всего в квартире был буфет.

Буфет этот сохранился еще с тех времен, когда люди не стыдились того (как они стыдятся этого теперь), что они много и хорошо едят, а другие голодают. Этот буфет построили люди, которые ели много,— и когда Катерина Алексеевна остановилась против него, солнце целым окном падало на темный дуб; на резные листья, украшавшие боковые дверцы; на дверцы эти скользил деревянный темный виноград, и он тоже сиял на солнце и, казалось, просвечивал. Ниспадающее почти до полу чрево буфета поддерживали вырезанные из дуба веселые ребятишки, животы у них были крепкие и круглые, и на твердых щеках ликовал тот жир, который они хра-

нили целые столетия. Полка, соединявшая две половины буфета, была толстая, из цельного дуба. Из громадной этой плахи можно было выстроить лодку или, скажем, уложить на нее целого жареного быка. Вот запах мяса наполнил бы целый дом; хозяин подошел бы с ножом, и гости бы, поглядывая уверенно на быка, придвинули бы к себе ближе рюмки... На этой доске стоял забытый соусник французского фарфора с бледными, как бы тающими, розами. Этот соусник был из сервиза, которым гордилась вся семья, много семей, много хозяев Катерины Алексеевны.

О, этот сервиз! Катерина Алексеевна служила ему полсотни лет, больше чем полсотни, семьдесят пять лет! Она пришла к нему впервые девчонкой из деревни, и кухарка, седая и ласковая, строго учила ее, как надо осторожно мыть сервиз, учила теми же словами, которые теперь говорит Катерина Алексеевна девчонке Анфиске. Много войн, банковских крахов, даже революций (во время которых исчезли из этой квартиры персидские ковры и керман-шали, сияющие белыми кругами, кашемировыми своими сердцами), многое прошло мимо этого сервиза, и бледные цветы его напоминали тонким и тощим своим владельцам, что есть розовые кусты, которые цветут даже зимой и не опадают в циклоны! Такие мысли многим людям доставляют удовольствие — и буфет цепко и радостно держал в своем животе глубокомысленные бледные розы...

Катерина Алексеевна хотела убрать соусник, чтобы не толкнул кто его случайно, убрать в буфет, она протянула уже руку, холодная гладь коснулась было ее кожи,— но тут она почувствовала мелкую и тревожную боль в боку. Боль эта быстро прошла, она сменилась тоже быстро промелькнувшим дремотным томлением. Но тревога осталась, и, не смея одолеть эту тревогу, Катерина Алексеевна прошла в свою каморку. Ход в эту каморку был через переднюю, в маленький темненький коридорчик, из которого одна дверь шла в кухню, а другая к Катерине Алексеевне. Дверь была низкая, так что всегда приходилось наклоняться, и всегда Катерина Алексеевна, за шаг не доходя, наклоняла голову, а теперь она ударилась и, главное, почувствовала боль только тогда, когда остановилась у своей кровати. Боль ее не удивила, но ее удивило то, что она не могла понять, откуда эта боль, и еще то, что она не верила—

боль эта оттого, что она ударилась о косяк!.. Ее все более и более клонило ко сну, было такое чувство, особенно в руках, что ею исполнена какая-то очень долгая и не столько утомительная, сколько однообразная работа. Пальцы, казалось ей, слипаются, а глаза — уже давно слиплись, хотя она все отчетливо и ясно видела. Окно было плохо промыто; следы от воды бороздили его,— ей захотелось открыть окно. Она и сказала об этом окне вошедшей Анфиске.

Деревья в саду уже оголились, потому что сад стоял на ветреном холме, и через стволы были видны главы далекого монастыря, главы эти тускло блестели, как созревшие плоды. Когда Анфиска повернулась от окна, старуха лежала вытянувшись, и у нее было такое строгое лицо, от которого только теперь Анфиска действительно почувствовала страх. Обе руки старухи были плотно сдвинуты: концы пальцев, грубые и толстые, были в морщинах и грязи. Старуха внятно и раздельно сказала Анфиске:

— Поди принеси тарел... да не из кухни, из буфета.

Катерине Алексеевне хотелось говорить, и ей думалось, что она говорит шепотом, потому что ей хотелось закричать не то с радости, не то с горя, с какого-то неизвестного чувства, которого она не ощущала никогда. Она поджимала губы, но губы ее лежали неподвижно, и она видела, что Анфиска суетится и торопится так неумело, что суета ее только путает ее движения, и когда Анфиска показалась в дверях с тарелкой в руках и бледную розу пересек переплет рамы, Катерине Алексеевне стало обидно впервые, что к ней приставили такого человека, который не понимает простых слов и простых желаний. Анфиска же видела на этом неподвижном и побагровевшем лице какую-то удалую злобу, и эта злоба была так ясна и так томительна, что Анфиска, понимая, что надо бы бежать и сказать о Катерине Алексеевне на кухне, все же не имела сил бежать, и когда старуха сказала ей сердито:

— Чево принесла? Две надо принести! — Анфиска пошла и принесла вторую тарелку.

Старуха попыталась приподняться, Анфиска подложила ей под спину подушку, но этого показалось мало, и она положила еще стеганую кофту, а потом и валенки. И тогда старуха, преодолевая нестерпимую сонливость и стараясь как бы выпрямить свое стянутое в судорогу

лицо и думая, что это ей удается,— разомкнула медленно слипавшиеся свои руки, взяла в каждую руку по тарелке, и когда она взяла эти тарелки, она ясно почувствовала — теперь ей бояться некого, она взмахнула яростно руками,—и веселая и легкая бодрость овладела ею, и сон дунул сухим ветром на ее глаза. Она уже не слышала, как стукнулись и разбились в ее руках тарелки и как большой палец ее руки упал на острый черепок фарфора и — не почувствовал острия. Лицо ее было багрово, и бледность начала медленно сходить с кончика носа на щеки. Белое это пятно ширилось, заполняло все лицо, а тело ее все выпрямлялось и выпрямлялось.

У табурета подле кровати стояла Анфиска, и ей было не страшно видеть то, как бледнеет это напряженное багровое лицо, а ее пугала до озноба непонятная мысль: почему же старуха разбила тарелки? И только тогда, когда она подумала, что могут решить, что тарелки разбила не старуха, а она, Анфиска, ей стало легче, и неподвижное лицо старухи показалось ей страшным и в то же время родным, и она горько заплакала.

1927

ФОТОГРАФ

В городке П., грязной осенней ночью, бандиты убили ответственного работника Вуранцева. Этот ответственный работник никакими особенными доблестями не отличался. Пил он мало, да и пил всегда почему-то в ясную погоду, весной, и умер он тоже скромно, соседи и те не слышали его криков, когда на него напали бандиты, — а он защищался, потому что через улицу нашли лужу бандитской крови и посреди лужи котиковую шапку.

Городок дышал сытой осенней ясностью, солнце плавно шло как бы по твердому, немного усталому небу, — не стоило умирать Вуранцеву, не одну бутылку опустошил бы он перед таким веселым небом! И вдруг городок возгордел. Сразу же у скромного Вуранцева обнаружилось несколько жен, жены эти оспаривали честь стоять у гроба,— а теперешние мужья их не сопротивлялись этому и словно бы гордились близостью своей жены к такому герою. Домовые комитеты вытащили флаги; пожарная команда чистила каски свои и трубы своего оркестра. И тогда же секретарь одного столичного журнала, товарищ Шазарев, хмурый и как бы приплюснутый человек, сказал фотографу Николаю Николаевичу: «Снимите. Вот»,— и он сунул Николаю Николаевичу адрес убитого Вуранцева, железнодорожный билет и последний номер журнала с работами Николая Николаевича, где один из вождей сидел вполоборота к зрителям, и лицо у него было скучающее. Николай Николаевич понял намек желчного секретаря и обиделся. Так, сердясь, Николай Николаевич и пришел домой. Здесь, как и всегда, гудел примус, жена была подвязана фартучком, испачканным желтками и мукой, а на дворе такая трогательная осень, и люди (как думал фотограф) ходят все добрые, и он сказал со слезой в голосе:

— Ну, поеду я, Клавочка, отдохнуть денька два.

Клавочка сморщила неумело подкрашенные свои веки, и это чем-то показалось обидным Николаю Николаевичу,— он переложил билет из правого в левый карман и полез под кровать за чемоданом.

Городок П. был украшен кремлем и Волгой; одна из улиц городка имела бульвар. Скамейки бульвара, как и везде в России, были изрезаны скучными словами и фразами, которые почему-то считаются неприличными, хотя они так же распространены и так же часто употребляются в народе, как и сапоги или как варежки, и, видимо, столь же необходимы ему.

Фотограф посидел на скамеечке, попробовал перочинным своим ножичком соскоблить некую фразу, оскорблявшую его стыдливость, но фраза была столь глубоко всажена и дерево столь мощно держало ее, что Николай Николаевич при всем усердии своем даже буквы не мог повредить сколько-нибудь заметно. Он втайне огорчился своей прогулкой и направился отыскивать квартиру Вуранцева.

Гроб стоял громадный, толстый, на письменном столе, покрытом дрянной персидской шалью, из тех, которыми и по сие время мы усердно снабжаем страну Саади,— жены робко посмотрели фотографу в лицо, а Николай Николаевич сказал хмуро, что снимать здесь он не может: во-первых, тесно; во-вторых, белено известкой,— покойник выйдет в ореоле. Лучше снять завтра, на улице, или хоть бы в клуб его какой-нибудь перенесли. И он опять ушел, ходил по бульвару, у ворот кремля, древних и вросших в землю,— у ворот на солнышке беспризорные играли в «очко». Надо было б снять и беспризорных, и корявые лапы их на желтых и бурых грудах опавших листьев, и ржавые ворота кремля, обсиженные голубями настолько, что ворота сверху казались покрашенными белилами. Но во всем Николай Николаевич увидал такую уверенную в себе красоту, что он растерялся, не посмел снять, а только сам себе сказал с гордостью: вот заработка лишается, но природой хочет любоваться бескорыстно!

Так, гордый, бродил он подле кремля и по бульвару до вечера, пообедал зачем-то в вегетарианской столовой. Обеды были на редкость плохие, да и вообще было непонятно, зачем городку П. иметь вегетарианскую столовую. Потом он опять пошел на квартиру к Вуранцеву.

Там у дверей стояла одна из жен Вуранцева, с усиками и в потертом кожаном пальто. Она радостно сообщила Николаю Николаевичу, что предложение его принято и тело героя перенесено в клуб имени... и она, произнеся не без игривости обширный и грозный титул, взяла Николая Николаевича под руку и, стараясь (из траура, надо полагать) не вилять юбкой, тем местом, где она наиболее плотно прилегает к телу,— повела его в клуб. По дороге она сообщила, что остальные жены сопротивлялись ее настойчивости в проведении предложения Николая Николаевича, и все для того, чтобы доказать, что ответственный любил ее меньше, чем остальных своих жен, а фотограф в клуб не зашел, и провожавшая слегка обиделась на него.

Всю ночь фотографа жрали клопы; кремль кивал ему пышными главами, упрекая его,— не осмелился объективно запечатлеть такую исчезающую красоту,— проснулся фотограф с тяжестью в желудке, и тяжесть эта вскоре перешла в слабость всего тела, и фотографу стало скучно, он надел носки «мехом наружу», как он сказал самому себе ехидно.

Вынос был назначен в девять, фотограф пришел в половине девятого. Зала была заперта на огромный замок (сторожа, боясь трупа, ушли спать по знакомым), дверь ему открыла заплаканная кухарка Вуранцева: «Нет никого»,— сказала она басом, и фотограф тихо спросил ее: чего ж она плачет, и кухарка ответила ему еще суровей: «Вот и плачу, что никто не плачет». Фотограф присел на крылечко, кухарка села рядом и длинно, часто повторяя одни и те же фразы, начала ему рассказывать о жизни Вуранцева.

Фотографу хотелось спать; солнце слепило ему глаза; голос кухарки становился все тоньше и тоньше,—но здесь появилась жена ответственного, та, которая была в кожаном пальто. Она испуганно сказала Николаю Николаевичу, что все-то в городе думали: фотограф опоздает, проспит; город-то славен клопами; непривычному человеку спать трудно,— все здесь просыпают.

И точно,— народ начал сбираться к десяти. Появилась худая с огромными щеками вторая жена Вуранцева; за ней третья, низенькая, как бы пронзительная,— с таким носом, что, глядя на такой нос, становились понятными многие обиды на этом свете. Все жали руку Николаю Николаевичу, вели его к гробу, становились

у гроба в позу и просили снимать. Лицо у покойника было ясное; веки так легко сжаты, словно ему приходилось помирать от бандитов каждый день. И Николай Николаевич тяжесть своего желудка почувствовал очень унизительно, к тому же лицо Буранцева было все время не в фокусе, да и жены заслоняли его. А затем нахлынули друзья... Всю ночь в городке говорили, что приехал из столицы знаменитый фотограф, снимает для газет и журналов. Демонстратор из будки кинематографа сообщал на ухо, что особый у фотографа аппарат и возможно, что не фотограф это, а готовящийся в кино (демонстратор загадочно проводил кулаком внизу подбородка) спец. Уездная красавица, любовница начальника милиции, обладавшая таким совершенством форм, что вот уже два года, каждый раз увидав эти формы, начальник милиции хватался за голову и дико восклицал: «Ну и чудо же вавилонское, господи ты боже мой!» — Мария Захаровна пришла к гробу одною из первых. Фотограф, как и всем, и ей показался общительным. Три раза стремительно поводила она плечами, теми плечами, что загубили душу начальника милиции, и три раза щелкал Николай Николаевич.

Становилось тесно; лица были напряженные; все смотрели на Николая Николаевича, пока он тихо не спросил кого-то: «Чего же ждут и скоро ли выносить?» — и тогда тотчас же гроб подхватили, грянул оркестр, и одетая в кожаное пальто спросила Николая Николаевича: «Каким путем нести?» — на что тот ответил: ему, дескать, все равно, ибо снимать трудно, небо в тучах (и точно, уже накрапывал дождь). Тогда гроб остановился. Друзья долго совещались. Но затем было решено, что, пока несут, солнце может выйти, и все снимутся на фоне Волги или кремля,— и хоть путь этот был в десять раз длиннее, все ж гроб понесли сначала по бульвару, здесь долго стояли в тени лип, ждали солнца, смотрели на фотографа, обсуждали: что неужели не изобретена такая система, чтобы при тучах снимать. Николай Николаевич объяснял устройство своего аппарата. Так солнца хотя и не дождались, но снять — снялись. Стояли и у кремля, и у берега Волги. Дым парохода показался,— ждали парохода, чтоб по пути захватить на пленку и пароход. Снимались и у кремлевских ворот. Мужчины стояли, лихо сдвинув фуражки набок, а

женщины пленительно улыбались. И Николай Николаевич улыбался и вставлял кассеты.

А дождь все увеличивался и увеличивался; заплетенные волосы свисали грязными сосульками на щеки; кресты на кладбище стояли тусклые и неопрятные; церковь кладбищенская была с проваленным куполом. Ноги скользили по глине; гроб опускать было неудобно, к тому же друзья и жены ползли на объектив, и Николай Николаевич никак не мог поймать лица покойника и щелкнул прямо на ура. Речь за суматохой забыли сказать. Сторожа, по ошибке, притащили к могиле крест и с испугу кинули его. Крест так и валялся неподалеку, дождь крупными каплями сбирался на масляной краске его, и капли были грязные, вонючие. Нет, нехорошо под такую погоду ложиться в землю!

Николаю Николаевичу благодарно трясли руки, и каждый спрашивал, где он остановился, и много ли нужно ему времени, чтобы приготовить карточку, и в каком журнале она будет напечатана. Кожаное пальто пленительно и тревожно сжало ему пальцы... Скорый отходил вечером, и Николай Николаевич уехал с почтовым. Почтовый пришел в столицу с опозданием на семь часов, и даже это опоздание обрадовало Николая Николаевича. Со злостью и грохотом прошел он в свою лабораторию, поспешно проявил, напечатал,—и сразу же на душе стало тише, и даже слабость, мучившая его, прошла. Секретарь Шазарев, не отрываясь от стола, сунул к тусклому и хмурому своему носу карточки и неразборчиво пробормотал:

— У вас за последнее время скептицизм появился. Тут, во-первых, покойника нету, а во-вторых, вы что же мне рож тут каких насбирали! На кинооператора готовитесь!

Шазарев кино считал низким удовольствием, потому-то он и промолвил с наслаждением:

— Не пойдет,— и вернул Николаю Николаевичу все его отпечатки.

1927

ЛИСТЬЯ

I

Осип Осипович Гедеонов с братом Петром и с сестрами Катей, Машей и Соней жил в конце улицы Советских кузнецов города Карналухова. Трое из семьи Гедеоновых служили, Маша стряпала, Осип Осипович распоряжался домом. Жизнь шла спокойно, без жалоб, и Осип Осипович думал, что весь этот отличный дом спокойствием обязан ему, но вдруг оказалось, что не ему, а серебряной сахарнице. И чем дольше он думал, тем все яснее и яснее становилось, что он не ошибается. Налево от дома Гедеоновых стоял базар, за базаром церковь с голубой макушкой, и подальше, у городского сада, исправдом с багровой надписью на воротах: «В труде ты искупишь свою вину». До того как была приобретена серебряная сахарница, сестры, приходя с базара и со службы, передавали, что вот-вот начнутся войны и революции. Война с аэропланами, с танками, бунты, голод. Опять!.. Урожаи минуют, идут стороной, а город Карналухов не черноземен ли? Им казалось, что служат они за малую плату; что следует выбрать службу получше, и брат Петр, религиозный и тихий, тоже смущенно спрашивал: как же быть дальше? И едва лишь Осип Осипович купил серебряную сахарницу, вещь совершенно ненужную, то быстро оказалось, что вот когда он совершил самый важный поступок в жизни, что в голове у него необыкновенно огромные замыслы. Вслух так не говорили, но это можно было понять по усилившемуся спокойствию, по тому, как все безропотно отдавали ему заработок... Он стал покупать все, что поменьше местом: ковры, подсвечники, кольца. Он не знал покупкам этим конца и смысла, пока однажды на базаре он не услыхал, как мальчишки пели ему вслед песню, заставившую его думать о сахарнице:

Кощей, Кощей,
Не ест щей,
Жа-адный!

А он, точно, неделю почти не ел горячей пищи. Никогда ж он таким не был! Он оглядел себя: рубаха, рваная, без пуговиц, на булавках; пиджак без подкладки; бороду стрижет сам, чтоб не тратить денег на бритву; плохо спит; сны видит странные. И накануне того дня, в который появился Артур Адамович, тоже приснился странный сон.

Осипу Осиповичу снилась длинная улица, он идет по ней день, другой, улица безлюдна, переулков нет, бесцветна, и Осипу Осиповичу кажется, что он идет вдоль одного громадного дома. Окон много, и в каждом открыта форточка. Он проснулся от нестерпимой тревоги. Жирная черная пыль лениво скользила по стеклу окна. Скрипели телеги,—значит, приехали мужики на базар. Он спустил с дивана грузные ноги в толстых шерстяных чулках. Надо б открыть окно... и тотчас же вспомнилось, что вот уже четвертый год, каждое лето, вставая с дивана, он хочет открыть окно — и забывает. А в комнате душно, пахнет старым деревом и старой мебелью. Под ребрами у него ноет; одутловатость на лице нехорошая, надо бы подышать чистым воздухом, погулять, но квартиры нельзя оставить, да и к тому же скоро должен прийти татарин — продавец. Татарин ходит целую неделю, вся семья Гедеоновых уже его ненавидит, и он ненавидит семью, но уже решено, что без серебряного подноса, который продает татарин, жить невозможно. Они его подарят кому-нибудь! Они весело смотрят друг другу в глаза и лгут, придумывая, кому бы можно подарить поднос. За поднос должны отдать месячное жалованье Кати, старшей сестры Осипа Осиповича... Осип Осипович отхаркнул в платок мокроту: черную, густую, тревожную. Опять заныло под ребрами. Нет, так жить невозможно. Нужно сознаться, что произошло какое-то обидное недоразумение. И хотя Осип Осипович не знал, в чем заключается полная и ясная жизнь, но он вслух сказал:

— Надо жить полной и ясной жизнью.

И тотчас же подумалось, что пора умирать и что такие мысли в сорок пять лет не напрасны. Он надел под воротничок атласный рваный галстук, подвешиваемый на запонку, как платьевая вешалка на гвоздь.

Татарин посмотрел на грузное серое лицо Осипа Осиповича и оробело соврал: «Царская посуда! Тайком царскую посуду распродаем! Старинному покупателю меньше себя...» В комнате сестер пахло углями. Младшая, Соня, гладила на полу юбку, присев на корточки. У нее толстые икры и румяные щеки. Соня отставила утюг и тоже подошла осматривать поднос. Пять голов на мгновение склонились к столу. Татарин уважал жадность, но Осипа Осиповича он не любил: жадность его была татарину непонятна. И вдруг Осип Осипович, вырвав поднос, сунул его под мышку. Сестры умиленно и напуганно переглянулись. Татарин прятал деньги. Осип Осипович уже раскаивался в покупке.

— Переплачиваю. Где вещи берешь? — сказал он, схватив татарина за рукав.

Над постелью сестер ворочался в клетке, украшенной золочеными гербами, раскормленный чиж, самодовольный и сонный. Осип Осипович глядел на поднос с ненавистью. Он подвел татарина к окну:

— Где же обещанные гербы на подносе?

У палисадника, кокетливо облокотясь на колья, средняя сестра Гедеоновых, Маша, тощая, с серыми медленными глазами, говорила с маленьким кругленьким человеком в прорезиненном пальто и с зонтиком в руках. Осип Осипович сразу узнал его. По-прежнему на лице — курносом и самоуверенном — висят, в виде топора острием вниз, стальные усы. Осип Осипович опустил руку. Татарин скрылся.

II

По-прежнему на Артуре Адамовиче Непокойчицком, как и двенадцать лет назад, канотье с огромной лентой. Только тогда была лента оранжевая, а теперь синяя с золотыми крапинками. Вот когда приходило счастье Осипа Осиповича! Он познакомился с Артуром Адамовичем у реки, на скамеечке, в Казани. Они много говорили о ледоходе, о хороших людях, о весело заработанных состояниях. Осип Осипович очаровал Артура Адамовича, и тот свел его к своему патрону. В Осипе Осиповиче вдруг обнаружился превосходный вояжер. Он был высок, с длинной шеей, с басистым голосом. Необычайно многое слышали люди в этом голосе. Осип

Осипович преуспевал. У него появилось три кожаных чемодана с длинными ремнями, завершающимися медными пряжками. У него были запонки: поле, половина — черная, железо,— и желтая, золото. А посредине — между железом и золотом — брильянт. Но карьера внезапно прервалась. Однажды закололо под ребрами, Осип Осипович позвал врача, и оказалось, что нельзя Осипу Осиповичу передвигаться, что малярия для него смертельно опасна, а в те дни патрон направлял Осипа Осиповича в Мингрелию, в болотистые равнины реки Риона. И к тому же вдруг оказалось, что Осип Осипович не может глотать хинина.

— За последние десять лет нигде не приходилось так дешево и приятно кушать, как в вашем Карналухове. Нигде не могу надеяться на таких стерлядей, Осип Осипович. Это две совершенно приятные встречи...— И Артур Адамович весело поправил жирные свои усы.

— У меня же совершенно отсутствует аппетит, Артур Адамович. И кроме того, передвигаюсь с трудом, слабость в ногах. В голове усталость и постоянный звон.

— Трудно, трудно... Но живу! И даже детей кормлю. И в Крыму даже имеет возможность лечиться жена. Представляю сейчас пуговичную фабрику, тоже трудно. Костяная пуговица не идет, предпочитают металлическую. Все желают крепкого материала и крепкой жизни. Трудно!..

Осип Осипович вдруг вскочил; прикрыв салфеткой поднос, он скрылся. Дверь, плохо держащаяся на петлях, грязная и вонючая, слегка покачивалась. В окно удушливо дышал базар: запахами плохой пищи, водки и гниющей кожи. Маша смотрела на зеленые шелковые чулки, обтягивавшие ноги Кати. Чулки были искусно заштопаны. Катя низенькая, с громадным задом и громадными грудями, над длинной челюстью ее висят кровавые куски губ. Она презрительно повела этими кусками.

— Зашел по старой памяти к Осипу Осиповичу.— И, словно боясь надоедать разговорами о себе, вояжер спросил:— Шум базара вас не беспокоит, барышни?..

Все напряженно молчали.

Вояжер тогда только вояжер, когда он говорит что попало и как попало. Но говорит! Вот тогда он может надеяться на заработок.

Сестры разом встали и вышли, не посмотрев на него. Остался один Петр Осипович. Донесся визгливый голос продавщицы кваса. Облезшая краска на голубом куполе храма, виднеющемся через площадь, походит на пыль. Бороды мужиков цвета чернозема. У них беспокойная походка. Да и многое в этом городе беспокойно! Артур Адамович торопливо говорил, что Осип Осипович совершенно не изменился; что сестры выросли и стали совсем красавицы; что им пора замуж, и что вы вот, Петр Осипович, тоже здоровяк, и какая у вас прекрасная семья, на зависть. Петр Осипович уныло сидел за столом, близорукий, тощий, в стальных очках, в выцветшей толстовке с маленькими кармашками, и наконец, боязливо взглянув на дверь, сказал:

— Покос скоро, мужики чайники на базаре выбирают...

— Как-с? Покос? Совершенно верно. — И Артур Адамович тоже посмотрел на дверь, через которую скрылся Осип Осипович. — А я по вечерам гуляю у реки и, кроме того, принимаю хину.

Он действительно достал облатку хины и попросил воды. Петр Осипович сидел неподвижно. Вояжер проглотил хину и долго сбирал слюну, кашлял, пыхтел.

— В Мингрелии, Петр Осипович, болота почти осушены, но тем не менее я принимаю хину. Малярия почти исчезла.

Осип Осипович вышел с полотенцем.

— Я умывался! — сказал он, косо ухмыляясь.

И полотенце и лицо его были сухи. Артур Адамович поправил ленту на канотье.

— А я, Осип Осипович, по вечерам гуляю у реки. Проезжаю мимо города Карналухова и думаю: неужели за двенадцать лет человек здоровье не выправил? Кроме того, малярия в Мингрелии исчезла, болота осушены. На Кавказ переехали многие знакомые ваши коммерсанты, и когда они увидят вас, то, конечно, дела вы сделаете. Я вам завидую? Ничуть. Поезжайте, Осип Осипович.

— Вот меня в окрестностях — наверно, слышали, Артур Адамыч, — скупым считают. Окна, говорят, не открывает. Воров боится. А здесь самое неприятное не воры, а черноземная пыль.

— Вредна?

— Не столько вредна, сколько беспокойна. Тем не менее должен из-за болезни опять отказаться от выгодного вашего предложения, ради которого вы остановились в нашем городе...

— Вот именно, Осип Осипович.

Осип Осипович смотрел на полотенце, Петр Осипович — к нему на руки. Вояжер хотел было проглотить еще таблетку, но обиделся на свою растерянность. Он поправил жилет, вынул визитную карточку, пожелтевшую от времени, с «ъ», положил ее на стол и, ковыряя в зубах спичкой, вышел. Тотчас же после его ухода вернулись сестры. Маша спросила у Петра, выгодное ли предложение сделал вояжер, и Петр ответил, что у вояжера темная фамилия: Непокойчицкий.

III

Городской сад упирался в реку. Сразу же под обрывом у подножия сада гремит деревянный мост. Застрявший на мосту автомобиль непрерывно гудел. Кони, везущие с базара пьяных мужиков, оторопело шарахались. Мужики бранились. Река пахла лопухами. Солнце склонялось к лугам. Наверху, в саду, было пыльно и беспокойно. На аллеях шипели наглаженные до твердости жести платья красавиц. Замусоленные окурки липли к ногам. Инвалиды, хватая за тросточки гуляющих, просили о помощи неестественными голосами. Листья на деревьях, громадные, напряженные, были неподвижны.

Катя увидела Наталью Модестовну, она вела незнакомую, опрятно одетую девушку. Катя тщательно рассмотрела ее, даже два раза обернулась. Затем она спросила Баранцева о девушке. Нет, он ее не знает. Почему же Наталья Модестовна указала девушке на Баранцева? Голос у Кати был спокойный, деловой. Баранцев покраснел. Тогда Тюремкин, рябой увалень в полотняном костюме, приятель Баранцева, взял Катю под руку и сильно ее сжал. Она сказала шепотом: «Больно». Баранцев услыхал этот шепот.

— Пора и выпить,— сказал он торопливо.— Наталью Модестовну обижаете, а с Машей не знакомите. Скупердяй братец не пускает? Умрет на денежных мешках, факт!

На мгновение лицо Кати стало вялое и презрительное. Затем опять ярко засияли куски ее огромных губ.

— У Маши голова болит!

— Мы вылечим, Катерина Осиповна, ручаемся.

— Вылечим,— подтвердил Тюремкин и еще сильнее сжал ее руку.

Они повернули в проулок. Позади, над садом, беспокойно кружились галки. Ударил оркестр. Катя спокойно посмотрела в лицо Баранцева и сказала:

— О ней мы еще не решили.

Кате вспомнился утренний разговор с сестрой. На улице, у палисадника, мужик за узду тянул упирающуюся лошадь. Он материл лошадь визгливо и однообразно. Маша спокойно смотрела на мужика. Мужик, захлебываясь словами, бессильно топтался на месте.

— По животу ее хлестни,— вдруг сказала Маша.

Мужик отскочил в сторону, ударил,— лошадь пошла. Тогда Катя, сама удивляясь мечтательности и тихому своему голосу, заговорила, что Осип, видимо, хочет купить дачу. Над рекой. Хорошо! Летом надо потесниться и сдавать. И никто не посмеет выгнать, и, кроме того, верный капитал. Маша обернулась, лицо у нее было сердитое, она, должно быть, думала, что сестра, заговорив о даче, как бы упрекает Машу за безделье. Маша спросила:

— Баранцева увидишь? — Катя не ответила, тогда Маша добавила:

— Мне нужно с ним поговорить. Он хороший.

Катя вытерла губы:

— Что в нем хорошего? Не курит разве, а изо рта все равно воняет.

— Добрый,— возразила Маша, затем поправилась:— Добросовестный.

Баранцев с удовольствием пропустил гостей в квартиру. У него три комнаты, опрятные и тихие. Диваны, обитые коричневой клеенкой, напряженно горбились. На столе, покрытом выцветшей ковровой скатертью, стояли самодельные выжженные рамки. Стены увешаны фотографиями, тоже в самодельных рамках. Узколобые спокойные лица чуть-чуть качнулись, когда Баранцев побежал, припрыгивая, к шкафчику... Сначала пили наливку, затем водку. Баранцев приготовлял селедку, обильно

посыпая ее перцем. Он свистел, веселился, бил рюмкой в ладонь, ставил ее на лоб и по команде: раз, два — ловил рюмку ртом. Тюремкин дико хохотал; голос у него стал разнеженный. Он жал толстыми своими коленями ноги Кати и с любовью глядел в окно. Стемнело, показались звезды. Баранцев шепотом уговаривал Катю лечь с ними двумя. Кате всегда казалось, что в квартире Баранцева она становится развязнее. Тускло отсвечивали стекла в рамках. Эти выпиленные и выжженные рамки стали ей казаться удивительно милыми. Тюремкин вздыхал:

— Чудная вы девушка!

Катя поцеловала его в щеку и сказала, что на следующий раз она приведет Машу. Тюремкин хотел непременно к реке.

— Сиди,— крикнул вдруг на него Баранцев.— Не пыли!

Подле пустыря, рядом с домиком, где жили Гедеоновы, сидели на грядке разбитых кирпичей Соня и Маша. Осип Осипович с веткой акации в руке шел мимо к городскому саду. Он гнул ветку, глубоко вздыхал. Остановился подле полешка, недалеко от того места, где сидели сестры, чуть склонился, как бы желая поднять полешко, но не взял, двинулся дальше. Ему думалось, что он ничего не знает о себе, разве только то, что — трус. Надо будет найти вояжера, рассказать ему о своей храбрости, о бедности. Вояжер едва ли видел серебряный поднос, но все-таки, если видел, может разболтать... Сестры испуганно посмотрели ему вслед. И тотчас же подумали о Кате.

— Наталья Модестовна сводница,— сказала Соня бойко,— вся в прыщах. Спина у ней в прыщах, она меня в баню водила, я видела.

— Я тоже в баню ходила, но не заметила. Это как, опасно?..

Соня проговорила снисходительно:

— Я не говорю, что у нее сифилис. Но грязнущая, рук не моет. А платье суконное, франтит.

Они посидели молча немного. Проходя мимо полешка, уже забыв, что Осип Осипович наклонялся к нему, они остановились и, рассмеявшись одинаковому движению, обе схватили полешко. Оно было трухлявое и пахло грибами.

IV

— Я сидел в пивной, рассуждая о разном с приятелем. Некоторое время спустя возвращаюсь домой по базару, вижу, человек серебряную сахарницу продает...— Осип Осипович остановился. Ему хотелось рассказать, что из всех его поступков видно, какой он обыкновенный и простой человек. Ему хотелось сказать, что вот купил года два назад серебряную сахарницу, купил случайно, а после этого как-то произошло... И теперь все его считают скупым, указывают пальцами, песни орут! Но рассказать — нельзя! Осип Осипович не находил ни одной причины, которая смогла бы объяснить, почему же он голодает, отнимает у сестер жалованье и что он будет делать дальше. Он повторил: — В пивной сидел...

Вояжер рассмеялся:

— Давно? Вчера? У вас в провинции свои расчеты. Мне говорят — у вас нрав изменился... а по-моему, свои расчеты, Осип Осипович.

Тучка кисеей отражалась в реке. В скамейке еще дневное тепло, и тепло это как бы кисейное. Вояжер похвалил теплый вечер и опять заговорил о том, что по вечерам он гуляет у реки, принимает хину, перечислял живущие, знакомые Осипу Осиповичу, фамилии в Мингрелии: Славгородовы, Биконсфильды, Хлобыстовы, Порфирий Львович Молоствов... Торгуют вином, кавказской пальмой. Осип Осипович спросил:

— Кавказской пальмой?— и, медленно вздохнув, прервал вояжера: — У меня совершенно отсутствует аппетит. Жую, жую, а все без толку. Руки слабые, головные боли, а затем слабость в ногах по утрам. Вот вам тоже говорили обо мне, наверное, не похвальное...—Тяжелая вялость вдруг наполнила его ноги. Вояжер, крепкий, кругленький, плотно сидел на скамейке. Зачем ему заезжать в город? И вояжер ли он теперь? И почему так много фамилий знакомых на Кавказе?

— Я вашу старшую сестру, симпатичную барышню, сегодня в саду встретил. Переглянулась с женщиной в розовом платке.

— Наталья Модестовна,— сказал Осип Осипович изнеможенно.

— Ну, допустим, Наталья Модестовна. Кажется, многим известно, что она сможет прийти к некоторому

знакомому в гостиницу и предложить ему карточки продающихся в городе женщин. Допустим, ко мне!

— Может, может,— быстро сказал Осип Осипович со злобным наслаждением.

Вояжер обернулся к нему недоуменно. Артур Адамович тоже имел сестер! Он уже представил, как злодейка-сводница, шепча на ухо сестрам обольстительные слова, ведет их в притоны, а затем увозит за границу, в Константинополь, Париж! Артур Адамович не обладал высоким воображением. Но и при такой картине он почти задохнулся.

— Может? И по-вашему, это вполне простительно? Если ради хлеба, допустим, в голодные годы, да...— Вояжер долго говорил о голоде, о деньгах. Он действительно жалел Осипа Осиповича. К тому же он получил от жены из Крыма в этот день длинное ласковое письмо: здоровье ее лучше, виноград дешевый и квартира дешевая. А в жизни вояжер больше всего уважал дешевизну.— Сестры у вас, Осип Осипович, об их семейном счастье тоже надо подумать. И вам пора. Я женат шесть лет, и нисколько это моей жизни не стеснило. А у вас какие-то расчеты...

Осип Осипович даже слегка отодвинулся от него.

— Не стеснило? — повторил он сдавленным голосом.

— Не стеснило,— отозвался вояжер.

Осип Осипович схватил пухлую его руку горячей и трясущейся своей рукой.

— Обязанность их беречь! Голодаем почти! Бедность наша! Больные все... И тем не менее я скажу, что завтра я могу уже уехать с вами на Кавказ. И куда хотите, куда хотите...— Он вскочил и стоял перед скамейкой, махая длинными руками. Лицо у него было спокойное и даже несколько восторженное.— Если столько прежних знакомых и при моем ораторском таланте... Я могу — чудеса!

Вояжер оторопело смотрел ему вслед. Осип Осипович уходил быстро, мелко шагая. Сначала ему казалось, что он поступил чрезвычайно отважно. Но вскоре тревога опять овладела им. Вояжер хитрит! Надо было б предложить ему в сегодняшнюю же ночь уехать... кстати и пароход есть. Все хитрят, и сестры хитрят, заставили его для своих каких-то неизвестных целей копить, покупать вещи! От локтей к кистям руки его нача-

ли покрываться влажным потом. Ноги слабели, и в щеках, подле ушей, знобило. Он остановился.

— А я за тобой спешу,—услышал он голос Петра Осиповича. На темной рубашке у него блестели белые большие пуговицы.— А я, знаешь, от отпуска отказался, я лучше наличными получу. Ты как посоветуешь?

Вот и брат! Ему надо б лечиться, а он принесет эти деньги безропотно Осипу Осиповичу. Хоть бы презрение послышалось у него какое-нибудь, если не к Осипу Осиповичу, так к этому страшному и непонятному миру. Что ж ему посоветовать? Осип Осипович тихо и утомленно сказал:

— Бери.

И тотчас же голос брата стал если не веселей, то беззаботней.

У пустыря, рядом с домом, их остановили крики Сони. Подле забора Соня, широко расставив толстые ноги, держала за волосы Афимьюшку, пьяницу, вдову, торговавшую всяческим старьем. Соня била ее по щекам обрывками бумаги. Афимьюшка была в подряснике, рваном и вонючем, подпоясанном веревкой.

— Я покажу тебе, сволочь этакая, обсчитывать. Меня тюрьмой не запугаешь. Видали мы вас.

Афимьюшка хрипела:

— Воровка, пусти.

Соня ударила ее кулаком в переносицу:

— У, пьяница, я тебе покажу — воровка.

Увидав братьев, она оттолкнула плачущую Афимьюшку и побежала домой. Афимьюшка поползла, шаря руками, по земле. Осип Осипович зажег спичку. Они увидали несколько пачек переплетной и раскурочной бумаги, два клубка шпагату и небольшой кулек шубного клея. Соня служила в типографии.

V

На восходе явилась Катя. Без ботинок, грубыми, как бы рассыпающимися шагами, она прошла по комнате. Кровать завизжала. «Пьяна»,—подумал Осип Осипович и уже не заснул. Стена пахла отвратительным запахом обоев, наклеиваемых слоями друг на друга целые десятилетия. Он открыл форточку и долго пытался вспом-

нить, какой же и когда же он видел сон с форточками? Через базар, у церкви, дворник, сильно шипя метлой, мел улицу. Он, по-видимому, разгонял метлой дремоту. Кто-то глубоко и знакомо вздохнул. В дверях стояла Маша.

— ...пока спит Катька, я и договорюсь. Она, как бы ни напилась, всегда в девять встает. Меня, Осип, трудно напугать.— Маша говорила с обычным своим, несколько небрежным спокойствием.— Я не боюсь потерять невинность. Катька треплется бестолково, без выгоды, от беспокойства.

— От беспокойства?..— Осип Осипович хотел упрекнуть ее в грубости, но не смог.— Я же с вами...

— Противно другое. Подруги мне говорили, что Баранцев — истязатель. Я не верила, думала—сплетни, а сейчас вижу, у Кати на теле синяки от щипков. Она с ним живет. Меня к нему вести не хочет, а сама ничего не сделает, выкинет ее через месяц к черту. Ты распорядись. —Она посмотрела, как Осип Осипович, зажав руками уши, сел на диван. На базаре уже скрипели телеги. Ругались веселыми голосами нищие. Маша зевнула.— Она только тебе и верит! Пускай она меня с ним познакомит, у меня он навек забудет щипаться... все они пьяницы и развратники до момента.

— С семьей, что ли, посоветоваться о таком случае? Он, думаешь, женится? На тебе?

— Советоваться? Если ты во всем царь и государь, то сознавай, что чайники для вас мне ставить надоело. Дешевое дело.

Долго после ее ухода он передвигал диваны, достал серебряный поднос, кольца, спрятанные за столом в спичечной коробке. Какое ослепление и какая болезнь владеет теми, которые разрешают ему покупать эти ненужные и, в сущности, неценные вещи? Они тихо разговаривают за дверями, опасаются его обеспокоить! И позже, когда ушел Петр к заутрене, опять появилось серебро. Принесла Наталья Модестовна маленькую, позолоченную, с пустыми и глупыми вензелями, рюмочку. Она сказала, что таких есть дюжина или две, смотря по надобности. И тотчас же, вся наполненная сознанием важности своей работы, осведомилась о Маше; затем об урожае; о покосах; о вояжере, который приехал в город. И на все свои вопросы она отвечала сама и была очень довольна своими ответами.

VI

Тихо говорящие за дверьми однотонно рассуждали о том, что Петр плохо спал всю ночь, что Соня— воровка, и Афимьюшку надо гнать из дома, но как ее прогонишь — придет другая, еще хуже, этой хоть не поверят, если дело коснется суда,— дурочка. Шея у Петра была грязная, он вяло жевал бутерброд из плохого хлеба. Катя жаловалась на головную боль и говорила, что Соня хотя и шестнадцатилетняя, но не мешало бы ее выпороть. Петр неожиданно воскликнул, что надо ходить в церковь, молиться богу, бог все видит, он накажет. Не гибнуть же всем, не сидеть же всем ради ожидаемой прекрасной жизни, да и сможет ли ее устроить Осип Осипович! И тогда Катя завизжала, чуть слышно, оглядываясь на дверь, что Петр не смеет так говорить, не смеет он клеветать на Осипа, Осип в сто раз лучше всех в городе и, может быть, один во всей России понимает, что надо делать. Раз он сказал беречь, значит, нужно беречь и хранить не только деньги, но все, что он прикажет. Она строго посмотрела на Машу. Глядя, как Катя разматывала и заматывала на голову рваное полотенце, Маша сказала:

— Мне Осип говорил, что я могу с Баранцевым познакомиться: Ты меня сегодня, Катя, познакомь с Баранцевым.

— Голова болит.—Глаза у Кати наполнились слезами. Петр на нее смотрел дико и устало.— Спать сейчас лягу.

— Ну, тогда меня Наталья Модестовна познакомит.

— Под титлами живет,— хрипло проговорил Петр.— Бог не разрешает человеку под титлами жить...

Вбежала Соня, розовощекая, в ситцевой, тщательно выстиранной кофточке. Весело упав на подоконник, она, болтая толстыми ногами, смотрела на подошедшую к палисаднику Афимьюшку. Афимьюшка поддразнивала ее мычаньем. Соня шипела ей, подмигивая:

— А вот и не хочу с тобой... другой продам, уйди, глаза поцарапаю, сволочь. Мало даешь, не выгодно.

Ее не слушали. Осип Осипович, высокий, вялый, показался в дверях. Он хотел ласково сказать, что придется ему на небольшой срок уехать к Черному морю, полечиться, поработать. Сестры смотрели на него испуганно, и еще более стало ясно, что надо говорить коротко,

приказывать, упрекать. Он попросил воды умыться. Ведро, два ведра! Надо приготовить чемодан, белье. Он едет в Мингрелию. У ворот Наталья Модестовна медленными движениями брала из голубого платочка орехи. У нее плотные и веселые зубы. Она не очень удивилась, когда Катя попросила ее идти вперед. Наталья Модестовна многое понимает. Она самая спокойная в городе, с ней легко, она опрятна, она всех уважает. По улице мужик нес за плечами рогожный мешок. Шея у мужика в мелких пересекающихся морщинах, забитых теплой и темной пылью. Фуражку трудно отличить от шеи. Наталья Модестовна и на мужика посмотрела с любовью и уважением. Ничего, отмоется, если не в этот праздник, то в другой. Маше было приятно, что все свершается без выкриков, и в квартире у Баранцева тоже было просто и тихо. На столе лежал розовый конверт и пресс-папье с чистой пропускной бумагой. Наталья Модестовна позвала прислугу. Она писала записку Баранцеву и не без кокетства спросила у Кати:

— Какого ж вина заказать?

— Углей, углей! — пьяным и веселым голосом вопили на улице.

Фыркала лошадь. Катя ответила хмуро, что всякого, только не ликеру, с ликеру голова болит. Маше именно хотелось ликеру, но она промолчала и решила запомнить это, отомстить Катьке, которая так поступает, конечно, назло ей, Маше.

VII

Артур Адамович чистил над ведром зубы. Повернув раскрашенные белым порошком усы к Осипу Осиповичу, он необычайно круглым и унылым глазом указал на окно, где стояла завернутая в тонкую раскурочную бумагу бутылка вина. Вином подпоить хочет, сбежать,— но затем Осип Осипович рассудил, что бутылки вина слишком мало для двоих. Осип Осипович раскупорил вино и, сам не замечая того, свернул бумагу и положил ее в карман. Вояжер тоже смотрел на него с тревогой. Ночью, после разговора у реки, он долго не мог заснуть и решил, что у современного человека необходимо совершенно уничтожить чувство доброты. Заехал посмотреть на старого приятеля, а приятель навязывается на

Кавказ. Вояжер уже забыл, что сам он приглашал Осипа Осиповича. В углу за умывальником стояла метла из полыни. Осип Осипович уже чувствовал, что ему не сказать того, с чем он шел сюда, то есть, что ему незачем ехать на Кавказ и здесь-то ему пора умирать, что происходит огромное недоразумение, он — слабый и беспомощный человек, нужно объясниться подробно и ясно... Осип Осипович проговорил:

— У меня сестры... полы чересчур часто метут, а метлы дорогие, на одни метлы уходит энное количество денег.

— Шутник вы,— тоскливо сказал вояжер,— не передумали ехать?

Вопрос показался Осипу Осиповичу задорным и насмешливым. «Кто кого еще!» — подумал Осип Осипович, и он сухим и скрипучим голосом подробно ответил, что он чувствует себя прекрасно; малярии не боится; в доме все налажено. Какой-то липкий озноб охватил его, в висках ныло, а он все говорил и говорил:

— Хотя и необходимо наблюдать за ними... едят много; чулки шелковые завели; примус зажигают, волосы завивать, — сколько керосину бесцельно тратится...

— Угу,— промычал вояжер, взмахивая щеточкой, словно он чистил не зубы, а сапоги.—С таким характером вы имеете полное основание хорошо заработать. Жму вашу руку!

Осип Осипович вяло и долго, часа два, говорил о своих болезнях; жаловался на слабость, и вояжер все более и более понимал, что он берет с собой на Кавказ полумертвого человека. Как он не разглядел скверный румянец и трясущиеся руки? И говорит он и будет говорить покупателям о своих болезнях, а не о пуговицах! Вояжер преисполнился ненавистью и страхом.

Они ехали на извозчике, и Осип Осипович все продолжал говорить. В пустыре, подле дома, мальчишки, протирая грязными руками гнойные глаза, швыряли щепами в голубей. Они запели:

Кощей, Кощей,
Не ест щей...

Осип Осипович ходил по комнатам, укутанный в громадный шарф поверх летнего пальто, с толстой палкой в руках. Он запечатал все сундуки, даже с бельем, сургучной печатью. Маша пьяная, с бледным

одеревенелым лицом, спала на кровати навзничь. Петр попробовал ее разбудить — и заплакал. И хотя они чувствовали, что Осип Осипович больше не вернется, но все просили его распоряжений. Когда он отвечал, им казалось, что, если Осип Осипович возвратится, он заставит их сделать в тысячу раз более страшное и подлое, чем то, что они делают сейчас. Осип Осипович, протягивая Петру копию со списка вещей, лежащих в сундуках, сказал Артуру Адамовичу:

— Пищи вы излишне много взяли. И не в корзинку нужно было, а в плотно закупоренную посуду.— Он строго посмотрел на Катю.— Прошу не расхищать вещей, даже малоценных. Вы ведь как листья: куда ветер погнет ветку, туда и вы. Ветка-то ведь я? Форточки не забывайте на ночь закрывать, иначе воры влезут, а также поддерживайте всегда свет в квартире, что даст ворам иллюзию даже в ваше отсутствие думать, что в квартире находятся хозяева. Приеду, расскажу более подробные планы, имеющиеся в моей голове. До свиданья.—И он, указывая Петру на копию списка, добавил: — Береги копию. Оригинал у меня.

Извозчик натянул веревочные вожжи. Тусклым и сухим запахом несло от черных земель, начинающихся влево от базара. Ломаными кирпичами зиял пустырь. Осип Осипович поставил на подножку длинную ногу, показался коричневый носок, заштопанный белыми нитками, и еще выше — синие тиковые подштанники. Бессмысленная и жалкая улыбка появилась у всех на лицах. Извозчик обернулся и тоже, неизвестно чему, бессмысленно и жалко улыбнулся.

1927

КРЕСТ БЛАГОЧЕСТИЯ

Ранним летом 1928 года в городе Торше застрелился главный бухгалтер Торшевской конторы треста «Лесо-Запад», Платон Александрович Попов.

В квартире бухгалтера нашли записку: «Совесть замучила, жить больше не могу. Растратил много, а в чем заключается растрата, не пытайтесь искать, так как я самый лучший бухгалтер Союза ССР».

Присутствующие рассмеялись, а затем переглянулись тревожно: квартира убрана отличной мебелью, на столе тикает хронометр и лежит золотой портсигар семьдесят второй пробы. А дальше выяснилось, что Платон Попов часто ездил в Минск, останавливался в лучшей гостинице и на завтрак заказывал рябчиков.

Все минские проститутки отлично знали Платошу и с нежностью хранили его ценные подарки.

На почте докопались, что кому-то и куда-то далеко Платон Попов переводил большие суммы. Торшевскую контору треста «Лесо-Запад» потрясла тревога.

Заведующий конторой Филимонов приказал открыть книги. Три дня, не покидая столов, смотрели в книги. Курьеры неутомимо разносили густой и едкий чай, а папиросный дым был еще гуще чая. И с трепетом Филимонов сообщил в Минск, что растрату обнаружить не удалось.

Из Минска примчались два бухгалтера. Четыре дня рылись они в книгах — и Минск тревожно сообщил главной конторе в Москву, что где-то есть растрата, а где она и в чем заключается — неизвестно.

Приехали еще бухгалтера — пьяные, в роговых очках. Неделю сидели они над книгами — и книги безмолвствовали. Торша волновалась.

У конторы треста толпились почтенные люди.

Неизвестный почитатель обложил могилу Платона Попова дерном, и тогда весь город заговорил о Попове, и весь город стал с восхищением и ужасом вспоминать жизнь и совестливые глаза Попова.

Бухгалтера из синдиката уезжали на извозчиках, пьяные и без роговых очков. И тогда заговорили, что в Торшу приедет Михаил Яковлевич Самойлов, профессор и инструктор бухгалтерии из ВСНХ.

Перу инструктора принадлежало много печатных трудов, он преподавал бухгалтерию в трех высших учебных заведениях Москвы... «Он умрет, но докопается до правды!» — боязливо прислушивался к таким разговорам завконторой Филимонов.

Завконторой Филимонов был смущен так же, как и шесть лесопильных заводов, пятнадцать сплавных контор, три тысячи рабочих и множество служащих: главный бухгалтер мертв, и на чеки конторы смотрят недоверчиво и банки и даже частники... Завконторой Филимонов стал замечать, что даже руки у него седеют. Наконец в Торшу приехал Самойлов.

Вокзал был хмур, и три носильщика, затейливо раскидывая тощие ноги, подбежали к Самойлову.

У дверей стоял сконфуженно потирающий руки Филимонов. Городской сумасшедший Мотя в пожарной каске и с выцветшей андреевской лентой через плечо отдал Самойлову честь.

— Бывают, бывают и здесь загадки!— весело сказал Самойлов и крепко пожал руку Филимонову.

Самойлов явился в главную контору, потребовал книги, карточки, счета... Он поймет, он разберется!..

На стройных линиях раскрытых книг и на аккуратных стопочках ордеров пышно сияло электричество. Самойлов выпил глоток чаю, глаза его засияли,—он помчался по цифрам. Несколько раз звякнули счеты.

Синий и красный карандаш остановился в воздухе; много голов оторвались от столов и с трепетом смотрели на этот карандаш. И Самойлов сказал самодовольно:

— Но каждая загадка разгадывается рано или поздно.

Среди уймы цифр он поймал за хвост одну в фальшивых перьях, и тотчас же цифры задрожали, покатились,— черная метель воцарилась на страницах книг.

— Для завода номер четыре... По фальшивым чекам!— сказал Самойлов.

— Вот где растрата! Найдите мне чеки завода номер четыре!..

— Завода номер четыре!.. чеки!..

— Чеки!.. Завода номер четыре! Слушайте!..

Трепет радости охватил контору.

— Не желаете ли закусить? — сказал Филимонов, а Самойлов ответил ему, что закусывать он не будет, лучше пойдет отдохнуть, а пока необходимо найти чековую книжку, из которой выписывались чеки для завода № 4. Самойлов шел по главной улице, он подошел к мосту через Днепр—деревянному и звонкому. Милиционер отдал честь. Самойлов зашел в столовку выпить квасу, барышня спросила его почтительно:

— Что желаете потребовать, гражданин Самойлов?

Мальчишки смотрели на него с обожанием. На углу какой-то измятый человек подержал его за локоть и шепотом сказал:

— Для полноты картины и уничтожения тайны необходимо вам поговорить с другом покойного, хранителем музея, товарищем Безбородко.

Человечек испуганно и вдохновенно скрылся, а Самойлов, подумав, что на заводские чеки надеяться хорошо, но не плохо бы также узнать кое-что и стороной, направился к хранителю краеведческого музея, товарищу Безбородко.

Музей находился в недостроенном соборе, рядом со зданиями бывшего кадетского корпуса.

В переулках подле корпуса жили проститутки, раньше они обслуживали кадет, жизнь была им легкая, сытая, всю революцию ждали они кадетского возвращения, а тут, оказалось, подошла и старость, и платья поизносились и стали старомодны. По привычке ходят они с тоской по переулку, и, не ожидая ответа, многие из них спросили Самойлова:

— А ну как, гражданин?

Собор стоял теплый, высокий, а вечер был фиолетовый.

Безбородко встретил Самойлова в валенках и в тулупе, на стенах висели зеленые диаграммы и кустарные платья, которые продаются в изобилии на торшевских базарах, куски синего льна походили на лед.

— Холодно! — сказал дискантом Безбородко, и Самойлов действительно почувствовал, как озноб охватывает его. — Десять лет собор промерзал, вот и промерз.

Что же касается Платона Александровича, в искусстве только вы его победить сможете, об вас весь город думает. Я об вас уже Екатерине Аркадьевне сказал, и Екатерина Аркадьевна об вас думает...

А дальше Безбородко стал показывать сорта льна, которые любил покойный Попов. Самойлов вышел из музея в смятении. Измятый человек стоял уже у порога; радостно захихикав, человечек сказал:

— Я говорил Ефиму Трофимычу — выследит, обнаружит. Идите теперь к Екатерине Аркадьевне, она вас ждет. Нити, если есть — у нее...

— Зачем мне идти? Я и так обнаружу.

— Так вам не обнаружить. Пойдемте.

И Самойлов пошел действительно к Екатерине Аркадьевне, владелице «Салона дамских мод». Ее уважал весь город,— и она достойна была этого уважения, моды ее нисколько не хуже были московских. Она была и стройна, и в то же время слегка полна, умела много и хорошо говорить и вовремя прослезиться.

— Кажется, он любил меня,— сказала она Самойлову со вздохом,— но я не понимала его. Я всю жизнь ждала романтического человека, то есть простоту, соединенную с необыкновенным. А я пропустила мимо себя Попова.

Самойлов неизвестно чему растрогался. Екатерина Аркадьевна угощала его чаем и рассказала простую свою жизнь. Была она некогда богата и все прожила, вот только и хватило мужества сохранить «Крест благочестия», мальтийский орден, принадлежавший некогда прадеду.

— Говорят, на нем бриллианты! — Она раскрыла ящик письменного стола,—среди английских булавок, стеклярусов и стареньких шелковых лент Самойлов увидел крест: алмазики жалко сияли на нем, грош цена этому кресту.

Но Самойлов почувствовал содрогание жалости и любви. Он не спросил, почему Екатерина Аркадьевна хранит этот крест, он только пожал ей руку, она тоже пожала, сказала ему:

— А вы герой!..

Она смотрела ему куда-то выше лба. Самойлов хотел сказать о том, как много ждет он от этой встречи, как много она смогла бы открыть того в характере покойного бухгалтера Попова, что делало бухгалтера и страш-

ным и смешным. А было ясно, что она оценила в бухгалтере то, что он купил ей «Крест благочестия» с его ничтожным блеском романтики, который затемнил ей романтику сегодняшнего дня и душу мрачного и таинственного бухгалтера П. Попова. Вот почему Самойлов смолчал и попросил только положить еще варенья на блюдечко.

— Вышло варенье... — ответила Екатерина Аркадьевна и ласково улыбнулась.

С завода № 4 тем временем доставили оправдательные документы к чекам. Филимонов, бухгалтера и кассиры окружили стол Самойлова. Он довольными и ласковыми глазами оглядел всех и сказал поучительно:

— Документы были отосланы на завод, потому что они фальшивы. Ваша ли это подпись, товарищ Филимонов?

И Филимонов ответил с горьким торжеством:

— Не моя!

И многие завистливо вздохнули. И, вынимая один за другим документы, Самойлов спрашивал, и Филимонов с горечью отвечал:

— Не моя!

Пачка росла, растрата приближалась к сотне тысяч, голос у Филимонова и падал и возвышался. И когда взглянули на последний ордер и Филимонов ответил изнеможенно: «И эта не моя!» — кто-то прошептал:

— А там еще что-то приписано!

И внизу, под подписью кассира, они прочли слова Попова:

«Ордера-то действительно фальшивые, потому что настоящие ордера хранятся в столе у Филимонова, в левом ящике».

Филимонов не имел сил открыть ящика, его открыл младший кассир. Ордера завода № 4 за подписью Филимонова лежали там. Филимонов с гордостью и стыдом обернулся к Самойлову:

— И кроме этих ордеров, все в порядке?

Самойлов ответил тихо:

— В порядке.

И каменным голосом Филимонов сказал:

— Конец нам, а вы свободны, товарищ инструктор!

И кассир, выдавая Самойлову проездные, сказал с презрением:

— Теперь вы свободны! Великий был человек П. Попов, и таковым он уйдет в пространство!.. — И с таким же презрением подал ему шляпу швейцар.

Самойлов направился к дому Екатерины Аркадьевны. Белая тень стояла у окна, и ученица, открывшая ему дверь, сказала сухо:

— Они уехали, и неизвестно когда будут!

Он шел мимо музея, огонек блистал там. Он остановился на пороге. Безбородко осматривал образцы льнов. Он, не обернувшись, сказал:

— Проходите мимо, музей закрыт!

В переулках у кадетского корпуса проститутки скользили мимо Самойлова молча. Ни один носильщик не вышел на платформу.

Он с сухими слезами волок свой чемодан. Сумасшедший Мотя отвернулся.

У Самойлова даже не спросили билета, и длинный фиолетовый поезд, весь в запахах болот и лесов, безмолвно остановился против него.

1928

ОСОБНЯК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Началось это все с того, что Е. С. Чижов привез из северного уральского города Н. в Петроград на продажу партию кренделей. И хотя крендели частью заплесневели и сам Ефим Сидорыч в номере гостиницы долго счищал с них плесень, партию эту, как и предыдущие партии, он продал с большой прибылью. Когда он торговался о цене с покупателем, толстым и угрюмым, в бешмете защитного цвета, на площади у вокзала послышалась стрельба. Но митинги, и различные выборы, и даже свержение царя торговле баранками не помешали, и Ефим Сидорыч скоро забыл о революции, так как другие мысли, неожиданные и более страшные, захватили его голову и его сердце. Однажды, проснувшись утром, он вдруг ощутил непререкаемую необходимость, что он должен иметь дом, жену, скот: коров, лошадей, много утвари и сбруи,— то есть все то, о чем он раньше думал редко, так как считал себя человеком беспечным, способным прожить данные ему годы без лишних тревог, беспокойств и водки. Квартировал он вместе со своей матерью Варварой Петровной и тетушкой Катериной Петровной у переплетчика Смирнова, занимая большую комнату и кухню за четыре рубля в месяц, а кроме того, Ефим Сидорыч жил с женой переплетчика, крикливой и вертлявой бабой. Жена переплетчика была нетребовательна — ласкова настолько, насколько позволял ей характер. По воскресеньям она пекла хорошие шаньги и покупала где-то необыкновенно сладкую сметану. Жизнь была удобна и легка, и неожиданное обилие желаний, пришедшее к нему в номере петроградской гостиницы, очень огорчило Ефима Сидорыча. И, дабы отделаться от желаний, он их немедленно попытался исполнить и поступил так, как обычно поступают

в таких случаях люди: он выполнил, если можно так сказать, тени своих желаний. Он написал письмо давнишнему своему знакомому в город Н. штабс-капитану С. М. Жиленкову, и в этом письме среди других новостей упомянул о своей мечте купить дом. Затем он взял с Невского румяную — городским едким румянцем — девушку, прокатился с ней на извозчике и, пролежав с ней в кровати отпущенные ему природой минуты, заказал яичницу с молоком. И тому, что он заказал яичницу с молоком, не удивились ни девка, ни он сам,— а молоко было жидкое, с каким-то известковым вкусом. Собой Ефим Сидорыч был строен, с бородкой клинышком, с пустыми и в то же время настойчивыми глазами. Его часто принимали за учителя, и никому в голову не приходило, что Ефим Сидорыч Чижов — бывший сапожный и шорный мастер и что кожа пальцев его полна несмываемой темно-желтой краской и ногти его синие и необыкновенно твердые. И девка с Невского спросила: не учитель ли Ефим Сидорыч, потому что сейчас много учителей выступают на митингах. И, с неприязнью взглянув на девку, Ефим Сидорыч подумал: «Надо ехать. Ехать надо».

И в тот же день уехал в город Н.

Но и в городе Н. тупые и мучительные желания, охватившие Ефима Сидорыча в Петрограде, не схлынули, а приобрели какой-то непонятно насмешливый характер. Например, в первый же день приезда Ефим Сидорыч встретил Жиленкова, штабс-капитана,— того, к кому он написал письмо. Жиленков служил в армии по призыву, а до призыва занимался, как он сам себе говорил, «землеустройством», а всем остальным: «Разыскиваю пастбища», и вообще у него была манера направлять мысли людей о нем в противоположную от истины сторону. А «землеустройство» его заключалось в комиссионной торговле усадьбами и главным образом лесом. Письмо Е. С. Чижова штабс-капитану показалось подозрительным, и он постарался встретить Ефима Сидорыча в первый же день приезда. Вперив взгляд постоянно меняющих цвет глаз и шевеля своими белесыми и необычайно длинными ресницами, как бы ползущими па лоб, штабс-капитан напряженно спросил:

— В Оренбургскую степь едете?

— Зачем?

— Ну в Оренбургскую, не скрывайте.

— Да зачем мне в Оренбургскую? — спросил недоуменно Ефим Сидорыч.

Жиленков, с таким видом, как будто этим разговором и обижают и обманывают его, отошел и в нескольких шагах крикнул:

— А домик я вам подыщу. Поезжайте, наживитесь, а я вам пока подыщу.

Ефим Сидорыч сразу же понял, как можно нажиться в Оренбургских степях. Многие торговцы пытались пригнать оттуда в центр табуны скота, но дорога скудная, скот мёр... Но и баранки возить в Петроград столь же опасно, и нажива, как и все в жизни, зависит от счастья. Ефим Сидорыч и направился в Оренбургские степи, удачно и быстро пригнал оттуда жирный и гулкокопытный скот. И вновь деньги Ефима Сидорыча увеличились, но одновременно с деньгами увеличивалась революция. Уже скот, пригнанный из Оренбургских степей, ели недовольные солдаты на фронте; уже Ефима Сидорыча торопили в следующую поездку, дабы уговорить жирным мясом бунтующих солдат, но тут пришел к нему штабс-капитан Жиленков и в то же время привезли в город великого князя Б. — как носились слухи, претендента на русский престол. Жиленков заявил: в центре города есть особняк, вполне по чижовским деньгам, два каменных этажа с деревянными пристройками в виде голубя. «Как?» — спросил оторопело Ефим Сидорыч. И точно: когда Ефим Сидорыч осматривал особняк, то деревянные сараи чем-то напоминали распростертого голубя. А за сараем виднелось соседнее поместье: угрюмый, трехэтажный, похожий на тюрьму, с узкими окнами дом. Тощий березовый сад как-то болезненно разбегался от этого дома. И как только два таких различных дома могли стоять рядом! Особнячок, рекомендованный Жиленковым, был обсажен елочками; песчаные дорожки походили на полосы созревшей ржи, колеблемой ветром; трава пахла медом. Ефим Сидорыч купил особняк и окрасил его в зеленую краску. Тотчас же пришел Жиленков, к зеленой краске отнесшийся подозрительно. Жиленков сказал, что в уезде, в имении князя Хаванского, удрученного революцией, спешно, за бесценок, продается мебель. Купили мебель, обили ее шелком, а обойщики заявили, что мебель старинная

и ценная. Насмешливая удача преследовала Ефима Сидорыча; в другое время он бы никак, а тут сразу поверил обойщикам и попросил тетушку Катерину Петровну позвать штабс-капитана Жиленкова.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Жиленков сказал обидчиво, что Ефим Сидорыч, несомненно, знает, какую ценность представляла собою мебель, а впрочем, обещал достать каталоги. По французским антикварным каталогам выяснилось, что мебель принадлежала брату Наполеона Первого и в Россию привезена в 1815 году, а стоит она... Жиленков от обиды и зависти даже зажмурился.

Катерина Петровна подыскала невесту — дочь местного адвоката Маркелла Маркеллыча Епича, Манечку Епич, такую невесту, какую хотел Ефим Сидорыч: семнадцатилетнюю, степенную и добросовестную. Катерина Петровна всю жизнь мучилась стыдом от того, что жила на средства племянника; часто, глядя на опрятную бородку Ефима Сидорыча, хотела она сказать обиженно: «ухожу», а скажет совсем другое. Теперь Катерине Петровне казалось, что за хлеб как будто отплачено. Сам Маркелл Маркеллыч все время говорил — и все время убедительно, а дочка, Манечка, все время молчала,— и это тоже было не менее убедительно. Семью Епичей уважал весь город, и семья уважала всех. Дела у адвоката были неважные; он с удовольствием отдавал дочь, тем более что Ефим Сидорыч приданого не требовал. Утешаться бы Ефиму Сидорычу! Но беспокойство и новое желание овладело им, и беспокойство это охватило его на Соборной площади. А на Соборную площадь он попал вот почему.

Великий князь Б. вначале был поселен во дворце Строгановых, огромном, украшенном колоннадой здании на Соборной площади. Многочисленный караул из солдат и матросов охранял великого князя Б. В городе, а чаще всего на Соборной площади стали встречаться какие-то странные тонкотелые офицеры с испуганными и в то же время наглыми лицами. Обыватели с гордостью гуляли по площади. И Варвара Петровна позвала сына и сестру погулять на Соборную площадь. У Варвары Петровны всю жизнь, с того дня, как подрос

сын, было хотение слушать сына, а всегда происходило так, что слушаться его было невозможно. И даже в деле — важнейшем во всей жизни: в постройке или покупке дома — она считала, что сын поступил неправильно. Если город бунтует, то покупать дом надо в деревне! Старуха была выше сына на голову, с солдатским решительным шагом и с такими же, как и у сына, серыми и настойчивыми глазами. Ефим Сидорыч политику презирал, на площадь он пошел с неохотой. Окна как бы вынутые из красного вина; плоская оловянного цвета крыша, похожая на серое облако; площадь, поросшая редкой и как бы чугунной травой; и воздух, в котором было слышно, как на дворе здания крякнул солдат, кидая ремень на булыжник, и как зазвенела пряжка; и колючая проволока, похожая на траву,— проволока, которой был обтянут фасад дворца,— все это как-то непонятно оживило Ефима Сидорыча. Подошел гулявший по площади Епич с дочкой. Епич познакомил Ефима Сидорыча с офицером, которого сразу как-то и не заметили, хотя он был и высок и плечист. Офицера звали Голофеевым Сергеем Сергеевичем; он некогда служил в гвардии, был монархистом, понимающим, что монархия гибнет, но не знающим, куда ему идти, и не верящим в людей. Его укоризненное и какое-то мертвое лицо кривилось, — так что смотреть ему в глаза было трудно и неприятно, а некоторым в разговоре с ним казалось, что они как бы разговаривают с мертвецом. Маркелл Маркеллыч заговорил о монархии и евреях. Он даже писал книгу о ритме Египта, в которой доказывал, что евреи погубили ритмический Египет, ибо они антиритмичны. Офицер Голофеев с безнадежной скукой смотрел в окно строгановского дворца. Темнело. Ефим Сидорыч пожал руку невесте. Она ему ответила. Ефим Сидорыч стал рассказывать о своем особняке. Все на него взглянули недоуменно, и он неожиданно предложил офицеру у себя квартиру. Офицер согласился...

— Вот это герой! — воскликнул Маркелл Маркеллыч, обнимая Ефима Сидорыча.

— Я не герой,— ответил Ефим Сидорыч,—но признаю, чтобы поступки были немедленные.

И все согласились с ним, понимая и не спрашивая, какие бывают поступки немедленные и после каких мыслей.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

К великому князю назначили нового большевистского комиссара. Комиссара этого звали Петров Иван Григорьевич, и у него был брат Семен Григорьевич, председатель губернского Совета. Комиссар Иван Петров настаивал на пленуме Совета, что стыдно и агитационно нехорошо держать великого князя во дворце Строгановых. Великий князь теперь — обыватель, не больше других, да и вредный к тому же обыватель. Пленум Совета согласился с доводами веснушчатого и короткорукого комиссара и постановил: перевести великого князя в более малое и менее требующее расходов от пролетарского государства помещение. И вот великого князя Б., грузного, с бабьим голосом старика, перевели в трехэтажный дом, находящийся рядом с особняком Ефима Сидорыча. Ефиму Сидорычу было обидно видеть из окна своего особняка, как, входя в дом, великий князь снисходительно и, пожалуй, даже заискивающе разговаривал с большевистским комиссаром Петровым. Вечером Ефим Сидорыч, офицер Голофеев и будущий тесть Маркелл Маркеллыч стояли у дверей балкона, с которого были видны окна, обтянутые колючей проволокой,— окна, где часто проплывал шатающийся силуэт великого князя. И Ефим Сидорыч первым пожалел, что балкон занесен снегом и нельзя выйти и помахать великому князю белым платочком, да и к тому же белый платочек не виден на снегу.

— Вы — ярый монархист! — снисходительно сказал Маркелл Маркеллыч.— Вот не ожидал! А пора великому князю подумать и о повороте.

— Пора, пора,— повторил Ефим Сидорыч, и холодок восторга пронесся по его телу.

Офицер Голофеев взглянул на него мертвыми, злыми глазами и отвернулся.

Из-за суматохи, пайков, приказов на заборах (а Маркелл Маркеллыч, кажется, потому, что надеялся на свадьбу и любовь Голофеева) Ефим Сидорыч соглашался на откладывание свадьбы. Да и к тому же он не особенно надеялся, что беспокойство, владевшее им, исчезнет. Теперь он уже сильно скорбел о монархии. Маркеллу Маркеллычу даже приходилось удерживать его скорбь. Комиссар Иван Петров, опять степенно потрясая длинными каторжными волосами, доказывал на

пленуме Совета, что в области заметна организация офицеров; военнопленные империалистической войны волнуются; нарастает контрреволюция, а великий князь Б. живет в громадном доме из тринадцати комнат, в то время как пролетариат заводов... Потрясая пустым и тусклым графином, комиссар завопил... Гул одобрения пронесся по залу губернаторского дома. Пленум согласился со словами комиссара Ивана Григорьевича Петрова.

И вот в теплый предвесенний вечер, когда на дворе играла снежная буря, больше похожая на дождь, и елки как бы проходили сквозь льдины, оставляя на своей хвое замороженные капли,— Ефим Сидорыч вместе со своей семьей и друзьями пил чай и слушал, как Маркелл Маркеллыч развивал ему план: через матросов можно провести большую партию муки в Петроград. Послышался робкий и короткий звонок: с таким звонком часто приходил Голофеев, приводя с собой приятелей, таких же, как он, мертвенолицых, безнадежно вежливых и неумело переодетых. Ефим Сидорыч открыл дверь без спросу. Перед Ефимом Сидорычем стоял комиссар Иван Григорьевич Петров, дальше виднелись красногвардейцы и матросы с револьверами и бомбами. Комиссар не без удовольствия весело-деловитым голосом прочитал постановление пленума Совета, из которого было видно, что Совет признает жилищную площадь, занимаемую великим князем Б., огромной и дорогостоящей для пролетарского государства. Жилищную площадь эту он передает детскому дому, а великого князя переселяет в особняк, принадлежащий гражданину Е. С. Чижову.

— Как же меня выселять? — тихо сказал Ефим Сидорыч.— Меня не следует выселять, и, кроме того, у меня квартиранты!

— Вместе с квартирантами,— ответил комиссар.— Берите подушку и катитесь колбаской вместе с подозрительными вашими квартирантами.

— А мебель? — спросил Ефим Сидорыч.

— Мебель остается у коммуны! — ответил комиссар.

И Ефим Сидорыч взял подушку, одеяло и пошел спать к переплетчику Смирнову, по-прежнему живущему у кладбища. При расставании Маркелл Маркеллыч сочувственно поцеловал его, но в квартиру к себе не пригласил.

— Жизнь подле великого князя наложила на вас известные обязательства и известные подозрения,—сказал Маркелл Маркеллыч,— а у меня семья и дочь-невеста.

— Я вас понимаю,— ответил Ефим Сидорыч, и он действительно понимал Маркелла Маркеллыча, и ему даже на минуту стало жаль его.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Проснулся Ефим Сидорыч от вони и шипения подгоревшей картошки. В кухне тихо разговаривали женщины. Старуха ворчала: «Надо было покупать дом в волости... И хоть бы отняли за долги!» Запах подгорелой картошки на мгновение даже обрадовал Ефима Сидорыча: он вспомнил начало своей любви к переплетчице. А теперь переплетчица растолстела, тело у нее ползет в стороны, и пахнет от нее нехорошо... Ефим Сидорыч озлился: «Донесли, позавидовали! Весь город завидовал наполеоновской мебели!.. Сколько разговоров было». И разговоры, и сожаления о великом князе, и то, что было жалко этого грузного старика, которого мучат, перетаскивая с места на место, а там, гляди, и судить будут,— все показалось Ефиму Сидорычу вздорным и ненужным. Но он сразу раскаялся в своих мыслях и пошел есть картошку. Картошка была та же самая, которую он ел в особняке, но здесь показалась она ему невкусной и водянистой. Он подумал, что скоро придет переплетчица, которая начнет заигрывать с ним, а мать и тетушка деликатно уйдут. Затем переплетчица засопит, раскроет мокрый рот, похожий на луковицу. Он со злостью посмотрел на мать и крикнул:

— А все ты!.. все перечишь!.. Уходила бы ты от меня скорей.

Мать громко и протяжно заплакала, и тетушка Катерина Петровна, вспомнив хлеба́, которыми она себя попрекала, отложила вилку и тоже заплакала. «Нет, напрасно Ефим Сидорыч разговаривал о монархизме!..» Он сплюнул даже от таких мыслей.

На улице Ефим Сидорыч встретил офицера Голофеева. Голофеев шел в ту сторону, где жила невеста Ефима Сидорыча. «Отбивать пошел, обрадовался!»— подумал Ефим Сидорыч и не поклонился Голофееву. Тот сделал такое лицо, как будто пять лет назад знал, что

Ефим Сидорыч его предаст, и выпрямил спину... Ефим Сидорыч быстро прошел в почтовое отделение, попросил бумаги, конверт и трясущейся влажной рукой написал донос в Чека. Опустив письмо в ящик, Ефим Сидорыч ощутил необычайный стыд и томление (вроде того, каким он страдал в Петрограде). Он поспешил написать заявление в исполком, чтобы ему выдали наполеоновскую мебель, как имеющую огромную «духовную» ценность. Ему стало как будто немного легче, и, гуляя по городу, он убеждал себя, что поступил правильно,— Голофееву терять нечего, поднимет восстание, а мертвых и без того хоть отбавляй. И у приятелей, что ходят к нему, тоже небось динамит в карманах. На другой день он пошел за ответом о мебели в исполком. На его длинной записке лежала резолюция — синим, плохо очиненным карандашом: «Прс. гр-на Чижова оств. без последствий». И тут же он услышал об аресте Голофеева, и только тогда, когда узнал подробности ареста, он увидал, что рассказывающий — штабс-капитан Жиленков уже в солдатской шинели и без погон.

— Мебель моя представляет духовную ценность? — спросил он Жиленкова.

Тот подозрительно попятился и немедленно согласился. Ефиму Сидорычу было сильно грустно. Он пошел на обрыв, к пруду. Отсюда была видна Соборная площадь и дворец Строгановых. Во дворце находились уже военные большевистские курсы. Через площадь шла Манечка Епич под руку с каким-то опрятно одетым солдатом. Ефим Сидорыч понял, что верит Манечке и она верит ему, хотя он жених и пожилой и не совсем красивый. И она сразу же покинула кавалера, подошла к Ефиму Сидорычу, нежно пожала ему руку. Ефим Сидорыч отошел с ней в тень тополя, пожал ей локоток, хотя ему хотелось пожать грудки, а она так и поняла, что он ей сжал груди, потому что она стыдливо сказала шепотом:

— Да что вы, Ефим Сидорыч!

Манечка Епич умела очень искусно и молча сочувствовать людям, и те понимали, что она сочувствует им. Например, Ефим Сидорыч рассказывал ей об отнятой мебели, и она сочувственно добавила то, о чем забыл Ефим Сидорыч:

— Сейчас мебель невозможно вывезти за границу, а ведь придет же время.— И добавление это к мыслям Ефима Сидорыча сильно умилило его. И, кроме того, из

разговоров он понял, что действительно может быть верна, потому что не любит беспокойства.

Ночью Ефим Сидорыч написал письмо исполкому, где доказывал, что великого князя нечего переселять с места на место, а надо его вырвать с корнем, то есть расстрелять, и расстрелять немедленно, ибо в городе организуются шайки офицеров и английских шпионов и возможен переворот... Писал он искренне: иногда в трогательных местах, где он защищал права бедноты, слезы проступали у него на веках. Он вспомнил свое детство: и корки черного хлеба не было, а по толкучке когда скитался, видел, как там ели требушину за семь копеек порцию,— такой обед за счастье считал; ночевал на барке у пруда... мастера били колодками по рукам... в помещенье нестерпимо воняло мокрой кожей. И теперь он ввергнут в то же положение!.. И великий князь виноват тут тоже отчасти!.. Он хотел подписать своим именем, но раздумал и написал: «От имени пятидесяти рабочих — сапожников и шорников...» И дальше неразборчивые каракули. Ефим Сидорыч сам отнес свое заявление в исполком. На лестнице исполкома опять встретился Жиленков со звездой на солдатской фуражке.

— Дают роту,— сказал он громко Ефиму Сидорычу в лицо.— Доносы на меня не помогают — верят.

И Ефим Сидорыч ответил:

— Да и я верю вам.

Жиленков ехидно погрозил ему пальцем, тонким и длинным. Ефим Сидорыч три дня был наполнен ожиданием. Хотя он и не подписал адреса, но ему казалось, что вот-вот придут какие-то важные комиссары и поблагодарят его за превосходные мысли. Лицо его пылало, и он чувствовал сильную жажду. Спал он плохо и на третью ночь бессонницы пытался написать стихи: трехсотлетнее иго должно быть свергнуто, уничтожено! Но стихи не выходили, хотя внутри тела он ощущал трепетания, непохожие на все прежние трепетания; и к себе, и к своей незадачливой жизни он чувствовал возрастающую жалость. Стихи он отнес в газету. Румяный секретарь бегло посмотрел и сказал:

— Тысячи таких есть,— и подал ему номер газеты. Жирным шрифтом газета сообщала, что просьба Ефима Сидорыча о расстреле великого князя исполнена, и приговор приведен в исполнение.

— Но ведь это же я! Я написал пожелание! — крикнул Ефим Сидорыч спокойному секретарю.

Е. С. Чижов, размахивая газетой, пронесся по лестнице. На крыльце губернаторского дома он сложил газету вчетверо таким образом, чтобы сообщение о расстреле можно было сразу прочесть, аккуратно оправил газету в кармане и подумал о подушке. Но мысль о подушке показалась ему смешной, и он торопливо пошел к своему особняку. Длинноногий красногвардеец в лаковых сапогах стоял у вороха колючей проволоки. Проволокой была обвита уже ограда особняка; телефонные нити были протянуты по елкам; красногвардеец на все это, казалось, смотрел с грустью.

— Назад,— сказал он уныло,— тебе кого?

— Это мой дом и моя мебель,— ответил Ефим Сидорыч, доставая из кармана газету.

Красногвардеец взглянул на газету, зевнул, глаза у него были сонные и голодные, и он неожиданно ласково сказал Ефиму Сидорычу, что здесь был великий князь,— верно, был и позавчера расстрелян, а теперь в этом особняке поселится с секретарями и штабом комиссар Петров.

— Это который настаивал? — спросил Ефим Сидорыч злорадно.

Красногвардеец ответил:

— Не. Брат. Который молчал. Семен Григорьич.

Ефим Сидорыч не поверил красногвардейцу, сел подле дома на камушке. Вскоре приехал на машине комиссар Семен Петров — веселый, плечистый, с охотничьей собакой на коленях. И стража и комендант дома особенно ласково смотрели на рыжую собаку. Красногвардеец-часовой что-то сказал комиссару, тот посмотрел в сторону Ефима Сидорыча, пошел даже к нему с радостным и добрым лицом, но на полдороге вернулся и, посвистывая, ушел в дом. Собака прыгала вокруг него, и даже слышен был ее веселый визг и прыжки в доме. Ефим Сидорыч сказал возмущенно красногвардейцу:

— Я даже дома не прошу, отдайте мне мебель! Я же способствовал уничтожению великого князя, я же им предложил...

Красногвардеец вдруг лениво вскинул ружье на руку.

— А мне, дяденька, надоело на тебя смотреть. Ты вот сидишь, а я в тебя и в сидячего палить буду...

Ефим Сидорыч перекрестился и медленно отошел от своего дома.

В Совете ему сказали, что вопрос о мебели по-прежнему остается открытым. Вечером Ефим Сидорыч пил у Маркелла Маркеллыча чай.

— Я поддерживал эту власть,— воскликнул Ефим Сидорыч,— через все возражения друзей и родных поддерживал. А что получал?

Маркеллу Маркеллычу хотелось говорить; он открыл рот, но Ефим Сидорыч поднес к его лицу чашку с чаем и прокричал:

— Вы даже чай мне из ненависти жидкий налили! Я поступок Жиленкова одобрил. Я расстрел великого князя одобрил...

— Бодро держался, говорят, — задумчиво глядя на чай Ефима Сидорыча, сказал Маркелл Маркеллыч.

— Жиленков — патриот и офицер, а в Красной Армии?.. Какая ему польза?

— Бодро держался при расстреле, — вдруг громко, глядя в лицо Ефиму Сидорычу, сказал адвокат.

Ефим Сидорыч растерянно улыбнулся.

— Бог ему судья.

— Бог ли? — завопил адвокат, и лоб у него стал багровый и потный.

Ефим Сидорыч встал, отодвинул чашку и резко сказал:

— Я виноват, каюсь. Старика убили зря. Но и вам, Маркелл Маркеллыч, вашего крика простить я не могу.

И Ефим Сидорыч ушел и от своей невесты, и от своего будущего тестя и, переходя двор, пустынный, некогда наполненный птицей, зерном и навозом, чувствовал в себе огромный стыд и смятение.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ефим Сидорыч часто ходил за справками из новых законов в исполком. Он долго вчитывался в законы, выписывал их себе на листок, а оттуда в заявления о передаче ему мебели. Едва сдав заявление, он вспоминал о том, что на его мебели лежат с сапогами красногвардейцы, комиссар удало стряхивает пепел на шелк его, Ефима Сидорыча, диванов,—и составлял новое заявление. И каждый раз доводы, приводимые им, казались

ему все убедительнее и убедительнее. Наступила весна, и лето, и осень; проходили по губернии и области мятежи, восстания и продразверстки; комиссар Петров обзавелся новой машиной, съездил на польскую войну и привез оттуда веселую и высокогрудую жену; жена принесла ему вскорости девочку. Ефим Сидорыч проходил мимо особняка,—там справляли рожденье, хохотали и пили водку. Ефим Сидорыч забыл уже, какого цвета шелк на диванах и креслах, и только малиновый сафьян кабинета остался у него в памяти, и то только потому, что исполкомовский сторож вдруг появился в малиновых сафьяновых туфлях. И запах и рисунок кожи были знакомы Ефиму Сидорычу.

— С дивана сорвали, что ли? — спросил он сторожа.

— Не знаю откуда,— ответил сторож,— только мне председатель подарил туфли.

Пришел голод, и во время голода Варвара Петровна впервые в жизни исполнила желание сына — ушла от него. Хоронили ее осенью, могилу копал сам Ефим Сидорыч, а закапывать — вдруг руки ослабели!.. Он взглянул на свои руки: они стали морщинисты до неузнаваемости, и желтая краска сапожного мастерства залила теперь даже тыл ладоней. Ефиму Сидорычу стало жаль не себя, а старости и смерти матери своей, а затем стало жаль и старости Катерины Петровны, тетки, и зачем-то вдруг вспомнился расстрелянный Голофеев и недавно приехавший с войны Жиленков, все такой же подозрительный и напуганный, хотя он теперь заслуженный красный офицер. Жиленков работал по искусству: сооружал городской музей... Ефим Сидорыч, вернувшись с похорон, долго писал (как и десяток раньше, как и десяток позже) донос на дела и безделья комиссара области Семена Петрова. Сдав донос, он — многие годы уже так — ощущал себя непоколебимо твердым — «правым» (он так и думал — «правым», уже не зная, в чем заключается его правизна: в монархизме ли, в буржуазной ли республике и во власти ли вообще, а может быть, вообще в торжестве злости), и тогда он шел к Маркеллу Маркеллычу. Они уже давно помирились. Манечка Епич была по-прежнему верна Ефиму Сидорычу,— возможно, оттого, что женихов не было. Случился какой-то комиссар — жених, но прошел непонятно-позорный слух про Манечку — и схлынули женихи. Она похудела было, но выправилась быстро и начала опять

ждать Ефима Сидорыча. Маркелл Маркеллыч стал правозаступником и в важные минуты любит говорить, обращаясь к судьям: «Ваше пролетарское самосознание должно идти в ритме эпохи. Вот смотрите: Египет...» Жиленков был уже заведующим-хранителем музея и экспертом по отнятым ценностям. Подмигивая и прихихикивая, принес он Ефиму Сидорычу документик, из которого явствовало, что «наполеоновскую» мебель Е. С. Чижов купил на трудовые свои деньги, ценности она не представляет, и люди, сведущие в искусстве, не возражали бы против возврата оной «наполеоновской» якобы мебели ее владельцу. Маркелл Маркеллыч добыл такую же бумажку от профсоюза, а позже, когда Ефим Сидорыч поступил в кооперацию, и кооперация подтвердила ходатайства и людей искусства, и людей профсоюзной работы. Ефим Сидорыч смотрел на жизнь комиссара С. Г. Петрова — невеселая у него была жизнь! Комиссар, видимо, скучал: много пил, поигрывал в карты и пел по утрам военные песни. Голос у него становился все хриплее и хриплее, и собой комиссар грузнел, и не было в нем уже той прыткости, когда он, захлопнув калитку, бежал к жене. Да и жена заметно постарела: щеки у нее обвисли, и она начала носить капоты и перестала вспоминать о Польше...

И вот однажды произошло так, что комиссар по пьяному делу обругал ночью рабочих, работающих на прокладке водопровода. Ефим Сидорыч донес. Раньше, несколько лет назад, он доносил только на то, что он точно знал о комиссаре, а теперь он писал о любом слухе! Уважение и страх к власти исчезали; он видел, что эту власть можно обмануть так же, как он обманывал раньше учреждения или торговцев. Комиссара вызвали в партийный суд (неизвестно, из-за рабочих ли, а болтали — по оппозиционному делу), и отправился комиссар на север! Уехал он бесславно, и секретари, и многие собутыльники покинули его. Исполкомовский сторож в истертых сафьяновых туфлях пришел провожать комиссара Петрова. Особняк пустовал два дня, а на третий к железной ограде его подъехали две подводы,— Ефим Сидорыч и его невеста сидели на них! Исполкомовский чиновник открыл двери: «Да, конечно, обивку на мебели необходимо переменить, но особенно большой реставрации от мебели не требуется». Жиленков поздравил молча Ефима Сидорыча и молча же сто-

ял он у загса, куда пошли записать свою удачу Ефим С. Чижов и М. Епич. Затем молодожены, пригласив на свадьбу к себе, в волость, выехали на большую дорогу, за город. Маркелл Маркеллыч со слезами смотрел им вслед и, когда возы и таратайка с молодыми исчезли из глаз, обернулся к Жиленкову.

— Стареем,— сказал Маркелл Маркеллыч со вздохом.

Жиленков посмотрел на него со злостью и с подозрением, а затем испуганно и любезно улыбнулся.

Утром Ефим Сидорыч проснулся раньше всех. Он раскрыл окно. Перед ним была волостная площадь, и громадная желтая вывеска кооператива, в котором он служил, сияла росой и веселым солнцем. Он обернулся: пышная, украшенная бронзой, завитушками, заморским деревом, шелестя шелками и шнурами, мебель заполняла все комнаты. За перегородкой спала верная жена — ее ровное дыхание было солидно и хозяйственно, она имела право так спать потому, что честно, через многие испытания пронесла свою верность. Ефим Сидорыч достал из шкафчика малиновое варенье. На крыльце Катерина Петровна ставила самовар. Ефим Сидорыч пил чай — стакан за стаканом — и смотрел на великолепную дорогу, ведущую к волости. Темная пыль была похожа на шелк, который так необходим для мебели и для счастья! Сердце Ефима Сидорыча было наполнено спокойным торжественным ожиданием. За окном, шепелявя, пело дерево, и птицы молча носились среди ветвей, неслышно перебирая теплыми и пушистыми крыльями.

1928

ПОДВИГ АЛЕКСЕЯ ЧЕМОДАНОВА

Это произошло осенью тысяча девятьсот двадцатого года в степях подле Астрахани в долине, которая называется Огород богородицы.

Перед отъездом из Москвы и в приволжском городке Н. командир Н-ского стрелкового полка Алексей Митрофанович Чемоданов много пил, играл в карты и встречался с ненужными и противными женщинами. Алексей Чемоданов собой был хорош, весел той беспокойной веселостью, которая так нравится людям, ибо в ней люди всегда видят униженность. И в поезде, медленно катящемся по уральским степям, опять пили самогон, денатурат и бражку. Чемоданов хохотал, рассказывал прнобретенные в командировке анекдоты, и чем дальше поезд уходил в степь, и чем чаще появлялась в вагоне охрана, и чем больше было разговоров о бандитах и казаках,—тем беспокойнее и шумнее чувствовал себя Чемоданов. Пили, что ли, чересчур много,— в голове постоянно ныло, а в горле стояла слизистая дрожь, которую никак не удавалось выплюнуть. В Олонках (от которых по всем расчетам оставалось не больше дня пути до станции Наньей, где стоял полк Чемоданова) поезд задержался, и Чемоданов вышел погулять. Он вспомнил, что год тому назад полк проходил через Олонки, и от всего города Олонки в памяти осталась только вывеска над булочной в виде огромного кренделя. Станция заполнена народом. Степь за городком самодовольная и тускло-желтая. Твердый и самодовольный ветер нес из степи крупный песок, и песок этот с легким звоном бил о рельсы. Сразу же за паровозом начинался этот легкий звон, и паровоз стоял растерянный, грязный, тупой. Чемоданов повернул к станции. Старуха, повязанная розовым полушалком, предложила ему шепотом самогона. «Пьяная у меня морда, что

ли?» — с удалым и привычным беспокойством подумал Чемоданов. Лицо старухи показалось ему знакомым. Он пригляделся и вспомнил, что в Москве, уходя пьяным от приятеля, на лестнице он встретил молодую женщину, повязанную полушалком, тоже, кажется, розовым. Было уже утро. Женщина держала в руке большой мешок из дерюги. Она пропустила Чемоданова, а ему вдруг захотелось с ней поговорить. Он догнал ее и, наверное, оттого, что лицо ее было несколько похоже на цыганское, предложил ей погадать. Она предложению этому не удивилась и, раскинув мешок на ступеньках, достала засаленные карты. Она говорила: Чемоданов проживет долго; ему предстоит увидеть много счастья; многочисленная семья ожидает его! Голос у нее был тоскливый, и по всему можно было понять, что она желает и видит в жизни людей то, чего не хватает у нее самой. И чем больше слушал ее Чемоданов, тем все яснее становилось, что она крепко верит тому, что говорит, завидуя чужому счастью. И гадает она всем с такой охотой, дабы позлорадствовать! Чемоданов положил руку на бубнового туза и сказал, глядя в лицо женщине: «Утопишься ты сегодня, известно тебе это, ба-аба?» Женщина медленно стала собирать карты. Чемоданову стало жаль ее и стало стыдно от своего желания унизить человека и оттого, что руку лихо положил на бубнового туза. Затем подумалось: ведь и на самом деле — возьмет да утопится! Но женщина не обиделась, взяла мелочь, сказала, что утро жаркое, и ушла. И, когда она подымалась по лестнице, Чемоданов подумал, что все движения ее говорят о том, что ничего ей удивительного на свете нет; все она исполнила; все понимает. И жалость его исчезла. И теперь эта старуха, повязанная розовым полушалком, была с таким усталым же лицом, как и у той женщины, гадавшей на картах, и Чемоданов спросил то, что он и не посмел и не успел спросить:

— А что, бабка, все уже сделано, а?

— Все, родной,— ответила старуха.

— Помирать надо, а?

— Ну, вот, скоро и помрем.

И тогда Чемоданов быстро пошел в свой вагон, взял вещевой мешок, дождался, пока поезд не отошел, и затем направился в город. Здесь, совершенно уверенный, что его в Олонках хорошо знают, он явился в военкомат, и ему, точно, обрадовались. Лысый писарь, страда-

ющий восторженной любовью к героям, торопливо выписал ему ордер на комнату. Хозяйка встретила его подобострастно. То чувство, которое овладело им после слов старухи, а именно: сейчас, немедленно же надо продумать и решить, ради чего он жил, пьянствовал, обижал людей и самого себя обижал,—уныло тревожило его. И даже словами надо думать не такими простыми, а как-то... Он спросил самоварчик, заварил чай: морковный, густой. Чай обладал удивительными запахами простой семейной жизни — Чемоданов лил его в синенькое блюдечко. Тревога овладевала им все больше и больше. Он с трудом допил чай. За окном на форточку сел голубь и, туго шурша, перебирал (розовым от закатывающегося солнца) клювом перья крыла. За дощатой перегородкой соседи, актеры, должно быть, разучивали роли из какой-то необычайно революционной пьесы. «Каким же надо быть чудаком,— подумал Чемоданов,— чтобы верить, что революция может свершаться по таким словам, а главное — аккуратно записывать эти слова на бумагу, печатать...» Усердие и уверенность звучали в голосах актеров настолько, что Чемоданову захотелось их видеть. Но не для разговоров с актерами он сюда приехал! Он схватил фуражку, вышел. Городок казался необычайно пустынным. Собаки смотрели на него испуганно, молча. На песчаных коричневых холмах за городком безмолвно торчали три мельницы. Украшенная жесткой желтой травой дорога огибала мельницы. Несколько парочек шло по этой дороге. Чемоданов поднялся вслед за идущими на холм. Большой луг, поросший по краям мелким и сухим лесом, открылся его глазам. Дальше речушка в трескучих камышах и песчаных отмелях заканчивала луг, и за нею рыжая степь простирала свои огромные крылья. Дорога свернула к лесу — болезненно искривленному, сухому, вызывающему мысли о пожаре. Парочки торопливо углубились в лес. Мещанин в короткополом пиджаке, седой с безумными глазами навыкате, обогнал Чемоданова. «Ишь, старик, а туда же,— презрительно подумал Чемоданов,— нашли где зачинать детей. Любовь! Вешаться в таком лесу, а не любить». У дороги он увидал плотный забор из досок. Обогнавший его старичок мещанин смотрел в щель. Плечи мещанина, похожие на неумело стянутые узлы, вздрагивали. «Убивают, что ли, кого?»— лениво подумал Чемоданов, протягивая руку к кобуре. Стари-

чок обернулся. Выпуклые глаза его уставились торжественно на Чемоданова. Старичок указал на щель рядом с собою. Чемоданов подошел. Должно быть, раньше во дворе были дровяные склады. Кое-где валялись бревна, рассыпанные поленницы шелковисто сверкали берестой. Под широким тополем он с трудом разглядел сторожку. «Начинается...» — прошептал мещанин. От ветвей тополя в сторожке, наверное, было темно. Длинный и синеватый свет спички скользнул над столом. Голова гитары, чем-то похожая на разверстую пасть щуки, отодвинулась от огня лампы. Низкий, несказанно тоскливый, мужской голос запел. Чемоданов отошел, поправил кобуру, сделал было несколько шагов. Голос повышался все выше, выше. Песчаная дорога мертвенно бледнела. Чемоданов вернулся к забору.

Не дивитесь, друзья,
Что не раз между вас
На пиру веселом я призадумывался...

По ту сторону стола лампа освещала часть лица старушки, скорбный и сухой подбородок, тощую руку, вязавшую чулок. Рука эта была в бумажной перчатке с рваными пальцами. И перчатку, и эту руку Чемоданов разглядывал потому, что ему тяжело было смотреть на громадный пухлый рот и неподвижное белое лицо певца. Один рот лишь ясно выражал то отчаяние и страдание, которым была наполнена песня. Рот сжимался в бешеных судорогах. Он выпускал слова. Метался над столом, как бы ловя эти слова обратно! Наконец схватывал их и — выкидывал в долгом и тяжелом вое. Вот этот-то вой и заставил вернуться Чемоданова. Когда вой оканчивался, одно мгновение смятение озаряло лицо поющего, и это-то смятение только и напоминало людям, что поющий — женщина. И еще следы смятения, молнию любви; ужас тела, охваченного любовью, нескончаемой любовью, увидел Чемоданов на лице мещанина с выпуклыми глазами. «Старуха-то, старуха-то не чует, что ли?» — туманно подумал Чемоданов, и тотчас же знакомая слизкая дрожь заполнила его горло, опять заныла голова, и мещанин стал ему несдержимо противен. Мещанин же бормотал ему в лицо:

— Третью неделю поет, гражданин! Старуха белье распродает, которое осталось, да варежки вяжет на армию. Белье тоже на картошку меняют, кормит ее, а она поет.

— С голоду поет,— не понимаешь?

— И с голоду, и со всего другого. Всю ночь напролет поет. К полуночи-то у забора все горожане сбираются, на цыпочках. А она думает — пустыня, лес; никто не слышит, старуха-то глухая. Вот и поет.

— Дура, оттого и поет!

— Согласен с вами. Все же и тоска. Жениха, что ли, у ней повесили, али убили; али другую полюбил? Как вы думаете? Земля тесная,— куда со своей тоской деваться? Третью неделю поет и на моих глазах сохнет. Лицо-то все белей и белей.

— Мажется, вот и белей. Актриса будет. Актриса из нее получится, оттого и поет. Нельзя иначе по другой причине так петь,— понял?

— Кабы не такая жизнь да кабы не картошка, может быть, и вышла бы актриса, гражданин. А теперь еще недельку, самое крайнее — две, попоет и сдохнет. И как же быть иначе, гражданин? Судите сами хоть бы и со мной...

Чемоданов уже был на дороге. Об актрисе он сказал больше для старичка, чем для себя. Пускай старичок думает, что человек с револьвером остановился в городе не для того, чтобы слушать, как сходящая с ума баба поет. Любовь солдата должна быть быстрой, веселой и немедленной. Он остановился:

— Как ее зовут-то?

— А Христиной Васильевной зовут,— отозвался мещанин.

Н-ский полк, стоявший на станции Наньей, в отсутствие командира заметно поредел. Тиф, дезертирство. В полку было не более трехсот человек. Казаки готовятся к наступлению. На юге в степи видны зарева; крестьяне опять не подвозят фуража; пополнений нет, а штаб дивизии требует, чтобы полк готовился к выступлению на казаков. Посылали конную разведку, а она попала в Огород богородицы...

— Куда, в какой огород? — недоуменно спросил Чемоданов.

Заместитель и комроты первой, Игнатий Луба, лобастый, кривоногий, с маленькими желтыми глазами, всегда смотрел вбок, и даже когда он говорил правду,—а он ее всегда старался говорить,—все же каза-

лось, что он лжет и скрывает что-то необычайно важное. И, как все в полку, Чемоданов мало доверял Лубе. Чемоданову хотелось упрекнуть Лубу в разгильдяйстве, распущенности, но после долгой дороги надо выспаться, выпить молока, а если начать разговаривать, то Луба потребует перенести вопрос и на ячейку, и в бригаду. Утро было свежее, звонкое. У сарая из длинных корыт кони ели мешанку. Толстые воробьи носились над гривами. А в сарае жеребята тонко стучали копытами, ржали и путались в арканах. Луба гикнул, жеребята примолкли, и он сказал:

— Солдаты наши не устоявшиеся — не разберешь, что у них на уме. Я сам в разведку поехал. А какие мы на коне вояки? Сам знаешь! Нам перед казаками устоять трудно,— вот если к штыку моему казака подогнать, я тогда увижу его слезу,— это правда. Ну, и погнали казаки мою разведку и меня в том числе. День и ночь, целые сутки гнали. Двоих моих убили, а один, Митька Смолых, от раны да от жары с ума сошел. Выгнали нас в долинку такую, называется чудно, верно, Огород богородицы, — там, видишь, колодец, и не то тебе пещерка, не то яма имеется, а вокруг богородская трава растет и дыня одичалая. Кто их знает, — и на самом деле какой-нибудь пустынник проживал и рассаживал огород!

— Нам это ни к чему, одни глупости. Пулемет бы захватили!

— И пулемет был, да патроны все порастрясли. Митька при последних и сошел. Вот какие дела.... Прибегаем в эту долинку, в Огородик этот. Митька нам дорогу до этого указывал, а как увидал: пулемет пустой да долина эта перед ним, пал на колени и давай богу молиться. Вот и оказались мы из-за него в незнаемом месте, а кроме того, пески подули. Казак с песком подойдет неслышно,— а куда нам в пески от казака бежать? Стоим и ждем.

— Окопались, по крайней мере?

— Окопались. Стоим и ждем. А тут кони ржать начали, сначала один, а потом другой. К чему бы, думаем? Оказывается, трех кобылиц взяли, а они, видишь, по ребятам скучают, а ребята-то ихние при станции остались, в сарайчике. Так вот мы подумали, посоветовались, да и кобылиц-то вперед и пустили на свободной узде. Вот они материнским сердцем и пошли. Прямо через пески

идут и идут. Поржут легонечко так, ниточкой, вроде между собой переговорят, и дальше...

— Компас надо иметь, а не кобыл. Вообще к жизни надо математичнее относиться,— сказал Чемоданов и сразу же понял, что сказал не то, что должен и мог бы сказать. И он тотчас же рассказал Лубе о Христине Васильевне. Рассказ этот получился глупый, бессмысленный и даже не смешной, хотя и можно было рассказать очень смешно, как женщина в тоске поет густым-густым баритоном перед глухой старухой и горожанами, прячущимися за забором. Луба сказал, что с немцами происходят и не такие чудные вещи. И на этом весь разговор кончился. Чемоданов пошел спать. Выспаться ему не удалось: из бригады прискакал нарочный с пакетом, в котором приказывали немедленно сниматься и идти в степь на казаков. Видимо, в бригаде только и ждали приезда Чемоданова, и это понять ему было и лестно и неприятно. Особенно неприятно было потому, что все время его преследовала мысль (пустяковая и неправдоподобная, но в которую хотелось верить), что вот даже и в том, что Чемоданову не дали выспаться, есть какая-то скрытая каверза Лубы. Красноармейцы плевались, шоркали ногами, запах сонного тела шел от шинелей. Чемоданов с намеренно громким хохотом вскочил на коня; выругался трехэтажным ругательством,—красноармейцы захохотали, сразу стало веселей, и Чемоданов спросил: «Жеребят оставили?» И тогда Луба отозвался: жеребята идут с полком, но полк-то, видно, опять пройдет Огородом богородицы, да и для казаков-то больно уж там хороша позиция. Чемоданов догнал Лубу и опять начал рассказывать о Христине Васильевне и об городе Олонки. И опять получалось, что Луба понимает Олонки по-своему. Он думает: Чемоданов потому заезжал в Олонки — жалко ему Христины Васильевны; любит он ее и тоскует по ней, и, наверное, старая эта любовь у него. Луба недовольно и даже презрительно мычал. И только помкомроты первой, белобрысый и весь пухлый Афанасий Леонтьич, сочувственно сказал Чемоданову: «Вам необходимо было б пожить денька три там». «Действительно,— подумал Чемоданов,— если б пожить в Олонках несколько дней...» Но что он мог придумать, с кем бы он мог поговорить? Полк шел мимо ряда песчаных и скучных холмов. Светало. Небо было серенькое, тепленькое, чем-то похожее

на развернутые крылышки. Вот у наседки под крылышками, наверное, так же тепло и так же противно ждать, когда нападет ястреб. Лица людей были наполнены утомленной бодростью, тем выражением, которое приобретается привычкой к войне. Они просто и по-своему понимают войну, а сам Чемоданов...

Чемоданов засвистал. Луба взглянул на него с одобрением; кривые ноги его заковыляли быстрей. Хриплый голос из рядов солдат хватил песню. Рота гаркнула. Чемоданов размахивал руками, кричал, вертел нагайкой, — у него было бледное и бешеное лицо. Полк сухими, срывающимися голосами ревел сильней и сильней!

К вечеру полк остановился перед долиной, которая называлась Огород богородицы. Тотчас же напали казаки. И напали они так, как ожидали все: то есть из-за холма с пиками наперевес выскочат лохматые люди в странных папахах, низенькие иноходцы зарябят по песку. Нет, цепь солдат в фуражках со скатанными шинелями за плечами мелькнула на большом холме, похожем на верблюжий горб. Обрывок резкой команды донесся по ветру. Казаки открыли правильный, систематический огонь, и, услышав этот огонь, Чемоданов сразу почувствовал, как в горле отхлынула и исчезла слизистая дрожь; прояснилась голова, и на мгновение он как бы почувствовал в руках руль огромной машины, который он повернул и остановить который ему и не в силах, да и нужно ли? Он пристально посмотрел в долину. И только теперь ему стало действительно смешно и непонятно — как можно было эту долину назвать Огородом богородицы. Хороша же богородица, если у ней такие огороды! Небольшой овраг со следами дождевого потока пересекал долину. Еще можно было, напрягая зрение, разглядеть следы конских подков на глине оврага. По этому оврагу, наверное, бежали кобылицы. Чемоданов приказал открыть пулеметный огонь. Биение громадной и в то же время неслышной машины все сильнее и сильнее отдавалось в его теле. Временами он приказывал прерывать огонь, прислушивался, махал рукой — пулеметы опять взвывали. И когда биение громадной машины высушило глотку и глаза начали ныть, требуя влаги, Чемоданов скомандовал цепями двинуться на холм, похожий на верблюжий горб. И он правильно себя понял: казаки побежали. Верблюжий горб господст-

вовал над долиной. Солдаты вкатили на горб пулеметы. Первая рота во главе с Лубой кинулась преследовать казаков. В долине сильно стемнело, но все же можно было разглядеть, как исполнительный Луба твердо и верно ведет вперед свою роту. Казаки оставили на холме несколько кошемных вьюков. Чемоданов сидел на одном из вьюков. Руки Чемоданова тряслись. Пулеметчики напряженно смотрели в долину. И здесь произошло то, чего не предполагал Чемоданов: казаки поняли, что, покинув верблюжий горб, они должны признать себя разбитыми. Они остановились. И опять биение огромной машины почувствовал Чемоданов. И опять, даже не глядя в долину, он понял, что первая рота повернула, бежит. И впереди роты бежит Игнатий Луба! Вот где сказались его косые глаза! Чемоданов прикрыл ладонью лоб. Рука у него была мокрая. Пуля пробила ему плечо. Тихая, какая-то конфетная сладкая боль ползла от плеча к хребту. В висках звенели желтые круги. Но биение машины неустанно продолжало властвовать над всем его телом. Растерянные и усталые красноармейцы лезли на верблюжий горб. Гиканье преследователей слышалось поблизости. Чемоданов расстегнул кобуру и достал наган. Он хотел подняться, но поскользнулся, упал. И с земли уже он крикнул, чтобы его положили на вьюк и вынесли перед пулеметами. Афанасий Леонтьич подскочил к нему. «Неси, курва!» — сказал Чемоданов, поднимая наган. Афанасий Леонтьич испуганно схватился за кошму. Красноармеец с простреленной глоткой упал перед ними. Он корчился, хватал руками богородскую траву. Лобастое лицо Лубы, грязное, потное, показалось перед Чемодановым. Луба смотрел на него растерянно. На лбу у него была красная полоса от снятой шапки. Чемоданову стало на мгновение жалко и противно его видеть. Он хотел было сказать: «Ты куда, Игнашка, побежал? И чего тебе бежать? Убей меня раньше», — но мушка нагана уже скользнула перед глазом. Луба упал. Рота его остановилась.

«Цепью, вперед!» — сказал Чемоданов. Ему показалось, что он крикнул необычайно громко. Помкомроты Афанасий Леонтьич еще громче повторил его приказ. И трепет, и ровный ход огромной машины опять овладел телом Чемоданова. Он уже ничего не видел, но знал и радовался, что солдаты идут и идут! Пулеметы за его спиной наполнены необычайно ровной и спокойной рабо-

той. Его на вьюке подымают все выше и выше! Казаки бегут! Винтовки их смолкают, и чувство необычайно веселой сонливости овладевает им. Он понимает все и теперь только может рассказать без всякой лжи и путаницы всю правду о себе. Но ему смешно, и сон мешает ему рассказывать...

Чемоданов умер, и те трое, которые вынесли его на кошме к краю холма, тоже умерли. Их схоронили неподалеку от верблюжьего горба. Казаки бежали. Командование принял Афанасий Леонтьич. Утром полк двинулся громить станицы.

Этим закончился подвиг Алексея Чемоданова в степях подле Астрахани в долине, которая называется Огород богородицы.

1928

ИСТОЧНИК ВЗЫВАЮЩЕГО

Часто происходило так, что когда Михаил Григорьевич Власов снимал фуражку и открывались его необычайно спокойные волосы и гладкий ясный лоб, то многие разговаривавшие с Михаилом Григорьевичем становились очень откровенными и всегда, в конце разговора, просили совета, иногда самого неожиданного. И долго после разговора им казалось, что Михаил Григорьевич способен, как никто, слушать и понимать чужое горе. А Михаил Григорьевич большую часть своей жизни думал только о себе. Дни бежали быстрее и быстрее, через десяток лет начнется старость,— и было понятно, если он чувствовал все увеличивающуюся раздражительность, когда приходилось думать о других людях.

Михаил Григорьевич ехал на охоту. Ему казалось, что он наполнен одним мучительным желанием старого бродяги — убить. Никогда так подолгу не приходило к нему это желание убийства, и ему думалось, что оно исчезнет, как только дичь, грузно трепеща крыльями, понесется в последнем полете к земле... Однако думы эти беспокоили его. К тому же возница, баптист Исидор, как и все, разоткровенничался. Тележка бежала мимо потока Имень, вдали виднелось Теренщино. «На потоке Имень,— говорил возница,— лежит заклятье... Иначе как же можно объяснить, что вдруг в сухое лето, в засуху, поток разольется и смоет поля! А поля и без того тощи,— ибо жрет их степь беспощадно, люто... Засыпали поток. А засыпать не могут! Молебны служили, и беспоповцы читали свои молитвы, а придет (воскликнул он громко и с вызовом) удачный и нужный земле человек, скажет одно слово и, возможно, тремя горстями земли засыпет поток!» Глаза у Исидора на мгновение стали безумными, губы его побелели. Из дальнейшего разговора вышло так, что надо было вспоминать о Кады-

реве... В голове у Власова моталось много пустяковых мыслей, и где-то среди них была мучительно необходимая, настоящая, а вслух хотелось сказать, что Кадырев причинил много зла Михаилу Григорьевичу, многое в жизни Власова не вышло все из-за того же Кадырева. И Власов понимал, что это неправда и думать так не стоит, но в этой неправде чувствовалась какая-то непреодолимая сладость. По степи в сумасшедшем порядке мчались телеграфные столбы, и, казалось, огромное безумие несут они на своих тощих шеях. Бархатные и в то же время сияющие проволоки их молча, на какие-то подлые куски, делили бешеное желтое небо. А еще дальше на земле видна скользящая синяя пелена — это начинались знаменитые карабашские камыши, среди которых лежало соленое Карабашское озеро. Камыши славились необычайно вкусными утками,— говорили, корни камышей, служившие пищей уткам, придали телу их этот сказочный малиновый вкус. Въехали на постоялый. Исидор выпряг коней, выпил, с достоинством и с соответствующими извинительными словами перед богом, водки из синего стаканчика и приготовился, видимо, просить советов у Михаила Григорьевича. Тогда, объясняя уход свой нежеланием давать советы лживому и наглому баптисту, Михаил Григорьевич направился к Юрию Павловичу Кадыреву, знакомому по губернскому городу, во-первых, и, во-вторых, женатому на бывшей возлюбленной и жене Михаила Григорьевича — Софье Николаевне Табанец. Кадырев служил теперь в кооперативе на ничтожном жалованье. А в начале года уездный городишко Теренщино списали в село — и жалованье Кадыреву еще уменьшили. А этот человек имел славное прошлое — воевал в степях, на Украине, на Кавказе, водил красноармейские полки и партизанские мужичьи стаи, ему б теперь во ВЦИКе заседать,— а вот, не вышло... Кадырев и посейчас не любит людей, умирающих на постели: самого близкого друга не пойдет хоронить. Вот весной работника ГПУ застрелили бандиты. Кадырев знал его едва-едва, а шел за телом застрелянного с рыданьями. Иногда Власову удавалось убедить себя, что враждебность к Кадыреву владеет его сердцем из-за Софьи, но тотчас же всплывала мысль: тогда он должен бы ненавидеть и остальных мужей Софьи? И еще была эта мысль неправильной оттого, что объяснять так просто злость свою к Кадыреву было приятно. Теренщино, ви-

димо, бодрилось, надеялось обратно получить звание городка: на улицах желтели новые домики; над дряхлыми торговыми рядами высились свежие вывески. Власов вспомнил, как Исидор потешно рассказывал об обывателях, сплошь пересудившихся со скуки... Власов увидал новый домик, принадлежавший Кадыреву. Гнилозубая рыжая собачонка спала у ворот. Кадырев чистил двухстволку, он взглянул было на Власова с неприязнью, но смутился и стал преувеличенно вежлив. Подбежал брат Софьи, безумный Шурка, постоянно пляшущий и вопросительно спрашивающий каждого встречного: «Пляши?» Кадырев позвал Михаила Григорьевича пить чай. Софья принесла маленький самовар, баранки и варенье. Говорили много, торопливо, слишком оживленно, чтобы разговоры казались искренними. И как-то сразу стало ясно, что на охоту они пойдут, Кадырев и Власов, вместе и немедленно! У палисадника показался широкий румяноликий человек в парусиновом балахоне. «А вот и Перекрестов, друг!..» — воскликнул Кадырев, протягивая в окно тощие руки. Перекрестов, глядя в пол, боком сел к столу. Власов поймал его взгляд, устремленный с состраданьем на Софью. Софья, с того дня как рассталась с Михаилом Григорьевичем, мало изменилась, даже как будто слегка пополнела... Косо улыбнувшись, Михаил Григорьевич вспомнил, как она грозила умереть из-за любви к нему и бежала за ним следом, в морозную ночь, в одном платье. Софья, видимо, поняла эту улыбку; она покраснела; нагло, неумело сверкнула глазами и спросила ласково у Перекрестова: «Вам чаю?» — «Да, мне чаю»,— ответил Перекрестов. И Михаилу Григорьевичу, как и много раз до этого, пришло опять в голову, что на Софье он женился потому лишь, что было лестно и немного опасно отбить жену у секретаря губисполкома; а затем и покидать Софью было тоже опасно: она грозила скандалом, судом, смертью своей... и еще ему подумалось: вот освободили женщину от оков брака, и стала она еще большей рабой и более лживой, чем прежде. Чтобы привязать к себе мужа, она рожает детей, хотя детей и не любит, и не умеет их воспитывать. Она лжет неумело, нагло, старается быть чистой там, где грязна, и грязной там, где чиста. Каждый муж для нее — храм, постоянно разрушающийся. И каких только негодяев надо ей научиться уважать!.. Вот и Кадырев огрызнулся на Софью совершенно так же, как

полгода тому назад огрызался на нее Михаил Григорьевич и, кажется, даже (бессознательно, конечно) перенял манеру Михаила Григорьевича. Власов замолчал. И опять он поймал взгляд Перекрестова, устремленный на них всех с негодованием и испугом. Перекрестов вскочил, заторопился: «А я, знаете, тоже с вами пойду, с вами!..» После короткого замешательства Кадырев, видимо понимая мысли Перекрестова, ответил: «У вас и ружья-то нету». Перекрестов необычайно обрадовался, торопливо выпил стакан остывшего чаю: «А я, знаете, с палочкой, с палочкой». Свистнули собак; посмотрели на патроны. У ворот Кадырев помахал ручкой Софье, а она позвала его в сени поцеловать, он пошел неохотно... Все это происходило раньше с Михаилом Григорьевичем, и еще раньше с кем-то другим. Власову стало скучно, и ясно стало еще то, что он приехал к закату их любви. Перекрестов неловко играл с собаками. Собаки визжали, катались по траве, короткой и щетинистой. Кадырев шел впереди неприятно широкими шагами, трава трещала, словно он шел по прутьям,— и вообще в его фигуре было много напряжения, словно он шел сквозь чащу. И Кадырев сам чувствовал свою неловкость и свою все растущую раздражительность. Еще утром ему почему-то подумалось: сегодня приедет Власов, и он сказал не с тем, чтобы обидеть Софью, а с тем, дабы разозлить себя: «Готовься угощать свою постельную принадлежность!» Он знал, за что он ненавидит Власова, так же как он ненавидел многих, похожих на него, — Власов был храбр, удачлив в делах, и храбростью своей, оставшейся от войны, распоряжался очень умело и скупо. Этот человек не умрет на постели, и тот же Кадырев пойдет за гробом героя и будет искренне рыдать!.. Утром того же дня Кадырев своими руками отлил картечь, потому что картечи в кооперативе не продавали.

Перекрестов грузно, всем телом навалился на лодку. Лодка смешно заерзала по тине. Камыши стояли неподвижно, высоко подняв узкие сабли своих листьев. Перекрестов все происходящее объяснял ревностью двух соперников из-за женщины и так как в жизни своей больше всех страшных рассказов слышал (и воспринимал) о ревности, то и теперешние часы он считал самыми страшными в своей жизни. Лодка шла неподвижным каналом среди камышей. Вода, скользящая с весла,

была густо-изумрудного цвета и пахла странно: яичницей. Перекрестов с неумелым смехом сказал об этом запахе, но ни Власов, ни Кадырев даже не улыбнулись. Положив ружья на колени, они глядели друг другу на плечи и, видимо, ждали, кому из них заговорить и — выстрелить первому. Кадыреву казалось, что Власов молчит из презрения, а Власову — что Кадырев боится показать свою трусость. Собаки лежали тоже тихо, и одна из них взвизгнула; Кадырев пхнул ее ногой. Солнце, серое и тонкое, еще не зашло, но на небе уже показалась звезда, и Перекрестов сказал:

— Цонмон, знаете!.. Звезда! Пастух! Потому, видите ли, она приходит на небо вечером, когда в аул приходит пастух, и уходит с неба утром, последней из звезд... пастух тоже идет последним.

Ему не ответили.

— Я полагаю, к островку вон тому пристать? Внутри островка-то ложбинка; Источник Взывающего водружен; из-за ложбинки на пригорочек выйдем неожиданно, и перед нами: вода. А на воде-то утки и гуси. Вот мы их дробью, как пастухи, в царство теней и погоним!.. Дробью, а?

Лодка пристала к островку. Густым тальником, по шипящей тине, они поднялись на пригорок. И точно, перед ними открылась низкая солончаковая долина.

— А в долинке-то, — тенорком вопил Перекрестов, — обратите внимание: Источник Взывающего! Фетиш поклонения!.. тризна надежды!

Посредине долины груда черных камней поднимала к багровеющему небу два острых гребня — эти гребни походили на руки, или на космы волос, поднятые ветром, или отчаянием, или на лапки пингвинов, — но так или иначе в них чувствовалось горе, приниженность и в то же время что-то вызывающее. Увидав источник, люди разобрали гул бесчисленных комаров над камышами. Вспомнилось, что к источнику на исцеление только ночью, лунной и облачной тоже, приходят монголы, дабы никто не мог увидать, кроме луны, выскочившей из-за облака, как человек пьет воду Источника Взывающего. Странные болезни лечил источник!.. Багровое зарево заката и легкое смущение, овладевшее людьми, заставило их ближе подойти к источнику, дабы простота и наивность сооружения уничтожили мысли о монголах и исцелениях. Бутылка из-под водки не то —

дар дикаря, не то — след пьянства, валялась подле черных глянцевых камней. Перекрестов задумчиво поднял бутылку, а затем смущенно,— видимо, думая, что в такой торжественный и жуткий час смешно держать бутылку,— кинул ее. Лицо у Перекрестова было важное; тело его выпрямилось, и парусиновый балахон отливал багровым шелком. Власов стоял неподвижно и молча, а Кадырев (сам не чувствуя своих движений) начал переступать с ноги на ногу, все чаще и чаще. Он кашлянул, сказал какое-то неразборчивое слово. Власов поднял ружье, спустил предохранитель... пушистый домашний голубь вылетел в это время из-за камышей. Голубь, должно быть, заблудился: он то поднимался кверху, то падал в камыши. Комары лезли ему в глотку, забивались среди перьев. Голубь, заметив людей, заметался тревожно и радостно, чем-то походя на Перекрестова... Голубь опустился в трех шагах от источника на солонец, глаза у него были глубокие и радостные. И, может быть, от взгляда на голубя, все трое подумали о пустыне и о своем доме. Тучи на западе были похожи на крутящиеся багровые веретена. На мгновение люди содрогнулись от ощущения бескрайней тишины камышей. Кровь широко ударила в сердца! Солнце закатывалось. Источник действительно теперь походил на человека, заблудившегося в пустыне и дико воззвавшего к небу о чуде. Руки человека подняты в последний раз! И голубь, и солнце, и тучи, похожие на веретена, и мысли о доме — все это чрезвычайно неотчетливо лежало на памяти. Мешали и вопящие комары; и камыши, внезапно склоняющие сабли на неподвижную воду; и стаи уток, проносящиеся над островом. И Кадырев, с неприязнью, которая вдруг неожиданно быстро исчезла, увидал, что Власов откинул ружье; лицо его сразу как-то просветлело и приобрело то выражение, которое люди видели у него и которого у него никогда не бывало. Кадырев понимал, что сейчас необходимо иметь отвагу и сказать простое и в то же время торжественное слово, и это слово должно быть таким, чтобы каждый из трех одинаково понял его и одинаково тронулся душой. Такое слово уже пришло к нему в сознание! Он глубоко вздохнул, и здесь явилась мысль, что надо говорить быстрее, иначе люди вернутся каждый к *своему* слову, и будет уже поздно. Между ним и Власовым было не более шести шагов, но Кадыреву зачем-то понадобилось сократить это расстоя-

ние (может быть, он мало верил в силу своего голоса), он шагнул, — и тут Перекрестов закричал *свои* слова и то, как он понимает величие минуты, постигшей троих людей у Источника Взывающего. Перекрестов закричал, что он любит Софью Табанец и что она ни к Власову, ни к Кадыреву — Михаилу Григорьевичу и Юрию Павловичу — не подходит! Им необходимы величественные, великолепные женщины, а он человек простой и даже обиженный судьбою. И то, что сообщением любви своей он как бы спасает жизнь двух людей, двух врагов примиряет,— растрогало его до слез. И, подумав о слезах, он действительно с радостью и гордостью заплакал. Легкий пар поднимался от источника. Родник был прикрыт досками с отверстием, наглухо закрытым тяжелым камнем. Пар пробивался в щели. Всхлипывая, Перекрестов сказал, что, напившись, человек должен закрыть отверстие, иначе не будет чуда, и еще есть поверье, что, если герой идет исцеляться от любви и тоски и после этого не убьет ни человека, ни животного,— отверстие откроется, и вода зальет страну и камыши! Преданье всем, даже и Перекрестову, показалось глупым и непонятным, да и сам Перекрестов не понимал, зачем он рассказал его. И Перекрестов продолжал: он давно любит Софью, и она его любит... лицо у него стало беспомощное, словно он повторял неудачное сказание свое о гибели источника. И Кадырев начал расспрашивать про их любовь, и видно было, что он расспрашивает только для Власова, только для того, чтобы доказать, что он еще муж и что имеет еще право расспросить о женщине и жене с беспутным характером. Но скоро злость у него схлынула, и ему стало стыдно; он не глядел на Власова, да и тому стало тоже нехорошо. Они отплыли. Перекрестов зажег фонарь, греб быстро и, выскочив на берег, побежал вперед. И собаки с тихими повизгиваниями кинулись за ним следом. Камыши остались позади, более светлые и более воздушные, нежели днем, и Власов, понимая, что закончилась его последняя охота в карабашских камышах, что наслаждение жизнью еще укоротилось на многое и что тоскливее и одиночнее стало на свете,— сказал медленно: «А плохие охоты стали». И Кадырев (наслаждаясь победой, ибо Власов струсил прямо высказать свою тоску и одиночество) резко и весело сказал: «Плохие времена, плохие и охоты». Власов понял ту мысль, которая змеилась под этой фразой;

вздохнул,— и опять Кадырев почувствовал стыд и смущение. Дурачок Шурка, приплясывая, бежал по улице. Пробегая мимо них, он крикнул вопросительно: «Пляши?» Они смолчали. На Шурке была длинная рубаха, и волосы его походили на камни Источника Взывающего. В домике Софья с тяжелыми пепельными веками, наклонившись, складывала в сундук свои вещи. Неподалеку от нее стоял сияющий Перекрестов, и Власов, взглянув на его маслянистые щеки подумал с завистью: «А ведь он ее и на самом деле любит!» Софья посматривала на Перекрестова с неприязнью и с какой-то далекой надеждой, и видно было, что она уже не видала теперь своих мужей, так же как она не видела раньше других мужей, когда уходила к Власову или Кадыреву. Затем и Софья и ее новый муж ушли. Оставшиеся сели на стулья. Власов скинул ружье; свистнул собаку — собаки не было. Он спустил предохранитель. Кадырев глядел в палисадник. «И моя удрала»,— внезапно и хрипло сказал Кадырев. Кадырев понес свое ружье в соседнюю комнату. «Прощай»,— сказал Власов и вышел. Кадырев не ответил ему. Он думал: было ли это храбростью или трусостью, что он сидел спиной к Власову, чувствуя в хребте озноб и еле имея силы раздвинуть губы и сказать: «И моя удрала»; и картечью ли заряжено ружье Власова? «Картечью, картечью»,— старался упрямо повторить Кадырев. У ворот Власов засвистел собаку. Подскочила дворняжка, та, что встретила его утром — гнилозубая, и Власов вдруг вскинул ружье и выстрелил. Прибежал Шурка. Одергивая рубаху, он выкрикнул: «Пляши?» — «Пляши, горе!» — с горечью ответил ему Власов. И тот вдруг присмирел, даже присел как-то и неумелой новой походкой, уже не приплясывая, отошел от ворот. Блаженное лицо его перестало сиять и стало озабоченным, как у всех живущих в России, и походка его стала походкой исцеленного. Власову стало непереносимо жаль Шурку; жаль того, что нашлось столь внезапное необходимо (да необходимое ли?) слово. И больше ничем не отозвался городок на выстрел Власова! Улицы были пустынны, песчаны. Власов остановился у потока Имень; воды, быстро шелестя песком так, как будто потирали сухие ладони, спешили в пустыню. И Власов подумал, что за сегодняшний день много туманностей произошло в его жизни и что мысли его приобрели в то же время много ясности.

Другой бы человек, другой *герой* остановился бы сейчас у потока и, преодолевая свою тоску и свое одиночество, взял бы три горсти земли, кинул бы их в поток и сказал бы необходимое для осушения потока слово: «Готово». Именно «готово», а не какое-либо другое слово... Подбежала его собака и лизнула ему руку. Руки у него и все тело его горели. И он понял, что собаки бежали от смерти и от смятенных человеческих душ. И почти в те же минуты Кадырев вышел с ружьем за ворота. Дворняжка еще трепетала. Кадырев, закрыв глаза, выстрелил в нее. Но ему легче не стало. Город спал. Даже Шурке и тому незачем было приходить. Темнота была теплая и легкая. Мир огромен, и два человека, два героя, так и не поняв друг друга, пошли в разные стороны. Мысли эти показались Кадыреву трогательными и умными. Он зарыдал, не стыдясь своих рыданий. Да и кого стыдиться, если весь город спит?..

1928

КОММЕНТАРИИ

Во втором томе собрания сочинений представлены почти все рассказы Вс. Иванова 20-х годов (до 1928 г. включительно) — периода расцвета новеллистического дарования писателя. Один за другим выходят сборники его рассказов: «Седьмой берег. Рассказы». М., «Круг», 1922 (2-е доп. изд., 1923); «Рассказы». М., «Круг» [1923]; «Когда расцветает сосна. Рассказы и сказки». М., «Огонек», 1925; «Рассказы». М., «Никитинские субботники», 1925; «Рассказы о себе». М., «Правда», 1925; «Экзотические рассказы», Харьков, Госиздат Украины, 1925; «Гафир и Мариам. Рассказы и повести». М. — Л., «Круг» [1926]; «Пустыня Тууб-Коя. Рассказы». М. — Л., «Московский рабочий», 1926; «Дыхание пустыни. Рассказы». Л., «Прибой», 1927; «Тайное тайных. Рассказы». М. — Л., Госиздат, [1927], и другие.

В 20-е годы интенсивно и плодотворно развивается жанр новеллы в советской литературе. М. Горький, К. Федин, Л. Леонов, И. Бабель, А. Платонов дали образцы ярких социально-насыщенных произведений этого жанра. Новеллам этих писателей присуща цикличность (к примеру: «Пустырь» и «Трансвааль» К. Федина, «Необыкновенные рассказы о мужиках» Л. Леонова, «Конармия» и «Одесские рассказы» И. Бабеля). Большинство рассказов Вс. Иванова этих лет тоже группируются по циклам, получившим свое название, как правило, от сборников, в которых они были представлены: «Седьмой берег», «Экзотические рассказы», «Тайное тайных». От одного цикла к другому прослеживается бурная эволюция писателя, многонаправленность исканий, смелость творческого эксперимента. Новеллистика Иванова той поры как яркое явление литературы привлекала пристальное внимание критики, становилась предметом острых дискуссий в печати.

Рассказы Иванова переиздавались интенсивно в 20—30-е, затем в 60-е годы; включались в оба прижизненных собрания сочинений. При переизданиях многие из них подвергались большей или меньшей правке.

Тексты печатаются по последнему прижизненному изданию. По каждому случаю отступления от этого принципа («Садовник эмира Бухарского», «Встреча», «Пустыня Тууб-Коя», «Плодородие», «Ли-

тера«Т») имеется решение комиссии по литературному наследию Вс. Иванова и редколлегии данного собрания сочинений. Текстологическое обоснование выбора редакций дается в комментариях к этим произведениям.

Новеллы в томе располагаются по хронологическому (внутри циклов) принципу.

Принятые условные обозначения:

Вс. Иванов. Собр. соч. в 7-ми томах. М. — Л., Госиздат, 1928—1931 — 1-е собр. соч.

Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах. М., Гослитиздат, 1958—1961 — 2-е собр. соч.

Вс. Иванов. «Переписка с Горьким. Из дневников и записных книжек». М., «Советский писатель», 1969 — «Переписка с Горьким».

По Иртышу. — Впервые «Степная речь», Петропавловск, 1917, № 37, 2 февр.; затем — «Сборник Пролетарских писателей» под редакцией М. Горького, А. Сереброва и А. Чапыгина, изд. «Парус», Пг., [1917] (вместе с рассказом «Дед Антон»), под названием «На Иртыше».

Этот рассказ среди многих других был послан Ивановым из Сибири Горькому в Петроград. 17(30) октября 1916 года Горький писал Иванову: «На Иртыше» — славная вещица, она будет напечатана во 2-м сборнике произведений писателей-пролетариев» («Переписка с Горьким», с. 8). «Благословляя» Иванова на вступление в «большую литературу», Горький (письмо около 3(16) февраля 1917 г.) советовал молодому писателю: «Вот что, сударь мой: Вы, несомненно, человек талантливый, Ваша способность к литературе — вне спора. Но, если Вы желаете не потерять себя, не растратить по мелочам, без пользы — Вы должны серьезно заниматься самообразованием» («Переписка с Горьким», с. 11).

Переиздан во 2-м собр. соч. (т. 3, 1959), куда был включен под названием «По Иртышу» после значительной стилистической правки. В этой же редакции вошел в кн.: «Рассказы». М., «Советский писатель», 1963; «Хмель. Сибирские рассказы 1917—1962». М., «Молодая гвардия», 1963.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

В снегу. — Впервые «Наш журнал», 1921, № 1.

По версии М. В. Минокина в кн. «Путь Всеволода Иванова к роману (20-е годы)» (Орел, 1966), рассказ связан с работой Вс. Иванова над повестью «Фарфоровая избушка» (см. комментарий к повести «Бронепоезд 14-69» в 1-м томе нашего собр. соч.).

Печатается по тексту «Наш журнал», 1921, № 1.

Красный день. — Впервые «Красный командир», 1921, вып. за май «Праздник труда», затем «Красный журнал», 1925, № 8 под названием «Утро». Этот рассказ может показаться эскизом к «Партизанам», что подтверждается его публикацией перед знаменитой повестью. Но писался рассказ позднее.

Включался во 2-е собр. соч.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1959.

В книгу «Седьмой берег» (первое издание 1922 г., 2-е дополненное изд. 1923 г.; одновременно с ним — «Седьмой берег», Берлин, «Геликон», 1923; состав 2-го издания был перепечатан в кн.: «Рассказы». М. — Л., «Круг» [1923]) вошли рассказы, написанные Ивановым в 1921—1922 годах (исключение «Алтайские сказки», созданные в Сибири в 1920 г.).

Сборник открывался «Алтайскими сказками», затем шли «Рассказы о себе» («Первый», «Второй»), «Подкова», «Глиняная шуба», «Полая Арапия», «Лоскутное озеро», «Лога», «Синий зверюшка», «Вахада Ксара Гуятуи», «Берег желтых рыб», «История Чжень-Люня, искателя корня шеньжень», «Бык времен», «Жаровня архангела Гавриила», «Шо-Гуанг-Го, амулет Великого Города», «Глухие маки», «Дите».

Собрать рассказы, опубликованные в газетах и журналах, в отдельный сборник Иванову советовал настоятельно Горький («Литературное наследство», т. 70, с. 376).

О том, как родилось название сборника — «Седьмой берег», Иванов объяснил в «Истории моих книг»: «Одну из первых своих книг я назвал по рассказу «Седьмой берег». В этом рассказе была казахская легенда о седьмом береге. Богатырь переправляется через три неимоверно быстрые реки. Первая река — река рождения, вторая — река учения, третья — река работы. Только перейдя три реки, шесть берегов, богатырь подходит к четвертой реке, на седьмой берег, — к реке счастья. Однако рассказ этот показался мне вычурным, и я выбросил его. Но другое название книги подобрать было трудно, и я оставил прежнее — «Седьмой берег», надеясь, что какому-нибудь критику известна легенда и он разъяснит ее читателю. Я преувеличил знания критиков, во-первых, а, во-вторых, преувеличил их наблюдательность».

Собранные вместе рассказы, ранее публиковавшиеся в периодике, прозвучали по-новому, и Иванов предстал перед читателем как сложившийся своеобразный писатель. В рецензии на книгу В. Переверзев писал: «Вс. Иванов — писатель несомненно талантливый. У него есть то, что является первым элементом талантливости — оригинальность. Он пришел в литературу со своим словом,

заговорил о таких явлениях, о которых еще никто не говорил, и таким языком, какого ни у кого до сих пор не было» («Печать и революция», 1923, кн. I, с. 220).

Критика констатировала, что уже в первых своих рассказах Иванов выступил «крупным мастером новеллы»: «Такие рассказы, как «Лога», «Подкова», являют высокое мастерство формы и вошли во все современные хрестоматии». (Сергей Б—е в. Всеволод Иванов.— «Книгоноша», 1926, № 10, с. 5). Особо отмечалось языковое мастерство Иванова в «Седьмом береге»: «...Вс. Иванов в высокой степени владеет искусством создавать образы более богатые и красноречивые, чем целые страницы описаний 〈...〉 Вообще язык Иванова так великолепен, что подчас утомляет своим великолепием. Все богатство местного колорита и в лексике, и в оборотах речи широко использовано художником» (Мих. Могилянский. Рецензия на сб. «Седьмой берег». — «Книга и революция», 1923, № 3, с. 73).

Наряду с этим рецензенты упрекали автора «Седьмого берега» в бесфабульности, сюжетной хаотичности. Наиболее решителен был Л. Лунц: «Писатель перегружает свои рассказы отборными своими образами и описаниями, а под ними тонет действие, фабула, если вообще она у Иванова имеется 〈...〉. Вс. Иванов не знает элементарнейшего построения фабулы, не умеет развить даже одного мотива 〈...〉. И поэтому ему не удаются рассказы с действием, с органической развязкой» («Книга и революция», 1923, № 1, с. 55—56). С Лунцем не согласился Могилянский: «Ходячим стал упрек Вс. Иванову в хаотичной бесфабульности. Но этот недостаток так органически связан с тем способом, каким преодолевает художник трудности, встающие перед современным бытописателем, не отрекающимся от задач чисто художественных, что упрек как-то сам собою падает 〈...〉. Мы имеем все основания думать, что художественный рост Вс. Иванова приведет его к преодолению тех трудностей, перед которыми он остановился» (создание фабулы. — *Е. К.*) («Книга и революция», 1923, № 3, с. 73).

В печати отмечалась эстетическая неравноценность рассказов «Седьмого берега». Как наиболее яркие назывались «Глиняная шуба», «Лога», «Синий зверюшка», «Вахада, Ксара Гуятуи». «Здесь автор в своей сфере, и сфера эта сибирская деревенская Русь. Ее автор знает, любит ее нежной любовью сына, чувствует себя среди нее, как рыба в воде» («Печать и революция», 1923, кн. I, с. 220).

Тематически и стилистически примыкая к «Партизанским повестям» Иванова, рассказы сб. «Седьмой берег» дают яркое представление о раннем творчестве Иванова, о развитии жанра рассказа в прозе начала 20-х годов. В книге «Русский советский рассказ. Очерки истории жанра» (Л., «Наука», 1970) подчеркивается «уверенный приоритет, несомненное первенство» новеллы Иванова начала 20-х

годов рядом с новеллистикой многих его современников, что свидетельствовало «о жизнеспособности принципов художника, о созвучии его творчества настроениям и задачам времени» (с. 128).

Алтайские сказки.— Впервые «Красная новь», 1921, № 2 в составе: I. Кургамыш — зеленый бог. II. Баран. III. Куян. IV. Аю. V. Как любил Кара-Су. VI. Кызымпль — золотая река. VII. Как согрешил Аянгул. VIII. Когда расцветает сосна. Отдельное издание: Всеволод Иванов. Кургамыш — зеленый бог. Пг., «Космист», 1922.

Вошли в кн. «Седьмой берег», изд. 2-е, дополненное. М. — Пг., «Круг», 1923. «Рассказы». М., «Круг» [1923]. Вместе с рассказом «Долг» составили книжку «Когда расцветает сосна. Рассказы и сказки». М., «Огонек», 1925. Включались во 2-е собр. соч. (т. 3, 1959) и кн.: «Хмель. Сибирские рассказы 1917—1962 гг.». М., «Молодая гвардия», 1963.

Созданы были в Сибири в 1920 году. 16 января 1921 года Иванов писал Горькому из Омска: «...написал ряд рассказов и сказок, причем хотел сейчас «Алтайские сказки» послать Вам, но теряются, должно быть, лучше уж сам привезу» («Переписка с Горьким», с. 16).

Как доказывает С. К. Мамаева в статье «Алтайские сказки» Вс. Иванова» (сб. «Всеволод Иванов», Омск, 1970), фольклорная основа этих произведений легко обнаруживается при сопоставлении с книгой «Алтын-Мизе. Аносский сборник» под редакцией Никифорова, издание Западно-Сибирского географического общества, Омск, 1915.

Вслед за Ивановым обработкой алтайских сказок занимался Г. А. Вяткин («Алтайские сказки», Сибкрайиздат, 1926), а также А. Гарф и П. Кучияк («Алтайские сказки», Новосибирск, 1952).

«Литературная сказка помогла Вс. Иванову в дальнейшем его творчестве. Сказки развили фантазию молодого автора, а являясь глубоко философскими по содержанию, они стали как бы отправным пунктом цельного и глубокого философского мировосприятия, которым было проникнуто творчество автора во все последующие периоды», — справедливо пишет С. К. Мамаева (с. 118).

Печатается по тексту: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1958.

Киргиз Темербей.— Впервые «Грядущее», 1921, № 4—6 под названием «Смерть»; затем в журнале «Шквал», 1925, № 14, под названием «Могила». Под названием «Киргиз Темербей» впервые в кн.: «Пустыня Тууб-Коя. Рассказы». М.— Л., «Московский рабочий», 1926.

Включался в кн.: «Партизаны». М.— Л., Госиздат, 1928; «Рассказы». М., «Советский писатель», 1963. Входил во 2-е собр. соч. (т. 3, 1959).

Печатается по тексту: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

Глиняная шуба. — Впервые «Грядущее», 1921, № 7—8. Включался в кн.: «Седьмой берег. Рассказы». М. — Пг., «Круг», 1922; «Седьмой берег», изд. 2-е дополненное. М. — Пг., «Круг», 1923; «Рассказы». М., «Круг», [1923].

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Круг», [1923].

Отец и мать. — Впервые «Грядущее», 1921, № 9—12 под названием «В дни бегства», одновременно — «Красная газета», 1922, 21 мая, под названием «Рассказ о себе», под этим же названием — «Накануне» (Берлин), 1922, № 118, 27 августа (Литературное приложение, № 15) с посвящением М. Горькому. Впервые под названием «Отец и мать» в 1-м собр. соч. (т. 2, 1928). Включался под названием «Первый» (в цикле «Рассказы о себе») в кн. «Седьмой берег», изд. 2-е, дополненное. М. — Пг., «Круг», 1923; «Рассказы». М., «Круг» [1923]; «Рассказы о себе». М., «Правда», 1925. Под названием «Отец и мать» в кн.: «Избранное [в 2-х томах], т. I. М., Гослитиздат, 1937; 2-е собр. соч. (т. 3, 1959); «Хмель. Сибирские рассказы 1917—1962 гг.». М., «Молодая гвардия», 1963.

Автобиографичность этого рассказа Иванов подтверждал не раз. Так в одной из первых своих автобиографий он писал: «...В 1919 г. приехал повидать (отца. — *Е. К.*), а на третий день брат мой Палладий нечаянно его застрелил из дробовика (сам Палладий через год умер)» («Литературные записки», 1922, № 3, с. 26).

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1959.

Бык времён. — Впервые «Петроградская правда», 1922, № 40, 19 февраля. Включался в кн.: «Седьмой берег. Рассказы». М. — Пг., «Круг», 1922; «Седьмой берег», изд. 2-е дополненное. М. — Пг., «Круг», 1923; «Рассказы», М., «Круг» [1923].

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Круг» [1923].

Шо-Гуанг-Го, амулет Великого Города. — Впервые «Сибирские огни», 1922, № 3, под названием «Амулет». Датировано: январь 1922 г., Петербург. Под этим же названием вошел в кн.: «Седьмой берег. Рассказы». М. — Пг., «Круг», 1922. Впервые под названием «Шо-Гуанг-Го, амулет Великого Города» в кн.: «Седьмой берег», изд. 2-е дополненное, М. — Пг., 1923. Под этим же названием в сб. «Рассказы». М., «Круг» [1923]; «Рассказы». М., «Никитинские субботники», 1925; «Повести великих лет». М., «Федерация», 1932, во 2-м собр. соч. При включении в это издание рассказ подвергался значительной стилистической правке, в основном направленной на освобождение текста от «орнаментальных излишеств».

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3, М., Гослитиздат, 1959.

Синий зверюшка. — Впервые в кн. «Серапионовы братья», Альманах первый. Пг., 1922; одновременно — «Серапионовы братья». Заграничный альманах, изд-во «Русское творчество», Берлин, 1922.

Включался в кн.: «Седьмой берег. Рассказы». М. — Пг., «Круг», 1922; «Седьмой берег», изд 2-е, дополненное, М. — Пг. «Круг», 1923; «Рассказы». М., «Круг» [1923].

Горький с удовлетворением реагировал на публикацию рассказа, видя в нем яркое проявление творческой индивидуальности писателя. Из письма М. Слонимскому от 19 августа 1922 года: «На днях достал и прочитал «Серапионовы братья» — альманах, ⟨...⟩ излишне хвалить Иванова. Сила какая! И это — не из лучших рассказ» («Литературное наследство», т. 70, с. 378—379).

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Круг» [1923].

Жаровня Архангела Гавриила. — Впервые «Петроградская правда», 1922, № 107, 15 мая (экстренный выпуск). Одновременно — «Культура и жизнь», 1922, № 4. По рекомендации М. Горького был перепечатан в альманахе «Завтра», кн. I. Берлин, 1923.

Включался в кн.: «Седьмой берег. Рассказы». М. — Пг., «Круг», 1922; «Седьмой берег», изд. 2-е дополненное. М. — Пг., 1923; «Рассказы», М., «Круг» [1923], 1-е собр. соч. (т. 2, 1928). При включении во 2-е собр. соч. правился автором стилистически. Вошел в кн.: «Рассказы». М., «Советский писатель», 1963.

Этот рассказ М. Горький рекомендовал в 1921 году в планируемый альманах произведений серапионов. В предисловии к изданию он писал: «О глубоком знании Всеволодом Ивановым психики русского примитивного человека говорит рассказ «Жаровня Архангела Гавриила». Герой рассказа — очень распространенный в России тип искателя незыблемой правды. Люди этого типа, не умея своей волей творить правду, часто всю жизнь свою посвящают мечтам о ней, бродяжничают в поисках ее, ждут правды, как чуда, и порою, не встретив в жизни этой правды, в сущности неясной им, становятся мизантропами, анархистами. Революция уничтожает человека, пассивно ожидающего счастья, заменяя его постепенно человеком, который пытается достичь счастливой жизни усилиями своей личной воли. И — повторяю — заслуга молодой русской литературы в том, что она правильно оценивает превалирующее значение воли, не утрачивая, однако, любви к мечте о реорганизации жизни в духе справедливости. Мечта, выдумка в искусстве и жизни играет ту же роль орудия познания истины, как гипотеза в области науки» («Литературное наследство», т. 70, с. 562—563).

В архиве Вс. Иванова на папке с рассказом «Жаровня Архангела Гавриила» сохранилась следующая запись писателя: «Этот рассказ читал М. Горький «Серапионовым братьям», когда они впервые в 1921 г. собрались у него. Что ему в нем понравилось ни тогда, ни сейчас не понимаю. Он вкладывал в него какой-то свой смысл, о котором я постеснялся спросить. 1961». Но характер редакторской правки рассказа в 1958 году при подготовке второго собрания сочинений, когда Иванов всячески подчеркивал мотив «чуда», говорит о том, что горьковская мысль запала в сознание художника и не оставила его равнодушным.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Рассказы, «Советский писатель», 1963.

Камыши. — Впервые — «Петроградская правда», 1922, № 163, 23 июля (приложение — «Литературная неделя», № 8) под названием «День». В кн. «Седьмой берег», изд. 2-е дополненное. М. — Пг., 1923; «Рассказы». М., «Круг» [1923] печатался под шапкой «Рассказы о себе» как «Второй». Включался под этим же названием в сб. «Рассказы о себе». М., «Правда», 1925. Впервые под названием «Камыши» в 1-м Собр. соч. (т. 2, 1928). Под этим же названием в кн. «Повести великих лет». М., «Федерация», 1932; «Избранное» [в 2-х томах], т. I. М., Гослитиздат, 1937; 2-е собр. соч. (т. 3, 1959); «Рассказы». М., «Советский писатель», 1963; «Избранное» в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

В основе рассказа — эпизод биографии писателя. «После взятия чехами Омска (был тогда в Красной гвардии), когда одношапочников моих перестреляли и перевешали — бежал я в Голодную степь, и после смерти отца (казаки думали: я его убил — отец был царелюб, хотели меня усамосудить), дальше за Семипалатинск, к Монголии» («Литературные записки», 1922, № 3, с. 26).

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Рассказы, «Советский писатель», 1963.

Лога. — Впервые «Накануне», Берлин, 1922, № 88, 23 июля («Литературное приложение» № 10). Сразу же был переиздан: Вс. Иванов. Лога. Рассказ. Пб., «Эпоха», 1922. Включался во многие издания 20—30-х годов: «Седьмой берег» (1-е и 2-е издания); «Рассказы». М., «Круг» [1923]; «Рассказы». М., «Никитинские субботники», 1925; «Рассказы о себе». М., «Правда», 1925, и другие.

При включении во второе собрание сочинений (т. 3, 1959) подвергся стилистической правке, несколько сокращен. В новой редакции напечатан в кн.: «Рассказы». М., «Советский писатель», 1963; «Избранное», в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

Уже в первом отзыве рассказ был оценен очень высоко. Н. Асеев писал: «Прекрасная сжатость цельно исчерпанной фабулы, острота

эпизодов, и тот же утрированно грубый тяжелый язык, так идущий к территориальной отграниченности автора, дают и «Логам» ту полновесность подлинной «большой» прозы, в погоне за которой устремлено теперь столько навостренных на «новый быт» перьев» («Печать и революция», 1922, кн. 7, с. 313).

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

Авдокея. — Впервые в газете «Петроградская правда», 1922, 22 мая (приложение — «Литературная неделя», № 1) с подзаголовком: глава из романа «Ситцевый зверь».

Над романом «Ситцевый зверь» Иванов работал в 1921—1922 годах. В первой автобиографии он писал: «Кончаю роман «Ситцевый зверь» («Литературные записки», 1922, № 3, с. 27).

22 августа 1922 года К. Федин сообщал М. Горькому: «Всеволод работает сразу над двумя [романами] — «Голубые пески» и «Ситцевый зверь» 〈...〉» («Литературное наследство», т. 70, с. 466).

Роман был посвящен гражданской войне на Дальнем Востоке. Как полагает М. В. Минокин («Путь Всеволода Иванова к роману (20-е годы)». Орел, 1966, с. 117), роман был написан, но автор посчитал его неудачным и уничтожил. С работой над романом, кроме рассказа «Авдокея», связаны такие рассказы, как «Лоскутное озеро» («Петербургский сборник». Пб., издание журнала «Летопись дома литераторов», 1922) и «Набег» («Петроградская правда», 1922, 7 мая). Оба эти рассказа вошли как I и II части в рассказ «Анрейша» («Пустыня Тууб-Коя. Рассказы». М. — Л., «Московский рабочий», 1926). Этим же замыслом вдохновлены рассказы «История Чжень-Люня — искателя корня шеньжень» («Петроградская правда», 1922, № 134, 18 июня, приложение — «Литературная неделя», № 5). «Берег желтых рыб» (другие названия «За спиной у моря», «Рыбы») («Петроградская правда», 1922, № 186, 19 августа, приложение — «Литературная неделя», № 11).

Рассказ «Авдокея» под названием «Вахадаа Ксара Гаятун» включался в кн.: «Седьмой берег», изд. 2-е дополненное. М. — Пг., «Круг»; «Рассказы». М., «Круг, [1923]. Во 2-е собр. соч. и сб. «Рассказы». М., «Советский писатель», 1963, вошел под названием «Авдокея».

Печатается по тексту: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

Подкова. — Впервые в газете «Петроградская правда», 1922, № 255, 12 ноября (приложение — «Литературная неделя», № 23) с эпиграфом:

«И садился опять на бурушку косматого
И поехал во сторону во сиверну».

(Былина)

Включался в кн.: «Седьмой берег. Рассказы». М. — Пг, «Круг», 1922; «Седьмой берег», изд. 2-е дополненное. М. — Пг., «Круг», 1923; «Рассказы». М., «Круг», [1923]. При включении в кн.: «Повести, рассказы, воспоминания». М., «Советский писатель», 1952, рассказ подвергся большой стилистической правке и сокращению. Хотя при этом рассказ лишился ряда колоритных описаний и живых диалогов, он приобрел больший лаконизм и динамичность, столь необходимые новелле. В новой редакции вошел в кн.: «Избранные произведения» в 2-х томах, т. 1. М., Гослитиздат, 1954; 2-е собр. соч. (т. 3, 1959); в кн. «Военные рассказы и очерки». М., Воениздат, 1960; «Рассказы». М., «Советский писатель», 1963; «Избранное» в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

Рассказы 1923—1925 годов (между циклами «Седьмой берег» и «Тайное тайных») Иванов чаще всего называл «Экзотическими рассказами». Границы и состав этого цикла более расплывчаты, чем двух названных выше, да и само определение «цикл» приложимо куда более условно к ним, чем к рассказам, написанным раньше и позже.

Начало работы иад «Экзотическими рассказами» совпало с переездом писателя из Петрограда в Москву (1923 г.), когда, по словам Иванова, «начинается бешенство творчества» (Архив Вс. Иванова). Рассказы рождаются один за другим с редкой даже для него интенсивностью.

Появление ряда «Экзотических рассказов» связано с замыслом Иванова создать книгу под условным названием «Сладко-печальный мед жизни». «Собственно книги под таким названием у меня нет, — писал Иванов в «Истории моих книг». Но много рассказов: «На вершине Эльбруса», «Дыхание пустыни», повести «Хабу» и «Возвращение Будды» — я отнес бы к этому туманному, многозначительному, цветистому и по-своему красивому циклу <...>».

Экзотические рассказы не были собраны в одной книге, а включались в целый ряд сборников. Самые значительные из них: [«Избранное» в 2-х томах], т. 2. М., Мосполиграф, 1924 («Возвращение Будды». Рассказы»); «Экзотические рассказы». Харьков, Госиздат Украины, 1925; «Гафир и Мариам. Рассказы и повести». М. — Л., «Круг», [1926]; «Пустыня Тууб-Коя. Рассказы». М. — Л., «Московский рабочий», 1926; «Дыхание пустыни. Рассказы». Л., «Прибой», 1927.

В этих сборниках печатались опубликованные ранее в газетах и журналах рассказы: «Долг», «Лощина Кара-Сор», «Заповедник», «Операция под Бритчино», «Как создаются курганы», «Атаман из Семипалатинска», «Нежинские огурцы», «Чудо актера Смирнова»,

«Ферганский хлопок», «Циклон», «Садовник эмира Бухарского», «Когда я был факиром», «Встреча», «Происшествие на реке Тун», «Орлёное время», «Гафир и Мариам», «Жиры», «Денежный ящик», «Обсерватория», «Последнее выступление факира Бен-Али-Бея», «Крысы», «Зверье», «Шестнадцатое наслаждение эмира», «Оазис Шехр-и-Себс», «Рассказы на вершине Эльбруса» («Об умном муже и глупой жене», «Правдивая история о проводнике Мешади», «Мудрый Омар») и другие.

«Экзотические рассказы» воплотили в себе многообразие и разнонаправленность идейно-стилевых поисков Иванова середины 20-х годов, периода, который может быть оценен как «переходный» от одной манеры к другой.

«...Эта книга, отразившая в своем названии не только и, может быть, не столько затейливую вязь стилевых исканий, сколько причудливость, необычность социального рисунка, вычерченного в ее рассказах, являет собой факт немаловажный в творческой биографии художника», — замечает Н. А. Грознова в кн. «Русский советский рассказ. Очерки истории жанра» (Л., «Наука», 1970, с. 128).

«Почему я назвал книгу «Экзотические рассказы»? — писал Иванов в «Истории моих книг». — Из озорства, главным образом. Ничего в ней экзотического не было, это были преимущественно рассказы о гражданской войне, быть может, написанные немножко цветистым слогом и чуть-чуть, пожалуй, перегруженные метафорами».

Но, вопреки словам писателя, можно увидеть в этом названии свой смысл. Иванова — автора «Экзотических рассказов» — притягивали такие явления жизни, которые сконцентрировали в себе самое необычайное, напряженно драматическое и прекрасное существо революционного времени. А ведь необычайность в любом ее выражении идет рядом с экзотикой. Примечательна фраза Иванова из письма Горькому от 28 октября 1927 года о том, что «русскому писателю не быть сейчас экзотичным — трудно» («Переписка с Горьким», с. 47).

«Экзотические рассказы» продемонстрировали рост мастерства Иванова-новеллиста. Горький писал Иванову в сентябре 1925 года:

«Читаю Ваши рассказы в «Кр[асной] н[ови]» и нахожу, что 〈...〉 Вы стали писать лучше. Крепче, экономнее в словах, пластичнее. Местами — бунинское мастерство, но без его сухости и кокетства отточенностью фразы, часто — обездушенной ради красивости» («Переписка с Горьким», с. 27).

Оценивая рассказы Иванова 1925 года, Д. Горбов утверждал: «Экзотические рассказы» Вс. Иванова (с присоединением к ним рассказа «Пустыня Тууб-Коя») в большинстве случаев представляют из себя крепко сделанные, мастерски развернутые, тонко словесно обработанные степные легенды или действительные случаи, превращенные

в степную легенду, в манере своеобразно, по-ивановски, преломленного песенного эпического сказа. В большинстве случаев они свидетельствуют о силе его мастерства» (Д. Горбов. Итоги литературного года. — «Новый мир», 1925, № 12, с. 142).

Но «Экзотические рассказы» несут на себе и отпечаток некоторой незавершенности, иногда торопливости творческого поиска. Экспериментальный характер новеллистики оборачивался подчас и подражательностью, и художественной непоследовательностью. Тематическая и жанровая экстенсивность поиска иногда развивалась в ущерб его глубинной интенсивности. Сам Иванов не случайно в письме Горькому от 7 октября 1925 года выражал неудовлетворенность этой работой («Переписка с Горьким», с. 29).

Долг. — Впервые «Красная новь», 1923, № 5. По тексту журнала печатался в кн. [«Избранное» в 2-х томах], т. 2, Мосполиграф, 1924 («Возвращение Будды» Рассказы»);« Когда расцветает сосна. Рассказы и сказки», М., «Огонек», 1925; «Избранное». Харьков, «Пролетарий», 1927. При включении в 1-е собр. соч. (т. I, 1928) серьезно стилистически редактировался, в новой редакции печатался в кн.: «Повести великих лет». М., «Федерация», 1932, во 2-м собр. соч. (т. 3, 1959), в последнем с небольшой стилистической правкой.

В рассказе критика уловила новые элементы в ивановской художественной системе. В. Шкловский писал: «Всеволод (еще ранее. — *Е. К.*) показал умение строить сюжет и понимать иронию художественного построения ⟨...⟩. В этой вещи сюжетная форма блестяще мотивирована» (В. Шкловский. Современники и синхронисты. — «Русский современник», 1924, кн. 3, с. 235—237).

Печатается по тексту: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1959.

Лощина Кара-Сор. — Впервые «Красный журнал для всех», 1924, № 7. Под названием «Егорка Хвощ» в журнале «Военный вестник», 1926, № 26 (с небольшим сокращением). Отдельное издание: Вс. Иванов. Егорка Хвощ. Рассказ. Харьков — Москва, «Коммунист», 1925. Включался в кн. «Экзотические рассказы». Харьков, Госиздат Украины, 1925; «Пустыня Тууб-Коя. Рассказы». М. — Л., «Московский рабочий», 1926 (с посвящением К. Федину); «Как создаются курганы. Рассказы». Л., «Прибой», 1926; «Избранное» [в 2-х томах], т. I. М., Гослитиздат, 1937. Вошел в 1-е (т. 2, 1928) и 2-е собр. соч. (т. 3, 1959), при включении в которое стилистически правился.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1958.

Крепкие печати. — Впервые «Красный журнал», 1924, № 3.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1958.

Заповедник. — Впервые в кн. «Недра», литер.-худож. сборник, кн. 3. М., 1924, с эпиграфом: «Я принес тебе гостинец, и гостинец непростой». Датировано: Ялта, август 1923 г.

Отдельное издание: Вс. Иванов. Заповедник. Харьков — Москва, «Коммунист», 1925. Включался в [«Избранное» в 2-х томах], т. 2. М., Мосполиграф, 1924 («Возвращение Будды». Рассказы»). При включении в 1-е собр. соч. (т. 2, 1928) подвергся правке, преследовавшей цель несколько сократить рассказ, прояснить его фабулу. В новой редакции печатался в «Избранном» [в 2-х томах], т. 1. М., Гослитиздат, 1937, во 2-м собр. соч. (т. 3, 1959), кн.: «Рассказы». М., «Советский писатель», 1963.

В прессе рассказ сразу по публикации получил высокую оценку: «Рассказ насыщен полноценной силой молодости, здоровья, физической (без малейшей эротической тени) радостью любви, крепостью взрытого чернозема, ароматом солнечных морских ветров 〈...〉. И чувствуется в рассказе простая красота свободной художественной речи. Мягко, как волны, лунной зыбью забросанная вязью образов. Талантливый рассказ» (Н. Смирнов. По журналам и альманахам. — «Известия», 1924, № 46, 24 февраля).

В рецензии на произведения, включенные во 2-й том «Избранного» Иванова (1924), рассказ «Заповедник» отмечался как лучший («Книгоноша», 1924, № 30, с. 9).

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Рассказы. «Советский писатель», 1963.

Жиры. — Впервые «Пламя» (Харьков), 1924, № 16, под названием «Жиры и товарищ Лапушкин», затем под названием «Воздушные пути» в журнале «Своими путями» (Прага), 1926, № 6—7. Впервые под названием «Жиры» в кн.: «Пустыня Тууб-Коя. Рассказы». М. — Л., «Московский рабочий», 1926. Включался во 2-е собр. соч. (т. 3, 1959); кн. «Хмель. Сибирские рассказы 1917—1962 гг.». М., «Молодая гвардия», 1963.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1959.

Садовник эмира Бухарского. — Впервые «Красный журнал для всех», 1925, № 1. Датировано: Ялта, июнь 1923. Включался в кн.: «Экзотические рассказы». Харьков, Госиздат Украины, 1925; во 2-е собр. соч. (т. 3, 1958). При последнем издании подвергся переработке, не отличающейся последовательностью. В итоге рассказ утерял цельность, в его стилевой ткани и в самом содержании обнаружились противоречия.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Экзотические рассказы. Харьков, Госиздат Украины, 1925.

Денежный ящик. — Впервые в газете «Известия Одесского Губисполкома, Губкома КП(б)У и Губпрофсовета», 1925, № 1560, 14 февраля, под названием «Снега», с эпиграфом: «Март, апрель, май, июнь — вино в бочках сушит, июль, август, сентябрь, октябрь — хозяина крушит» (Пословица)», затем «Красный журнал для всех», 1925, № 3; одновременно «Военный вестник», 1925, № 15—16 под тем же названием. Впервые под названием «Денежный ящик» в кн. «Пустыня Тууб-Коя. Рассказы». М. — Л., «Московский рабочий», 1926. Включался во 2-е собр. соч. (т. 3, 1959), где подвергся стилистической правке и небольшому сокращению.

Печатается по тексту: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1959.

Встреча. — Впервые «Красная газета» (веч. вып.), 1925, № 44, 21 февраля, под названием «Вечер»; одновременно «Шквал», 1925, № 12, под названием «Вечер. Из рассказов о себе». Впервые под названием «Встреча» в 1-м собр. соч. (т. 2, 1928). Включался в кн.: «Гафир и Мариам. Рассказы и повести». М.— Л., «Круг» [1926]; «Повести великих лет». М., «Федерация», 1932.

При включении в «Избранное» [в 2-х томах], М., Гослитиздат, 1937, рассказ был сильно сокращен и подвергнут значительной стилистической правке, в итоге уподобился отрывку, утерявшему языковую яркость, свойственную новелле. В новой редакции рассказ печатался во 2-м собр. соч. (т. 3, 1959), кн.: «Военные рассказы и очерки». М., Воениздат, 1960 и др. изд.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 2. М., Госиздат, 1928.

Гафир и Мариам. — Впервые «30 дней», 1925, № 9; отрывок: «Комсомольская правда», 1925, 13 сентября. В архиве Вс. Иванова сохранилась такая запись: «...по предложению «Правды» ездил в агит-облет на первых советских самолетах по маршруту: ...Москва — Царицын — Астрахань — Гурьев, Уральск — Оренбург — Москва. Агит-облет был очень интересным, яркие сцены наполнили мою голову 〈...〉 Я написал несколько рассказов о виденном: «Яицкие притчи», «Гафир и Мариам».

Включался в кн.: «Гафир и Мариам. Рассказы и повести». М. — Л., «Круг» [1926]; «Рассказы», «Советский писатель», 1963; в 1-е собр. соч. (т. 2, 1928); 2-е собр. соч. (т. 3, 1959).

В рецензии на сб. «Гафир и Мариам» (1926) отмечалось возросшее мастерство Иванова, проявившееся в книге в целом и в рассказе «Гафир и Мариам», в частности: «При чтении прежних его (Иванова. — *Е. К.*) вещей представлялось, что Вс. Иванов берет больше природной своей сырой талантливостью, больше натурой, чем мастерством. В настоящем сборнике ряд моментов свидетельствует уже о другом — о рассчитанном мастерстве 〈...〉.

Мастерски написанный рассказ «Гафир и Мариам» почти не дает промахов, ни натяжки, причем в этом рассказе Ивановым мобилизовано не только изобразительное, но и композиционное его мастерство. Превосходен здесь (да и в других рассказах) диалог, особенно — ночной разговор Тата с Маймулдой» («Красная новь», 1926, № 4, с. 229—230).

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

Когда я был факиром. — Впервые «Красная нива», 1925, № 39. Включался в кн.: «Бразильская любовь». М., «Огонек», 1926; «Гафир и Мариам. Рассказы и повести». М. — Л., «Круг», [1926]; «Последнее выступление факира Бен-Али-Бея». Рассказы». М. — Л., Госиздат, 1927; в 1-е собр. соч. (т. 2, 1928) и 2-е (т. 3, 1959).

Рассказ, как и «Последнее выступление факира», носит автобиографический характер, о чем Иванов говорил неоднократно. В одной из первых автобиографических заметок он, в частности, писал: «С 14 лет начал шляться. Был пять лет типографским наборщиком, матросом, клоуном и факиром — «дервиш Бен-Али-Бей» (глотал шпаги, прокалывался булавками, прыгал через ножи и факелы, фокусы показывал); ходил по Томску с шарманкой; актерствовал в ярмарочных балаганах, куплетистом в цирках, даже борцом» («Литературные записки», 1922, № 3, с. 26).

Печатается по тексту: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1959.

Последнее выступление факира. — Впервые «Прожектор», 1926, № 18—19; отрывок «Красная газета», 1926, 7, 12, 15 августа (под названием «Дуэн-Хэ»). В основе — переработанная дореволюционная новелла «Дуэн-Хэ, борец из Тибета». Включался в сб. «Дыхание пустыни. Рассказы». Л., «Прибой», 1927; «Последнее выступление факира Бен-Али-Бея. Рассказы». М. — Л., 1927; в 1-е собр. соч. (т. 2, 1928); 2-е собр. соч. (т. 3, 1959).

Печатается по тексту: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1959.

Оазис Шехр-и-Себс.— Впервые «Заря востока», 1926, 9 июня, под названием «Могила подле кишлака Шехр-и-Себс», «Уральский рабочий», 1926, 10 июня под названием «Дыхание пустыни». Под названием «Оазис Шехр-и-Себс» впервые в «Красной нови», 1926, № 8. Включался в кн.: «Дыхание пустыни». Рассказы». Л., «Прибой», 1927; «Последнее выступление факира Бен-Али-Бея. Рассказы». М. — Л., Госиздат, 1927; «Избранные сочинения 1920—1930 гг.», М. — Л., Гослитиздат, 1931; «Повести великих лет». М., «Федерация», 1932; 1-е (т. 2, 1928) и 2-е (т. 3, 1959) собр. соч.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1959.

З в е р ь е. — Впервые «Красная газета» (веч. вып.), 1926, 31 октября, под названием «Верблюды», с эпиграфом «Пространство между нами увеличивается, но преданность моя не уменьшается» (Переписка)»; одновременно — «Красная нива», 1926, № 45, под названием «Станция Ояш». Впервые под названием «Зверье» в кн.: «Дыхание пустыни. Рассказы». Л., «Прибой», 1927. Включался в книги «Избранное» [в 2-х томах], т. 2. М., Гослитиздат, 1938; в 1-е собр. соч. (т. 3, 1928). При включении во 2-е собр. соч. (т. 3, 1959) подвергся правке (сокращения, небольшие дополнения). В новой редакции вошел в кн.: «Рассказы». М., «Советский писатель», 1963.

Печатается по тексту издания: Вс. И в а н о в. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

О б с е р в а т о р и я. — Впервые в кн.: «Пустыня Тууб-Коя. Рассказы». М. — Л., «Московский рабочий», 1926.

Печатается по тексту книги.

Группа рассказов Вс. Иванова, получившая известность как «Тайное тайных», писалась в 1925—1927 годах. Необходимо разграничивать два историко-литературных понятия. Первое — «Тайное тайных» как новеллистическая художественная система, в орбиту которой стягиваются почти все рассказы второй половины 20-х годов (именно такое понятие фигурирует в суждениях о «Тайное тайных» самого Иванова) и собственно цикл «Тайное тайных» (довольно небольшой), включающий новеллы о деревне средины 20-х годов, отличающиеся острой драматической фабулой: «Плодородие», «Жизнь Смокотинина», «Полынья», «Ночь», «Поле», «Счастье епископа Валентина», «Блаженный Ананий». Этот цикл количественно не совпадает со сборником «Тайное тайных» (М. — Л., Госиздат, 1927), куда вошли рассказы «Пустыня Тууб-Коя», «Смерть Сапеги», «Яицкие притчи», посвященные гражданской войне, которые, с одной стороны, продолжали в художественном плане линию «Экзотических рассказов», с другой — были близки деревенским рассказам, а также повесть «Бегствующий остров». «Тайное тайных» как деревенский цикл непосредственно перекликается с созданными в это же время циклами о крестьянской жизни К. Федина («Трансвааль», 1927) и Л. Леонова («Необыкновенные рассказы о мужиках», 1927—1928).

Формула «тайное тайных» как лейтмотив цикла и его название впервые прозвучала в первоначальном (газетном) названии рассказа «Жизнь Смокотинина», позднее повторилась в тексте рассказа «Счастье епископа Валентина».

Работу над «Тайное тайных» Иванов считал «главнейшим трудом в области рассказа» (Архив Вс. Иванова).

Создавая новеллы циклов «Седьмой берег» и «Экзотические рассказы», писатель стремился воплотить в искусстве вздыбленную рево-

люцией жизнь в ее многочисленных и ярких проявлениях. Он искал и экспериментировал, используя приемы орнаментальной прозы и иных направлений в современной ему литературе. «Тайное тайных» было новым этапом в его творчестве. Здесь художник, имея в виду конкретные эстетические задачи, намеревался идти «главным образом внутрь формы» («Вечерняя Москва», 1929, № 99, 27 апреля). Связывая цикл с «переходом к серьезной работе» (Архив Вс. Иванова), не раз противопоставлял его «Экзотическим рассказам».

В архивных записях Иванова читаем о «Тайное тайных»: «Мой сборник был своеобразной лабораторией исканий в области стиля. Я хотел выработать стиль ясной простоты с сохранением внимания к образной детали и строгим отбором образных ассоциаций, подчеркивающих психологическую углубленность рассказа. «Тайное тайных» преследовал меня, я писал, отказавшись от всех своих прежних средств, которые применял в книгах «Седьмой берег», «Дыхание пустыни», «Экзотические рассказы», «Пустыня Тууб-Коя». Я старался даже скупее пользоваться сокровищницей народного языка».

Разумеется, стиль рассматривался писателем как один из компонентов целостной идейно-эстетической системы, каковой была его новелла. В «Тайное тайных» претерпевала изменения вся эта система, настраивающаяся на новые задачи, диктуемые временем.

Известно, что в литературе средины 20-х годов как самая насущная потребность ощущалась психологическая разработка личности. Лозунгом времени стало требование «создать живого человека в литературе».

В докладе на Первом Всесоюзном съезде пролетарских писателей (1928 г.) А. Фадеев критиковал «схематизм ‹...›, который господствовал и еще далеко не изжит в нашей пролетарской литературе». Он призывал писателей «показывать людей во плоти и крови ‹...›, во всей их сложности и многообразии (А. Фадеев. За тридцать лет. Избранные статьи, речи и письма о литературе и искусстве. М., «Советский писатель», 1957, с. 14).

Реабилитация психологизма была тяжелым и длительным процессом, вызвавшим полемику различных литературных группировок того времени. А. Воронский, который в 1922 году с удовлетворением констатировал, что «в душных рамках психологизма читателя уже не держат», в 1923 году выступает со статьей «Искусство как познание жизни и современность» («Красная новь», 1923, № 5), в которой провозглашает принцип создания живого человека в литературе. Позднее этот лозунг (без ссылки на источник) подхватили теоретики РАППа, схематизируя и примитивизируя плодотворное в своей основе требование времени. (См., напр.: Ю. Либединский. Реалистический показ личности как очередная задача пролетарской литературы. — «На литературном посту», 1927, № 1; А. Зонин. Про-

летарский реализм. — «На литературном посту», 1927, № 7—8; В. Ермилов. Проблема живого человека в современной литературе и «Вор» Л. Леонова. — «На литературном посту», 1927, № 5—6).

Как прямолинейный ответ на «заказ эпохи» появились псевдопсихологические персонажи романов «Наталья Тарпова» С. Семенова, «Преступление Мартына» В. Бахметьева, «Рождение героя» (Ю. Либединского). Подлинные же произведения искусства были созданы художниками, обратившимися к классической традиции. Большинство из них пошло за Л. Н. Толстым А. Фадеев — «Разгром» или Ф. М. Достоевским (Л. Леонов — «Вор», К. Федин — «Братья»).

Иванов не только опирался на менее авторитетные традиции — «Я шел больше по линии Бунина, чем по линии Толстого и Достоевского» (Архив Вс. Иванова), он решился стать первооткрывателем, избрав смелый, экспериментальный путь поисков глубинного раскрытия души своих героев, а известно, что эксперимент, как правило, сопровождается издержками. Специфичность художественных средств, избранных Ивановым, во многом диктовалась особенностями духовной жизни персонажей его новелл. Иванов писал в конце жизни: «В этой книге хотел и смог описать душу самых простых людей, всю сложность их мыслей, всю ясность — для них самих неясной — трагедии. Ясна ли для Смокотинина его любовь! Любовь эту он считает колдовством. Ясно ли для наборщика в рассказе «Литера «Т», что с ним произошло, раз он прозрел? Нет, неясно. Их смутно влечет тайное туманное сознание, что они увлечены огромным потоком. Они стараются оглядеться, понять, и кто знает, не является ли это состояние духа иногда самым величайшим счастьем. Такие «тайны» ⟨для людей⟩ есть во всех слоях общества. Что это — отсутствие культуры, интеллекта. Но дает ли окончание университета способность рассказывать обо всем, что терзает тебя, даже самому себе? Ущербность ли это? Не думаю.

Человек не откровенен ⟨...⟩. Люди лгут, говоря, что они откровенны. А им надо сказать, что они скрытны и что это нехорошо. Надо показать им обстоятельства, создавая вокруг этих скрытных людей наивозможнейшую реальность. Я постарался это и сделать в «Тайное тайных» (Архив Вс. Иванова).

Новаторский, этапный характер этих произведений сразу почувствовал А. М. Горький, внимательно читавший все ивановские рассказы 1926 года. 30 января 1927 года он писал Иванову: «Я очень высоко ценю Вас, очень хорошо чувствую Вашу «внутреннюю насыщенность», как Вы говорите, знаю, что Вы большой русский писатель, и уверен, что скоро Вы найдете себя. Шаг, сделанный Вами от «Голубых песков» — повторяю — очень крупный шаг. Сергееву-Ценскому потребовалось почти двадцать лет для того, чтобы уйти от себя и написать «Валю» («Преображение»). Вы превосходно поссо-

рились с самим собой через два-три года. Это замечательно» («Переписка с Горьким», с. 43).

В письмах к И. Груздеву конца 1926 — начала 1927 годов Горький, отзываясь на упоминание Груздевым Иванова: «А писатель он отличный. Его небольшие рассказы мне все больше и больше нравятся 〈...〉», замечает: «Он стал писать превосходно. На днях я его очень хвалил за последние рассказы» (см. комментарий к рассказу «На покой». — *Е. К.*) 〈...〉. «Как хорошо выпрямляется Вс. Иванов!» («Архив А. М. Горького», т. XI. М., «Наука», 1966, с. 95, 98, 117).

15 декабря 1926 года Горький в письме Л. И. Гумилевскому советовал: «Писать надобно гуще. Вот посмотрите, как прекрасно стал писать Всеволод Иванов, раньше такой несдержанный в словах» («Литературное наследство», т. 70, с. 148).

В статьях таких критиков 20-х годов, как А. Воронский и А. Лежнев, эстетические результаты «ссоры Иванова с самим собой» получили достаточно глубокое толкование. Известно, что оба критика, активные участники литературной полемики второй половины 20-х годов, в оценке явлений литературы отдавали дань групповым пристрастиям, однако время показало, что их суждения о конкретных произведениях Вс. Иванова в главном отличают объективность, стремление уяснить идейно-стилевое своеобразие книг талантливого писателя. В статье, названной «Путь к человеку (о последних произведениях Всев. Иванова)», А. Лежнев писал: «На наших глазах этот большой и твердо определившийся писатель начинает коренную ломку своей манеры, своего стиля, своего подхода к миру 〈...〉 Изменяются основные его свойства: Всев. Иванов превращается в иного, в нового писателя». Этот перелом связан, по Лежневу, с тем, что «человек (в книгах Иванова. — *Е. К.*) ставится во весь рост. Если раньше автор подходил к нему извне, то теперь он старается дать его изнутри, обнаружить «тайное тайных» его существа. И на этом пути к человеку много из прежнего арсенала его поэтических средств оказывается лишним. Он отбрасывает удивительную свою декоративную и орнаментальную пышность, свое изощренное и чрезмерное богатство красок и оттенков. Его фраза становится проста и обнаженна. Он рассказывает простыми словами о простых вещах. Конструкция его вещей ясна и определенна» («Прожектор», 1927, № 3, с. 22).

А. Воронский в книге Иванова увидел свидетельство «наступающей зрелости нашей современной советской литературы». «Книга «Тайное тайных»,— писал он,— говорит о добротном, о зреющем мастерстве писателя. Всеволод Иванов находит простоту, которая дается очень непросто 〈...〉 Сюжет и фабула в произведениях Всеволода Иванова никогда не были шаблонны, но далеко не всегда художник достигал в них завершенности, стройности, четкости и пропорциональности. И с этой стороны писатель приобрел истинный

опыт и развил в себе чувство меры». И далее, стремясь выяснить, откуда в новых рассказах Иванова явилась тоска и горечь, он пишет: «Всеволод Иванов рассказывает о господстве, о неограниченной власти над человеком первоначальной жизненной стихии ⟨...⟩ всюду у Всеволода Иванова в этом сборнике рассказов человек целиком «у жизни в лапах». Он живет инстинктивно. Он не управляет, а управляем, он не преодолевает, а покоряется ⟨...⟩». Критик видел жизненность ивановских героев, подчеркивал объективную основу драм, происходящих с ними: «Между творческим началом человека и косной, огромной, космической, неорганизованной, слепой стихией жизни есть глубокое неизжитое противоречие. Это противоречие поднимает нередко жизнь человека на высоту подлинной трагедии. Этой трагедией окрашен весь поступательный ход истории человека на земле. Всеволод Иванов ощутил, нащупал, осязал это противоречие, но он не находит *пока*, не видит пока, как *диалектически* в историческом процессе разрешается это противоречие» (А. Воронский. О книге Всеволода Иванова «Тайное тайных». — «Ленинградская правда», 1926, № 282, 5 декабря).

Это же самое, почти в тех же самых словах высказал В. Евгеньев-Максимов: «Последняя книга Вс. Иванова «Тайное тайных» свидетельствует о зреющем мастерстве писателя, о переходе его к глубоким и «вечным» темам, главным образом, к теме о тех «тайнах», коренящихся в инстинктах, пружинах, которые управляют действиями человека. Но, с другой стороны, эта же книга говорит об ослаблении той оптимистической струи, той жизнерадостности, которые столь характерны для ранних произведений Вс. Иванова» (В. Евгеньев-Максимов. Очерк истории новейшей русской литературы. М. — Л. Госиздат, 1927, с. 270—271).

Избранная Ивановым в «Тайное тайных» сугубо объективная манера повествования, особые приемы психологической характеристики углубляли впечатление «особости», «закрытости» мира «Тайного тайных». Иванов сознательно и последовательно избегал в этой книге открытого авторского суда, отказывался от какого-либо комментирования событий. Это очень тонко подметил А. Лежнев в упомянутой выше статье: «Несмотря на свою видимую ясность, новые вещи Всев. Иванова не сразу раскрываются читателю ⟨...⟩. И Всев. Иванов часто не договаривает, старается дать понять о том, что происходит в его героях намеком. Он боится нарушить правду этих сильных и смутных чувств чрезмерной договоренностью» («Прожектор», 1927, № 3, с. 22).

В рецензиях на «Тайное тайных», опубликованных в «Комсомольской правде» (1927, 6 февраля, автор Мих. Рудерман), «Звезде» (1927, № 3, автор Н. Беленький) и «Молодой гвардии» (1927, № 4, автор И. Нович) высказывались оценки, близкие суждениям

А. Лежнева и А. Воронского. Отмечался «огромный художественный рост Всеволода Иванова», в особенности его мастерства как психолога, подчеркивалось своеобразие персонажей, в которых Иванов «с равной художественной силой показывает биологическую и идеологическую сторону характера».

Своеобразие проблематики и формы новых ивановских рассказов не было понято, извращено рапповской критикой. Иванов в «Истории моих книг» так вспоминал реакцию рапповских журналов на его книгу: «Мне никак не представлялось, что «Тайное тайных» вызовет целый поток газетных статей, что меня обвинят во фрейдизме, бергсонианстве, солипсизме, проповеди бессознательного и что вскоре, глядя на обложку книги, где были нарисованы почему-то скачущие всадники, я буду с тоской думать: «Не от меня ли мчатся мои герои?» ⟨...⟩ меня очень огорчала резкая критика «Тайного тайных» в нашей печати».

Действительно, появился ряд статей-рецензий, авторы которых, игнорируя особую художественную структуру ивановских новелл, отождествляли философию Иванова с «философией» его героев, предъявляя ему обвинения идеологического порядка, упрекая Иванова в искажении действительности, субъективизме при характеристике персонажей (см. к примеру: И. Гроссман-Рощин. Без мотивов и без цели. — «На литературном посту», 1928, № 20—21; Ж. Эльсберг. Творчество Всеволода Иванова. — «На литературном посту», 1927, № 19, и другие).

Ответом на эти упреки прозвучало заявление одного из авторитетных ученых той поры, обычно в оценках литературных явлений современности близкого критике РАППа, В. Фриче о верности Иванова правде жизни, правде избранного им человеческого характера: «Если автор книг «Тайное тайных» Вс. Иванов рисует человека, ⟨...⟩ одержимым бессознанием и совершающим под его властью странные иррациональные поступки, то он совершенно прав, так поступая, ибо его человек стоит близко к природе (крестьянин), одержим природой, и в нем «биология», эта сознанием неорганизованная часть психики, естественно играет доминирующую роль» (В. Фриче. В защиту «рационалистического» изображения человека. — «Красная новь», 1928, 1, с. 243).

Оглядываясь на свой сорокалетний путь в искусстве, Иванов писал: «Я считаю «Тайное тайных» пожалуй что лучшей моей книгой» (Архив Вс. Иванова).

Современные исследователи, оценивая споры вокруг «Тайное тайных», пишут: «Рапповская критика, в 20-е годы подвергавшая нападкам «Тайное тайных», не заметила ни крупного плана в изображении человеческих чувств, что было тогда редкостью, ни того, что — при всех оговорках — в этих рассказах заявлял о себе ранний психо-

логизм новой литературы» (Г. А. Белая, Н. С. Павлова. Диалектика сознательного и подсознательного в концепциях человека (Из опыта немецкой и советской литератур).— В кн.: «Советская литература и мировой литературный процесс. Изображение человека». М., «Наука», 1972, с. 138).

В. В. Бузник, один из авторов главы «Рассказ второй половины 20-х годов» в кн. «Русский советский рассказ. Очерки истории жанра» (Л., «Наука», 1970), рассматривает «Тайное тайных» в контексте идейно-стилевых исканий литературы средины 20-х годов, в частности психологических исканий. Источник уязвимости Вс. Иванова автор видит «в позиции новеллиста, увлекающегося и в споре с противником прибегающего к преувеличениям». Но время выявило прежде всего перспективность исканий автора «Тайного тайных»: «Постановка Вс. Ивановым нравственно-психологических проблем по-своему восполнила пробел в литературе 20-х годов, которой не хватало «философии, переведенной на язык образов» 〈...〉 Определенно положительный смысл в развитии молодого искусства Октября имел и биосоциальный угол зрения писателя на жизнь. «Тайное тайных» спорило с односторонне-рассудочными представлениями о новой действительности и ее героях, которые к тому времени начали в угрожающе большом количестве всплывать на поверхность литературного потока, поддерживаемые «теоретиками» ЛЕФа, РАППа 〈...〉 С выходом «Тайного тайных» в творчестве Вс. Иванова была преодолена инерция героико-романтического метода изображения новой действительности, без чего не могло бы происходить дальнейшее развитие этого писателя, как, впрочем, и советской литературы в целом. Таким образом, несмотря на все издержки, творческий эксперимент оказался плодотворным» (с. 266—269).

Пустыня Тууб-Коя.— Впервые альманах «Круг», кн. 4. М., 1925. Включался в кн.: «Происшествие на реке Тун. Рассказы». М.— Л., Госиздат, 1926 (2-е изд., 1927); «Пустыня Тууб-Коя. Рассказы», «Московский рабочий», 1926; «Тайное тайных. Рассказы». М.— Л., Госиздат [1927]; «Избранные сочинения 1920—1930 гг.». М.— Л., Гослитиздат, 1931; «Избранное [в 2-х томах], т. I. М., Гослитиздат, 1937; вошел в 1-е (т. 3, 1928) и 2-е (т. 3, 1959) собр. соч., в «Избранное», в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

При включении во второе собрание сочинений рассказ был переделан, при этом переделка не носила последовательного характера, нарушилась эстетическая и идейная цельность произведения.

В отзывах на публикацию рассказа в альманахе «Круг» отмечалась связь этого нового рассказа с ранними ивановскими (партизанскими) вещами. О «Пустыне Тууб-Коя» писали как об одном из «лучших произведений в старой манере 〈...〉. Как и в прежних вещах

Иванова, взята здесь гражданская война, партизаны и краски нерусской пустынной природы. Эффект рассказа в контрасте драматического напряженного действия и лирически пейзажной оправы» (А. Лежнев. Альманахи и сборники.— «Печать и революция», 1925, кн. 5—6, с. 237). «Рассказ «Пустыня Тууб-Коя» настолько лаконический и виртуозный, что напоминает новеллы Мериме и показывает, как сырой житейский опыт становится материалом искусства» (Сергей Б — ев. Всеволод Иванов. — «Книгоноша», 1926, № 10, с. 5).

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Избранное [в 2-х томах], т. I. М., Гослитиздат, 1937.

Про двух аргамаков.— Впервые «Новый мир», 1926, №1 с подзаголовком «Из яицких притчей».

Включался в кн.: «Тайное тайных. Рассказы». М.— Л., Госиздат, [1927] (в цикле «Яицкие притчи» вместе с рассказом «Про казачку Марфу»); «Повести великих лет». М., «Федерация», 1932; «Избранное» [в 2-х томах], т. I. М., Гослитиздат, 1937 (в составе цикла «Яицкие притчи»).

При включении в кн.: «Повести, рассказы, воспоминания». М., «Советский писатель», 1952, рассказ подвергся стилистической правке. В новой редакции рассказ печатался во 2-м собр. соч. (т. 3, 1959); кн. «Военные рассказы и очерки». М., Воениздат, 1960; «Рассказы». М., «Советский писатель», 1963; «Хмель. Сибирские рассказы 1917—1962 гг.». М., «Молодая гвардия», 1963.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

О казачке Марфе.— Впервые «Новый мир», 1926, № 1, под названием «Про казачку Марфу» с подзаголовком «Из яицких притчей», одновременно — «Шквал», 1926, № 1. Под названием «О казачке Марфе» впервые в 1-м Собр. соч. (т. 2, 1928).

Включался в кн.: «Тайное тайных. Рассказы». М. — Л., Госиздат, [1927] (в цикле «Яицкие притчи» вместе с рассказом «Про двух аргамаков»); «Повести великих лет». М., «Федерация», 1932; «Избранное» [в 2-х томах], т. I. М., Гослитиздат, 1937 (в составе цикла «Яицкие притчи»); во 2-е собр. соч. (т. 3, 1959). При включении в это издание редактировался.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1959.

Плодородие.— «Красная новь», 1926, № I, с посвящением Феде Бугомильскому (старому большевику Давиду Кирилловичу Бугомильскому — издательскому работнику; вошел в кн. «Тайное тайных. Рассказы». М. — Л., Госиздат, [1927]; «Избранное» [в 2-х томах], т. 2, М., Гослитиздат, 1938; «Избранное» в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1968. Включался в 1-е (т. 3, 1928) и 2-е (т. 3, 1959) собр. соч.

При включении рассказа в последнее издание автор подверг его большой правке, фактически переделав. Новая редакция оказалась крайне неудачной: содержание рассказа утеряло логичность, стиль — свое единство; новые «куски» вступали в противоречие со старыми.

«Плодородием» открывался цикл рассказов Иванова 1926 года, составивших костяк «Тайного тайных». Этому рассказу сам Иванов отводил особое место в цикле. 20 декабря 1925 года он писал А. М. Горькому: «Мне бы хотелось, чтобы вы прочли, Алексей Максимович, в январской книжке «Красной нови»—1926 г. — рассказ мой новый «Плодородие». Там все мои последние думы» («Переписка с Горьким», с. 36).

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Избранное [в 2-х томах], т. 2. М., Гослитиздат, 1938.

Поле. — Впервые «Красная нива», 1926, № 5, одновременно «Шквал», Одесса, 1925, № 19 (под названием «Посев»). Включался в кн. «Тайное тайных. Рассказы». М. — Л., Госиздат [1927]; 1-е собр. соч. (т. 3, 1928); «Дикие люди. Рассказы». М., «Academia», 1934; «Избранное» в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Дикие люди. Рассказы. М., «Academia», 1934.

Жизнь Смокотинина.— Впервые «Красная газета», 1926, № 60, 14 марта, под названием «Тайное тайных». Под названием «Жизнь Тимофея Смокотинина, сына подрядчика» — «Красная новь», 1926, № 3; под названием «Щепа» — «Пламя», Харьков, 1926, № 5; под названием «Жизнь Смокотинина» впервые в кн. «Тайное тайных». Рассказы». М. — Л., Госиздат, [1927].

Включался в кн.: «Дикие люди. Рассказы», М., «Academia», 1934. В 1-е (т. 3, 1928) и 2-е собр. соч. (т. 3, 1958), в кн.: «Рассказы». М., «Советский писатель», 1963; «Хмель. Сибирские рассказы 1917—1962 гг.». М., «Молодая гвардия», 1963; «Избранное» в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

Уже сразу по публикации рассказ был оценен как «блестяще сделанная психологическая новелла», как рассказ — «один из наиболее мастерских по построению» («На литературном посту», 1927, № 19, с. 45).

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

Смерть Сапеги.— Впервые «Красная нива», 1926, № 14 под названием «Жизнь Аники Сапеги». Впервые под названием «Смерть Сапеги» в кн. «Бразильская любовь. Рассказы». М., «Огонек», 1926. Вошел в кн.: «Тайное тайных. Рассказы». М. — Л., Госиздат [1927]. При включении в 1-е собр. соч. (т. 2, 1928) редактировался (было

изменено начало рассказа, стилистически незначительно правился весь текст). Вошел в этой редакции в кн. «Хмель. Сибирские рассказы 1917—1962 гг.». М., «Молодая гвардия», 1963; «Избранное» в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 2. М. — Л., Госиздат, 1928.

Полынья.— Впервые «Красная новь», 1926, № 5; одновременно — «Шквал», Одесса, 1926, № 19. Включался в сб.: «Бразильская любовь. Рассказы», «Огонек», 1926; «Тайное тайных Рассказы». М. — Л., Госиздат, [1927]; «Избранное» [в 2-х томах], т. 2. М., Гослитиздат, 1938; 1-е собр. соч. (т. 3, 1928); 2-е собр. соч. (т. 3, 1959); «Избранное» в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1959.

Ночь. — Впервые «Красная новь», 1926, № 6. Включался в кн.: «Тайное тайных. Рассказы.» М. — Л., Госиздат [1927]; 1-е собр. соч. (т. 3, 1928); «Избранное» [в 2-х томах], т. 2; М., Гослитиздат, 1938. «Избранное» в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Избранное [в 2-х томах], т. 2. М., Гослитиздат, 1938.

На покой. — Впервые «Новый мир», 1926, № 12. Включался в кн.: «Дыхание пустыни. Рассказы». Л., «Прибой», 1927; «Избранные сочинения 1920—1930 гг.». М.— Л., Гослитиздат, 1931; «Избранное» в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

Рассказ «На покой» с особой отчетливостью запечатлел в себе все приметы новой ивановской манеры письма, так отличного от письма его первых книг. Именно на это обратил внимание А. М. Горький в развернутом отклике на рассказ (письмо от 13 декабря 1926 года). «Сейчас прочитал в «Нов〈ом〉 мире» рассказ «На покой». Разрешите поздравить: отлично стали Вы писать, сударь мой! Это не значит, что раньше Вы писали плохо, несомненно, что писали Вы хуже. Я не помню, чтоб кто-либо из литераторов моего поколения сделал такой шаг к настоящему мастерству, как это удалось сделать Вам от «Голубых песков» к Вашим последним рассказам. Сейчас вы *изображаете* так, как это делал Ив. Бунин в годы лучших достижений своих — 905—12, когда им были написаны такие вещи, как «Захар Воробьев», «Господин из Сан-Франциско» и прочее. Но мне кажется, что в *пластике* письма Вы шагнули дальше Бунина, да и язык у Вас красочнее его, не говоря о том, что у Вас совершенно отсутствует бунинский холодок и нет намерения щегольнуть холодком этим» («Переписка с Горьким», с. 41).

В рецензии на сб. «Дыхание пустыни», куда был включен рассказ, также отмечалось мастерство Иванова: «Наиболее сильно на-

писан рассказ «На покой». Сжато и сурово Вс. Иванов развертывает в нем любимую им теперь мысль о непонятности человеческих страстей и инстинктов» (К. Локс. О прошлом и современном. — «Комсомольская правда», 1927, № 140, 24 июня).

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Избранные сочинения 1920—1930 гг. М.— Л., Гослитиздат, 1931.

Старик.— Впервые «Уральский рабочий», 1926, № 203, 7 сентября под названием «Простая жизнь», одновременно — «30 дней», 1926, № 9 под названием «Евсей». Впервые под названием «Старик» в кн.: «Дыхание пустыни. Рассказы». Л., «Прибой», 1927. Включался в «Избранное» [в 2-х томах], т. 2. М., Гослитиздат, 1938, 1-е (т. 3, 1928) и 2-е (т. 3, 1959) собр. соч.; кн.: «Рассказы». М., «Советский писатель», 1963; «Избранное» в 2-х томах., т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

Бегствующий остров. — Впервые в кн. «Пролетарий», худож.-литер. альманах, Харьков, «Пролетарий» [1926] с подзаголовком «Рассказ»; отрывки: «Раскольничий гость» — «Молодая гвардия», 1926, № 5 (отрывку предшествовало «Вступление»: «Повесть эту рассказывает автору карманщик и шулер Галкин (потому часто и встречаются вперемежку с раскольничьими словами словечки «блатные»). Во времена Петра I ушли от преследований полиции раскольники-изуверы в сибирскую тайгу, на неприступный Белый Остров. Развели они там пашни, вверху в горах на острове поселились схимники, и сношения с внешним миром имели они через зырян, живших на краю тайги. Зыряне выменивали у раскольников на порох и железо драгоценные меха. Но в революцию негде было купить зырянам пороху и железа — не появились они в обычное время к обычному месту — на холмик к Трем Соснам. Правление Островом переходило из рода в род начетчикам Котельниковым, в годы революции правила старица — киновиарх Александра, и росла у нее тоскующая по миру дочь Саша». «Раскольники в городе» (главы из повести «Бегствующий остров». — «Шквал», 1926, № 13—14; «Галкин рассказывает» (Из повести «Бегствующий остров»)».— «Красная панорама», 1926, № 16.

Вышли два отдельных издания: Вс. Иванов. Бегствующий остров. Повесть. Изд-во писателей в Ленинграде, 1927; Вс. Иванов. Бегствующий остров. М., Госиздат, 1927. Рассказ (повесть) был включен в кн.: «Тайное тайных. Рассказы». М.— Л., Госиздат, [1927], в 1-е собр. соч. (т. 4, 1928).

Издавая в 1933 году роман «Голубые пески» в новой редакции, отдельной книгой, Иванов в качестве третьей его части включил в него «Бегствующий остров» («Васька Запус, или Голубые пески».

Л., Изд-во писателей в Ленинграде). В составе этого романа «Бегствующий остров» переиздавался в 1937 году («Избранное» [в 2-х томах], т. 1. М., Гослитиздат, во 2-м собр. соч. (т. 1, 1958).

В первом томе нашего собрания сочинений помещен роман «Голубые пески» в его первоначальной редакции (1923), поэтому «Бегствующий остров» печатается как самостоятельное произведение.

Рассказ (повесть) «Бегствующий остров» сразу по публикации вызвал живой интерес в критике. Рецензенты писали о нем, как о «повести хрустально ясной, шлифованные грани ее играют радужным светом легенды <...>. В «Бегствующем острове» у Иванова нет путаности, косноязычия и непонятности ни от недогруженности, словесной и образной, ни от перегруженности. Он не спешит, не загоняет в подполье свою экзотику, он дает ей простор и раскрывает ее с чувством меры, поднимая свой язык до пределов струнной выразительности» (С. Пакентрейгер. По следам зверя (Всеволод Иванов). — «Печать и революция», 1927, кн. 3, с. 67).

Наряду с высокой художественностью («быт раскольников, язык, наивная убежденность в силу лозунга — «победим перепрехом» — переданы со свойственной автору живописной размашистой манерой») отмечалась современность идеи: «Только революция способна сдвинуть и пробудить к жизни даже такие законсервированные человеческие массы: об этом сдвиге и рассказано в «Бегствующем острове» (Г Якубовский. «Пролетарий» и «Половодье» (Два новых альманаха). — «Новый мир», 1926, № 11, с. 149).

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 4. М.— Л., Госиздат, 1928.

Бог Матвей. — Впервые «Уральский рабочий», 1927, № 32, 9 февраля, под названием «Испытание»; под названием «Бог Матвей» в «Красной нови», 1927, № 3. Включался в книги «Избранное», Харьков, «Пролетарий», 1927; 1-е собр. соч. (т. 3, 1928), 2-е (т. 3, 1959); «Избранное» в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1959.

Счастье епископа Валентина. — Впервые «Ленинградская правда», 1927, № 42, 20 февр. под названием «Архиерей». Автограф рассказа под этим названием (машинопись) находится в рукописном отделе ИМЛИ им. А. М. Горького (ф. 107, оп. 1, ед. хр. 8). Под названием «Счастье епископа Валентина» впервые «Красная новь», 1927, № 4. Включался в 1-е собр. соч. (т. 3, 1928); «Избранное» в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

Иванову этот рассказ внутри цикла «Тайное тайных» виделся центральным. Не случайно 3-й том 1 собр. соч. был назван «Счастье

епископа Валентина». В книге «Счастье епископа Валентина» современники увидели «самое искреннее свидетельство необыкновенно сложной и напряженной душевной жизни среднего человека, вовлекаемого событиями в революцию» («Прожектор», 1929, № 42, с. 20).

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 3. М. — Л., Госиздат, 1928.

Литера «Т». — Впервые «Известия», 1927, № 60, 13 марта (бесплатное приложение к юбилейному номеру «Известий ЦИК СССР и ВЦИК» — «10 лет Известий») с подзаголовком «Рассказ без абзацев».

Включался в 1-е собр соч. (т. 3, 1928), в кн.: «Избранные сочинения 1920—1930 гг.». М. — Л., Гослитиздат, 1931; «Избранное» [в 2-х томах], т. 2. М., Гослитиздат, 1938.

При включении в кн.: «Повести, рассказы, воспоминания». М., «Советский писатель», 1952 был переработан автором. Переработка обеднила рассказ, упростив его содержание, лишив стилистического блеска. В новой редакции рассказ печатался в кн.: «Избранные произведения» в 2-х томах. М., Гослитиздат, 1954; во 2-м собр. соч. (т. 3, 1958), в кн.: «Рассказы». М., «Советский писатель», 1963.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Избранное [в 2-х томах], т. 2. М., Гослитиздат, 1938.

Пейзаж.— Впервые «Ленинградская правда», 1927, 15 мая (под названием «Утро»), одновременно «Прожектор», 1927, № 13 под названием «Пейзаж».

Включался в 1-е собр. соч., т. 3, 1928; в «Избранное» [в 2-х томах], т. 2. М., Гослитиздат, 1938; «Избранное» в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Избранное [в 2-х томах], т. 2. М., Гослитиздат, 1938.

Сервиз. — Впервые «Красная новь», 1927, № 5, одновременно «Шквал», 1927, № 26. Вошел в кн.: «Избранные сочинения 1920—1930 гг.». М. — Л., Гослитиздат, 1931. «Избранное» [в 2-х томах], т. 2. М., Гослитиздат, 1938; «Рассказы». М., «Советский писатель», 1963; в 1-е собр. соч. (т. 3, 1928) и 2-е (т. 3, 1959); «Избранное» в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

Показательно свидетельство современника появления этого рассказа — Л. Славина: «Рассказ «Сервиз»(...)мы считали шедевров мировой новеллистики» («Всеволод Иванов — писатель и человек». М., «Советский писатель», 1970, с. 159).

Рассказ «Сервиз» воплотил в себе с большой художественной силой тему многих рассказов Иванова второй половины 20-х годов — судьба «маленького человека» в трудных и сложных обстоятельст-

вах смены старого мира новым, в обстоятельствах, стимулирующих и духовные взлеты, и многообразные анекдотические бытовые ситуации..

Специфику этих новелл тонко уловил В. Шкловский в статье-рецензии на выход 2-го тома книги Вс. Иванова «Избранное» [в 2-х томах]. М., Гослитиздат, 1937—1938, где подобные новеллы были представлены более полно, чем в каком-либо другом издании. Шкловский писал: «Люди в этих новеллах живут трудно и вкус жизни для них горек. Но Иванов изображает не горечь жизни, а изменение жизни (...)

Об этих людях человечество должно знать, но не только о них пишет Иванов ⟨...⟩

Мир изменился чрезвычайно. У людей привязанность к старому осталась как любовь к старым вещам, которые являются центрами жизни.

Но люди сами не знают, насколько изменилась их душа. ⟨...⟩

Всеволод Иванов в своих рассказах не искал новых сюжетов, не пытался также просто написать современный рассказ. Он увидел и записал жизнь в ее превращении. Он показал сильных людей, не всегда счастливых. Он показал рост и превращение их.

Рассказы Всеволода Иванова — это рассказы о семенах жизни, рассказы о борьбе нового и старого в душе самого человека, рассказы о том, как человек отказывается — отказывается потому, что он вырос — от давнего чувства собственности ⟨...⟩

Всеволод Иванов в своих вещах исследовал жизнь.

Величайшей заслугой его является то, что, показав тину мелочей, их холодный, раздробленный, повседневный характер, он показал и вдохновение сегодняшнего дня, вдохновение, делающее и слабых сильными тогда, когда они попадают на дорогу времени» (В. Шкловский. Семена жизни. — «Литературная газета», 1939, № 9, 15 февр.).

Фотограф.— Впервые «Смехач», 1927, № 18.

Включался в 1-е собр. соч. (т. 3, 1928); кн. «Избранное» [в 2-х томах] т. 2. М., Гослитиздат, 1938; «Избранное» в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Избранное [в 2-х томах], т. 2. М., Гослитиздат, 1938.

Листья.— Впервые «Новый мир», 1927, № 9.

Включался в 1-е собр. соч. (т. 3, 1928); в кн. «Избранное» [в 2-х томах], т. 2. М., Гослитиздат, 1938; «Избранное» в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Избранное [в 2-х томах], т. 2. М., Гослитиздат, 1938.

Крест благочестия.— Впервые «Чудак», 1928, № 1.

Включался в 1-е собр. соч. (т. 7, 1931), в кн. «Избранное» в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 7. М. — Л., Госиздат, 1931.

Особняк.— Впервые «Журнал для всех», 1928, № 1, с подзаголовком «Повесть». Включался в «Избранное» в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

О судьбе рассказа Иванов писал в «Истории моих книг»: «В манере «Тайного тайных» я написал повесть «Особняк» — о мещанине, тщетно мечтающем победить революцию. Разбогатевший на спекуляциях мошенник возмечтал приобрести собственность и облюбовал понравившийся ему особняк — символ ближайшей победы над большевиками. Правдами и неправдами спекулянт добивается осуществления мечты и, разумеется, терпит крах. Но кое-какие успехи у него были, и эти-то успехи должны служить нам предостережением — таков был смысл повести «Особняк».

Мои намерения были изображены рапповской критикой как гимн мещанству, успешно защищающему свою собственность!»

Ярким примером такой рапповской критики является выступление литературного обозревателя «Комсомольской правды» А. Безыменского, где этот рассказ квалифицировался «как сигнализация нашему классовому врагу». «Пожалуйте, господа хозяйчики. Все готово-с к вашему приходу-с по великолепной-с дороге-с!» («Комсомольская правда», 1928 № 271, 22 ноября). В этом же духе высказывался М. Гельфанд в статье «От «Партизан» к «Особняку». К характеристике одной писательской эволюции», который доказывал «анализом» всего предшествующего творчества Иванова «закономерность» его прихода к «апологии мещанства» («Революция и культура», 1928, № 22). С некоторыми оговорками к рапповской оценке «Особняка» как «реакционной аллегории» присоединился В. Полонский. «Иванов, конечно, не с Чижовым, торжествующим мещанином. Он с мещанством погибающим. В этом смысле Чижов, возвращающийся в свой «особняк»,— ему ненавистен. Но суть в том, что Иванов убежден, что побеждает именно Чижов, мещанин тупой, сытый, довольный и преуспевающий» (В. Полонский. О творчестве Всеволода Иванова.— «Новый мир», 1929, № 1, с. 235).

Ответ критикам, искажающим отношение Вс. Иванова к своему герою — мещанину Чижову, прозвучал со страниц «Журнала для всех»: «...у писателя Вс. Иванова — глубокая, беспощадная ирония, свидетельствующая о сознании писателем силы и неодолимости того революционного класса, под ногами которого вертятся господа Чижовы всех родов и мастей...» Основной пафос «Особняка» трактовался так: «Да, товарищи, автор «Особняка» несомненно сигнализирует, но сигнализирует нам, сигнализирует всему рабочему об-

ществу: смотрите, как устраиваются, растут, поднимаются Ефимы Сидорычи Чижовы!

А они несомненно растут и наглеют, эти Чижовы. Из-за нашего «авось да небось», из-за бюрократизма и волокиты в аппаратах, из-за стремления одних к покою, других к панике,— Ефимы Сидорычи научаются «обманывать власть» (Д. Пажитнов. — Мещанин Чижов и «напостовские» гуси. — «Журнал для всех», 1928, № 4, с. 114).

Печатается по тексту: «Журнал для всех», 1928, № 1.

Подвиг Алексея Чемоданова.— Впервые «Красная новь», 1928, № 2.

В 1928 году Иванов, создавая вторую редакцию романа «Голубые пески», включил в несколько измененном виде этот рассказ в текст новой редакции романа (см. комментарии к 1-му тому нашего собр. соч.) Возвращение в 1-м томе нашего собр. соч. к первой редакции «Голубых песков» дает право на самостоятельное существование этому рассказу.

Печатается по тексту: «Красная новь», 1928, № 2.

Источник взывающего.— Впервые «Красная новь», 1928, № 9.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 7. М.— Л., Госиздат, 1931.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Иванов Вс.

И 20 Собрание сочинений. В восьми томах. Изд. осуществляется под ред. Т. В.Ивановой,А. И. Пузикова и С. В. Сартакова. Т. II. Рассказы 1917—1928. Подгот. текста и коммент. Е. Краснощековой. М., «Худож. лит.», 1974.

632 с.

Во втором томе собрания сочинений помещены рассказы 1917—1928 годов из сборников «Седьмой берег», «Экзотические рассказы», «Тайное тайных». Несмотря на то что эти произведения созданы за сравнительно небольшой срок, в них прослеживается творческий рост писателя, многообразие проблематики и художественной формы. Очень различные по форме и содержанию, они рисуют яркую картину революционных преобразований как на полях гражданской войны, так в городе и деревне.

И $\frac{70302\text{-}006}{028(01)\text{-}74}$ **подписное.** **Р2**

ВСЕВОЛОД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИВАНОВ

Собрание сочинений

Том 2

Редактор *Т. Аверьянова*

Художественный редактор *В. Горячев*

Технический редактор *В. Кулагина*

Корректоры *М. Пастер* и *И. Тереховская*

Сдано в набор 14/IX 1973 г. Подписано к печати 28/V 1974 г. А-02226. Бумага тип. № 1. Формат 84×108¹/₃₂. 19,75 печ. л. 33,18 усл. печ. л. 33,62 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1077. Цена 1 р. 55 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26